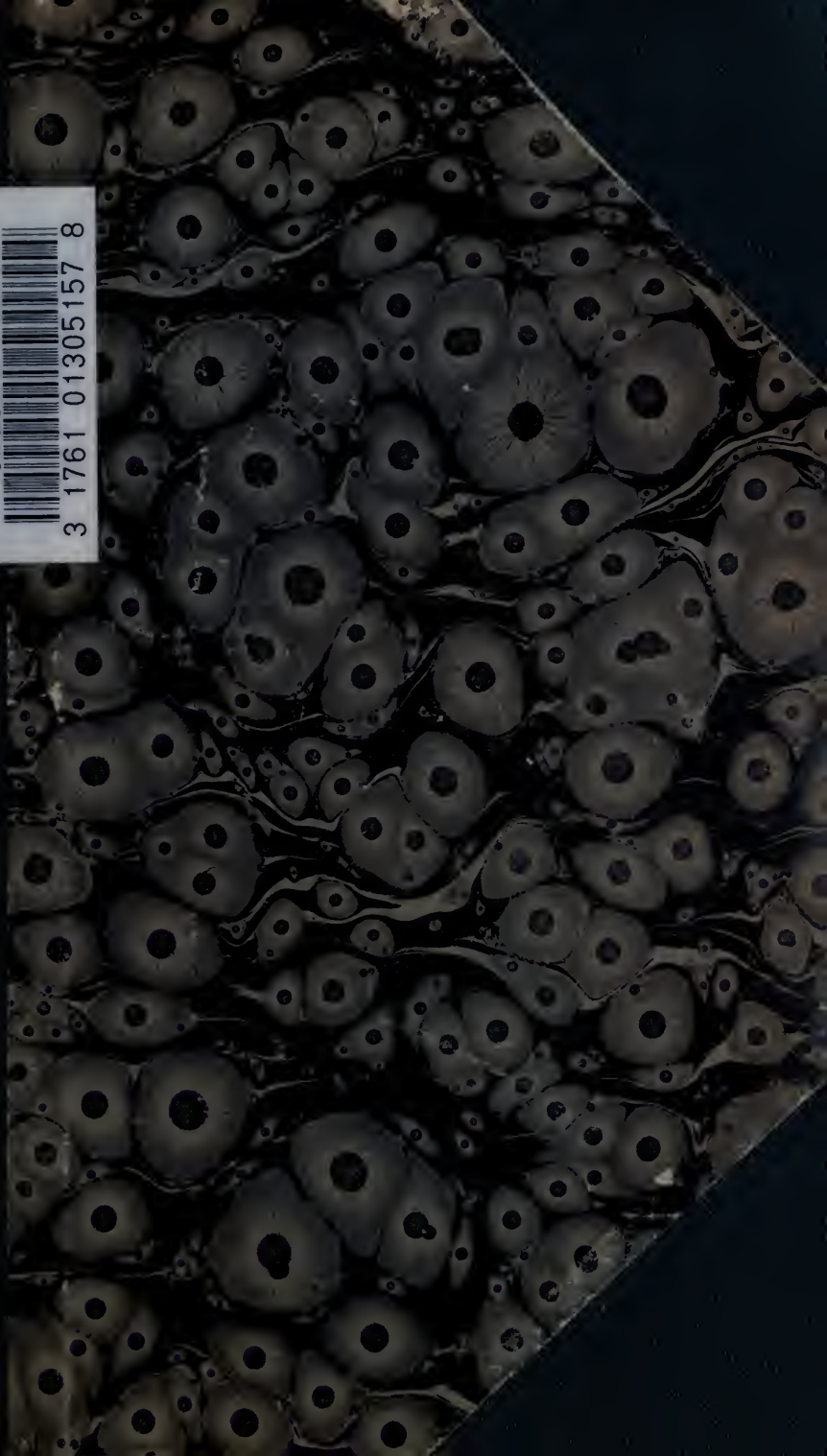


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 01305157 8



251

2nd & last sample

Also words "Eve"
of "The End"

3 words in love

Georgy Zake

12



ШОЛОМЪ-АЛЕЙХЕМЪ.

РОМАНЫ.

Т.

Ш.

КРОВАВАЯ ШУТКА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



Универсальное Книгоиздательство Л. А. СТОЛЯРЬ.

(R)

КРОВАВАЯ

ШУТКА.



Всѣ права сохранены.

ШОЛОМЪ-АЛЕЙХЕМЪ.

РОМАНЫ.

Томъ III.

Всѣ права сохранены.



Универсальное Книгоиздательство Л. А. Столяръ.
МОСКВА—MCMXIV.

ШОЛОМЪ-АЛЕИХЕМЪ.

КРОВАВАЯ ШУТКА.

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть I.

Авторизованный переводъ съ еврейскаго.
С. РАВИЧЪ.

Всѣ права сохранены



Универсальное Книгоиздательство Л. А. Столяръ
МОСКВА. — МСМХІV.



ТОГО ЖЕ АВТОРА:

- Т. I „Блуждающія звѣзды“. Романъ, I и II часть.
Цѣна 1 р. 10 к.
- Т. II „Блуждающія звѣзды“. Романъ, III часть.
Цѣна 1 р. 30 к.
- Т. IV „Кровавая шутка“. Романъ, II часть.
Цѣна 1 р. 25 к.

PJ

5129

R₂ K₆

ch. 1-2

Всѣ права сохранены.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

Въ ресторанѣ.

Было уже далеко за полночь.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ элегантнаго ресторана „Слонъ“ при электрическомъ освѣщеніи, звучной музыкѣ, разговорахъ и смѣхѣ шла шумная пирушка. Пили и курили, спорили и произносили рѣчи, пѣли и бренчали на рояли—однимъ словомъ веселились.

Десятка два молодыхъ людей, только что окончившихъ гимназію, собрались въ послѣдній разъ провести вмѣстѣ вечеръ и попрощаться надолго, быть можетъ, навсегда. Черезъ нѣсколько дней всѣ разъѣдутся, каждый къ себѣ домой, и, Богъ знаетъ, встрѣтятся ли когда-нибудь...

Мысль объ этомъ для всѣхъ такъ нова, такъ дика, что имъ кажется, не сонъ ли это. Восемь лѣтъ были вмѣстѣ, въ теченіе восьми лѣтъ не было дня, чтобы не видались, и вдругъ разъѣдутся и, кто знаетъ, когда и гдѣ увидятся!

— По этому случаю выпьемъ, господа, еще по стаканчику!

Еще по стаканчику да еще по стаканчику,— а щеки краснѣютъ все больше, лица покрываются потомъ, глаза мутнѣютъ... Уже пора начать прощаться по-настоящему!

— Еще вина!

— Шампанскаго!

— Шампанскаго! Шампанскаго!

Въ десятый разъ поется:

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

Запѣваетъ красивый брюнетъ, весельчакъ и общій любимецъ Гриша Поповъ. Его греческій профиль и вся его изящная фигура, съ черными живыми глазами, выгодно выдѣляется среди остальной компаніи, которая дружно подхватываетъ:

Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus...

— Эй, Гершко, что сидишь, какъ въ воду опущенный?—крикнулъ весело запѣвало одному изъ юношей, который сидѣлъ въ сторонкѣ, уставившись на свои ноги, почему лица его не было видно.

— Не трогай его, Гриша, онъ уже готовъ. здорово нализался!—замѣтилъ кто-то.

— Самъ ты нализался! — обрѣзалъ Гриша.— Гершко не можетъ быть пьянъ, онъ происходитъ изъ такого народа, который отличается трезвостью.

Съ этими словами Гриша подошелъ къ одинокому юношѣ, который происходилъ изъ трезваго народа, и дружески хлопнулъ его по плечу:

— На рѣкахъ Вавилонскихъ сѣдохомъ и плакахомъ, а?

Юноша поднялъ голову и тихонько отвелъ руку товарища:

— Оставь, Гриша.

На его лицѣ не было замѣтно рѣзкихъ признаковъ семита. Наоборотъ, веселый брюнетъ, котораго звали Гришей, гораздо больше походилъ на еврея, и ему скорѣе подошло бы имя Гершки, — слишкомъ черны были его волосы, слишкомъ живы глаза. Но дальше этого сходство не шло. У настоящаго Гершки было немного больше морщинъ на лбу, чѣмъ слѣдовало бы въ его двадцать лѣтъ, а глаза таили печаль, которая у нашего народа переходитъ изъ рода въ родъ, — печаль, понять которую можетъ только еврей, такъ какъ онъ ее больше чувствуетъ, чѣмъ видитъ...

— Что съ тобою, Гершко? — спросилъ Гриша, взявъ стулъ и подсѣлъ къ товарищу, тогда какъ остальная компанія продолжала дѣлать свое дѣло, — пить, смѣяться, болтать...

Юноша, котораго звали Гершкой, попробовалъ улыбнуться, и между ними завязался разговоръ:

— Ничего, Гриша, у меня немного болитъ голова.

— Неправда, ты грустишь. Я замѣчаю это

весь вечеръ, меня не проведешь, Гершко, я тебя знаю.

— Это хорошо, что ты меня знаешь. Но не мѣшало бы тебѣ знать меня получше. Тогда бы...

И Гершко закончилъ свою мысль жестомъ. Гриша спросилъ:

— Что тогда бы?

— Тогда бы ты не задавалъ мнѣ вопросовъ, тогда бы ты самъ зналъ, что я вамъ не пара, что я не могу радоваться, какъ радуетесь вы...

— Почему же?

Гершко усмѣхнулся и взволновался еще больше:

— Потому что... потому что вы, когда радуетесь, радуетесь всѣмъ существомъ, всѣми фибрами души...

— А ты?

— А я? Я—не смѣю... не могу. Передъ моими глазами стоитъ грознымъ „memento mori“ мое еврейское происхождение...

— Вотъ тебѣ и на!

Гриша протестующе отодвинулся со стуломъ, а Гершко продолжалъ какъ бы самому себѣ:

— А если хочу забыть—не даютъ, если не вспомню самъ—ужъ есть кому напомнить...

— Эй, Гершко! Гриша! Чего забились въ уголь?—закричали имъ изъ компаніи.

— Сейчасъ, сейчасъ!—бросилъ товарищамъ Гриша, снова придвинулся со своимъ стуломъ къ Гершкѣ, посмотрѣлъ ему прямо въ глаза и сказалъ тепло:

— Гершко, на насъ ты не можешь пожаловаться. Мы, твои товарищи...

— Да кто тебѣ говорить о товарищахъ? На васъ свѣтъ не клиномъ сошелся. Жизнь—по ту сторону гимназіи. О томъ адѣ вы ничего не знаете. Не знаете и знать не можете. Побылъ бы ты въ моей шкурѣ хоть годъ, тогда узналъ бы, тогда почувствовалъ бы...

Гриша на минуту задумался. Затѣмъ онъ рѣшительно отбросилъ копну черныхъ густыхъ волосъ:

— Знаешь, что я скажу тебѣ, Гершко?

— Что ты мнѣ скажешь?

— Что, если бы мы помѣнялись?

Гершко посмотрѣлъ на товарища недоумѣвающимъ взглядомъ:

— То есть, какъ? Чѣмъ помѣнялись?

— Да аттестатами. Я возьму твой съ пятерками, ты мой съ тройками...

— Тебѣ легко шутить. Для тебя всѣ дороги открыты. А меня, съ моими пятерками, что ждетъ впереди? Процентная норма, министерскіе циркуляры да разъясненія...

— Глупости говоришь, Гершко. При чемъ тутъ проценты съ циркулярами? Вѣдь у тебя золотая медаль!

— Велика штука медаль! Мало медалистовъ осталось въ прошломъ году за бортомъ,—хоть въ воду бросайся! Продали съ себя послѣднее и отправили министру огромную, трогательную, за душу хватающую телеграмму...

— Ну, и что же?

— А то, что имъ даже не отвѣтили. Выслали изъ города въ двадцать четыре часа за неимѣніемъ „права-жительства“...

Пирушка между тѣмъ шла своимъ чередомъ. Среди говора, музыки и пѣнія раздавались веселыя восклицанія, въ облакахъ табачнаго дыма мелькали оживленныя потныя лица. Стало жарко, и многіе сбросили тужурки.

Гриша еще ближе придвинулся къ Гершкѣ и взялъ его руку:

— Послушай, Гершко, я все же предлагаю тебѣ помѣняться.

— Ты съ ума сошелъ, Гриша.

— Ничуть. Вотъ ты говоришь, чтобы я побылъ въ твоей шкурѣ хоть годъ. А я говорю: не такъ страшень чортъ, какъ его малюютъ. Мѣняться съ тобой навсегда,—этого не скажу. Но на годъ, — куда ни шло! Будь ты Гришей Поповымъ, а я буду Гершкой Рабиновичемъ! И всего на одинъ годъ, ей-Богу!

Гриша перекрестился, и оба разсмѣялись.

— Честное слово! — продолжалъ Гриша. — Я знакомъ съ тобой не первый годъ и все слышу: „евреи—несчастный народъ“. Признаться, я этого не понимаю. Ну, васъ не любятъ, васъ ограничиваютъ въ правахъ, васъ преслѣдуютъ, устраиваютъ погромы... Все это такъ, и головой то я это понимаю. Но чувствовать—не чувствую. Хочу именно побыть въ твоей шкурѣ. Хочу хоть

на годикъ превратиться въ еврея, въ настоящего, чортъ возьми, израильянина, и почувствовать, понимаешь ли, *почувствовать*, что значить быть евреемъ. Вотъ будетъ интересно!

— Ну, въ этомъ я сомнѣваюсь. Послушай, да ты не пьянь?

— Нисколько. Трезвъ, какъ младенецъ! Итакъ, сказано—сдѣлано. Заключимъ сейчасъ же при товарищахъ торжественный договоръ въ томъ, что не измѣнимъ своего рѣшенія въ теченіе года, что бы ни случилось. Ни одна живая душа не должна знать, что ты—ты, а я—я, тыфу!—т. е., я—ты, а ты—я. Ну, рѣшено?

И Гриша протянулъ Гершкѣ руку. Но тотъ все еще потиралъ себѣ лобъ, какъ человѣкъ, который не знаетъ, другой ли сошелъ съ ума или у него самого не все въ порядкѣ. Однако Гриша не далъ ему долго раздумывать. Онъ энергично схватилъ его за руку, поднялъ и, несмотря на сопротивленіе, подвелъ къ товарищамъ.

Пирушка была въ полномъ разгарѣ. Никто не обратилъ на нихъ вниманія. Гриша съ силой ударилъ кулакомъ по столу, такъ что стаканы зазвенѣли, и въ самую высокую ноту своего баритона крикнулъ:

— Силенціумъ! Товарищи, тише!

Воцарилось молчаніе. Взоры всѣхъ обратились на Гришу Попова и на немного растерявагося Гершку. Гриша сталъ въ позу и произнесъ слѣдующую рѣчь:

— Товарищи,—началь Гриша тихо, какъ опытный ораторъ, заложивъ большой палецъ за жилетъ и глядя немного внизъ, затѣмъ поднимая голову все выше и выше, говоря чѣмъ дальше, тѣмъ энергичнѣе и горячѣе. — Товарищи! Въ этотъ самый моментъ съ вами говоритъ не вашъ товарищъ Гриша Поповъ. Съ вами говоритъ другой вашъ товарищъ — Гершко Рабиновичъ. Не думайте, что я рехнулся или что во мнѣ говорить хмель. Увѣряю васъ, что я въ полномъ сознаніи, и даю вамъ слово, что никогда еще не былъ трезвъ, какъ теперь. Дѣло сейчасъ разъяснится. Нашъ товарищъ, котораго звали Гершкой Рабиновичемъ, а теперь зовутъ,—скоро вы увидите, почему,—Гришей Поповымъ, происходитъ изъ народа, котораго не любятъ, который гонять почти на всемъ земномъ шарѣ. Мы не знаемъ, почему и откуда берется такая ненависть, и не наша задача сейчасъ доискиваться, кто здѣсь больше виноватъ, — преслѣдователи или преслѣдуемые, угнетатели или угнетаемые. Возможно, что обѣ стороны правы, каждая по своему, возможно, что обѣ неправы. Мы знаемъ только, что болѣе сильные возводятъ на слабыхъ самыя невѣроятныя обвиненія, находятъ въ нихъ всѣ возможные недостатки. А болѣе слабые утверждаютъ, что это неправда, что они не хуже, а, можетъ быть, даже лучше другихъ. Хуже или лучше—это вещь, которую не легко опредѣлить, и я не знаю, кто имѣетъ право рѣ-

шать это. Я могу рѣшить такъ, вы — иначе. Только я думаю, что обѣ стороны хватаютъ немного черезъ край, и мнѣ кажется, что евреи терпятъ отъ насъ не такъ много, какъ они увѣряютъ. Правда, неприятно быть преслѣдуемымъ и ненавидимымъ всѣми. Но есть извѣстное удовлетвореніе, своего рода гордость, я бы сказалъ—своего рода радость въ словѣ „мученикъ“. Мнѣ гораздо пріятнѣе знать, что кто-либо преслѣдуетъ меня несправедливо, чѣмъ сознавать, что я кого-нибудь преслѣдую несправедливо. Во всякомъ случаѣ, не такъ страшенъ чертъ, какъ его малюютъ. Эту мысль я высказалъ нашему товарищу Гершкѣ... пардонъ!—нашему товарищу Гришѣ, а онъ мнѣ на это отвѣтилъ, что мнѣ легко такъ говорить, я никогда не былъ евреемъ. Если бы, говоритъ онъ, я побылъ въ его шкурѣ хоть одинъ годъ, я тогда зналъ бы, чѣмъ это пахнетъ. Эти слова заставили меня подумать: можетъ быть, онъ не такъ ужъ неправъ? Надо быть въ положеніи другого, чтобы почувствовать, пережить, что онъ пережилъ, и тогда уже судить, обвинять или оправдывать... Поэтому я предложилъ товарищу Гершкѣ помѣняться аттестами, именами, паспортами на одинъ годъ. Это просто-на-просто значить, что съ той минуты, какъ я говорю съ вами, я уже больше не *Григорій Ивановичъ Поповъ*, а Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, а онъ, Гершка, не *Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ*, а Григорій Ивановичъ Поповъ.

Онъ уѣзжаетъ съ моими документами и поступаетъ въ университетъ, я ѣду съ его документами. Хоть онъ и говоритъ, что мнѣ съ ними трудно будетъ попасть въ университетъ, такъ какъ онъ еврей, но я думаю—пустяки, съ медалью мнѣ все ни по чемъ!

— Bravo!—воскликнули всѣ въ одинъ голосъ и принялись усердно апплодировать. Но Гриша прервалъ апплодисменты. Онъ поднялъ руку и продолжалъ:

— Товарищи! Я довѣрилъ вамъ тайну, большую тайну, и требую отъ васъ, во-первыхъ, чтобы вы поздравили насъ обоихъ съ нашими новыми ролями, а во-вторыхъ, — тише! имѣйте терпѣніе, я еще не кончилъ!—а во-вторыхъ, вы должны дать мнѣ честное слово и поклясться, что ни одна живая душа, кромѣ насъ, здѣсь присутствующихъ, ничего не узнаетъ, ни теперь, ни послѣ, даже по истеченіи года. Вся исторія должна остаться тайной, святой тайной, которую мы унесемъ въ могилу...

— Клянемся! Клянемся!—раздались съ разныхъ сторонъ голоса, а Гриша продолжалъ:

— Итакъ, заклинаю васъ всѣмъ святымъ: всякій, кто вынесетъ отсюда эту тайну на улицу, будетъ предателемъ и преступникомъ. Товарищи! Предлагаю наполнить бокалы и выпить за здоровье нашего новорожденного, когда-то Гершки Рабиновича, а теперь Гриши Попова. Пожелаемъ ему счастья и всего хорошаго на его

новомъ пути. Да здравствуетъ Григорій Ивановичъ Поповъ! Ура!

— Урра!—загремѣло въ отвѣтъ.

* * *

Энтузіазмъ и шумъ, вызванные въ компаніи молодежи этимъ неожиданнымъ тостомъ, не поддаются описанію. Нечего и говорить, — всѣ обѣщали хранить тайну свято и ненарушимо. И всѣ горячо откликнулись на тостъ, — въ минуту бокалы были осушены до дна. Компанія пришла въ такой восторгъ отъ идеи превращенія Гершки въ Гришу, а Гриши въ Гершку, что оба они должны были здѣсь же у всѣхъ на глазахъ помѣняться не только документами, но и одеждой. А затѣмъ виновниковъ торжества подняли на руки и нѣсколько разъ торжественно обнесли вокругъ стола среди всеобщаго ликованія. Кто-то подсѣлъ къ роялю, и вся компанія пустилась вплясъ. Когда, наконецъ, угомонились, бывший Гершко Рабиновичъ обратился къ собранію съ такими словами:

— Друзья! Товарищъ Гриша Поповъ или, какъ его теперь зовутъ, Гершко Рабиновичъ, затѣялъ шутку, которая перешла въ серьезъ. Мы совершенно не въ состояніи предвидѣть, чѣмъ это кончится... Кто изъ насъ двухъ сдѣлалъ болѣе выгодную аферу (какъ бывший Гершко, я не могу удержаться и не употребить здѣсь этого слова), — это знаю я, да и вы должны бы понимать, будь

у васъ смекалка, а если вы этого не понимаете,—вина не моя. Но объ одномъ я долженъ просить васъ, дорогіе товарищи. Такъ какъ Гриша, то-бишь, Гершко, взялъ на себя и на меня наложилъ, правда, на одинъ годъ, обязательство въ томъ, что онъ будетъ я, а я—онъ, и такъ какъ мы заранѣе не можемъ предусмотрѣть, что съ каждымъ изъ насъ случится на новомъ пути,—то я хочу сдѣлать оговорку, что, если кому-нибудь изъ насъ двухъ придется ужъ очень туго, то есть...

— Безъ всякихъ „то есть“!—крикнулъ, поднявшись съ мѣста, бывший Гриша Поповъ.— Безъ всякихъ оговорокъ! Что съ возу упало, то пропало!

— Пропало!—подхватили остальные.

— И быть по сему!—закрѣпилъ новый Гершко Рабиновичъ.

— Быть по сему!—поддержали его остальные.

Видя, что дѣло рѣшено окончательно, новый Григорій Ивановичъ Поповъ подошелъ къ бывшему Попову и съ улыбкой протянулъ ему руку:

— Помни же, Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, безъ раскаянія...

— Раскаяніе?—воскликнулъ бывший Поповъ съ силой и гордостью.—Поповы, то-бишь, Рабиновичи никогда не раскаиваются! Я, чертъ возьми, происхожу изъ такого народа, который прошелъ черезъ огонь и воду и мѣдныя трубы! Мои прапрадѣды, которые мѣсили глину въ Египтѣ и

возвели вѣчныя пирамиды, выстроили знаменитые города Содомъ и Гоморру... пардонъ!— Фивы и Рамзесь, довольно натерпѣлись, пока осѣли въ землѣ Ханаанской. А когда они осѣли въ землѣ Ханаанской, пришелъ Вальтассаръ... тобишь, Навуходоноссоръ и сжегъ нашъ священный храмъ и въ желѣзныхъ цѣпяхъ перевелъ насъ съ нашими сестрами и дѣтьми въ варварскій Вавилонъ. А оттуда,—я, товарищи, дѣлаю порядочный скачекъ и пропускаю Амана, Агасфера и тому подобныя достохвальныя имена, потому что уже свѣтаетъ,—а оттуда насъ загнали въ Испанію, въ мрачную католическую Испанію, гдѣ ждала насъ инквизиція. Вспомните, товарищи, чего только не натерпѣлись мои благочестивые прадѣды отъ инквизиціи! Они шли на эшафоты, шли на костры, давали себя рѣзать, жечь, рубить, четвертовать...

— Браво, Гершко, браво!—закричали всѣ, въ томъ числѣ и настоящій Гершко, громко апплодируя и еще громче смѣясь. Всѣ были поражены товарищемъ Гришей Поповымъ, который такъ искусно и просто вошелъ въ роль Гершки Рабиновича. Артистъ, настоящій артистъ! Смотрите, какъ у него горятъ глаза! А какъ вамъ нравится его серьезное лицо? Хоть бы улыбнулся! Да будь вы семи пядей во лбу, — развѣ скажете, что это Гриша Поповъ, а не Гершко Рабиновичъ? Нѣтъ, взгляните только на его еврейское лицо, на его еврейскіе глаза,—даже

ность у него какъ-будто немного загнулся, сдѣлался еврейскимъ носомъ, — ха-ха-ха! Ловко, Гершко! Bravo! Бисъ! Бисъ!!

* * *

Было уже утро, когда компанія молодежи покинула эlegantный ресторанъ „Слонъ“. Разсѣлись на извозчикахъ попарно и поѣхали,—кто въ одну сторону, кто въ другую. Гриша съ Гершкой тоже сѣли въ одну коляску, — Гриша въ гершкиной одеждѣ, Гершка въ гришиной. Хотя Гриша Поповъ и превратился уже въ Гершку Рабиновича, а Гершка Рабиновичъ—въ Гришу Попова, все-таки имъ нужно было о многомъ побесѣдовать. Нужно было рассказать другъ другу свою біографію, прежде чѣмъ они разѣдуться и войдутъ каждый въ свою роль уже по-настоящему, и серьезная шутка начнется.

ГЛАВА II.

Отдается комната.

Въ большомъ университетскомъ городѣ, въ концѣ лѣта, предъ осенними праздниками, уже замѣтно было сильное оживленіе. Закончились каникулы, открылись гимназіи, политехникумъ, университетъ и прочія высшія и низшія школы.

Изъ ближнихъ городовъ и мѣстечекъ, изъ всего округа собрались въ университетскій го-

родъ родители съ дѣтьми всѣхъ возрастовъ,—кто въ старшій классъ переходитъ, кто держалъ вступительные экзамены въ храмъ науки и мудрости.

Особенно волновались родители,—еще больше, чѣмъ дѣти. Молодые матери, расфранченныя, одѣтыя по послѣдней модѣ, обивали пороги по канцеляріямъ, у директоровъ, инспекторовъ и учителей, съ полной готовностью падать ницъ или выслушивать нагоняй за „двойку“, которую ихъ Володька или Сашка получилъ на экзаменѣ.

Книжные и писчебумажные магазины выставили въ своихъ окнахъ самые новые и самые лучшіе товары изъ припасенныхъ ими для молодежи, готовясь дѣлать хорошія дѣла, продавать, мѣнять книги,—однимъ словомъ, послужить вѣрой и правдой, какъ истинные патріоты, на пользу отечественному просвѣщенію.

Не меньшіе патріоты и портные, разложившіе въ своихъ витринахъ самое красивое и модное, что только у нихъ нашлось, начиная съ элегантнаго мундира съ блестящими пуговицами и кончая простенькими сѣрыми штанишками, которые такъ и просятъ: „Возьми, надѣнь насъ и бѣги учиться“.

Шапочники тоже не ударили лицомъ въ грязь и развѣсили цѣлыя коллекціи картузовъ, каскетокъ, форменныхъ фуражекъ съ бѣлыми и желтыми гербами, кантами и околышами. Лавочники не позабыли выставить ранцы, гамашы, галоши.

конфеты, папиросы. И даже колбасники, которые, казалось бы, далеки отъ министерства народнаго просвѣщенія и уже ничего общаго не имѣютъ съ наукой, тоже стремились хоть со стороны послужить отечественной культурѣ. Въ ихъ окнахъ были выставлены такіе аппетитные ломтики колбасы, ветчины, мяса и паштетовъ, такіе свѣжіе, приправленные чеснокомъ, что пропади ты пропадомъ вся культура вмѣстѣ съ отечествомъ! Голодъ не тетка, а колбаса такъ вкусно пахнетъ...

Всѣ отели и заѣзжіе дома, всѣ рестораны биткомъ набиты пріѣзжими, отцами, матерями и дѣтьми отъ мала до велика, а на окнахъ почти всѣхъ домовъ наклеены билетики: „Отдается комната“. „Комната сдается“.

Вывѣшивающіе эти билетики заранѣе знаютъ, кто займетъ ихъ комнату. Какой-нибудь студентикъ, все имущество котораго—пара брюкъ, двѣ рубашки и цѣлая куча книгъ, или курсистка, изъ тѣхъ, что когда-то ходили стриженными, а теперь носятъ узенькія модныя юбочки и башмачки на высокихъ каблукахъ. Во всякомъ случаѣ, комната прибрана, и въ качествѣ мебели въ ней красуется допотопная желѣзная кровать и желѣзный рукомойникъ, который не любитъ, чтобы къ нему прикасались, ибо страдаетъ,—не про васъ будь сказано,—ревматизмомъ съ того самаго момента, какъ его принесли изъ магазина. Есть также столъ и стулъ. У cadaго изъ

нихъ свои достоинства и свои недостатки. Достоинства стола въ томъ, что онъ можетъ служить и письменнымъ столомъ и обѣденнымъ столомъ и всѣмъ, чѣмъ вы сами хотите. А недостатки собственно не въ самомъ столѣ, а въ его ящикѣ. У ящика такая ужъ привычка, что, когда его выдвинуть, онъ ни за что не хочетъ задвинуться. А когда задвинуть, онъ никакъ не выдвигается. То есть, ни такъ ни сякъ. Вы можете тащить его сколько угодно, и весь столъ потащится за вами. Вы, можетъ быть, догадаетесь и захотите потянуть ящикъ обѣими руками снизу? Попробуйте только, я вамъ напередъ скажу, что будетъ: заднія ножки стола поднимутся вверхъ, и весь онъ со всѣми книгами, чернильцей, графиномъ съ водой полетитъ вмѣстѣ съ вами на полъ. Ну что, взяли? Ужъ лучше обойдитесь безъ ящика. Гдѣ это сказано, что у стола долженъ быть ящикъ?

Теперь стулъ. Что сказать о немъ? Стулъ какъ стулъ. Изъ тѣхъ, что называются „вѣнскими“. Легкія, прочныя, и сидѣть удобно, потому что сидѣнье у нихъ плетеное, Гладко, плоско и мягко. Это—удобства вѣнскихъ стульевъ вообще. Но нашъ стулъ ни однимъ изъ этихъ удобствъ не обладаетъ. Прежде всего, доложу вамъ по секрету, сидѣнья у стула нѣтъ. То есть, сидѣнье-то есть, но безъ плетенки. Впрочемъ, была и плетенка, да въ давно прошедшія времена, когда стулъ былъ еще стуломъ. Теперь же о

немъ и говорить не стоитъ. Побесѣдуемъ лучше о хозяйкѣ, сдающей комнату, объ ея мужѣ, объ ихъ дочкѣ и о молодомъ человѣкѣ, пришедшемъ нанимать эту самую комнату. Это гораздо важнѣе.

Сара Шапиро,—такъ зовутъ хозяйку, — совсѣмъ еще молодая женщина, красивая брюнетка, стояла у плиты съ засученными руками и готовила завтракъ, а ея дочка Бети, красавица въ цвѣтушемъ возрастѣ между восемнадцатью и двадцатью годами, сидѣла надъ газетой, когда раздался сильный звонокъ.

— Опять какой-нибудь несчастный комнату смотрѣть! — сказала мать и сдѣлала дочери знакъ, чтобы та пошла отворить.

Бети не совсѣмъ охотно отложила газету и сбѣжала по лѣстницѣ внизъ открыть дверь. Черезъ двѣ минуты она вернулась вмѣстѣ съ молодымъ человѣкомъ, бритымъ, съ очень тощимъ чемоданомъ въ рукахъ: посмотрѣть комнату, что сдается.

Осмотрѣвъ вошедшаго человѣка съ тощимъ чемоданомъ, мать сразу оцѣнила его и нашла, что такой комнаты не найметъ. Потому она шепнула дочери по-еврейски, чтобы та назначила цѣну подороже. Дочь повиновалась. Но молодого человѣка цѣна не испугала, и онъ попросилъ показать комнату. Тогда мадамъ Шапиро бросила готовить завтракъ, спустила рукава и пошла сама показать.

Зайдя въ комнату, молодой человѣкъ обратилъ больше вниманія на хозяйку и ея дочку, чѣмъ на комнату и мебель. Не долго думая, онъ сказалъ, что хорошо,—ему нравится... Тогда мадамъ Шапиро нашла нужнымъ еще разъ упомянуть цѣну. Молодой человѣкъ отвѣтилъ, что ему это не важно. Если такъ, то мадамъ Шапиро находитъ совершенно необходимымъ сказать, что за полмѣсяца надо заплатить сейчасъ же, впередъ. Но молодому человѣку и это безразлично, онъ можетъ даже за весь мѣсяць уплатить.

Тутъ уже мадамъ Шапиро какъ-будто даже испугалась. Что это за чудакъ? Пришелъ—хоть бы взглянулъ! И не торгуется. Ему говорятъ: за полмѣсяца впередъ, — онъ за цѣлый мѣсяць даетъ. Кто его знаетъ, что это за субъектъ? Она посмотрѣла на дочь, дочь на нее. Затѣмъ—на субъекта и тутъ только замѣтила, какъ молодой человѣкъ смотритъ на ея Бети, — глазъ съ нея не спускаетъ. И сталъ онъ ей еще больше не по сердцу. Вполголоса она сказала ему:

— Простите. У насъ здѣсь очень строго. Понимаете, полиція... Будьте добры показать мнѣ вашъ документъ, вашъ паспортъ...

— Ахъ, мой паспортъ?.. Молодой человѣкъ быстро досталъ изъ бокового кармана бумагу и, съ любезной улыбкой преподнесъ ее мадамъ Шапиро, взялся за кошелекъ.

Но тутъ произошло нѣчто такое, что остановило молодого человѣка. Мадамъ Шапиро однимъ

глазомъ заглянула въ паспортъ и прочла въ слухъ: *Шкловскій мѣщанинъ Гершъ Мошевичъ Рабиновичъ*...—переглянулась съ дочерью и сказала молодому человѣку:

— Простите меня, но имѣете ли вы право здѣсь жить? Я не знала, что вы...

Молодой человѣкъ съ улыбкою прервалъ мадамъ Шапиро:

— Что я?..

— Что вы изъ нашихъ... еврей.

Молодой человѣкъ опустилъ кошелекъ и всѣ трое безмолвно переглянулись.

* * *

До сихъ поръ разговоръ велся по-русски. А теперь, когда выяснилось, что наниматель — шкловскій мѣщанинъ, Гершъ Рабиновичъ, не было бѣды поболтать съ нимъ и на „нашемъ“ языкѣ. Мадамъ Шапиро обратилась къ нему по-еврейски:

— Я удивляюсь вамъ. Вы производите впечатлѣніе образованнаго молодого человѣка и не знаете, что у насъ еврей долженъ имѣть „право-жительства“?

На это образованный молодой человѣкъ ей ничего не отвѣтилъ, такъ какъ изъ всего комплимента онъ не понялъ ни слова. Онъ обратился къ мадамъ Шапиро по-русски, немного покраснѣвъ при этомъ:

— Извините, я... не совсѣмъ понимаю по-еврейски.

Мадамъ Шапиро не могла удержаться отъ смѣха:

— Шкловскій мѣщанинъ, Рабиновичемъ звать,— и не понимаетъ по-еврейски?!

Красавица дочь, до сихъ поръ не вмѣшивавшаяся въ разговоръ, пришла на помощь молодому человѣку. Она сказала матери по-русски:

— Развѣ мало теперь молодыхъ людей изъ евреевъ, не понимающихъ по-еврейски?

И въ краткихъ словахъ она разъяснила молодому человѣку, въ чемъ дѣло. Еврей не имѣетъ права жить въ этомъ городѣ. Онъ долженъ получить „право-жительства“. Если они пустятъ къ себѣ еврея безъ „права-жительства“, съ нихъ возьмутъ большой штрафъ, ихъ самихъ лишатъ „права-жительства“ и выселятъ изъ города въ двадцать четыре часа.

— Теперь поняли, въ чемъ дѣло, или нѣтъ?

Все это было сказано съ такой милой улыбкой и такъ игриво-кокетливо, что если бы не мамаша, молодой человѣкъ бросился бы расцѣловать эту симпатичную дѣвушку. Онъ отвѣтилъ ей тоже съ улыбкой:

— Законъ о „правѣ-жительства“, представьте себѣ, мнѣ довольно хорошо знакомъ, хотя я и не здѣшній. Этотъ законъ давно пора бы сдать въ архивъ вмѣстѣ съ другимъ старьемъ. Но одно хотѣлъ бы я знать: объясните мнѣ, какимъ образомъ приняли мои документы въ университетъ?

Слово „университетъ“ подѣйствовало, какъ

солнечный лучъ. Лица обѣихъ засіяли, а мать даже руками себя по бокамъ ударила:

— Какъ? Вы, значитъ, студентъ здѣшняго университета? Что же вы молчали все время?

— Молчалъ все время? Мнѣ кажется, что мы здѣсь трое только и дѣлали, что говорили?— отвѣтилъ студентъ съ улыбкой, не сводя глазъ съ дочери. Тогда мать задала ему послѣдній вопросъ:

— Значитъ, вы уже приняты?

— Почти. У меня медаль.

— Ахъ, такъ вы медалистъ?... Видишь?!— Послѣднее восклицаніе относилось уже къ дочери и было сказано по-еврейски, со вздохомъ. Но скоро мадамъ Шапиро опомнилась и обратилась къ студенту-медалисту снова по-русски:

— Это я дочери. У нея есть братъ, у меня, значитъ, сынъ, онъ уже въ третьемъ классѣ. Такъ вотъ скоро три года, какъ я ему каждый день твержу и утромъ и вечеромъ: „медаль, медаль, медаль!“ А онъ меня слушаетъ, какъ вотъ этотъ столъ! Еврей безъ медали — все равно, что... все равно, что...

И мадамъ Шапиро начала искать предметъ, съ которымъ можно бы сравнить еврея безъ медали. Но въ комнатѣ не нашлось ничего, что имѣло бы отношеніе къ еврею съ медалью или безъ медали. Къ тому же дочь сочла весь разговоръ вообще лишнимъ. Зачѣмъ это нужно чужому человѣку знать, будетъ у ея брата ме-

даль или нѣтъ? И она спросила студента, указывая на его тощій чемоданъ:

— Вотъ это всѣ ваши вещи, или у васъ есть еще что-нибудь?

— Зачѣмъ мнѣ еще? — отвѣтилъ онъ и посмотрѣлъ ей прямо въ красивые каріе глаза такъ выразительно, что это можно было бы понять: „Зачѣмъ мнѣ еще, когда у тебя такіе красивые, умные глаза, съ такими ямочками на щекахъ?“

Мать, вся жизнь которой, повидимому, была направлена въ одну сторону, сосредоточена только на одномъ,—чтобы у ея сына была медаль,—вступилась за новаго жильца и сказала дочери со вздохомъ:

— Совершенно вѣрно! Зачѣмъ имъ еще? Разъ у нихъ есть медаль, такъ имъ ужъ ничего больше не нужно. Ничего!

Слово „ничего“ она обрѣзала, какъ ножомъ. Она сразу почувствовала необыкновенную симпатію къ этому жильцу-медалисту и спросила его ласково:

— Есть у васъ отецъ, мать?

Это было для молодого человѣка такъ неожиданно и къ тому же какъ разъ въ эту минуту онъ забылъ, есть у Гершки Рабиновича отецъ и мать, или же только отецъ или только мать,—что онъ не сразу могъ отвѣтить. Хорошо, что дѣвушка пришла на помощь. Она сказала матери:

— Не довольно ли экзаменовать нашего новаго жильца? Почему ты лучше не спросишь, пилъ ли онъ чай?

А самому жильцу она со своей милой улыбкой пояснила:

— Мамаша любить поговорить... Вы, можетъ быть, хотите чаю, такъ можно самоваръ поставить. Вы будете получать два самовара въ день. Такъ полагается...

— Почему же два?—прервала ее мать.—Три! Утромъ, днемъ и вечеромъ.

— Это потому, что у васъ медаль есть,—пояснила дѣвушка жильцу со смѣхомъ, а матери сказала по-еврейски:—Идемъ!

И обѣ вышли изъ комнаты, предоставивъ жильца-медалиста самому себѣ, съ его тощимъ чемоданомъ и съ его мыслями, которыя вертѣлись вокругъ красивой дѣвушки съ умными карими глазами, съ кокетливой улыбкой и ямочками на щекахъ.

ГЛАВА III.

Семья Шапиро.

Насколько новый квартирантъ былъ доволенъ комнатой, настолько же, если не больше, мадамъ Шапиро была довольна новымъ квартирантомъ. Прекрасный молодой человекъ, очень просто держится, общительный, однимъ словомъ—кладъ!

Съ перваго же дня онъ заинтересовался ея сыномъ, проэкзаменовалъ его и самъ предложилъ ежедневно готовить съ нимъ уроки. Мадамъ Шапиро уже сама думала найти ему репетитора, какого-нибудь приличнаго студента за недорогую плату. Чтобы стоило дорого,—она не можетъ. Но сколько онъ спросить, хотѣлось бы ей знать?

При этомъ она посмотрѣла на жильца снизу вверхъ, и у нея промелькнула мысль: — Интересно, если бы студентъ отказался брать у нея деньги?—И дѣйствительно, тотъ, какъ по пророчеству, не только отказался отъ платы, но еще посмѣялся: „Чтобы онъ бралъ у нея деньги! За что?“

— Ну, Бети, что я тебѣ говорила?

— А ты уже забыла? Не я ли сразу тебѣ сказала, что это приличный молодой человекъ?

— А что другое я говорила?

— Ты говорила, что онъ „шлимъ-мазелъ“*),— отвѣтила дочь.

— Я говорила, что онъ „шлимъ-мазелъ“?

— А кто же другой? Я что ли?

— Бети! Ты уже начинаешь свои старыя исторіи—говорить матери дерзости? Дѣлать изъ матери лгунью?

— Да кто же изъ тебя дѣлаетъ лгунью? Я

*) Вѣдьяга, которому ни въ чемъ не везетъ, неудачникъ.

говорю только, что ты не помнишь, что говорила. Ты говоришь, что говорила, что онъ порядочный человекъ, а я говорю, что ты говорила, что онъ „шлимъ-мазелъ“.

Въ этотъ моментъ вдругъ входитъ самъ Шапиро:

— Я говорила—ты говорила! Ты говорила—я говорила! Я спрашиваю васъ: будетъ этому когда-нибудь конецъ или нѣтъ?

Давидъ Шапиро—разсѣянный, вѣчно торопящійся человекъ. Все-то онъ дѣлаетъ на-спѣхъ: быстро говорить, быстро ѣсть, быстро ходить,— все однимъ махомъ. Въ конторѣ, гдѣ онъ служитъ (онъ бухгалтеръ въ большомъ коммерческомъ дѣлѣ) его знаютъ за тихаго скромнаго человека, безъ претензій и затѣй. Только у себя дома онъ разыгрываетъ роль хозяина, маленькаго деспота, хотя никто его не слушается. Жена смѣется надъ нимъ въ глаза и награждаетъ его такими эпитетами, какъ „философъ“, „соловей“, „прыткій“ и даже „курьерскій поѣздъ“. А дѣти ни капельки не боятся. Дѣти знаютъ, что для отца они вся жизнь, что онъ въ нихъ души не чааетъ. И неудивительно! Дѣтей всего двое. Дочь Бети, огонь-дѣвушка, и сынъ, Шлейма, Шлемка или Сѣма, гимназистъ третьяго класса, отказывающійся учить уроки, прежде чѣмъ мать не уплатитъ ему по пятаку за каждый урокъ. Отъ отца онъ получаетъ особо: за каждую четверку,

принесенную изъ гимназіи,—пятакъ, а за каждую пятерку—двугривенный.

— Почему за четверку слѣдуетъ пятакъ, а за пятерку въ четыре раза больше? Гдѣ тутъ расчесть?—спрашиваетъ мужа Сара и получаетъ отъ него нагоняй. У Давида Шапиро привычка ни съ того ни съ сего, здорово живешь, задавать женѣ баню. Хотя часто случается, что она задаетъ ему еще лучшую, чѣмъ онъ ей. Въ долгу другъ у друга не остаются.

— Кто же виноватъ, если ты такая дуреха,—говоритъ Давидъ съ улыбкой,—что понять не можешь разницы въ гимназіи между четверкой и пятеркой?

— Ну, конечно! Откуда мнѣ знать, что такое четверка и что такое пятерка!—отвѣчаетъ Сара съ иронической улыбкой, а дѣти слушаютъ, какъ папаша съ мамашей пикируются.—Это можетъ знать только такой геній, какъ ты. Философъ вѣдь! Жаль только, что больно ты прытокъ...

— Такъ если бы ты понимала! А я сейчасъ докажу тебѣ, что ты и не думаешь понимать. У тебя выходитъ, напримѣръ, что вся разница между четверкой и пятеркой—сколько? Единица? Ага! Видишь? Но будь у тебя смекалка, ты понимала бы, что здѣсь цѣлое исчисленіе. Возьми, напримѣръ, твоего Семку...

— Вотъ тебѣ и на! Этого еще недоставало!—обрываетъ его Сара.—Разливается соловьемъ, что твой курьерскій поѣздъ летитъ, и самъ не слы-

шить, что говорить. Почему это Семка мой? Онъ столько же мой, какъ и твой.

— Словомъ, твой Семка—мой Семка. Ясно. Итакъ, пусть, скажемъ, твой Семка дошелъ до послѣднихъ экзаменовъ и получилъ всѣ двѣнадцать пятерокъ. Двѣнадцать разъ пять—сколько? Шестьдесятъ. Раздѣли на 12? Будетъ 5. Получаетъ онъ, значитъ, золотую медаль!

— Дай-то Богъ!—шепчетъ Сара и набожно поднимаетъ глаза вверхъ, за что получаетъ новый нагоняй отъ мужа, который обращается уже къ дочери:

— Ну, развѣ можно съ ней говорить? Я ей дѣлаю вычисленія, а она, мамаша твоя, поднимаетъ глаза къ небу и начинаетъ разговоръ съ Богомъ!

— Ну, считай, считай, кто тебѣ мѣшаетъ, философъ мой дорогой,—скажетъ Сара такимъ тономъ, что мужъ еще больше вспылитъ и заговоритъ еще быстрѣе, съ еще большимъ жаромъ:

— Итакъ, при двѣнадцати пятеркахъ онъ получаетъ золотую медаль. Но что говоритъ законъ, когда у него одиннадцать пятерокъ и одна четверка? Умножаемъ 11 на 5, получаемъ 55. Плюсъ 4=59. Дѣлимъ на 12—сколько? Но это уже не твоего ума дѣло. Это ужъ, понимаешь ли, дробь. Словомъ, получаемъ не больше не меньше, какъ 4 и $\frac{11}{12}$. И такъ какъ ему не достаетъ $\frac{1}{12}$, онъ уже не можетъ получить золотой медали, а только серебряную.

— Пусть будет серебряная,—говорить Сара со вздохомъ, а Давидъ смотритъ на дочь:

— Ну, какъ тебѣ нравится? Эта женщина прямо-таки не даетъ говорить!—Итакъ, пойдёмъ дальше. Что говоритъ законъ, если у него, скажемъ, семь пятерокъ и пять четверокъ? Посчитаемъ. 7 разъ $5=35$, 5 разъ $4=20$. 35 и 20? 55. Дѣленные на 12? Должно быть, 4 и сколько? И $\frac{7}{12}$. Тоже еще не бѣда. Онъ все еще можетъ получить серебряную медаль. Такъ видишь, когда плохо? Если, не дай Богъ, случится обратное. Если, значить, у него будетъ пять пятерокъ и семь четверокъ. О, тогда скверно! Почему? Простой расчетъ: 5 разъ $5=25$. 4 раза $7=28$. Всего 53, точно, какъ въ аптекѣ. Дѣлимъ на 12 и получаемъ ровнымъ счетомъ 4 и $\frac{5}{12}$, т. е. на $\frac{1}{12}$ меньше, чѣмъ $4\frac{1}{2}$. И когда твой Семка кончитъ гимназію съ $\frac{5}{12}$ -ми, онъ получитъ кукишъ, а не медаль. А разъ у него не будетъ медали, онъ можетъ сидѣть дома...

— Откуси себѣ языкъ!—скажетъ Сара, а Давидъ плюнетъ, вскочитъ съ мѣста и бѣжитъ на службу къ своимъ бухгалтерскимъ книгамъ.

Сара остается, какъ ошпаренная. Не отъ брани мужа. Извѣстно, онъ—Шапиро, а всѣ Шапиро таковы: семейка сумасшедшихъ. Нѣтъ, Сару волнуетъ совсѣмъ другое. Она боится, что Семкѣ, не дай Богъ, и въ самомъ дѣлѣ не хватитъ $\frac{1}{12}$... Но нѣтъ! Она знать не хочетъ никакихъ счетовъ! $\frac{7}{12}$, $\frac{13}{12}$ —ея Семка долженъ получить

медаль, и кончено! И, надо надѣяться, съ Божьей помощью получить.

— Или нѣтъ на свѣтѣ Бога? Или забылъ Онъ ее?

* *
*

Напрасно Сара Шапиро роптала на Бога. Богъ не забылъ ея, не забылъ какъ разъ теперь, когда ея Семка уже въ третьемъ классѣ, и ему такъ же нуженъ репетиторъ, какъ человѣку нуженъ воздухъ, а лишнихъ денегъ нѣтъ. Хотя Давидъ и на рѣдкость честный человѣкъ и прекрасный бухгалтеръ, да и служитъ-то онъ въ одномъ изъ самыхъ большихъ торговыхъ домовъ въ городѣ, у самыхъ благородныхъ людей, считающихся даже аристократами,—все же тѣ не стѣсняются требовать, чтобы онъ находился въ магазинѣ съ 8-ми утра до 9 вечера. А на дняхъ, когда зашелъ разговоръ о прибавкѣ, ему дали понять, что на его мѣсто смотритъ десятокъ молодыхъ людей съ образованіемъ, молодыхъ людей съ аттестатами! Хорошо еще, что Сара сама готовитъ и все дѣлаетъ дома, хотя и не привыкла къ такой работѣ у своихъ родителей. А при нуждѣ помогаетъ и дочка Бети, въ домѣ и на кухнѣ, хотя она и единственная дочь, и надъ ней приходится дрожать. Ну, какъ тутъ еще думать о репетиторѣ? Но милостивъ Господь Богъ! Заноситъ добрый вѣтерокъ студента, бѣднягу изъ Шклова...

— Бети!—обращается Сара къ дочери, сидя-

щей за книгой.—Бети, нѣтъ его еще, „шлимъ-мазела“-то?

— Видишь, мамаша? Я тебя поймала! А ты говоришь, что не говорила, что онъ „шлимъ-мазелъ“.

Сара, которая была занята только одной мыслью и все время думала только объ одномъ: какъ великъ и многомилостивъ Господь,—сама не замѣтила, что сказала. Она съ удивленіемъ смотритъ на дочь, какъ-будто та выпалила что-нибудь несуразное:

— Богъ съ тобою, Бети! Когда же я сказала „шлимъ-мазелъ“?

— Мамуся,—засмѣялась дочь,—что съ тобою дѣлается? Вѣдь только что ты спросила нѣтъ ли его, этого „шлимъ-мазела“?

Сара глядитъ на дочь, улыбаясь:

— Бети, ты спишь или бредишь?

— Нѣтъ, это ты бредишь, а не я.

Съ минуту мать и дочь смотрятъ другъ на друга молча, готовая расхохотаться. Затѣмъ мать, попрежнему занятая своими мыслями о Богѣ, говоритъ:

— Бети, право же, ты съ каждымъ днемъ становишься все грубѣе. Скоро тебя нельзя будетъ выносить. Можно ли такъ говорить съ матерью? Ахъ, Бети, Бети! Богъ такъ милостивъ къ намъ, слышишь... Что я хотѣла сказать тебѣ? Да, вспомнила. Ты, можетъ быть, спросишь этого „шлимъ“...

т.-е., этого студента, можетъ быть, онъ взялся бы репетитовать васъ обоихъ, тебя и Семку?

— Не репетитовать, а репетировать, — поправляетъ дочь.

— Пусть такъ. Вѣдь ты понимаешь. Лучшаго репетитора и не надо. Съ тѣхъ поръ какъ онъ взялся, Семка пересталъ приносить четверки. Однѣ пятерки! Если бы онъ согласился васъ бы обоихъ репетитовать.

— Репетировать, а не репетитовать, — снова поправляетъ дочь, а мать продолжаетъ:

— Пусть будетъ по-твоему. Я бы ничего не брала съ него за комнату.

— Вотъ какъ? Правда? Ты, видимо, хочешь сдѣлать выгодное дѣльце, мама. Но не забывай, что онъ бѣдный студентъ, живущій уроками, и каждая минута ему дорога. Нельзя всѣхъ эксплуатировать.

Сара чувствуетъ, что дочь права, но ей досадно, зачѣмъ она учитъ мать, зачѣмъ говоритъ объ эксплуатаціи. Ей хочется спросить у дочери, почему она, если ужъ поминать эксплуатацію, не говоритъ о томъ, какъ эксплуатируютъ ея отца, котораго держатъ на работѣ тринадцать часовъ въ сутки, какъ арестанта, и доводятъ до такой нервозности и сумашествія, что съ нимъ нельзя почти разговаривать? Но она не хочетъ заводить разговора потому, во-первыхъ, что та очень дерзка, и потому, во-вторыхъ, что она-таки смыслить больше своей матери. У ней го-

лова отца. Мнѣ бы такого ума, дорогая доченька...

Такъ думаетъ Сара Шапиро, съ любовью смотритъ на дочь и нѣжно говорить:

— Заступайся, заступайся за всѣхъ, только не за свою мать... Тебѣ жаль, если бѣдный студентъ, не дай Богъ, потеряетъ минутку изъ своихъ уроковъ, а бѣдной матери, которая хочетъ, чтобы ея дѣти учились и которой ихъ учить не на что, тебѣ не жаль ни капельки, ни чуточки...

Обѣ, мать и дочь, сидятъ съ минуту молча. Но Сара хочетъ все же провести свой планъ и вновь говорить дочеря:

— Слышишь, Бети? Я рѣшила, если бы онъ взялся репетитовать...

— Репетировать, а не репетитовать.

Сара вскакиваетъ и кричитъ:

— Что за наказаніе Божеское на меня въ это утро! Что бы я ни сказала и какъ бы я ни сказала — все плохо! Да, пусть будетъ по-твоему! Если онъ согласится репетитовать васъ обоихъ, я давала бы ему, кромѣ комнаты, еще ѣду и даже за однимъ съ нами столомъ.

— Мало, значитъ, что онъ слышитъ изъ своей комнаты, какъ ты постоянно ругаешься съ папашей...

— Я постоянно ругаюсь съ папашей?

— Кто же? Ужъ не я ли? Кого папаша называетъ за столомъ дурехой, чучелой, козой лохматой?

— Бети! Ты бы лучше замолчала. Какъ слѣдуетъ замолчала!

— Навсегда? Ты, мама, хочешь, чтобы я онѣмѣла или умерла?

Сара даже руки заломила:

— Пусть онѣмѣютъ и охромѣютъ всѣ враги евреевъ! На тебѣ! Я хочу, чтобы она умерла! Откуси себѣ языкъ, доченька! Нельзя ужъ съ ней слова сказать, накажи меня Господь!

Въ голосѣ матери уже слышны слезы. Сердце дочери смягчается:

— Что же ты хочешь, мамуся?

— Я ужъ ничего не хочу. Довольно.

Мамаша сердится и не хочетъ больше разговаривать, а дочь ласкается къ ней, цѣлуетъ ее, пока обѣ не начнутъ смѣяться.

— Такъ ты ему скажешь, доченька?

— Что сказать?

— Уже забыла! Я же просила тебя. Что если онъ хочетъ репетитовать васъ обоихъ, то ему не будутъ стоить ни столъ ни квартира. Скажешь ему, что...

— Хорошо, скажу, скажу. Пусть онъ раньше самъ устроится. Пусть его примутъ въ университетъ. Сегодня послѣдній день.

— Послѣдній день?

— Послѣдній.

Раздается звонокъ съ наружной дѣри.

— О, это онъ! — говоритъ Бети, чуть-чуть краснѣя, и пускается бѣжать внизъ такъ стре-

нительно, что мать хватается за голову. Но скоро прежнія мысли снова овладѣваютъ ею, и она со вздохомъ говоритъ сама себѣ:

— Живъ Господь-Богъ!

ГЛАВА IV.

Судьба рѣшается.

Въ то самое время, когда въ домѣ Шапиро шелъ вышеописанный разговоръ о квартирантѣ, самъ квартирантъ отправился въ университетъ навѣдаться, какъ его дѣла.

Это былъ послѣдній день, когда рѣшалась судьба студентовъ-евреевъ. Осталось очень мало свободныхъ вакансій на болѣе чѣмъ сто кандидатовъ. Между ними было десятка два медалистовъ, которые собрались въ отдѣльную группу въ большомъ корридорѣ университета. Видъ у нихъ былъ, какъ у новобранцевъ, явившихся къ призыву. Еще неизвѣстно, кто изъ нихъ пойдетъ служить и кто нѣтъ. Это рѣшить жребій, лотерея.

Нашъ кандидатъ въ студенты, благодаря мальчишескому капризу превратившійся изъ счастливаго, свободного, полноправнаго дворянина Григорія Ивановича Попова въ безправнаго шкловскаго мѣщанина Герша Мовшевича Рабиновича,— не сразу, а постепенно сталъ входить во вкусъ того, что значитъ быть сыномъ „Богомъ избраннаго народа“, что значитъ каждый Божій день ходить въ канцелярію университета, видѣть жел-

тое исхудалое лицо секретаря, который терпѣть не можетъ евреевъ, хотя и скрываетъ это, и выслушивать отъ него каждый разъ одну и ту же колкость:

— *Гершъ Мовшевичъ* господинъ Рабиновичъ, я при всемъ моемъ желаніи не могу еще, къ сожалѣнію, сказать вамъ ничего хорошаго...

Все-таки Гершъ Рабиновичъ не могъ этого чувствовать такъ, какъ чувствовали его товарищи, дѣйствительные евреи, которые блуждали, какъ тѣни, въ огромныхъ корридорахъ съ высокими окнами. Что-то выражаютъ ихъ растерянные лица.—не знаетъ онъ что; что-то говорить ему блестящій взглядъ ихъ печальныхъ глазъ,—не понимаетъ онъ ихъ нѣмой рѣчи... Если бы онъ понималъ языкъ этихъ глазъ, онъ могъ бы прочесть въ лицѣ почти cadaго всю исторію его жизни, печальную исторію, цѣлую трагедію, трагедію души, которая съ самага дѣтства жарилась на медленномъ огнѣ нищеты, заброшенности, нужды, отравленная несправедливой расовой ненавистью, всевозможными оскорбленіями, униженіями, змѣинымъ ядомъ злобы и дыханіемъ смерти...

Между этими униженными и оскорбленными, между этими новобранцами-кандидатами у Рабиновича всего двое знакомыхъ, Тумаркинъ и Лапидусъ.

Знакомство съ Тумаркинымъ у него произошло нѣсколько дней тому назадъ, на этомъ же

мѣстѣ въ университетскомъ корридорѣ. Тумаркинъ съ первой минуты понравился ему своей живостью, мягкостью, разговорчивостью. На его прозрачно-блѣдномъ лицѣ постоянно блуждаетъ улыбка. Глаза, хоть и подернутые дымкой печали, постоянно смѣются. Черные блестящіе волосы вьются, какъ у молодого барашка. Даже маленькая, только что пробившаяся борода вьется у него, да къ тому же во время разговора онъ обыкновенно быстро-быстро завиваетъ каждый волосокъ своими тонкими бѣлыми гальцами. Прибавьте къ этому немного изогнутой носъ, сильно сутулую спину, бумажную манишку, полинявшій галстучекъ, поношенный пиджачекъ, стоптанные ботинки и ветхую шапченку—вотъ вамъ и цѣликомъ портретъ этой траги-комической фигуры.

Въ первый моментъ, когда Рабиновичъ-Поповъ увидѣлъ его, у него екнуло сердце. Ему показалось, что это Юська-папиросникъ съ его тонкими пальцами, — единственный еврей, котораго онъ зналъ въ своемъ городѣ.

Замѣтивъ, что на него смотрятъ, Тумаркинъ подошелъ, протянулъ тонкую руку и, улыбаясь, назвалъся:

— Тумаркинъ.

Тутъ только Рабиновичъ замѣтилъ свою ошибку и тоже представился:

— Рабиновичъ.

Услыхавъ фамилію Рабиновичъ, Тумаркинъ

обрадовался и сразу началъ говорить со своимъ новымъ знакомымъ по-еврейски:

— Миръ вамъ, братъ. Откуда вы? Какія у васъ отмѣтки? Сколько недостаетъ? Который вы по счету?

— Извините, вы говорите на языкѣ, который мнѣ... который я не понимаю.

Тумаркинъ даже сдѣлалъ шагъ назадъ:

— Но вы же ев...

— Еврей? Ну, разумѣется. Не будь я еврей, я бы не стоялъ вотъ здѣсь, а давно былъ бы тамъ...

И онъ указалъ рукой вверхъ, куда по желѣзной лѣстницѣ поднималась цѣлая толпа счастливыхъ, уже принятыхъ студентовъ. Ему пришлось еще разъ повторить придуманную ложь, что, такъ какъ-де онъ учился въ русскомъ городѣ, далеко отъ родителей, то совершенно забылъ родной языкъ... При этомъ у него горѣло лицо, что Тумаркинъ прнялъ по-своему и принялся его утѣшать: „Куда только ни попадаютъ еврей? И кого это касается,—умѣешь ты или не умѣешь говорить по-еврейски? Разъ ты еврей, ты обязанъ нести иго и терпѣть все; что на роду написано“. Рабиновичъ чувствовалъ, какъ все сильнѣе горитъ у него лицо, а Тумаркинъ не переставалъ утѣшать:

— Глупости! Вы не должны стыдиться того, что не понимаете родного языка. Я легко себѣ это представляю. Вы родились въ русскомъ го-

родѣ, выросли среди русскихъ, вѣроятно, безъ родителей, и, какъ мнѣ кажется, нѣтъ ничего, что бы связывало васъ съ еврействомъ, кромѣ вашего имени — Рабиновичъ. И все же я ставлю васъ выше тѣхъ, кто не выдерживаетъ и бросается съ закрытыми глазами въ воду, перебѣгаетъ отъ угнетенныхъ къ угнетателямъ. О, на тѣхъ я золь! Такихъ господъ я разорвалъ бы на части! Видите вы этого франта съ хлыстикомъ? Лapidусъ по фамилии. Это одинъ изъ тѣхъ гнусныхъ трусовъ, что бѣгутъ при первой опасности, что готовы продать свою совѣсть, свой народъ, своего Бога ради карьеры... Тише, онъ идетъ сюда, къ вамъ, вы, видимо, съ нимъ знакомы? Я бы совѣтовалъ подальше держаться отъ него...

* * *

Тумаркинъ исчезаетъ, а на его мѣстѣ появляется Лapidусъ, франтъ съ хлыстикомъ.

— Что слышно у васъ, Рабиновичъ? Нѣтъ еще новостей? Я слыхалъ, что съ $\frac{5}{12}$ не пройдетъ ни одинъ... О чемъ говорилъ съ вами этотъ фанатикъ?

— Какой фанатикъ?

— Вотъ этотъ черный котъ съ кудряшками... Терпѣть не могу этихъ сіонистовъ!

— Почему же вы злы на сіонистовъ? — спросилъ Рабиновичъ, самъ еще не зная, что это за сіонисты.

— Развѣ вы ихъ не знаете? Не знаете, что

это шовинисты, которымъ хотѣлось бы, чтобы всѣ думали, какъ они?

Хотя знакомство это завязалось всего со вчерашняго дня, но Лapidусъ взялъ Рабиновича за пуговицу, совсѣмъ по-еврейски, и началъ осыпать страшными ругательствами Тумаркина и всѣхъ сіонистовъ:

— Терпѣть ихъ не могу, этихъ Божьихъ угодниковъ! Ну, что имъ за дѣло, если нѣсколько несчастныхъ перейдутъ въ христіанство, чтобы перестать вертѣться по сю сторону, какъ мы съ вами... Я спрашиваю васъ, къ чему и для чего мы страдаемъ,—я и вы, вы? И до какихъ поръ мы будемъ такъ слоняться,—я и вы, вы?

Причесанный, прилизанный, одѣтъ съ иголки, глаза оловянные, брови вверхъ, борода рыжая, заостренная, зубы бѣлые, ротикъ словно на винтикахъ, а когда говорить—заканчиваетъ на „вы“, что должно означать „а?“ — вотъ Лapidусъ.

* * *

Въ это утро Лapidусъ былъ очень и очень не въ духѣ. Онъ искалъ на комъ бы сорвать сердце и былъ доволенъ, что подвернулся сіонистъ Тумаркинъ. На самомъ дѣлѣ онъ былъ сердитъ не на Тумаркина и не на сіонистовъ, которые ему ничего дурного не сдѣлали. Лapidусъ сердился, *во-первыхъ*, на то, что у него нѣтъ медали. *Во-вторыхъ*, на то, что его не принимаютъ въ уни-

верситетъ. *Въ-третьихъ*, на то, что ему приходится здѣсь тереться и не можетъ онъ не тереться изъ-за матери. Его мать не снесетъ того, что онъ собирался сдѣлать, — это ему хорошо было извѣстно,—и что въ концѣ концовъ онъ долженъ будетъ сдѣлать... Бѣдный Лapidусъ искалъ, съ кѣмъ бы отвести душу, а Рабиновичъ нравился ему тѣмъ, что хотя у него и была еврейская внѣшность, но не было еврейской привычки залѣзать сапогомъ въ самую душу...

— Хорошо вамъ, Рабиновичъ, у васъ есть медаль, и вы можете быть увѣреннымъ, что попадете. Попробовали бы вы побыть на моемъ мѣстѣ. У меня мать-старуха да сестра-подростокъ, обѣ на моихъ плечахъ, и вся надежда ихъ на меня, что когда-нибудь кончу и буду докторомъ. А пока мы всѣ трое должны жить на то, что у меня есть урокъ у богатаго русскаго, да и то по секрету—не дай Богъ справятся въ гимназій! Не знаю,—всякій другой на моемъ мѣстѣ, взять бы того же Тумаркина, не перешелъ ли бы давно въ христіанство, и кто рѣшился бы осудить его? Что вы скажете на это, гы?

Что онъ скажетъ на это? Онъ и самъ не знаетъ. Онъ только стоитъ и думаетъ о всѣхъ этихъ Тумаркиныхъ и Лapidусахъ, что вся ихъ жизнь, какъ видно, въ медали... Даже его хозяйка Шапиро и спитъ и видитъ медаль для ея Семки, и непремѣнно золотую... Какой это странный на-

родъ! Словно, кромѣ гимназій, кромѣ медали, кромѣ университета, для нихъ ничего не существуетъ. Словно по ту сторону университета для нихъ кончается міръ,—странный, странный народъ!

И Рабиновичъ вспоминаетъ, что, когда еще онъ былъ Поповымъ, у него было совсѣмъ другое мнѣніе объ этомъ народѣ. Онъ слыхалъ, что у него только одна святыня, и эта святыня—*деньги...*

Вдругъ вся группа кандидатовъ, медалистовъ и не-медалистовъ, сорвалась съ мѣста и пустилась къ дверямъ канцеляріи. Что случилось? Секретарь пришелъ!.. Сегодня рѣшается судьба. Сегодня послѣдній день. Сегодня можно будетъ узнать точно, кто принять и кто нѣтъ. Сразу поднимается шумъ и суматоха. Цѣлая сотня молодыхъ людей евреевъ, всѣхъ классовъ и видовъ, столпилась въ тѣсномъ помѣщеніи и набросилась на одного несчастнаго,—блѣднаго, выжатаго, какъ лимонъ, секретаря университета. Вотъ-вотъ его разорвутъ! У cadaго есть что сказать, и каждому хочется поскорѣе узнать свою судьбу.

Рабиновичъ былъ однимъ изъ послѣднихъ, кому удалось добратъся до секретаря. Съ желтымъ измученнымъ лицомъ, опустивъ глаза, тотъ спросилъ его, какъ всѣхъ, коротко и сухо:

— Ваше имя?

— Рабиновичъ.

Секретарь сталъ рыться въ кучѣ бумагъ и произнесъ сдавленнымъ голосомъ:

— Рабиновичъ, Гершъ Мовшевичъ? Хотите взять свои бумаги сейчасъ же, или послать ихъ вамъ черезъ полицію?

— То есть, какъ?—переспросилъ Рабиновичъ съ такимъ удивленіемъ, будто онъ не понималъ, что ему говорятъ. Желтое вялое лицо секретаря стало еще болѣе измученнымъ и какъ бы сказало: „И чего хотятъ отъ меня надоѣдливые евреи?“ Секретарь разъяснилъ, что Рабиновичъ можетъ взять свои бумаги, такъ какъ до его номера очередь не дошла: пріемъ евреевъ согласно процентной нормѣ закончился...

— Поняли вы это, господинъ *Гершъ Мовшевичъ* Рабиновичъ, или еще нѣтъ?

Не получивъ отвѣта, секретарь обратился къ слѣдующему:

— Ваше имя?

А. Рабиновичу онъ мимоходомъ бросилъ:

— Вы можете итти. Ваши документы получите черезъ полицію.

ГЛАВА V.

Тринадцать медалистовъ.

Въ первую минуту, когда Рабиновичъ узналъ, что остался за бортомъ, онъ почувствовалъ себя странно по-новому. Но не успѣлъ онъ какъ слѣдуетъ обдумать положеніе, отдать себѣ отчетъ

и осмотрѣться, какъ встрѣтился со своими новыми знакомыми,—сначала съ расфранченнымъ Лapidусомъ, затѣмъ съ траги-комическимъ Турмаркинымъ.

— Ну?—остановилъ его Лapidусъ съ иронической улыбкой, взялъ его за рукавъ и посмотрѣлъ прямо въ глаза, будто онъ уже зналъ, что Рабиновичъ не приметъ, и былъ очень этимъ доволенъ.—Что я вамъ говорилъ, гы? Стоило вамъ восемь лѣтъ работать, добиваться медали!... Нѣтъ, я сдѣлаю иначе. Я съ ними расчитаюсь! Пусть они лопнутъ, а я буду студентомъ! И кромѣ того, что я самъ попаду въ университетъ, изъ-за меня должны будутъ принять еще одного еврея, можетъ быть, какъ разъ васъ, Рабиновичъ, какъ вы думаете, гы?

По тому, какъ Рабиновичъ смотрѣлъ на него, Лapidусъ видѣлъ, что тотъ совершенно не понимаетъ, какъ онъ, Рабиновичъ, сможетъ изъ-за него, Лapidуса, попасть въ университетъ. Тогда онъ взялъ его за пуговицу и принялся излагать свою теорію процентной нормы.

Смысль ея былъ таковъ. Въ университетъ евреевъ принимаютъ въ размѣрѣ 10⁰/. Это выходитъ, что на девять не-евреевъ принимается одинъ еврей. И такъ какъ онъ, Лapidусъ, узналъ, что недостаетъ одного нееврея, чтобы можно было принять десятаго еврея, то онъ, Лapidусъ, будетъ этимъ самымъ девятымъ, а Рабиновичъ десятымъ...

Эта комбинація такъ сильно понравилась Лapidусу, что онъ, ударивъ себя по лбу, преподнесъ самому себѣ комплиментъ: у него-де, Лapidуса, голова работаетъ...

— Правда, идея, гы?—спросилъ онъ Рабиновича, но не получилъ на это отвѣта, такъ какъ Рабиновичъ былъ занятъ своимъ вторымъ знакомымъ, Тумаркинымъ, который стоялъ въ кругу молодыхъ людей и дѣлалъ ему знакъ подойти. Рабиновичъ извинился передъ Лapidусомъ и пошелъ къ Тумаркину. Тотъ представилъ его своимъ товарищамъ:

— Вотъ вамъ еще жертва... Тоже медалистъ. Прошу любить и жаловать! Славный малый, хотя и не понимаетъ ни слова по-еврейски, несмотря на свою еврейскую фамилію — Рабиновичъ.

— Вотъ такъ феномень! — отозвался одинъ изъ компаніи, юноша изъ Пинска, съ энергичнымъ веснушчатымъ лицомъ, въ бѣломъ лѣтнемъ костюмѣ, который не подходилъ ни къ сезону ни къ лицу. — Еврея, который носитъ фамилію „Рабиновичъ“ и не понимаетъ ни слова по-еврейски, можно выставлять на выставкѣ или показывать за деньги. Могу пари держать на сколько хотите, что между ста тридцатью миллионами русскихъ не найдется ни одного, кто назывался бы Поповымъ и ни слова не зналъ бы по-русски.

Шутка пинскаго юноши прошла незамѣченной. Не до смѣха было. Мысли у всѣхъ вер-

тѣлись только вокругъ университета, нормы, медали, вакансіи и опять университета, нормы, медали.

И если кто былъ пораженъ этой шуткой, такъ это Рабиновичъ, и поразила онъ не столько шуткой, сколько тѣмъ, что въ качествѣ примѣра приведена была какъ разъ его фамилія. Почему тому пришелъ въ голову именно Поповъ? Почему не Ивановъ? Не Сидоровъ?

Долго думать объ этомъ ему, однако, не дали. Тумаркинъ сказалъ, что теперь остался лишь одинъ путь: всѣ медалисты въ складчину должны послать министру хорошую, теплую телеграмму и притомъ сейчасъ же, немедленно.

— Евреи, сколько насъ здѣсь?—спросилъ Тумаркинъ и началъ считать маленькой бѣлой рукой:—Разъ, два, три, четыре... девять, десять, одиннадцать, двѣнадцать, тринадцать. Тринадцать медалистовъ!

— Тринадцать?—подхватилъ пинскій юноша:— Не хорошее число! Боюсь, что одинъ изъ насъ долженъ будетъ креститься...

И эта шутка пропала даромъ. Никто даже не улыбнулся. Телеграмму министру—это, можетъ быть, и планъ, да кусается. Большинству не только что за телеграмму—за чашку кофе заплатить часто не легкая задача...

— Сколько это должно стоить, и по сколько придется на брата?—спросилъ одинъ паренекъ съ голоднымъ лицомъ и испуганными глазами.

— Я беру на себя телеграмму,—вызвался Рабиновичъ и покраснѣлъ, потому что всѣ двѣнадцать паръ глазъ съ любопытствомъ уставились на него, а пинскій юноша не могъ удержаться, заглянулъ ему въ лицо и принялся острить:

— Изъ какихъ это вы, въ сущности, Рабиновичей? И какъ вамъ приходится, напримѣръ, Ротшильдъ? Какія акціи даютъ больше дивиденда и въ какомъ банкѣ, думаете вы, мнѣ лучше открыть текущій счетъ?

Хорошо еще, что всѣ эти шуточки были сказаны по-еврейски, на языкѣ, для Рабиновича непонятномъ, а то бы онъ совсѣмъ сконфузился.

— Не въ томъ дѣло,—отозвался Тумаркинъ,— сколько должна стоить телеграмма и кому платить. Платить будутъ всѣ, кто можетъ, а кто не можетъ, за того заплатятъ товарищи. Суть въ томъ, каково должно быть содержаніе телеграммы и гдѣ намъ собраться? Я бы предложилъ прямо отсюда пойти въ наиболѣе дешевую столовую, къ вегетаріанцамъ. Товарищи, что вы на это скажете?

— Къ вегетаріанцамъ! Къ вегетаріанцамъ!—подхватило нѣсколько голосовъ, и всѣ тринадцать медалистовъ отправились въ вегетаріанскую столовую.

* *
*

Закончивъ довольно сытный завтракъ и найдя послѣ осмотра счета, что идея вегетаріанства

въ самомъ дѣлѣ превосходна и что ее слѣдуетъ пропагандировать повсемѣстно, не столько ради заповѣди „не убій“, — что само по себѣ великое дѣло, — сколько потому, что это доступно, чѣмъ всѣ мясные обѣды, — медалисты составили теплую телеграмму министру, больше чѣмъ въ двѣсти словъ. Потомъ вождь тринадцати, Тумаркинъ, всталъ съ мѣста, величественно налилъ себѣ изъ графина бокаль воды и произнесъ, правда, по-русски, но сильно картавя, рѣчь, которую мы здѣсь приводимъ дословно:

— Товарищи! Когда тринадцать медалистовъ-евреевъ, не попавшихъ по грѣхамъ своимъ, въ качествѣ потомковъ Авраама, Исаака и Іакова, въ храмъ науки, когда тринадцать такихъ героевъ собираются въ вегетарианскомъ ресторанѣ покутить, — я могу, кажется, позволить себѣ предложить тостъ и выпить такого напитка, котораго сколько ни пей, никогда не опьянѣешь...

Я хочу сказать, что вотъ этотъ бокаль и этотъ трезвый напитокъ есть символъ отчужденности того трезваго народа, изъ котораго мы всѣ тринадцать происходимъ и съ которымъ мы не хотимъ разстаться, несмотря на всѣ бѣды и несчастія, всѣ мученія и униженія, которыя мы терпимъ, можно сказать, съ самаго момента пробужденія въ насъ сознанія и до сего дня. Нѣтъ! Мы не хотимъ разстаться со своимъ народомъ! Я иду еще дальше, я говорю: мы не можемъ разстаться съ нимъ, если бы даже захотѣли.

Я могъ бы привести вамъ, товарищи, массу примѣровъ того, какъ крѣпко въ насъ еврейство, какъ прочно наше національное чувство. Но зачѣмъ далеко ходить за примѣромъ, который такъ близко? Среди насъ, тринадцати медалистовъ, есть одинъ товарищъ изъ центральной Россіи, еврей, который не понимаетъ ни слова по-еврейски, хотя и носить еврейское,—я бы сказалъ даже: слишкомъ еврейское имя, ибо что можетъ быть болѣе еврейскимъ, чѣмъ имя Рабиновичъ? И спросите-ка, что связываетъ его съ еврействомъ? Что удерживаетъ его сдѣлать одинъ шагъ, одинъ только шагъ, чтобы сразу избавиться отъ всѣхъ несчастій, мученій и униженій? Я увѣренъ, что и самъ онъ не сумѣетъ дать вамъ ясный отчетъ въ этомъ!

Хотите вы, чтобы я сказалъ вамъ, въ чемъ тутъ дѣло? Хотите вы, чтобы я указалъ, гдѣ та сила, которая такъ крѣпко насъ связываетъ? Боюсь, что сила эта не въ насъ, а внѣ насъ.

То, что мы такъ упорно стремимся къ источнику мудрости, свѣта и знанія, что всѣ мы поголовно хотимъ быть образованными,—не наша вина, а вина тѣхъ, кто насъ не допускаетъ, кто насъ систематически гонитъ. А пусть широко откроютъ намъ двери,—и вы увидите, какъ быстро исчезнетъ вся наша страсть къ наукамъ. А пусть заставятъ насъ учиться,—и вы увидите, какъ быстро остынетъ весь нашъ пылъ...

Вы можете считать мои слова парадоксомъ и

смѣяться еще больше, чѣмъ смѣтесъ. А я скажу вамъ еще разъ: страсть къ наукамъ у насъ только потому, что насъ недопускають къ ея источникамъ.

Есть очень распространенная шутка, правда, банальная, но вѣрная. Говорять, если бы вышелъ законъ, что съ 1 января нельзя будетъ переходить въ христіанство, то 31 декабря выкрестовъ было бы—хоть прудъ пруди!

Товарищи! Это шутка, плоская шутка, но вмѣстѣ съ тѣмъ печальная истина. Посмотрите, больше, чѣмъ когда-либо, наши братья спѣшатъ переходить въ христіанство. И знаете, почему? Потому что, какъ говорятъ, скоро будутъ затрудненія для крещеныхъ евреевъ... Они боятся, что скоро ужъ нельзя будетъ... что, можетъ быть, установятъ процентную норму для перехода въ христіанство... Господа! Тѣ, что торопятся бѣжать отъ насъ, трусы. Подлые трусы! Намъ ихъ не жаль. И насъ не страшить, если мы уменьшаемся въ числѣ. Да, насъ становится меньше количественно, но мы растемъ качественно, духовно, и ведемъ нашу борьбу съ еще большей гордостью, съ еще большей энергіей, чѣмъ вели до сихъ поръ!

Нашимъ оружіемъ изстари была и будетъ впредь *книга*.

Я пью, товарищи, за наше вѣчное оружіе, за книгу и за нашихъ борцовъ, которые не знаютъ ни страха ни усталости и не складываютъ оружія.

Да здравствуетъ книга! Уррра!

ГЛАВА VI.

„Право-жительства“.

Хотя тринадцать медалистовъ за обѣдомъ у вегетаріанцевъ пили воду, а не вино, все же Рабиновичъ шелъ домой странно веселымъ. Онъ чувствовалъ, что у него кружится голова и шумить въ ушахъ отъ всего того, что онъ видѣлъ и слышалъ за послѣдніе дни среди своихъ новыхъ товарищей. Сколько различныхъ мнѣній и рѣчей! Но дать себѣ отчетъ во всемъ этомъ онъ еще не могъ.

Одно для него было ясно, — фактъ, что онъ не студентъ... Ему обѣщали прислать бумаги черезъ полицію... Ладно. Но что будетъ дальше?

Этотъ страшный вопросъ, сверлившій голову всѣмъ остальнымъ кандидатамъ-евреямъ, не дававшій имъ ни ѣсть ни спать, въ немъ вызывалъ только простое любопытство. Ему лишь интересно было знать, что будетъ дальше? И чѣмъ вообще кончится эта комедія, что всѣ принимаютъ его за еврея и вѣрятъ, что онъ не Гриша Поповъ, а Гершко Рабиновичъ, ха-ха-ха? Онъ самъ даже не ожидалъ, чтобы ему удалось играть свою роль такъ выдержанно и мастерски!

Довольный собою, онъ позвонилъ къ себѣ на квартиру и просилъ Бога, чтобы открыла ему Бети, смуглая, хорошенькая Бети, съ ея умными карими глазами и лукавыми ямочками на щекахъ.

Больше того, онъ загадалъ въ эту минуту, — если откроеть ему Бети, это будетъ означать, что она его любитъ, а если кто другой?..

Не успѣлъ еще онъ закончить своей мысли, какъ дверь открылась, и предъ нимъ стояла Бети...

— Значить, она меня любитъ? — было первой, промелькнувшей у него мыслью. — Да, она меня любитъ такъ же, какъ и я ее... — отвѣтилъ онъ самому себѣ, поднимаясь вмѣстѣ съ ней по лѣстницѣ.

Увидѣвъ, какъ у квартиранта пылаютъ щеки и блестятъ глаза, Бети рѣшила, что сейчасъ услышитъ пріятную новость. Мысленно она уже видѣла его въ студенческой формѣ съ блестящими золотыми пуговицами, и ей хотѣлось представить себѣ, какимъ онъ будетъ въ новомъ мундирѣ...

— Ну, какъ дѣла? — спросила Бети, заглядывая въ его счастливые глаза.

— Очень хороши! Великолѣпны! — отвѣчалъ онъ, любуясь ея яснымъ личикомъ и прелестными глазами и все думая о счастливой загадкѣ, которую только что загадалъ...

— Можно, значить, поздравить васъ? — спросила Бети и дружески протянула руку.

— Съ чѣмъ поздравить? — спросилъ онъ въ свою очередь и взялъ ея теплую и нѣжную руку.

— Съ тѣмъ, что вы приняты въ университетъ! Бѣдному квартиранту страшно не хотѣлось вы-

пускать дорогую руку и онъ медлилъ съ отвѣтомъ. Но въ концѣ концовъ долженъ былъ сказать правду. Съ университетомъ его еще рано поздравлять, потому что... потому что пріемъ евреевъ закончился, и документы ему обѣщали прислать черезъ полицію...

— Что?!—вскрикнула Бети, всплеснувъ руками, такъ громко, что мадамъ Шапиро, работавшая на кухнѣ, влетѣла съ засученными руками ни жива ни мертва:

— Что такое? Что случилось?—спросила она съ такими испуганными глазами, что дочери пришлось ее успокаивать:

— Ничего, ничего не случилось... Знаешь, мамаша, вѣдь его не приняли въ университетъ,—указала она на квартиранта съ такимъ печальнымъ видомъ, будто сообщала ей, что его переѣхало автомобилемъ и оторвало ногу.

— Ай, горе мнѣ!—протянула мадамъ Шапиро по-еврейски и посмотрѣла на квартиранта такими глазами, точно ему отрѣзало не одну ногу, а обѣ ноги и обѣ руки.—Что же теперь будетъ?! Горе мнѣ, горе мнѣ!..

Въ одну минуту у нея промелькнули три мысли, одна другой мрачнѣе. Во-первыхъ, что онъ будетъ дѣлать безъ „права-жительства“? Во-вторыхъ, какъ останется комната безъ квартиранта? А главное, въ-третьихъ, что они будутъ дѣлать безъ репетитора?

— Горе мнѣ, горе мнѣ! Вотъ „шлимъ-мазель“!

Не везеть же!—не переставала ломать руки мадамъ Шапиро, глядя на квартиранта и оплакивая его, какъ нѣжная мать. И хотя квартирантъ ни слова не понялъ изъ того, что она говорила, но по ея несчастному лицу, по ея плаксивому голосу, по ломанію рукъ, онъ видѣлъ, что его оплакиваютъ. Онъ взялъ ее за обѣ руки и хотѣлъ успокоить:

— Успокойтесь, матушка, успокойтесь...

Но мадамъ Шапиро и не думала успокаиваться. Она обратилась къ дочери:

— Что за матушка? Какая тамъ матушка? Спроси его, „шлимъ-мазела“, что онъ теперь будетъ дѣлать-то безъ „права-жительства“?

Изъ всей этой фразы квартирантъ понялъ лишь одно слово: „право-жительства“.

— „Право-жительства“, матушка, пустяки!—сказалъ онъ ей, тронувъ за плечо, что вызвало улыбку у всѣхъ троихъ.

— Что съ него возьмешь?—жаловалась мадамъ Шапиро дочери опять по-еврейски, чуть не со слезами на глазахъ.—Ну, а ты еще сердилась на меня, что я называю его „шлимъ-мазелъ“...

— Что значитъ „шлимазать“—спросилъ квартирантъ у дочери, думая, должно быть, что это имѣетъ отношеніе къ „праву-жительства“.

Слово „шлимазать“ вызвало веселый смѣхъ у обѣихъ женщинъ, а квартирантъ, любуясь маленькими жемчужными зубами Бети, хотѣлъ по-

казать, что хоть онъ и не говоритъ по-еврейски, но понимаетъ—понимаетъ почти каждое слово.

— Если дѣло въ томъ, чтобы „помазать“, такъ мы ужъ „мазнемъ“!—проговорилъ онъ и показалъ рукой, какъ онъ мазнетъ... Это вызвало у матери и дочери такой громкій смѣхъ, что, глядя на нихъ, разсмѣялся и самъ квартирантъ.

— Что за смѣхъ на васъ напалъ?—сурово оѣрушился на нихъ Давидъ Шапиро, вбѣжавъ, какъ вихрь, безъ звонка,—ключъ отъ двери у него всегда съ собой.—Почему у васъ такъ весело?... Можно его поздравить?—обратился онъ къ женѣ и дочери, указывая на квартиранта.

Это вызвало новый взрывъ смѣха. Всѣ трое такъ и заливались, не въ силахъ удержаться, а Давидъ стоялъ и сурово смотрѣлъ на нихъ, не желая даже улыбнуться.

Вкратцѣ дочь рассказала ему о несчастіи, постигшемъ квартиранта. Давидъ схватился за голову и не хотѣлъ вѣрить. Не можетъ быть! Вѣдь онъ медалистъ!.. Затѣмъ онъ обратился къ женѣ:

— Видишь? А ты твердишь день и ночь: медаль, медаль... Вотъ тебѣ и медаль!

И не слушая, что ему отвѣтятъ, онъ почесалъ за ухомъ, сильно наморщилъ лобъ и сказалъ самому себѣ:

— Ай-ай-ай! Приготовься, Давидъ, есть у тебя забота! Большая забота!

Въ вопросахъ „права-жительства“ Шапиро былъ спеціалистомъ, можно сказать, гениемъ. Поэтому Шапиро, а не кто другой, со всей энергіей принялся доставать для своего квартиранта „право-жительства“, да такое, „чтобъ съ шикомъ“!

— Молодой человѣкъ, у котораго есть аттестатъ гимназіи и медаль,—сказалъ Шапиро квартиранту; какъ только ему принесли документы изъ полиціи, причемъ самъ Шапиро такъ дрожалъ, что зубъ на зубъ не попадалъ,—такой молодой человѣкъ, говорю я, не долженъ безпокоиться изъ-за „права-жительства“. Хоть десять заразъ! Гдѣ это сказано; что Гершъ Рабиновичъ долженъ быть докторомъ медицины? А если онъ будетъ только „зубнымъ докторомъ“, этого ему мало?

И Шапиро отправился съ квартирантомъ въ зубо-врачебную школу, сговорился и мигомъ записалъ его въ дантисты.

Но это говорится только: мигомъ. Работы было не мало. Бумаги, бумаги и бумаги! Но Шапиро такія вещи не пугаютъ. Онъ, изволите ли видѣть, человѣкъ бывалый, собаку на этомъ съѣлъ, онъ—битая собака,—какъ онъ самъ про себя говоритъ. Чего только не натерпѣлся онъ съ тѣхъ поръ, какъ поселился въ этомъ бого-спасаемомъ городѣ, пока не получилъ, наконецъ, законное „право-жительства“, благодаря тому что Семка поступилъ въ гимназію!

--- Жаль, что вы слабы въ нашемъ языкѣ,—

говорилъ онъ квартиранту, послѣ того какъ они побывали у дантиста и въ полиціи, гдѣ вышли большія непріятности, такъ какъ на паспортѣ уже поставили красный штампель: „на выѣздъ въ двадцать четыре часа“.—О, если бы вы понимали нашъ языкъ и умѣли бы писать по-еврейски, то могли бы написать о моемъ „правѣ жительства“ во-какую книгу!

И Шапиро показалъ рукою отъ пола почти до потолка... И хотя квартирантъ, „слабоватый въ нашемъ языкѣ“, не могъ бы написать „во какую книгу“ по-еврейски, все же Шапиро рассказалъ ему такъ много страшныхъ и странныхъ исторій, комическихъ эпизодовъ, удивительныхъ происшествій, что если бы при этомъ не было мадамъ Шапиро и, главное, Бети, то квартирантъ могъ бы подумать, что его хозяинъ фантазируетъ, выдумываетъ небылицы. Какъ можно повѣрить, чтобы человѣкъ, будь онъ даже Голиафомъ, Самсономъ или хоть Ильей Муромцемъ, могъ перенести въ такое короткое время такую массу бѣдъ, непріятностей, преслѣдованій—и не имѣть ни одного сѣдого волоса?

Сколько разъ, думаете вы, этотъ Давидъ Шапиро былъ высланъ изъ Петербурга, Москвы и другихъ городовъ? Сколько разъ ходилъ онъ по этапу, скованный рука объ руку съ разными ворами, разбойниками и головорѣзами? Въ сколькихъ, примѣрно, тюрьмахъ онъ побывалъ и съ какими только преступниками не знался? И за

что? Все за одинъ единственный грѣхъ, за то, что дѣдъ его заупрямился и не захотѣлъ перемѣнить свой жребій!... А здѣсь, въ этомъ богоспасаемомъ городѣ, сколько разъ, думаете вы, находился онъ въ опасности быть высланнымъ? И кто можетъ поручиться, что теперь онъ уже внѣ опасности? Что сегодня ночью не придутъ къ нему, не разбудятъ со сна и не попросятъ— „фуръ-фуръ на Бердичевъ“, какъ это не разъ бывало въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ городахъ...

Шапиро, не переставая, рассказываетъ о чудесахъ въ области „права-жительства“, а квартирантъ слушаетъ и думаетъ: „Боже мой, что за ужасъ! Ихъ гонятъ, преслѣдуютъ, какъ собакъ, а они хоть бы протестовали! Шапиро вѣдь не единственный, весь народъ его такой... Если протестуетъ одинъ человѣкъ, это—гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Но если бы народъ, цѣлый народъ поднялъ голосъ, крикъ его, кажется, былъ бы слышенъ изъ конца въ конецъ свѣта... Небеса задрожали бы!... Станный народъ... Вотъ сидитъ еврей Шапиро, человѣкъ, кажется, какъ всѣ, и разсуждаетъ о „правѣ-жительства“! То есть, о такомъ правѣ, которое есть не только у каждаго человѣка, но у каждаго звѣря. Такъ нѣтъ же,—у него хватаетъ еще духу говорить въ такомъ тонѣ: „фуръ-фуръ на Бердичевъ“!

— Какъ это возможно, — спрашиваетъ онъ Шапиро, — чтобы васъ выслали? А гдѣ же ваше „право-жительства“?

— Мое „право-жительства“, ха-ха-ха!—заливается Шапиро. — Что значитъ мое „право-жительства“? Какъ я могу сказать, на примѣръ: моя рука? или моя нога? Рука—моя, пока я пишу ею или ѣмъ ею. Нога—моя, пока хожу на ней. А захочетъ Господь отнять у меня вотъ эту руку или вотъ эту ногу, — чьи онѣ тогда будутъ? Точь-въ-точь такъ и съ „правомъ-жительства“. Пока законъ, по которому родители, дѣти коихъ обучаются въ гимназiи имѣютъ право жить съ ними, остается закономъ,—хорошо. Но вотъ отыскивается мудрецъ и указываетъ, что, согласно ясному смыслу закона, обучаться въ гимназiи могутъ только тѣ дѣти, у родителей коихъ есть „право-жительства“, — тогда что? Понимаете эту премудрость? Но какъ, спрашивается, могу я имѣть „право-жительства“ прежде, чѣмъ мнѣ его дали? Вдумайтесь-ка толкомъ! Это все равно, если бы вы меня спросили, примѣрно, какъ я могъ родиться раньше, чѣмъ мои отецъ и мать появились на свѣтъ? Или, какъ говорятъ наши талмудисты, какъ могли быть сдѣланы первые желѣзные щипцы, если для того, чтобы держать ихъ на огнѣ, въ свою очередь нужны были щипцы? Понимаете, какъ это тонко? Ну, что же вы молчите?—говоритъ Шапиро квартиранту, толкая его локтемъ въ бокъ.

Что можетъ онъ сказать на это? Онъ слушаетъ и руками разводитъ. Коль скоро по поводу такой возмутительной вещи, какъ „право-

жительства“, возможна такая странная философія о рукѣ и ногѣ съ изреченіемъ изъ талмуда о шипцахъ, — у него нѣтъ больше словъ! И къ тому же напротивъ него за столомъ сидитъ Бети, будто бы читая книгу, но онъ увѣренъ, какъ дважды два, что она, хоть и смотритъ въ книгу, а отлично видитъ, какъ онъ глазъ съ нея не сводитъ, и очень хорошо знаетъ, что онъ думаетъ о ней. Еще сегодня утромъ онъ, проходя мимо, бросилъ ей: „Бети, мнѣ надо поговорить съ вами“... И хотя онъ ничего не успѣлъ сказать, такъ какъ въ ту же минуту появилась мать и объявила ему радостную новость, — Семка ея принесъ сегодня изъ гимназіи двѣ пятерки, — но и этого было достаточно, чтобы та зардѣлась, какъ послѣдній лучъ заходящаго солнца... Ничего, Бети настолько умна, чтобы понимать, какъ онъ ее любитъ и какъ она ему дорога...

И не только Бети, даже мать ея стала въ эту минуту мила и дорога ему. Мадамъ Шапиро сообщила ему сегодня другую новость, которая была для него гораздо важнѣе Семкиныхъ пятерокъ. Воспользовавшись моментомъ, когда дочери не было дома, она сказала квартиранту, что у нея есть къ нему дѣло.

— Какое?

— Вотъ какое. Я хочу, чтобы вы репетитовали (не было Бети, чтобы поправить!) мою дочь, какъ репетитуете моего сына. Платить я вамъ

не могу. Но могу давать за это обѣдъ и ужинъ бесплатно...

Рабиновичъ-Поповъ, должно быть, былъ крѣпче желѣза, если удержался и не расцѣловалъ хозяйку за такое извѣстіе! Двѣ радости сразу: первая, — что онъ будетъ заниматься съ Бети, вторая, — что будетъ ѣсть за однимъ столомъ съ Бети! Нѣтъ, на свѣтѣ немного такихъ хозяекъ, какъ его! Къ чорту всѣхъ хозяекъ и всѣхъ женщинъ на свѣтѣ! Всѣ онѣ не стоятъ одной мадамъ Шапиро!

Онъ взялъ ее за руку и благодарилъ тепло и искренно, увѣряя, что съ удовольствіемъ принимаетъ ея предложеніе, — съ удовольствіемъ, съ громаднымъ удовольствіемъ!

— Но...—заключила мадамъ Шапиро съ гримасою.

У Рабиновича даже сердце улало.

— Что такое?

— Чай и сахаръ будетъ вашъ!

Квартирантъ вздохнулъ съ облегченіемъ, точно тысяча пудовъ съ плечъ свалилась:

— Разумѣется, мой! Разумѣется!

Въ эту минуту вошла Бети, которая съ перваго взгляда поняла, что здѣсь произошло, и сдѣлала матери выговоръ по-еврейски:

— Не могла ты подождать, мама, пока я сама скажу ему?... А квартиранту она объяснила по-русски, причемъ милая улыбка блуждала на ея

красивыхъ губахъ и краска потокомъ разливалась по щекамъ до самыхъ ямочекъ:

— Тамъ, гдѣ дѣло касается обученія дѣтей, моя мать становится дѣловымъ человѣкомъ...

О, дорогая Бети!—думаетъ Рабиновичъ и пронизываетъ ее взглядомъ.—Только у такого ангела, какъ Бети, можетъ быть такая мать! И только у такой матери, какъ эта мадамъ Шапиро, можетъ быть такая дочь!

ГЛАВА VII.

Ю д и ө ъ.

Возможно, что мы немного поторопились, выдавъ Давиду Шапиро аттестатъ геніальнаго спеціалиста въ вопросахъ „права-жительства“. Черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ его квартирантъ записался въ дантисты, въ домѣ у Шапиро произошла катастрофа. Одна изъ тѣхъ катастрофъ, которыя въ томъ городѣ происходятъ нерѣдко, а за послѣднее время почти каждую ночь.

Было уже далеко за полночь, когда у Шапиро раздался звонокъ. И такой звонокъ, что мертваго могъ бы разбудить: дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!—совсѣмъ безъ перерыва... Другой на мѣстѣ Шапиро навѣрное свалился бы съ кровати или выпрыгнулъ въ окно. Но Шапиро, какъ мы знаемъ, человѣкъ бывалый и хорошо знакомъ съ такого рода звонками. Онъ знаетъ, что такъ

звонять или когда весь домъ объять пламенемъ, или когда дѣлаютъ облаву на евреевъ: на языкѣ полиціи это называется „производить ревизию непрописанныхъ“.

Называйте это, какъ хотите, но звонить у васъ будутъ до тѣхъ поръ, пока не откроете. А когда откроете, къ вамъ ввалятся гости: приставъ, надзиратели, городовые, солдаты, жандармы и кто угодно. Вамъ прикажутъ разбудить весь домъ, отъ стараго до малаго, и потребуютъ документы. Документы перепишутъ, людей пересмотрятъ и пересчитаютъ. Если все въ порядкѣ, васъ отпустятъ съ миромъ и разойдутся. Послѣ этого можете дѣлать, что хотите: ставить самоваръ и пить чай, или снова лечь спать и видѣть прекрасные сны...

Но если у васъ бумаги, не дай Богъ, не въ порядкѣ, или у васъ найдутъ, не приведи Господи, незаконный товаръ, контрабанду, еврейскую душу безъ „права-жительства“,—васъ попросятъ поскорѣе одѣться и прогуляться со всей честной компаніей *туда*. Тамъ ужъ разберутъ и напишутъ краснымъ: „въ двадцать четыре часа“... Или васъ прямо отправятъ съ честью на родину, гдѣ вы можете повидаться со всѣми вашими тетушками и дядюшками, которыхъ такъ давно не видали...

Давидъ Шапиро, какъ человѣкъ бывалый, свѣдущій во всемъ, даже въ вопросахъ облавы, нашель, что ему нечего наряжаться для незваныхъ

гостей. Не бѣда, если онъ приметъ ихъ не въ смокингѣ. Безъ длинныхъ сборовъ, онъ схватилъ пиджачекъ, набросилъ его прямо на нижнее бѣлье, всунулъ босыя ноги въ домашнія туфли и принялся чиркать спичками, которыя ни за что не хотѣли зажигаться, пока не встала Сара:

— Что ты тамъ чиркаешь, соловейчикъ?— сказала она и вырвала у него изъ рукъ спички.— Чиркаетъ и чиркаетъ! Торопится, курьерскій поѣздъ! Чертъ ихъ не возьметъ, если они остаются тамъ да позвонятъ еще немного!

Съ этими словами Сара зажгла маленькую лампочку съ закопченнымъ стекломъ и Давидъ побѣжалъ открывать дверь. Скоро послышался по лѣстницѣ топотъ ногъ, и въ домѣ Шапиро стало торжественно и свѣтло въ каждомъ уголкѣ. Такъ свѣтло, что сколько ни куталась Сара въ одѣяло, которое она набросила на себя впопыхахъ, все не могла закутаться такъ, чтобы не было видно или обнаженной груди или босыхъ ногъ. О волосахъ, которые расплелись и разсыпались у нея по голымъ плечамъ, и говорить нечего. И кто виноватъ, если не этотъ курьерскій поѣздъ! Не торопился бы такъ, она успѣла бы собрать волосы и накинуть юбку.

— Сколько васъ здѣсь?—спросилъ Шапиро высокій широкоплечій чиновникъ съ толстыми чувственными губами и красноватыми заспанными глазками, протяжно зѣвнувъ, какъ здоровый человѣкъ, которому нужно еще поспать.

— Насъ трое,—отвѣтилъ ему Шапиро, набравшись храбрости, хотя зубы стучали у него, какъ въ лихорадкѣ, и, какъ человѣкъ опытный „въ этихъ дѣлахъ“, не ждалъ, пока ему скажутъ: „паспортъ“! а самъ взялся за сюртукъ на стѣнѣ, разстегнулъ боковой карманъ, вытащилъ оттуда паспортъ, „право-жительства“ со всѣми остальными бумагами и поднесъ чиновнику, элегантно шаркнувъ ногой, совсѣмъ какъ кавалеръ, забывъ, должно быть, что онъ босой и въ короткомъ пиджачкѣ на нижнемъ бѣльѣ.

— Ты говоришь, трое?—спрашиваетъ его чиновникъ и смотритъ своими красноватыми глазками на мадамъ Шапиро, поднося къ ея лицу яркій электрической фонарикъ,—а та не знаетъ, что дѣлать съ распустившимися волосами, съ обнаженной грудью и босыми ногами... Вдругъ она вспоминаетъ, что мужъ сказалъ нѣчто невѣроятное: какъ это ихъ трое, когда на самомъ дѣлѣ четверо, и не четверо, а вмѣстѣ съ квартирантомъ—цѣлыхъ пятеро!... Со страху она совсѣмъ забыла, что они здѣсь не одни и, протянувъ къ мужу голая руки, сказала по-еврейски:

— Давидъ, Богъ съ тобою! Что за трое? Забылъ, что насъ пятеро?

Давидъ сталъ протирать глаза, какъ-будто услышалъ Богъ вѣсть какую новость:

— Пятеро? По какому расчету пятеро?

— Философъ мой! Я и ты—двое, Бети—трое, Семка—четверо...

Давидъ ударилъ себя въ лобъ, сплюнулъ въ сторону и обратился къ чиновнику:

— Я совсѣмъ забылъ. Насъ не трое, а четверо. Четверо насъ.

— Не четверо!—кричитъ ему Сара:—Не четверо, а пятеро!

— Почему пятеро? Гдѣ расчетъ?

— Квартиранта-то ты забылъ, или самъ хочешь лѣзть въ бѣду?

— Тьфу!—снова угостилъ себя Шапиро ударомъ въ лобъ и, сплюнувъ, сказалъ чиновнику съ дѣланной улыбкой:

— Я совсѣмъ ужъ запутался. Насъ не трое и не четверо. Насъ пятеро.

— Тэ-эксъ!—процѣдилъ тотъ, не переставая любоваться черными волосами Сары, разбросанными по нѣжно-бѣлой молодой еще груди.—Пятеро, говоришь ты? А можетъ быть, шестеро? А можетъ быть, семеро? А можетъ быть, еще и еще? Вотъ мы сейчасъ увидимъ.

И онъ далъ знакъ своимъ помощникамъ произвести обыскъ. Тѣ сейчасъ же взялись за работу. По нѣсколько разъ осмотрѣли кровати и шкафы, столы и стулья. Съ Семки стянули одѣяло и къ самому носу поднесли электрическую лампочку, такъ что онъ даже засмѣялся. То же собирались сдѣлать и съ Бети, но она быстро спрыгнула съ кровати, завернулась въ простыню и стала лицомъ къ лицу съ чиновникомъ, который переводилъ глаза съ матери на дочь и съ

дочери на мать, соображая, должно быть, которой изъ нихъ онъ не прочь бы обладать...

— Какая изъ нихъ красивѣе, чортъ ихъ по-бери?—думалъ онъ—Объ хороши. Но молодая прямо соблазнительна! Венера... Юнона... Афродита...—приходили ему на память разныя имена, вычитанныя имъ изъ романовъ. Забылъ онъ только одно имя, которое лучше всего подошло бы въ эту минуту красавицѣ Бети съ ея матовымъ лицомъ, съ ея точенымъ носомъ, великолѣпными темными волосами, густыми бровями и карими глазами, горѣвшими злобой и ненавистью...

Юдиѳъ было это имя.

Если бы Рабиновичъ былъ дѣйствительно Рабиновичемъ, а не Поповымъ, то онъ, имѣя медаль и не попавъ въ университетъ, право же, не спалъ бы такъ крѣпко, какъ въ эту ночь... Онъ не только не слышалъ ни отчаянныхъ звонковъ, ни топота ногъ, ни голосовъ, онъ не слышалъ даже, какъ хозяинъ тянулъ съ него одѣяло и будилъ все громче и громче: „Рабиновичъ! Рабиновичъ!! Рабиновичъ!!!“ Рабиновичъ былъ Богъ знаетъ гдѣ... Катался гдѣ-то на салазкахъ съ горы по пушистому снѣгу и не одинъ, а вдвоемъ, съ Бети, которая обняла его обѣими руками, прижала свое личико къ его лицу, свою милую щечку къ его губамъ, и онъ ее цѣлуетъ

цѣлуетъ, цѣлуетъ, а она смѣется, смѣется, вырывается изъ его рукъ...

— Куда ты тянешь меня?

— Идемъ, дорогая! Идемъ, Бети!

— Куда?

— Туда, туда,—въ церковь...

— Въ церковь? Ха-ха-ха! Что мы будемъ дѣлать въ церкви?

— Вѣнчаться... Тамъ я тебя возьму... Тамъ ты станешь моей, моей, моей!...

Что вы бормочете: моей, моей? — говоритъ Шапиро квартиранту и тянетъ съ него одѣяло.— Вставайте же, полиція пришла. Рабиновичъ! Рабиновичъ!! Рабиновичъ!!!

— Какой чортъ Рабиновичъ? Откуда взялся здѣсь Рабиновичъ?—кричитъ квартирантъ, одной рукой натягивая на себя одѣяло, а другой протирая глаза.—Что такое? Что случилось?

— Полиція... Ревизія... Облава... т. е. ревизія...

— Какой чортъ полиція? Что за ревизія? Кому она нужна? Въ три шеи полицію!...

— Богъ съ вами, Рабиновичъ. Что вы говорите? „Право-жительство“...

Послѣднее слово повліяло, повидимому, лучше всего.

— „Право-жительства“? Ага, я уже понимаю. Гдѣ жъ оно?

— Что?

— Да, „право-жительства“ чертъ его побери!

— Тьфу! Не будь вы еврей, я сказалъ бы, что вы пьяны. Вы говорите совсѣмъ не какъ трезвый. Говорю вамъ, что пришла полиція, облава, т. е. ревизія, требуютъ у васъ „право-жительства“, а вы спрашиваете, гдѣ оно?

Только послѣ этихъ словъ, увидѣвъ у двери надзирателя, Рабиновичъ насилу понялъ, что вокругъ него творится, и началъ припоминать, гдѣ онъ и что съ нимъ... Но все еще продолжалъ поминать чорта, пока хозяинъ не поставилъ его на ноги и не ввелъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ онъ нашелъ вышеописанную картину: хозяйка, закутанная въ одѣяло, Бети—въ простыню, а напротивъ нихъ полицейскій чинъ съ чувственными губами.

Въ первую минуту онъ ничего не понялъ. Ну, ревизія такъ ревизія. Но причеиъ тутъ обѣ женщины, полураздѣтыя?... И почему этотъ субъектъ глядитъ на нихъ *такими* глазами?...

И въ немъ поднялась ненависть къ полицейскому чиновнику. Тотъ въ этотъ моментъ какъ разъ спрашивалъ Бети, сколько ей лѣтъ.

— Восемнадцать, — отвѣтила ему мать за дочь, но чиновникъ перебилъ ее:

— Не тебя спрашиваютъ, а ее.

— Восемнадцать, — отвѣтила уже сама Бети.

— Врешь, душенька, — сказалъ чиновникъ съ улыбочкой и хотѣлъ немного приподнять простыню. Но тутъ какъ изъ земли выросъ квар-

тирантъ и громко, такъ что всѣ испугались, заораль:

— Руки прочь!...

Съ тѣхъ поръ какъ этотъ чиновникъ находился на службѣ и ходилъ по „ревизіямъ“, онъ не слыхалъ еще, чтобы у еврея хватало смѣлости такъ возвышать голосъ. Съ минуту онъ стоялъ и смотрѣлъ на молодого человѣка, не въ силахъ вымолвить ни слова. Затѣмъ отдышался и взялся за хребта:

— Ты... ты кто такой?

— Что это за „ты“? Не тѣ времена: теперь говорятъ „вы“, а не „ты“.

Чиновникъ даже руки опустилъ, и толстыя его губы скривились въ улыбку. Онъ мигнулъ помощникамъ и приказалъ:

— Взять его!

— Меня не надо „брать“. Я самъ пойду,— сказалъ Рабиновичъ и твердо вышелъ вмѣстѣ съ помощниками въ свою комнату одѣться и итти, куда поведуть.

Чиновникъ, за минуту передъ тѣмъ пылавшій страстью къ двумъ обнаженнымъ женщинамъ, особенно къ молодой, которая напоминала ему душистый зрѣлый персикъ, еще покрытый тонкимъ пушкомъ,—со злости словъ не находилъ. Его душилъ гнѣвъ. Во-первыхъ,—на этого юнца за его дерзкое поведеніе. Во-вторыхъ,—на то, что разрушили его лучшія мечты и иллюзіи,

такъ что онъ почти забылъ, о чемъ только что думалъ.

— А-а...—вспоминалъ онъ, бросая послѣдній взглядъ на Бети, напоминавшую въ своей бѣлой простынѣ прелестную статую, высѣченную изъ мрамора.—А... Венера... Юнона... Афродита.. Аппетитныя жидовочки, нечего сказать... Жаль,— вмѣсто дерзкаго мальчишки, я охотнѣе отвелъ бы вотъ эту Венеру съ еврейской улицы...

И невольно у него вырвался слабый вздохъ... Развѣ могъ онъ предвидѣть, что эта красавица, Венера съ еврейской улицы, попадетъ къ нему въ руки еще разъ и какъ попадетъ!

А ночь не ждетъ, надо итти дальше. Чиновникъ торопитъ своихъ подручныхъ, чтобы взяли молодца, а тотъ не спѣшитъ. Онъ одѣвается. Шапиро хотѣлъ заступиться за своего квартиранта, защитить его, и побожился, что у него есть „право-жительства“: чтобъ ему золота такого,—вотъ какое „право-жительства“! Оно находится еще въ зубоврачебной школѣ...

Но чиновникъ отстранилъ его рукою, повернулся къ помощникамъ, которые помогали Рабиновичу одѣваться, и сердито крикнулъ:

— Что вы тамъ возитесь такъ долго? Какого чорта? Смотрите, не успѣемъ оглянуться, какъ ночь пройдетъ. Много еще контрабанднаго товару на этой улицѣ! Живо! Маршъ!

ГЛАВА VIII.

Безсонная ночь.

Въ эту ночь у Шапиро никто больше не засыпалъ, хотя всѣ какъ-будто успокоились, улеглись въ постели и потушили лампу, чтобы заснуть.

Давидъ съ женою строили планы на завтра. Какъ только разсвѣтетъ, Давидъ сейчасъ же побѣжитъ къ полицмейстеру...

— Къ полицмейстеру? — прерываетъ его Сара.—Подумаешь, онъ и полицмейстеръ—друзья-пріятели. По-моему, раньше надо побывать въ зубоврачебной, а потомъ ужъ искать дорогу къ полицмейстеру.

— Хорошо, что напомнила! — подхватываетъ Давидъ.—Безъ тебя я, конечно, не зналъ бы, что дѣлать. Будь покойна, въ томъ, что касается „права-жительства“, можешь на меня положиться.

— Вотъ какъ? Но если ты въ самомъ дѣлѣ такой мастеръ, почему же ты не позаботился, чтобы „право-жительства“ было у него въ карманѣ, философъ мой?

— Что разговаривать съ бабой! Я тебѣ, кажется, семьдесятъ семь разъ говорилъ, что нашъ квартирантъ—мальчишка, мальчишка и мальчишка! Сколько ему не толкую, что еврей безъ „права-жительства“ въ карманѣ, все равно, что

человѣкъ безъ воздуха или рыба безъ воды,— ему, какъ стѣннѣ горохъ! Въ одно ухо влетѣло, въ другое вылетѣло... Странное существо, этотъ Рабиновичъ! И очень ему нужно было бросаться на чиновника и такъ кричать, что я чуть за- мертво не упалъ... У него, скажу я тебѣ, замашки совсѣмъ не еврейскія! Я рѣшительно его не понимаю! Чтобъ еврей не боялся ничего, никакой полиціи, никакого чорта, никакого дьявола...

Тутъ вмѣшивается дочь, которая больше не въ состояніи выносить этого разговора. Она нападаетъ на отца,—почему онъ ругаетъ квартиранта, почему считаетъ порокомъ то, что въ сущности достоинство?

Мать беретъ сторону отца, а дочь нападаетъ и на нее. И такъ, въ пререканіяхъ, проходитъ вся ночь, о снѣ и думать забыли.

Даже маленькій Семка, который съ самага дѣтства росъ въ вѣчной боязни за „право-жительства“, въ вѣчномъ страхѣ предъ полиціей, тоже не скоро заснулъ. Страшно ему за репетитора... Что если его отправятъ по этапу? Евреевъ вѣдь всегда отправляютъ по этапу... Кто тогда будетъ готовить съ нимъ уроки? Бети? Не любитъ онъ, когда съ нимъ занимается Бети. Очень она вспыльчива,—спичка! Съ квартирантомъ заниматься—совсѣмъ другое дѣло. Одно удовольствіе! Семка знаетъ, что квартирантъ любитъ его, Семку. Онъ ихъ всѣхъ любитъ, и его, и мать, и сестру. Сестру даже больше

всѣхъ... Это Семка знаетъ навѣрное... А то почему же онъ такъ смотритъ на нее, когда никто не видитъ?...

И сестра его тоже любитъ. Это онъ знаетъ навѣрное. А то почему же она такъ краснѣетъ всякій разъ, когда онъ на нее смотритъ? И что за буквы они тамъ пишутъ другъ другу на обложкѣ тетради,—самъ чортъ не беретъ...

Жаль сестру, если она останется безъ учителя... Но неужели онъ въ самомъ дѣлѣ не вернется? У кого бы это узнать? У Бети? Бети сердита. Она молчитъ, но онъ знаетъ, что она сердита... Отецъ и мать заняты своимъ споромъ. Спорятъ и ссорятся. Онъ ей — баба, она ему — курьерскій поѣздъ, ха-ха-ха!... Тише. Вотъ и Бети вмѣшалась. Надо послушать, что скажетъ Бети...

И Семка прислушивается, что говоритъ сестра... Но скоро мысли его уходятъ въ уроки, гимназію, математику, географію, и онъ ужъ не слышитъ дальнѣйшаго разговора. Поворачивается лицомъ къ стѣнѣ, накрывается съ головою одеяломъ и засыпаетъ спокойнымъ благословеннымъ сномъ, который возможенъ только въ счастливые дѣтскіе годы.

Когда васъ поймаютъ среди ночи, въ лучшую пору сна, и заставятъ прогуляться по темнымъ улицамъ, шлепать по осенней грязи въ сопро-

вожденіи конвоя, когда приведутъ васъ въ притонъ, гдѣ стоитъ вонь и копоть, за которой ничего не видно, и посадятъ вмѣстѣ Богъ знаетъ съ кѣмъ, а захотите вы присѣсть, такъ не на чемъ, развѣ на голой, грязной и скользкой землѣ, а захотите заявить протестъ, такъ некому, развѣ четверемъ стѣнамъ,—вотъ когда доведется вамъ испытать все это, то потеряете вы весь свой куражъ и начнете задумываться надъ такими вещами, о которыхъ до сихъ поръ меньше всего думали.

Сколько ни крѣпился Рабиновичъ, сколько ни набирался храбрости шагать въ тактъ со всѣмъ обходомъ, какъ солдатъ,—разъ-два, разъ-два,—сколько ни давалъ себѣ слова быть твердымъ до конца и, наоборотъ, чувствовать себя въ эту ночь болѣе сильнымъ и болѣе гордымъ, чѣмъ всегда, но когда вмѣстѣ съ другими арестованными привели его въ участокъ и посадили въ камеру, онъ долженъ былъ сознаться, что описать жизнь въ книгѣ гораздо легче, чѣмъ самому все испытать, и что быть евреемъ гораздо труднѣе, чѣмъ можно себѣ представить...

Чего только ни посмотрѣлся, чего ни слышался Рабиновичъ въ участкѣ! За цѣлый годъ жизни на свободѣ онъ навѣрное не вынесъ бы столько, какъ здѣсь за одну ночь! Каждую минуту открывалась дверь и появлялся новый транспортъ арестованныхъ, большею частью евреевъ, перепуганныхъ, какъ зайцы, оборванныхъ и об-

шлепанныхъ, забытыхъ и несчастныхъ. И что его удивляло,—прежніе заключенные встрѣчали новыхъ весело, со смѣхомъ и разными прибаутками, а часто съ ругательствами, скрежетомъ зубовъ и тумаками въ бокъ: „жидовская морда“, „псія кровь“, „собака невірная“,—смотря по тому, кто ругался,—истинно-русскій, полякъ или мало-россь...

И что его поражало больше всего,—всѣ эти перепуганные, оборванные и обшлепанные, забытые и несчастные выслушивали смѣхъ и ругательства съ такимъ равнодушіемъ, какъ-будто это ихъ вовсе не касалось...

Одинъ сухопарый еврейчикъ, съ мѣшкомъ почти вдвое больше его, получилъ отъ высокаго широкоплечаго молодца такого тумака въ бокъ, что чуть не перевернулся трижды вмѣстѣ со своимъ мѣшкомъ,—но лишь посмотрѣлъ молодцу въ лицо, какъ бы спрашивая, что ему тотъ собственно хочетъ сказать?... Изъ того, что остальные евреи напали на своего собрата и стали галдѣть всѣ вмѣстѣ, Рабиновичъ понялъ, что свои упрекаютъ того, зачѣмъ лѣзетъ, куда не слѣдуетъ, зачѣмъ таскается съ такимъ большимъ мѣшкомъ? И Рабиновичъ удивлялся, почему свои же братья не заступятся за еврея? Гдѣ же ихъ пресловутая солидарность? Гдѣ ихъ общественность, ихъ „кагалъ“, о которомъ онъ столько разъ читалъ въ газетахъ?

— Что это за народъ?—спрашивалъ онъ себя,

усѣвшись на краю скамьи, уступленной ему однимъ изъ арестантовъ съ подбитымъ глазомъ.— Что это за люди и какъ они могутъ жить, ѣсть, пить и спать, торговать, учиться, ходить въ театръ и на концерты, танцовать и веселиться, когда въ самую полночь можно вломиться къ нимъ, сдѣлать „облаву“, какъ на воровъ или дикихъ звѣрей, и поступить съ ними внѣ всякихъ божескихъ и человѣческихъ законовъ? Въ чемъ разгадка этой удивительной тайны? И откуда берется такая ненависть всѣхъ къ одному? Должна же она имѣть основаніе, источникъ? Не возможно же, чтобы всѣ нападали на одного ни за что ни про что, безъ всякаго смысла и всякой причины! Вѣроятно, въ евреяхъ есть нѣчто такое, что отталкиваетъ отъ нихъ весь міръ...

Въ эту минуту отворилась дверь, и была введена новая партія арестованныхъ, опять большею частью евреевъ, которые разговаривали всѣ сразу и такъ громко, что одинъ изъ арестованныхъ сталъ ихъ передразнивать: „гер-гер-гер“... и всѣ разсмѣялись. Но это не понравилось арестанту съ подбитымъ глазомъ и онъ загнулъ крѣпкое словечко, очень популярное въ хулиганской средѣ.

— Недаромъ ихъ бьютъ!—произнесъ одинъ изъ арестованныхъ, лицо котораго изъ-за копоти не было видно.

— Только бить ихъ мало!—поддержалъ его

другой, судя по разговору, изъ интеллигентовъ.— Имущество ихъ надо бы экспроприровать, а самихъ рѣзать, какъ барановъ!...

Рабиновичъ даже привсталъ. Ему очень хотѣлось посмотрѣть лицо говорившаго „интеллигента“. Но скоро онъ забылъ, за чѣмъ привсталъ, такъ какъ встрѣтилъ чьи-то знакомые глаза.

То былъ юноша изъ Пинска, съ веснушчатымъ лицомъ и въ бѣломъ лѣтнемъ костюмѣ, одинъ изъ тринадцати медалистовъ, подписавшихъ извѣстную телеграмму министру.

— Миръ вамъ,—привѣтствовалъ онъ Рабиновича по-еврейски нараспѣвъ и протянулъ руку. Но скоро вспомнилъ и началъ говорить по-русски:—Ба! Я совсѣмъ забылъ, что вы—тотъ феномень, который знаетъ всѣ языки, кромѣ своего родного. Неужели же это не даетъ „права-жительства“, господинъ Рабиновичъ?

— Острите?—спросилъ его тотъ.—Какъ вы сюда попали?

— Какъ я сюда попалъ? Ха-ха-ха, такимъ же чудомъ, какъ и вы... Ночь облавъ... Да наплевать,— что они мнѣ сдѣлають? Поставятъ красный штемпель и попросятъ поѣхать въ Пинскъ? Такъ я поѣду въ Пинскъ! Хотя, чортъ ихъ побери, ѣхать мнѣ не на что, въ карманѣ ни гроша... Кого мнѣ жаль, такъ это мою сестру. Меня у сестры поймали, и ее могутъ ли-

шить „права-жительства“... Мужъ ея ремесленникъ, переплетчикъ. Ну, а васъ гдѣ взяли?

— Меня-то?... Что же вы стоите? Присядьте,— говоритъ Рабиновичъ, оглядывается кругомъ, ища мѣста для своего новаго знакомаго, тутъ только замѣчаетъ, что и самъ остался безъ мѣста. Арестантъ съ подбитымъ глазомъ, увидѣвъ, что имѣетъ дѣло съ евреемъ, развалился, какъ баринъ, положивъ на скамью босыя ноги, а рядомъ съ нимъ усѣлся какой-то пьянчуга, отъ котораго разлило водкой и махоркой, и у нихъ завязался разговоръ о евреяхъ, отъ которыхъ нигдѣ житья нѣтъ,—куда не повернись!

— Измору на нихъ нѣту, окаянныхъ!—сочувственно отозвался пьяница, грозя корявымъ кулакомъ.

— Настоящіе микробы!—подхватилъ „интеллигентъ“.—Свойство микробовъ таково, что чѣмъ больше въ нихъ копаешься, тѣмъ больше они плодятся и множатся. Почитайте газеты и вы узнаете, что это за ужасъ!...

„Интеллигентъ“ ораторствуетъ безъ конца, и всѣ его внимательно слушаютъ. Рѣдко кто прерываетъ, вставляя пикантное словечко или рѣзкое ругательство, что вызываетъ веселый смѣхъ. Волей-неволей слушаютъ и кандидаты-медалисты.

— Собака лаетъ, вѣтеръ носить,—шепчетъ пинскій юноша Рабиновичу и увлекаетъ его въ сторону, спрашивая, какъ онъ живетъ, какъ

себя чувствуетъ среди дантистовъ и что слышно о телеграммѣ министру?

— Объ этомъ надо спросить у Тумаркина,— говоритъ Рабиновичъ и въ свою очередь спрашиваетъ товарища, какъ его дѣла и что онъ думаетъ дѣлать дальше?

— Эхъ, не спрашивайте! — отвѣчаетъ тотъ, махнувъ рукой и горько улыбаясь. — Что буду дѣлать? Уже все сдѣлано разъ навсегда! Лучшіе мои планы разрушены! Всѣ завѣтныя мечты разбиты! У меня въ головѣ бродитъ цѣлый рядъ новыхъ открытій. Хотѣлъ изучать химію,—меня тянетъ въ химическую лабораторію. По-моему, хемотерапія должна произвести цѣлый переворотъ въ медицинѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ Эрлихъ открылъ новое средство противъ сифилиса, мнѣ это не даетъ покоя. Я увѣренъ, какъ дважды два, что, если мы пойдемъ дальше тѣмъ же путемъ, то найдемъ средства и противъ рака и противъ туберкулеза и противъ другихъ болѣзней, губящихъ человѣчество. О, Эрлихъ, Эрлихъ! Вы знаете, что онъ изъ нашихъ?

— Кто?—спрашиваетъ Рабиновичъ и смотритъ на большой бѣлый лобъ юноши.

— Кто? Профессоръ Эрлихъ! Онъ изъ нашихъ,—отвѣчаетъ тотъ уже съ досадой.

— Что значить изъ нашихъ?

— А то, что у него нѣтъ „права-жительства“, какъ у васъ, какъ у меня, какъ у всѣхъ насъ, ха-ха-ха! Если бы, не дай Богъ, онъ пріѣхалъ

сюда и его поймали, онъ сидѣлъ бы здѣсь вмѣстѣ со всѣми и слушалъ бы, какъ этотъ „интеллигентъ“ ораторствуетъ о микробахъ. Его счастье, что онъ живетъ у этихъ невѣжественныхъ нѣмцевъ... Но не думайте, онъ и тамъ чувствуетъ, что значить быть евреемъ.

— Да?

— Вы не читаете газетъ? Вы не интересуетесь? Вы не еврей?

— Нѣтъ!—говоритъ Рабиновичъ и спохватывается:—т. е., да, я еврей. Но послѣднее время я мало читалъ... Что же пишутъ о немъ?

— Что пишутъ? Первое время не знали, кто такой Эрлихъ. Какой-то тамъ профессоръ изъ Франкфурта. А теперь уже извѣстно, во-первыхъ, что онъ изъ нашихъ, а во-вторыхъ, что онъ, бѣдный, рвался въ берлинскій университетъ, просилъ каѳедру, лабораторію и учениковъ. Ну, такъ ему сказали: нѣтъ, братъ, шалишь!...

— Почему?

Пинскій юноша даже за бока схватился отъ смѣха:

— Почему? Да потому! Вы не слышите, что говоритъ этотъ молодецъ: микробы, паразиты, эксплуататоры, ха-ха-ха!

То, что разсказалъ Рабиновичу пинскій юноша о профессорѣ Эрлихѣ, заставило его еще

глубже задуматься надъ вопросомъ, который не давалъ ему покоя. Откуда берется такая жгучая ненависть со стороны всего огромнаго міра въ маленькой горсточкѣ людей, называющихся евреями?...

И онъ вспоминаетъ, что почти то же, что слышитъ онъ теперь здѣсь о микробахъ, паразитахъ и эксплуататорахъ, онъ столько разъ слышалъ у себя дома и читалъ въ газетахъ. Но только онъ никогда на этомъ не останавливался, не задумывался...

На утро по его свѣжему и веселому лицу совсѣмъ нельзя было замѣтить, какую тяжелую ночь онъ провелъ и какія оскорбленія и униженія пережилъ. Его позвали наверхъ.

Въ кабинетъ пристава онъ вступилъ наэлектризованный, готовый поднять скандалъ. Но скоро успокоился. Его приняли вѣжливо, сообщили, что только что протелефонировали отъ полицмейстера,—его „право-жительства“ въ порядкѣ, и онъ можетъ идти.

— Шапиро позаботился!— промелькнуло у него въ головѣ. И тотчасъ же вспомнилась Бети—и странная теплота разлилась по всему тѣлу.—Неужели это такъ серьезно?— думаетъ онъ, беретъ извозчика и велитъ ѣхать въ еврейскій кварталъ.—Но что же изъ этого выйдетъ?... Что будетъ? Что будетъ?...

Вопросъ: что будетъ?—онъ въ послѣднее время не разъ задавалъ себѣ. Въ концѣ концовъ

онъ долженъ же будетъ открыть ей тайну, кто онъ и что онъ... Какъ онъ ей это скажетъ?... Какъ она это приметъ?... И что будетъ потомъ... *послѣ?*...

Всѣ эти мысли вихремъ неслись у него въ головѣ, когда онъ свѣжимъ осеннимъ утромъ мчался на извозчикѣ по плохо мощеннымъ улицамъ.

Соскочилъ съ извозчика, позвонилъ, увидалъ Бети и—исчезли всѣ вопросы...

Хотя Бети не бросилась ему на шею, хотя она встрѣтила его только дружески, — немножко теплѣе, чѣмъ дружески, — все же ея глаза сказали ему гораздо больше, чѣмъ могли бы сказать самая горячія слова... И онъ вошелъ къ Шапиро, какъ въ свой собственный домъ, встрѣтилъ хозяевъ, какъ отца и мать. Сѣли за столъ и стало весело. Начали рассказывать, каждый свое: квартирантъ, — какъ онъ, провелъ ночь въ участкѣ, а хозяинъ, — какъ онъ едва дождавшись утра, побѣжалъ въ зубоврачебную, а оттуда къ полицеймейстеру...

— Такъ ли? — перебиваетъ Сара и смотритъ на дочь. — Не побѣжалъ ли ты раньше всего къ шурина за протекціей?

— Какова? — обращается Давидъ къ дочери, указывая на жену. Но въ это время раздается звонокъ. Пришелъ Семка изъ гимназіи. Раскраснѣвшійся отъ холода, запыхавшійся, съ ран-

цемъ на плечахъ, онъ бросился прямо къ учителю на шею.

Ученикъ съ учителемъ расцѣловались.

ГЛАВА IX.

Послѣ „облавы“.

Безсонная ночь, проведенная Рабиновичемъ въ участкѣ, и всѣ невзгоды, волненія и непрятности, которыя онъ пережилъ, не прошли безслѣдно для его здоровья. Онъ прихворнулъ, жаловался на головную боль, на ознобъ и къ вечеру уже лежалъ у себя на допотопной кровати, накрытый поверхъ одѣяла большой теплой периной, и потѣлъ.

Перину дала хозяйка и она же напоила его чаемъ изъ сухой малины, укрыла, какъ слѣдуетъ, и приготовила туалетный уксусъ со спиртомъ, чтобы Давидъ, возвратившись вечеромъ со службы, хорошенько натеръ его: ужъ тогда онъ пропотѣетъ основательно...

Мадамъ Шапиро хотѣла даже послать сейчасъ же дочь за докторомъ, но квартирантъ заупрямился.

— Что съ вами будетъ, если докторъ васъ выслушаетъ?

— Не надо.

— Домашній докторъ. Свой человѣкъ...

— Не надо.

— Онъ беретъ не дорого... Сколько дадутъ .

— Не надо.

— Вотъ упрямецъ!—говоритъ мадамъ Шапиро дочери по-еврейски и продолжаетъ по-русски:

— Послушайте, всѣ Рабиновичи такіе упрямыцы, или вы одинъ такой?

— Всѣ таковы.

— Не лучше, чѣмъ Шапиро?

— Еще хуже.

— Неужели хуже?

На это квартирантъ ничего не отвѣтилъ. Онъ посмотрѣлъ на Бети, которая вмѣстѣ съ матерью стояла надъ его кроватью, и оба они такъ весело разсмѣялись, что, глядя на нихъ, мать тоже засмѣялась и, засучивъ рукава, пошла на кухню готовить для больного бульонъ изъ четвертушки курицы.

— Я долженъ открыть вамъ тайну,—сказала Рабиновичъ Бети, которая зардѣлась вся, какъ маковъ цвѣтъ.

— Тайну?—спросила она.

— Большую тайну,—отвѣтилъ молодой человекъ, и оба почему-то разсмѣялись.

Имъ было весело и безпричинно легко на душѣ, потому что оба были молоды, здоровы и жизнерадостны, и какая-то странная невѣдомая сила толкала ихъ другъ къ другу съ первой минуты ихъ встрѣчи. Имъ казалось, что они знакомы Богъ вѣсть какъ давно. И хотя между ними не было никакихъ разговоровъ, кромѣ самыхъ невинныхъ, оба прекрасно знали, что зна-

чатъ они другъ для друга и что они чувствуютъ другъ къ другу...

А было между ними вотъ что.

Разъ Рабиновичъ готовилъ уроки съ Семкой. Хозяйка была на кухнѣ, а Бети сидѣла на другомъ концѣ стола надъ книгой. Вдругъ она поднимается, поправляетъ волосы и хочетъ уйти. Тогда Рабиновичъ беретъ со стола тетрадку, наскоро пишетъ нѣсколько буквъ: п. в. у.?—и придвигаетъ тетрадь къ Бети. Та смотритъ и краснѣетъ. Она поняла, что эти инициалы означаютъ: почему вы уходите?...

Она взяла у него перо и написала подъ его буквами тоже инициалами: я. д. ч. м. в. (Я думала, что мѣшаю вамъ).

На это Рабиновичъ наскоро отвѣтилъ инициалами: Р. в. м. м. м.? Н.! (Развѣ вы можете мнѣ мѣшать? Наоборотъ!)

Бети ничего не отвѣтила. Только вздохнула и опять усѣлась за книгу.

Въ другой разъ онъ опять занимался съ Семкой. Бети уже не было за столомъ. Она одѣвалась у себя въ комнатѣ, чтобы итти гулять. Мать сидѣла въ сторонѣ и не могла нарадоваться на сына, который такъ хорошо учится, и на учителя, котораго послалъ ей Господь Богъ,—чистая находка... Дай только Богъ, чтобы онъ задержался подольше. Побылъ бы въ зубоврачебной годъ или два, а потомъ въ университетѣ просидѣлъ бы годика четыре. Тѣмъ временемъ

ея Семка кончить гимназію съ медалью. Хотя... Вотъ есть же у этого „шлимъ-мазела“ медаль, а что толку?.. Впрочемъ, пока Семка кончить, Мессія прійти можетъ..

Въ этотъ моментъ заходитъ Бети и спрашиваетъ квартиранта, который часъ?

Рабиновичъ, раньше чѣмъ посмотрѣть на часы, беретъ тетрадь и пишетъ нѣсколько іероглифовъ: п. в. у. б. м.? (Почему вы уходите безъ меня?).

Бети одѣваетъ перчатки, заглядывая въ тетрадь, и, написавъ: ж. в. в. (жду васъ внизу), уходитъ.

Рабиновичъ сидитъ, словно на угляхъ. И какъ на зло съ ученикомъ на этотъ разъ дѣло идетъ туговато. Семка задумчивъ, не слушаетъ, что ему говорятъ. Кусаетъ перо и все смотритъ въ тетрадь на іероглифы... Учитель замѣтилъ это. Взялъ тетрадь, зачеркнулъ инициалы и сказалъ ученику, чтобы пока готовилъ уроки одинъ. Послѣ, когда онъ вернется, они займутся еще часъ.

— Вотъ это репетиторъ!—думаетъ Сара Шапиро.—Не квартирантъ, а кладъ... Благословеніе Господне!...

Бульонъ, который мадамъ Шапиро приготовила, хоть изъ четверти курицы, а былъ, какъ она выразилась, райскій бульонъ,—самъ царь не отказался бы откушать...

Того же мнѣнія былъ и квартирантъ, который

чувствовалъ себя на веру блаженства не столько отъ бульона, сколько отъ того, что при этомъ присутствовала Бети, и не только присутствовала, но и держала тарелку и слѣдила за тѣмъ, чтобы онъ съѣлъ все до конца. Ахъ, быть больнымъ и ѣсть бульонъ изъ рукъ Бети—на это онъ всегда готовъ! Плохо только, что ихъ ни на минуту не оставляютъ однихъ, и онъ не можетъ открыть ей тайну, какъ обѣщалъ: или сама мадамъ Шапиро заходитъ, каждый разъ подъ новымъ предлогомъ, или присылаетъ Семку, чтобы онъ „немного посидѣлъ“, или приходитъ самъ хозяинъ,—тогда ужъ все прощай!

Давидъ Шапиро влетѣлъ, какъ всегда, неожиданно:

— Что такое? Квартиранту плохо? Что съ нимъ? Жаръ? Почему же не послали за докторомъ?

— Уже примчался курьерскій поѣздъ!—встрѣчаетъ его Сара обычнымъ привѣтствіемъ.—Откуда ты знаешь, что не хотѣли позвать доктора?

— Хотѣли позвать? Почему же не позвали?

— Поди, спроси его!

Давидъ Шапиро не любитъ длинныхъ разговоровъ и пустыхъ разглагольствованій. Разъ человеку плохо, надо спросить совѣта у доктора. И, не взирая на протесты, онъ набросилъ на себя пальто, побѣжалъ собственной персоной за докторомъ и привелъ его,—къ великому огорченію квартиранта. Съ разлохматившимися волосами,

полулежа на кровати, онъ успѣлъ лишь пожать руку Бети, какъ пришелъ докторъ, довольно пожилой и поношенный господинъ съ огромной лысиной.

Мадамъ Шапиро была права, говоря, что докторъ—свой человѣкъ. Даже слишкомъ свой. Всѣхъ называетъ по имени. У Бети спросилъ, „какъ наши дѣла?“ Хозяйку похлопалъ по плечу. Семку уложилъ къ себѣ на колѣни и отшлепалъ. Затѣмъ сталъ серьезенъ, велѣлъ Давиду помолчать, а самъ присѣлъ къ кровати больного, пощупалъ пульсъ, приложилъ ухо къ груди и, слегка ударивъ пациента по плечу, сказалъ, обращаясь къ Шапиро:

— Ну, дай Богъ всѣмъ больнымъ такія легкія и такое сердце!

А больного онъ спросилъ, всматриваясь въ него сквозь толстые очки:

— Вы, молодой человѣкъ, видно, никогда не обучались въ хедерѣ? Надъ талмудомъ мало корпѣли?

Узнавъ отъ Шапиро, что ихъ квартирантъ ни слова не понимаетъ по-еврейски, докторъ вскочилъ со стула, посмотрѣлъ на больного, снялъ очки и снова надѣлъ ихъ, безмолвно переводя взоръ съ одного на другого. Затѣмъ онъ далъ свои указанія и сталъ прощаться съ больнымъ, который всунулъ ему въ руку монету. Докторъ ни за что не хотѣлъ взять денегъ и

боролся съ больнымъ, пока монета въ концѣ концовъ не осталась у доктора.

— Шуть гороховый! — бросилъ ему вслѣдъ Рабиновичъ, почувствовавъ къ доктору самую сильную ненависть за то, что онъ помѣшалъ его разговоръ съ Бети.

— Что вы говорите?! — заступилась мадамъ Шапиро за доктора: — золото, а не докторъ! Береть, сколько дадутъ...

— Станный у васъ квартирантъ! — сказалъ докторъ Шапиро и Бети, стоя уже въ передней и опуская въ карманъ полученную монету. — Станный субъектъ! Загадка!

Загадкою былъ Рабиновичъ для всѣхъ, кто съ нимъ знакомился. Все въ немъ, его манера держаться, его наружность, его мысли, все его поведеніе не соотвѣтствовало одно другому. Лицо какъ-будто еврейское, а въ самомъ ни одной еврейской черточки... Ни одной еврейской манеры... Ни капли еврейскаго любопытства, еврейской любознательности. Часто наивенъ, какъ малое дитя. Задаетъ такіе вопросы, что можно умереть со смѣху... А то удивляется тому, что малый ребенокъ знаетъ...

Въ первое время насилу удалось вколотить ему въ голову такую несложную вещь, какъ „право-жительства“. Ни за что не хотѣлъ вѣрить, что здѣсь, въ этомъ городѣ, есть такія

улицы, гдѣ евреи имѣютъ право жить, и такія, гдѣ евреи не имѣютъ права жить.

— Какъ это возможно?—твердилъ онъ.—Что мы въ древнемъ Римѣ что ли? или въ Испаніи, что ли? Или въ пятнадцатомъ столѣтіи живемъ? Или...

— Вотъ чудакъ!—перебиваетъ его Шапиро.— Подите, разсуждайте съ нимъ! Ему говорятъ одно, а онъ твердитъ другое! Человѣче, а почему же у насъ въ городѣ есть улица, гдѣ на одной сторонѣ евреи могутъ селиться, а на другой—ни подь какимъ видомъ?

Но Рабиновичъ не могъ успокоиться до тѣхъ поръ, пока хозяинъ спеціально не пошелъ съ нимъ, въ одну изъ субботъ, гулять на ту самую улицу, гдѣ одна сторона, лѣвая—еврейская, „кошерная“, а другая, правая—запретная, „трефная“!..

Ужъ и поразказалъ послѣ этого Шапиро дома! Смѣялся надъ квартирантомъ прямо въ глаза:

— Слушайте, вотъ комикъ, этотъ Рабиновичъ! Представьте себѣ, онъ думалъ, что еврей не имѣетъ даже права проходить по правой сторонѣ улицы, ногой ступить на тротуаръ, ха-ха-ха! Мы не въ Римѣ, какъ вы говорите, господинъ Рабиновичъ, и не въ Испаніи, и живемъ, слава Богу, не въ пятнадцатомъ столѣтіи!

— Какая же разница?—спрашиваетъ Рабиновичъ и удивляется той легкости, съ какой хозяинъ разсуждаетъ о такихъ вещахъ.—Какая

разница между пятнадцатымъ столѣтіемъ и нашимъ, когда на одной сторонѣ улицы я имѣю право жить, а на другой—нѣтъ?

— Большая разница!—кричитъ Шапиро, который не любитъ, когда съ нимъ не соглашаются.—Большая!.. Напримѣръ, снилось ли когда нибудь вашему дѣдушкѣ, что его внукъ кончитъ гимназію съ медалью, будетъ изучать медицину, получить „право-жительства“ по всей странѣ, даже въ Петербургѣ и Москвѣ?... Или напримѣръ, возьмомъ Семку. Какъ знать, что выйдетъ изъ этого червяка! Можетъ быть, профессоръ математики? Можетъ быть, инспекторъ гимназіи? А можетъ быть, даже министръ финансовъ? Семка, поди-ка сюда. Скажи, чего ты больше хочешь?

— Велосипедъ! — отозвался Семка, который ходилъ по комнатѣ и училъ нараспѣвъ Пушкина, сильно картавя и дирижируя рукою въ тактъ:

„Какъ нынѣ сбихается вѣщій Олегъ

„Отомститъ нехазумнымъ хазахамъ...“

Другой разъ завязался между хозяиномъ и квартирантомъ горячій споръ по поводу еврейской обособленности, еврейскихъ тайнъ и секретовъ. Взять хотя бы „кагалъ“!...

— „Кагалъ“? Ну ну, нашли словечко!—вспылить Шапиро. И горячася, сильно жестикулируя, онъ принялся разъяснять Рабиновичу, что

слово „кагалъ“ означаетъ въ переводѣ „общество“, „община“, и что „кагалъ“ въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ враги евреевъ, просто басня и больше ничего.

Рабиновичъ выслушиваетъ и ставитъ новый вопросъ, больше для того, чтобы позлить хозяина. Онъ любитъ смотрѣть, какъ тотъ кипитъ.

— А о солидарности еврейской что вы скажете? Вѣдь вы не можете отрицать, что у васъ есть что-то свое, интимное... ну скажемъ, внутренніе интересы...

Тутъ уже Шапиро начинаетъ серьезно сердиться. Онъ мечетъ громъ и молнію:

— Во-первыхъ, скажите, пожалуйста, что это за „у васъ“? А вы кто? Вы не такой же еврей, какъ я, какъ всѣ мы?

Рабиновичъ видитъ, что попался, хочетъ поправиться, оправдаться, но Шапиро не даетъ Шапиро не любить, чтобы другіе говорили:

— Еврей—и вдругъ говоритъ: внутренніе интересы! Какіе тамъ внутренніе интересы, кромѣ заработка, „права-жительства“ и дѣтей? Вотъ вамъ и всѣ внутренніе интересы!

И долго еще говоритъ Шапиро, показывая на примѣрахъ, какой несчастный народъ евреи, какъ каждый у нихъ только о себѣ и заботится, общихъ интересовъ нѣтъ никакихъ, нѣтъ никакого единенія, никакой солидарности...

Квартирантъ смотритъ на хозяина и диву

дается. Неужели это правда? А гдѣ же „Всемирный еврейскій союзъ“ и прочія еврейскія организаціи? Неужели все это сонъ? Неужели все это отъ начала до конца выдумано нарочно, чтобы вызвать ненависть одной національности къ другой?...

— Да будетъ когда-нибудь конецъ этому? — вмѣшивается хозяйка и зоветъ къ столу.

Загадкою для Шапиро было и то, что ихъ квартирантъ не любитъ, когда его спрашиваютъ о родителяхъ, о семьѣ, о домѣ. О своемъ дѣтствѣ и юношествѣ онъ тоже никогда ни съ кѣмъ не говоритъ... Затѣмъ, неизвѣстно, куда онъ ходитъ каждый день, съ кѣмъ знаетса, и откуда беретъ средства къ существованію? Первое время думали, что онъ живетъ уроками. Но потомъ оказалось, что нѣтъ. Кромѣ занятій съ дѣтьми Шапиро, у него никакихъ уроковъ нѣтъ.

Больше того... Давидъ Шапиро могъ бы побожиться, что видѣлъ, какъ квартирантъ выходилъ изъ отдѣленія „Московского Коммерческаго Банка“... Что понадобилось въ банкѣ кандидату-медалисту, который учится на дантиста?

— Отчего же ты его не спросишь?—говоритъ Сара мужу.

— Откуда ты знаешь, что я его не спрашивалъ?

— Что же онъ тебѣ отвѣтилъ?

— Что ему нужно было.

— Это все?

— А ты чего еще хотѣла?

— Не могъ ты спросить, что ему тамъ нужно было?

— Ужъ это ты спросишь!

— Конечно, спрошу. Почему нѣтъ?

— Что за разспросы? Что за охота залѣзть другому въ самую душу?—вмѣшивается дочь.— Какое вамъ дѣло до чужихъ интересовъ? Не понимаю!...

Однако, никто такъ не жаждалъ разгадать эту загадку, какъ сама Бети. Ей это было ближе, чѣмъ всѣмъ остальнымъ... А этотъ вечеръ послѣ облавы, когда онъ собирался открыть ей свою тайну!...

Если бы не докторъ, который тогда помѣшалъ, онъ открылъ бы ей эту тайну... Послѣ ухода доктора температура у него поднялась еще больше. Скоро онъ заснулъ. Но всю ночь метался въ жару и бредилъ. Шапиро, который нѣсколько разъ вставалъ провѣдывать квартиранта, рассказывалъ, что всю ночь онъ говорилъ въ бреду странныя вещи, бормоталъ безсвязныя слова... Но что говорилъ квартирантъ, Шапиро ни за что не хотѣлъ повторить, сколько его ни просили.

— Стану я вамъ рассказывать, что говорить больной въ бреду! Хорошо, что все прошло, онъ

выздоровѣлъ и „право-жительства“ у него въ карманѣ. Кого ему теперь бояться?

Рабиновичъ былъ доволенъ, что ему тогда помѣшали поговорить съ Бети...

ГЛАВА X.

Открытіе Сары Шапиро.

Загадка, кто такой квартирантъ?—еще долго оставалась загадкой. Но секретъ, гдѣ онъ беретъ деньги, скоро открылся. Честь открытія принадлежала хозяйкѣ, которая потомъ съ полнымъ правомъ хвасталась предъ мужемъ и дочерью:

— Ну, что я вамъ говорила? Кто красивъ, кто уменъ, а я и то и другое!

Это было много времени спустя послѣ „облавы“, утромъ въ серединѣ зимы. Сидѣли втроемъ, квартирантъ, хозяйка и дочь. Хозяинъ былъ на службѣ, Семка въ гимназіи. Бети, какъ всегда, читала книжку. Мать чинила теплые чулки для Семки, а квартирантъ, только что пришедшій изъ зубоврачебной школы, сѣлъ къ печкѣ, будто бы погрѣться, а на самомъ дѣлѣ просто посидѣть и посмотреть на Бети.

Рабиновичъ сообщилъ, что сегодня въ театрѣ поетъ Шаляпинъ и что, если Бети хочетъ его послушать, можно пойти, ему обѣщали два билета...

Дочь глазами спросила мать, можно ли ей пойти съ квартирантомъ слушать Шаляпина? Мать

колебалась. Ничего дурного она не подумада, но вообще, что это за хожденіе въ театръ вдвоемъ со студентомъ? А люди что скажутъ?... И еще одно соображеніе не давало ей покоя: откуда онъ беретъ деньги, этотъ „шлимъ-мазель“?

Она уже давно собиралась поговорить съ нимъ о денежныхъ дѣлахъ. И не только собиралась, но не разъ пробовала заговаривать. Но онъ всегда свернетъ на что-нибудь другое, пошутитъ, посмѣется, а она попрежнему въ невѣдѣннн.

Теперь у нея есть поводъ, такъ сказать, „законное основаніе“.

— Вы хотите итти съ моей дочерью въ театръ? — сказала она квартиранту, не глядя на него. — Я слышала, это должно дорого стоить? Шаляпинъ этотъ, говорятъ, кусается...

— Пустяки! — протянулъ квартирантъ. — Стоитъ говорить о такихъ глупостяхъ...

— Разумѣется, пустяки, — говоритъ мадамъ Шапиро. — У васъ, видно, денегъ-то куры не клюютъ? Вамъ, должно быть, ежемѣсячно присылаютъ, что ли?

— Ну, да, ежемѣсячно, — отвѣчаетъ квартирантъ.

— Откуда? Изъ дома, конечно?

— Ну, да, изъ дома.

— Сколько же вамъ посылаютъ?

Этого Бети не выносить и вмѣшивается:

— Ты что, мама, — судебный слѣдователь?

— Что же такого я говорю? — оправдывается

мать. — Я хочу лишь знать, откуда онъ беретъ деньги?

— Тебѣ-то что? Воруетъ! — говоритъ дочь и смѣется вмѣстѣ съ матерью, а на нихъ глядя смѣется и квартирантъ, — вѣдь онъ уже немного понимаетъ по-еврейски, не все, но чуть-чуть. Въ домѣ у Шапиро научился. И чтобы успокоить хозяйку, которая все же хочетъ знать, откуда онъ беретъ деньги, онъ рассказываетъ, подъ условіемъ, чтобы объ этомъ никто не зналъ, что у него есть богатая тетушка...

Мадамъ Шапиро принимаетъ это за чистую монету и спрашиваетъ:

— Вдова или разведенная?

Квартирантъ, не задумываясь, отвѣчаетъ:

— Вдова.

— Дѣтей у нея нѣтъ?

— Нѣтъ.

— И не было, или поумирали?

— Поумирали.

— Всѣ до одинаго?

— До одинаго.

Мадамъ Шапиро вздыхаетъ:

— Твоя, Господи, воля...

— Отчего она вторично замужъ не выходитъ?

— Ради Бога! — снова вмѣшивается дочь, съ трудомъ оставаясь на мѣстѣ. — Что это за допросъ?

— Тебѣ какое дѣло? Ему денегъ стоитъ, что ли, поразсказать? Языкъ не отвалится...

И мадамъ Шапиро снова берется за квартиранта, не переставая усердно работать надъ Семкинымъ чулкомъ:

— Итакъ, о чемъ я васъ еще хотѣла спросить? Да, какъ она вамъ приходится теткою-то? Сестра она вашей матери или мужъ ея былъ братомъ вашего отца?

— Она сестра моей матери.

— Такъ... Родная сестра? Старшая или младшая?

— Старшая, т. е. младшая... Нѣтъ, таки старшая...

Мадамъ Шапиро поднимаетъ глаза сперва на квартиранта, затѣмъ на дочь, которая теряетъ терпѣніе, встаетъ и уходитъ къ себѣ въ комнату. Но мадамъ Шапиро не падаетъ духомъ и продолжаетъ свое дѣло, какъ настоящій слѣдователь.

— Онъ, значитъ, былъ съ деньгами?

— Кто?

— Мы о комъ говоримъ? О дядѣ вашемъ, кажется? Я спрашиваю, богатъ онъ былъ?

— Богачъ!

— И большой богачъ?

— Большой!

— Что значить у васъ большой богачъ?

Квартирантъ не знаетъ, что отвѣтить. Хозяйка приходитъ на помощь:

— Еврейское богатство... Дойдетъ до дѣла— все оказывается мыльнымъ пузыремъ... Есть у насъ поговорка: чужія тысячи и чужія дѣти не

дорого стоятъ... Я спрашиваю, во сколько его оцѣнивали?

— Кого?

— Опять кого?

Мадамъ Шапиро смотритъ на квартиранта, и тотъ спохватывается:

— Ахъ, дядю во сколько оцѣнивали? Этого я не знаю.

— Этого вы не знаете? А кто же долженъ знать? Я васъ не спрашиваю, сколько у него всѣхъ денегъ было до копейки. Мнѣ интересно, сколько приблизительно у него могло быть, у дяди вашего, предъ смертью?

Квартирантъ на минуту задумался:

— Думаю... этакъ около милліона...

У мадамъ Шапиро даже чулокъ изъ рукъ выпалъ отъ испуга.

— Сколько вы говорите? Около милліона?

— Почти что милліонъ... Немного меньше..

Мадамъ Шапиро почесала спицею за ухомъ и придвинулась поближе къ квартиранту:

— Скажите-ка, о чемъ я васъ хочу спросить: разъ дѣти всѣ, говорите вы, поумирали, и кромѣ васъ никакихъ наслѣдниковъ нѣтъ, то, пожалуйста, и лучше, что ваша тетка не выходитъ замужъ?

— Чѣмъ, въ сущности, лучше?

Хозяйка наклонила голову и посмотрѣла на квартиранта исподлобья:

— Скажите, пожалуйста, вы притворяетесь простоватымъ или въ самомъ дѣлѣ таковы?

Квартирантъ смотритъ на нее смѣющимися глазами:

— А что?

— Онъ еще спрашиваетъ! Что значить—а что? Если такъ, то вѣдь черезъ сто двадцать лѣтъ все это ваше!

— Черезъ сто двадцать лѣтъ? Ого! — вскричалъ квартирантъ въ недоумѣніи, а хозяйка такъ разсмѣялась, что Бети прибѣжала изъ со-сѣдней комнаты.

— Какъ тебѣ, Бети, нравится нашъ квартирантъ? Настоящій „гой“! Я говорю ему, что черезъ сто двадцать лѣтъ онъ получитъ наслѣдство отъ своей тетки, а онъ не понимаетъ, что значить черезъ сто двадцать лѣтъ, ха-ха-ха!... Комедія, да и только! Это какъ тетя Рива завѣщала двумъ своимъ дочерямъ корову, чтобы продали ее *черезъ сто двадцать лѣтъ послѣ ея смерти*, а деньги подѣлили между дочерьми... Начался споръ, и когда дѣло дошло до суда, умница судья постановилъ, что корову нельзя продавать, такъ какъ завѣщаніе ясно говоритъ: *черезъ сто двадцать лѣтъ послѣ смерти*. Ха-ха-ха!...

Бети пришлось объяснить квартиранту какъ исторію съ завѣщаніемъ тети Ривы, такъ и смыслъ выраженія: „черезъ сто двадцать лѣтъ“*).

*) У евреевъ въ большомъ почетѣ долготѣіе. Поэтому у нихъ часто встрѣчаются въ той или иной

Всѣ трое весело смѣялись, пока не пришелъ хозяинъ, сердитый и торопливый, какъ всегда.

— Что за смѣхъ у васъ опять?—проговорилъ онъ въ пространство, ни на кого не глядя.

— Комедія! Описать стоитъ!—сказала Сара мужу и принялась рассказывать всю исторію сначала, а въ душѣ она хотѣла, чтобы мужъ узналъ, откуда квартирантъ беретъ деньги и какое наслѣдство его ожидаетъ.

— Милліонъ! Понимаешь: цѣлый милліонъ? А можетъ быть, и больше...—такъ закончила Сара Шапиро, и въ ея глазахъ заблестѣлъ огонекъ, щеки разгорѣлись, и она какъ-будто помолодѣла на нѣсколько лѣтъ, даже голосъ у нея измѣнился...

— Знаю я ихъ, еврейскіе мѣлліоны! Грошъ имъ цѣна!—отвѣтилъ Давидъ, какъ человѣкъ компетентный въ этихъ дѣлахъ, и, засучивъ рукава, пошелъ мыть руки.

Мадамъ Шапиро осталась, словно ушатъ холодной воды на нее вылили. Въ первую минуту она готова была устроить мужу скандалъ, но встрѣтивши строгій взглядъ дочери, закусилла губу и, отложивши сцену на другой разъ, пошла подавать обѣдъ.

формъ пожеланія долгой жизни. Въ особеннсти употребительно число 120 лѣтъ.

Прим. перев.

Въ тотъ же день вечеромъ, когда Давида еще не было дома, а Бети одѣвалась въ театръ, мадамъ Шапиро заявила къ квартиранту будто бы за тѣмъ, чтобы посмотрѣть, топится ли печь, и снова затѣяла съ нимъ разговоръ о миллионершѣ теткѣ. Она уже знаетъ, какъ ту зовутъ. Леей,—у „шлимъ-мазела“ выходитъ не Лея, какъ говорятъ у евреевъ, а Лія...

— А дядю звали Абрамъ Абрамычъ...

Мадамъ Шапиро съ удивленіемъ уставилась на квартиранта:

— Какъ это возможно? Чтобы отца звали Абрамъ и сына тоже Абрамомъ?! Это бываетъ только у русскихъ. Отецъ Иванъ и сынъ Иванъ... Иванъ Ивановичъ...

Рабиновичъ виновато смотритъ на мадамъ Шапиро, хотя не знаетъ, въ чемъ въ сущности его вина. Къ счастью, она сама приходитъ ему на помощь:

— Развѣ что вашъ дядя родился послѣ смерти своего отца?

Рабиновичъ хватается за это, какъ утопающій за соломинку:

— Да, да правда. Мой дядя умеръ раньше, чѣмъ родился его отецъ, т. е., я хочу сказать, что его отецъ родился раньше, чѣмъ умеръ дядя... Тьфу! Что за чепуха?

И оба разсмѣялись...

— Предоставьте ужъ лучше врагамъ вашимъ

говорить за васъ!—иронизируетъ мадамъ Шапиро и продолжаетъ „допросъ“.

— Кто же онъ былъ вообще, вашъ дядя?— спрашиваетъ она, глядя въ потолокъ.

— Кто онъ былъ?... Человѣкъ...

— Знаю,—говоритъ мадамъ Шапиро, не сводя глазъ съ потолка. — Знаю, что человѣкъ, а не звѣрь. Я хочу спросить, чѣмъ онъ торговалъ?

Рабиновичъ, еще въ бытность свою Поповымъ, слыхалъ, что евреи торгуютъ старыми вещами. Поэтому ему пришло въ голову отвѣтить:

— Чѣмъ торговалъ? Да... старьемъ, шурумъ-бурумъ...

Мадамъ Шапиро всплеснула руками и впиалась глазами въ квартиранта:

— Что вы говорите? Старьемъ? Какъ это можно отъ старья миллионъ нажить? Боже мой!

Квартирантъ видитъ, что чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, тѣмъ глубже онъ вязнетъ въ тину... Спѣшитъ поправиться и оправдаться... Еще въ бытность свою Поповымъ, слыхалъ онъ, что евреи скопляютъ богатства путемъ экономіи, откладывая грошъ къ грошу... Такой отвѣтъ, видимо, сошелъ благополучно. Мадамъ Шапиро заломила руки и сказала:

— Вотъ исторія такъ исторія! Но вѣдь тогда онъ долженъ былъ прожить Маэусаиловъ вѣкъ!... Не иначе, какъ онъ былъ старикъ, а она его вторая жена?

...

— Конечно, я угадала. Я всегда угадываю, потому что иду прямымъ путемъ... Я не такъ стара, какъ опытна. Мой мужъ, знаете, немного прытокъ. Все у него скоро-скоро... А главное— не вѣрять въ чужое счастье. Слыхали, что онъ сказалъ: „еврейскіе милліоны“? Онъ думаетъ, если у него ничего нѣтъ, такъ ни у кого нѣтъ. И у Ротшильда тоже ничего нѣтъ. Не слушайте, что онъ вамъ скажетъ!... А о Бети вообще нечего говорить. Что можетъ она, дитя, понимать въ такихъ вещахъ? Я опытнѣ ихъ всѣхъ. Поэтому слушайте, что я вамъ скажу. Конечно, не мое это дѣло... Но если хотите меня послушать,—вамъ надо бы почаще переписываться съ вашей теткой. Все же она женщина, вдова, одинокая... Когда думаете съ ней повидаться?

Рабиновичъ подумалъ:

— Думаю... если не на Рождество, то на Пасху...

— Что за Рождество у евреевъ? Что за языкъ— Пасха? Всѣ еврейскіе праздники, сколько разъ я ужъ замѣчала, вы называете русскими именами. Хануко у васъ Рождество. Пейсэхъ—Пасха. Швуэсъ—Троица... Не мое это дѣло, но я ужъ давно собиралась вамъ сказать, что нехорошо это, просто некрасиво передъ людьми... Повѣрите ли, каждый, кто васъ видѣлъ и хоть немного говорилъ съ вами, совсѣмъ отказывается вѣрить, что вы еврей... Ну, чего вамъ больше? Возьмите нашего доктора,—онъ мнѣ на дняхъ еще разъ сказалъ, что, если бы вы, говорить,

не носили фамилію Рабиновича, онъ никогда въ жизни не сказалъ бы что вы еврей...

— Правда?—спрашиваетъ Рабиновичъ, смѣясь и немного краснѣя.

— Правда! Что же, я вамъ выдумывать стану? И еще одно. У васъ привычка, когда вы хотите сказать что-нибудь о евреяхъ, говорить не „у насъ“, а „у васъ“. Право же, некрасивая привычка. Не мое это дѣло, но вамъ надо отучиться отъ этого. Я вамъ другъ и потому говорю...

— А вотъ и Бети!—обратилась она къ дочери, которая показалась въ дверяхъ, одѣтая, въ тепломъ капорѣ, изъ котораго виднѣлись только ея прекрасные каріе глаза, густыя брови да кончикъ носа.—Я прошу нашего квартиранта послѣдить, чтобы ты не выскочила изъ театра вспотѣвшей. Раньше остынь тамъ, остынь,—слышишь, что тебѣ говорятъ!—Въ самомъ дѣлѣ, Рабиновичъ, я васъ прошу, послѣдите за ней, чтобы она, не дай Богъ, не простудилась. Боюсь, что Шляпинъ вашъ мнѣ дорого обойдется!...

— Будьте покойны, матушка, положитесь на меня!—успокаиваетъ ее квартирантъ и, счастливый, если не самый счастливѣйшій, сбѣгаетъ вмѣстѣ съ Бети по лѣстницѣ:

— Эй, ванька!

Съ гикомъ и свистомъ подлетаютъ три извощика, Рабиновичъ усаживаютъ свою даму въ санки и укрываетъ ноги. Одной рукой онъ обнимаетъ ее за талію, осторожно, слегка, какъ

дорогую вазу или статую, которая может упасть и разбиться... и велить извозчику мчаться во весь духъ.

Снѣгъ летитъ на нихъ изъ-подъ копытъ, осѣдая ледяными капельками на лицѣ. Съ металлически яснаго и холоднаго зимняго неба мерцають звѣзды, соперничая съ рѣдкими и неяркими фонарями. А Сара Шапиро стоитъ у окна, уткнувшись носомъ въ самое стекло, и смотритъ имъ вслѣдъ. Ея сердце сильно бьется, неизвѣстно отъ чего: быть можетъ, отъ большой радости... Ея материнскіе глаза видятъ то, что видѣть можетъ только мать, счастливая мать, ея материнское сердце чувствуетъ то, что чувствовать можетъ только мать, счастливая мать. И думаетъ она:

— Кто знаетъ? Можетъ быть, такъ суждено?... Можетъ быть, это суженый?...

И, счастливая, мысленно слѣдуетъ за ними до театра. Идетъ съ ними въ театръ. Садится рядомъ. Слѣдитъ по пятамъ. Прислушивается, какъ они перебрасываются полусловами. Видитъ, какъ они жмутъ другъ другу руки, смотрятъ другъ другу въ глаза. О, она понимаетъ, что значать эти взгляды, эти полуслова... Давно ли она сама была дѣвушкой, а ея Давидъ молодымъ человекомъ?

И Сара вспоминаетъ то счастливое время, со всѣмъ, кажется, недавнее, когда Давидъ, молодой и красивый, „образованный“ и способный,

былъ безумно влюбленъ въ нее, писалъ ей горячія любовныя письма, божился, что лишитъ себя жизни, если за него не выдадутъ Сары... А отецъ ея, благочестивый хасидъ, не хотѣлъ и слышать о Давидѣ Шапиро, этомъ безбожникѣ, хотя отецъ у него и богатъ, денегъ готовъ дать сколько угодно, лишь бы Сара была его невѣсткой... Дѣло зашло такъ далеко, что молодые люди уже условились совершить при двухъ свидѣтеляхъ обрядъ вѣнчанія или поѣхать въ большой городъ и тамъ повѣнчаться...

Ахъ, всего вчера, кажется, былъ этотъ сонъ, а сегодня она стоитъ у окна и смотритъ на свою дочь, которая мчится на санкахъ съ чужимъ молодымъ человѣкомъ, быть можетъ, со своимъ суженымъ...

И она молитъ Бога, счастливая мать, чтобы, если это дѣйствительно суждено, онъ былъ тѣмъ, какимъ она его считаетъ... Кажется, хорошій человѣкъ... Наслѣдствомъ Господь не обидѣлъ, — всѣмъ еврейскимъ дѣтямъ такого бы... Дай Богъ, чтобы онъ былъ тѣмъ, какимъ ей кажется, чтобы она въ немъ, не дай Богъ, не ошиблась... Ничего, для Бети подойдетъ и хорошій женихъ съ миллиономъ... Милліонъ?! Легко сказать... Словечко-то: милліонъ! Цѣлый милліонъ! Совсѣмъ не плохо, должно быть, имѣть дочь миллионершу...

— Гдѣ Бети? Гдѣ квартирантъ? Какой жгучій морозъ!

Давидъ вошелъ, какъ всегда безъ звонка

озябшій, съ бѣлыми крупинками на усахъ. Узнавъ, что дочь съ квартирантомъ поѣхали въ театръ на Шаляпина, Давидъ вдругъ взбѣсился.

— Что за хожденіе по театрамъ одной?

— Поздравляю, съ приѣздомъ!—нападаетъ Сара.—Я еще утромъ, кажется, говорила тебѣ, что у нихъ есть билеты на Шаляпина, и что они пойдутъ въ театръ. Чего же ты кипяتيشся, курьерскій поѣздъ?

— Скажите, Шаляпинъ!—не перестаетъ волноваться Давидъ, бѣгая по комнатѣ и согрѣвая кстати окоченѣвшія ноги.—Нѣтъ, я бы ихъ не пустилъ въ театръ однихъ. Ни за что! Ни за какія деньги!... Я сейчасъ одѣваюсь и иду туда. Только немного согрѣюсь... Шаляпинъ! Дожили!

— Уже? Кончилъ?—сказала Сара, подошла къ нему близко, заглянула въ глаза и произнесла по-новому, мягко:

— Давидъ...

И больше ничего... Давидъ пересталъ бѣгать и кипятиться. Онъ только сказалъ женѣ:

— Когда я не знаю, кто онъ такой?..

— Что ты говоришь, Давидъ? Что тебѣ еще надо знать? Прекрасный молодой человекъ. Золотая медаль. Богатая тетка, почти миллионерша, и онъ ея единственный наслѣдникъ...

— Хорошо. Но самъ-то онъ кто? Кто его отецъ? Вѣдь я ничего не знаю!

— Давидъ! А что сказалъ мой отецъ? Ты забылъ?..

— Начинается! Что ты сравниваешь! Вещи несравнимыя!..

— Папаша, давай-ка двугривенный!—кричитъ Семка, вбѣжавъ изъ сосѣдней комнаты съ перомъ за ухомъ и съ перепачканными въ чернилахъ пальцами.

Отецъ проситъ показать документальныя доказательства того, что Семкѣ надо выдать двугривенный, а Сара приноситъ горячій самоваръ, который весело пыхтитъ и шипитъ, распространяя кругомъ пріятную теплоту, и скоро ароматъ завареннаго чаю разносится по комнатѣ.

ГЛАВА XI.

Въ театрѣ.

Войдя въ театръ и раздѣвшись, Бети осталась въ простенькомъ кашемировомъ платьѣ, съ чернымъ стеклярусомъ, блестящимъ на ея округленныхъ формахъ, а просто зачесанные волосы, окаймлявшіе ясно-матовое лицо, придавали ей столько прелести, что въ театрѣ ее скоро замѣтили среди массы другихъ красивыхъ женщинъ. Множество лорнетовъ и биноклей направилось туда, гдѣ усѣлась парочка. Оба видѣли это и понимали, что бинокли и лорнеты направлены на нихъ, на эту красивую молодую дѣвушку и ея спутника, брата, жениха или просто знакомаго... Пылающія щеки Бети съ характерными ямочками зардѣлись еще больше, краска

разлилась до самой шеи, и Бети стала еще интереснѣе, еще больше привлекала вниманіе публики, которая ради кумира-Шаляпина переполняла театръ сверху донизу, такъ что яблоку негдѣ было упасть. Только когда поднялся занавѣсъ и всѣ глаза устремились на сцену, лорнеты и бинокли оставили Бети въ покоѣ.

Бети пришла въ театръ не изъ моды, а изъ страстнаго желанія послушать знаменитаго пѣвца и артиста и скоро вся перенеслась на сцену.

Но если душа Бети была тамъ, на сценѣ, то Рабиновичъ весь былъ здѣсь, возлѣ нея, возлѣ Бети, ради которой онъ, въ сущности, и затѣялъ всю эту исторію. Меньше всего его занималъ самъ пѣвецъ. Онъ пришелъ только затѣмъ, чтобы остаться наединѣ съ Бети и, наконецъ, признаться ей, какъ онъ собирался сдѣлать это еще тогда, на другой день послѣ „облавы“... И если онъ до сихъ поръ воздерживался, то лишь потому, что самъ не былъ подготовленъ. Онъ еще не зналъ, что его чувство дѣйствительно такъ серьезно... Только въ послѣднее время убедился онъ, что безъ этой дѣвушки жить не можетъ, и что вся эта комедія съ обмѣномъ именами была фатальнымъ шагомъ, велѣніемъ рока, предопредѣлившимъ ему встрѣтиться съ этой еврейской дѣвушкой, на-смерть влюбиться въ нее и навѣки связать свою судьбу съ нею!...

Правда, онъ зналъ, что на его пути много трѣній и препятствій. Онъ хорошо зналъ, какою

войну ему придется вести дома съ его капризнымъ отцомъ и еще больше со всей знатной родней, которая, конечно, не захочетъ, чтобы онъ, Григорій Поповъ, женился на еврейской, хотя бы и крещеной дѣвушкѣ... Все это онъ очень хорошо зналъ, обо всемъ этомъ много разъ думалъ, тысячу разъ всесторонне обсуждалъ и нашелъ, что пугаться нечего, онъ все снесетъ. Отецъ проститъ его. Знатная родня забудетъ. Не онъ первый, не онъ послѣдній. Развѣ не было у насъ министра, и еще знаменитаго министра, жена котораго—бывшая еврейка?...

Въ одномъ лишь было затрудненіе. Съ чего ему сейчасъ начать? Открыть ли ей раньше, кто онъ? Или узнать, что бы она сдѣлала, если бы влюбилась въ христіанина и должна была перемѣнить вѣру?

Такого рода вопросъ онъ косвеннымъ образомъ предложилъ ей однажды, но она довольно серьезно отвѣтила, что этого вообще не можетъ быть.

— Почему не можетъ быть? — переспросилъ онъ съ тревогой.

— Такъ. Такой случай невозможенъ, — отвѣчала она. — Чтобы при теперешнихъ обостренныхъ отношеніяхъ и національной враждѣ, русскій серьезно полюбилъ еврейскую дѣвушку!...

Такъ вотъ что!... Все дѣло, повидимому, только въ томъ, можетъ ли русскій серьезно влюбиться въ еврейскую дѣвушку?... Если такъ, то

слава Богу! Можно ли быть влюбленнымъ еще серьезнѣе, чѣмъ онъ?... Вопросъ, любить ли она его?... Но ему кажется, что и это внѣ всякаго сомнѣнія. Мать и та знаетъ. А если знаетъ мать, то и отцу извѣстно. И, кажется, они оба ничего не имѣютъ противъ... Правда, они еще не знаютъ, кто онъ и какого происхожденія... Но вѣдь это мелочь... Напротивъ, пусть только узнаютъ, *кто* его отецъ!..

И ему живо рисуются различныя картины, одна другой веселѣе. Прежде всего, какъ поразится Давидъ, услышавъ имя и чинъ его отца, и титулъ „его превосходительство“, ха-ха-ха!... А Сара? Ахъ, что скажетъ мадамъ Шапиро, когда узнаетъ, что, кромѣ титуловъ и чиновъ, у его отца есть цѣлыя деревни, поля и лѣса въ Т—ской губерніи, которыя стоятъ гораздо больше „милліона“, отъ котораго она пришла въ такой восторгъ, ха-ха-ха!

О Бети и говорить нечего... Она будетъ счастливѣйшей изъ счастливыхъ, узнавъ, *кто такой* тотъ, чье сердце она покорила...

И онъ уже заранѣе представляетъ себѣ, какъ будетъ сіять радостью ея лицо, какъ будутъ сверкать счастьемъ ея глаза... Затѣмъ они пойдутъ къ нему домой, въ Т—скую губернію... И явятся къ его отцу... Что скажетъ ему отецъ, что онъ скажетъ отцу... Правда, отецъ капризный, но, право же, добрый и мягкій человекъ... Пусть только взглянетъ онъ на его избранницу,

скажетъ съ ней два слова,—и сразу простить ей ея еврейское происхожденіе... Никто такъ не умѣетъ держаться, какъ Бети. Право же она достойна, какъ выражается ея мать, бывать въ „царскихъ палатахъ“...

И онъ смотритъ на свою избранницу, которая сидитъ здѣсь рядомъ съ нимъ и даже не грезитъ объ ожидающемъ ее счастьѣ...

.
Но вотъ закончился первый актъ, и счастливая парочка покидаетъ свои мѣста и вмѣстѣ съ другими идетъ въ фойэ. Тамъ онъ можетъ свободно поговорить съ ней. Тамъ онъ откроетъ ей, наконецъ, свою тайну,—какъ онъ изъ Попова превратился на годъ въ Рабиновича, ради чего онъ это сдѣлалъ и что изъ этого вышло...

Рѣшено. Сегодня это свершится.

акъ только молодые люди вышли изъ партера въ вестибюль, гдѣ толпилась публика, они сразу замѣтили знакомую высокую фигуру съ красноватыми глазками и толстыми чувственными губами. Субъектъ этотъ стоялъ, заложивъ руки за спину, и пронизывалъ ихъ взглядомъ.

Они сразу узнали въ немъ чиновника, присутствовавшего на ночной облавѣ и сопровождавшего Рабиновича въ участокъ. Только тогда онъ былъ въ формѣ, а теперь въ длинномъ черномъ сюртукѣ. Стоялъ неподвижно, какъ на

стражѣ, и осматривалъ гулявшую взадъ и впередъ публику.

Рабиновича и Бети онъ сопровождалъ особенно острымъ взглядомъ своихъ красноватыхъ глазъ. Бети чувствовала на себѣ этотъ взглядъ, пронизывавшій ее, какъ электрической токъ...

— Это *онъ*?...—спросила она своего спутника, сама не зная, почему у нея такъ забилось сердце, и инстинктивно прижалась къ рукѣ, которую молодой человекъ предложилъ ей.

— Ну, такъ что же, если и *онъ*? — отвѣтилъ Рабиновичъ, желая ее успокоить, а въ душѣ самъ посылая этого субъекта ко всѣмъ чертямъ. Онъ былъ убѣжденъ, что встрѣча эта не къ добру...

И въ самомъ дѣлѣ, какъ только они вошли въ роскошное фойэ, гдѣ можно было спокойно посидѣть и побесѣдовать наединѣ, Богъ послалъ имъ еще одну встрѣчу.

Это былъ одѣтый съ иголки, расфранченный студентъ,—блестящія пуговицы, высокій воротникъ, золотая шпага, бѣлоснѣжныя перчатки и грудь колесомъ, по-офицерски,—словомъ, одинъ изъ тѣхъ франтовъ, которыхъ зовутъ „бѣлоподкладочниками“.

— А, коллега!—обратился студентъ къ Рабиновичу, и на его красномъ съ рыжей бородкой лицѣ, выглядывавшемъ изъ высокаго синяго воротника, показалась сладковатая улыбочка.

Улыбался студентъ, въ сущности, не столько

Рабиновичу, сколько красивой дѣвушкѣ, идущей съ этимъ канальей Рабиновичемъ подъ руку...

— Неужели вы меня не узнали, гы?

По этому самому „гы“ Рабиновичъ уже зналъ, кто это.

— Лапидусъ?—сказалъ онъ и протянулъ руку, подумавъ при этомъ:—Какой чертъ занесъ тебя сюда? Лучше бы тебѣ провалиться!..

Рабиновичъ чувствовалъ безпричинную антипатію къ Лапидусу, хотя и жалѣлъ его. Слишкомъ часто встрѣчался ему этотъ рыжій юноша, слишкомъ часто повторялъ одну и ту же пѣсенку, что не хорошо быть евреемъ, нехорошо и неудобно, неумно и нелогично... Къ чему? Для чего? Предъ кѣмъ намъ хвастаться? Кто насъ за это похвалить?..

— Я, повѣрьте, знаю, почему вы не разстаетесь со своимъ еврействомъ, гы... Бойтесь отца или матери,—нападалъ Лапидусъ на Рабиновича, взявъ его за пуговицу.

— Вы ошибаетесь, — пробовалъ отдѣлаться, Рабиновичъ отъ непріятнаго собесѣдника съ его противнымъ смѣхомъ.

— Ошибаюсь, говорите, гы? Я никогда не ошибаюсь. Если бы вашъ отецъ не былъ фабрикантомъ...

— Мой отецъ не фабрикантъ,—пытался вернуться Рабиновичъ.

— Не фабрикантъ, такъ банкиръ... Если бы вашъ отецъ не былъ банкиромъ и вы не надѣя-

лись стать, какъ говорятъ у евреевъ, черезъ сто двадцать лѣтъ, его наслѣдникомъ, хи-хи-хи, да если бы у васъ была бѣдная мать и сестра, какъ у меня,—вы сдѣлали бы то же, что собираюсь сдѣлать я, что дѣлаютъ многіе благоразумные товарищи...

Внезапно Лapidусъ остановился и взялъ новый тонъ:

— Хотите держать со мною пари?

— Какое?

— Что черезъ годъ въ это время вы будете христианиномъ... На сколько хотите держать пари, гы? Ага, вы молчите, хи-хи-хи!

Тогда Рабиновичъ, чтобы доставить ему удовольствіе, тоже засмѣялся, что тотъ принялъ за знакъ согласія и потомъ при каждомъ удобномъ случаѣ останавливалъ Рабиновича и спрашивалъ:

— Ну?..

Боясь, чтобы Лapidусъ и теперь, въ присутствіи Бети, не напомнилъ ему о пари, Рабиновичъ поспѣшилъ познакомить его со своей дамой. Но познакомившись, Лapidусъ уже совсѣмъ не хотѣлъ отходить отъ хорошенькой дѣвушки. Дѣлать нечего,—пришлось втроемъ ходить взадъ и впередъ по фойэ,—Бети посерединѣ, а Рабиновичъ и Лapidусъ по сторонамъ.

Не было проклятія, котораго Рабиновичъ не посылалъ бы на голову этого бѣлоподкладочника, Цѣлый антрактъ пропалъ. Нельзя остаться на-

единѣ съ Бети и поговорить, о чемъ хочется... Приходится терпѣть, соблюдать вѣжливость и поддерживать разговоръ... И о чемъ только говорить этотъ Франтъ Ивановчъ!... Такіе пустые, банальные разговоры, что душѣ тошно... Причесался, разодѣлся, хоть въ гробъ клади, и думаетъ, что самъ чертъ ему не братъ!...

Рабиновичу хотѣлось спросить Лапидуса, почему онъ въ студенческомъ мундирѣ? Но что-то удерживало его. Вспоминался ему ихъ разговоръ, и онъ невольно почувствовалъ жалость къ несчастному молодому человѣку, у котораго на плечахъ мать и сестра, кажется... Разсматривая его сіяющее лицо, съ острой рыжей бородкой и всю его фигуру, Рабиновичъ простилъ ему, что тотъ отнял у него цѣлый антрактъ... Богъ съ нимъ, жаль его, горемыку...

Такъ думалъ Рабиновичъ, понимавшій, какою цѣною купилъ Лапидусъ свой студенческой мундиръ на бѣлой подкладкѣ... Онъ не хотѣлъ касаться этого щекотливаго вопроса, боясь задѣть, быть можетъ, больное мѣсто. Но Лапидусъ началъ самъ. Онъ вдругъ остановился, оглядѣлъ Рабиновича, одѣтаго въ штатскомъ, и спросилъ:

— Но, милѣйшій коллега, что же дальше, вы? Я знаю, этимъ вы обязаны Тумаркину, который думаетъ оказать вамъ огромное благодѣяніе, а въ концѣ концовъ дѣлаетъ васъ и такихъ, какъ вы, несчастными. Право же, мнѣ жаль васъ.

— Очень вамъ благодаренъ за сочувствіе.

Лapidусу неприятно, что Рабиновичъ смѣется. Онъ говоритъ ему, глядя на его даму:

— Вамъ легко смѣяться! Вамъ что: студентъ— не студентъ... Вашъ отецъ, банкиръ или фабрикантъ, во всякомъ случаѣ буржуй, можетъ содержать васъ еще и еще годъ... Но будь вы на моемъ мѣстѣ, имѣй вы на шеѣ старуху мать и бѣдную сестру, вся жизнь которыхъ зависитъ отъ васъ, для которыхъ ваше счастье—ихъ счастье, ваше горе—ихъ горе... однимъ словомъ,— какъ можете вы чувствовать то, что чувствую я?

Вмѣшивается Бети:

— Почему вы думаете, что Рабиновичъ не можетъ чувствовать такъ, какъ вы? И кто вамъ сказалъ, что его отецъ банкиръ и что у него нѣтъ старой матери и бѣдной сестры, какъ у васъ?

Лapidусъ выпятилъ грудь, поднялъ плечи и сказалъ Бети:

— Кто сказалъ? Никто, гы. Но это извѣстно... Кто не знаетъ Рабиновичей? Извѣстная фирма! Но это неважно. Я лучше спрошу васъ, что сдѣлалъ бы этотъ господинъ Рабиновичъ, будучи въ самомъ дѣлѣ на моемъ мѣстѣ? Когда медали у меня нѣтъ, отца-банкира—тоже, а жить здѣсь не даютъ: въ двадцать четыре часа... Мать больная, сестра безпомощная... Понимаете или нѣтъ?

— Выходитъ, по-вашему, — спросила Бети, — что всякій еврей, у котораго есть больная мать и безпомощная сестра,—а у какого еврея нѣтъ

больной матери и безпомощной сестры?—долженъ ради этой матери и сестры сдѣлать то, что сдѣлали вы,—такъ я васъ поняла?

— Конечно!—отвѣтилъ Лapidусъ съ короткимъ смѣшкомъ, гордо выпячивая свою облеченную мундиромъ грудь.

Бети обдала его презрительнымъ взглядомъ своихъ лучистыхъ глазъ и, улыбаясь, сказала:

— Можно вамъ позавидовать... Съ какой легкостью разрѣшаете вы тотъ мучительный вопросъ, изъ-за котораго сотни поколѣній подвергались преслѣдованіямъ, гоненіямъ, гибли на кострахъ! Право же, вамъ можно позавидовать...

Лapidусъ натянуто улыбнулся, показывая свои бѣлые зубы. Если бы Бети не была такъ привлекательно-красива, если бы ея звонкій голосъ, ея классическая фигура, весь ея милый видъ не кричали бы: „люби меня“, — разговорчивый Лapidусъ нашелъ бы, что отвѣтить на ея иронію. Но Бети такъ ему нравилась, что онъ съ усмѣшкою сказалъ лишь:

— Извините, мадемуазель... мадемуазель...

— Мадемуазель Шапиро, — подсказалъ Рабиновичъ.

— Пардонъ! Извините, мадемуазель Шапиро, я задамъ вамъ одинъ вопросъ, хотя и частный, но имѣющій близкое отношеніе къ тому, который вы сейчасъ задѣли. Вы говорите, — сотни поколѣній подвергались преслѣдованіямъ, гоненіямъ, сжигались на кострахъ. Все это красивая

преданья старины. „Исторія“, предъ которой мы почтительно склоняемъ головы. Прекрасно. Но что вы скажете о такомъ случаѣ, не изъ исторіи, нѣтъ! — изъ самой жизни. Фактъ, случившійся недавно здѣсь, въ этомъ самомъ городѣ, хи-хи-хи!... Препикантная и въ то же время препечальная исторія... Будь я литераторомъ, я непременно описалъ бы этотъ случай въ газетѣ... Послушайте.

И Лapidусъ началъ излагать свою пикантную исторію такимъ тономъ, по которому видно было, что человекъ доволенъ и самимъ собою, и тѣмъ, что умѣетъ такъ хорошо рассказывать, и тѣмъ, что его слушаетъ такая хорошенькая дѣвушка...

— Итакъ, сударыня,—началъ Лapidусъ свой рассказъ больше для Бети, чѣмъ для Рабиновича, — исторія, съ сущности говоря, простая, обыкновенная исторія, которую я назвалъ бы „одной изъ многихъ“, потому что такія вещи случаются у насъ въ послѣднее время очень часто.

У меня есть хорошій знакомый, близкій другъ, имя его, конечно, не важно, *nomina sunt odiosa*,—а у друга или товарища есть сестра, дѣвушка. И прехорошенькая дѣвушка. Замѣтите, я не говорю—красавица. Красавицъ вообще немало...

Этими словами и еще больше тѣмъ, какъ онъ

смотрѣлъ на Бети, Лapidусъ далъ ей понять, что она можетъ гордиться. Бети сдѣлала видъ, будто ничего не поняла, а Рабиновичу очень хотѣлось взять этого франта Лapidуса за кончикъ его рыжей бородки или за лацканы его великолѣпнаго мундира и сказать: къ дѣлу, братецъ! Но онъ воздержался и съ улыбкою сказалъ:

— Итакъ, у васъ есть хорошій другъ, товарищъ, а у товарища—сестра. Ну, а дальше что же?

Лapidусъ принялъ замѣчаніе Рабиновича, какъ знакъ того, что тотъ завидуетъ ему, Лapidусу, и его умѣнью такъ хорошо рассказывать. Не обращая вниманія на Рабиновича, а глядя только на Бети, онъ продолжалъ:

— Итакъ, сударыня, какъ уже сказано, у моего коллеги есть сестра, прехорошенькая дѣвушка, развитая, желающая учиться, окончить какіе-нибудь курсы,—понимаете? Ну, пріѣхала она сюда изъ глухой провинціи сдать экзаменъ и поступить, куда удасться. На акушерскіе, такъ на акушерскіе, на зубо-врачебные, такъ на зубо-врачебные,—лишь бы учиться, лишь бы дипломъ. Прекрасно.

Пріѣхала она къ брату. Онъ, какъ вы сами, вѣроятно, догадываетесь, студентъ. Хорошо. Пріѣхала. Гостить. Только вотъ заставляютъ ее выѣхать въ двадцать четыре часа. Почему? Объяснить вамъ нечего, сами понимаете: „правожительства“. Она, бѣдная, говоритъ: вотъ я

сдамъ экзамены, поступлю на курсы, у меня и будетъ „право-жительства“. А ей отвѣчаютъ, что для самаго экзамена надо представить „право-жительства“, хи-хи-хи! Понимаете или нѣтъ?

Однимъ словомъ, плохо! Что дѣлать? Экзаменъ на носу, а тутъ околоточный: или „право-жительства“ или будьте добры домой,—„Фуръ-Фуръ на Бердичевъ“, хи-хи-хи!

Туда-сюда, нашелся, представьте себѣ, добрый другъ, умница еврей, и подаетъ совѣтъ... (Лапидусъ наклоняется къ Бети и говоритъ шопотомъ)... чтобы она записалась... чтобы она взяла... тысячу разъ простите!... ну, чтобы она жила по желтому билету!... Понимаете или нѣтъ?

Я изъ себя вышелъ, когда услыхалъ это. И отъ кого, думаете вы, услыхалъ? Отъ ея же брата! Можете себѣ представить, что я не смолчалъ. Влетѣло ему!

— Ради Бога,—говорю я,—какъ можешь ты подумать даже объ этомъ? Какъ можетъ тебѣ прійти на умъ такая вещь?

Ну, спрашиваю я васъ, не лучше ли, не въ тысячу ли разъ лучше, и человѣчнѣе, и практичнѣе, и честнѣе отказаться отъ всего этого развѣ навсегда, чѣмъ падать такъ низко, такъ опускаться морально, бросаться очертя голову, гы?..

Рабиновичъ, сильно заинтересовавшійся исторіей и по существу соглашавшійся съ Лапидусомъ, хотѣлъ что-то сказать, но Лапидусъ рукою остановилъ его, потому что въ ту же минуту загово-

рила Бети. Она обратилась къ Лapidусу, глядя внизъ на кончики своихъ ботинокъ, но все же можно было видѣть, какъ пылало ея лицо.

— Что же стало съ сестрою вашего товарища? То-есть, что она... что она сдѣлала?

Тутъ Лapidусъ остановился, скрестилъ на груди руки, какъ артистъ, и началъ трагическимъ шопотомъ:

— Ага! Вотъ объ этомъ-то я васъ и спрашиваю... Какъ по-вашему,—чьего совѣта она должна была послушаться, гы?

Бети тоже остановилась и, глядя Лapidусу прямо въ глаза, отвѣтила рѣзко, съ ноткой злобы въ голосѣ:

— Мнѣ очень жаль вашего знакомаго... сестру вашего знакомаго. И если вы уже такъ хотите знать мое мнѣніе, то должна вамъ сказать, что на ея мѣстѣ я, конечно, не послушалась бы вашего умнаго, практическаго и *честнаго* совѣта!...

Слово „честнаго“ она произнесла съ такимъ удареніемъ, что Лapidусъ понялъ и закусилъ губу, хотя и сдѣлалъ видъ, что смѣется.

— Та-акъ вы думаете, гы?

— Такъ вамъ скажетъ всякій, въ комъ есть хоть капля чести, въ комъ свободная, а не порабощенная душа, кого нельзя купить ни за какія деньги, ни за какой акушерскій дипломъ и вообще ни за какіе дипломы!

Бети говорила такъ искренно и съ такимъ огнемъ, что Рабиновичъ снова залюбовался ею

и не могъ наглядѣться досыта. Она казалась ему новой. Совсѣмъ не та прелестная дѣвушка съ ямочками на щекахъ и лукавой улыбкой, которую онъ увидѣлъ въ первый разъ, когда пришелъ нанимать комнату. Онъ никогда еще не видалъ ее такой красивой, такой величественно прекрасной, какъ въ эту минуту. Ея постоянно смѣющіеся глаза теперь горѣли огнемъ. Ея щеки, только что краснѣвшія, какъ спѣлые персики, вдругъ покрылись странной блѣдностью. Верхняя губа немного дрожала...

Лапидусъ, который все время любовался ея лицомъ и пожиралъ ее глазами, завидуя Рабиновичу, ничего не отвѣтилъ. Онъ только притворился, будто смѣется, еще больше выпятилъ грудь, еще выше поднялъ плечи и обратился къ Рабиновичу:

— Видите? А я думалъ, что одинъ только Тумаркинъ шовинистъ. Оказывается... Но, кажется звонокъ?...—не dokonчилъ онъ, попрощался, элегантно наклонивши голову и стукнувъ каблуками, совсѣмъ по-офицерски, и исчезъ въ массѣ, стремившейся въ зрительный залъ публики.

Изъ того, что Бети только что сказала, Рабиновичъ понялъ, что ему не придется говорить съ ней, о чемъ хотѣлъ, и что онъ не долженъ открывать ей свою тайну. Ея мнѣніе объ его планѣ было теперь ясно для него, какъ день. Всѣ его воздушные замки дрогнули, готовые рухнуть. Всѣ его золотые сны разсѣялись, какъ дымъ...

— Неужели,—спрашивалъ онъ себя, идя подь руку съ Бети въ партеръ и чувствуя теплоту ея руки,—неужели изъ-за этого, изъ-за такого, въ сущности, пустяка, я потеряю мое сокровище, мою Бети? Неужели все пропало?...

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ себѣ твердо,—нѣтъ! Этого не можетъ быть! Этого быть не должно! И этого не будетъ!...

ГЛАВА XII.

Размолвка.

Была чудная ночь, когда молодые люди вышли изъ театра. Одна изъ тѣхъ холодныхъ, но мягкихъ бѣлыхъ ночей, когда снѣгъ лежитъ, словно свѣже-выглаженная простыня, морозъ щиплетъ щеки, красновато-синія звѣзды сверкаютъ, какъ брилліанты, и всюду, куда ни глянешь, бѣло, бѣло...

— Не пойти ли намъ лучше пѣшкомъ?—предложилъ Рабиновичъ.

— Я согласна,—отвѣтила Бети, обдавая его взглядомъ своихъ милыхъ глазъ, которые въ эту ночь сами сверкали, какъ звѣзды. Она подала ему руку, и они пустились внизъ подь-гору... Небо было чистое, но мелкія снѣжинки отдѣлялись гдѣ-то въ высотѣ, носились, какъ мелкія перышки, въ свѣтѣ фонарей, кружились и медленно падали на плотный утоптаный снѣгъ.

Было почти тепло. Такъ по крайне мѣрѣ ка-

залось молодымъ людямъ, которые быстро шли подъ-гору, держась за руки, и скользили, скользили, чуть не падая, и смѣялись, смѣялись... И каждый разъ, когда, скользя, готовы были упасть, Бети крѣпко прижималась къ своему спутнику, и ему нужно было напрягать всю силу воли, чтобы удержаться, не обнять ее обѣими руками, не приблизить ея лицо къ своему и не расцѣловать ея раскраснѣвшіяся отъ мороза щеки...

Въ эту минуту Рабиновичъ совсѣмъ забылъ о томъ, что только что слышалъ отъ нея въ театрѣ. Достаточно было одну минуту побыть съ ней, почувствовать ея близость, чтобы забыть все на свѣтѣ! Что ему теперь — еврей, рускій, національность, вѣра, когда ея рука находится въ его рукѣ, когда онъ чувствуетъ ея дыханіе, слышитъ, какъ бьется ея сердце?..

Прочь всякія мысли! Онъ знаетъ лишь одно: онъ любитъ ее, и она его,—это ясно, какъ это чистое небо надъ ними, какъ этотъ бѣлый снѣгъ, скрипящій подъ ихъ ногами...

Вдругъ Бети громко расхохоталась, закинувъ назадъ голову:

- Вотъ комикъ!
- Кто?
- Лapidусъ вашъ...

Онъ остановился и посмотрѣлъ на нее:

- Чѣмъ же?
- Всѣмъ. И самъ онъ, и его исторія, ха-ха-ха!

Онъ сразу будто съ неба свалился. Ея звонкій смѣхъ-немного злилъ его: неужели эта печальная исторія могла вызывать у нея только смѣхъ?

И невольно пришла ему въ голову его постоянная мысль о евреяхъ: что это за странный народъ?... Нѣтъ у нихъ жалости другъ къ другу. Видно, такъ привыкли къ несчастіямъ, что ничто ужъ ихъ не трогаетъ... Странный народъ!..

Внезапно исчезла вся прелесть чудной ночи. Черная кошка пробѣжала между ними... Онъ не можетъ дольше молчать, онъ долженъ, обязанъ сказать ей, что думаетъ о ней. Онъ подыскиваетъ слова, чтобы выразиться помягче, чтобы какъ-нибудь не обидѣть ея. Съ ней надо осторожно,—капризная...

— Неужели не найдется у васъ немного жалости, капли сочувствія?

Бети взглядываетъ не на него, а вверхъ, на звѣздное небо:

— Жалости? Сочувствія? Къ кому? Къ этому низкому человѣку, который предалъ насъ, который бѣжалъ отъ насъ, продалъ своего Бога и свой народъ за синій мундиръ и золотую шпагу, ха-ха-ха!

Нѣтъ, положительно, злобный смѣхъ Бети мало гармонировалъ въ эту чудную ночь съ настроеніемъ Рабиновича, который за минуту передъ тѣмъ готовъ былъ упасть къ ея ногамъ и просить ее, чтобы она была его, его навсегда.

Неужели же все пропало? Э, еще не поздно!.. Онъ долженъ ей высказать, что носить въ душѣ такъ давно... Долженъ же быть когда-нибудь конецъ!.. Не сегодня, такъ завтра—должна же правда когда-нибудь всплыть!..

И заглядывая ей въ глаза, онъ мягко и тихо говоритъ:

— Берта Давидовна... позвольте... вы говорите: онъ продалъ своего Бога за синій мундиръ. А что, если бы онъ сдѣлалъ это ради чего-нибудь другого?..

Бети повернулась къ нему лицомъ:

— Напримѣръ?

Рабиновичъ остановился, взялъ ее за обѣ руки и заглянулъ глубоко въ глаза:

— Что, если бы, напримѣръ, я полюбилъ васъ, и вы полюбили меня, и узнали бы, что я...

Бети посмотрѣла ему прямо въ глаза, и, какъ ему показалось, злая усмѣшка пробѣжала по ея губамъ...

— Что вы тянете? Хотите сказать, что было бы, если бы я узнала, что вы хотите продѣлать то, что вашъ товарищъ Лapidусъ?..

— Нѣтъ, не то! Не то! Еще хуже!—хотѣлъ закричать онъ и сжалъ ея руки еще крѣпче... Но она вдругъ вырвалась и стрѣлой пустилась бѣжать...

Онъ за нею:

— Берта Давидовна! Мадемуазель Шапиро!... Но сколько онъ ни звалъ ея, сколько ни про-

силъ, чтобы она остановилась на минутку, на одну минутку, онъ долженъ ей что-то сказать, одно слово, одно только слово,—ничто не помогало. Она не останавливалась и не хотѣла слушать, даже уши руками закрыла, и такъ они добѣжали до дому, оба красные, возбужденные, запыхавшіеся...

— Тс!... Что съ вами?—встрѣтила ихъ Сара, приложивъ палецъ ко рту, такъ какъ всѣ уже спали.—Чего вы такъ летѣли, словно за вами гнались?... И почему пѣшкомъ?

Бети снимала перчатки, капоръ, будто смѣясь, но лицо у нея было блѣдное, и глаза какъ-то странно блестѣли.

— Кто тебѣ, мамаша, сказалъ, что мы летѣли стрѣлой? И откуда ты знаешь, что мы пришли пѣшкомъ?

Хорошее дѣло,—откуда она знаетъ! Развѣ она такъ крѣпко спитъ? Развѣ она не слыхала, какъ они бѣжали по снѣгу? Вѣдь она—не какъ отецъ, который придетъ со службы, поужинаетъ и валится, какъ снопъ на постель...

Въ этомъ была доля правды. Сара даже и не думала спать. Она, полураздѣтая, сидѣла у окна, высматривая дѣтей, и насилу дождалась ихъ прихода. А когда они пришли, она только взглянула на дочь — и сразу замѣтила, что между нею и квартирантомъ что-то произошло... Счастливая мать рѣшила, что не иначе, какъ въ театрѣ или по пути онъ сдѣлалъ предложеніе дочери...

— Бети, что случилось?—спросила она дочь, послѣ того какъ квартирантъ тихонько попрощался съ ними и на цыпочкахъ удалился къ себѣ въ комнату.

— Что должно было случиться?—отвѣтила та капризно, какъ всегда.—Ничего не случилось... Спокойной ночи...

— Спокойной ночи.

Сара знаетъ, что спрашивать бесполезно. Чѣмъ больше спрашивай, тѣмъ меньше та скажетъ. Она похрустѣла пальцами и, полная надеждъ, пошла спать, не переставая думать о томъ, что, если Господь захочетъ, счастье само въ домъ придетъ...

Что Богъ послалъ Шапиро счастье, какого-то богатаго квартиранта, студента, который ухаживаетъ за дочерью,—знала вся еврейская улица изъ конца въ конецъ. Объ этомъ говорили всѣ сосѣди и знакомые, друзья и пріятели.

Сара сама разнесла вѣсть по городу. Разсказала „близкимъ друзьямъ“, которые завидовали ей безъ конца. Разумѣется, она не говорила, что рѣчь идетъ о женихѣ... Боже сохрани! Она не такъ ужь глупа. Сара разсказала только, какого квартиранта послалъ ей Господь,—и квартирантъ, и нахлѣбникъ, и репетиторъ! Изъ порядочной и притомъ богатой семьи!...

Тутъ она наклонялась и каждому на ухо по секрету сообщала:

— Тетка богатая... Посылаетъ массу денегъ!.. Что же, куда ей дѣвать? Вдова, миллионерша, дѣтей нѣтъ... Одинъ наслѣдникъ... одинъ единственный!..

Послѣднія слова она произноситъ громко и пальцемъ показываетъ, какой онъ единственный, а глаза сверкають, лицо сіяетъ, какъ майское солнце...

„Близкіе друзья“ выслушиваютъ, дружески улыбаясь, а когда она уходитъ, говорятъ про себя:

— Ну развѣ нужно быть умнымъ? Родись только счастливымъ, и счастье само привалитъ... Когда это Шапиро могла даже мечтать о такомъ женихѣ?..

— Женихъ? Кто это сказалъ? Откуда извѣстно, что это женихъ? Женихъ тотъ, кто обрученъ согласно обряду, какъ Богъ велитъ... Э, слушайте, бывали уже такія вещи! Женихъ, женихъ, а дойдетъ до дѣла—и на попятный!..

Въ такомъ родѣ велись разговоры на еврейской улицѣ, гдѣ дурного Шапиро никто, Боже сохрани, не желалъ, но всѣ просто завидовали: такимъ маленькимъ людямъ и такое счастье! И такъ легко! Палецъ о палецъ не ударили!

— Э, пустяки! Не вѣрьте... Откуда извѣстно въ самомъ дѣлѣ, что это такое уже счастье? Смотрите-ка, не выдумка ли вся эта исторія съ теткой и съ наслѣдствомъ?..

— Ха-ха-ха! Вотъ это идея!

— Если такъ, то вѣдь жаль бѣдныхъ Шапиро и ихъ дочь...

— Что подѣлаешь? Божья воля...

Но все это—за глаза... Привстрѣчѣ всѣ были добрыми друзьями, какъ и полагается. Ходили другъ къ другу въ гости,—то вечеркомъ сыграть „въ шестьдесятъ шесть“, то въ субботу днемъ посидѣть, то такъ себѣ, на чашку чаю. Приглашали Шапиро заходить вмѣстѣ съ квартирантомъ: чего ему сидѣть одному?

Потомъ „добрые друзья“ стали намекать:

— Что же вы такъ медлите? Пиркомъ да за свадьбку! Чего ждать?

Шапиро выслушивали это съ видимымъ удовольствіемъ, какъ дѣло рѣшенное, а правду, говоря, сами знали объ этомъ столько же, если не меньше.

— Дѣти теперъ пошли,—развѣ скажутъ что-нибудь? Попробуй-ка, заговори съ ними...

А о томъ вечерѣ, когда они были въ театрѣ, и заикнуться нельзя. Бети совсѣмъ безумная... Убей ее Богъ, если Сара понимаетъ, что съ дочерью...

На дняхъ она хотѣла завести съ ней разговоръ о томъ, „что слышно“,—такъ Бети задала ей такого „что слышно“, что она ужъ запомнить!

— Мамаша!—сказала она съ такой злобой, точно ее убить собирались:—если ты еще хоть разъ объ этомъ спросишь, то... увидишь, что будетъ!...

— Тише, тише... Не угодно ли? Гоноръ ея, видите ли, задѣли!... Совсѣмъ отецъ!... Давидъ Шапиро,—здравствуйте!

— Что тутъ говорятъ о Давидѣ Шапиро, а?— спрашиваетъ Давидъ, быстро входя безъ звонка. какъ разъ въ ту минуту, когда помянули его имя.

Сара отговаривается чѣмъ-то, что-то придумываетъ. Давидъ знаетъ, что это неправда, и между ними завязывается длинная ссора, съ колкостями и ругательствами, какъ всегда. Онъ ей—баба, она ему—курьерскій поѣздъ. Онъ ей—коза лохматая, она ему—вѣтряная мельница. Онъ ей—пустомеля,—она ему—„Шапиро“. Хотя имя Шапиро для обоихъ—гордость, такъ какъ Давидъ говоритъ, что происходитъ изъ настоящихъ Шапиро, изъ Славуты,—но Сара произноситъ это имя такимъ тономъ, точно Давидъ происходитъ изъ „славутскихъ“ Шапиро такъ же, какъ вы отъ царя Соломона. Это возмущаетъ Давида до глубины души, и онъ готовъ тогда разорвать жену на части. Поѣстъ на-спѣхъ, хлопнетъ дверь и бѣжитъ на службу.

Но все это домашнія дѣла. Супруги поссорятся да и помирятся. Непріятности изъ-за дѣтей у всѣхъ бываютъ. Ничего съ этимъ не подѣлаешь. Сара, какъ она сама про себя говоритъ, чловѣкъ пронцательный. Она не слѣпая, ясно видитъ, что у дочери съ квартирантомъ романъ разыгрался не на шутку, но романъ нѣмой, безъ словъ. А романъ безъ словъ не годится. Ничего

хорошаго изъ такого романа не выйдетъ... Такъ думаетъ Сара, и никто на свѣтѣ не разубѣдитъ ее въ этомъ и не докажетъ, что она ошибается. Надо постараться, чтобы нѣмые научились говорить и молчащіе заговорили. Но какъ этого добиться?

Сара нѣсколько разъ сама порывалась заговорить съ молодымъ человѣкомъ, чтобы двинуть его „туда или сюда“... Но какъ-то не выходило. Если бы еще можно было сговориться съ нимъ на еврейскомъ языкѣ, она ужъ какъ-нибудь навела бы его на путь... Но безъ языка—подите!...

Опять-таки сдѣлать такъ, чтобы поговорилъ съ нимъ мужъ, невозможно, какъ небо съ землею свести. Упрямецъ и къ тому же гордецъ! Что ужъ можетъ быть хуже гордости? Не хочу, говорить, если бы даже зналъ, что весь миллионъ сейчасъ же попадетъ сюда (и хлопаеть себя по боковому карману!). Мнѣ неприятно, говорить, самому предлагать свою дочь ради денегъ. Можно, говорить, подождать, пока молодой человѣкъ придетъ къ нему и скажетъ: „Господинъ Шапиро я люблю вашу дочь, и она меня любитъ, благословите насъ, чтобъ были мы счастливы!“

— Дай-то Богъ! Твоими бы устами да медъ пить!—говоритъ Сара съ глубокимъ вздохомъ и хруститъ пальцами, затаивъ въ себѣ свое горе. Некому ей открыть свою душу...

Сара знаетъ, что то же горе затаилъ глубоко въ душѣ и мужъ, но даже слова не скажетъ... Вѣдь онъ — Шапиро, изъ настоящихъ, „славутскихъ“ Шапиро,—шутка ли?!

ГЛАВА XIII.

Двѣ матери.

Единственный человѣкъ, предъ которымъ Сара можетъ иногда излить душу, это—ея золовка, Тойба Фамилантъ, старшая сестра Давида.

Тойба ходитъ въ парикѣ и постоянно носить жемчугъ. Она—женщина богобоязненная, ведетъ очень строгій образъ жизни и, будучи богатой и старшей сестрой Давида, позволяетъ себѣ иногда давать брату и его женѣ совѣты, какъ воспитывать дѣтей въ страхѣ Божіемъ, дѣлаетъ имъ выговоры за отступленія отъ обрядовъ вѣры, выискиваетъ недостатки и безъ конца читаетъ нотации...

Лицомъ наградила Богъ Тойбу благочестивымъ, съ тонкими губами, и голосомъ мягкимъ, тихимъ и ровнымъ...

Давидъ не любитъ сестры, — и она знаетъ это,—онъ зоветъ ее не иначе, какъ „святошей“ или „ребѣ въ юбкѣ“, а Бети ненавидитъ тетю Тойбу за одинъ ужъ ея лоснящійся лобъ. И если ея елейныя рѣчи выслушиваютъ, если ходятъ къ ней въ гости въ субботу или по праздникамъ, то только изъ вѣжливости, какъ къ богатой родственницѣ....

Одна лишь Сара можетъ ладить съ ней. Обѣ онѣ—матери, у обѣихъ непріятности изъ-за дѣтей, и онѣ хорошо понимаютъ другъ друга. Сарѣ извѣстно,—и Тойба знаетъ это,—что старшая дочь Тойбы (она теперь замужемъ) была влюблена въ провизора, и что у самой Тойбы былъ въ свое время романъ съ однимъ молодымъ человѣкомъ, который потомъ оказался вольнодумцемъ, и ее силкомъ выдали замужъ за хасида, и въ домѣ мужа она цѣликомъ подчинилась его вліянію. А Тойбѣ извѣстно,—и Сара знаетъ это,—что она, Сара, чуть было не сбѣжала съ Давидомъ въ другой городъ вѣнчаться...

Теперь обѣ онѣ—матери, у обѣихъ дѣти, и обѣ слѣдятъ за ними, чтобы, не дай Богъ, не пошли по дурному пути, слушались бы во всемъ отца-матери, встрѣчались бы, съ кѣмъ нравится родигелямъ, любили бы, кого хотятъ матери...

Нѣтъ болѣе трогательной картины, когда сойдутся такія высоконравственныя, богобоязненныя женщины, добрыя матери, и поднимется разговоръ,—„ай, душечка“, да „ой, милочка“!

— Что слышно, милая Сара?

— Ай, что же можетъ быть слышно, Тойба, душечка? Все то же... Ни на волосъ не подвинулось...

— Не хорошо, Сара, не хорошо... Вы—мать, вы должны постараться во что бы то ни стало,—туда или сюда...

— Ай, Тойба, душечка, вы—и чтобъ сказали

такую вещь?! У васъ у самой дѣти, у самой дочери...

Что же можно сказать про моихъ дочерей? Мои дочери, слава Богу, не знаются ни съ какими студентами, не ходятъ съ чужими молодыми людьми по театрамъ... Онѣ—хорошія домосѣдки, какъ сказано въ Писаніи... Ша, вы не должны обижаться, Сара... Я знаю, что ваша Берта честная дѣвушка. Хорошая дѣвушка. Она происходитъ вѣдь изъ рода Шапиро, настоящихъ, славутскихъ Шапиро... И этотъ молодой человекъ, Рабиновичъ, мнѣ очень нравится. Я ужъ вамъ сколько разъ говорила. Онъ производитъ впечатлѣніе порядочнаго еврея... Одно только,—еврейскаго въ немъ маловато и слабовать онъ въ нашемъ языкѣ... Шлойма мой говоритъ,—совсѣмъ слабовать!.. Все же Шлойма относится къ нему съ уваженіемъ. Бесѣдовалъ съ нимъ раза два,—такъ, говоритъ, славный малый и хорошій еврей, т. е., отъ еврея онъ-таки далекъ, но патріотъ горячій, очень горячій еврейскій патріотъ! Вамъ, Сара, право, надо бы постараться, чтобы къ Пасхѣ это кончилось, а въ лѣтніе праздники и свадьбу чтобъ сыграть..

— Въ лѣтніе праздники? Ай, Тойба, душечка! Дай Богъ, хотя бы къ осени или къ будущему новому году! Я тоже была бы довольна! Главное, услышать бы отъ него или отъ нея желанное слово... Такъ вѣдь не говорятъ и другимъ говорить не даютъ...

— Сами виноваты, сами кругомъ виноваты! Все зависитъ отъ того, какъ себя поставить... Что посѣешь, то пожнешь, какъ сказано въ Писаніи... Нужно что-нибудь предпринять... Начните, и Богъ поможетъ вамъ, какъ говорится въ псалтири... Послушали бы меня, такъ я бы вамъ Сара, голубушка, дала совѣтъ!

— Ай, пожалуйста, Тойба, душечка, дайте хорошій совѣтъ!

— Совѣтъ этотъ, Сара, милочка, простой и, кажется мнѣ, хорошій совѣтъ,—лучшаго и не надо. Я поговорю со своимъ Шлоймой. Онъ, слава Богу, обращаться съ людьми умѣетъ, когда надо, хотя и носить длинный кафтанъ и вообще одѣвается по-старомодному. Ну, такъ вотъ,—приближаются праздники. Всего нѣсколько дней до праздника Эсѣири, и вы, Богъ дастъ, придете къ намъ всѣ вмѣстѣ съ квартирантомъ. Мой Шлойма и позоветъ молодого человѣка на пару словъ въ отдѣльную комнату: такъ и такъ, молъ, паренекъ,—понимаете?

— Ой, чтобъ вы здоровы были, Тойба, душечка! Одного только боюсь... За него, за квартиранта-то, я спокойна. Онъ человѣкъ хорошій, дай Богъ мнѣ такого здоровья,—вотъ какой человѣкъ! Что хотите, то съ нимъ и дѣлайте! Но она!..

— А кто ее слушать станетъ? Кто ее спросить? Это одно. А другое,—вы мать или нѣтъ?

— Ай, Тойба, Тойба! Вы—и чтобъ такъ разсуждали! Кажется, и сами мать, у самой дѣти...

— Дѣти? Что можно сказать про моихъ дѣтей? Мои дѣти—хвала Господу, какъ сказано въ Писаніи...

Тутъ повторяется та же реплика, и обѣ готовы продолжать разговоръ, какъ вдругъ съ плачемъ вбѣгаетъ Семка: Володька его побилъ... Играли, играли съ Володькой въ снѣжки и подрались...

— Чтобъ ему, этому Володькѣ!—говоритъ Сара, обнимая и цѣлуя Семку.

— Что это за Володька?—спрашиваетъ Тойба у золовки.

— Мальчишка одинъ,—наказаніе Господне!—отвѣчаетъ Сара, вытирая Семкѣ грязныя руки.— Есть у насъ тутъ сосѣдка, рядомъ во дворѣ живетъ,—русская, Кириллихой звать. Такъ у нея мальчишка-сорванецъ отъ перваго мужа, его и зовутъ Володькой...

Тойба молчитъ. Но лучше бы она говорила чѣмъ такъ молчать, подобравъ губы, и смотрѣть, какъ смотрятъ на людей пропащихъ. Сара понимаетъ это молчаніе и хочетъ замять дѣло:

— Да погибнетъ невѣрный вмѣсто вѣрнаго,—но онъ славный мальчишка, этотъ Володька. Нашъ квартирантъ не нахвалится на него. Онъ съ нимъ занимается, бесплатно, по обыкновенію. У этого мальчишки, говоритъ, хоть онъ и русскій, голова еврея. Жаль только, отчимъ-пьяница бьетъ его и сѣчетъ розгами, — смотрѣть жалко!

Тойба продолжаетъ сидѣть, подобравъ губы, и смотрѣть на золовку съ жалостью. Но разъ ужъ Сара начала рассказывать, то должна кончить:

— На дняхъ пьяница этотъ такъ билъ бѣднаго пасынка, что сосѣди сбѣжались со всего двора, и мы, я, дочь и квартирантъ, насилу вырвали мальчишку живымъ у него изъ рукъ...

Сара замолчала, и Тойба своимъ елейнымъ голосомъ принялась читать нотацію золовокѣ:

— Ну, спрощу я васъ, Сара, голубушка, какъ можетъ уважать васъ ваша дочь, когда вы сами...

Въ этотъ моментъ вдругъ входитъ Бети, и Тойба дѣлаетъ невинное лицо, а Сара говоритъ:

— А, вотъ кстати! Тетя Тойба спрашиваетъ прошелъ ли у тебя насморкъ?

Бети хорошо видитъ по невинному лицу тети Тойбы, что мать сочиняетъ,—и краснѣетъ...

Наслушался и насмотрѣлся чудесъ Рабиновичъ, когда наступилъ Пуримъ (праздникъ Эсѳири) и Шапиро взяли его съ собою къ богатому родственнику на вечернюю пирушку! Все для него было ново. Все приводило его въ восторгъ. И къ тому же эти люди интересовали его, какъ хасиды (или „хасидимцы“, какъ онъ называлъ ихъ).

— Что же тамъ будетъ?—все спрашивалъ онъ у своихъ хозяевъ, за что получилъ нагоняй отъ Давида:

— Что вы хотите, чтобы тамъ было? Вы никогда не были на такой пирушкѣ? Или для васъ Пуримъ не праздникъ, а Аманъ не злодѣй?

— Нѣтъ, не то!—хочетъ поправиться Рабиновичъ и дѣлаетъ еще хуже.—Я потому спрашиваю, что вѣдь они „хасидимцы“...

— „Хасидимцы“!—передразниваетъ Давидъ.— А что, если и „хасидимцы“?

— Да вѣдь это секта такая...—хочетъ объяснить Рабиновичъ, но Шапиро уже взбѣшенъ:

— Что за секта? Какая тамъ секта? Не угодно ли?! Откуда у насъ секты? Гдѣ вы выросли? Среди евреевъ или въ лѣсу?..

Сара была гораздо мягче и говорила съ нимъ по-человѣчески:

— Тамъ будетъ весело,—сказала она.— Будутъ ѣсть и пить, пѣть и плясать, веселиться и забавляться, какъ это обыкновенно бываетъ у хасидовъ. Увѣряю васъ, что не пожалѣете, если познакомитесь съ ними поближе. Особенно съ моимъ шуриномъ Фамиліантомъ! Онъ умница. Къ его словамъ надо прислушиваться. Онъ зря не скажетъ. Каждое его слово—мудрость!..

Само собою разумѣется, что Сара преслѣдовала при этомъ свою цѣль и, какъ Мессіи, ждала праздника.

А когда праздникъ пришелъ, Сара такъ разодрѣлась, что перещеголяла дочь и скорѣе была похожа на сестру Бети. Давидъ тоже одѣлся по-праздничному, бросилъ свою постоянную ме-

ланхолю и принялъ важный видъ. Семкѣ застегнули мундирчикъ на всѣ пуговицы, причесали немного пейсики, хотя на нихъ былъ еще только намекъ, и тысячу разъ говорили, чтобы онъ, Семка, не смѣлъ у дяди Шлоймы въ домѣ шапки снимать, даже на минутку, потому что тамъ будутъ очень набожные евреи, которые не любить, когда ходятъ безъ шапки... Ходить безъ шапки—у нихъ грѣхъ, понимаешь, малышъ, что тебѣ говорятъ?

— Хотя это говорилось Семкѣ, но относилось къ квартиранту, чтобы онъ не забылъ и не снялъ бы тамъ шапки...

Когда Шапиро пришли къ Шлоймѣ Фамилианту, они застали уже за длиннымъ столомъ, накрытымъ бѣлоснѣжной скатертью, все семейство и множество гостей, въ длинныхъ кафтанахъ, въ шапкахъ и шапочкахъ, котелкахъ и котелочкахъ на головахъ...

На самомъ почетномъ мѣстѣ, въ широкомъ креслѣ, сидѣлъ самъ хозяинъ, высокій еврей съ большой, мѣстами сѣдьющей рыжей бородой и густыми рыжими бровями надъ близорукими глазами. Сѣдовато-рыжіе пейсы у него франтовато подогнуты, на крахмальномъ воротникѣ завязанъ большой шелковый галстухъ, на широкомъ бархатномъ жилетѣ красуется толстая золотая цѣпочка отъ часовъ. Черный шелковый кафтанъ подпоясанъ широкимъ плетенымъ поясомъ. Все это вмѣстѣ съ длиннымъ изогнутымъ носомъ и

холеными руками, выглядывавшими изъ широкихъ рукавовъ, придавало ему видъ патріарха. Такимъ, по крайней мѣрѣ, казался онъ Рабиновичу, котораго все приводило въ восторгъ и все въ его глазахъ имѣло особую прелесть.

Прежде всего ему очень понравились дочери Фамилианта, одѣтыя, какъ невѣсты, одна другой красивѣе. И хотя онѣ держались очень скромно и почти все время молчали, но глаза говорили за нихъ гораздо больше, чѣмъ могли бы сказать уста. Глядя на нихъ и на мать, можно было видѣть, что яблочко падаетъ недалеко отъ яблоньки,—Тойба Фамилиантъ, теперь уже пожилая женщина, была, вѣроятно, красавицей... И теперь еще ей очень идутъ красивые накладные волосы, перевитые жемчугомъ, длинныя алмазныя серьги и жемчугъ на бѣлоснѣжной шеѣ. Пальцы маленькихъ изящныхъ рукъ унизаны дорогими кольцами, синіе глаза и теперь еще красивы,—жаль только, что всегда они опущены, и что она слишкомъ сжимаетъ и безъ того тонкія губы.

Очень понравилось Рабиновичу и то, что глаза всѣхъ почтительно устремлены въ одинъ пунктъ, на патріарха съ широкой сѣдоватой рыжей бородой. Понравился ему и огромный праздничный пирогъ, съ шафраномъ, изюмомъ и миндалемъ, который патріархъ разрѣзалъ своими холеными аристократическими руками, взявъ первый кусокъ и, произнося, краткую моли 7 ву'

обмакнулъ въ соль, а за нимъ и всѣ остальные брали по кусочку и, обмакивая въ соль, что-то быстро произносили, — какъ казалось Рабиновичу, на тарабарскомъ языкѣ...

Вскорѣ послѣ этого хозяинъ засучилъ рукава и подалъ знакъ гостямъ: всѣ вмѣстѣ запѣли разными голосами, исходившими, казалось Рабиновичу, не изъ устъ поющихъ, а изъ ихъ бородъ или воротниковъ. Пѣли всѣ съ закрытыми глазами, и головы у всѣхъ были немного закинута назадъ, а руками они держались за горло. Самъ хозяинъ тоже сидѣлъ съ закрытыми глазами, закинувъ голову, съ засученными по локоть рукавами, и прищелкивалъ пальцами въ тактъ. Сыновья хлопали въ тактъ ладошами, и на всѣхъ лицахъ были радость, веселье и какое-то особенное праздничное настроеніе. Все носило печать торжественности...

Подали фаршированную рыбу, ради праздника приправленную еще шафраномъ. Затѣмъ наполнили бокалы и начали пить по каплѣ, обращаясь другъ къ другу съ какими-то словами, которыхъ Рабиновичъ не понималъ, за исключеніемъ снова „лэхаимъ“*), повторявшагося безъ конца.

— Что они говорятъ? — спрашиваетъ онъ у Шалиро. Тотъ злится и по обыкновенію сердито отвѣчаетъ:

*) За здоровье.

— Что имъ говорить? Ничего не говорят! Пьютъ „лѣхаимъ“ и желаютъ другъ другу дожить до будущаго года и быть евреями...

— Это все?—опять спрашиваетъ Рабиновичъ, не понимающій смысла такого пожеланія. „Дожить до будущаго года“, „быть евреями“—какъ будто нѣтъ ничего лучшаго...

Приложившись къ бокаламъ, публика какъ будто опьянѣла. Стало еще веселѣе... Пѣніе и хлопанье въ ладоши все усиливалось... „Плясать!“ Мужчины взяли за руки, стали въ кругъ и пустились танцовать. Но такой странный танецъ, который Рабиновичу и во снѣ не снился. При каждомъ движеніи танцующіе то опускали голову внизъ, то поднимали ее и, закрывъ глаза, пѣли: „Отче, отче! Боже нашъ!“ А хозяинъ Шлойма Фамиліантъ сталъ посрединѣ круга и, хлопая въ ладоши, подбодрялъ танцующихъ:

— Живѣй, евреи, живѣй! Эхъ, славно, хорошо намъ! Евреи мы! Есть у насъ Богъ! Живѣй, живѣй!

Рабиновичъ не могъ удержаться и снова обратился къ своему хозяину съ просьбой перевести ему, что говоритъ Фамиліантъ.

Шапиро переводитъ ему каждое слово, но Рабиновичъ опять не понимаетъ смысла, — хоть убейте! Почему надо радоваться, если ты еврей и у тебя есть Богъ?

И онъ думаетъ:

— Это „хасидимцы“, секта *дикихъ* людей, о которыхъ онъ читалъ въ газетахъ? Что за странный народъ! Даже пьяные у нихъ особенные... И пьянство тоже особенное... Пьютъ по каплѣ, едва прикасаясь губами, а смотри—какое веселье!... Совсѣмъ особенное веселье... Веселы, *потому что* евреи!... Довольны, счастливы, *потому что* есть у нихъ Богъ!.. Вотъ двое обнялись, цѣлуются, какъ настоящіе пьяницы, даже слезы на глазахъ... Оба одновременно что-то говорятъ, и слышно только: Богъ и Богъ... Станный, странный народъ...

Вдругъ его хозяина схватили за руки двое хасидовъ и увлекли въ кругъ. Черезъ минуту Шапиро уже плясалъ со всѣми...

Чѣмъ дальше, тѣмъ кругъ становился шире, а веселье росло все больше, передаваясь отъ одного къ другому. Всѣ и все кругомъ радовалось и веселилось... Завидую взрослымъ, Семка съ другими ребяташками набрались духу, ворвались въ кругъ и начали отплясывать вмѣстѣ со всѣми...

„Неужели и меня заставятъ плясать?—подумалъ Рабиновичъ. И не успѣлъ оглянуться, какъ нѣсколько потныхъ рукъ подхватило его:

— Ну-ка, молодой человѣкъ, идемъ съ нами! Ты такой же сынъ Израиля, какъ всѣ мы, хоть и образованный. Нечего стѣсняться, идемъ!..

Такъ Рабиновичъ-Поповъ неожиданно-негаданно попалъ въ Пуримъ на пирушку къ благочести-

вымъ евреямъ и плясалъ вмѣстѣ съ „хасидимцами“, прыгая и носясь, какъ перышко. Хасидскаго мотива онъ не зналъ, а пѣть хотѣлось. И затанулъ онъ подъ шумокъ русскую пѣсню:

Ахъ, вы, сѣни мои сѣни,
Сѣни новыя мои...

Ничего,—сошло...

Планъ Сары Шапиро былъ золотой планъ. Ребъ Шлойма Фамиліантъ зазоветъ послѣ пирушки Рабиновича къ себѣ въ кабинетъ, попросить его сѣсть, угостить хорошей сигарой (Шлойма Фамиліантъ курить хорошія душистыя сигары) и заговорить съ нимъ о томъ, о семъ и о прочемъ,—пока не коснется Шапиро и ихъ дочери: красивая, молъ, дѣвушка, очень хорошая дѣвушка, хотя и не богатая... Но не суждено было этому плану осуществиться, какъ хотѣла Сара. Помѣшалъ случай, пустой случай, о которомъ и говорить-то не стоило бы. Но какъ на грѣхъ вышло такъ, что этотъ пустякъ заварилъ такую кашу, что послѣ трудно было и расхлебать...

Въ самый разгаръ веселья и пляски вдругъ показались на порогѣ два странныхъ человѣка, неизвѣстно какъ проникшихъ въ домъ: маленькая женщина, русская, съ краснымъ лицомъ и стеклянными глазами, а за ней громадный парень съ длиннымъ кнутомъ въ рукахъ и боль-

шой сѣрой шапкѣ на головѣ. Парень не зналъ, что ему дѣлать,—переступить порогъ или остаться по ту сторону, снять шапку или нѣтъ?

Видно было, что маленькая женщина съ краснымъ лицомъ кого-то ищетъ среди гостей и не можетъ найти, а парень съ кнутомъ въ высокой шапкѣ—не больше, какъ ея провожатый, свидѣтель или челоуѣкъ, къ помощи котораго можно прибѣгнуть въ случаѣ нужды...

Появленіе этихъ двухъ чужихъ людей въ такую минуту было такъ неожиданно, что вся компанія, казавшаяся здорово подвыпившей, сразу отрезвилась. Всѣ бросили плясать и стали смотрѣть другъ на друга и на хозяина, который подошелъ къ маленькой женщинѣ, всмотрѣлся въ нее близорукими глазами и спросилъ ее по-русски, что ей нужно и кого она ищетъ?

Но та даже не посмотрѣла на него. Она продолжала оглядывать публику стеклянными глазами и, наконецъ, нашла, кого ей нужно. Среди женщинъ она увидѣла Сару Шапиро и радостно рванулась къ ней:

— А, Шапириха, гдѣ моя дѣтина?

Сара встала:

— Какая дѣтина?

— Мой Володька?

— Твой Володька? Откуда мнѣ знать?

Стеклянные глаза женщины стали еще болѣе стеклянными и, глядя въ одну точку, она монотонно начала рассказывать какую-то длинную

исторію о томъ, что Володьки ея нѣтъ, пропаль, какъ въ воду канулъ! Со вчерашняго утра, какъ ушелъ въ школу, она все ждала, можетъ, хоть вечеромъ придетъ домой, а онъ все не шель... Сегодня утромъ—нейдетъ, днемъ—нейдетъ, подвечеръ—нейдетъ... Вотъ и пришла она къ Шапирихѣ на домъ, а какъ указали ей, что Шапириха здѣсь, пришла сюда, спросить, гдѣ Володька?

— Откуда мнѣ знать?—говорить еще разъ Сара, а маленькая женщина начинаетъ свой разсказъ сначала, какъ ея Володька рано утромъ пошелъ съ книжками въ школу, какъ она ждала его весь день, не придетъ ли, и всю ночь ждала, а онъ все не шель... Сегодня утромъ—нѣтъ его, и днемъ—нѣтъ, и вечеромъ—нѣтъ... Вотъ и пошла она къ Шапирихѣ на домъ, а какъ указали ей, что Шапириха здѣсь, пришла сюда, спросить, гдѣ Володька?

— Какъ вамъ это нравится?—обратилась Сара къ публикѣ, которая стояла, смотрѣла и слушала, рѣшительно ничего не понимая.—Не знаете ли, какъ мнѣ приходится ея Володька?

А женщинѣ Сара махнула рукой:

— Иди себѣ съ Богомъ! Откуда мнѣ знать? Иди себѣ съ Богомъ! Иди!

И возможно, что маленькая женщина послушалась бы и ушла, съ чѣмъ пришла, если бы не выскочилъ Семка и не сказалъ матери:

— Мама, она Володьку ищетъ? Мы сегодня

играли вмѣстѣ, я и Володька. А, нѣтъ, не сегодня, вчера... Вчера мы съ Володькой играли...

— Гдѣ вы играли?

— Гдѣ всегда, на дворѣ, — отвѣчаетъ Семка, показывая рукой за плечо.

Услышавъ имя Володьки, женщина перевела свои стеклянные глаза съ Шапирихи на Семку:

— Гдѣ мой Володька? Гдѣ мой Володька?

Кто знаетъ, чѣмъ кончилась бы эта сцена, если бы не вмѣшался Рабиновичъ. Онъ подошелъ къ женщинѣ, положилъ ей руку на плечо и сказалъ:

— Иди, матушка, домой, къ своему мужу. Онъ и только онъ одинъ скажетъ тебѣ, гдѣ твой Володька.

Слова эти были произнесены тономъ человека, который знаетъ, что говорить. И этого было достаточно, чтобы женщина послушалась. Она повернулась къ провожатому. Съ полминуты они молча смотрѣли другъ на друга, затѣмъ ушли.

И только когда они ушли, всѣ сразу, какъ одинъ человекъ, начали говорить, спрашивать другъ у друга, что здѣсь произошло, что случилось?

— Кто это женщина?—спросилъ Шлойма Фамиліантъ у шурина.

— Чтобъ мнѣ горе такъ знать!—отвѣчаетъ Давидъ и сердито смотритъ на жену.

— Кто эта женщина? — спрашиваетъ снова

хозяинъ уже у Сары, какъ благочестивый хасидъ не глядя на нее.

— Это наша сосѣдка,—отвѣчаетъ Сара,—Кириллиха... Мужъ у нея пьяница... А Володька это—ея сынъ отъ перваго мужа.

— Ну, и что же?—спрашиваетъ Фамиліантъ.

— Такъ отчимъ бьетъ его смертнымъ боемъ... до полусмерти...

— Дальше?

— Такъ онъ пропалъ, мальчишка-то...

— И что же?

— А мать пришла искать его, спросить, не знаемъ ли мы, гдѣ онъ?

— Почему же къ вамъ? Что за пріятель съ вами ея мальчишка? И что за дѣла съ нимъ у Семки?

— Никакихъ дѣлъ нѣтъ. Живемъ бокъ-о-бокъ, такъ случается, что дѣти играютъ вмѣстѣ...

И Сара чувствуетъ себя виноватой, что ея Семка игралъ съ какимъ-то мальчишкой...

Шлойма Фамиліантъ, повидимому, очень недоволенъ, что ему помѣшали въ самомъ разгарѣ веселья и разстроили его праздникъ. Снѣ засунулъ руки въ карманы, выпятилъ солидный животъ, пожалъ плечами и началъ говорить, будто самому себѣ:

— Н-на! Какіе-то мальчишки!.. Сосѣди!.. Русскіе!.. Какія-то женщины... Володьки!.. Чего мать смотритъ? Чтобъ еврейскій мальчикъ игралъ съ

русскимъ мальчишкой?! Это все ваши гимназіи, да студенты, да университеты!..

Вмѣшалась хозяйка, хотѣла успокоить публику, просила всѣхъ къ столу, велѣла подать ужинъ,—все напрасно. Шлойма Фамиліантъ не унимался, онъ хотѣлъ показать себя хозяиномъ богачемъ и сталъ нападать на современныхъ родителей, ведущихъ своихъ дѣтей на закланіе, какъ Авраамъ своего единственнаго сына Исаака... И долго еще говорилъ Шлойма Фамиліантъ, бросая слова направо и налево, какъ-будто бы такъ себѣ, но имѣя въ виду своихъ родственниковъ.

А бѣдные родственники были вынуждены выслушивать нотацію до конца... Только Бети, которая очень не любила богатаго дядюшку, скоро встала и начала одѣваться. Напрасны были увѣщанія матери, напрасны увѣренія тети Тойбы, что дядя совсѣмъ не имѣетъ ихъ въ виду,—онъ говоритъ просто такъ себѣ... Бети попрощалась и вышла, а за ней слѣдомъ и Рабиновичъ: не оставляя же ее одну на улицѣ ночью?

Такъ и разстроился весь планъ Сары.

— И изъ-за чего? Изъ-за пустяка! Изъ-за такого пустяка!

Сара чуть не плакала съ досады, идя съ мужемъ домой. А тутъ еще Давидъ всю дорогу растрavлялъ рану.

— Дура,—говорилъ онъ,—языкъ-то безъ костей... мелеть... Охота была рассказывать этому святошѣ!

— Вали съ больной головы на здоровую!—
возражала Сара.—Вѣдь это твой шуринъ, а не мой!

— Могу тебѣ подарить его, если хочешь...

— Спасибо за подарокъ!

ГЛАВА XIV.

Пропажа отыскалась.

Сара Шапиро не изъ тѣхъ матерей, что останавливаются на полдорогѣ, разъ дѣло коснется ихъ дѣтей. Потерявъ надежду на своего шурина, она стала искать другихъ путей и нашла такого человѣка, на котораго могла положиться больше, чѣмъ на всякаго другого, и довѣрить ему свою тайну. Плохо только, что человѣкъ этотъ слишкомъ ужъ честный, а все, что „слишкомъ“, не годится.

То былъ товарищъ квартиранта, Тумаркинъ, одинъ изъ тринадцати медалистовъ, которые все еще ждали отвѣта отъ министра на ихъ срочную телеграмму, пока ихъ всѣхъ не переловили по одиночкѣ и не выслали изъ города.

Тумаркину удалось протянуть дольше всѣхъ. Онъ „обманывалъ полицію“, дневалъ тамъ, гдѣ не ночевалъ, и ночевалъ тамъ, гдѣ не дневалъ. Таскался съ узелочкомъ отъ одного знакомаго къ другому, вступалъ въ соглашеніе со старшимъ дворникомъ и съ околоточнымъ, мерзнулъ въ трескучій морозъ гдѣ-нибудь на чердакѣ,—сло-

вомъ, вывертывался и, слава Богу, прожилъ зиму, какъ живетъ масса другихъ евреевъ...

Комиченъ былъ этотъ человѣкъ съ черными кудряшками, цѣлые дни бѣгавшій въ поискахъ пріюта на ночь. Не разъ заглядывалъ онъ и къ квартиранту Шапиро, поздно вечеромъ, послѣ какого-нибудь собранія сіонистовъ, и Рабиновичъ всегда бралъ его подъ свое покровительство.

— Что подѣлаешь съ этимъ „шлимъ-мазеломъ“? — говорила Сара мужу, заступаясь за Тумаркина. — Нельзя же его выбросить на улицу въ такой морозъ! Потрудишься ужъ, Давидъ, сходи къ дворнику, сунь ему тамъ, что слѣдуетъ, пусть подавится... Ты одинъ можешь ладить съ начальствомъ...

Послѣднее — своего рода комплиментъ, чтобы подкупить Давида, который рветъ и мечетъ: натворить она бѣдъ съ ихъ „правомъ-жительства“! Но въ концѣ концовъ онъ идетъ къ старшему дворнику и условливается съ нимъ, что въ эту ночь бѣдняга останется ночевать у квартиранта. Сара устраиваетъ ему постель на трехъ стульяхъ, желаетъ имъ спокойной ночи, а сама лежитъ всю ночь въ страхѣ, — вдругъ, не дай Богъ, придутъ, тогда окажется, что мужъ былъ правъ...

— Какъ вамъ спалось? — спрашиваетъ на утро Сара Тумаркина, наливая ему стаканъ чаю.

— Превосходно! — отвѣчаетъ тотъ и говоритъ неправду. Помимо того, что стулья раздвинулись, и онъ каждую минуту могъ провалиться, Тумар-

кинъ вообще не спалъ всю ночь, разговаривая съ Рабиновичемъ, который мучилъ его своими постоянными разспросами объ евреяхъ.

Каждый разъ, какъ они сойдутся, Богъ знаетъ, что творится! Оба говорятъ, оба горячатся! Одинъ твердить:

— Одно изъ двухъ. Или сдѣлайте всѣ, какъ сдѣлалъ Лapidусъ, или соберитесь, старъ и младъ, и поселитесь въ вашей исторической странѣ, въ странѣ вашихъ предковъ... Покажите, что вы—нація. Нація, которая хочетъ и можетъ жить. Нація, которая можетъ и для себя работать, а не только для другихъ...

— Тише! Довольно! Довольно!—кричитъ другой, не въ силахъ больше слушать собесѣдника, который говоритъ совсѣмъ не то, что долженъ говорить еврей.

— Во-первыхъ, что за манера говорить: „ваша страна“, „ваши предки“? А во-вторыхъ...

— Замолчите вы когда-нибудь или нѣтъ?—стучить имъ въ дверь хозяйка.—Вотъ „шлимъ-мазелъ“,—мало того, что самому негдѣ спать, онъ и другому уснуть не даетъ!...

Тумаркина Сара иначе не называетъ, какъ „шлимъ-мазелъ“. Но относится къ нему хорошо, такъ какъ онъ въ дружбѣ съ ея квартирантомъ, котораго она уважаетъ. И ей очень хочется, чтобы Тумаркинъ поговорилъ съ Рабиновичемъ. Разузналъ бы, что онъ думаетъ насчетъ ея до-

чери? Конечно, не сразу, съ мѣста въ карьерѣ, а осторожно, издалека,—вѣдь это вещь тонкая...

— Понимаете,—очень тонкая вещь!—говорить Сара прищутивъ глаза и поднося палець къ носу. И хотя Тумаркинъ еще не вполне понимаетъ, о чемъ говоритъ мадамъ Шапиро, но догадывается и киваетъ утвердительно головой, быстро завивая черную курчавую бородку, а Сара придвигается поближе и хочетъ сказать ему что-то на ухо по секрету,—какъ вдругъ входитъ Бети. Съ минуту она стоитъ, желая уловить, о чемъ тутъ мать говорила съ Тумаркинымъ. Затѣмъ она обращается къ матери:

— Знаешь, мама, пропажа нашлась.

— Какая пропажа?

— Володька нашелся.

Сара вскакиваетъ:

— Володька нашелся? Слава Богу!... Гдѣ жъ онъ былъ?

— Гдѣ былъ, неизвѣстно. Но теперь онъ здѣсь, около нашихъ воротъ... мертвый.

Сара даже отшатнулась:

— Мертвый? Володька—мертвый?!

— Не только мертвый,—убитый...

Сара вздрогнула:

— Убитый? Володьку—убили?! Ай-ай, хорошій былъ мальчикъ!... Кто же его убилъ?

— Откуда я знаю? Его нашли убитымъ... изрѣзаннымъ... исколотымъ... Повидимому, его убили уже давно, трупъ началъ уже разлагаться...

Сара отвернулась въ сторону и сплюнула:

— Сохрани насъ, Господь! Гдѣ же его нашли?

— Я же тебѣ говорю,—здѣсь недалеко, около насъ. Вся улица запружена народомъ... Евреи, русскіе, врачи, полиція...

Услышавъ слово „полиція“, Сара, уже совсѣмъ было забывшая про Тумаркина, вдругъ взглянула на него:

— Горе мнѣ! Полиція?...

Тумаркинъ, на котораго слово „полиція“ оказывало почти такое же дѣйствіе, какъ и на Сару, почувствовалъ себя виноватымъ, — вдругъ его поймають у мадамъ Шапиро безъ „права-жительства“?

— Не бойтесь!—успокоилъ онъ ее, смѣясь.— Во-первыхъ, теперь не ночь. Днемъ не такъ опасно, какъ ночью. Во-вторыхъ, я-таки уйду,—вдругъ въ самомъ дѣлѣ... ха-ха-ха!

— Идите, идите! Да скорѣй, чтобъ васъ не видѣли! Или нѣтъ, наоборотъ,—медленнѣй, медленнѣй, чтобъ васъ видѣли. Но идите съ поднятой головой, — понимаете? — гордо, какъ самый законный обыватель, съ полнымъ „правомъ-жительства“!... Понимаете?

— Понимаю, понимаю... Неужели такъ трудно понять?

Такъ выпроваживаетъ Сара Тумаркина по лѣстницѣ и тихонько шепчетъ ему у самой двери, чтобы завтра онъ опять пришелъ ночевать, она

съ нимъ поговорить съ глазу на глазъ,—вещь тонкая...

— Вещь тонкая, — повторяетъ вслѣдъ за ней Тумаркинъ.

— Очень тонкая вещь!

— Очень тонкая вещь!

Тумаркинъ сдержалъ слово. Пришелъ къ товарищу нарочно поговорить о „тонкомъ“ дѣлѣ. Засталъ его за работой.

— Послушай,—сказалъ онъ,—что я тебѣ скажу. Оставь свою работу, закрой хорошенько дверь и сядь на свой единственный стулъ, вотъ сюда къ окну, я сяду на кровать, прямо противъ тебя, чтобы видѣть твое лицо... У меня къ тебѣ нужное дѣло, секретъ...

Рабиновичъ измѣнился въ лицѣ, услышавъ слово „секретъ“. Первой его мыслью было: узнали, кто онъ... Но будучи не изъ робкаго десятка, онъ всталъ, закрылъ дверь, вскинулъ копной волосъ и сѣлъ противъ товарища:

— Секретъ? Говори, слушаемъ твои секреты.

Тумаркинъ началъ перелистывать книгу, лежавшую у него въ рукахъ, быстро-быстро по своему обыкновенію—во время разговора онъ долженъ дѣлать что-нибудь руками,—и приступилъ къ дѣлу прямо, безъ всякихъ предисловій:

— Послушай, милый другъ,—ты любишь хо-

зайскую дочь, и хозяйская дочь любитъ тебя,— чего же ты тянешь?

Подъ Рабиновичемъ закрипѣлъ знаменитый стулъ съ прорваннымъ сидѣньемъ, и онъ хотѣлъ встать, но Тумаркинъ удержалъ его обѣими руками и, глядя прямо въ глаза, сказалъ:

— Сиди, сиди,—чего ты покраснѣлъ? Со мною, братъ, тебѣ церемониться нечего. Со мною можешь обо всемъ говорить. Итакъ, что же тебя удерживаетъ?

Для Рабиновича это было такъ неожиданно, что въ первую минуту онъ потерялъ способность говорить. Не могъ онъ понять, во-первыхъ, какъ можно говорить такъ просто о томъ, что для него является самымъ сокровеннымъ, самымъ святымъ, надъ чѣмъ онъ изсушилъ свой мозгъ?... Во-вторыхъ, откуда знаетъ Тумаркинъ? Неужели отъ нея самой? И цѣлый вихрь ощущеній и мыслей охватилъ его... Онъ вскочилъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Затѣмъ онъ остановился:

— Послушай, Тумаркинъ. Ты честный, порядочный человѣкъ. Я тебя знаю. Скажи мнѣ лишь одно: откуда ты это узналъ?

— Какое тебѣ дѣло, откуда я узналъ? Лишь бы это была правда! Но вѣдь это правда? Правда? Ты вѣдь не станешь отрицать?

— Не то, видишь ли. Я о другомъ говорю. Я хочу знать, сама ли она сказала тебѣ объ этомъ? Мнѣ нужно знать...

Тумаркинъ привсталъ и снова сѣлъ:

— Ты съ ума сошелъ? Э, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ большой дуракъ. Насколько я ее знаю,—а знаю ее я гораздо меньше, чѣмъ ты,— она не изъ такихъ. Она скорѣе согласится, чтобы ей отрѣзали обѣ руки, чѣмъ говорить съ постороннимъ человѣкомъ о подобныхъ вещахъ...

Тогда Рабиновичъ понималъ, чье это дѣло. Онъ былъ недоволенъ. Онъ предпочелъ бы, чтобы это исходило отъ нея самой, отъ Бети. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ ее знаетъ и любитъ, онъ ни единого слова не слышалъ отъ нея. Сколько разъ онъ признавался ей,—если не прямо, то полусловами, намеками,—а она—ни слова. Правда, онъ видитъ, что она относится къ нему не такъ, какъ къ другимъ... Онъ всей душой чувствуетъ, что близокъ ей... Но ему хотѣлось бы услышать изъ ея устъ желанное слово... Такъ нѣтъ!... А тотъ вечеръ въ театрѣ, когда они встрѣтились съ Лапидусомъ?... Съ тѣхъ поръ она стала такъ относиться къ нему, что не поймешь. То холодна, какъ ледъ, то нѣжна, весела, шутлива... То опять серьезна, скрытна, загадочна, какъ сфинксъ, мертва, какъ мраморъ.. Нѣтъ, не можетъ онъ понять этой дѣвушки..

— Знаете, Бети,—сказалъ онъ ей однажды,— вы для меня загадка...

— Не надо большей загадки, чѣмъ вы сами,— отвѣтила она и перевела разговоръ на другую тему.

— Итакъ,—говорить Тумаркинъ, перелистывая лежащую у него на колѣняхъ книгу быстро-быстро, листокъ за листкомъ,—что ты мнѣ скажешь?

— Что же я могу сказать тебѣ?—отвѣчаетъ Рабиновичъ.—Ничего я не могу сказать тебѣ...

— Почему?

— Потому что есть вещи, о которыхъ нельзя говорить даже съ самымъ близкимъ человѣкомъ... Есть вещи...

Тумаркинъ отбрасываетъ книгу:

— Есть вещи... есть вещи... Знаю я, что ты хочешь сказать!

— Что я хочу сказать?

— Ты хочешь сказать, что между вами пропасть... Она—бѣдная дѣвушка, а ты—принцъ, у тебя тетка миллионерша, и ты ея единственный наслѣдникъ... Я знаю все это, знаю... А, если такъ... (Тумаркинъ всталъ съ кровати и посмотрѣлъ ему прямо съ лица)... Если такъ, то ты, долженъ я тебѣ сказать,—подлецъ!...

Эффектъ этихъ словъ былъ совсѣмъ не тотъ, какого ожидалъ Тумаркинъ. вмѣсто того, чтобы вскочить, какъ ужаленный, разсердиться или сдѣлать попытку оправдаться, Рабиновичъ раскланялся до самой земли нѣсколько разъ подрядъ, взялся руками за бока и принялся такъ хохотать, точно сто чертей щекотали его подъ мышками. Въ концѣ концовъ онъ повалился на кровать и сталъ перекатываться съ боку на

бокъ, смѣясь все громче и громче, пока не распахнулась дверь и не влетѣла сначала Сара, а за нею Бети, обѣ перепуганныя, блѣдныя...

— Что это? Что случилось?

— Вашъ квартирантъ съ ума спятилъ!—крикнулъ Тумаркинъ сердито, схватилъ книгу, шапку и исчезъ...

ГЛАВА XV.

Маца.

Погода установилась весенняя.

По весеннему свѣтило солнце, по весеннему пахло въ воздухѣ, и еврейская улица приняла весенній предпасхальный видъ, хотя при всей своей еврейской внѣшности, она, эта запруженная евреями улица, находилась все же въ такомъ городѣ, гдѣ не всякій еврей имѣетъ право переночевать...

Все проснулось, ожило, высыпало на улицу, чистится, готовится, кипитъ, волнуется, шевелится,—канунъ Пасхи! Евреи ждутъ дорогого, милаго гостя. Евреи готовятся встрѣтить свой любимый праздникъ—Пасху!

Больше всего шума въ „подрядахъ“ *). Крикъ, бѣготня, толкотня, каждый хочетъ поскорѣе,—евреи мацу пекутъ!

Съ мацою Сара въ этомъ году немного за-

*) Мѣсто, гдѣ пекутъ оцрѣсноки (мацу).

Прим. перев.

поздала—и изъ-за кого? Изъ-за мужа! Онъ-де— Шапиро, изъ настоящихъ славутскихъ Шапиро,— такъ будетъ не по чину, если его мацу испекуть не въ „первой печи“. Сара и сама этого хочеть, но не упускаеть случая попилить мужа.

— Туда же равняется съ Шлоймой Фамилиантомъ! Нѣтъ ничего хуже претензій на почетъ безъ всякихъ на то оснований! Если ты бѣднякъ, то молчи ужъ и пеки мацу тогда, когда всѣ пекутъ...

— Мамаша!—просить Бети,—не довольно ли о мацѣ? Только и слышишь: маца, маца, маца!

Дѣйствительно, всю недѣлю въ домѣ только и раздавалось: маца, маца! Квартирантъ—и тотъ заинтересовался мацой.

Что евреи ѣдятъ на Пасхѣ какую-то вкусную вещь, называемую мацой („маццей“), это онъ давно слыхалъ. Но что это за „мацца“ и какъ ее ѣдятъ,—этого онъ не зналъ. А больше всего его интересовало вотъ что. Онъ слыхалъ, читалъ,—не помнитъ гдѣ,—что въ эту самую „маццу“ евреи прибавляютъ крови, христіанской крови... Разумѣется, онъ мало вѣрилъ въ эту сказку. И ему хотѣлось только разузнать, откуда берется такая клевета.

Спросить кого-нибудь изъ своихъ товарищей-евреевъ онъ не рѣшался. Говорить объ этомъ съ Шапиро совсѣмъ невозможно. Сумасшедшій! Онъ такъ васъ можетъ отчитать,—съ грязью смѣшаетъ! Дня черезъ два послѣ того, какъ Во-

лодку нашли убитымъ, Рабиновичъ прочелъ въ мѣстной газетѣ, что въ городѣ поговариваютъ, будто бы Володку убили евреи, вскрыли ему жилы и изъ еще живого выкачали всю кровь для „маццы“, которую они скоро будутъ печь на Пасхѣ...

Эту новость онъ прочиталъ за столомъ вслухъ. И не успѣлъ еще кончить, какъ Шапиро вырвалъ у него газету, плюнулъ на нее и выбросилъ за окно.

— Ты съ ума сошелъ?—напала на него Сара,—или взбѣсился?

— Хорошее дѣло!—оправдывался Давидъ.— Еврею читать газеты, выдумывающія такія гадости!

На другой день Рабиновичъ купилъ ту же газету посмотрѣть, что тамъ пишутъ о загадочной смерти Володки, и ужаснулся. Зачѣмъ понадобилось такъ безумно-дико изрѣзать, искромсать несчастнаго мальчика? На тѣлѣ насчитано *сорокъ девять* ранъ!!.

Такъ пишутъ газеты... Почему сорокъ девять? Что за число?

Понятно, почему Рабиновичъ такъ заинтересовался мацой, почему захотѣлъ самъ посмотрѣть, какъ евреи пекутъ мацу...

— Я никогда еще ее видѣлъ, какъ пекутъ „мацу“,—признался онъ хозяйкѣ.

— Прежде всего, не „мацѹ“,—поправила его Сара.—Это русскіе говорятъ: „мацѹ“, а по-нашему, по-еврейски, — мацца... Это одно. А за-

тѣмъ, если вы хотите видѣть, какъ пекутъ мацу, потрудитесь завтра—послѣзавтра пойти со мной въ „подрядъ“ и вы увидите. Но вотъ что,—должна васъ предупредить, что вамъ не дадутъ тамъ стоять безъ дѣла. Да вамъ и самому будетъ непріятно стоять, сложа руки, когда кругомъ всѣ работаютъ. Вы должны будете что-нибудь дѣлать, помогать...

Рабиновичъ обрадовался:

— Помогать печь мацу? О...

— Не „мацѹ“, а мацу!—снова поправляетъ Сара.—Тысячу разъ я вамъ говорила, чтобы бросили вы свою привычку говорить, какъ гой...

— Ну, хорошо, маца, маца... Что же я буду тамъ дѣлать?

— Вамъ ужъ скажутъ, что дѣлать,—говоритъ Сара, и ее забавляетъ, что ея квартирантъ, студентъ, медалистъ и миллионеръ, будетъ стоять рядомъ со всѣми, бѣдняками, женщинами и дѣвушками, и будетъ помогать... ха-ха-ха!

Сара покатывается со смѣху:

— Что за смѣхъ на тебя напалъ, мамаша?—весело спрашиваетъ ее Бети, входя изъ сосѣдней комнаты.

Сара, смѣясь, рассказываетъ о желаніи квартиранта присутствовать при печеніи мацы и помогать... ха-ха-ха!

— Ну, такъ что же?—отвѣчаетъ Бети.—И я хочу пойти, говорятъ, это весело.

— И я!—закричалъ Семка и началъ уже скла-

дивать книги, тетради и всё принадлежности. Онъ не зналъ еще хорошенько, что и когда, но услышавъ, что учитель и сестра, куда-то идутъ, тоже захотѣлъ пойти.

— Хорошо, и ты, и ты!—объясняетъ ему Рабиновичъ и смотритъ на Бети съ любовью и благодарностью за то, что она понимаетъ его безъ словъ...

Чтобы отвезти мѣшокъ муки въ „подрядъ“, Сара наняла извозчика, выпроводила Семку въ гимназію, послѣдилъ, чтобы онъ не скомкалъ молитвы (медаль—медалью, а молитва—молитвою) и уже готова была сѣсть и ѣхать, смотреть—дочь съ квартирантомъ стоятъ одѣтые: они тоже ѣдутъ.

— Съ ума сошли? Или, не дай Богъ, рехнулись?—смѣется Сара, и радуется, глядя на парочку.—Вы-таки ѣдете со мной помогать печь мацу? А я думала, что вы шутите... Ну, ладно! Ёдьте, ёдьте. Но смотрите, не раскаивайтесь. Тамъ не мѣсто глазѣть. Тамъ надо работать!—говоритъ Сара, и ее душитъ смѣхъ отъ одной мысли, что ея квартирантъ, студентъ, медалистъ и къ тому же миллионеръ... ха-ха-ха! Ну, какъ тутъ не смѣяться!..

Всѣ трое усѣлись на извозчика и поѣхали.

Утро выдалось великолѣпное. Синее небо, теплое солнце, вѣтерокъ теплый, весенній, шепчетъ вамъ на ухо, что пора вмѣстѣ съ меланхоліей

сбросить зимнее платье и одѣться полегче, повесенному... Пасха приближается, милая, желанная Пасха!

О, Пасха, Пасха! Кто любитъ тебя такъ, какъ еврейская улица бѣдняковъ, какъ еврейскія бѣдныя дѣти! Изъ темныхъ, холодныхъ и сырыхъ норъ выползли они, какъ червячки, на улицу, на воздухъ, на солнце. Еле-еле выжили длинную холодную зиму. Вотъ она, милая улица, вотъ оно, Божье небо, вотъ оно свѣтлое, теплое солнце! Сюда, дѣти; сюда! Не бойтесь ручейковъ, бѣгущихъ съ горъ! Поднимите штанишки,— такъ!—и идейте, поглядимъ, что тамъ дѣлается на другой сторонѣ улицы. Смотрите, сколько народу, ай-ай-ай! Мужчинъ, женщинъ, юношей, дѣвушекъ—какъ звѣздъ на небѣ! Какъ песку морского! Кто пѣшкомъ идетъ, кто ѣдетъ. Мѣшки съ мукою везутъ на телѣгахъ. Хозяйки идутъ сзади. Въ подрядъ ѣдутъ, мацу печь! Слышите,— мацу, мацу!..

И бѣдныя, но счастливыя дѣти съ бѣдной еврейской улицы, поднимаютъ штанишки выше колѣнъ, пускаются бѣжать босикомъ внизъ по улицѣ и восторженно встрѣчаютъ cadaго проѣзжаго или прохожаго, а каждому извозчику кричатъ „ура“. И бѣгутъ, догоняя, а то и перегоняя лошадей, и прыгаютъ, и пляшутъ, и хорошо имъ, тепло, весело, канунъ Пасхи! Канунъ Пасхи!

Сару съ дочерью и квартирантомъ дѣтишки

встрѣтили съ особымъ парадомъ и сопровождали ихъ громкимъ „ура“ почти до самаго подъѣзда.

Въ первый разъ Рабиновичу приходилось видѣть такъ много еврейскихъ дѣтей, нищихъ, полунагихъ, босыхъ, съ блѣдными личиками, голодными глазками, но веселыхъ, рѣзвыхъ, счастливыхъ. Онъ не понимаетъ, откуда это берется? Да умомъ и не понять. Это надо почувствовать. А чтобы почувствовать, надо самому быть сыномъ еврейской улицы, надо родиться здѣсь вмѣстѣ со всѣми, воспитаться и вырасти въ нищетѣ, голодѣ и заброшенности...

— Слава Богу, вотъ мы и въ подрядѣ!—говоритъ Сара и слѣзаетъ съ извозчика, а за нею—квартирантъ и Бети.

Широкій дворъ. Большое каменное, красное зданіе, высокая труба,—желѣзодѣлательный заводъ,—а внизу, въ подвалѣ—просторная комната, освѣщенная газовыми рожками Огромная печь, пылающая, какъ вулканъ. Кругомъ, вдоль стѣнъ—длинные столы, новенькіе, бѣлые, гладко выструганные. Мужчины въ длинныхъ кафтанахъ, женщины въ бѣлыхъ передникахъ, дѣвушки съ лукавыми смѣющимися глазами. Жара, какъ въ банѣ, гоготъ, какъ среди гусей, шумъ и толкотня, какъ на ярмаркѣ,—это „подрядъ“. Здѣсь-то и пекутъ мацу.

— Хорошо, мадамъ, что вы пришли, а то начали бы печь другую мацу,—встрѣчаетъ Сару

Пейсахъ-Гершъ, хозяинъ подряда, еврей съ постнымъ лицомъ, блуждающими глазами и выдающимся впередъ, скудно обросшимъ подбородкомъ. Нижняя губа у него немного на-боку, и нельзя понять, смѣется ли онъ или плачетъ?

— Ну, досталось бы вамъ отъ моего мужа!— отвѣчаетъ Сара.— Вы забыли, что мой мужъ изъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро?

— Я очень хорошо это знаю, я не забылъ, память у меня хорошая,—говоритъ Пейсахъ-Гершъ и кричитъ на рабочихъ на странномъ языкѣ, на особомъ „подрядческомъ“ языкѣ, въ риѹму:

— Эй, бабы, дѣвки, голубки! Подтыкайте юбки! Лейте водицы, сыпьте мучицы! Тѣсто на столъ, мацу на колъ! Залманъ, живѣй! Бейля, скорѣй! Мендель, оглянись! Борухъ, повернись!..

— Въ добрый часъ,—говоритъ Сара и засучиваетъ рукава.

Рабиновичъ-Поповъ приготовился смотрѣть во всѣ глаза... Онъ далъ себѣ слово узнать всю правду! Маца, маца должна открыть ему глаза, разсѣять туманъ и разъ навсегда покончить съ кошмаромъ и колебаніями, въ которыхъ онъ пребывалъ съ тѣхъ поръ, какъ случилась эта страшная исторія съ убійствомъ сынишки Кириллихи.

Володька былъ найденъ въ такомъ ужасномъ видѣ, что приходилось допустить что-то такое,

что случается разъ въ сто лѣтъ... Къ тому же онъ начитался въ газетахъ о невѣроятныхъ преступленіяхъ, которыя евреи совершаютъ надъ христіанскими дѣтьми, какъ разъ въ это время наканунѣ Пасхи...

„Вѣдь ясно, какъ день, что евреи убили несчастнаго Володю!—писали газеты, не переставая повторять еще и еще разъ ту же пѣсенку,— и не только просто убили, а раньше замучили, изъ живого выкачали всю кровь черезъ сорокъ девять ранъ, и только послѣ этого прокололи кинжаломъ сердце“.

Болѣе смѣлые господа, „знатоки“ талмуда, давали подробное описаніе торжественной церемоніи,—какъ раввины, ученые, „рѣзники“ и пѣвцы читаютъ извѣстныя мѣста изъ псалмовъ, и всѣ евреи радуются, поютъ и пляшутъ,—однимъ словомъ, такія дикія сцены, точно дѣло происходитъ у кафровъ въ Африкѣ или у папуасовъ въ Южной Америкѣ...

Конечно, Рабиновичъ не вѣрилъ всѣмъ этимъ розказнямъ. Слишкомъ грубы, слишкомъ топорны и дики были онѣ, слишкомъ напоминали бабьи сказки, придуманныя съ единственной цѣлью посѣять рознь между націями... Вся эта исторія причиняла ему боль, и стыдно было ему за братьевъ-христіанъ, выдумывающихъ такія фантастическія нелѣпости, и за темную невѣжественную массу, которая вѣритъ въ нихъ... И все же какой-то червячекъ точилъ и точилъ

его, — „пойди, посмотри самъ собственными глазами, *убѣдись!*...“ И разъ онъ попалъ сюда, въ подрядъ, почему же не воспользоваться случаемъ, не присмотрѣться, не прислушаться?.. Разъ онъ уже здѣсь, на мѣстѣ, надо все высмотрѣть, не упустить ни одной мелочи!..

Оживленно и весело принялась публика за работу. Мигомъ былъ вскрытъ мѣшокъ съ мукой. Изъ новой жестяной кружки наливаютъ воду въ чистый мѣдный тазъ, и двѣ чистыхъ бѣлыхъ женскихъ руки съ засученными по локоть рукавами мѣсятъ мягкое бѣлое тѣсто. Затѣмъ тѣсто кладутъ на чистый гладко выструганный столъ и тутъ же раздѣляютъ на мелкія части, которыя раздають молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ. Подъ тонкими новыми скалками эти кусочки тѣста быстро превращаются въ большіе тонкіе, какъ папиросная бумага, круги. Откуда ни возьмись, подлетаетъ ловкій парень съ зазубреннымъ колесикомъ въ рукахъ и быстро проводитъ имъ по раскатанному тѣсту вверхъ, внизъ, въ стороны, — готова ажурная маца!

Это Борухъ-Зейдель, — познакомьтесь: Борухъ-Зейдель Плямъ. Солдатъ, служить въ пѣхотѣ. Служить ему осталось еще два съ половиной года, потомъ онъ женится на своей невѣстѣ, Блюмъ Коршукъ, — не мѣшаетъ вамъ и съ ней познакомиться. Она здѣсь, въ подрядѣ, здоровая дѣвица, брюнетка, съ большимъ полнымъ бюстомъ, какъ у кормилицы.

Изъ рукъ Боруха-Зейделя ажурная маца отправляется къ „подавателю“, Залманъ-Беру, на длинную палку, а оттуда къ самому Пейсахъ-Гершу, подрядчику, прямо въ печь, которая пылаетъ, какъ вулканъ. Минута, и уже слышенъ, вкусный, пріятный запахъ хорошо испеченной, зарумянившейся мацы, Рабиновичу кажется, что она должна хрустѣть на зубахъ и таять, какъ манна, которую евреи когда-то ѣли въ пустынь...

„Это все? А гдѣ же „церемонія“? Гдѣ раввины, ученые, „рѣзники“, пѣвцы?.. Гдѣ пѣсни, танцы и все прочее?..“ И Рабиновичу стыдно, что онъ хотя и зналъ раньше, что это выдумка, все же пришелъ сюда, чтобы высмотрѣть, разузнать, вывѣдать, убѣдиться!..

— Что же вы стоите, какъ кумъ на чужой свадьбѣ?—говоритъ ему Сара, помогая раскатывать мацу.—Засучите рукава и дѣлайте что-нибудь, не стойте безъ дѣла! Я же говорила вамъ или нѣтъ?

— Что же мнѣ дѣлать? Пожалуйста, скажите...

— Что вамъ дѣлать? Помогайте сыпать муку, а Бети будетъ лить воду, ха-ха-ха!—заливается Сара, не столько отъ того, что ея дочь, гимназистка седьмого класса, станетъ работать наравнѣ со всѣми, сколько отъ мысли, что ея квартирантъ, студентъ, медалистъ и миллионеръ, будетъ... ха-ха-ха!

Сара въ этотъ день вообще веселѣе, чѣмъ всегда. И не только она—всѣ здѣсь настроены

какъ-то странно-весело, торжественно, празднично..

Это веселое настроеніе въ концѣ концовъ передается и Рабиновичу. Онъ засучиваетъ рукава...

— Не такъ!—говоритъ ему Бети, которая сегодня тоже веселѣе, чѣмъ всегда, и засучиваетъ ему оба рукава, а онъ чувствуетъ себя на седьмомъ небѣ. Каждое прикосновеніе ея нѣжныхъ пальцевъ къ его голымъ рукамъ пробѣгаетъ по нему, какъ электрическій токъ, и обжигаетъ его сердце... Онъ чувствуетъ запахъ ея волосъ, теплоту ея тѣла, которое теперь такъ близко отъ него... И у него кружится голова... „До какихъ поръ? До какихъ же поръ играть комедію? Вотъ упаду къ ея ногамъ... Но онъ встрѣчаетъ ея глаза, красивые и умные, которые смотрятъ на него ласково и строго, какъ бы говоря: „Не сейчасъ, не здѣсь“...

И онъ замѣчаетъ, что еще много глазъ смотритъ на него. На него и на нее... Дѣвушки и женщины бросаютъ на парочку лукавые взгляды, подталкивая другъ друга: „вѣрно, женихъ и невѣста“...

Пожилыя женщины— тѣ шепчутъ Сарѣ на ухо:
— Суженый? Дай Богъ счастья!..

Сара не говоритъ ни „да“ ни „нѣтъ“. Она только улыбается, слегка вздыхая, и думаетъ: „Дай Богъ! вашими бы устами да медъ пить“... И не успѣваетъ она оглянуться, какъ ея маца готова.

На дворѣ дожидается извозчикъ. Тамъ собралась цѣлая кучка ребятишекъ, бѣдныхъ, но счастливыхъ еврейскихъ ребятишекъ. Забрались на повозку и ѣдутъ... Т. е. воображаютъ, что ѣдутъ. Одинъ усѣлся, какъ баринъ, руки опустилъ внизъ, голову задралъ вверхъ. Другой примостился напротивъ, подбоченился и качается. Третій держитъ вожжи, а четвертый будто бы погоняетъ лошадь хлыстомъ: но-но!—и свиститъ. Хорошо, что лошадь привязана къ забору съ мѣшкомъ овса на мордѣ, а то быть бы бѣдѣ. Извозчикъ, тоже еврей (Сара не взяла бы предъ Пасхою и еще для мацы русскаго извозчика!), забрался въ подрядъ и, стоя съ кнутомъ въ дверяхъ, шапка набекрень, смотрѣлъ, какъ пекутъ мацу, и завидовалъ, всѣмъ завидовалъ, — хозяину-подрядчику и его помощникамъ: „Вотъ хорошій заработокъ, тепло и весело...“

— Ребъ Азраиль, уже пора!—мигнула ему Сара, и ребъ Азраиль (хоть онъ и одѣтъ, какъ настоящій извозчикъ, но зовутъ его все же ребъ Азраиль) бросается къ дрожкамъ, видитъ ораву ребятишекъ и начинаетъ ругаться, сначала по-русски, какъ и полагается извозчику, но не выдерживаетъ роли до конца и кончаетъ по-еврейски:

— Бѣсенята! Чортъ бы вашего батьку дралъ! Я васъ кнутомъ! Я васъ научу уму-разуму!

Какъ бы не такъ! Станутъ они ждать, пока Азраиль будетъ учить ихъ уму-разуму! Не успѣлъ

онъ повернуться, какъ ихъ ужъ нѣтъ. Какъ спугнутые воробьи—пррр...—и слѣдъ простыль!..

Проворно, какъ фокусникъ, хватаетъ Пейсахъ-Гершъ готовую мацу и переноситъ ее десятками на дрожки такъ искусно, что не разламывается ни одной штуки.

Пока маца укладывается на дрожки, Сара расплачивается съ подрядчикомъ и его помощниками, которые желаютъ ей хорошо встрѣтить Пасху и много веселиться на свадьбѣ...—и подмигиваютъ при этомъ на ея дочь и молодого человѣка, стоящаго рядомъ съ нею...

— Поѣзжайте, дѣти, домой, а я уже сама приду съ мацой,—говоритъ имъ Сара и слово „дѣти“ произноситъ такъ мягко, съ такимъ отгѣнкомъ материнской любви и нѣжности, что дочь и квартирантъ ощущаютъ какую-то особую теплоту, глаза ихъ встрѣчаются и оба краснѣютъ...

— Мы лучше поѣдемъ вмѣстѣ съ мамашей и мацой,—говоритъ Рабиновичъ Бети, а та смѣется.

— Слышишь, мама, что онъ говоритъ?

— Онъ не знаетъ, что съ мацою надо итти пѣшкомъ...

— Пѣшкомъ такъ пѣшкомъ,—говоритъ Рабиновичъ и не спускаетъ глазъ съ мацы,—какъ ее выносятъ, какъ упаковываютъ, укрываютъ простыней, везутъ домой, снимаютъ и складываютъ въ чисто вымытый пасхальный шкафъ, высланный бѣлой бумагой...

Сложивъ мацу рядами, Сара беретъся за ключи и тутъ только замѣчаетъ, что квартирантъ слѣдитъ за нею. Она смѣется:

— Что вы смотрите на мацу, какъ котъ на сало? Хотите попробовать? Скажите правду!..

О, онъ сказалъ бы ей всю правду, если бы не стыдился самого себя... Стыдь... позоръ! Какъ онъ, культурный человѣкъ двадцатаго вѣка, хоть одну минуту, хоть одну секунду могъ вѣрить въ такія дикости?! Какая же разница между нимъ и тѣми язычниками, которые много сотенъ лѣтъ тому назадъ вѣрили, что христіане употребляютъ при совершеніи таинствъ кровь иновѣрческихъ дѣтей, отравляютъ колодцы и т. п.? И, чтобы не казалось страннымъ, что онъ такъ пристально смотритъ на мацу, онъ признался хозяйкѣ, что она угадала: онъ не прочь бы попробовать...

— Правда?— спрашиваетъ весело Сара,— ничего, подождите до Пасхи. На Пасхѣ попробуете. Развѣ вы гой? Не знаете, что теперь нельзя?

И, смѣясь и звеня ключами, Сара запираетъ мацу на замокъ.

ГЛАВА XVI.

Одна на весь домъ.

Сара Шапиро не Богъ вѣсть какая строго религіозная еврейка, ее и сравнить нельзя съ золвкой Тойбой Фамиліантъ, которая, говорятъ, передъ Пасхой надѣваетъ кошкѣ чулки на лап-

ки, чтобы она не занесла чего-нибудь не-пасхального. Но когда наступает канунъ Пасхи, Сара дѣлается совсѣмъ другой. Прислуги у нея нѣтъ, такъ она вездѣ, бѣдная, сама,—начиная съ мацы и кончая пасхальнымъ борщемъ. Сама чистить, сама стираетъ, моетъ, выколачиваетъ, вытряхиваетъ, однимъ словомъ, убираетъ все будничное и приводитъ домъ въ праздничный видъ. Удивительно ли, что она такъ раздражена, такъ сердита, что къ ней и подступиться нельзя, нельзя слова сказать?

Рано утромъ Сара пришла съ базара съ рыбою, съ мясомъ, новой посудой и „всякой всячиной“, взволнованная, усталая, разсѣянная... Отдохнувъ съ минуту, она стала посрединѣ комнаты, посмотрѣла на еще неубранную будничную посуду и на еще не распакованную пасхальную, на квашенку борща въ углу, на гирлянды лука, свеклу, картофель, хрѣнъ, новую терку и „всякую всячину“, заломила руки и сказала:

— Боже мой, ну, когда я всё это сдѣлаю? Когда приведу все въ порядокъ? Волосы дыбомъ становятся!..

Прежде всего она выпроводила мужа на службу, не дала ему даже помолиться, какъ слѣдуетъ.

— Куда ты летишь, курьерскій поѣздъ?—кричитъ Сара (ей больно, все же жена!):—Закуси чего-нибудь. Хоть стаканъ чаю выпей!

— Благодарю, благодарю!—отвѣчаетъ Давидъ.

и на зло ей надѣваетъ шапку: пусть не будетъ злоюй наканунѣ Пасхи!..

— Когда же ты придешь завтракать?—кричить она ему уже на лѣстницѣ.

— Въ обычное время!—отвѣчаетъ онъ, не желая даже взглянуть на нее.

— Не забудь, что тебѣ надо еще сходить въ баню, принести вино, натереть хрѣнъ...

— Знаемъ, знаемъ, — ворчитъ Давидъ себѣ подъ носъ, хлопаетъ дверью и исчезаетъ.

Еще съ большей поспѣшностью вывела Сара сынишку въ гимназію. Его она разбудила, бѣднягу, прямо со сна.

— Семка! Семочка! Вставай, родной! Вставай, хорошій! Ну, вставай же! Что за сонъ на него напалъ!

Семка не слышитъ. Онъ спитъ, уткнувшись въ подушку и свернувшись въ клубокъ. Закинулъ назадь черную головку, щеку отлежалъ, ушко горитъ, на губахъ блуждаетъ улыбка... Добрый ангелъ, видно, навѣваетъ ему волшебные сны... О чемъ? Вѣроятно, объ его дѣлахъ... Гимназія... Учитель вызвалъ его полнымъ именемъ: „Шапи-ро Шлем-ка!“ Въ классѣ хохотъ,—шутка ли: „Шлемка“? Но онъ только презрительно улыбается... Что ему ихъ смѣхъ, когда онъ всѣ уроки знаетъ на-зубокъ!.. Встаетъ и сыпетъ, сыпетъ, какъ изъ мѣшка:

— Послѣ смехти Александрха Невскаго снова

пошли между князьями смуты, спохы, и хаспхи за великое княженіе... Шла бохьба за пхестолъ...

— Довольно,—говоритъ учитель. Но онъ не слышитъ и сыпетъ дальше:

— Гоходъ Москва былъ основанъ въ двѣнадцатомъ вѣкѣ на окхайнѣ Суздальской земли...

— Садитесь,—говоритъ ему учитель. Семка не слышитъ:

— Иванъ Калита былъ князь очень хасчетливый, хитхый, бехежливый...

Товарищи уже давно перестали смѣяться. Привстали даже съ мѣстъ и переглядываются. „Вотъ зубрила жидовская!“... Имъ завидно, что Семка получить пятерку. Двѣ пятерки, три пятерки, много пятерокъ...

Но мать знать ничего не хочетъ: канунъ Пасхи,—твердитъ она и тормошитъ Семку:

— Ну же, встанешь ты или нѣтъ? Да заснуть навѣки враги наши!

Семка вытягивается подъ одѣяломъ во всю длину, закидываетъ руки за голову, потихоньку открываетъ глаза и испуганно смотритъ на мать. Только что онъ опять видѣлъ какой-то сонъ... какъ они съ Володькой играютъ на дворѣ въ мячъ... Семка нечаянно забросилъ Володькинъ мячъ на крышу... а Володька сорвалъ съ него шапку... Семка умоляетъ его: „Володя, отдай шапку, Володя!“...

— Что онъ бормочетъ? — говоритъ Сара и оглядывается кругомъ.—Какой Володя? Володьку

видить во снѣ! Да будь онъ далеко отсюда, тьфу! тьфу! тьфу!..

Семка смѣется и спрашиваетъ мать:

— Что такое, мама?

— Онъ еще спрашиваетъ! Ты забылъ? Сегодня рано обѣдаютъ. Тебѣ еще надо итти съ отцомъ въ баню да постричься. Канунъ Пасхи. Ну, скорѣй, скорѣй!

У Семки щеки горятъ и глазки блестятъ:

— А, Пасха? Маца? Клецки? А я всѣ четыре вопроса *) на пять съ плюсомъ знаю!

— Ну, ладно, ладно... Послѣ будешь рассказывать всякія исторіи. Иначе, какъ по-русски, онъ со мной и говорить не можетъ! Да погибнуть враги наши!.. Ну, вставай же, одѣвайся! Одѣнешься ты или нѣтъ? Или я здѣсь съ тобою Пасху буду встрѣчать?

Семка, который проснулся такимъ веселымъ, что ему хотѣлось обнять не только мать, но весь міръ,—обнять и расцѣловать, — не понимаетъ, что дѣлается съ матерью. Почему она такъ сердита? Чего она такъ его торопитъ?... Еще минута и онъ готовъ. Но, какъ на зло, одинъ сапогъ заупрямился и не хочетъ влѣзть на ногу...

— Что за наказаніе Божье на меня?—гово-

*) Вопросы, на которые отвѣчаетъ книга „Агада“, излагающая исторію исхода евреевъ изъ Египта и пасхальные обряды.

рить плаксиво Сара и вертитъ Семкѣ ногу во всѣ стороны.—Сапогъ, что ли, ссохся? Или ножка у тебя, не дай Богъ, опухла? Или еще что?

— Ладно,—думаетъ Семка и такъ выгибаетъ ногу, что, если бы сапогъ былъ втрое больше, и мать надѣвала его три года подрядъ, то и тогда онъ не полѣзъ бы на ногу.

Но это продолжается недолго. Мать смотритъ на него серьезно, и онъ на нее тоже довольно серьезно, и вдругъ она—бацъ его по щекѣ,— даже въ ушахъ зазвенѣло!

— Теперь ты будешь знать!—говоритъ Сара, но сердце ея тутъ же смягчается и она чуть не плачетъ, жалѣя ребенка. Или себя она разорвала бы на части или Семку обняла бы и расцѣловала... Но такъ нельзя. Ребенокъ глупъ. Его надо учить вѣжливости. Захотѣлъ, такъ вѣдь сапогъ влѣзъ, какъ по маслу. Плачетъ? Ничего, поплачетъ, да перестанетъ. Жаль только,—пощечина слишкомъ увѣсистая! Какъ бы еще, не дай Богъ, не вспухла щека!

— Ну, будешь ты умываться или нѣтъ? Иди, я тебѣ помогу. Держи руки. Такъ. Лицо самъ умой. Дай, я тебя утру.

И ласковыми нѣжными руками матери она вытираетъ Семкино свѣжее лицо съ красивыми глазками, уже высохшими отъ слезъ, и очень ей хочется поцѣловать его въ щечку, на которой еще видны слѣды ея пальцевъ. Но она этого

не дѣлаеть. Ребенокъ глупъ. Его надо учить вѣжливости... И она ставить его на молитву.

— Успѣешь еще, не опоздаешь!... Ну, молись, молись! Да, скорѣй, скорѣй!

Скорѣй? Его не надо торопить. Еще раньше, чѣмъ она скажетъ ему: молись,— онъ уже кончить. И дѣйствительно, только что она отвернулась,— онъ уже готовъ!

— Уже? Такъ скоро? Ну-ну, молитва! Чтобы гнеть еврейскій не долше продолжался!— говорить Сара, уже забывъ, что только что сама торопила Семку. Сунула ему завтракъ въ карманъ,— иди!

Выпроводивъ сынишку, Сара взялась за дочь. Гимназистка седьмого класса, скоро, Богъ дастъ, невѣста,— какъ ее будить?... Не будь она по крайней мѣрѣ такой дерзкой!... А, она уже сама встаетъ...

— Бети! Бети?...

— Ну, чего тамъ?— раздается нараспѣвъ серебрястый голосочекъ изъ сосѣдней комнаты.

— Что за языкъ? Развѣ такъ говорятъ съ матерью?

— А какъ же съ матерью говорить?

— Бети! У меня нѣтъ времени съ тобой разсуждать. Канунъ Пасхи!

— Такъ чего же ты хочешь?

— Чего хочешь! Говорить со мною, какъ Богъ вѣсть съ кѣмъ!...

— Какъ же ты хочешь, чтобъ съ тобою говорили?

До сихъ поръ разговоръ ведется заочно. Но вотъ Бети показывается въ дверяхъ своей комнаты, веселая, полунагая, волосы разсыпались по бѣломраморнымъ плечамъ, бѣленькое полотенце на ней наброшено, грудь стыдливо прикрыта руками... И, какъ только показалась эта дѣвушка, свѣтло стало въ комнатѣ, свѣтло и тепло во всѣхъ уголкахъ. Казалось, будто вмѣстѣ съ нею откуда-то влетѣли сонмы ангеловъ и поютъ хвалебный гимнъ красотѣ. И маленькая комната со всѣмъ своимъ беспорядкомъ превратилась въ райскій уголокъ... Даже сама мать засмотрѣлась на нее: „Чтобы мнѣ такого счастья!“—думаетъ Сара, глядя на дочь... Но сегодня канунъ Пасхи, и у нея еще много работы, она не можетъ смотрѣть, какъ дочь стоитъ неодѣтая, непричесанная, да еще смотритъ ей прямо въ лицо и вызывающе улыбается...

— Я бы хотѣла знать, Бети, чему ты смѣешься?

— Ха-ха-ха! Что же ты хочешь, чтобы я плакала?

— Боже сохрани! Кто говорить? Наоборотъ, смѣйся, когда мать разрывается, одна на такой, не сглазить бы, домъ!

— Кто же тебя заставляетъ? Вотъ я одѣнусь и помогу тебѣ.

— Тебя не просятъ! Не надо мнѣ твоей по-

мощи! Лучше одѣнься и освободи мнѣ комнату. Безъ тебя работы много!

— Ты, мама, значить, гонишь меня изъ дому, ради кануна Пасхи? Хочешь отъ меня избавиться?

— Ну, конечно! Вѣдь у меня столько дочерей!

— Одна у тебя дочь и та лишняя!...

— Была бъ одна, да хорошая!

— А я плохая?

— Кто же говоритъ—плохая? Хорошая.

Бети, какъ кошечка, ласкается къ матери:

— Нѣтъ, мамочка, я хочу знать правду: хорошая или плохая?

— Ты перестанешь или нѣтъ? Некогда мнѣ съ тобой шутки шутить! Одѣвайся и иди съ Богомъ!

— Куда же мнѣ итти? На всѣ четыре стороны?

Сара теряетъ терпѣніе. Она еле удерживается. Каждая минута — часъ, каждый часъ — день. А та стоитъ и шутить! И мать кричитъ на нее во весь голосъ:

— Бети! Бети!! Не выводи меня изъ терпѣнія! Не зли меня!

Эге, Бети видитъ, что мать сердита не на шутку. Съ минуту она стоитъ еще въ дверяхъ, напѣвая потихоньку, затѣмъ исчезаетъ въ свою комнату. Вмѣстѣ съ нею исчезаютъ свѣтъ и тепло, и райскій уголокъ, гдѣ только что носились ангелы и пѣли хвалебные гимны красотѣ

превращается въ грязную комнату... У матери болить душа: чего она собственно хочетъ отъ дочери? Дай Богъ ей такого житья!... И Сарѣ хочется плюнуть на всю работу, зайти къ милой дочери и сказать ей: „Какой ты еще ребенокъ! Не надо сердиться на мать. Случается, мать съ ума сходить“... Но она вспоминаетъ, что вѣдь канунъ Пасхи, такая еще масса работы, что она одна на такой, не сглазить бы, домъ, и снова каменѣетъ сердце и не хочется даже знать, будетъ ли дочь сегодня пить чай, и не хочется даже посмотрѣть, какъ она одѣвается, какъ надѣла шляпку, взяла зонтикъ, постояла немного въ дверяхъ,—не скажетъ ли чего мать... Нѣтъ! Не дождутся враги ея, чтобы она, Сара Шапиро, первая заговорила съ дочерью, послѣ того какъ та отвѣтила ей такъ дерзко!

Когда Бети уже вышла, Сара на секунду остановилась за дверью, прислушалась къ ея шагамъ, хотѣла что-то сказать, но слышался кашель изъ сосѣдней комнаты...

— Ага, и онъ уже всталъ?... Не было печали, черти накачали!... Унесло бы его что ли куда,нибудь!...

Такъ ругала Сара квартиранта, который не заставилъ себя ждать. Скоро вышелъ изъ своей комнаты, свѣжій, здоровый, съ густой копной черныхъ волосъ, и, низкимъ баритономъ поздоровавшись съ хозяйкой, спросилъ ее, будто бы равнодушно, мимоходомъ:

— Гдѣ Берта Давидовна?

— Идите, ищите ее! — отвѣтила совсѣмъ недружелюбно Сара и спросила его:

— Вы скоро уйдете или останетесь?

Квартирантъ или не слыхалъ или сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ. Онъ посмогрѣлъ на безпорядокъ въ домѣ, заглянулъ въ открытую дверь, откуда недавно вышла Бети, и еще разъ спросилъ хозяйку:

— Берта Давидовна уже встала?

— Встала. Давно встала и ушла.

— Ушла? Куда же могла уйти Берта Давидовна такъ рано?

— Что вы ко мнѣ пристали! — закричала Сара на квартиранта. — Мнѣ некогда, канунъ праздника, я на части разрываюсь, одна на такой, не сгладить бы, домъ, а онъ: Берта Давидовна! Берта Давидовна!

Добрыми улыбающимися глазами квартирантъ посмотрѣлъ хозяйкѣ въ лицо, повернулся, пошелъ въ свою комнату, набросилъ на себя пальто, взялъ палку и, насвистывая: „вдоль по улицѣ широкой“, спустился по лѣстницѣ и ушелъ.

— Какъ бы еще не обидѣлся! — подумала Сара. — Вѣдь не мальчишка... Студентъ, медалистъ и къ тому же миллионеръ... И еще женихъ, съ Божьей помощью!... Можетъ быть, скоро?... Ой, дай Богъ, когда уже? Когда уже?...

И, разогнавъ всѣхъ изъ дома, забывъ о работѣ, Сара садится въ уголокъ, одна на весь

домъ, и вздыхая и покачиваясь, какъ на молитвѣ, углубляется въ свои думы, мысли и заботы, невзгоды и горе, горе, горе...

ГЛАВА XVII.

Л ю д и - м у х и .

Выйдя изъ дому, Рабиновичъ взялъ извозчика, назвалъ улицу, номеръ дома и всю дорогу не переставалъ напѣвать ту же пѣсенку:

Вдоль по улицѣ широкой
Молодой кузнецъ идетъ.
Онъ идетъ, идетъ,
Пѣсеню съ присвистомъ поетъ...

Видно было, что онъ доволенъ собою, прекраснымъ утромъ и всѣмъ міромъ.

И было чѣмъ быть довольнымъ. Не только довольнымъ, но и счастливымъ. Бети, эта прелестная дѣвушка,—его! Онъ это знаетъ навѣрное, какъ дважды два четыре!

Черная кошка, которая пробѣжала было между ними, давно исчезла. Тучи, которыя надвинулись было надъ ними, разсѣялись, и молодымъ людямъ снова улыбалось и свѣтило солнце, которое освѣщаетъ и согрѣваетъ не только тѣло, но и душу, общаетъ радость, счастье и любовь, любовь безъ конца!...

Обнаружилось это не словами. Къ чему слова? Развѣ недостаточно для него одного ея взгляда? Развѣ недостаточно для него какой-

нибудь шутки, прикосновенія руки, шалости, смѣха и тысячи такихъ мелочей, изъ которыхъ складывается иной разъ романъ гораздо лучше, чѣмъ изъ серьезныхъ, тяжелыхъ и глупыхъ объясненій въ любви?

И близость создавалась сама собою, оба они шли другъ къ другу гигантскими шагами. Все было готово. Недоставало лишь одного небольшого шага: чтобы онъ поговорилъ съ ея отцомъ или еще лучше съ матерью, которая ждала этого изо дня въ день, изъ часа въ часъ. И онъ уже много разъ готовъ былъ этотъ шагъ сдѣлать, но вспоминая ту страшную стѣну, которая стоитъ между ними отъ рожденія, каждый разъ воздерживался и ломалъ голову надъ этой проблемой, которой никакъ не могъ разрѣшить... Слишкомъ Бети гордилась своимъ еврействомъ и слишкомъ рѣзко она выражалась о тѣхъ, кто „торгуетъ Богомъ изъ личныхъ интересовъ!“... Ихъ встрѣчи въ театрѣ съ бѣлоподкладочникомъ Лapidусомъ и нѣсколькихъ разговоровъ, бывшихъ у него съ ней послѣ этого, было для него достаточно, чтобы больше не касаться этого пункта...

Что же все-таки дѣлать? И онъ рѣшилъ повидаться съ еврейскимъ раввиномъ, поговорить съ нимъ, объяснить и спросить совѣта, что дѣлать въ такомъ затруднительномъ случаѣ?... Онъ сталъ спрашивать своихъ хозяевъ, конечно, косвенно, кто у нихъ здѣсь раввинъ и гдѣ онъ живетъ?

Услышавъ, что квартирантъ спрашиваетъ о раввинѣ, Сара—что снится курицѣ?—просо! почувствовала, какъ забилось у нея сердце: быть можетъ, онъ интересуется казеннымъ раввиномъ, который выдаетъ метрическія свидѣтельства для вѣнчанія?... И она начала объяснять ему, что у нихъ въ городѣ два казенныхъ раввина, одинъ раввинъ, а другой его помощникъ.

— Много словъ, а толку мало!—прерываетъ ее Давидъ.—Тебя спрашиваютъ о духовномъ раввинѣ, а ты сказки, рассказываешь,—„казенный раввинъ“, „помощникъ раввина“!

И Давидъ самъ объясняетъ квартиранту очень подробно, что есть у нихъ нѣсколько раввиновъ. Изъ нихъ двое казенныхъ, одинъ раввинъ, другой помощникъ раввина...

—Ну, вотъ!—торжествуетъ Сара.—А я что говорила? Не то же?

—Нисколько!—отвѣчаетъ Давидъ.—Будь у тебя смекалка и немного такта, ты не вмѣшивалась бы, когда люди говорятъ, дала бы другому кончить и тогда поняла бы, что я говорю не то, что ты: я—не дуракъ и знаю, что говорю!

Давидъ поворачивается лицомъ къ квартиранту и начинаетъ объяснять ему снова, отсчитывая на пальцахъ.

—Такъ, есть здѣсь у насъ много раввиновъ. Изъ нихъ двое считаются казенными, одинъ раввинъ, другой помощникъ раввина, а остальные (Давидъ на минуту поворачивается къ женѣ

и пронизываетъ ее взглядомъ), а остальные называются духовными раввинами.

И онъ разъясняетъ, все съ помощью пальцевъ, разницу между „казеннымъ“ раввиномъ и „духовнымъ“.

—Вѣдь вы, между нами говоря, настоящій гой,—говоритъ Давидъ квартиранту довольно откровенно.—Развѣ вы хоть что-нибудь знаете изъ того, что у насъ дѣлается? Вѣдь для васъ все ново. Вы даже не знаете, что значить „сжигать хомецъ“, „выкупать первенцовъ“, „окупать посуду“ передъ Пасхой... Тоже еврей!... Вѣдь все вамъ надо разжевать да въ ротъ положить!

Какъ бы тамъ ни было, но Рабиновичъ узналъ отъ хозяина, что есть въ городѣ одинъ духовный раввинъ, къ которому всѣ относятся съ большимъ уваженіемъ. Кромѣ того, что онъ ученый и честный еврей, онъ знаетъ толкъ и въ свѣтскихъ дѣлахъ, хорошо знакомъ съ языками, образованный человѣкъ. Къ нему ѣдутъ со всего свѣта, кто за разрѣшеніемъ спора, кто просто за совѣтомъ... А это и нужно Рабиновичу. Къ этому раввину онъ и направился утромъ наканунѣ Пасхи.

Въ большой комнатѣ, что-то въ родѣ зала, онъ засталъ много народу, мужчинъ, женщинъ, дѣтей. Было, какъ въ пріемной у доктора. Разница та, что у доктора тихо, потому что тамъ собираются люди, ничего общаго между собой не имѣющіе, а здѣсь стоялъ шумъ и гамъ, какъ

на ярмаркѣ. Всѣ громко говорили, размахивая руками, всѣ были сильно возбуждены. Не сидѣли на мѣстѣ, вскакивали, подходили другъ къ другу, убѣждали, горячились и снова отходили, и со вздохами садились.

„Люди-мухи“, — подумалось Рабиновичу. Почему именно мухи, онъ и самъ не зналъ. Но такое впечатлѣніе производили на него эти люди... И онъ началъ прислушиваться, о чемъ они такъ быстро и взволнованно говорятъ?... Чего такъ горячатся? И чего каждый разъ вздыхаютъ?... За зиму у Шапиро онъ нахватался еврейскихъ словъ и теперь понималъ, что толкуютъ здѣсь все о томъ же злополучномъ мальчикѣ, будто бы убитомъ евреями для ихъ Пасхи...

„Несчастье“... „напралина“... „клевета“... „погромъ“... „погромъ“...— вотъ слова, которыя чаще всего слышались въ этомъ шумѣ. И каждый разъ, какъ произносилось слово „погромъ“, на всѣхъ лицахъ ложилась тѣнь глубокой печали... А женщины глубоко вздыхали при этомъ и обнимали своихъ дѣтей, прижимая ихъ къ груди...

И Рабиновичъ, если не чувствовалъ, то понималъ, о чемъ тутъ идетъ рѣчь. Только вчера прочиталъ онъ въ одной изъ газетъ, которая любитъ настоящія свои цѣли прикрывать груболицемѣрной фразой, слѣдующее.

„Мы не хотимъ пророчить,— писала газета,— и ни въ какомъ случаѣ не имѣемъ въ виду натравливать одну часть населенія на другую. Но

намъ кажется, мы почти увѣрены, что справедливый гнѣвъ оскорбленнаго населенія долженъ будетъ въ ближайшіе дни свѣтлаго првздника вылиться въ заслуженный еврейскій погромъ, если не въ цѣлый рядъ погромовъ, чтобы отомстить за несчастнаго мальчика, кровь котораго пролита слѣпыми фанатиками ради пасхальной мацы“...

Другая газета въ статьѣ, озаглавленной: „Берегите своихъ дѣтей“, для тѣхъ же цѣлей употребляла другой, не менѣе тонкій и искусный приѣмъ. Авторъ статьи дурного про евреевъ ничего не говорилъ и ни къ какимъ погромамъ не призывалъ. Но—„такъ какъ приближается еврейская Пасха, когда евреи не могутъ обойтись безъ христіанской крови, какъ это было установлено много разъ и какъ объ этомъ убѣдительно свидѣтельствуемъ недавно найденный зарѣзаннымъ Володя Щигрюкъ,—берегите своихъ малолѣтнихъ дѣтей!“—и т. д.

Третья газета выражалась уже совсѣмъ откровенно, помѣщая статью подъ кричащимъ заголовкомъ: „Кровь за кровь!“—и призывая каждого честнаго христіанина, въ комъ жива вѣра въ Бога, отомстить, разсчитаться съ евреями за невиннаго Владимира Щигрюка, который палъ жертвою ихъ слѣпого фанатизма, вывезеннаго ими еще изъ Египта... А, разъ заговоривъ о мести, честная газета находила необходимымъ объяснить своимъ честнымъ читателямъ, что не слѣ-

дуетъ обрушивать весь свой гнѣвъ только на бѣдняковъ. Начинать нужно сверху, съ магнатовъ, которые забрались на самыя почетныя мѣста, захватили лучшіе дома и роскошнѣйшіе дворцы нашего города и содержатъ на свои средства цѣлыя полчища „хасидистовъ“, „ортодоксовъ“, „рѣзниковъ“, доставляющихъ имъ христіанскую кровь для пасхальной мацы и т. д.“ Статья заканчивалась словами: „Око за око“, сказано у нихъ. Мы же скажемъ: „кровь за кровь!“...

Объ этомъ-то и говорили здѣсь такъ взволнованно и горячо. И Рабиновичъ удивлялся тому, какъ могутъ люди такъ быстро говорить, чуть ли не по тысячѣ словъ въ минуту. И какъ они ухитряются понимать другъ друга, говоря всѣ вмѣстѣ?... „Люди-мухи“, думаетъ онъ. Шумятъ, какъ мухи, слабы, какъ мухи. Какъ мухъ, ихъ можно, кажется, разогнать однимъ громкимъ крикомъ и движеніемъ руки...

Но вдругъ дѣлается тихо. Всѣ, мужчины, женщины и дѣти, какъ по командѣ, встаютъ съ необычайнымъ почтеніемъ предъ однимъ человѣкомъ, показавшимся въ дверяхъ.

Онъ былъ невысокаго роста, среднихъ лѣтъ, съ молодымъ яснымъ лицомъ и большими, черными, молодыми глазами. Волосы тоже черные, мѣстами съ просѣдью. На головѣ небольшая бархатная ермолка. Пейсы ровно подстрижены. Широкій бѣлый накрахмаленный воротникъ, бар-

хатный жилетъ и длинный черный кафтанъ. Въ его молодомъ лицѣ столько интеллигентности, благородства, а во всей фигурѣ, съ головы до ногъ, столько спокойствія, размѣренности, что невольно хотѣлось встать предъ нимъ и снять шапку.

Это и былъ тотъ духовный раввинъ, котораго Шапиро такъ расхваливалъ квартиранту.

Къ раввину Рабиновичъ пришелъ съ готовымъ планомъ. Онъ расскажетъ ему, что у него есть знакомый или товарищъ, русскій, который влюбленъ въ еврейскую дѣвушку, и она въ него, и такъ какъ дѣвушка ни за что не хочетъ мѣнять своей вѣры, то товарищъ долженъ будетъ перейти въ ея вѣру... Такъ вотъ онъ пришелъ за совѣтомъ, такъ какъ товарищъ, видите ли, мало знакомъ съ догматами іудейскаго вѣроисповѣданія и вообще не изъ вѣрующихъ... и т. д.

Таковъ былъ планъ, съ которымъ онъ пришелъ къ раввину. Но какъ только Рабиновичъ переступилъ порогъ кабинета и остался съ нимъ съ глазу на глазъ, онъ совершенно измѣнилъ свой планъ. Раввинъ, понравившійся ему съ перваго взгляда своимъ необыкновеннымъ спокойствіемъ, всѣми своими какъ бы расчитанными движеніями,—сразу завоевалъ его довѣріе. Онъ почувствовалъ, что съ этимъ человѣкомъ не нужны никакія мудрствованія, никакая дипломатія,

и что онъ можетъ говорить совершенно откровенно.

И дѣйствительно, раввинъ, сидѣвшій, опираясь на одну руку, а другой,—перелистывавшій книгу, спокойно выслушалъ молодого человѣка, а когда тотъ закончилъ, раввинъ вздохнулъ, какъ-будто все время говорилъ онъ, а не гость. Затѣмъ закрылъ книгу и, улыбаясь, сказалъ гостю:

— Я не спрашиваю васъ, кто вы и кто эта дѣвушка. Разъ вы не говорите сами, значитъ, это секретъ... Къ сожалѣнію, я ничѣмъ не могу помочь вамъ, и совѣта у меня никакого нѣтъ для васъ. Я только жалѣю отъ всей души васъ, молодой человѣкъ... Жаль мнѣ васъ, бѣднаго...

Гость сдѣлалъ большіе глаза: „его жалѣютъ“?!

— Очень жаль васъ, молодой человѣкъ. Есть въ странѣ шесть милліоновъ несчастныхъ, преслѣдуемыхъ людей, которые всѣмъ кажутся лишними. Голову ломаютъ и придумать не могутъ, какъ бы отъ нихъ избавиться,—а вы хотите сдѣлаться однимъ изъ нихъ? Вы хотите стать первымъ изъ седьмого милліона?...

Гость былъ пораженъ, какъ тѣмъ, что сказалъ ему раввинъ, такъ и тѣмъ, какъ онъ съ нимъ говорилъ: спокойно, съ улыбкою на устахъ и хорошимъ русскимъ языкомъ, — странный раввинъ!

Видя, что гость молчитъ, раввинъ продолжалъ, какъ бы угадывая, о чемъ думаетъ гость:

— Вы удивляетесь, что слышите отъ меня,

раввина, такую рѣчь? И вашъ священникъ, я думаю, поступаетъ такъ же, когда къ нему приходитъ чужой человѣкъ. Мы, пастыри, обязаны прежде всего открыть глаза такому человѣку, чтобы онъ зналъ, куда онъ идетъ и что дѣлаетъ... Не клади камня преткновенія на пути слѣпого, говоритъ Моисеева тора...

— Но я же объяснилъ вамъ мой мотивъ,— говоритъ гость и краснѣетъ.— Я... я люблю и любимъ... нѣтъ другого выхода для меня...

— Слабый мотивъ для такого серьезнаго шага. Мѣнять вѣру можно только при внутреннемъ кризисѣ, когда перестаешь вѣрить въ одно и начинаешь вѣрить въ другое... Мы одинаково осуждаемъ нашихъ выкрестовъ, крестился ли кто ради „права-жительства“, ради диплома, ради заработка или ради дѣвушки... Конечно, послѣдній мотивъ нѣсколько благороднѣе, психологія тоньше, но компромиссъ остается компромиссомъ: съ Богомъ заключена какая-то сдѣлка...

Рабиновичъ-Поповъ не могъ не замѣтить, что этотъ спокойный человѣкъ, сидящій напротивъ него, насквозь видитъ его и, какъ по книгѣ, читаетъ его мысли. Онъ не могъ не признаться самому себѣ, что пришелъ сюда не ради еврейской вѣры... И не потому также, что полюбилъ еврейскій народъ... А раввинъ, какъ бы прочитавъ его мысли, послѣ краткой паузы снова обратился къ гостю:

— Я не говорю уже о вѣрѣ. Съ вѣрой вообще

теперь слабовато... какъ у насъ, такъ и у васъ... Я говорю о народѣ, объ ужасѣ говорю я. Вѣдь вы не захотите увѣрить себя, что вы, какъ христiанинъ по рожденiю и воспитанiю, какъ русскiй, что вы, въ наше трудное время расовой ненависти, любите евреевъ, что для васъ еврей и не-еврей—все равно...

— Для меня—все равно,—перебилъ его Поповъ. — Вотъ еврейскую дѣвушку, которую я люблю, я такъ полюбилъ, что не можетъ быть для меня никакихъ препятствiй... Я ничего знать не хочу...

— Ну, да, я вамъ охотно вѣрю и всеi душой сочувствую... Это чувство не знаетъ никакихъ границъ, никакихъ расовыхъ различiй... Но, молодой человекъ, долженъ вамъ сказать,—есть у насъ пословица, правда, немного банальная, но вѣрная: „нельзя любить жену, если не любишь ея родни“. А нашу „родню“, къ сожалѣнiю, еще никогда такъ не ненавидѣли, такъ не презирали и не осмѣивали, какъ теперь... Вотъ посмотрите, къ чему мы пришли. Посмотрите, что пишутъ о насъ именемъ Бога и именемъ Того, Кто проповѣдывалъ любовь...

И раввинъ протянулъ руку и подалъ гостю газету, съ которой огромными буквами глядѣло: „Кровь за кровь!“

Гость посмотрѣлъ на знакомое заглавiе и сказалъ:

— Это я читалъ еще вчера... Писалъ это че-

ловѣкъ безъ капли справедливости и совѣсти.. Я не думаю, чтобы нашелся порядочный христіанинъ, у котораго эти слова не вызвали бы отвращенія. Не думаю, чтобы нашлось много христіанъ, которые сразу не поняли бы, что все это выдумка, клевета!..

— И все же есть между вашими братьями тысячи и тысячи, которые вѣрятъ, что это правда, а не клевета. Скажите мнѣ, какъ честный христіанинъ, положи руку на сердце, не промелькнула ли у васъ въ первую минуту, когда вы прочли дикую исторію объ убійствѣ Щигрюка, мысль, что.. можетъ быть, это правда? Можетъ быть, это дѣйствительно сдѣлали евреи для своей пасхальной мацы...?

Глаза, смотрѣвшіе на гостя, говорили ему, что скрывать своихъ мыслей ему нельзя,—его видятъ насквозь... И потому онъ совѣмъ не пытался оправдываться. Онъ нашелъ нужнымъ только замѣтить, что какъ разъ въ этомъ случаѣ у него не могло быть сомнѣній, потому что никто не знаетъ этой исторіи такъ хорошо, какъ онъ, который зналъ мальчика, знаетъ мать, отчима и всю семейку.. Больше,—онъ увѣренъ и у него есть на то основанія, что убійца этого мальчика не кто иной, какъ его отчимъ, профессиональный воръ, и его товарищи по профессіи, которые одни только и были заинтересованы въ томъ, чтобы сжить со свѣта это невинное существо...

— Вы знали, говорите, мальчика?—спросилъ удивленно раввинъ уже совсѣмъ другимъ тономъ и съ другимъ лицомъ.—Вы, говорите, знаете отчима, мать и всѣхъ ихъ? У васъ, говорите, есть данныя? О, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!—И онъ взялъ обѣими руками гостя за руку:—О, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!

Раввинъ, до сихъ поръ сидѣвшій такъ спокойно, что удивлялъ Рабиновича своимъ спокойствіемъ, сразу, на глазахъ у гостя, перемѣнился, сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ... Куда дѣвалось его величіе, его гордость?

— Какъ же, какъ же такъ?—говорилъ онъ.— Вы сами не знаете, молодой человѣкъ, того, что вы здѣсь только что сказали. Вы сами не знаете того, что можете сдѣлать. Вы можете спасти цѣлый городъ отъ несчастья, отъ... отъ... отъ...

Отъ сильнаго волненія ему не доставало словъ. Онъ выпустилъ руку гостя, вздохнулъ и, нѣсколько успокоившись, началъ рисовать гостю картину разыгрывающейся міровой драмы,—какъ ведется агитація, откуда это берется и какъ печально это можетъ кончиться для евреевъ... Гостю въ эту минуту показалось, что раввинъ сразу сталъ какъ бы меньше на цѣлую голову. Сразу преобразился въ его глазахъ, сталъ обыкновеннымъ евреемъ, однимъ изъ тѣхъ „людей-мухъ“, которыхъ онъ видѣлъ только что въ

большой приёмной и которые говорили съ испуганными лицами: „погромъ! погромъ!“...

— Всѣ они боятся погрома!—думаетъ Поповъ.—Неужели они въ самомъ дѣлѣ такъ слабы? Неужели не могутъ оказать сопротивленія? Ихъ насчитываютъ въ этомъ городѣ десятками тысячъ!... Что это за странный народъ!“

Въ эту минуту отворилась внутренняя дверь и на порогѣ появилась женщина среднихъ лѣтъ въ парикѣ и что-то сказала,—гость понялъ, что раввина, должно быть, просятъ обѣдать. Раввинъ отвѣтилъ: „сейчасъ, сейчасъ“. Дверь закрылась, и онъ обратился къ гостю:

— Скажите мнѣ, молодой человекъ, что я васъ хотѣлъ спросить? Да. Откуда вы знаете эту семейку, какъ вы ее знаете? И какія у васъ есть данныя, что...

— О, я ее знаю очень очень хорошо...—уклонился гость отъ прямого отвѣта, боясь выдать себя лишнимъ словомъ, и поспѣшилъ перевести разговоръ на другую тему.

— Скажите мнѣ, уважаемый равви (слово равви онъ выговорилъ протяжно: рав-ви), я убѣжденъ, и не только я, но и большая часть христіанъ убѣждена, что вся исторія о ритуалѣ съ христіанской кровью для мацы—не болѣе какъ клевета... Я самъ имѣлъ случай видѣть, какъ печется у васъ маца, и пришелъ къ убѣжденію, что это не больше какъ фанатическая легенда старинныхъ временъ. Мнѣ хотѣлось бы толь-

ко знать, откуда берется эта легенда? И почему именно про евреевъ? Почему не про другихъ?

Раввинъ снова задумался надъ гостемъ. „Что это за молодой человѣкъ, влюбленный въ еврейскую дѣвушку и готовый ради нея перейти въ еврейство?... Присматривается къ тому, какъ у насъ пекутъ мацу и убѣжденъ, говорить, что это—легенда, клевета, и вмѣстѣ съ тѣмъ задаетъ такіе вопросы, и къ тому же лично знакомъ съ семьею убитаго Цигрюка...“ На секунду у него промелькнула мысль: „Можетъ быть, этотъ молодецъ просто провокаторъ?“ Но нѣтъ. Слишкомъ наивно-искренне его лицо, и слишкомъ хороши, правдивы глаза, слишкомъ честенъ взглядъ... Нѣтъ. Не такой видъ у провокаторовъ...

Онъ гонитъ отъ себя эту мысль и ближе придвигается къ гостю, предлагаетъ ему папиросу, хотя самъ не изъ курящихъ. Гость благодарить: онъ тоже не куритъ.

— Видите ли молодой человѣкъ,—сказаль ему раввинъ съ горькой усмѣшкой,—торопиться нельзя... Своимъ вопросомъ: откуда берется эта легенда и почему про евреевъ, а не про другихъ,—вы оправдываете высказанное мною мнѣніе, что такой серьезный шагъ, какой вы хотите сдѣлать, надо хорошенько обдумать и пре-

жде всего поближе познакомиться съ „роднею“... Потому что, какъ могли бы вы чувствовать себя счастливымъ съ тою, въ „роднѣ“ которой есть люди, употребляющіе человѣческую кровь?... Вы протестуете. А я говорю вамъ, что сами вы себя мало знаете... Вотъ вы сейчасъ сказали, что вы и большинство христіанъ убѣждены въ томъ, что это—клевета, легенда, сказка, на самомъ же дѣлѣ вы далеки отъ такого убѣжденія, и это вполне естественно. Просто потому, что вы насъ не знаете. Вы знакомы съ нами столько же, сколько мы, на примѣръ, съ китайцами. Вы только слышали о насъ. Вамъ вбили въ голову, что евреи такіе и сякіе, что у насъ есть тайныя секты, что у этихъ сектъ есть тайныя обряды... Взять на себя трудъ прочесть все, что уже сотни разъ отрицалось, или самимъ присмотрѣться, изучить, познакомиться съ ними поближе,—на это среди васъ много охотниковъ. Если бы вы познакомились съ нами немного поближе, вы бы увидѣли, какъ это смѣшно. Вы бы узнали, что у насъ нѣтъ никакихъ тайныхъ сектъ и никакихъ тайныхъ обрядовъ, что всѣ наши пороки и добродѣтели точь-въ-точь тѣ же, что и у васъ, съ однимъ только исключеніемъ: у насъ вы найдете всѣ грѣхи, кромѣ одного,—кровапролитія... Проливать человѣческую кровь!... Посмотрѣли бы вы, сколько у насъ всякихъ законовъ и правилъ на счетъ того, какъ слѣдуетъ убить животное или птицу для ѣды,

сколько разъ упоминается, чтобы не ѣсть съ кровью, не проливать крови, не видѣть крови!... Жаль, что сейчасъ у меня мало времени, меня ожидаютъ... (Раввинъ посмотрѣлъ на часы, гость всталъ)... Сидите, сидите... Если бы не канунъ праздника,—сегодня вечеромъ у насъ Пасха,—мы бы поговорили съ вами объ этомъ подробнѣе. Если хотите познакомиться съ предметомъ поближе, я помогу вамъ, чѣмъ могу. Вы найдете у меня всю литературу. Могу дать вамъ книгу профессора Хвольсона, слышали? Нѣтъ? (Раввинъ всталъ и подошелъ къ шкафу съ книгами). Могу дать вамъ ее до послѣднѣ-праздника. Могу предложить еще двѣ-три книги, все о „ритуалѣ“... А если хотите, вотъ одна книга нашего большого „ученаго“ и „знатока“ евреевъ, Лютостанскаго. Имя это, вѣрно слышали. Оно „известно“. Онъ, понимаете ли, цитируетъ изъ писанія то, чего тамъ никогда не было, и приводитъ предписанія изъ своего собственнаго, никогда не существовавшаго „Шолханъ-Нараха“... И все-таки наши противники ссылаются на него, какъ на большого „знатока“ въ еврейскихъ религіозныхъ вопросахъ...

Снова отворилась дверь и показалась та же женщина въ парикѣ и уже безъ словъ переглянулась съ раввиномъ,—сейчасъ, онъ идетъ. Гость всталъ и поблагодарилъ за книги. Онъ уже видѣлъ, что говорить о томъ, зачѣмъ пришелъ, нечего. Раввинъ, правъ: онъ поспѣшилъ... Слѣш-

комъ твердый орѣшекъ это еврейство, чтобы такъ скоро его раскусить! Онъ ошибся въ расчётъ: Лapidусу, вѣрно, легче было выйти изъ еврейства, чѣмъ Попову перейти въ него. Слишкомъ гордъ этотъ народъ. Слишкомъ высоко онъ цѣнитъ себя, несмотря на то, что такъ низко цѣнится другими... Что будетъ дальше, онъ не знаетъ. Пока надо итти.

Онъ взялъ пачку книгъ и сталъ прощаться, но раввинъ задержалъ его, сказавъ, что у него есть еще нѣсколько свободныхъ минутъ.

— Итакъ, молодой человѣкъ, вернемся къ прежнему разговору. Какъ я понялъ изъ вашихъ словъ, вы близко знаете семью убитаго Щигрюка, и вамъ извѣстно, что это—дѣло отчима и компаніи? И мы такъ думаемъ, мы увѣрены, что это такъ. Но къ чему наша увѣренность, когда есть люди, которые жаждутъ погрома? Вы видите, какъ идетъ агитація; всѣ газеты трубятъ: ритуальъ, ритуальъ!... И на наше несчастье должно было это случиться наканунѣ Пасхи... О, если бы вы захотѣли что-нибудь предпринять!... И давно уже вы знакомы съ этими людьми?...

Рабиновичъ-Поповъ, опять боясь попасться съ лишнимъ словомъ, притворился, что не слышитъ, о чемъ его спрашиваютъ, и вмѣсто отвѣта, спросилъ раввина еще объ одномъ, что казалось ему страннымъ:

— Еще объ одномъ хотѣлъ я васъ спросить, уважаемый равви. Почему это только наканунѣ

Пасхи всплываетъ эта легенда, и то здѣсь, то тамъ находятъ...

— „Пасхальную жертву“?— закончилъ раввинъ съ ироніей, и мысль о провокаціи снова пришла ему въ голову, но не больше, чѣмъ на секунду, и на лицо легла прежняя добродушная улыбка:— Вы хотите знать смыслъ этого? Смыслъ очень простъ. Объясню вамъ его притчею.

И раввинъ, стоя съ гостемъ уже у двери, скокойно и медленно, все съ тою же улыбкой, разсказалъ притчу.

Жилъ нѣкогда стрѣлокъ. Былъ онъ великій мастеръ показывать фокусы, которыми приводилъ зрителей въ величайшее изумленіе. Каждый разъ попадалъ онъ въ цѣль. Ни разу не промахнется! Народу показалось это страннымъ. Какъ возможно, чтобы человѣкъ всегда попадалъ въ цѣль, ни разу не промахнувшись? Начали слѣдить и открыли секретъ. Оказалось, что раньше онъ стрѣляетъ, а цѣль ужъ ставитъ потомъ...

— Вотъ притча, а объясненіе ея вы найдете въ книгахъ, которыя я вамъ далъ... Надѣюсь, что вы еще зайдете ко мнѣ вскорѣ послѣ праздниковъ. Очень интересно, что вы знали Щигрюка и знаете убійць... Вы могли бы быть очень полезны при разслѣдованіи дѣла... Я думаю, что это вашъ долгъ, какъ человѣка и какъ христіанина...

— О, будьте увѣрены!... Пусть только начнетъ

ся настоящее разслѣдованіе... Даю вамъ честное слово... Вотъ вамъ моя рука!

Раввинъ съ благодарностью пожалъ протянутую руку.

— Я вамъ вѣрю. Ваши глаза говорятъ мнѣ, что я, кажется, не ошибаюсь... Дай Богъ побольше такихъ, какъ вы, которые хотѣли бы знать насъ поближе...

Съ особой теплотой раввинъ еще разъ пожалъ ему руку, и Рабиновичъ-Поповъ вышелъ съ пачкою книгъ подъ мышкой, довольный, бодрый, веселый, какъ всегда...

ГЛАВА XVIII.

Находка Сары.

— Что же я усѣлась посреди комнаты? Чуть не забыла, что канунъ Пасхи!—сказала сама себѣ Сара, сорвавшись съ мѣста и усердно принимаясь за работу. Цѣлыя кучи мусора выбрасывались, цѣлые шкафы книгъ перетряхивались, масса бумаги сжигалась...

— Шутка ли, цѣлый домъ „ученыхъ“!—говорила Сара.—Всѣ учатся, всѣ пишутъ... Семка пишетъ, Бети пишетъ, квартирантъ пишетъ. Въ „хомецъ“ все, въ „хомецъ“!*)

И Сара бросала въ печь цѣлыя кипы бумаги, не щадя ничего: „къ чему лишній хламъ? Без-

*) „Хомецъ“—подлежащее уничтоженію.

порядокъ только!“ Во всѣхъ закоулкахъ побывала она, за всѣми шкафами, комодами и зеркалами, заглянула и къ квартиранту въ ящикъ стола, въ тотъ знаменитый ящикъ, который хоть и безъ замка, а не открывается.

— Можетъ быть, у него тамъ „хомецъ“ есть?— сказала про себя Сара и, ругая столикъ, на чемъ свѣтъ стоитъ, за то, что ящикъ у него не хотѣлъ выдвигаться, настояла-таки на своемъ: ящикъ выдвинулся, и Сара нашла тамъ цѣлый кладъ...

Прежде всего она увидѣла между бумагами квартиранта карточку дочери. „Какъ попала сюда фотографія Бети? Вѣроятно, она ему подарила и по секрету, чтобы мы не знали... Надо полагать, что дѣло у нихъ налаживается?... Хотя дочь съ ума сходить, притворяется, не хочетъ слышать даже, чтобы слово „помолвка“ при ней упоминали... Ну, да въ концѣ концовъ они оба придутъ къ ней, къ матери, и откроются, что любятъ другъ друга и что... Ахъ, когда ужъ это будетъ!...“

И счастливая мать собираетъ бумаги и кладетъ карточку опять на то же мѣсто. Вдругъ глаза ея останавливаются на небольшой тетрадкѣ, безъ обложки, съ надписью большими буквами: „Мой дневникъ“.

— Его дневникъ?— спрашиваетъ себя Сара, перелистывая листокъ за листкомъ, а у самой сердце бьется-бьется... Никогда бы она этого не

читала,—какое ей дѣло до того, что онъ пишетъ въ своемъ „дневникѣ“? Но разъ она нашла у него карточку дочери, можно, кажется посмотреѣть, что тамъ написано? Можетъ быть, объ ея дочери?...

И точно сердце предсказало ей,—большая часть дневника была посвящена Бети. „Сегодня гулялъ съ Бети... Сегодня говорилъ съ Бети... Бети смѣялась... Бети спросила... Бети молчала...“ Очень ей нужно, скажите! Она думала найти что-нибудь поинтереснѣе.

И Сара, перелистывая тетрадку, напрасно ищетъ что-нибудь хорошенькаго, серьезнаго... Вотъ записано у него „событіе“,—„вчера былъ у хассидистовъ и плясалъ вмѣстѣ съ ними“... Это, вѣрно, о праздникѣ Эсѳири у нашего Шлоймы Фамиліанта, вотъ умникъ, ха-ха-ха! Нашелъ, что записать въ свой необыкновенный „дневникъ“... А вотъ радостное событіе,—записано даже съ „ура“: „Ура! Сегодня былъ въ „подрядѣ“ и видѣлъ, какъ пекутъ мацу! Собственными глазами видѣлъ и очень, очень доволенъ“... Скажите, какое счастье!

Или такая, на примѣръ, исторія: „Завтра иду къ раввину... Буду говорить съ нимъ о догматахъ и „ритуалѣ“... Что за раввинъ? Чтобъ она горе знала, если что-нибудь понимаетъ! Глупости, вѣроятно!...

Сара положила дневникъ и хотѣла уже закрыть ящикъ, какъ вдругъ ей бросилось въ глаза

красивое письмецо на розовой бумагѣ. „Вѣроятно, отъ Бети“, промелькнула у нея мысль, и она развернула письмо. „Но, нѣтъ, не отъ Бети. Видно, что писано женской рукой, но не Бетиной. Что это значитъ? Развѣ она не знаетъ почерка дочери?... Вѣроятно, отъ тетки-миллионерши?... Стоитъ, право, посмотрѣть, что пишетъ ему тетка?... Ни за что не стала бы она читать чужое письмо,—какое ей дѣло, что пишетъ тетка племяннику? : о разѣ она нашла у него портретъ дочери и разѣ она видѣла у него въ дневникѣ, какъ много онъ думаетъ о Бети, то не будетъ, кажется, большой бѣды, если она позволитъ себѣ взглянуть, что ему пишетъ тетка-миллионерша? Можетъ быть, что-нибудь такое, о чемъ она, Сара, должна знать?... Но вотъ исторія: письмо совсѣмъ не отъ тетки! Тетку его, сколько Сара помнитъ, зовутъ Ліей, а письмо подписано такъ: „Твоя, вѣчно любящая и цѣлующая тебя Вѣра П.“ Кто можетъ быть эта „Вѣра П.“, которая цѣлуетъ его и подписывается „твоя, вѣчно любящая тебя“? Какая-то любовь, да еще „вѣчная“?

Прочитавъ письмо, Сара сама не знала, что съ ней стало. Ей казалось, будто кто-то пришелъ и наговорилъ кучу клеветы на того, кто ей милъ... Или, будто злѣйшій врагъ ворвался и выругалъ ее послѣдними словами... Или, какъ если бы видѣла она страшный скверный сонъ...

Вотъ что было написано въ письмѣ.

„Дорогой мой!

„Твои письма къ намъ за послѣднее время стали такъ рѣдки и такъ кратки, что у меня возникаютъ всевозможныя мрачныя мысли... Папа говоритъ, что скоро ты совсѣмъ перестанешь писать. Папа въ послѣднее время сталъ еще капризнѣе, чѣмъ раньше. [Онъ тоже скучаетъ, но никому объ этомъ не скажетъ... Ты можешь себѣ представить, мой милый, какъ я и всѣ мы ждемъ Пасху?... Я уже считаю дни и не перестаю молить Бога, чтобы Онъ не оставилъ тебя.

Желаю тебѣ блестящихъ успѣховъ. Дай Богъ, чтобы ты къ Свѣтлому празднику обрадовалъ всѣхъ насъ пріятною новостью, которой мы всѣ ждемъ, а больше всѣхъ я, твоя, вѣчно любящая и цѣлующая тебя Вѣра П.“

.....

Сара положила письмо опять на то же мѣсто и принялась за работу. Но какая уже тамъ работа! Все валилось у нея изъ рукъ... Она почти не замѣчала, что дѣлала. Съ головой ушла въ письмо отъ Вѣры... „Кто бы она могла быть, эта Вѣра П.?“—думаетъ Сара. „Какая-то влюбленная въ него дѣвушка? Пожалуй, влюбиться въ такого красавца можно! Кончилъ съ медалью, и тетка - миллионерша, не имѣющая дѣтей! А то откуда же эта близость, это „ты?... И чего она такъ ждетъ Свѣтлаго праздника? И такъ вѣшается ему на шею?...

На минуту Сара забудетъ о письмѣ, но сейчасъ же вспомнитъ снова:

—Можетъ быть, невѣста? Не дождутся этого враги ваши! Какъ же онъ объ этомъ все время не упомянулъ? И какъ бы онъ дерзнулъ затѣять романъ съ дочерью?... Двѣ возлюбленныхъ сразу?... Двѣ невѣсты?... Это ужъ хуже, чѣмъ Содомъ! Это было бы,—небеса, разверзните! —свѣтопреставленіе!.. Нѣтъ, этого не можетъ быть! Не такой онъ человѣкъ... Этого быть не можетъ!...

Сара опять беретъ за работу. Ей хочется забыть, но не можетъ. Эта Вѣра П. не выходитъ изъ головы! Вотъ напасть! Будь теперь здѣсь этотъ „шлимъ-мазель“ Тумаркинъ, она черезъ него, можетъ быть, могла бы разузнать, кто она... Такъ онъ пропалъ. Какъ въ воду канулъ! Что дѣлать? Не станеть же она спрашивать у квартиранта: „Кто эта Вѣра П., которая въ васъ влюблена?“... Этимъ она сама себя выдала бы... Но что же дѣлать? Что дѣлать?

И бѣдная мать напрасно ломала себѣ голову... Какъ она могла догадаться, что Вѣра П. не больше не меньше, какъ родная сестра квартиранта, Вѣра Попова?...

Сначала Сара хотѣла взять письмо и показать дочери,—что та на это скажетъ? Можетъ быть, Бети знаетъ, кто эта Вѣра П.? Но потомъ она рѣшила, что не стоитъ,—Бети слишкомъ дерзка. Она можетъ задать ей такого жару за то,

что заглядываетъ въ чужія письма! Съ другой стороны, если Бети сама знаетъ столько же, какъ она, Сара испортитъ ей, бѣдной, весь праздникъ...

— Вотъ свалилось новое несчастье на мою голову!—говорила Сара и съ досады хотѣла взять и сжечь письмо. Но въ это время раздался звонокъ...

— Это вѣрно квартирантъ или Бети,—подумала Сара и побѣжала открывать.

Но звонилъ не квартирантъ и не Бети, а Семка. Сегодня онъ пришелъ изъ гимназіи раньше обыкновеннаго.

— Въ чемъ дѣло?

Ихъ только что распустили всѣхъ, и евреевъ и русскихъ, и Семка долженъ бы прийти домой веселымъ и счастливымъ, какъ всегда. А онъ явился избитымъ, съ синяками и плакалъ навзрыдъ.

— Что съ тобою, Семочка, милый мой? Что ты плачешь? Плохія отмѣтки?—спрашиваетъ его мать съ безпокойствомъ.

Нѣтъ, отмѣтки у него хорошія. Какъ разъ всѣ пятерки.

—Что же ты плачешь?

Его побили.

— Кто?

Товарищи, гимназисты, русскіе, изъ старшихъ классовъ. Когда выходили изъ гимназіи послѣ

ропуска, его схватили и били, били, здѣсь вотъ, и здѣсь, и здѣсь.

— Горе твоей матери! За что, за что тебя били?

Развѣ онъ знаетъ, за что? За Щигрюка, сказали, его бьютъ...

— За какого Щигрюка?

— За Володьку, котораго мы, говорятъ, убили на Пасху, выпустили изъ него кровь, на нашу мацу...

И Семка плачетъ, всхлипывая и утирая глаза объими руками, а мать ломаетъ руки и посылаетъ всѣ проклятія на головы враговъ своихъ... Но вотъ приходитъ Давидъ и Бети. Садятся за послѣдній будничный обѣдъ, который съѣдается наскоро, какъ это подобаешь наканунѣ Пасхи, когда нѣтъ времени и когда къ тому же всѣ такъ взволнованы и возмущены избіеніемъ Семки. Всѣ чувствовали, что надъ ними нависло какое-то несчастье, что Володька съ его страшной смертью ложится проклятіемъ Божиимъ на всѣхъ евреевъ въ городѣ, и больше всего на нихъ, на Шапиро, которые живутъ какъ разъ по сосѣдству съ этой Кириллихой!... И одинъ на другого сваливали вину за знакомство съ Кириллихой и ея „семейкой“.

Давидъ первымъ напалъ на жену, зачѣмъ она водить знакомство съ русскими сосѣдями и сосѣдками. Онъ прожилъ бы здѣсь еще десять лѣтъ, двадцать лѣтъ, сто лѣтъ.—и не гнался бы

за знакомствомъ съ пьяницей Кирилломъ и его женой и никогда не допустилъ бы, чтобы его квартирантъ училъ какого-то Володьку. Что за знакомство можетъ быть у нихъ съ русскими, съ какимъ-то пьяницей? И зачѣмъ ему, чтобы Семка игралъ въ лошадки Богъ вѣсть съ кѣмъ?

— Уже? Кончилъ или нѣтъ? — спрашиваетъ его Сара.— Дашь ты мнѣ когда-нибудь слово сказать или нѣтъ?

— Почему нѣтъ? Хоть десять тысячъ словъ!

— Если такъ,—обращается къ нему Сара,—то я должна сказать тебѣ, что ты настоящій Шапиро и курьерскій поѣздъ!

— Поздравляю!—говоритъ Шапиро и раскланивается.

— Поздравляю и я! отвѣчаетъ Сара и продолжаетъ:—не будь ты Шапиро и курьерскій поѣздъ, ты зналъ бы, что знакомство съ Кириллой затѣяла твоя дочь, а чтобы квартирантъ занимался съ сынишкою Кириллихи, я не знаю, кто выдумалъ. Мнѣ кажется, что самъ квартирантъ...

Въ эту минуту входитъ Рабиновичъ и, услышавъ, что говорятъ про него, вопросительно смотритъ на Бети.

— Ошибаешься, мама,—говоритъ Бети по русски:—чтобы квартирантъ готовилъ уроки съ Володькой, придумалъ Семка. Онъ хвасталъ передъ Володькой своими пятерками, а Володька ему и сказалъ, что если бы у него былъ репе-

титоръ, какъ у Семки, онъ тоже приносилъ бы домой пятерки, тогда, можетъ быть, и отчимъ его не билъ бы такъ... Семка пожалѣлъ его и присталъ къ Рабиновичу, чтобы онъ занимался съ его товарищемъ Володькой, хотя бы полчаса въ день. Что, не такъ развѣ Семка?

— Зачѣмъ тебѣ свидѣтеля? Тебѣ и безъ свидѣтелей вѣрятъ,—говорить мать. Все утро она сердита на квартиранта за то письмо, что нашла у него въ ящикѣ,—даже и про тетку-милліонершу забыла. А на дочь она сердита за то, что та беретъ сторону квартиранта и всю вину взваливаетъ на несчастнаго Семку. Мало ему, значить, побоевъ, которые бѣдняжка получилъ сегодня, надо еще направить на него сумашедшаго отца...

И дѣйствительно, она угадала. Давиду толкъ и надо было, чтобы сорвать на комъ-нибудь злобу, и онъ принялся читать нотацію сыну. „Доброе дѣло! Пусть мальчишка знаетъ, съ кѣмъ дружба водить и кого жалѣть... Да будутъ благословенны руки, его побившіе...“

Бѣдный Семка слушалъ, слушалъ, и давай плакать.

Семкѣ, видно, суждено было въ этотъ день быть козломъ отпущенія въ домѣ Шапиро, гдѣ атмосфера все больше и больше сгущалась, и вотъ-вотъ должна была разразиться буря... Почти всѣ чувствовали это и были возбуждены, больше всѣхъ квартирантъ. Когда за обѣдомъ ему рассказали, какъ сегодня избили Семку, это его

взорвало. Съ тѣхъ поръ какъ Рабиновичъ живетъ у Шапиро, никто не помнитъ, чтобы онъ когда-нибудь былъ сердитъ. Всегда такой мягкій, такой милый, онъ вдругъ превратился въ какого-то разбойника. Глаза налились кровью, лицо стало краснымъ. Густые черные волосы встали гривой, и весь онъ походилъ на разъяреннаго звѣря.

— Я этого не спущу!—кричалъ онъ.—Сейчасъ побѣгу къ директору! Я расправлюсь съ ними! Я имъ всю гимназію переверну вверхъ дномъ!

— Ша... Нечего торопиться перевертывать гимназію!—успокаиваетъ его Давидъ, беря за локоть.—Своею поспѣшностью и своею злобою вы ничего не подѣлаете. Мы евреи, они христіане,—этимъ все сказано.

И Давидъ дѣлаетъ рѣзкій жестъ рукою.

Но квартирантъ не успокаивается.

— Какъ все сказано? Ничего не сказано! На такое оскорбленіе нельзя смолчать!

— Ха-ха-ха, нельзя смолчать! А если будете кричать, чего вы добьетесь?—спрашиваетъ Давидъ съ горькой, ядовитой усмѣшкой.—Добьетесь лишь одного: малыша попросятъ изъ гимназіи,—и мы останемся безъ „права-жительства“... Вотъ до чего вы можете доиграться!

Квартирантъ смотритъ недоумѣвающими глазами на хозяина, тотъ дѣлаетъ паузу и продолжаетъ;

— Чего вы смѣтрите на меня? Я знаю, что говорю! Вѣрьте мнѣ, знаю! Для васъ это пустя-

ки: есть „право-жительства“, нѣтъ „права-жительства“... Нужно будетъ, вы соберетесь — и счастливаго пути! Чего вамъ бояться? А я не хочу, понимаете ли, не хочу, чтобы полиція со мною нянчилась. Довольно, мнѣ уже надоѣло. „Право-жительства“ это у меня вотъ гдѣ сидитъ!..

И Давидъ показалъ рукою на затылокъ.

Квартирантъ замолчалъ. „Когда у людей одно только „право-жительства“ на умѣ, развѣ можно сдѣлать что-нибудь хорошее?“—думаетъ онъ и садится за столъ, а Давидъ не перестаетъ ораторствовать:

— Если бы мы захотѣли, слышите ли, обращать вниманіе на такія вещи и волноваться каждый разъ, когда насъ бьютъ, когда на насъ клеветуютъ, смѣшиваютъ насъ съ грязью, то намъ нужно бы все время лежать ницъ и плакать или то и дѣло обращаться къ Богу съ молитвой и жаловаться, что насъ оскорбляютъ... Кажется, не надо большихъ оскорбленій, чѣмъ тѣ, которыми полны въ послѣднее время газеты,—про кровь и всякую гадость, даже съ души претъ, тьфу!

Рабиновичъ хотѣлъ вставить слово, но тотъ не далъ. Когда Давидъ разговорится,—только держись!

— Что вы мнѣ будете сказки рассказывать, философію разводить? Я заранѣе знаю, что вы скажете: „человѣчность“, „человѣческое достоинство“!.. Знаю я все это, повѣрьте, такъ же хорошо знаю, какъ и вы. Разумѣется, вы правы, и

все это, конечно, ужасно. Тѣмъ болѣе, когда нападаютъ на ни въ чемъ неповиннаго ребенка... Но мы не должны забывать, что мы евреи и живемъ въ очень тяжелое время... Пройдетъ это, повѣрьте, пройдетъ. Настанетъ день, когда они раскаются. Вотъ увидите!.. А Семка? Что же! Богъ дастъ, вырастетъ и забудетъ. „До свадьбы заживетъ“, какъ говорится...

Рабиновичъ видѣлъ, что говорить бесполезно: этого человѣка не переубѣдишь. „Странный народъ эти евреи съ ихъ непонятной психологіей!“

— Ну, довольно тебѣ плакать, мой милый медалистъ! Перестань же!—обращается Шапиро къ Семкѣ.—Глупенькій, Богъ съ ними рассчитается за тебя, за меня и за всѣхъ. На него можно положиться, дурачекъ. Онъ, если захочетъ, все можетъ. Ты лучше одѣнься и пойдемъ со мною на Александровскую, я куплю тебѣ новенькіе сапожки на праздникъ, а оттуда мы пойдемъ въ погребъ за виномъ къ празднику...

Услышавъ про новенькіе сапожки и про вино, Семка преобразился. Онъ потихоньку поднимается и, всхлипывая, вытираетъ кулакомъ опухшіе глаза и красный носъ и готовъ уже забыть слезы, побои, стыдъ и все, все. „Ребенокъ остается ребенкомъ“, думаетъ мать, цѣлуя его и помогая ему своимъ передникомъ вытеретьъ лицо отъ послѣднихъ слезъ, которыя повисли на длинныхъ рѣсницахъ, какъ капли росы въ лѣтнее утро... А отецъ, не переставая, болтаетъ. Онъ

жалѣеть ребенка, можетъ быть, не меньше матери. Но не хочетъ показать этого и топить свое чувство въ словахъ:

— Ну, въ путь-дорогу!—говорить онъ Семкѣ, шутя.—Живо, братъ, вѣдь канунъ праздника, и самые лучшіе сапоги могутъ распродать, да еще останемся мы, не дай Богъ, безъ вина... Канунъ праздника!..

ГЛАВА XIX.

Нежданные гости.

Подготовиться къ Пасхѣ—не такая легкая вещь, какъ это кажется съ перваго взгляда. Особенно для людей средняго достатка, гдѣ нѣтъ лишнихъ рукъ. И тѣмъ не менѣе Сара Шапиро можетъ похвастаться,—съ Пасхою она управилась во время, можно сказать, даже заблаговременно. Солнце еще и не думало заходить. Многимъ хозяйкамъ, работающимъ безъ прислуги, далеко еще до конца, а у нея почти все уже готово,—хоть сейчасъ садись за пасхальную трапезу. Все чисто и блеститъ, какъ золото. Столъ накрытъ бѣлоснѣжной скатертью. Приготовлены подсвѣчники со свѣчами. На столѣ стоитъ корзина съ мацою и вино въ бутылкахъ съ красными и зелеными шляпками. Остро пахнетъ только что натертымъ хрѣномъ...

Сама Сара стоитъ съ засученными рукавами на кухнѣ и готовить тѣсто изъ яицъ и мацы-муки, собираясь печь алады на горячей, сма-

занной саломъ сковородѣ, настоящія пасхальныя алады на гусиномъ салѣ,—„самъ царь не отказался бы откушать“...

Давидъ только что пришелъ изъ бани, красный, какъ ракъ, съ подстриженными пейсами и усами, а заодно уже и бородой (тутъ уже онъ не виноватъ: парикмахеръ на свой рискъ и страхъ немного подправилъ бороду, чтобы было, „какъ у людей“). Теперь онъ переодѣвался въ своей комнатѣ въ праздничную одежду. По своему обыкновению, Давидъ торопится, и ни сильно накрахмаленная верхняя рубашка, ни новый галстухъ ни за что не хотятъ поддаваться. Давидъ сердится на рубашку и на галстухъ,—готовъ разорвать и ихъ на части...

Въ другой комнатѣ Бети дѣлаетъ себѣ новую прическу. Одинъ Семка уже готовъ, въ своемъ мундирчикѣ съ блестящими серебряными пуговицами и въ новыхъ сапогахъ, послужившихъ лѣкарствомъ, бальзамомъ противъ побоевъ, синеватые слѣды которыхъ еще видны подъ глазами... Но когда на ногахъ такіе красивые новые сапоги, ноздри щекочетъ такой вкусный запахъ пасхальныхъ аладей, и всѣ „четыре вопроса“ онъ знаетъ наизусть, а въ карманѣ лежитъ табель со сплошными пятерками, а передъ глазами такая интересная книга, „агада“ или „сказаніе объ исходѣ Израиля изъ Египта“,—удивительно ли, что у Семки перестали болѣть синяки?

„Агада“, въ которую Семка углубился, была не изъ тѣхъ простыхъ „агадъ“, что можно достать за три гроша на всѣхъ перекресткахъ. Нѣтъ! Это была старинная „агада“, доставшаяся Шапиро по наслѣдству отъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро,—съ разными комментаріями, съ картинками и иллюстраціями.

Ей стоитъ посвятить нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что эта „агада“ удостоилась особаго вниманія властей и изучавшихъ ее экспертовъ.

О самой „агадѣ“ собственно говорить нечего. „Агада“, какъ всѣ „агады“. Главное здѣсь картинки. Правда, нельзя сказать, чтобы онѣ были очень уже хороши. Работали надъ ними, какъ видно, далеко не первоклассные художники. Фараонъ египетскій, на примѣръ, нарисованный на первой страницѣ, похожъ скорѣе на мясника, чѣмъ на царя. Моисей съ жезломъ—настоящій русскій купецъ, а братъ его, первосвященникъ Ааронъ, смахиваетъ на попа. У Іосифа дѣвичье лицо, а жена Потифара, наоборотъ, похожа на мужчину... Зато казни египетскія нарисованы великолѣпно: „кровь“, „жабы“, „мошки“,—все естественно и натурально... И четыре аллегорическія фигуры, олицетворяющія „Мудрость“, „Зло“, „Глупость“ и „Наивность“, изображены недурно. Лучше всѣхъ вышелъ „мудрецъ“. Правда, на лицѣ у „мудреца“ особаго ума не замѣтно, но талантливый художникъ догадался нарисовать его съ приставленнымъ ко лбу пальцемъ, — для ясности... И

„злодѣй“ не бросается въ глаза своимъ злодѣйскимъ видомъ. Наоборотъ, — добродушнѣйшее, симпатичное лицо. Хорошо, что внизу крупными буквами написано: „злодѣй“. „глупецъ“ и „наивный“ похожи другъ на друга, какъ дѣти одной матери. Оба курносые, головы на-бокъ, руки сложены: „Что мы знаемъ? Ничего мы не знаемъ!“... Однако, лучшей иллюстраціей въ книгѣ надо считать „жертвоприношеніе“, изображающее Авраама, приносящаго въ жертву Богу своего единственного сына Исаака. Хотя, какимъ образомъ въ пасхальную „агаду“ попало вдругъ „жертвоприношеніе“? И почему художнику пришло въ голову изобразить патріарха похожимъ на хулигана, хотя и съ длинными пейсами, какіе евреи едва ли носили во времена праотца Авраама? И почему художнику вздумалось дать Аврааму въ руки не ножъ, а кавказскій кинжалъ, которымъ онъ готовъ насквозь проколоть бѣднаго Исаака?

Но всѣ эти вопросы нисколько не мѣшали Семкѣ восхищаться. Наоборотъ, онъ былъ очарованъ картинками, и больше всѣхъ ему нравилось именно „жертвоприношеніе“, — что съ нимъ подѣлаешь? Семка вспоминаетъ о прочитанномъ съ учителемъ библейскомъ разсказѣ: какъ Богъ захотѣлъ испытать Авраама и велѣлъ ему принести въ жертву своего единственного сына Исаака; какъ Авраамъ взялъ Исаака, захватилъ съ собой ножъ и огонь, и какъ Исаакъ спраши-

валъ отца объ ягненкѣ; какъ отецъ связалъ сына, взялъ ножъ и, вотъ, замахнулся уже на сына,—но вдругъ прилетѣлъ ангелъ съ неба и... Сердце у Семки, громко стучавшее, какъ часы, успокаивается, слезы, уже стоявшія въ глазахъ, высыхаютъ, и онъ счастливъ, что Богъ не допустилъ до этого...

Глядя теперь на эту картину, Семка переживаетъ то же, что и тогда. Жалость къ Исааку, боязнь за Авраама, какъ бы онъ, не дай Богъ, не зарѣзалъ сына, и радость, что ангелъ прилетѣлъ во время и не допустилъ такой жестокости...

Онъ перелистываетъ страницу за страницей, довольный старой „агадой“ съ красивыми иллюстраціями, и чувствуетъ себя по-праздничному, какъ чувствовали всѣ, кромѣ одного Рабиновича.

Съ обѣда Рабиновичъ засѣлъ у себя въ комнатѣ надъ литературой, которую ему далъ раввинъ. О чемъ только онъ ни начитался! О христіанской крови, употребляемой евреями для приготовленія мацы на Пасху, о ритуалѣ, о кровавыхъ процессахъ, имѣвшихъ мѣсто въ Гроднѣ, Велижѣ, Борисовѣ, Саратовѣ и другихъ городахъ, гдѣ какая-нибудь баба или унтеръ-офицеръ выступали единственными экспертами и единственными свидѣтелями того, какъ еврей добываютъ кровь изъ убитаго ими христіанскаго младенца черезъ столько-то пораненій, какъ печется маца и т. д. Каждая страница, каждая

строка громко кричали: „Ложь! Шантажъ! Гнусность! Провокація!“...

Рабиновичъ-Поповъ вскакиваетъ съ мѣста, въ волненіи ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ, приглаживаетъ непокорные волосы, снова садится, вынимаетъ дневникъ и пишетъ: „Сегодняшній день почти весь ушелъ у меня на ритуаль... Сегодня я нач...“ И вдругъ вскакиваетъ съ мѣста, не докончивъ слова, такъ какъ внизу раздался рѣзкій продолжительный звонокъ...

Давидъ Шапиро, лучше всѣхъ понимавшій толкъ въ такого рода звонкахъ, сразу сказалъ: „Полиція!“—набросилъ на себя кафтанъ и хотѣлъ бѣжать внизъ. Но Сара удержала его:

— Чего ты спишишь? Полиція! Откуда тебѣ вдругъ пришла въ голову полиція? Съ тѣхъ поръ какъ міръ стоитъ, облавы дѣлаютъ ночью, а не днемъ...

— Облавы! Откуда ты знаешь, что это облава?

— А что же? Съ праздникомъ что ли пришли поздравить тебя среди бѣла дня, наканунѣ Пасхи.

— Бѣда съ этой женщиной! Всегда ей нужно доказать, что она глупа! Я сказалъ: полиція, значитъ—полиція!

Стоявшимъ за дверью, повидимому, некогда было ждать, пока супруги кончатъ споръ,— скоро раздался второй звонокъ, еще сильнѣй и продолжительнѣй. Хозяинъ и квартирантъ, каждый изъ своей комнаты, бросились внизъ по

лѣстницѣ, чуть не сваливъ другъ друга,—поскорѣе открыть дверь... И представьте себѣ: Давидъ угадал! А то какъ же? Мальчишка онъ, что ли? Сказалъ: полиція, значить—полиція!...

И Давидъ, блѣдный, какъ смерть, все же нашелъ въ себѣ силы, улыбаясь, сказать женѣ, которая стояла, еле живая, за своими аладьями:

— Ну, кто былъ правъ?...

Изъ всей оравы неожиданныхъ гостей, ворвавшихся къ Шапиро, Давидъ узналъ только одного,—своего стараго знакомаго, околоточнаго, которому онъ не разъ давалъ взятки, какъ по праздникамъ, такъ и въ будни. Это былъ не только хорошій знакомый, но, можно сказать, другъ. Они были даже на „ты“. Это не значитъ однако, чтобы Давидъ, Боже упаси, говорилъ околоточному „ты“. Наоборотъ, Давидъ ему—„вы“, а онъ Давиду—„ты“, и это одно означало уже многое: онъ у околоточнаго на хорошемъ счету...

Всѣ остальные были Давиду совершенно незнакомы. Ему казалось, что это все люди, не имѣющіе никакого отношенія къ „праву-жительству“. Вотъэтотъ, на примѣръ, съ лысиной, добрыми сѣрыми глазами и небольшими эполетами, похожъ скорѣе на судью, судебного слѣдователя или даже предсѣдателя окружнаго суда, чѣмъ на полицейскаго, а тотъ элегантный человѣкъ

съ красивыми усами,—офицеръ, а можетъ быть, полковникъ, и скорѣе жандармскій полковникъ...

Другой на мѣстѣ Шапиро не обратилъ бы на это вниманія: пусть полковникъ, пусть жандармскій полковникъ, — кому какое дѣло? Но Давидъ Шапиро не такой человѣкъ. На дѣлахъ, касающихся полиціи и „права-жительства“, онъ зубы съѣлъ, и теперь Давидъ не понимаетъ, что здѣсь можетъ дѣлать окружный судъ? Какое отношеніе имѣетъ жандармъ, къ „правужительства“?...

Былъ здѣсь, впрочемъ, еще одинъ человѣкъ, казавшійся Давиду очень знакомымъ. Высокій, здоровый, широкоплечій, съ толстыми губами, въ синихъ очкахъ, онъ былъ въ штатскомъ и держался какъ-то странно, у самыхъ стѣнъ, не говорилъ ни слова, а подходилъ на цыпочкахъ то къ „судьѣ“, то къ „жандарму“, дѣлалъ имъ какіе-то знаки и снова становился у стѣны. „Эту птицу я гдѣ-то видалъ, и субъектъ этотъ мнѣ очень не нравится“, думаетъ Давидъ и не можетъ вспомнить, гдѣ и когда онъ съ нимъ встрѣчался?...

Но Рабиновичъ и Бети сразу узнали, что это—тотъ самый чиновникъ съ толстыми чувственными губами, который зимой присутствовалъ на облавѣ и отводилъ Рабиновича въ участокъ. Хотя онъ теперь въ темныхъ синихъ очкахъ, но Бети все кажется, что онъ не спускаетъ съ нея глазъ, и она не выноситъ этого взгляда, боится и дро-

жить, не зная, почему... И какъ тогда, въ театрѣ, она переглядывается съ Рабиновичемъ, спрашивая его глазами: „это онъ“? — „Онъ“, отвѣчаетъ ей Рабиновичъ, тоже глазами, и улыбается: теперь-де нечего бояться...

Давидъ Шапиро въ самомъ дѣлѣ можетъ похвастать. Съ тѣхъ поръ какъ онъ имѣетъ дѣло съ „правомъ-жительства“, съ облавами и полиціей, онъ никогда еще не былъ такъ спокоенъ, какъ теперь. Сердце у него, какъ говорится, было на мѣстѣ, и онъ держался съ неожиданными гостями совсѣмъ молодцомъ. Ни у кого не спрашивалъ, какъ и что. Заложилъ руки назадъ, улыбался, смотрѣлъ и ждалъ, что будетъ...

Долго ждать ему, однако, не пришлось. Къ нему подошелъ знакомый околоточный и, въ то время, какъ остальные стояли и осматривали полъ, стѣны, потолокъ, — далъ понять Шапиро, какъ хорошему знакомому, что къ нему пришли съ обыскомъ.

Шапиро посмотрѣлъ на пріятеля-околоточнаго совсѣмъ спокойно.

— Обыскъ? что за обыскъ? Развѣ я укралъ что-нибудь?

— Украсъ—не укралъ, —отвѣтилъ ему околоточный полуофициально, полудружески, —но поискать надо. Можетъ быть, что-нибудь и найдуть...

— Съ удовольствіемъ!—говоритъ Шапиро и улыбается.—Съ большимъ удовольствіемъ!

Сара не понимаетъ, чему радуется Давидъ, чему онъ смѣется?

— Обыскъ хотятъ сдѣлать,—говоритъ Давидъ женѣ и пальцами обѣихъ рукъ поясняетъ, что значитъ обыскъ:—хотятъ, понимаешьли, искать...

— Чего они хотятъ искать? Прошлогодняго снѣга?..

— Тебѣ-то что? Пусть ищутъ. Пусть...—и Давидъ разставилъ обѣ руки съ растопыренными пальцами.

Въ то время какъ супруги говорили, субъектъ въ синихъ очкахъ подмигнулъ околоточному на запертый шкафъ. Околоточный подошелъ къ Давиду, какъ къ старому знакомому, и попросилъ ключи отъ шкафа.

— Откуда у меня ключи?—говоритъ Давидъ, все еще улыбаясь.—Ключи—это *ея* дѣло...

— Сара!—обратился онъ къ женѣ по-еврейски:—гдѣ ключи? Открой имъ шкафъ.

— Что значить, открой имъ шкафъ?—отвѣчаетъ испуганно Сара. — Вѣдь тамъ маца.

— А если и маца,—такъ что? Съѣдятъ они твою мацу, что ли?

— Что ты говоришь? Мацы они не съѣдятъ, но они испортятъ мнѣ и мацу и все остальное!..

Изъ этого разговора, который велся между супругами по-еврейски, гости поняли только одно слово: „маца“,—которое повтोरалось много разъ, а по испуганному лицу Сары они видѣли, что ей не хочется открывать шкафъ. Они

странно переглянулись, какъ бы говоря: „знаетъ кошка, чье мясо съѣла...“

Давидъ иначе понялъ этотъ взглядъ. Ему показалось, что тѣ смѣются надъ женою, надъ ея боязнью за мацу. И онъ самъ готовъ смѣяться, вѣдь онъ мужчина... Давидъ сказалъ имъ съ усмѣшкой:

— Всѣ женщины одинаковы, хе-хе... Она боится, видите ли, какъ бы вы не „охомецовали“ ей мацу, хе-хе...

— Что значить „охомецовали“?—спросили у Шапиро.

Давидъ старается объяснить, какъ можно охомецовать пасхальную мацу. И чтобы его лучше поняли, онъ показываетъ всѣми десятью пальцами, что по мнѣнію жены выходитъ, какъ только они прикоснутся своими руками къ мацѣ, такъ маца пропала, хоть выбрось ее, хе-хе...

Нельзя сказать, чтобы такое объясненіе очень понравилось, а „жандармъ“, видимо, обидѣлся не на шутку. Онъ приказалъ околоточному:

— Открыть шкафъ!

Тотъ подошелъ къ Шапиро, положилъ ему руку на плечо и сказалъ строго, уже не какъ хорошій знакомый и другъ, а какъ чиновникъ:

— Открыть шкафъ!

Шкафъ открыли. Ахъ, какая картина представилась глазамъ присутствовавшихъ! Цѣлыхъ

три нижнихъ полки были уложены сверху до-низу бѣлыми ажурными кружочками мацы, ко-торые смотрѣли и улыбались, какъ бы прося: „Выньте насъ отсюда и сдѣлайте съ нами, что всѣ евреи дѣлають, когда приходитъ Пасха: по-ломайте, искрошите, истолките, приготовьте клецки, алады, блинцы, или просто подогрѣйте насъ съ яйцами на пасхальчомъ гусиномъ жирѣ!“

Это было на трехъ нижнихъ полкахъ. Верх-няя двѣ полки были высланы бѣлой бумагой, а также уставлены разными разностями. Большія корзинки съ яйцами и горшки съ саломъ, лукъ и хрѣнъ, перецъ и соль, пастернакъ и яблоки, сливы и изюмъ, орѣхи и варенье,—а на самомъ верху въ уголкѣ, совсѣмъ отдѣльно, стоялъ странный глиняный сосудъ, горшокъ не горшокъ, банка не банка, накрытый бѣлой бумагой и за-вязанный красной шелковой ниткой, а на сосу-дѣ былъ наклеенъ билетикъ, на которомъ боль-шими буквами было написано по-еврейски: „*Пас-хальное*“.

Ни на что производившіе обыскъ не обра-тили столько вниманія, какъ на этотъ самый со-судъ. Съ большими предосторожностями, какъ что-то драгоценное, онъ былъ вынуть изъ шка-фа, и между „судьей“ и Давидомъ Шапиро воз-никъ разговоръ, который мы передаемъ съ точ-ностью,

— Что это такое?

— Это подарокъ на Пасху.

— Отъ кого подарокъ?

— Отъ моей сестры.

— Кто ваша сестра?

— Она богачка, то-есть жена богача. Мужъ ея, значить, челоуѣкъ богатый и очень [набожный хасидъ, — изъ хасидовъ...

— Ага, хасидисты!...

Толпа незваныхъ гостей переглянулась, а „судья“ съ лысиной вздохнулъ съ облегченіемъ, какъ челоуѣкъ, послѣ большихъ трудностей на-силу добившійся своего. „Жандармъ“ кашлянулъ и взялся за свои красивые усы, а разговоръ продолжался.

— Нельзя ли вскрыть этотъ сосудъ?

— О, почему нѣтъ? Съ удовольствіемъ, съ большимъ удовольствіемъ!—говоритъ Давидъ и хочетъ взять сосудъ, но Сара бросается къ нему съ протянутыми руками.

— Осторожно, какъ ты берешь, разольешь!..

— Чего ты боишься?—кричитъ на нее Давидъ, раздосадованный всей этой исторіей.—Что я тебѣ разолью? Драгоцѣнный напитокъ, который здѣсь находится? Или ты боишься за драгоцѣнный сосудъ? Говорятъ: вскрыть, надо вскрыть! Обыскъ не ревизія непрописанныхъ..

— Ну, довольно, довольно!—обрываетъ его „жандрамъ“.—Успѣете пого орить на вашемъ жаргонѣ послѣ, когда мы уйдемъ. А пока будьте добры открыть этотъ сосудъ!

Давидъ осторожно развязалъ красную шелко-

вую ниточку и, снявъ бумажку, открылъ сосудъ. Тамъ лежали въ разсолѣ великолѣпные соленые огурчики, пасхальные, одинъ къ одному!... Каждый огурчикъ просвѣчивалъ, и скоро по всему дому отъ нихъ распространился пріятный ароматъ...

Дальше обыскъ былъ произведенъ по всѣмъ правиламъ и законамъ. Были обысканы всѣ уголки, внутри шкафа, на шкафѣ, подъ шкафомъ и за шкафомъ. Не полѣнились посмотрѣть подъ всѣми кроватями и на кухнѣ, заглянули даже въ квашенку съ пасхальнымъ борщомъ, удостовѣрившись, что онъ дѣйствительно пахнетъ свеклой... Перелистаны были всѣ священныя книги, даже переведенная на жаргонъ библія и молитвенникъ Сары. Всѣ книги и учебники Бети и Семки тоже были пересмотрѣны и положены обратно. Одну только книгу нашли нужнымъ взять съ собою. На нее безъ словъ указалъ молчаливый субъектъ въ синихъ очкахъ. Раньше онъ самъ заглянулъ въ эту книгу и заинтересовался одной страницей, которая была загнута. Затѣмъ онъ поднесъ ее „судьѣ“ и указалъ палацемъ на загнутую страницу. Тотъ, видимо, тоже заинтересовался, подозвалъ глазами „жандарма“, который наклонился надъ книгой, кашлянулъ и началъ крутить свои усы. Послѣ него заглянули въ книгу и всѣ другіе, она, какъ видно, заинтересовала всѣхъ...

Книга, вызвавшая такой живой интересъ, бы-

ла не болѣе не менѣе, какъ та старинная „агада“ съ прекрасными иллюстраціями, которая приводила въ такой восторгъ Семку, а на загнутой страницѣ находилась вышеупомянутая картинка, изображающая жертвоприношеніе Авраама, которая нравилась Семкѣ больше всѣхъ другихъ картинокъ...

„Что они могли найти въ этой „агадѣ“? — думаетъ Давидъ, слѣдуя за ними по пятамъ изъ одной комнаты въ другую и стараясь держаться твердо, какъ человѣкъ, чувствующій себя ни въ чемъ невиновнымъ, — пока не дошли до комнаты квартиранта. Давидъ сказалъ, что здѣсь живетъ ихъ квартирантъ (чего ему бояться?), Рабиновичъ.

— Это онъ и есть, — сказалъ Давидъ, улыбаясь и указывая на квартиранта.

— Очень пріятно! — проговорилъ „судья“, довольно вѣжливо поклонился и спросилъ Рабиновича объ его профессіи.

— Дантистъ, — отвѣчаетъ Рабиновичъ, а Шапито поправляетъ его, что пока еще не дантистъ, а когда-нибудь будетъ, съ Божьей помощью, дантистомъ...

— Очень пріятно! — повторяетъ „судья“ въ томъ же тонѣ. — Вы учитесь, слѣдовательно, на дантиста. Вѣроятно, ради „права-жительства“?

Рабиновичу казалось, что надъ нимъ смѣются съ его „правомъ-жительства“. Онъ забылъ, что еще сегодня утромъ самъ вышутилъ еврейское

„право-жительства“, и хотѣлъ что-то отвѣтить, но хозяинъ перебилъ его. Шапиро ожилъ, услышавъ, наконецъ, желанное слово „право-жительства“, и выступилъ съ рѣчью:

— Понимаете ли, исторія тутъ такова. Рабиновичъ—медалистъ и могъ бы быть студентомъ наравнѣ съ другими. Но такъ какъ онъ изъ нашихъ, т. е., еврей, то по закону о „процентной нормѣ“...

Шапиро говорилъ бы безъ конца, если бы знакомый околоточный не мигнулъ ему замолчать, и пришедшіе снова взялись за работу: въ комнатѣ у квартиранта съ точностью повторилось то же, что и въ другихъ комнатахъ. „Судья“, увидя кучу книгъ, разбросанныхъ у квартиранта на столѣ, спросилъ его, тѣ ли это книги, по которымъ онъ изучаетъ зубоврачеваніе, или какія-нибудь другія?

— Нѣтъ, другія, — отвѣтилъ Рабиновичъ и почувствовалъ, что краснѣетъ. Вдругъ спросятъ, что это за книги, трактующія о крови, и зачѣмъ онъ ихъ изучаетъ?...

И дѣйствительно „судья“ не только самъ заинтересовался этими книгами, но глазами подзвалъ и остальныхъ.

Рабиновичу, было неприятно, что „кровавую литературу“, которую далъ ему раввинъ, собираютъ и хотятъ взять съ собой. Онъ попробовалъ протестовать:

— Это книги не мои. Мнѣ ихъ дали на нѣсколько дней...

— Кто вамъ ихъ далъ?

Рабиновичъ видѣлъ, что чѣмъ больше онъ будеть говорить, тѣмъ хуже. И былъ доволенъ, когда все тотъ же „судья“ сказалъ ему:

— Будьте любезны открыть ящикъ стола.

— Извольте! — отвѣтилъ Рабиновичъ и принялся открывать ящикъ,—работа, какъ мы знаемъ, не изъ легкихъ,—вытащилъ весь ящикъ и опрокинулъ его на столъ вверхъ дномъ, какъ бы говоря: „Вотъ вамъ, смотрите!“...

Бережно и осторожно, какъ считаютъ ассигнаціи или банковые билеты, сталъ „судья“ перекладывать, разглаживая каждую бумажку, заглянулъ мимоходомъ въ „дневникъ“, сложилъ все аккуратно, положилъ къ себѣ въ портфель и, глядя добрыми, сѣрыми глазами на Рабиновича, извинился, что беретъ у него бумаги и всѣ эти книги всего лишь на два дня. Онъ только ознакомится съ ними и вернетъ ему все черезъ полицію.

— Не нашли-ли у васъ чегонибудь „нелегальнаго“, чего-нибудь запрещеннаго?—тревожно спросилъ Давидъ квартиранта послѣ того, какъ всѣ ушли. Хотя во время обыска Шапиро держался молодцомъ, но послѣ ухода полиціи сталъ прежнимъ зайцемъ и до смерти боялся, не

нашли ли чего у квартиранта, что прежде всего отразилось бы на ихъ „правѣ-жительства“...

— Ничего запрещеннаго у меня не нашли, — успокоилъ его Рабиновичъ, — ничего, кромѣ нѣсколькихъ легальныхъ книгъ, неважныхъ бумагъ и писемъ отъ сестры...

— У васъ есть сестра? — спрашиваетъ его удивленно Сара.

— Ну, да. Развѣ я вамъ не говорилъ?

— Ни разу. Я впервые слышу. А какъ ее зовутъ?

— Начинается! — вмѣшивается Бети. — Видно, мало, что у него сдѣлали обыскъ, забрали всѣ книги и бумаги, теперь ты еще съ новымъ „слѣдствіемъ“!

— Тебѣ какое дѣло? — обрѣзала ее мать.

— Вѣрой ее зовутъ! — говоритъ Бети дерзко. Ну? Теперь тебѣ легче?

— Вѣрой? — спрашиваетъ Сара удивленно и смотритъ на квартиранта.

— Ну, да, Вѣрой, — говоритъ онъ. — А что?

Сара краснѣетъ и, чтобы не показалось страннымъ, что ее такъ поразило имя Вѣры, она обращается къ мужу:

— Какъ тебѣ это нравится? Хоть бы разъ намекнулъ, что у него есть сестра и что ее зовутъ Вѣрой!...

— Чудеса! — говоритъ Давидъ и смотритъ на дочь. — Что здѣсь, въ сущности, страннаго, я не

знаю: то ли, что у Рабиновича есть сестра, или то, что ее зовутъ Вѣрой?

— Не то и не другое,—хочетъ вернуться Сара.—Меня удивляетъ, почему Бети знаетъ, что у Рабиновича есть сестра и что ее зовутъ Вѣрой, а я этого не знала?

— А меня удивляетъ совсѣмъ другое,—говорить Давидъ, довольный, что у квартиранта не нашли ничего запрещеннаго.—Меня удивляетъ вотъ что: прошла зима, и вотъ уже, слава Богу, Пасха, а ты все такая же дура..

Всѣ смѣются, и Сара тоже. Но никто не знаетъ, почему смѣется Сара. Никто не знаетъ, какая тяжесть только что свалилась у нея съ души. „Разъ Вѣра П.—его сестра,—это дѣло совсѣмъ другое!..“

И счастливая мать вздыхаетъ съ облегченіемъ и, чувствуя, какъ сердце у нея растеть и щеки пылаютъ, она опять становится веселой, и отъ радости готова забыть обыскъ, который у нихъ только что былъ, и полицію, и срамъ, и всѣ прочія неприятности... Отъ всей души Сара благодарить Бога.

И Давидъ благодарить Бога, что обыскъ кончился ничѣмъ, хотя никакъ не можетъ понять, что это былъ за обыскъ,—вдругъ, ни съ сего?

И зачѣмъ забрали „агаду?“ Что такого могли найти въ ней?.. Что за странныя дѣла творятся на свѣтѣ въ наше время!..

— Та-акъ!—говоритъ Давидъ самому себѣ.

проводя обѣими руками по лицу сверху внизъ:— Все хорошо, что хорошо кончается... А вотъ и праздникъ совсѣмъ незамѣтно наступилъ... Не пора ли мнѣ въ синагогу?..

ГЛАВА XX.

Наканунъ Пасхи.

Давидъ Шапиро—человѣкъ вѣчно торопящійся. Канунъ Пасхи, въ синагогу итти надо, а тутъ нелегкая принесла гостей незванныхъ... Онъ совсѣмъ растерялся, ему все казалось, что онъ опоздаетъ, хотя на самомъ дѣлѣ было еще рано. Солнце только еще прощалось съ городомъ, весело освѣщая кресты церквей и куполы старыхъ соборовъ. Давидъ такъ торопился, что ему все приходилось передѣлывать по нѣскольку разъ и даже некогда было хорошенько поговорить съ квартирантомъ, почему тотъ не идетъ въ синагогу.

— Я не говорю о набожности,—едва успѣлъ упрекнуть его Давидъ:—я и самъ отъ нея далекъ. Но я думаю, что для такого хорошаго еврея, какъ вы,—вѣдь вы заодно съ сіонистами,—этотъ праздникъ долженъ быть милѣе всѣхъ другихъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ обращается уже къ женѣ, грозя пальцемъ:

— Слушай, Сара. Наступаетъ праздникъ. Пасха. Чтобы въ домѣ больше не поминалось

слово „обыскъ“! То-есть, совсѣмъ чтобы не было больше разговора объ этомъ! Слышишь, что я тебѣ говорю?

— Слышу, слышу, неужели нѣтъ?

— Я говорю, чтобъ было ша!—и Давидъ прикрываетъ ладонью ротъ.

— Ладно, ладно, пусть будетъ ша,—отвѣчаетъ Сара, сдѣлавъ тотъ же знакъ.

— Потому что, праздникъ долженъ быть праздникомъ,—поясняетъ Давидъ жестомъ.

— Праздникъ—праздникомъ,—повторяетъ Сара, и Давидъ бѣжитъ въ синагогу, а Семка за нимъ вдогонку.

„Ему легко говорить: ша“, думаетъ Сара по уходѣ мужа,—„вдругъ, передъ самымъ праздникомъ врывается полиція, переворачиваетъ все вверхъ дномъ, неизвѣстно почему, за что,—и чтобъ ему была ша!..“

Само собою понятно, что какъ только Давидъ ушелъ въ синагогу, Сара захотѣла поговорить съ „дѣтьми“ и вмѣстѣ съ ними доискаться смысла „нашествія“... Понимала ли Сара или инстинктивно догадывалась, что обыскъ, должно быть, имѣетъ отношеніе къ убійству сына Кириллихи,—но она чувствовала потребность высказаться. Но развѣ могутъ быть секреты на еврейской улицѣ? Какъ только обыскъ у Шапиро закончился и полиція ушла, къ нимъ повалили одинъ за другимъ сосѣди, друзья и добрые знакомые,—точно сговорились, и скоро вся улица

изъ конца въ конецъ уже знала, что у Шапиро были „гости“.

Поднялось волненіе, цѣлая буря.

—Полиція среди бѣла дня?

—И еще наканунѣ Пасхи?

—Что бы это значило?

Сосѣди, друзья и добрые знакомые, хотя и были заняты, каждый у себя дома, приготовленіями къ празднику, забѣгали только на минутку узнать, какъ и что? Но уходили ни съ чѣмъ.

—Ничего. Сушіе пустяки. Ревизія у квартиранта. Искали какихъ-то книжекъ, бумагъ,—ничего не нашли, ровно ничего...

—Ничего, такъ ничего... До свиданья!—говорили добрые знакомые и уходили.

Освободившись отъ сосѣдей и добрыхъ знакомыхъ, Сара попала изъ огна да въ поल्या: нужно было радостно встрѣчать, какъ всегда, богатую золовку, Тойбу Фамиліантъ съ ея двумя „барышнями“. Нарядившись по-праздничному, онѣ пришли изъ верхней части города, гдѣ живетъ еврейская аристократія, въ нижнюю, къ своимъ бѣднымъ родственникамъ, посидѣтъ немного. Тойба теперь одна,—„соломенная вдова“, какъ она говоритъ про себя шутливо. Ея мужъ уѣхалъ по оуыкновенію на двѣ-три недѣли къ своему раввину-чудотворцу, оставивъ всѣ дѣла на чужія руки (раввинъ — важнѣе всего). И нельзя сказать, чтобы его жена и дѣти были очень

огорчены этимъ. Наоборотъ, когда глава дома отсутствуетъ, онѣ чувствуютъ себя гораздо лучше. Весь домъ принимаетъ тогда совсѣмъ другой видъ. Каждый чувствуетъ себя, какъ человѣкъ, сбросившій тяжелую ношу, снявшій тѣсный сапогъ, или какъ женщина, освободившаяся передъ сномъ отъ корсета. Тойба довольна, что двѣ-три недѣли подрядъ не увидитъ „хасидарни“, какъ она называла сборища поклонниковъ мужа, „дармоѣдовъ“ не услышитъ ихъ горластаго пѣнія, не будетъ кормить ихъ по субботамъ даровымъ ужиномъ. А ея дочери еще больше довольны: можно съ людьми повидаться, съ мужчинами поговорить, лишній разъ сходить къ бѣднымъ родственникамъ, посидѣть тамъ полчаса, побесѣдовать о модахъ, о театрѣ, о литературѣ и насмѣяться на цѣлый годъ.

Въ этотъ разъ Тойба сама ихъ торопила, чтобы скорѣе одѣвались итти къ тетѣ Сарѣ. Когда онѣ пришли, Сара уже зажгла свѣчи и помолилась. Все общество раздѣлилось на двѣ группы: молодежь отдѣльно и матери отдѣльно,—каждая группа со своими интересами и своими разговорами. У матерей, которыя такъ дажно не видѣлись (съ праздника Эсѳири), было о чемъ поговорить. Прежде всего благочестивая Тойба не могла не сдѣлать замѣчанія на счетъ квартиранта,—почему онъ остался дома, а не пошелъ съ Давидомъ въ синагогу. „Что за безбожникъ!“

И, сдѣлавъ постное лицо, Тойба своимъ елейнымъ голосомъ принялась читать Сарѣ нотацию. Можно быть и студентомъ, и медалистомъ, и миллионеромъ, и еврейскимъ патріотомъ, и чѣмъ угодно, и все же — „воздайте кесарево кесарю, а Божіе Богу“. Какъ это можно, — еврей и не идетъ въ синагогу. хотя бы одинъ разъ въ годъ, хотя бы для вида?..

— Ой, Тойба, душечка, вы и чтобъ такъ говорили?.. — перебиваетъ ее Сара. — Не знаете вы развѣ теперешнихъ молодыхъ людей? Вѣдь у васъ у самой дѣти...

— Дѣти?.. Что можно сказать про моихъ дѣтей? Мои сыновья, слава Богу, молятся каждый день, а мои дочери...

— Что вы сравниваете, Тойба, душечка! У вашихъ дѣтей есть отецъ и мать, прожить бы имъ сто двадцать лѣтъ!..

— Пятьдесятъ разъ отецъ-мать, что же изъ того? Теперь вы сами, Сара, голубушка, могли бы вмѣшаться, какъ мать, — пора, право же... А если нѣтъ, дайте, я ему скажу пару теплыхъ словъ, по-дружески...

И Тойба готова уже подняться, сказать квартиранту пару теплыхъ словъ, но Сара вскакиваетъ, какъ ошпаренная, и беретъ ее за обѣ руки:

— Нѣтъ, Тойба, душечка, милая! Не надо! Не надо! Еще не настало время... Подождемъ еще немного... Богъ дастъ, послѣ праздника... Пусть

благополучно пройдетъ праздникъ... Расскажите мнѣ, душечка, что слышно въ городѣ? Къ вамъ заходятъ люди, — вы живете на такой большой улицѣ. А я такъ была занята приготовленіями къ празднику, — одна на весь домъ...

— Э, Сара, голубушка, мало хорошаго слышно, совсѣмъ мало!..

И Тойба, покачиваясь, какъ на молитвѣ, передаетъ золотку, что дѣлается въ городѣ, что говорятъ, какъ ждутъ на русскую Пасху погрома, спаси насъ, Господи!..

— Онъ всемогущъ! — заканчиваетъ Тойба по древне-еврейски. — Вы еще не слыхали, Сара, голубушка, послѣднюю новость?

— Нѣтъ, рассказывайте, душечка, рассказывайте!

— Чуть-чуть не случилось несчастье, — говоритъ Тойба и усаживается поудобнѣе въ креслѣ. — Но вмѣшался Богъ Израиля, и кончилось ничѣмъ... Сегодня днемъ, въ самую горячую пору, когда евреи заняты, кто въ баню спѣшить, кто за виномъ, а кто домой, — вдругъ, смотрятъ, на главной улицѣ толпа, шумъ, крикъ... Вся улица запружена, трамвай остановили... Полиція свиститъ... Что за исторія? Какой-то важный генераль, даже генераль-„атютантъ“, гулялъ по улицѣ и замѣтилъ, что ведетъ чернѣйшій человекъ маленькаго ребенка за руку. Ребенокъ упирается, плачетъ, заливаясь слезами, а тотъ его тянетъ и тянетъ. Генераль подходитъ къ нему: „Ты что

дѣлаешь съ ребенкомъ?“—Тотъ молчитъ.—„Ты куда ведешь ребенка?“—Молчитъ.—„Чей это ребенокъ?“—Молчитъ. Тогда генеральъ поднимаетъ шумъ, зоветъ полицію:

— Взять этого еврея! Онъ ведетъ христіанскаго ребенка на закланіе къ Пасхѣ!..

Сара ломаетъ руки:

— Ну? Неужели христіанскій ребенокъ? А кто еврей?

— Не спѣшите, Сара, голубушка... Итакъ, разъ генеральъ, да еще генераль-„атютянтъ“, велитъ, послушаться нельзя. Берутъ человѣка съ ребенкомъ, сажаютъ на извозчика и везутъ въ участокъ. Генеральъ на извозчикѣ за ними. И народъ валитъ... Шумъ, крикъ, какъ на ярмаркѣ... Еврей... мальчикъ... пасхальная жертва... генеральъ только и слышно... Кто-то крикнулъ: „погромъ“! Еврейскія лавки стали закрываться...

— Боже мой! Ну? Чѣмъ же кончилось?

— Конецъ такой, что всѣмъ врагамъ евреевъ въ пору! Черный человѣкъ оказался грекомъ, а ребенокъ—его собственнымъ сыномъ. А плакалъ ребенокъ потому, что издали увидѣлъ апельсины, просилъ отца купить апельсинъ, а отецъ не хотѣлъ,—зачѣмъ ребенку апельсины,—понимаете?

— Это все? Тьфу! Ой и напугали же вы меня, Тойба, душечка!..

— Чего тамъ напугала? Люди въ обморокъ падали, а вы говорите: напугала. Шутка ли: ге-

нераль, да еще генераль-„атютянтъ“!.. А кто виновать? Все тотъ же мальчишка, котораго нашли тутъ возлѣ васъ... Дай Богъ, что бы свершилось чудо, и Давида не вмѣшали въ это дѣло...

— Давида? Почему Давида? При чемъ тутъ Давидъ?

— Что вы спрашиваете, родная? Теперь времена такія.. Зачѣмъ тогда, въ праздникъ Эсеири, явился къ намъ эта русская женщина съ громаднымъ парнемъ,—помните?

— Чего только вамъ ни придетъ на умъ, Тойба, душечка,—ну, право же!..

Сара, будто смѣясь, хруститъ пальцами. Но вся кровь сразу застыла у нея. Въ одну минуту ей стало яснымъ то, что до сихъ поръ она только чувствовала, и тысячи смутныхъ половинчатыхъ мыслей, одна другой мрачнѣй, вихремъ пробѣгаютъ у нея, какъ тяжелые сны, одинъ за другимъ...

Въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сидитъ молодежь, слышенъ веселый разговоръ по-русски, часто прерываемый громкимъ смѣхомъ. Громче всѣхъ смѣется квартирантъ.

— Что съ нимъ?—говоритъ Тойба съ постылымъ лицомъ, подобравъ губы.—Всѣ евреи въ страхѣ, идутъ въ синагогу, молятъ Бога, чтобы праздники прошли благополучно, а онъ... Есть, видно, разные евреи у Господа Бога...

Замѣтивъ, что золовкѣ неприятно говорить объ этомъ, Тойба возвращается къ старой темѣ и начинаетъ ее успокаивать.. Ну, дѣло не зашло еще такъ далеко, какъ думаютъ... Теперь въ сущности совсѣмъ нечего бояться, если что -нибудь и случится, такъ на ихній праздникъ, т. е. къ послѣднимъ днямъ нашей Пасхи... Въ случаѣ чего, пусть Сара, не дслго думая, возьметъ мужа, дѣтей и квартиранта и переѣдегъ къ ней наверхъ. У нея, слава Богу, нечего бояться. Она живетъ на такой улицѣ, гдѣ вообще меньше боятса...

Тойба поднялась и начала прощаться. Скоро уже придутъ изъ синагоги.

— До свиданья. Съ праздникомъ, будьте здоровы!

— До свиданья, съ праздникомъ! — очнулась Сара и съ любезной улыбкой встала проводить свою богатую золовку, которой она, въ сущности, не любитъ, такъ какъ не было еще случая, чтобы та не испортила ей настроенія на цѣлую недѣлю.—До свиданія, желаю вамъ весело провести праздникъ!

— Весело и *по закону!* — отвѣчаетъ Тойба (слово „по закону“ она подчеркиваетъ).—Хорошей Пасхи дай Богъ намъ и вамъ и всѣмъ евреямъ на Божьемъ свѣтѣ. Аминь!

Проводить тетю Тойбу съ дочерьми пошла Бети и, конечно, ея постоянный кавалеръ, Рабиновичъ. Сара сама этого хотѣла. Она боя-

лась, что золовка, можетъ быть, обидится. Тойба протестовала.

— Къ чему? Спасибо! Саминайдемъ дорогу...

Но Бети уже набросила на плечи легкій бѣлый шарфъ и сдѣлала знакъ квартиранту, который готовъ былъ пойти съ ними такъ, какъ есть, безъ шапки. Тойба поломалась еще немного, и затѣмъ всѣ пятеро вышли на улицу.

— Ахъ, что за вечеръ! Что за небо!—воскликнула молодежь въ одинъ голосъ.

— Ради свѣтлаго праздника и ради первой пасхальной трапезы, Господь Богъ даровалъ своему народу такой прекрасный вечеръ,—говорить Тойба такимъ тономъ, точно библію читаетъ, и на ея набожномъ лицѣ съ тонкими губами появляется самодовольная улыбка. Тойба очень довольна собой и своимъ визитомъ къ бѣдной золовкѣ. Сколько добрыхъ дѣлъ она сдѣлала: и нотацію прочла, и новости рассказала, и на случай несчастья родственниковъ къ себѣ пригласила... Да поможетъ ей Господь! Она достаточно добра къ своимъ родственникамъ. Недавно она разслала денежные пакеты во всѣ концы свѣта: въ Заславъ, въ Дубно, въ Славуты,—кому три, кому пять, а кому и десять рублей... Родъ Шапиро, слава Богу не малый...

И дочери Тойбы тоже довольны, что провели вечеръ съ такимъ интереснымъ кавалеромъ, какъ квартирантъ тети Сары. Барышни воспользовались случаемъ блеснуть передъ молодымъ

человѣкомъ своими знаніями и начитанностью, такъ и сыпали названіями книгъ, которыя онѣ читали или о которыхъ только слышали. И такъ какъ теперь въ модѣ говорить объ Андреевѣ, Арцыбашевѣ и другихъ, то все время только и слышно было: Андреевъ, Арцыбашевъ, Александръ Блокъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый,—весь блескъ современной русской литературы. Бети не удержалась и задала своимъ кузинамъ трепку:

— Какъ это, еврейскія дѣвушки,—сказала она, будто бы шутя, а на самомъ дѣлѣ серьезно,—цѣлый вечеръ говорятъ о книгахъ, о писателяхъ, и хотя бы въ шутку назвали одно еврейское сочиненіе, хотя бы одного еврейскаго писателя, какъ-будто у насъ совсѣмъ нѣтъ своихъ книгъ и своихъ писателей? Какъ не стыдно!..

И Рабиновичъ-Поповъ, хотя и признается, что въ еврейской литературѣ онъ не очень свѣдушъ, но не можетъ не согласиться съ Бертой Давидовной, не можетъ не признать, что Берта Давидовна права... И каждый разъ, когда онъ произноситъ имя Берты Давидовны, ихъ глаза встрѣчаются, и дочери Фамилианта понимаютъ этотъ взглядъ... Въ этихъ дѣлахъ онѣ толкъ знаютъ,—сразу вамъ скажутъ: „это—партія“... И дѣвицы вздыхаютъ, молча переглядываясь между собой, и больше уже не говорятъ о литературѣ. Незамѣтно онѣ переходятъ на другіе предметы, на сплетни и рассказы о томъ, что слышно въ городѣ. Одна изъ нихъ рассказала исторію съ

генераломъ и „пасхальной жертвой“, надъ которой Бети смѣялась такъ громко, что мать изъ сосѣдней комнаты должна была крикнуть: „что тамъ?“ Вмѣстѣ съ ней смѣялись и барышни, показывая свои красивые бѣлые зубы. Не смѣялся только квартирантъ. Онъ казался сердитымъ и обиженнымъ. Не хотѣлъ вѣрить. Все твердилъ, что этого не можетъ быть: „или генераль—не генераль, или вся исторія выдуманна“... И чѣмъ серьезнѣе онъ говорилъ, тѣмъ больше смѣялась Бети. Ахъ, какъ ей завидовали кузины! Идя въ этотъ вечеръ съ своей богатой и набожной матерью домой, онѣ должны были сознаться, что ихъ бѣдной родственницѣ живется гораздо лучше, гораздо свободнѣе и веселѣе, чѣмъ имъ. Къ чему имъ богатство, когда головы поднять не даютъ, слова громко сказать не велятъ? И невольно у нихъ вырывается глубокой вздохъ... А можетъ быть,—кто знаетъ?—онѣ завидуютъ ей въ другомъ? У кузины есть женихъ,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнiя. Можете на нихъ положиться. На этотъ счетъ онѣ компетентнѣе всякаго другого. Достаточно, кажется, взглянуть на эту счастливую парочку, чтобы прочесть, какъ въ книгѣ, на сколько подвинулся у нихъ романъ...

— Зачѣмъ тебѣ ходить такъ далеко, Берточка? Свѣжо, а ты даже безъ шляпы,—говорить тетя Тойба своей племянницѣ, а сама имѣеть въ виду квартиранта, и дружески прощается съ ними. Но, когда тѣ были уже достаточно дале-

ко, и набожная Тойба осталась одна съ дочерьми, она разразилась цѣлымъ потокомъ злобы на „полураздѣтую“ Бети и на безбожника квартиранта, который выходитъ изъ дому безъ шапки, точно не еврей, а больше всего на свою золовку, забывшую, что мужъ ея—Давидъ Шапиро, изъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро...

— Ой, мамаша! Мы уже слышали это отъ тебя семьдесятъ пять тысячъ разъ! — умоляютъ ее дочери и оглядываются назадъ, на счастливую кузину Бети, идущую подъ руку съ красивымъ веселымъ студентомъ въ эту прекрасную ночь; первую ночь Пасхи...

Праздничной и безконечно прекрасной была эта первая ночь Пасхи. Сотнями тысячъ звѣздъ смотрѣла она внизъ, заливая блѣдно-серебристымъ свѣтомъ счастливыя лица молодой парочки, которая шла медленно, тихо, желая по возможности дольше протянуть свое пребываніе вдвоемъ, другъ подлѣ друга. Теперь настало время,—онъ чувствуетъ: настало! — открыть ей всю душу, сказать всю правду. Самъ Богъ какъ бы создалъ эту ночь, чудную пасхальную ночь, чтобы переполненная душа могла излиться... Все, отъ начала до конца,—все онъ расскажетъ ей... Какъ началось съ шутки, и какъ эта шутка перешла въ серьезъ. Какъ раньше онъ думалъ, что можетъ склонить ее къ себѣ, и какъ теперь онъ готовъ перейти къ ней, такъ какъ нѣтъ

ничего на свѣтѣ, чего бы онъ ни сдѣлалъ, чтобы она была его...

Отчасти онъ уже подготовилъ ее къ этому. Одной ей онъ открылъ, что вся исторія съ теткой-милліонершей—шутка, которая должна итти до поры до времени за правду... Одной ей онъ открылъ, что у него есть отецъ, который его любить, но „не согласенъ съ нимъ во многихъ вопросахъ“... что у него есть сестра, очень релігіозная, что зовутъ ее Вѣрой, и онъ очень ее любить, и она готова отдать за него жизнь каждую минуту.. И что все-таки онъ вынужденъ будетъ порвать съ ними обоими, хотя шагъ, который онъ, вѣроятно, *долженъ* будетъ сдѣлать, будетъ для нихъ смертельнымъ ударомъ ..

Что это за шагъ, онъ не могъ еще ей сказать, но она сама легко догадывалась. „Кто онъ такой?“—думалось ей.—„Что за человѣкъ? И откуда у него набожная сестра?“... Ей казалось, что она знаетъ его отца, какъ-будто много разъ уже видѣла его: „вѣроятно, буржуй, скороспѣлый богачъ, считающій себя аристократомъ“... И чтобы Рабиновичъ не кичился своимъ „аристократизмомъ“, Бети не разъ давала ему понять, что она — полнѣйшая противоположность своей матери. Насколько та преклоняется передъ богатствомъ и боготворитъ милліонеровъ, настолько, если не больше, она, Бети, чувствуетъ отвращеніе къ этимъ богачамъ, какъ правовѣрный еврей къ свининѣ...

— Почему вы ихъ не любите?—спрашиваетъ Рабиновичъ, которому нравится позлить Бети, чтобы полюбоваться ея красивыми бѣлыми зубами.

— Почему—я не знаю,—отвѣчаетъ Бети.—Но я ихъ ненавижу. Видѣть ихъ не могу, этихъ еврейскихъ денежныхъ тузовъ, съ толстыми животами, съ заплывшими затылками, сочными губами и тусклыми глазами...

— Попасть къ вамъ на ваши остренькіе зубы—опасно!—говоритъ Рабиновичъ со смѣхомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

— Боже васъ сохрани!—говоритъ Бети, тоже смѣясь, но въ голосѣ ея уже слышна досада...

— Наоборотъ, я хотѣлъ бы попробовать...

— Не пробуйте, раскаетесь...

Какъ разъ въ это время зашла мать (Сара приходитъ всегда во-время)! Она побоялась, какъ бы, не дай Богъ, между „дѣтьми“ не вышло размолвки и хотѣла замаять разговоръ:

— Что вы ее слушаете,—сказала она квартиранту,—развѣ не знаете? Вѣдь она—Шапиро!...

Съ тѣхъ поръ прошло уже много времени, и они чувствуютъ себя съ каждымъ днемъ все ближе и ближе... И теперь, въ эту прекрасную ночь, когда они идутъ вдвоемъ рука объ руку, и никого кругомъ нѣтъ, шаги ихъ становятся все медленнѣе и медленнѣе, глаза ихъ встрѣчаются при свѣтѣ звѣздъ, а вмѣстѣ съ глазами,—они сами не знаютъ, какъ,—и уста... въ

первый разъ за все время ихъ знакомства. И снова встрѣчаются ихъ глаза, и оба смѣются... Но вдругъ она вырываетъ руку и пускается бѣжать. Онъ—за нею, и оба приходятъ домой раскраснѣвшіеся, у обоихъ глаза странно блестятъ... Сара замѣчаетъ ихъ покраснѣвшія лица и странно блестящіе глаза и спрашиваетъ—просто, такъ себѣ:

-- Какова ночь?

И оба вмѣстѣ отвѣчаютъ—просто, такъ себѣ:

— Волшебная! Божественная!...

ГЛАВА ХХІ.

Въ синагогѣ и дома за трапезой.

Мало того, что у cadaго еврея есть свои заботы: заработокъ, „право-жительства“, „процентная норма“ для дѣтей и тому подобныя привилегіи, которыхъ удостоиться могутъ только сыны Богомъ избраннаго народа,—Господь послалъ евреямъ того благословеннаго города, гдѣ жили Шапиро, еще одно новое „испытаніе“, общее еврейское „несчастіе“, имя которому было „Щигрюкъ“. Евреи, испоконъ вѣка привыкшіе ко всякому горю, ко всякимъ обвинениямъ и клеветѣ, и къ тому же вѣчно заняты своими дѣлами, долго пропускали мимо ушей всѣ тревожные слухи. Но когда наступилъ праздникъ Пасхи и евреи, принарядившись въ новую праздничную одежду, сошлись въ синагогѣ, то наслы-

шались здѣсь такихъ новостей о новомъ „испытаніи“, что кровь стыла въ жилахъ...

Въ синагогу, конечно, пришли не новости слушать, а молиться, и возможно, что тотчасъ послѣ молитвы, какъ всегда, пожелали бы другъ другу хорошо провести праздникъ и разошлись бы по домамъ, каждый къ своему очагу. Но на этотъ разъ, какъ только закончилась послѣдняя молитва, во всѣхъ синагогахъ сторожа сильнымъ ударомъ по столу просили публику остаться и провозласили слѣдующее полуоффиціальное сообщеніе:

— Именемъ губернатора и всего начальства просятъ, чтобы публика не беспокоилась и не распространяла ложныхъ слуховъ, потому что приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы погрома не было...

Едва синагогальный сторожъ закончилъ сообщеніе, какъ поднялся невѣроятный шумъ. Всѣ присутствовавшіе, сколько ихъ было, разомъ загорюрили, и посторонній человѣкъ при всемъ стараніи ничего не могъ бы разобрать, кромѣ отдѣльныхъ словъ, носившихся въ воздухѣ: „ритуаль“ .., „черная сотня“... „погромъ“... И, выйдя изъ синагоги, евреи не поспѣшили домой, какъ всегда въ этотъ вечеръ Пасхи, а разбились на группы и опять говорили о ходившихъ въ городѣ въ связи съ новымъ „испытаніемъ“ слухахъ... Что это за „испытаніе“, никто уже не спрашивалъ, всѣ знали... А слуховъ ходило много. Кромѣ

того, что объ этомъ писали каждый день въ газетахъ, всегда находились люди, знающіе гораздо больше. Кто-то рассказываетъ, что не далѣе, какъ сегодня, была въ соборѣ панихида, и одинъ студентъ держалъ рѣчь предъ огромной толпой, которая такъ воодушевилась этой рѣчью, что готова была въ ту же минуту броситься по городу и отомстить евреямъ... Хорошо еще, что полиція во-время узнала и отправила нѣсколько казаковъ съ нагайками, которые и разогнали толпу...

— Да здравствуютъ казаки съ ихъ благословенными нагайками!—слышится изъ толпы голосъ.—Будьте увѣрены,—не будетъ тучи, не будетъ и дождя...

— Живъ Господь Богъ нашъ!—поддерживаетъ его другой оптимистъ. — Вотъ вамъ примѣръ, этотъ пьяница-отчимъ,—какъ засадили его, онъ и началъ вертѣть языкомъ туда и сюда... Возможно, что дѣло скоро разъяснится. Надо только узнать, кто вдохновители, руководители всей этой музыки...

— Узнаютъ, не беспокойтесь, все узнаютъ, на свѣтѣ нѣтъ ничего тайнаго, и правда всплыветъ, какъ масло на водѣ...

— Надо только молить Бога,—говоритъ другой, уже пессимистъ, — чтобы масло всплыло поскорѣе, потому что приближаются ихніе праздники, понимаете, и можно ожидать погромчика... А если теперь будетъ погромъ, то ужъ...

— Откусите себѣ языкъ!—вмѣшивается Давидъ Шапиро, который все время стоялъ въ сторонѣ, прислушиваясь къ разговорамъ. — Кажется, вы слышали, что сказалъ сторожъ? Зачѣмъ же все истолковывать въ дурную сторону и самимъ накликать на себя бѣду?

— Чудакъ! Развѣ я говорю, что погромъ непременно будетъ?—оправдывается пессимистъ.— Я только говорю, что, если погромъ будетъ, то...

Но Давидъ Шапиро не хочетъ слушать. Разсердившись, онъ подходитъ къ другой группѣ и издали прислушивается, о чемъ говорятъ здѣсь. Оказывается, все о томъ же. Съ тою только разницей, что здѣсь говорятъ не о „нашемъ испытаніи“, а рассказываютъ исторіи и происшествія въ другихъ городахъ,—у каждаго города есть своё „испытаніе“...

— Что только творится на Божьемъ свѣтѣ!—рассказываетъ лавочникъ-бакалейщикъ, молодой человѣкъ со старымъ лицомъ и смѣющимися глазами,—точно онъ собирается рассказать что-то очень смѣшное. — Вотъ что случилось въ Гайсинѣ. Самъ я, какъ вамъ извѣстно, гайсинскій, и есть у меня въ Гайсинѣ родня, братъ и сестра, значить... Такъ вотъ нашли тамъ у одного русскаго, отставнаго солдата, -- кажется, унтеръ-офицера или фельдфебеля, — не больше не меньше, какъ четырехъ убитыхъ: жену и всѣхъ трехъ дѣтей, представьте себѣ, зарѣзали... Но какъ, вы думаете, зарѣзали? Вотъ такъ

просто взяли да зарѣзали? Ха-ха,—руки и ноги отрублены, понимаете: отрублены! — уши обрѣзаны, глаза выколоты, животы вспороты...

— Ну, довольно анатоміи! Тошнить! — говорятъ многіе изъ толпы и плюютъ въ сторону, а рассказчикъ продолжаетъ:

— Поднялся, конечно, шумъ: кто могъ такъ искрошить четырехъ человѣкъ какъ разъ наканунѣ Пасхи, если не сыны израильскіе? Понимаете? „Испытаніе!“ Взялись за Янкеля, еврея-лавочника. Почему, вы спросите, за Янкеля? Очень просто! А за кого же взяться? Во-первыхъ, дѣло было наканунѣ нашей Пасхи, а во-вторыхъ, этотъ самый Янкель, понимаете ли, лавочникъ, а солдатъ бралъ у него въ долгъ. И не столько онъ, какъ его жена. И должно было случиться такъ, что за день до происшествія Янкель ходилъ къ должнику, солдату, значить, за деньгами, а сосѣди, тоже русскіе, видѣли его въ сумерки около солдатскаго дома,—словомъ, всѣ улики на лицо. Конечно, Янкеля сейчасъ же отвели въ участокъ. „Скажи, молъ, Янкель, кто были твои соучастники, и куда вы дѣли столько крови?“ А Янкель—не то что отвѣчать, понимаете, двинуться не можетъ: ну, мертвый человѣкъ! Что творилось въ городѣ среди евреевъ, вы сами догадываетесь. Не хочу васъ долго задерживать, домой пора,—только прибылъ слѣдователь по „особо важнымъ дѣламъ“, парень, видно, не промахъ. Взглянувъ

на четырехъ зарѣзанныхъ и на Янкеля, выслушавъ несчастнаго мужа, солдата, значитъ, слѣдователь повель носомъ и взялся, — какъ вы думаете за кого? — за самаго солдата, мужа убитой женщины и отца исполосованныхъ младенцевъ: „Ну-ка, молодчикъ, раздѣнься на минутку, посмотримъ на тебя... И потрудись вмѣстѣ съ нами пойти на чердакъ, можетъ быть, найдемъ что?“ Тотъ сказать что-то хочеть, а словъ нѣтъ! Не хочу васъ долго задерживать, домой пора, — только нашли у него красныя пятна на рубашкѣ, а на чердакѣ всѣ инструменты, — топоръ, ножъ и что вамъ угодно, — все, конечно, въ крови, и самъ онъ признался, что была у него возлюбленная, не совсѣмъ незаконная жена, значитъ, — и хотѣлъ онъ съ ней повѣнчаться, а такъ какъ для этого нужно было развестись съ законной женой, что у христіанъ трудно, то онъ нашель болѣе простой способъ избавиться отъ обузы. Спрашивается теперь, зачѣмъ ему нужно было убивать еще бѣдныхъ дѣтей? Вотъ это, видите ли, вопросъ... Но когда челоуѣкъ начнетъ рѣзать, такъ онъ уже рѣжетъ!.. Остается еще одно: зачѣмъ ему нужна была, какъ вы говорите, анатомія? Отвѣтъ одинъ: дѣло, видите ли, было передъ Пасхой... Поняли?

— Еще бы не поняли, ха-ха!

Публика радуется и ликуеть, оживленно жестикулируя и дѣлясь другъ съ другомъ впечатлѣніями. Одинъ только Давидъ Шапиро недово-

лень. „Чему радоваться?—думаетъ онъ и уходитъ къ другой группѣ. Тѣ же разговоры, тѣ же интересы: „Союзники“... „ритуаль“... „испытаніе“... Рассказываютъ о происшествіи въ маленькомъ городкѣ Волынской губерніи,—какъ пропала русская прислуга на нѣсколько часовъ и какъ изъ этого чуть не вышло „испытанія“... Говорятъ объ исторіи въ какой-то деревнѣ Черниговской губерніи съ русской дѣвочкой, которая пошла за пескомъ и ее засыпало... Собралось все русское населеніе деревни, выпили и хотѣли уже громить евреевъ, какъ вмѣшался Господь: дѣвочку откопали, правда, мертвую, но безъ слѣда крови... „Испытаніе“ въ Бессарабіи, „испытаніе“ въ Польшѣ... „испытаніе“ въ Нижнемъ-Новгородѣ... тьфу!...

Давидъ плюнулъ и хотѣлъ итти домой, но, посмотритъ — Семки нѣтъ. Куда онъ дѣвался? Спросить развѣ у сторожа синагоги? Но гдѣ возьмешь сторожа? А, вотъ онъ! Между двумя группами маленькій приземистый еврейчикъ, съ длинными руками и полузакрытыми глазами, внимательно прислушивается къ тому, что говорятъ,—однимъ ухомъ къ одной группѣ, а другимъ—къ другой. Давиду это не нравится.

— Очень вамъ нужно слушать, что болтаютъ?

— Почему нѣтъ? Развѣ я не еврей? — отвѣчаетъ сторожъ полудерзко, полууслужливо, боясь пропустить что-нибудь изъ разговора въ толпѣ.

— Не знаете ли, гдѣ мой сынишка?

— Вашъ гимнастикъ? — переспрашиваетъ сторожъ и оглядывается во всѣ стороны, досадуя на то, что вынужденъ бросить разговоръ въ самый разгаръ: проклятая профессія, что подѣлаешь?

Но чтобы онъ, ради такого обывателя, какъ Шапиро, бросилъ все и бѣжалъ искать его мальчика,—ну, нѣтъ! На это есть младшій сторожъ. И онъ отыскиваетъ младшаго сторожа, которому тоже хочется послушать, что говорятъ, и обращается къ нему строго, какъ офицеръ къ солдату:

— Послушай, поищи имъ сына, панича гимназиста. Живѣ!

А самъ опять идетъ къ группай, какъ человѣкъ, сдѣлавшій свое дѣло, а тамъ будь, что будетъ.

Младшій сторожъ, къ которому старшій обращался на „ты“, оказался человѣкомъ тѣхъ же лѣтъ, борода была у него даже подлиннѣе, но ногами наградилъ его Господь такими, что сами не ходятъ, а нужно ихъ волочить...

И вотъ этотъ колченогій сторожъ пустился искать сынишку Шапиро. Но среди дѣтей Семки нѣтъ. Семка предпочитаетъ послушать, о чемъ говорятъ взрослые. Сталъ возлѣ группы стариковъ, скрестилъ руки на груди, наклонилъ немного голову набокъ, какъ взрослый, и прислушивается ко всѣмъ разговорамъ, разговорамъ, не пропуская ни слова, совсѣмъ позабывъ, что се-

годня Пасха, что надо итти домой, сѣсть за трапезу и прочесть отцу установленные закономъ „четыре вопроса“. Кромѣ этихъ четырехъ вопросовъ, которые Семка знаетъ наизусть, у него есть для отца свои собственные четыре вопроса.

Первый вопросъ,—за что его били сегодня утромъ въ гимназіи?...

Второй вопросъ—почему каждый годъ и какъ разъ на Пасху евреи боятся погрома?

Третій вопросъ — почему только русскіе устраиваютъ погромы?...

Четвертый вопросъ... Но тутъ подходитъ отецъ. У Давида сердце защемило, когда онъ увидѣлъ Семку въ такой позѣ: „Ребенокъ еще, а долженъ выслушивать такія исторіи“...

— Такой малышъ—и туда же лѣзетъ слушать, что здѣсь говорятъ? Вотъ я тебя!...

И Давидъ сердито хватаетъ за руку панича гимназиста въ мундирчикъ съ серебряными пуговицами и быстрыми шагами идетъ съ нимъ домой.

Изъ синагоги Давидъ пришелъ съ тѣмъ же привѣтствіемъ, что и каждый годъ, усѣлся на особомъ почетномъ мѣстѣ, какъ настоящій „аристократъ“, ведущій свой родъ отъ древнихъ патріарховъ, и началъ отправлять трапезу съ обычной торжественностью, съ пѣніемъ на старый знакомый мотивъ, переходящій изъ рода въ

родъ. Но на лицѣ его лежала тоска, изъ глазъ смотрѣла тайная печаль, а въ голосѣ слышались грустныя нотки,—отзвукъ нависшаго надъ еврея-ми „испытанія“... Все это могла замѣтить только Сара, сидѣвшая по правую руку отъ него, одѣтая по-праздничному. Никто бы не повѣрилъ, что это та самая Сара, которая сама, собственными руками, чистила и убирала весь домъ. Теперь руки эти были чисты и бѣлы и на нихъ виднѣлись кольца съ мелкими драгоцѣнными камнями, которыя она одѣваетъ только по праздникамъ. Такіе же маленькіе брилліанты сверкаютъ и въ сережкахъ. Ея лицо, еще совсѣмъ молодое и красивое, озабочено нѣсколько больше, чѣмъ всегда. Душа у Сары полна печали, еще съ праздника Эсѳири, но она никому объ этомъ не скажетъ. Разъ Давидъ не хочетъ, чтобы говорили о новомъ „испытаніи“. За чѣмъ она его будетъ мучить? Она и сама, можетъ быть, не думала бы объ этомъ, если бы не ея золовка. Нѣсколько словъ, вскользь брошенныхъ ею, запали Сарѣ глубоко въ душу, и только послѣ ея ухода она вспомнила, что между бумагами, которыя забрала полиція у квартиранта, была карточка дочери... Совсѣмъ изъ головы вылетело,—горе ей, горе!...

И она смотритъ на счастливое сіяющее лицо дочери, которая сидитъ рядомъ съ еще болѣе счастливымъ квартирантомъ, и молитъ Бога за ихъ обоихъ, о чемъ—и сама не знаетъ... Мо-

литъ Бога, чтобы ничто не помѣшало торжеству, которое, Богъ дастъ, скоро должно быть у нихъ въ домѣ,—помолвка... А что помолвка должна быть скоро,—въ этомъ она не сомнѣвается. А то откуда же эта близость у дѣтей? Сара хорошо знаетъ свою дочь (къ тому же она слѣдитъ за ней, — на то она мать!), знаетъ она и квартиранта, и спокойна за него, намѣренія его благородны... Только что, теперешнія дѣти не любятъ, чтобы имъ залѣзали въ душу, и не торопятся...

Сара очень довольна, что сегодняшняя трапеза еще больше сблизила ихъ и сроднила. А вышло это само собой. Когда Давидъ пришелъ изъ синагоги, онъ прежде всего попросилъ квартиранта, извинившись передъ нимъ, потрудиться надѣть шапку.

— Хотя вы и студентъ, и медалистъ, и прости-те за выраженіе, полугой, но одно другому не мѣшаетъ: еврей долженъ сидѣть за пасхальной трапезой въ шанкѣ, какъ Господь Богъ велѣлъ,

Затѣмъ Давидъ усадилъ его возлѣ себя съ лѣвой стороны (съ правой сидѣла Сара), а рядомъ съ нимъ посадилъ дочь, далъ имъ обоимъ одну „агаду“ и сказалъ дочери по-еврейски:

— Ты уже покажешь ему, что надо читать, и чего не надо, вѣдь онъ смыслить въ „агадѣ“, сколько гой въ еврейской молитвѣ...

Бети переводитъ Рабиновичу слова отца, и оба весело смѣются... Нѣтъ въ эту минуту никого на свѣтѣ счастливѣе ихъ. Они сидятъ ря-

домъ, совсѣмъ близко другъ подлѣ друга и смотрятъ въ одну „агаду“, а мысли ихъ далеко... Бети чувствуетъ еще на губахъ его поцѣлуй, и ей кажется, что, если присмотрѣться, всякій замѣтитъ... Она не можетъ дать себѣ яснаго отчета, какъ это случилось? Кто первый,—онъ или она?... И что будетъ дальше? Съ кѣмъ онъ будетъ говорить, съ отцомъ или съ матерью? И какъ онъ будетъ говорить?... Или, можетъ быть, онъ захочетъ раньше выписать сюда своего отца, богача съ толстымъ животомъ и заплывшимъ затылкомъ?

„Нѣтъ, этого онъ не сдѣлаетъ! Онъ знаетъ, что мнѣ это не нравится,—думаетъ Бети и, перевертывая страницу „агады“, встрѣчается съ его глазами, которые успокаиваютъ ее и говорятъ ей такъ много!..

— Будь моею!—кажется, говорятъ его глаза, и она отвѣчаетъ ему глазами:

— Я твоя... Я уже давно твоя, хотя ты долгое время былъ для меня загадкою, и не могла я понять тебя...

Теперь, кажется ей, она уже хорошо снимаетъ его, знаетъ насквозь, знаетъ даже всѣ его мысли... О, счастливая Бети! Откуда ей знать, что этотъ юноша съ копною черныхъ волосъ, съ еврейскимъ лицомъ, съ такимъ еврейскимъ именемъ, извѣдавшій всѣ прелести „процентной нормы“, „права-жительства“,—вовсе не Рабиновичъ и вовсе не еврей?...

Его пра-прадѣды ведутъ свое происхожденіе, не отъ патріарховъ Авраама, Исаака и Іакова. Его отецъ—дворянинъ и богатый помѣщикъ, Иванъ Ивановичъ Поповъ, извѣстный въ сферахъ, челоѣкъ съ большимъ чиномъ. Иванъ Ивановичъ Поповъ не можетъ похвастать своимъ происхожденіемъ изъ рода Шапиро, настоящихъ слаутскихъ Шапиро. Зато у него одинъ братъ—губернаторъ, другой—земскій начальникъ, а самъ онъ не кто-нибудь, а бывшій Т—скій губернской предводитель дворянства. Ну, кому можетъ прійти въ голову такая исторія? Да и самъ онъ развѣ повѣрилъ бы годъ тому назадъ, что въ эту ночь онъ, христіанинъ, сынъ помѣщика, будетъ сидѣть за однимъ столомъ съ евреями, справлять наравнѣ съ ними еврейскую Пасху, смотрѣть въ еврейскую „агаду“, гдѣ разсказывается о великомъ чудѣ исхода евреевъ изъ Египта, наслаждаться вмѣстѣ съ евреями сухимъ хлѣбомъ, „мацой“, съ горькимъ хрѣномъ, фаршированной рыбою и жирными клецками? Кто въ состояніи передать то море чувствъ и мыслей, которыя онъ пережилъ въ эту пасхальную ночь, за еврейской трапезой?...

Только что, передъ праздникомъ, прочиталъ онъ въ газетѣ коротенькую телеграмму съ родины, изъ Т—ской губерніи, что оттуда по предписанію Т—скаго губернатора (его дяди) высылаются въ двѣ недѣли 450 еврейскихъ семействъ.. „Четыреста пятьдесятъ семействъ“,

думаетъ онъ, заглядывая вмѣстѣ съ Бети въ „агаду“,—т. е., около двухъ тысячъ душъ, высланы моимъ дядей не за то, что они кого-нибудь ограбили или убили, — нельзя же поймать на преступленіи сразу четыреста пятьдесятъ семействъ! Высылаютъ ихъ только за то, что они евреи“... Въ одно прекрасное утро, представляется ему, или въ одну темную ночь, четверемъ стамъ пятидесяти семействамъ была прочитана бумага, что всѣ они, забравъ свои пожитки, въ теченіе двухъ недѣль должны уѣхать, куда глаза глядятъ, туда, въ „черту“, *гдѣ евреямъ жить дозволено...* А такъ какъ не такая уже легкая вещь, чтобы четыреста пятьдесятъ семействъ въ теченіе двухъ недѣль переѣхали со всѣми пожитками за тысячу верстъ, и такъ какъ евреи—народъ горячій, торопливый, шумливый, „люди-мухи“, то можно себѣ представить, что тамъ творилось! Мужчины укладываютъ вещи, женщины плачутъ, дѣти пищать, а полиція наблюдаетъ, чтобы изъ этихъ четырехъ сотъ пятидесяти семействъ, не дай Богъ, не задержался какой-нибудь еврейчикъ... И вотъ четыреста пятьдесятъ семействъ снимаются со своихъ мѣстъ, гдѣ жили, можетъ быть, сотни лѣтъ, и тащатся со своими пожитками по огромной нелѣпой Россіи на пароходахъ, по желѣзной дорогѣ, по шоссейнымъ трактамъ,—что-то въ родѣ исхода изъ Египта въ двадцатомъ вѣкѣ...

И онъ вспоминаетъ, какъ тамъ было напи-

сано: „по приказу Т-скаго губернатора“... Такъ распорядился его дядя, младшій братъ его отца, Андрей Ивановичъ Поповъ, не только хорошій добрый человѣкъ, но еще и либераль... Когда-то онъ и отецъ поссорились со своимъ старшимъ братомъ, Николаемъ, земскимъ начальникомъ, изъ-за того, что тотъ допустилъ, чтобы въ его деревнѣ высѣкли крестьянина... Дядя Андрей сильно волновался тогда, называя брата „Аракчеевымъ“... А теперь? Вѣдь навѣрное эти четыреста пятьдесятъ семействъ обращались къ нему съ просьбой оставить ихъ (евреи постоянно подаютъ прошенія, посылаютъ депутаціи!). Гдѣ же была тогда его добрая душа? Гдѣ были его либеральныя идеи?... Такая неразбериха, что съ ума можно сойти!

Видно, время такое,—продолжаетъ онъ думать. — Все перевернулось вверхъ дномъ... Что когда-то было дурно и безразсудно, теперь стало хорошо и разумно, что когда-то было невозможно, теперь вполне осуществимо... А этотъ инцидентъ съ генераломъ, который разсказывали сегодня дѣвицы Фамиліантъ!... Идетъ себѣ по улицѣ генераль,—не темный человѣкъ съ базара, не извозчикъ, не босякъ, а генераль. Идетъ и видитъ, что грекъ ведетъ ребенка за руку, а ребенокъ плачетъ: *значитъ*, это еврей тащитъ „пасхальную жертву“ — не иначе... Повидимому, всѣ мы, отъ мала до велика, отъ солдата до генерала, отъ рабочаго до интеллигента, вѣримъ

или думаемъ, что вѣримъ, что въ нашей огромной нелѣпой странѣ, между всѣми другими народами, есть народъ, называющійся евреями, который не только хуже, зловреднѣе, ниже всѣхъ остальныхъ, но еще и такъ фанатично-дикъ, что употребляетъ человѣческую кровь, которую добываетъ изъ дѣтей христіанъ такимъ неслыханно-варварскимъ способомъ! И эти евреи не какая-нибудь кучка людей, забравшихся куда-нибудь по ту сторону Урала, или на Кавказъ. Нѣтъ,—это милліоны людей, съ которыми мы живемъ бокъ-о-бокъ, на одной территоріи, дышемъ однимъ воздухомъ, сотни лѣтъ ѣдимъ одинъ хлѣбъ! Это не китайцы или индѣйцы, чья вѣра для насъ тайна, чья исторія для насъ чужда. Нѣтъ, мы хорошо знакомы съ ихъ вѣрой, которая намъ болѣе чѣмъ близка, а исторія ихъ для насъ — открытая книга. Если такъ, если цѣлые народы и цѣлыя поколѣнія могутъ имѣть о людяхъ, съ которыми живутъ, можно сказать, подъ одною кровлею, такое, до смѣшного нелѣпое, такое безумно-дикое представленіе,—то какая цѣна вообще нашимъ мнѣніямъ и представленіямъ?..

— Вамъ это, видно, понравилось? Хотите еще?—говоритъ ему Бети и со смѣхомъ закрываетъ „агаду“ подъ самымъ его носомъ.

— Бети, ты невѣжа!—недовольна мать.—Можетъ быть, онъ еще хочетъ почитать?

— Н-ну! — протянулъ Давидъ, который при-

выкъ говорить какъ разъ обратное тому, что скажетъ жена. — Хватить съ него и этого. Хорошо еще, что до сихъ поръ досидѣлъ... Можете уже снять шапку, молодой человѣкъ, если вамъ тяжело...

Квартирантъ встаетъ изъ-за стола, снимаетъ шапку, въ которой ему въ самомъ дѣлѣ тяжело и садится вмѣстѣ съ Бети въ сторонкѣ, поболтать и поспорить. Давидъ еще что-то напѣваетъ надъ книгой. Семка подтягиваетъ ему тонкимъ голосочкомъ, а Сара глядитъ на всѣхъ и не нарадуется...

ГЛАВА XXII.

Милые бранятся—только тѣшатся.

Ссориться, спорить, говорить другъ другу колкости—давно вошло въ обычай у молодыхъ людей. Бывало такъ, что Сарѣ приходилось вмѣшиваться и мирить ихъ:

— Дѣти,—говорила она,—что у васъ за привычка постоянно царапаться, какъ кошки!

Или:

— Бети! Ты когда-нибудь уступишь другому или нѣтъ?

Или:

— Господинъ студентъ, что вы ее слушаете? Развѣ не знаете, что она Шапиро? Всѣ Шапиро любятъ перечить, лишь бы другого позлить.

Сара права. Что бы студентъ ни сказалъ,

Бети — наоборотъ. Зато онъ и любить ей противорѣчить. Нужды нѣтъ, что она права, какъ самъ Богъ, онъ все-таки возразить что-нибудь съ единственной цѣлью,—чтобы она загорѣлась вся, показала бы свой темпераментъ и свои красивые зубы...

Сдѣлавшись у Шапиро своимъ человѣкомъ и замѣтивъ, что мать и дочь не любятъ, какъ Давидъ хвастается своими предками, настоящими, славутскими Шапиро, Рабиновичъ однажды нарочно спросилъ хозяина, въ чемъ въ сущности заслуга этихъ славутскихъ Шапиро? Давидъ такъ посмотрѣлъ на квартиранта, какъ-будто бы его спросили: „Въ чемъ заслуга Моисея?“ Или: „Кто такой былъ царь Давидъ?“

— Что? Вы никогда не слыхали исторіи со славутскими Шапиро, которыхъ во времена Васильчикова пороли, гоняли сквозь строй изъ-за пустяка?!

И Давидъ принялся рассказывать старую печальную исторію о двухъ братьяхъ мученикахъ. Одного звали раби Самуиль-Абэ Шапиро, а другого-раби Пинхасъ Шапиро. Жили они въ Славутѣ, и была у нихъ типографія. Кто-то сдѣлалъ на нихъ ложный доносъ, наклеветалъ. Губернаторъ Васильчиковъ, безъ суда и слѣдствія, отдалъ приказъ „прогнать сквозь строй“, по старому обычаю. И вотъ, когда началась экзекуція, у старшаго брата упала ермолка съ головы, а онъ, не обращая вниманія на розги, на-

клонился, поднялъ ермолку и надѣлъ ее какъ ни въ чемъ не бывало...

— И только?—невольнo вырвалось у квартиранта... Онъ, признаться сказать, не видитъ въ этомъ особой чести и не понимаетъ, какъ можно гордиться тѣмъ, что есть въ роду наказанные розгами...

Ну, и досталось же ему! Съ одной стороны, напалъ на него Давидъ: этотъ Рабиновичъ какъ есть настоящій гой, ни одной черточки еврейской въ немъ нѣтъ!... А Бети, съ своей стороны, добивалась, чтобы онъ сказалъ, что по его мнѣнію лучше—быть наказаннымъ или наказывать? Въ чемъ больше чести: имѣть въ роду повѣшеннаго, или палача, который только и дѣлалъ, что вѣшалъ?...

— Ну, довольно! Довольно уже! Ишь какъ ихъ разобрало!—вмѣшивается Сара, и все кончается мирно.

Въ другой разъ была такая исторія. Бети и квартирантъ пили утромъ чай и читали газету. Рабиновича заинтересовалъ глупый, но печальный эпизодъ, который для еврея не представилъ бы ничего необычнаго. Эпизодъ этотъ разыгрался въ еврейскомъ городѣ изъ-за „потѣшныхъ“.

„Собравшись на городскомъ плацу,—разсказывалъ очевидецъ-корреспондентъ, — больше ста человѣкъ дѣтей стали въ рядъ и приготовились маршировать. Кругомъ собралось много народу

Весь городъ вышелъ посмотрѣть „потѣшныхъ“. Вдругъ раздалась команда офицера:

— Еврейскія дѣти, впередъ!

Выступили три маленькихъ солдатика приготовительнаго класса, съ еврейскими личиками, и, какъ настоящіе солдаты, стали навтыяжку передъ офицеромъ, со счастливыми глазами, ожидая слѣдующей команды.

— Ступайте домой! — приказалъ офицеръ, а три мальчика, остолбенѣвъ отъ удивленія, не двигались съ мѣста, не понимая, что это значить.

— Ступайте домой! — вторично приказалъ офицеръ. И, должно быть, чтобы лучше его поняли, онъ прибавилъ:— Гершко, Янкель, Борухъ, татэлэ, мамэлэ, маршъ домой! — и при этомъ соорилъ такую уморительную гримасу, что весь народъ, собравшійся на площади, громко расхохотался, а три еврейскихъ солдатика съ опущенными головками пошли домой, сопровождаемые аплодисментами публики...“

— Чертъ знаетъ что! — вскричалъ Рабиновичъ вскочивъ съ мѣста. Эта исторія возмутила его до глубины души. Бѣгая по комнатѣ и безпрестанно отбрасывая назадъ волосы, онъ принялся бранить и офицера, у котораго нѣтъ ни капли человѣчности, и дрянную публику, которая готова апплодировать всякой низости, и идиота корреспондента, который такую неслыханную подлость описываетъ въ такомъ нелѣпомъ тонѣ!

— Тише, тише,—мы видѣли вещи похуже,—успокаиваетъ его Бети.

— Вещи похуже? Хуже этого уже не можетъ быть, Берта Давидовна! Вы подумайте только, вникните въ душу этихъ ни въ чемъ неповинныхъ малышей приготовительнаго класса! А ядъ, который влили въ душу остальныхъ, русскихъ дѣтей,—что они подумали? И публика, публика, апплодирующая такому подвигу!...

— Эта публика,—перебиваетъ Бети,—видѣла вещи похуже и тоже апплодировала... Она видѣла, какъ бросали изъ оконъ крошечныхъ младенцевъ, вмѣстѣ съ обломками мебели, съ распоротыми подушками...

— Ахъ, Берта Давидовна, что вы сравниваете! То—погромъ, а это совсѣмъ другое...

— Тотъ же погромъ, Григорій Моисеевичъ, но безъ крови и распоротыхъ подушекъ...

— Ахъ, Берта Давидовна, Берта Давидовна!...

Сара слышитъ изъ кухни и думаетъ, что дѣти ссорятся въ серьезъ. Она не знаетъ, что милые бранятся—только тѣшатся... Испуганная Сара влетаетъ:

— Тише! Что такое? Что случилось?

— Ничего не случилось,—успокаиваютъ ее,—ничего!

— Что же я слышу: Берта Давидовна да Берта Давидовна? Чего ему отъ тебя нужно, хотѣла бы я знать?

И, какъ всегда, дѣло кончается миромъ.

На этотъ разъ, послѣ пасхальной трапезы, когда всѣ встали изъ-за стола, молодые люди поспорили по принципиальному вопросу... Почему Давидъ не выносить, когда говорятъ о „ритуалѣ“? Почему отмахивается и руками и ногами, когда услышитъ о „кровономъ навѣтѣ“? Рабиновичъ не понимаетъ, почему евреи молчатъ? По его мнѣнію, всѣ евреи всего міра должны объединиться и напрячь всѣ силы для протеста противъ страшнаго обвиненія, чтобы разъ навсегда...

— Какъ разъ наоборотъ!—возражаетъ Бети, прямо и рѣзко по своему обыкновенію.—Протестовать должны не мы, а честные благородные люди изъ христіанъ... Потому что для нихъ это, если хотите, большой позоръ, чѣмъ для насъ... Вы говорите, протестовать! Но вѣдь всему есть предѣлъ. На каждое чиханье не наздравствуешься!... Сегодня насъ обвиняютъ въ томъ, что мы употребляемъ христіанскую кровь для пасхальной мацы. Завтра выдумаютъ, что мы глотаемъ живьемъ христіанскихъ дѣтей натоцакъ... Такъ что же,—мы должны протестовать противъ всякой глупости? Мы должны отрицать,—нѣтъ, мы не глотаемъ христіанскихъ младенцевъ?! Отецъ тысячу разъ правъ, что не хочетъ объ этомъ даже говорить. Это показываетъ, что онъ аристократъ...

— Аристократъ?

— Чему же вы улыбаетесь? Конечно, аристо-

кратъ! И во всякомъ случаѣ большій аристократъ, чѣмъ тотъ генераль, который, увидавъ на улицѣ цыгана или грека съ плачущимъ ребенкомъ, принялъ,—ха-ха-ха, какъ у насъ говорятъ, кучу за грушу, и сразу ему почудилась кровь, потому что... О, не протесты намъ надо писать, не оправдываться намъ нужно; намъ нужно, мнѣ кажется, наоборотъ, выступить съ контръ-обвиненіемъ...

Молодые люди такъ разгорячились, что не замѣтили, какъ Давидъ кончилъ послѣднія молитвы, всталъ изъ-за стола въ праздничномъ настроеніи и подошелъ къ „дѣтямъ“, съ необычной для него улыбкой, послушать, о чемъ они спорятъ.

— И вы о „ритуалѣ“? Всѣ, всѣ о „ритуалѣ“! Да, ну его...—Давидъ добродушно замахалъ руками.

Бети замѣчаетъ, что отецъ сегодня въ хорошемъ расположеніи духа, что съ нимъ бываетъ очень рѣдко.

— Папочка, мы тутъ спорили какъ разъ о тебѣ.

— Обо мнѣ? Какъ же можно обо мнѣ спорить?

Бети указываетъ на Рабиновича:

— Онъ не понимаетъ, почему ты не любишь, когда говорятъ о „ритуалѣ“.

Давидъ опускаетъ голову и, взявшись за бо-роду, закрываетъ глаза.

— Ну, а ты понимаешь?

— Конечно, понимаю. Я хочу ему объяснить..

что ты стоишь выше этихъ низостей, что ты считаешь оскорбленіемъ... что ты...

— Тэ-тэ-тэ! — произноситъ Давидъ, закрывая уши. Онъ не любитъ, когда говорятъ другіе.— Къ чему такъ много словъ? Если хочешь знать правду, я тебѣ объясню. Этотъ „ритуаль“, какъ вы его называете, стоитъ намъ, т. е., нашему роду, слишкомъ дорого. Когда я слышу слово „ритуаль“, кровь у меня стынетъ. Я припоминую, что рассказывалъ мнѣ отецъ, блаженной памяти: а самъ онъ слышалъ это отъ своего дѣдушки, отъ славутскаго Шапиро. Чуть всѣ евреи въ городѣ не погибли, но вмѣшался Господь и сотворилъ чудо. Вотъ была исторія, такъ исторія!

— Расскажи намъ, папочка, расскажи про настоящихъ, славутскихъ Шапиро! — ласкается Бети къ отцу, лукаво заглядывая ему въ глаза.

Въ этомъ лукавомъ взглядѣ, какъ и въ словахъ „славутскіе Шапиро“, есть доля ироніи, которая должна означать, что исторія, которую онъ расскажетъ, можетъ быть, и будетъ очень интересная, но случилась ли она съ славутскими Шапиро или съ кѣмъ еще,—это не важно... Всѣ усѣлись около Давида послушать рассказъ, Бети съ квартирантомъ, съ одной стороны, Сара съ Семкой—съ другой. У Семки глаза загорѣлись. За рассказъ онъ отдастъ вамъ все, что угодно (кромѣ, конечно, своихъ новыхъ сапоговъ!). И Давидъ началъ свой рассказъ.

ГЛАВА XXIII.

Дѣла давно минувшихъ дней...

Исторія была въ самомъ дѣлѣ интересная и рассказываль ее Давидъ прекрасно. Жаль только, что ради квартиранта онъ долженъ былъ вести свой рассказъ на чужомъ языкѣ, которымъ недостаточно хорошо владѣлъ. Тамъ, гдѣ ему не хватало словъ, онъ долженъ былъ прибѣгать къ помощи жестовъ. Кромѣ того, рѣшено было, что Бети будетъ служить ему переводчицей. Но это оказалось лишнимъ: развѣ Давидъ потерпитъ, чтобы другіе говорили за него? Что онъ, не дай Богъ, нѣмой? Поэтому каждый разъ, какъ квартирантъ обращался къ Бети за разъясненіемъ, Давидъ нападалъ на него:

— Что вы у нея спрашиваете? Она знаетъ столько же, столько вы, а вы столько же, сколько—она. Въ этихъ дѣлахъ меня спросите, ужъ я вамъ все объясню!

Это вызываетъ веселый смѣхъ у молодежи, къ которой надо причислить и маленькаго Семку, слушающаго рассказъ отца очень внимательно, какъ взрослый. „Милый мой сыночекъ!“ думаетъ Сара, немного повеселѣвшая отъ выпитаго вина, съ пылающими щеками и затуманенными глазами.

— Дѣдушка, то-есть, не мой дѣдушка, а дѣдушка моего дѣдушки,—началъ Шапиро свой рассказъ, уже жестикулируя и уже опасаясь,

какъ бы его не перебили,—итакъ, дѣдушка моего дѣдушки рассказывалъ, что у его дѣдушки раби Самуила Абэ, по которому было дано имя славутскому раби Самуилу Абэ,—было двое дѣтей, сынъ и дочь. Сына звали Пинхосомъ, по которому былъ названъ славутскій раби Пинхосъ, а дочь звали Одой. Дѣти были хорошія, дай Богъ всякому. Пинхосъ постоянно сидѣлъ за священными книгами, а Ода...

— Была замѣчательной красавицей!—перебиваетъ Бети и получаетъ нахлобучку отъ матери: „что за невѣжа, перебиваетъ отца!“ Давидъ обижается и заявляетъ, что, если его будутъ перебивать, онъ броситъ рассказывать... А Семка боится, какъ бы отецъ въ самомъ дѣлѣ не пересталъ рассказывать...

— Больше этого не будетъ, папочка!—говоритъ Бети, и Давидъ, который сегодня добрѣе обычнаго, скоро смягчается и продолжаетъ:

— Итакъ, были у дѣдушки раби Самуила Абэ сынъ и дочь. Дѣдушка часто заходилъ къ помѣщику, графу, у котораго держалъ аренду, сыграть съ нимъ партію-другую въ шахматы,—славутяне были знаменитыми шахматистами,—а то и просто посидѣть. Старый графъ вообще любилъ евреевъ и относился съ большимъ уваженіемъ къ дѣдушкѣ. Но былъ у графа сынокъ,—чтобъ такихъ густо сѣяли, да рѣдко всходили. Одно слово,—пустоплясъ, повѣса и негодяй. Только и зналъ, что верховую ѣзду, возню съ собаками

да охоту. Евреевъ терпѣть не могъ. И надо же было такъ случиться, что дочь дѣдушки, красавица Ода, ходила съ дѣвушками гулять,—въ субботу днемъ это было,—и увидѣлъ ее молодой графъ... И такъ она ему понравилась, что онъ обомлѣлъ отъ восторга, и съ тѣхъ поръ ей отъ него проходу не было. Дѣло зашло такъ далеко, что пришлось ей рассказать дѣдушкѣ, а дѣдушка сейчасъ же пошелъ къ старому графу,—такъ и такъ, молъ, не вели казнить, вели слово молвить: сынъ у тебя бездѣльникъ, только и умѣетъ, что верхомъ ѣздить, съ собаками возиться да дичь стрѣлять, такъ и пусть себѣ возится съ лошадьми, съ собаками да дичью, а дочь мою пусть оставитъ въ покоѣ... Умѣлъ говорить дѣдушка!... Выслушавъ его, старый графъ успокоилъ дѣдушку, обѣщаль, что больше этого не будетъ, и дѣдушка ушелъ домой. Что тамъ было между старымъ графомъ и молодымъ, неизвѣстно, но только бездѣльника уже больше не видѣли шатающимся около дома дѣдушки...

Умеръ старый графъ, — „и возсталъ новый повелитель“, какъ говоритъ священное писаніе. Завелись въ имѣнни новые порядки, и больше всѣхъ отразилось это на евреяхъ города...

Давидъ откашлялся, поправилъ бѣлую ермолку, которая осталась на немъ послѣ трапезы и очень шла къ его матовому лицу съ черной бородкой, такъ что дочь не могла удержаться и замѣтила

квартиранту: „А вѣдь папаша совсѣмъ еще красавецъ?“

Отъ этихъ словъ сіяющее лицо Сары засіяло еще больше, она переглянулась съ Давидомъ, обняла Семку и поцѣловала его въ обѣ щеки, еще красныя отъ выпитаго вина... Давидъ продолжалъ:

— Итакъ, дѣло было передъ Пасхой. Евреи пекли мацу и готовились къ празднику. И, какъ водится, съ приближеніемъ Пасхи, вспомнили о бѣдныхъ, у которыхъ нѣтъ денегъ на мацу... А кто, какъ не дѣдушка, позаботится, чтобы у бѣдняковъ были „моэсъ-хитэнъ“...

— Что за москиты?— спрашиваетъ квартирантъ, глядя на Бети, которая громко расхохоталась.

— Ахъ, умереть можно, умереть,—заливается Бети.—Изъ „моэсъ-хитэнъ“ у него получились „москиты“, ха-ха-ха, мушки такія, кусаются больно, ха-ха-ха!

Смѣются и всѣ остальные съ квартирантомъ вмѣстѣ.

— Развѣ у васъ „моэсъ-хитэнъ“ не въ модѣ?— спрашиваетъ его Давидъ.—Какъ это возможно? Странные у васъ евреи! Или у васъ совсѣмъ нѣтъ бѣдныхъ? Если такъ, то надо вамъ объяснить, въ чемъ тутъ дѣло...

И Давидъ объясняетъ, что „моэсъ-хитэнъ“ собираютъ для бѣдныхъ, чтобы была у нихъ маца на Пасху... Круглый годъ бѣдняки могутъ съ

голоду помирать, это не бѣда,—но когда наступаетъ Пасха, у всѣхъ евреевъ должна быть маца. Такъ ведется съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ стоитъ. И ходятъ изъ дома въ домъ, собираютъ деньги, дерутъ съ живого и съ мертваго. Теперь вы понимаете, что „моэсъ-хитэнъ“ не москиты?

Итакъ, на чемъ же мы остановились? На дѣдушкѣ, значить, и на „моэсъ-хитенѣ“. Ну, собрались у дѣдушки раввины и ученые, богачи и средніе обыватели города, и давай думать, судить да рядить: бѣдныхъ людей въ городѣ, не сглазить бы, много, а денегъ мало, какъ же быть съ „моэсъ-хитэномъ“? Одинъ даетъ такой совѣтъ, другой—иной, сыпятся совѣты, какъ горохъ, у насъ вѣдь всегда такъ: совѣтчиковъ много, а дѣльцовъ мало... Вдругъ открывается дверь и вбѣгаютъ люди съ крикомъ и шумомъ. „Раби Самуилъ Абэ, плохо дѣло! Несчастіе въ городѣ!“ Въ чемъ дѣло? Ыздили христіане въ лѣсъ и нашли тамъ дѣвушку, мертвую, изуродованную, привезли ее прямо въ полицію, и теперь въ городѣ Богъ знаетъ что творится! По мнѣнію самого фельдшера, это—дѣло евреевъ, „пасхальная жертва“, словомъ—„ритуальное убійство“... Можете себѣ представить, какая паника охватила дѣдушку и все собраніе! Разъ убійство „ритуальное“, то кто же виноватъ? Конечно, прежде всего видные обыватели, руководители еврейскаго населенія, а самый главный виновникъ, конечно, дѣдушка, раби Самуилъ Абэ. Прошло

не больше времени, чѣмъ длится мой разсказъ, какъ къ дѣдушкѣ заявила полиція: „здравствуйте, раби Самуиль Абэ, потрудитесь съ нами къ допросу“. Перепугался дѣдушка, чуть въ обморокъ не упалъ, но дѣлать нечего, зовутъ, надо итти. Попрощался съ бабушкой, прочиталъ предсмертную молитву, зная напередъ, что идетъ прямо въ тюрьму, а изъ тюрьмы—на тотъ свѣтъ: старый „ритуаль“ не чета новому. Теперь есть судъ, законъ, справедливость, прокуроръ, адвокаты, а тогда было иначе. Тогда въ такихъ случаяхъ пытали, жгли каленымъ желѣзомъ до тѣхъ поръ, пока несчастный, чтобы избавиться отъ мученій, говорилъ все, что отъ него требовали,— это и называлось „признаніемъ“... Словомъ, дѣдушка еще разъ прочиталъ предсмертную молитву, еще разъ попрощался съ бабушкой, хотѣлъ съ дѣтьми попрощаться, но ихъ не оказалось. Сынъ въ синагогѣ, сидитъ за священными книгами, а дочери просто нѣтъ дома. Какъ нѣтъ дома? Да съ самага утра ея не видно, гдѣ бы она могла быть?.. Но до того ли въ такую минуту?

Привели дѣдушку въ полицію, приступили къ нему съ допросомъ, чтобы сознался онъ во всемъ и назвалъ имена тѣхъ, кто зарѣзалъ дѣвушку на праздникъ, и тѣхъ, кто подставлялъ посуду, когда изъ нея, живой, выкачивали кровь... Дѣдушка говоритъ, конечно, что евреямъ строго-на-строго запрещено закономъ употреблять не

только что человѣческую кровь, но даже кровь животныхъ, и ссылается на священное писаніе и талмудъ... Говорить былъ дѣдушка мастеръ, но къ чему краснорѣчіе, разъ дѣло „ритуальное“? Словомъ, посадили его въ тюрьму и приступили къ другимъ богатымъ и зажиточнымъ евреямъ города съ той же пѣсенкой: признайтесь, молъ, господа евреи, чье это дѣло? А бабушка тѣмъ временемъ бѣжитъ спасать своего мужа,—плакать, просить, умолять... И пожелалъ Господь, чтобы проходила она какъ разъ мимо зарѣзанной дѣвушки. Проходитъ, и вдругъ: „Дитя мое! Ода моя!!!“... И больше ея уже не слышно было... Упала въ обморокъ, очнулась,—снова въ обморокъ,—и въ тотъ же день Богу душу отдала... Хоронили ихъ вмѣстѣ, мать и дочь...

— А дѣдушка?—спросили всѣ вмѣстѣ.

— Дѣдушку,—да будетъ онъ въ раю!—само собой разумѣется, освободили... Въ одну недѣлю, говорятъ, посѣдѣлъ, какъ лунь... Потому что, помимо утери и горя, срамъ былъ большой... Позднѣе узнали, видите ли, что это было дѣломъ молодого графа, да сотрется память о немъ. Онъ увезъ ее утромъ изъ дому, завезъ въ лѣсъ... Ну, а потомъ уже убилъ... Свидѣтелями были кучеръ, который ихъ везъ, лѣсничій, который слышалъ крики дѣвушки, но боялся давать показанія противъ графа...

— Ну, а графъ?—спрашиваетъ взволнованно Рабиновичъ.—Неужели ему это сошло?

— Кто пойдетъ противъ графа? Кто заступится за евреевъ?

— Ну, а сами евреи? Ну, а дѣдушка?—спрашиваетъ Рабиновичъ и волнуется еще больше.

Давидъ уже начинаетъ сердиться:

— Евреи? Что могли сдѣлать тогда евреи? Вѣдь это не то, что теперь, когда есть судъ, справедливость, присяжные засѣдатели, прокуроры, адвокаты... Прошло время траура, послѣ Пасхи городъ устроилъ празднество, и всѣ евреи радовались и плясали три дня подрядъ, три дня и три ночи, и дѣдушка въ томъ числѣ...

— И дѣдушка?

— Почему же нѣтъ? Вѣдь мертвыхъ не воскресишь... Богъ устроилъ такъ, что все еврейское населеніе города было спасено отъ тяжелаго испытанія, отъ напраслины, можно, кажется, радоваться или нѣтъ,—какъ вы думаете?..

Этотъ вопросъ остался безъ отвѣта. Хозяинъ со вздохомъ поднялся, чтобы итти спать, а за нимъ Сара съ Семкою. Остались только Бети и квартирантъ поговорить еще немного о печальномъ эпизодѣ старины и поспорить. Бети ждала лишь, что скажетъ Рабиновичъ, чтобы сказать обратное.

— Это напоминаетъ мнѣ исторію съ дочерью библейскаго Евѡая,—началъ Рабиновичъ и хотѣлъ провести мысль, что исторія эта кажется ему дикой, и евреи стараго времени ему совсѣмъ не нравятся... Но Бети прервала его въ самомъ

началъ: что онъ понимаетъ въ еврейхъ стараго времени? Сколько глухо-нѣмой отъ рожденія— въ музыкѣ Вагнера...

— Позвольте, Берта Давидовна!..—хотѣлъ возразить Рабиновичъ, но тутъ вошла Сара, прикрутила лампу и сказала:

— Вотъ вамъ и Берта Давидовна! Забыли, что праздникъ и завтра надо рано вставать, завтракъ приготовить—и въ синагогу!..

Въ ту ночь Рабиновичъ совсѣмъ почти не спалъ. Придя въ свою комнату, онъ сѣлъ писать письма. Но дѣло не шло.

Первое письмо было къ Бети и начиналось такъ:

„Пусть васъ, Берта Давидовна, не удивляетъ, что я обращаюсь къ Вамъ письменно, а не лично. Я долженъ раньше подготовить Васъ къ тому, что собираюсь Вамъ рассказать о себѣ. Есть у меня близкій товарищъ, съ которымъ мы вмѣстѣ прожили дѣтство, вмѣстѣ прошли всѣ восемь классовъ гимназіи. Его фамилія—Поповъ. Онъ русскій, сынъ богатаго помѣщика Т—ской губерніи. Матери у него нѣтъ. Она умерла вскорѣ послѣ родовъ, такъ что онъ даже не зналъ ея. Но отъ своей сестры (у него есть сестра) онъ слышалъ, что мать была замѣчательной красавицей, извѣстной на всю губернію. А извѣстной она стала благодаря тому, что была простой

цыганкой, пѣвицей въ цыганскомъ хорѣ, въ которую отецъ по-уши влюбился и, несмотря на протесты родителей и знатной родни, женился на ней и хотѣлъ ввести ее въ свою аристократическую семью. (Отецъ моего товарища былъ тогда губернскимъ предводителемъ дворянства, и у него есть два брата, одинъ—земскій начальникъ, другой—губернаторъ). Но семья этого ни за что не хотѣла допустить, и на каждомъ шагу ей давали знать, кто она и откуда родомъ... Что переживала бѣдная женщина—неизвѣстно, она никому объ этомъ не говорила. Но можно себѣ представить, что ей жилось не сладко, и она дала себѣ слово отомстить своимъ кичливымъ родственникамъ.

Но чѣмъ могла мстить бѣдная женщина, единственнымъ оружіемъ которой была ея красота? И она рѣшила влюбить въ себя одного за другимъ братьевъ мужа, земскаго начальника и губернатора. Но такъ искусно, чтобы одинъ не зналъ о другомъ, и чтобы всѣ мучились и страдали. Чтобы для нихъ это было тайной, и чтобы весь городъ и вся губернія говорили объ этой тайнѣ. Однимъ словомъ, заварила она кашу, всю семью водила за носъ, натравляла одного на другого, смѣялась и издѣвалась, какъ только можетъ издѣваться цыганка... Разумѣется, безнаказанно это ей не могло пройти. Мужъ не понималъ и не хотѣлъ понимать ея цыганской дипломатіи, не хотѣлъ вѣрить въ ея чистоту, и

между ними бывали частыя ссоры, о которыхъ посторонніе и не подозрѣвали. Одно было ясно для моего товарища: его мать осталась чистой и честной. Онъ зналъ это отъ своей сестры, которую мать подозвала за часъ до смерти, взяла на руки, прижала къ груди, поцѣловала и сказала: „Моли Бога за свою мать, которая была чиста и тѣломъ и душой“... Это произвело такое сильное впечатлѣніе на сестру моего товарища, что она дала себѣ слово всю жизнь молить Бога за душу страдальцы матери и, несмотря на свѣтское воспитаніе, которое ей далъ отецъ, она осталась такой набожной и религіозной, что единственный ея идеаль—поступить въ монастырь“...

Написавъ эти нѣсколько страничекъ, Рабиновичъ подумалъ: зачѣмъ ему фокусы, товарищъ, мистификація? Почему не итти прямымъ путемъ? Почему не описать ей своей собственной біографіи отъ начала до конца, до того момента, какъ они помѣнялись съ Гершкой Рабиновичемъ ролями?

Написавъ огромное письмо, и не дойдя еще до конца, онъ снова подумалъ: къ чему такое малодушіе? Не можетъ онъ развѣ просто поговорить съ ней? Развѣ можно допустить мысль, что Бети не пойметъ его и не захочетъ пойти съ нимъ рука объ руку? Тѣмъ болѣе, что онъ готовъ... Но тутъ онъ вспоминаетъ, какую борьбу придется ему вынести съ отцомъ, съ сестрою

и всей родней!... И онъ разрываетъ письмо на мелкіе кусочки и пишетъ новое,—къ отцу, такое же длинное, гдѣ выражаетъ надежду, что „только онъ пойметъ его, потому что только онъ въ состояніи оцѣнить значеніе дѣйствительной святой любви (намекъ на отцовскій романъ съ цыганкою), и что только онъ пойметъ, что всякое сопротивленіе напрасно (намекъ на то, что его отецъ женился на цыганкѣ противъ воли родителей)“.

Закончивъ письмо къ отцу, онъ опять остался недоволенъ. Онъ очень хорошо знаетъ, что отецъ скорѣе проститъ ему пятьдесятъ цыганокъ, чѣмъ одну еврейку... Кто лучше его знакомъ съ отношеніемъ къ евреямъ къ кругу отца? А самъ-то онъ какъ смотрѣлъ на евреевъ всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ?... И теперь еще? Можетъ онъ развѣ, положа руку на сердце, какъ честный человѣкъ, сказать, что онъ знаетъ евреевъ, какъ знаетъ ихъ еврей, и что онъ любитъ ихъ?... Не правъ былъ развѣ раввинъ со своей теоріей, что русскій не можетъ любить еврея, что не пришелъ еще тотъ Мессія, котораго ждетъ еврейскій народъ и съ пришествіемъ котораго настанетъ пора, когда всѣ люди будутъ братьями... Что теперь, наоборотъ, время самой сильной расовой ненависти, когда народы враждуютъ другъ съ другомъ, и тѣсенъ сталъ міръ Божій...

Письмо къ отцу постигла та же участь, что и предыдущее, и Рабиновичъ принялся писать

новое письмо, къ сестрѣ, находя, что только ей одной онъ можетъ открыть свою тайну, и что только въ ея честной набожной душѣ тайна его найдетъ отзвукъ, и она не откажется быть посредницей между нимъ и ихъ гордымъ капризнымъ отцомъ...

Осторожно и постепенно подготовилъ онъ ее къ серьезному шагу, который онъ собирается сдѣлать. Прежде всего онъ нарисовалъ образъ дѣвушки, которую онъ полюбилъ и безъ которой жить не можетъ. Затѣмъ онъ далъ ей понять, что дѣвушка эта дочь небогатыхъ родителей. Но это все было бы съ поль-горя, если бы она была одной религіи съ нимъ или, по крайней мѣрѣ, готова была перейти въ его вѣру... Однимъ словомъ, она—еврейка, и предъ нимъ стоитъ теперь дилемма: или лишить себя жизни, или...

Высказавшись сестрѣ, онъ почувствовалъ большое облегченіе. И пусть она не думаетъ,—закончилъ онъ свое письмо,—онъ не забылъ, что она, Вѣра, набожная христіанка. Наоборотъ, именно потому, что она такова, она должна съ особымъ чувствомъ принять его планъ *сближенія съ нашими старшими братьями...*

Прочитавъ еще разъ письмо, онъ усумнился, пойметъ ли его сестра. Что онъ думаетъ сказать словами „сближеніе со старшими братьями“?

И это письмо онъ разорвалъ на мелкіе кусочки, раздѣлся, потушилъ огонь и легъ спать.

ГЛАВА XXIV.

Тревожные дни.

Въ первый день Пасхи, утромъ, когда евреи, одѣтые по-праздничному, мужчины въ высокихъ цилиндрахъ, а дамы въ широкихъ шляпахъ и брилліантахъ, чинно шли въ синагоги, имъ встрѣчались мальчишки съ газетными листками въ рукахъ, громко выкрикивавшіе:

— Портретъ Щигрюка! Три копейки!

И евреи покупали. Трудно сказать, почему: потому ли, что евреи въ высокихъ цилиндрахъ не хотѣли, чтобы знали, что они евреи, или потому, что имъ хотѣлось посмотрѣть портретъ и почитать, что тамъ пишутъ „наши умники“ о Щигрюкѣ? Вообще антисемитскіе листки, которые клеветуютъ на евреевъ и призываютъ къ еврейскимъ погромамъ, попадаютъ именно въ еврейскія руки, такъ что въ концѣ концовъ наибольшій процентъ читателей этой уличной литературы въ „чертѣ“ и внѣ ея—евреи.

Это былъ знаменитый погромный листокъ. Самъ по себѣ онъ не отличался ничѣмъ особеннымъ: листокъ, какъ всѣ листки этого рода. Ничтожный, хулигански-ругательскій, пустой и грязный... Но ради еврейскаго праздника онъ значительно увеличился въ объемѣ и украсился портретомъ убитаго мальчика, съ надписью подъ портретомъ, которая можетъ мертваго поднять:

„Помните, люди православные, имя Владимира Щигрюка, котораго замучили евреи. Берегите дѣтей своихъ! 17-го марта ихняя Пасха!“

Это на одной сторонѣ. А на другой—цѣлый рядъ вопіюще безграмотныхъ статей услужливыхъ сотрудниковъ, между которыми особенно отличался какой-то студентъ Коршуновъ, большой „знатокъ“ еврейскихъ сектъ и обычаевъ. Еврейскія секты у него дѣлятся на „ашкенизцевъ“, „сефардимцевъ“, „хассидистовъ“ и „сапцевуховъ“.

„У каждой секты,—говоритъ этотъ ученый, студентъ Коршуновъ,—свои приемы для того, какъ одурманить христіанскаго ребенка и добыть его кровь, которая потомъ разсылается всѣмъ евреямъ всего свѣта для ихъ пасхальныхъ пироговъ, которые называются „мацапезира“.

„Жертва,—говоритъ дальше великій ученый, студентъ Коршуновъ,—должна быть непременно христіанскимъ первенцемъ, незаконнорожденнымъ, и не старше тринадцати лѣтъ. И такъ какъ несчастный Володя Щигрюкъ былъ первенцемъ и незаконнорожденнымъ, то и палъ на него жребій быть пасхальной жертвой у дикой еврейской секты сапцевуховъ“...

Евреи, прочитавъ эти забавныя сказки про „сапцевуховъ“, которые живутъ, вѣроятно, на лунѣ, такъ какъ на землѣ они никогда не слышали о такой дикой сектѣ, съ такимъ „дикимъ“ названіемъ и такими дикими обычаями,—смѣя-

лись до упаду. А затѣмъ пошли шутки и остроты. Нѣкоторые, взявшись за бороды и покачиваясь, стали нараспѣвъ предлагать другъ другу вопросы, точно рѣчь шла о какомъ-нибудь казуистически-запутанномъ вопросѣ изъ Талмуда.

— Господа, давайте разберемся, что это за „мацапезира“, которая печется на крови христіанскаго первенца да еще незаконнорожденнаго?

— А скажите мнѣ, евреи, чтобъ вы здоровы были, откуда намъ знать, какой христіанскій мальчикъ первенецъ и какой незаконнорожденный? Разъ младенецъ незаконнорожденный, т. е. родился внѣ брака, то кто намъ поручится, что до этого первенца не было еще пары первенцевъ?...

— Оставьте болтовню о первенцахъ!—прерываетъ ихъ третій шутникъ съ серьезнымъ и озабоченнымъ видомъ.—Посмотримъ лучше, что пишутъ великіе мудрецы о нашихъ сектахъ, о „сапцевухахъ“. Возможно, что мы сами не знаемъ чѣмъ богаты.

— А ну-ка, что такое?

— Вотъ, на примѣръ, новый ученый рабби Коршуновъ, если не ошибаюсь, Иванъ Степановичъ, пишетъ, что раввинъ, совершая вѣнчальный обрядъ, разрѣзаетъ крутое яйцо пополамъ, половину подноситъ жениху, половину—невѣстѣ и макаетъ оное яйцо въ золу, смѣшанную съ человѣческой кровью...

— Ха-ха-ха, неужели? А на какой планетѣ это происходитъ, онъ не говоритъ?

— Позвольте, это еще не все. Тотъ же рабби Иванъ Степановичъ говоритъ дальше, что въ праздникъ Пуримъ готовится евреями особое блюдо подъ названіемъ „Аманово ухо“, которое состоитъ изъ печенокъ и почекъ, вынутыхъ все изъ того же христіанскаго младенца, зарѣзаннаго на Пасху...

— Исполать ему, вашему ученому! Но тутъ онъ, кажется, немного заврался. Вѣдь Пуримъ-то на мѣсяць раньше Пасхи бываетъ!

— Ша! На это есть отвѣтъ. Когда писалъ сіе рабби Иванъ Степановичъ, онъ былъ навеселѣ и потому ненарокомъ перепуталъ даты...

Такъ шутили евреи въ первый день Пасхи, идя въ синагогу, но въ душѣ каждый чувствовалъ себя, какъ человѣкъ, уже послѣ ѣды узнавшій, что проглотилъ какую-то гадость, потому что вся эта идіотская болтовня разныхъ не въ мѣру услужливыхъ Коршуновыхъ заканчивалась неизмѣннымъ призывомъ: „Бей жидовъ!“

Евреи рѣшили не подавать вида, что принимаютъ это въ серьезъ... Конечно, было обидно, но развѣ это ново? Развѣ не привыкли евреи?

Первые дни праздника прошли такимъ образомъ спокойно. Но когда наступилъ четвергъ, канунъ „страстной пятницы“, на еврейской улицѣ началось движеніе. Евреи шушукались, говорили шопотомъ, укладывались, какъ укладываются ѣхать въ гости или на свадьбу, когда берутъ не все, что попадется въ руки, а самое не-

обходимое и самое лучшее... И потихоньку, тайкомъ узлы выносились на телѣжки и увозились въ одно мѣсто,—въ городской ломбардъ...

Двѣ состоятельныя обывательницы въ шляпкахъ встрѣчаются въ ломбардѣ:

— Что вы здѣсь, милая, дѣлаете такъ рано?

— А вы, душечка?

— То же, что и вы.

— Сами евреи накликаютъ на себя бѣду...

— Мои слова! Такъ каждый годъ. Приходитъ Пасха, и нападаетъ на нихъ страхъ... „Глупцы говорю я, при чемъ тутъ Пасха? Ужъ если суждено чему быть, такъ развѣ не можетъ это случиться въ будни?“

— Мои слова! Волноваться нечего... Все же мнѣ не хочется, милая, чтобы мои небольшія драгоценности и зимняя ротонда находились дома въ такое время...

— И мнѣ тоже, душечка...

Часа черезъ два у подъѣзда ломбарда собралось такъ много еврейскихъ обывательницъ въ шляпкахъ, которыя боялись за свои скромныя драгоценности и зимнія ротонды, что полиція должна была вмѣшаться и навести порядокъ, чтобы „евреи сами себѣ не учинили погрома“,— какъ шутилъ молодой околоточный.

Но, если люди средняго достатка, такъ называемая мелкая буржуазія, заботились о своихъ скромныхъ драгоценностяхъ и зимнихъ ротондахъ, то высшіе классы, еврейскіе богачи, спа-

сали свою шкуру, которая имъ дороже всякихъ драгоценностей и ротондъ, уѣзжая за границу.

Канцелярія губернатора за два послѣднихъ дня переполнилась прошеніями о выдачѣ заграничныхъ паспортовъ. Писцы работали во всю. „Повидимому, нѣжные желудки нашихъ еврейскихъ крезовъ не перевариваютъ пасхальной мацы“,—шутить молодой чиновникъ канцеляріи.

Послѣ отъѣзда изъ города еврейскихъ богачей и средній классъ, мелкая буржуазія, тоже начала разъѣзжаться, уже безъ губернаторскихъ паспортовъ, и не за границу лѣчиться, а такъ, куда глаза глядятъ, лишь бы не оставаться здѣсь, гдѣ атмосфера сгущалась все болѣе и слово „погромъ“ носилось въ воздухѣ...

Остались одни пассажиры третьяго класса большого корабля, что зовется городомъ: мелкіе лавочники, ремесленники, посредники, учителя и вообще бѣдные люди, которые начали „спасаться“ съ женами и дѣтьми уже въ самую послѣднюю минуту...

Это было въ субботу предъ великимъ праздникомъ, Свѣтлымъ Христовыхъ Воскресеніемъ. Поговаривали, что будетъ рѣзня... А такъ какъ законъ запрещаетъ евреямъ ѣздить въ субботу по желѣзной дорогѣ, то нашли другой выходъ (еврей не найдетъ выхода!). Кинулись къ пароходамъ и запрудили набережную, дрались возлѣ кассы, каждому хотѣлось попасть первымъ... И здѣсь должна была вмѣшаться полиція, чтобы

„евреи сами себѣ не учинили погрома“... А когда закончилась суббота и наступилъ вечеръ предъ Свѣтлымъ Христовымъ Воскресеніемъ, городъ былъ словно наканунѣ войны, когда уже раздался первый выстрѣлъ и духъ врага витаетъ надъ городомъ... Всѣ улицы, ведущія къ вокзалу, были запружены евреями, мужчинами, женщинами и дѣтьми, которые стояли тѣсными рядами вплоть до самага вокзала, въ ожиданіи поѣзда. А такъ какъ до кассы невозможно было добратъся, то размѣстились тутъ же, на землѣ, и ни за что не хотѣли возвращаться въ городъ, хотя ихъ и утѣшали, что депутація уже была у губернатора...

— Пусть золотые короли радуются!—отвѣчали сердито бѣдняки, не зная, что тѣхъ уже давно нѣтъ въ городѣ, что „золотые короли“ скоро будутъ въ Ниццѣ, Санъ-Ремо, Монте-Карло и другихъ укромныхъ уголочкахъ; гдѣ за рулеткою, „petits chevaux“ и другими играми забудутъ на время о всѣхъ еврейскихъ бѣдахъ и испытаніяхъ...

Между бѣжавшими на вокзалъ еще съ субботаго вечера была также семья Шапиро, Давидъ, Сара, Бети, гимназистикъ Семка и, разумѣется, квартирантъ Рабиновичъ-Поповъ, сынъ бывшаго предводителя дворянства, у котораго одинъ дядя—земскій начальникъ, а другой—губернаторъ...

Пока въ магазинѣ, гдѣ служилъ Шапиро, все

шло обычнымъ порядкомъ, Давидъ ни о чемъ и слушать не хотѣлъ. Какъ всегда, приходилъ каждый день домой, на-скоро обѣдалъ и бѣжалъ на службу. Но когда въ страстную пятницу магазинъ вдругъ закрылся, и хозяинъ со своими сыновьями уѣхалъ за границу, Давидъ сразу упалъ духомъ и, придя домой, отозвалъ Сару въ сторону:

— Плохо дѣло, Сара, совсѣмъ плохо... Надо спастись съ дѣтьми...

— Горе мнѣ!—заломила руки Сара.—Боже мой, уже бьютъ?

— Ша, не кричи такъ! Кто говоритъ, что бьютъ? Чуть что—уже бьютъ! Я говорю лишь, что не совсѣмъ спокойно. Вотъ что я говорю.

Супруги по обыкновенію ссорятся, но на этотъ разъ дѣло кончается тѣмъ, что оба начинаютъ укладываться, потихоньку, чтобы дѣти не знали. Они довольны, что Бети съ квартирантомъ ушла въ городъ, а Семкѣ сказали, что укладываются къ послѣднимъ днямъ праздника. Но обмануть Семку имъ не удалось. Во-первыхъ, онъ своимъ дѣтскимъ умомъ никакъ не могъ понять, почему къ послѣднимъ днямъ праздника надо укладываться. Во-вторыхъ, для него было достаточно того, что онъ слышалъ въ синагогѣ въ первый пасхальный вечеръ, чтобы понять, въ чемъ дѣло. Онъ зналъ, что такое погромъ. Онъ помнить еще, какъ сквозь сонъ,—это было давно, когда онъ былъ еще маленькимъ,—какъ лежалъ онъ

съ матерью гдѣ-то на чердакѣ, а отецъ съ Бети были у тети Тойбы, тоже на чердакѣ, и цѣлыхъ три дня и три ночи они не знали другъ о другѣ... Словомъ, Семку не провести, онъ, слава Богу, знаетъ, что такое погромъ.. И маленький гимназистикъ тоже сталъ укладываться и тоже потихоньку, чтобы никто не замѣтилъ. Сложилъ всѣ книги и тетради вмѣстѣ, перевязалъ старымъ кушакомъ, дневникъ съ отмѣтками спряталъ въ карманъ,—и былъ готовъ... Но вотъ пришла сестра съ квартирантомъ, и все пропало.

— Это что за новости? Куда вы собираетесь?—напала на нихъ Бети.—Вы бѣжать хотите? Бѣгите! Я съ мѣста не двинусь!

Рабиновичъ согласился, конечно, съ Бети, что глупо бѣжать. Во-первыхъ, никакого погрома не будетъ. А, во-вторыхъ, если бы даже что-нибудь и случилось, то бѣжать нельзя... Стыдно...

— Такъ только *вы* можете думать!—говорить ему Шапиро.—Что вы знаете объ еврейскомъ погромѣ? Гдѣ вы были въ тысяча девятьсотъ пятомъ году? Въ городѣ, гдѣ нѣтъ евреевъ, не можетъ быть погрома. А мы-то знаемъ!...

И начинается разговоръ о тысяча девятьсотъ пятомъ годѣ. Давидъ, несмотря на тревожную минуту, радъ поболтать о тѣхъ треволненіяхъ, которыя они тогда пережили... Какъ отвелъ онъ дочь къ своей сестрѣ, Тойбѣ Фамилиантъ, съ намѣреніемъ оставить ее тамъ съ дѣтьми Тойбы,

а самому вернуться домой, но выйти оттуда онъ уже не могъ, вмѣстѣ съ дочерью долженъ былъ забраться на чердакъ и въ теченіе трехъ дней не зналъ, что съ женою и сынишкой, который былъ тогда совсѣмъ крошкой...

— А мы съ нимъ тогда тоже лежали на чердакѣ,—хочетъ сказать Сара, и Семка пытается что-то вставить, но отецъ обрываетъ его: „такой малышъ не долженъ говорить о подобныхъ вещахъ“,—и начинаетъ рассказывать самъ, какъ тогда задали „еврейчикамъ“ жару, въ одну недѣлю такъ отдѣляли, что не пискнули даже, пѣтухъ не крикнулъ...

Давидъ рассказывалъ въ такомъ тонѣ, что квартиранту казалось, будто евреи сами сознаютъ, какой они слабый народъ, и вовсе не смущаются. Наоборотъ, какъ-будто даже гордятся своими тысячелѣтними мытарствами, своимъ продолжительнымъ гнетомъ и неслыханными униженіями... „Станный, странный народъ!“

Такъ прошла пятница. Давидъ и Сара (а съ ними и маленькій Семка) готовы были бѣжать, какъ всѣ евреи, куда глаза глядятъ, но дочь и квартирантъ удерживали ихъ,—пока не наступила суббота, а въ субботу ѣхать нельзя. Развѣ воднымъ путемъ? Всѣ ихъ сосѣди, друзья и добрые знакомые, все населеніе еврейской улицы бросилось къ рѣкѣ, почему бы и имъ не поѣхать пароходомъ? Но Бети заупрямилась: если она будетъ знать, что ее смерть ждетъ, и то-

гда не поѣдетъ пароходомъ!... Почему же? Такъ, она не хочетъ... А когда Бети скажетъ: нѣтъ, такъ ужъ нѣтъ. Съ трудомъ и съ слезами мать еле упростила ее хотя бы уйти съ еврейской улицы,—которая за субботу совершенно опустѣла,—и пойти къ тетѣ Тойбѣ,—„праздникъ вѣдь, можно къ нимъ съ визитомъ пойти“... Пока Шапиро собирались, начало смеркаться. Ёхать еще нельзя, а идти было не близко, такъ что когда пришли къ Фамилиантамъ, всѣ порядочно устали. Но двери и ворота оказались запертыми. Раза три имъ пришлось звонить, пока не показался дворникъ, полу-пьяный. Увидѣвъ евреевъ, онъ сталъ ворчать: „Вотъ, жидовье проклятое, шляется“. Шапиро вступилъ съ дворникомъ въ объясненіе, а квартирантъ вспылить:

— Нашли, съ кѣмъ объясняться! Вотъ съѣзжу его по мордѣ, онъ и будетъ знаты!...

Услышавъ это, деорникъ набросился на Рабиновича:

— Ахъ, ты, жидовская харя! Ты мнѣ въ морду? А я вотъ свистну, такъ васъ всѣхъ въ одну минуту въ порошокъ изотрутъ, еще раньше, чѣмъ народъ соберется сдѣлать погромъ для ради праздника...

Не малаго труда стоило Шапиро оторвать разгоряченнаго квартиранта отъ полупьянаго дворника, и, можетъ быть, предупредить несчастье. Они обязаны были этимъ только Бети, которая

однимъ взглядомъ успокоила молодого человѣка... „Въ этомъ юношѣ есть что-то совсѣмъ не еврейское“, рѣшилъ Шапиро.

— Ну, можно ли въ такое время такъ разговаривать съ русскимъ?—замѣтила потомъ ему Сара.

— Ну, что теперь? Домой, что ли?—спросила Бети.

— Доченька, родная моя!—взмолилась Сара.— Давай возьмемъ извозчика и поѣдемъ на вокзаль! Всѣ ѣдутъ, поѣдемъ и мы!

— Куда?

— *Куда глаза глядятъ...*

И Сара бросилась дочери на шею и стала плакать. Глядя на нее, Давидъ не могъ удержаться и отвернулся въ сторону, чтобы скрыть свое лицо, а Семка совсѣмъ всхлипывалъ...

— Не плачь, дитя мое, Господь Богъ не оставитъ насъ,—утѣшала его Сара и послала мужа за извозчиками. Когда усаживались, то вышло такъ, что Давидъ, Сара и Семка сѣли на одного извозчика, а дочь съ квартирантомъ на другого, и Сара успѣла только сказать квартиранту, чтобъ онъ берегъ дочь, какъ зѣницу ока... Сара не договорила, слезы душили ее...

— Будьте покойны, матушка, будьте покойны!—утѣшалъ ее молодой человѣкъ:—Ручаюсь вамъ за нее, головой ручаюсь ..

Въ этихъ словахъ было столько искренности, энергіи и теплоты, что бѣдная мать могла быть совершенно спокойна,—дочь ея въ надежныхъ

рукахъ. Все же она просила ихъ поѣхать впередъ шагомъ, а сама съ мужемъ и сынишкой поѣхала слѣдомъ. Процессія двинулась къ вокзалу, а оттуда—*куда глаза глядятъ*...

Подѣхавъ къ улицѣ, ведущей къ вокзалу, Шапиро увидѣли предъ собою массу народа,—кто на извозчикахъ, кто пѣшкомъ. Это были все евреи, недавно еще праздновавшие Пасху, большею частью бѣдняки, съ женами, дѣтьми и пожитками, — узлами, подушками и всякимъ хламомъ... Были между ними и люди состоятельные, интеллигенты въ котелкахъ, дамы со страусовыми перьями, барышни съ зонтиками, студенты въ тужуркахъ, гимназисты съ серебряными пуговицами,—они смѣшались съ еврейской бѣднотой, съ голодными, больными стариками, блѣдными, измученными женщинами съ крошечными младенцами на рукахъ, завернутыми въ тряпье... Вотъ она, еврейская улица, вотъ она, еврейская „черта“, Богомъ избранный народъ!..

— Куда прешь? Осади назадъ, жидовская морда! — крикнулъ городовой подѣзжавшимъ Шапиро и остановилъ ихъ извозчика, ударивъ лошадь по мордѣ. Получивъ такое привѣтствіе, Рабиновичъ соскочилъ первымъ и—прямо къ городовому! Хорошо, что Сара во-время замѣтила это и закричала дочери по-еврейски:

— Бети, Бети! Ради Бога попридержи ему

языкъ! Не давай ему говорить,—а то накличетъ онъ на насъ бѣду!...

Дѣлать нечего, пришлось итти пѣшкомъ. Но куда пойдете, когда до васъ стоитъ столько народа? Надо переждать, пока первые ряды доберутся до кассы, тогда всѣ станутъ въ очередь. А пока присѣсть хотя бы на землѣ, чтобы занять мѣсто пораньше, потому что сзади народъ все прибываетъ и прибываетъ...

— Что мы будемъ дѣлать?—спрашиваетъ Сара мужа, оглядываясь во всѣ стороны и видя, какъ увеличивается толпа.

— Что мы будемъ дѣлать? — отвѣчаетъ Давидъ сердито.—Плясать! На тебѣ, — вопросецъ: что мы будемъ дѣлать? Всѣ ждутъ, и мы будемъ ждать. Всѣ сидятъ, и мы посидимъ.

И Шапиро отыскали мѣсто на тротуарѣ и присѣли возлѣ тумбы, сперва Давидъ, а потомъ Сара съ Семкою. Дочь и квартирантъ постояли еще немного, хотѣли пройтись, но нельзя было двинуться ни взадъ ни впередъ, развѣ что по головамъ. Въ концѣ концовъ и они тоже присѣли на минутку, конечно, пока станетъ хоть немного посвободнѣе,—и каждый предался своимъ мыслямъ...

Въ эту ночь Рабиновичъ-Поповъ пережилъ столько, сколько другой не переживаетъ за годъ, и передумалъ больше, чѣмъ за всю свою жизнь. То, что онъ видѣлъ и слышалъ, далеко превосходило собою все, что могло представить

ему его воображеніе. Бѣдныя оборванныя матери, держація голодныхъ, завернутыхъ въ тряпье дѣтей, больные кашляющіе старики, молодые люди съ блѣдными лицами, сгорбленными спинами и испуганными глазами, — всѣ эти несчастные цѣплялись за жизнь, боялись смерти гораздо больше, чѣмъ самые богатые и счастливые люди... Но сильнѣе всего поражало его то, что всѣ они смотрѣли на происходившее кругомъ, какъ на нѣчто вполнѣ естественное, само собою разумѣющееся...

И мысли уносятъ его далеко-далеко отсюда, домой, къ роднымъ. Каждый годъ въ эту ночь онъ бывалъ дома, и ради отца, а еще больше ради набожной сестры, проводилъ ночь вмѣстѣ со всѣми въ церкви. Первой, съ кѣмъ онъ христосовался, была всегда сестра, которая въ ту ночь какъ бы перерождалась, становилась святой, человѣкомъ не отъ міра сего...

Его сестра Вѣра, копія красавицы-матери, цыганки, съ ея огромными черными глазами, въ эту ночь дѣйствительно бывала похожа на святую. Все въ ней тогда говорило о любви, любви безпредѣльной, любви ко всѣмъ людямъ, и больше всего къ бѣднымъ, слабымъ, обиженнымъ и забытымъ. Все въ ней говорило о высококомъ значеніи великаго праздника, возвѣщающаго „на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе“...

„О, сестра, сестра! — думаетъ онъ. Если бы

ты была здѣсь и видѣла, какъ попирается ногами самое возвышенное, самое лучшее, что есть въ человѣкѣ!...”

Мысли его вдругъ прервалъ Давидъ, который глубоко вздохнулъ и сказалъ какъ бы самому себѣ:

— Боже, Боже! Что-то будетъ съ Твоими еврейчиками?!

Всѣ вскочили отъ этихъ словъ. Испугалась даже сидѣвшая возлѣ семья, состоявшая изъ блѣднолицаго еврея съ красноватыми, больными глазами, высохшей женщины съ лицомъ, очень похожимъ на мацу, и троихъ дѣтей, которыя держались за ея фартукъ, боясь, должно быть, какъ бы она не сбѣжала. Возлѣ женщины съ лицомъ-мацой сидѣлъ черный парень въ бѣломъ, совсѣмъ не по сезону, парусиновомъ костюмѣ, еще съ прошлаго, если не съ позапрошлаго лѣта. Несмотря на то, что сидѣлъ онъ спина къ спинѣ съ Давидомъ, и послѣдній обращался не къ нему, онъ отвѣтилъ Давиду:

— Нечего вамъ заботиться о „Божьихъ еврейчикахъ“. Это разъ. А во-вторыхъ, хотѣлъ бы я знать, что это за выраженіе „еврейчики“? Почему не евреи?

Давидъ вскипѣлъ и отвѣтилъ въ тонъ спрашивавшему:

— Молодой человѣкъ! Я говорю не съ вами. Это разъ. А во-вторыхъ, хотѣлъ бы я знать, кто вы такой, что говорите со мной *такимъ* языкомъ?

— А вы кто такой, что говорите со мной *такимъ* языкомъ?

Хотя Давиду не до того было, чтобы хвастать въ такое время своимъ происхожденіемъ, но ему хотѣлось проучить нахала, чтобы тотъ зналъ, по крайней мѣрѣ, съ кѣмъ имѣеть дѣло.

— О славутскихъ Шапиро вы когда-нибудь слышали, или нѣтъ?

— А вы о пинскихъ Гурвичахъ когда-нибудь слышали, или нѣтъ?

Оба обернулись другъ къ другу, и тутъ Рабиновичъ увидѣлъ знакомое лицо:

— Коллега! Вы?

— Ба, послушайте, и вы здѣсь? Здравствуйте!

Оба встали, обнялись, какъ старые друзья, и къ удивленію Шапиро, дружески расцѣловались.

Это былъ пинскій юноша, одинъ изъ тринадцати медалистовъ, съ которымъ Рабиновичъ близко познакомился въ участкѣ. Тощая женщина съ лицомъ-мацой была его сестра, а блѣднолицый еврей съ красноватыми больными глазами—его шуринъ, переплетчикъ... Пожалуйста, познакомьтесь...

— Очень пріятно! Рады познакомиться!

Въ дорогѣ всѣ равны. Давидъ Шапиро (можете ему повѣрить на слово) у себя дома никогда не сталъ бы знакомиться съ какимъ-нибудь ремесленникомъ. Что за знакомство можетъ

быть между нимъ, Шапиро, изъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро,—и переплетчикомъ.

Но здѣсь, на улицѣ, въ ожиданіи очереди, обѣ семьи познакомились довольно близко и даже чуть не подружились. Хорошо, что Давидъ въ-время сталъ держаться подальше, какъ бы говоря: „Познакомиться можно, почему нѣтъ? Но быть за панибрата—погоди!...“ Переплетчикъ это скоро почувствовалъ и отнесся къ своему новому знакомому съ большимъ уваженіемъ, боялся сказать лишнее слово, былъ остороженъ съ папиросою, каждую минуту отворачивался въ сторону и сдувалъ съ нея пепель, а когда ему нужно было кашлянуть, кашлялъ въ руку, и даже, когда ему хотѣлось смѣяться, старался смѣяться не громко.

Не то было между ихъ женами. Женщины вообще другіе люди. А тѣмъ болѣе въ несчастіи. Все, что было на душѣ у переплетчицы, она выложила своей новой знакомой, Шапирихѣ. А Сара, съ своей стороны, облегчила душу, изливъ свое горе переплетчицѣ, какъ сестрѣ родной. Переплетчицу, хотя она и простая еврейка изъ Пинска и хотя лицо у нея похоже на мацу, Сара съ удовольствіемъ промѣняла бы на свою богатую золовку, Тойбу Фамиліантъ, и даже приплатила бы... Какъ вамъ понравится,—взять дѣтей, повидимому, еще до субботы и бѣжать изъ города, не давъ даже знать объ этомъ родному брату! А еще считаетъ себя святой!

А переплетчица, въ свою очередь, рассказываетъ Сарѣ всю свою родословную. Она, если хотите знать, всего на всего дочь меламеда*). Отецъ ея, если хотите знать, издавна былъ меламедомъ въ Пинскѣ и не просто меламедомъ, а извѣстнымъ ученымъ, и ей такъ же слѣдовало бы быть женою ремесленника, какъ евреямъ нужно вотъ это испытаніе...

— Какое испытаніе?—спрашиваетъ недоумѣвающе Сара.

— Какъ какое?—отвѣчаетъ переплетчица.— Вотъ это самое несчастіе съ мальчикомъ, котораго отчимъ со свѣту сжилъ и подбросилъ своему сосѣду еврею, чтобы думали, будто это сдѣлалъ еврей, чтобы можно было погромъ устроить... Меня, право, удивляетъ, что вы не знаете того, что знаетъ весь міръ! Какъ же такъ? Кажется, даже, что у того еврея былъ обыскъ передъ Пасхою, но ничего не нашли...

Зазвонили колокола во всѣхъ церквахъ. Изъ за звона почти не слышно было словъ. Но переплетчица повысила голосъ и говорила, говорила безъ конца. Она рассказала много интереснаго о себѣ и о мужѣ, о своемъ отцѣ-меламедѣ и о своемъ братѣ-студентѣ.

— Видите этого паренька?—указала она на своего брата.— Похвастать можно: студентъ, вѣдь! Но это только такъ говорится: студентъ.

*) Меламедъ—учитель. *Прим. перев.*

То-есть, по справедливости, онъ уже давно бы студентомъ могъ быть, потому что кончилъ, если хотите знать, съ медалью, и голова у него совсѣмъ не плохая, — видите, какая голова? Котелъ цѣлый! Даромъ медали не дадутъ! Посмотрѣли бы вы, какъ любили его учителя! Самъ директоръ по немъ съ ума сходилъ! Однажды позвалъ къ себѣ отца и говоритъ ему: „Хочешь, чтобы изъ твоего Бени чловѣкъ вышелъ (Беня— братъ, значить)? Хочешь, говоритъ, чтобы изъ твоего Бени знаменитый чловѣкъ вышелъ, профессоръ?“ Отецъ и говоритъ: „Вотъ еще! Зачѣмъ профессоръ? А доктора мнѣ мало?“ Тогда директоръ говоритъ: „Если я говорю: профессоръ, — значитъ: профессоръ! Но вотъ что: раньше тебѣ придется его немножко выкрестить“..

— Ну?—спрашиваетъ Сара, которая изъ всего разговора только и слышала: „выкрестить“. А переплетчица продолжаетъ:

— Только этого не доставало! Едва успѣлъ отецъ прийти домой и передать слова директора, какъ мой Беня вскочилъ, схватилъ шапку... „Ты куда?“—„Къ директору“.—„Что ты тамъ будешь дѣлать, у директора?“—„Я ему скажу, что за такіе совѣты по фізіономіи даютъ!..“ Мало ли что сболтнетъ мальчишка!.. Насилу отецъ уговорилъ его, чтобы оставилъ директора въ покоѣ, иначе не видать ему медали, какъ ушей своихъ... А что значитъ въ наше время еврей безъ медали?..

— Ну, и что же?—опять спрашиваетъ Сара, которая только и слыхала что послѣднее слово „медаль“.

— Что же!—отвѣчаетъ переплетчица.—Есть у него медаль и еще какая!—и помогаетъ онъ мужу переплетать книги, а мнѣ—качать дѣтей, ой, ой, какъ еще помогаетъ! Лишь бы былъ уголь, гдѣ голову преклонить. А ночи проводитъ за книгами, да за такими толстенными, что каждую изъ нихъ можно бы расшибить голову самому здоровому хулигану...

— Мамаша! Мы пойдемъ немного пройтись, недалеко, скоро вернемся,—говоритъ Бети матери, которая хорошенько не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Поняла она это уже послѣ того, какъ Бети съ квартирантомъ и съ пинскимъ юношей отошли въ сторону, поближе къ вокзалу. Сара ни за что не отпустила бы отъ себя дочь ни на шагъ въ такое время. Но эта ночь съ колокольнымъ звономъ, эта паника, а больше всего нѣсколько словъ, сказанныхъ переплетчицей объ обыскѣ, такъ разстроили Сару, что она не знала, гдѣ она и что съ ней. Къ тому же она не могла двинуться съ мѣста. Семка сидѣлъ все время возлѣ матери, на землѣ, и смотрѣлъ переплетчицѣ прямо въ ротъ, какъ она говорила, какъ двигала губами, будто въ тактъ съ колоколами, которые не переставая звонили: бомъ, бомъ, бомъ,—такъ долго, что глаза его стали слипаться, онъ придвинулся еще ближе къ матери, склонилъ

голову къ ея колѣнямъ и въ концѣ концовъ, подѣ говоръ переплетчицы и подѣ звонъ колоколовъ, крѣпко заснулъ, какъ только можно заснуть, когда лежишь у матери на колѣняхъ... И снятся ему женщины, много, много женщинъ, и всѣ онѣ бѣгутъ на вокзалъ, подпрыгивая и звеня губами, какъ колокола: бомъ, бомъ, бомъ!..

— Мнѣ бы за тебя погибнуть!—шепчетъ Сара, прижимая къ груди ребенка, ищетъ глазами Бети и не можетъ найти...

— Горе мнѣ, горе! Куда же она дѣвалась?

— Вы не знаете, чего они такъ раззвонились?—спрашиваетъ Сару переплетчица, но видя, что та молчитъ, отвѣчаетъ сама себѣ со вздохомъ:

— Еще бы! Сегодня вѣдь такая ночь!..

— Мамаша! Когда уже настанетъ день? Когда перестанутъ звонить? когда же мы поѣдемъ?—проснулся Семка и поднялъ голову, всматриваясь въ темноту ночи.

— Спи, спи!—говоритъ ему Сара, укрывая его платкомъ. — Настанетъ, Богъ дастъ, настанетъ день...

Семка скоро снова засыпаетъ, а Сара не перестаетъ всматриваться въ темноту, поджидая дочь: несчастье какое, куда дѣвалась Бети?

А Бети такъ заинтересовалась новымъ знакомымъ, представившимся ей по-еврейски полнымъ именемъ: „Беня Гурвичъ изъ Пинска“,—и осо-

бенно тѣмъ, какъ онъ говорилъ и держался съ Рабиновичемъ, что совсѣмъ забыла про мать и шла все дальше и дальше къ вокзалу. Интересенъ былъ разговоръ, но еще интереснѣе былъ самъ этотъ человѣкъ, назвавшійся Беней Гурвичемъ изъ Пинска. Въ то время какъ Рабиновичъ былъ сильно взволнованъ всей этой исторіей съ ихъ бѣгствомъ и все твердилъ, что позоръ цѣлому городу бѣжать, куда глаза глядятъ, только изъ-за того, что нѣсколькимъ интриганамъ вздумалось напугать ихъ погромомъ, Гурвичъ держался совершенно спокойно, какъ-будто совершалъ прогулку за городъ. Это выводило Рабиновича изъ себя. И чѣмъ больше онъ горячился, тѣмъ больше пинскій товарищъ шутилъ и подзадоривалъ Рабиновича.

— Чего вы хорохоритесь и понапрасну оплакиваете еврейскій народъ?—говорилъ Гурвичъ, съ усмѣшкой глядя на товарища.—Знаете что?—но, конечно, это между нами:—право, было бы недурно, если бы такимъ полудевреямъ, богачамъ-бѣлоручкамъ, какъ вы, провѣтрили немного мебель и заодно ужъ хорошенько помяли бока! Вы-то, съ вашимъ подражаньемъ гоямъ, и навлекаете вражду и ненависть на все еврейство!

Сказавъ это, онъ на минуту остановился и сталъ шарить по карманамъ папироску.

— Нѣтъ, я передумалъ. Это — не годится. Если будетъ погромъ, то громить будутъ бѣдняковъ, этихъ козловъ отпущенія, а васъ и вашей

родни, будьте покойны, не тронуть... Да, какъ же поживаетъ вашъ батька, банкиръ? И въ какомъ положеніи его акціи?..

Рабиновичъ чувствовалъ себя неловко, особенно потому, что при этомъ была Бети, которая не могла понять этихъ намековъ, и попытался перевести разговоръ на другую тему:

— Чудакомъ вы были, чудакомъ и остались. Я даже не удивляюсь вамъ. Вспоминаю, какъ вы держались тогда, въ тюрьмѣ. Помните ту ночь въ участкѣ?

— Ха-ха-ха, помню ли я? Могу даже поклонъ вамъ оттуда передать, я былъ тамъ еще разъ!— отвѣчаетъ тотъ такимъ веселымъ тономъ, точно говорилъ не о полицейскомъ участкѣ, а о пріятной встрѣчѣ въ семейномъ домѣ.

— Ну, вотъ видите?—подхватываетъ Рабиновичъ и смотритъ на Бети:—Разъ вы не теряетесь при своихъ личныхъ неудачахъ, какъ же вы можете такъ реагировать на позоръ цѣлаго народа, который бѣжитъ отъ погрома, какъ отъ чумы, и всю ночь валяется тутъ, на улицѣ, со своими пожитками...

И Рабиновичъ показалъ рукой на толпу мужчинъ, женщинъ и дѣтей, запрудившихъ улицу, среди которой они стояли втроемъ, въ темную ночь, подъ благовѣстъ колоколовъ... Бети съ интересомъ ждала, что скажетъ Гурвичъ. Тотъ положилъ руки на широкія плечи товарища и произнесъ:

— Послушайте, дорогой мой, васъ можно расцѣловать! Хорошо вы меня поняли, великолѣпно! Позоръ, говорите вы, валяться здѣсь, на улицѣ? Не знаю, для кого позоръ: для народа, который вотъ здѣсь валяется, или для тѣхъ, кто довелъ его до такого позора, ха-ха-ха?..

Чудеса! То же самое хотѣла только что сказать она, Бети, какъ-будто тотъ поймалъ ея мысль! Но поддакивать Гурвичу ей не хочется, ей неприятно, что тотъ правъ, а Рабиновичъ неправъ. Она хочетъ защитить его и вставляетъ свое слово:

— Господинъ Рабиновичъ, какъ видите, странный человѣкъ, но онъ въ этомъ не виноватъ. Онъ выросъ въ русскомъ городѣ и никогда не былъ среди евреевъ. Поэтому ему все кажется дикимъ, все равно, какъ если бы онъ былъ... боюсь сказать... если бы въ его жилахъ текла не еврейская кровь... (При этомъ она бросаетъ на Рабиновича влюбленный взглядъ, который Гурвичъ ловитъ и понимаетъ). Вы понимаете? Еврей, выросшій среди русскихъ!.. Чувствуетъ онъ, какъ еврей, а думаетъ, какъ русский... Мы съ нимъ все споримъ со времени нашего знакомства... (Опять влюбленный взглядъ на Рабиновича). Вы слышали, какъ онъ возмущался: „такая масса евреевъ бѣжитъ, куда глаза глядятъ“? А спросите его, гдѣ онъ былъ въ тысяча девятьсотъ пятомъ году, когда чернь била окна, ломала двери, уносила узлы съ товарами, а мы лежали на черда-

кахъ и въ безсильномъ гнѣвѣ скрежетали зубами и рвали на себѣ волосы, крошечныя дѣти плакали, а матери зажимали имъ рты... Я сама все это видѣла, сама слышала, сама все это прочувствовала, и теперь меня упрекаютъ, почему я бѣгу, куда глаза глядятъ! И кто? Не чужой, а мой же братъ!..

Рабиновичъ хотѣлъ уже отвѣтить Бети, но Гурвичъ помѣшалъ ему. Онъ только что свернулъ папироску и обратился къ товарищу со своей обычной улыбкой:

— Эхъ, коллега Рабиновичъ, братъ родной! Чего же вы хотѣли бы отъ этой толпы? Чудесь? Отъ этихъ бѣдныхъ, слабыхъ, оборванныхъ, забитыхъ, несчастныхъ, полуголодныхъ? Кто они? Богатыри? Герои? Маккавеи?...

Онъ хотѣлъ закурить свернутую папироску, но изъ-за вѣтра не могъ и продолжалъ съ еще большимъ жаромъ, но все съ тою же улыбкой:

— А если угодно,—да, скажу я вамъ: богатыри! Герои! Маккавеи! Посмотрите на эту толпу евреевъ, бѣдныхъ, слабыхъ, оборванныхъ, несчастныхъ, полуголодныхъ... Каждый изъ нихъ богатырь и герой!... Не смотрите на меня, милый Рабиновичъ, какъ на безумнаго, я съ ума не сошелъ! Они бѣгутъ, говорите вы, бѣгутъ, куда глаза глядятъ. Это имъ, послушайте, не впервые, ха-ха-ха! Каждый годъ въ это время они бѣгутъ... Какъ бѣжали ихъ отцы и отцы отцовъ, и какъ, можетъ быть, будутъ бѣжать ихъ дѣти и дѣти

дѣтей,—и все-таки они останутся тѣмъ, что они есть, пока не проснется сознание тѣхъ, кто ихъ гонить... Что, вамъ это не нравится? По-вашему, это не герои? По-вашему, это трусы? Что вы вертите носомъ?

Рабиновичъ хочетъ отвѣтить, но Гурвичъ уже не слушаетъ. Сказалъ свое и баста. Закуриваетъ, наконецъ, папироску и продолжаетъ:

— Хуже всего, послушайте, когда евреи, сами себя осмѣиваютъ, находятъ въ себѣ всяческіе недостатки. Не хотятъ они понять, эти полуевреи, что бѣжать сотни лѣтъ и не потеряться въ дорогѣ, — этого пока еще ни одинъ герой, кромѣ насъ, не могъ... Вы говорите: бѣжать позоръ... Э, послушайте, меня гонять,—такъ я бѣгу. Что же мнѣ дѣлать? Завтра перестанутъ гнать,—и я вернусь обратно. Ничего съ нами не подѣлаютъ, слышите! Насъ не уймутъ! И знаете, почему? Потому что мы—не страна, не государство, не народъ. Мы—идея, только идея!... Страну можно разорить. Государство можно завоевать. Народъ можно уничтожить. А идею? Что вы сдѣлаете съ идеей!?...

И пинскій юноша гордо поднялъ голову, а его умное энергичное лицо улыбалось и сіяло радостью, какъ у человѣка, который въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ себя счастливымъ и сильнымъ, или, какъ у героя, идущаго въ бой и увѣреннаго въ побѣдѣ... Вдругъ онъ вытянулъ шею, прищурилъ лаза, и вытирая большой выпуклый лобъ, сталъ

всматриваться въ темноту, точно увидѣлъ кого-то знакомаго.

— А-а? Послушайте, профессоръ нашъ тоже здѣсь?—воскликнулъ онъ и, забывъ про товарища и Бети, какъ-будто ихъ и на свѣтѣ не было, кинулся къ какому-то старичку, со сморщеннымъ, но улыбающимся лицомъ и длинной бородой. Старикъ сидѣлъ на тумбѣ, наклонивъ набокъ голову, и смотрѣлъ вверхъ, на небо, какъ-будто хотѣлъ тамъ что-то увидѣть...

— На что вы смотрите, господинъ профессоръ? Что видите тамъ?

Старикъ, котораго Гурвичъ назвалъ профессоромъ, повернулъ къ нему свое сіяющее лицо и погладилъ длинную бороду:

— Смотрю, когда же начнетъ свѣтать, ха-ха-ха!

И онъ разсмѣялся старческимъ смѣхомъ и, уже печальнымъ тономъ, добавилъ, взявшись за бороду:

— Видите эти сѣдые волосы? Пережилъ я уже два погрома, тысяча восемьсотъ восемьдесятъ перваго года и тысяча девятьсотъ пятаго, дожилъ до сѣдыхъ волосъ и вижу собственными глазами позоръ своего народа... Вотъ вамъ примѣръ народа безъ отечества и территоріи...

Онъ помолчалъ и прибавилъ все съ тѣмъ же сіяющимъ лицомъ:

— Я бы не ушелъ изъ дома,—будь, что будетъ! Пусть придутъ! Пусть возьмутъ меня!

Пусть сдѣлають со мной, что хотять! Но дѣти силою заставили меня бѣжать... Вотъ вамъ примѣръ народа, у котораго нѣтъ отечества, нѣтъ своего угла, ха-ха-ха...

И нельзя было понять, смѣется ли или плачетъ старикъ. Лицо улыбалось, а въ голосѣ слышны были слезы... Глаза сіяли, а слезы блестѣли на нихъ...

— Кто этотъ старикъ, котораго вы называли профессоромъ? — спросилъ потомъ Рабиновичъ товарища, а тотъ удивленно отвѣтилъ:

— Какъ? Вы его не знаете? Вѣдь, это, послушайте, нашъ профессоръ, нашъ знаменитый окулистъ, наиболѣе знающій глазной врачъ въ этомъ краѣ, если не одинъ изъ лучшихъ во всей странѣ. Да, нашъ профессоръ. Нашъ собственный, еврейскій профессоръ. Но не изъ тѣхъ, про которыхъ Гейне сказалъ:

Sechs und sechzig Professoren,
Vaterland, du bist verloren!

Нѣтъ, послушайте, это замѣчательная личность! Въ другой странѣ онъ сталъ бы міровой извѣстностью, а у насъ... бѣжить „куда глаза глядятъ“, ха-ха-ха!... Онъ когда-то читалъ лекціи въ здѣшнемъ университетѣ, но не долго, потому что когда надо было избрать его профессоромъ, — это было больше двадцати лѣтъ тому назадъ, — коллеги профессора предложили ему искупаться... Онъ, конечно, не согласился, а тѣ, разумѣется,

Мавр

прокатили его на вороняхъ... Да и въ самомъ дѣлѣ, чтобы человѣкъ, который не пьетъ ничего, кромѣ крови христіанскихъ младенцевъ на Пасху, читалъ лекціи въ храмѣ наукъ! Ха-ха-ха!...

Безумно дикимъ звучалъ этотъ громкій смѣхъ въ пасхальную ночь, которая, казалось, будетъ длиться безъ конца... Но вотъ смолкли колокола, и вдругъ откуда-то потянулъ свѣжій вѣтерокъ, который несъ радостную вѣсть толпѣ евреевъ, — *ночь прошла и близко, близко день...*

ГЛАВА XXV.

Гроза прошла.

Когда наступилъ день, евреи ожили: показались казаки, патрули ходили по всѣмъ улицамъ, и на первой страницѣ праздничныхъ газетъ, жирнымъ шрифтомъ былъ отпечатанъ успокоительный „приказъ“ губернатора въ самомъ энергичномъ тонѣ. Евреи поняли, что гроза миновала, что они могутъ спокойно разойтись по домамъ, каждый къ своему очагу.

Правда, случилось нѣсколько неприятныхъ инцидентовъ и даже дракъ. Но это были такія невинныя стычки, что еврей всего свѣта пожелали бы, чтобы всѣ предначертанные Богомъ погромы были не хуже. На одной улицѣ разбили стекла, буяновъ поймали и отвели въ участокъ. А въ одномъ переулкѣ изловили студента съ еврейскимъ носомъ и такъ избили, что еле живого отняли. Оказалось потомъ, что студентъ-то крещеный...

Извѣстіе, что студентъ крещеный, принесъ Давидъ вечеромъ уже послѣ праздниковъ, когда открыты были всѣ магазины, и евреи торговали свободно, чувствуя себя въ городѣ, „какъ въ Іерусалимѣ“.

— А что студентъ крещеный еврей,—сказалъ Давидъ, моя руки къ обѣду,—видно изъ того, что у него еврейская фамилія: Лapidусъ..

— Лapidусъ?! — воскликнули Бети и квартирантъ въ одинъ голосъ, вскочивъ съ мѣста, и стали такъ хохотать, что, глядя на нихъ, Давидъ и Сара также не могли удержаться отъ смѣха.

Это былъ первый смѣхъ въ домѣ за все время послѣ Пасхи. Съ тѣхъ поръ какъ возвратились съ вокзала послѣ той ночи, которой ни Шапиро ни квартирантъ не забудутъ во всю свою жизнь, никто въ домѣ не улыбался, не слышно было даже живого слова. Стѣснялись смотрѣть въ глаза другъ другу, словно всѣ вмѣстѣ совершили что-то скверное, о чемъ стыдно вспомнить...

Разумѣется, вину за бѣгство изъ дому сваливали другъ на друга. Давидъ первый заявилъ, что во всемъ виновата Сара. Онъ, Шапиро, сразу сказалъ, что пустяки, ничего не будетъ. Сара конечно, всплеснула руками. Она этого не снесетъ! Какъ можно такъ извращать чужія слова .

— Бети, и ты молчишь?

А отецъ, съ своей стороны, тоже призываетъ Бети въ свидѣтельницы:

— Ну, Бети, что ты на это скажешь?

— Бети, Бети! Оставьте Бети въ покоѣ! Бети ничего не знаетъ! Ничего! — отрѣзала Бети, у которой и безъ того тяжело на душѣ: начался для нея праздникъ такъ хорошо, а закончился такъ печально, такъ глупо!

Еще хуже чувствовалъ себя Рабиновичъ. Онъ былъ очень золъ на себя, готовъ былъ разорвать себя на части! Помимо того, что онъ не могъ простить себѣ, что далъ переубѣдить себя „людямъ-мухамъ“, которые вѣтерка боятся, и держался, какъ самый послѣдній трусъ; помимо того, что онъ пылалъ гнѣвомъ на своихъ братьевъ, которые унижаютъ себя тѣмъ, что допускаютъ сотнямъ или нѣсколькимъ тысячамъ низкихъ людей вводить себя въ заблужденіе,—его волновало всего больше то, что любимая имъ дѣвушка съ каждымъ днемъ все дальше и дальше уходитъ отъ него, и пропасть между ними съ каждымъ часомъ дѣлается шире и глубже... Онъ ясно видѣлъ, что она не только никогда не пойдетъ на то, чтобы ради него оставить свое еврейство,—онъ боялся даже, что, когда онъ ради нея порветъ со всѣмъ своимъ прошлымъ, сдѣлавъ надъ собой усиліе,—что впрочемъ такъ же трудно, какъ перенести домъ на плечахъ,—что она и тогда не проститъ ему принадлежности къ народу, который на продолженіи столѣтій причинялъ и продолжаетъ причинять столько страданий и униженій евреямъ...

Но вотъ засмѣялась Бети, вотъ засверкали ея красивые бѣлые зубы, вотъ озарились милой улыбкой ея бархатистые глаза, той лукавой улыбкой, которую онъ увидѣлъ въ первый разъ, когда пришелъ сюда нанимать комнату,—и разсѣялись тучи, отлетѣли мрачныя мысли, будто ихъ и не было... Въ эту минуту онъ готовъ забыть все на свѣтѣ. Нѣтъ ничего такого, чего бы онъ не сдѣлалъ для нея. Нѣтъ ничего такого, что могло бы удержать его! Сегодня—конецъ! До какихъ же поръ онъ будетъ носиться со своей тайной? Шутка должна же когда-нибудь кончиться!...

Сегодня вечеромъ онъ скажетъ ей... Нѣтъ сначала онъ поговоритъ съ отцомъ или съ матерью. Такъ приличнѣе. И уже потомъ, когда они скажутъ, что онъ можетъ поговорить съ дочерью (конечно, они такъ скажутъ), онъ откроетъ Бети наединѣ всю правду, и они вмѣстѣ подумаютъ, что дѣлать...

Давно уже въ домѣ Шапиро не было такъ весело, какъ въ этотъ вечеръ. Давно уже не было у нихъ такъ оживленно за ужиномъ. Всѣ говорили, всѣ смѣялись, а больше всѣхъ—Бети съ квартирантомъ. Они рассказали, кто такой Лapidусъ, рассказали и объ ихъ встрѣчѣ въ театрѣ, объ ихъ разговорѣ и обо всемъ, что было пережито за послѣдніе дни. Все, что раньше казалось такимъ печальнымъ, теперь приняло комичный видъ и невольно вызывало смѣхъ.

— Слава Богу,—какъ бы оправдывалась Сара,— слава Богу, что можно смѣяться. Дай Богъ, чтобы обо всемъ можно было рассказывать такъ весело.

Поужинавъ, семья долго еще оставалась за столомъ, весело разговаривая. И когда хозяинъ, полусонный, держа руку за пазухой, всталъ изъ-за стола, чтобы отправиться во-свояси, квартирантъ совсѣмъ неожиданно остановилъ его:

— Господинъ Шапиро!—обратился Рабиновичъ къ хозяину и сейчасъ же почувствовалъ, что языкъ у него заплетается... Онъ откашлялся:— Господинъ Шапиро... прошу васъ, т.-е., просилъ бы васъ, если вамъ угодно, т.-е., если у васъ есть время... потрудитесь ко мнѣ... на нѣсколько минутъ... Мнѣ надо вамъ кое-что сказать... мнѣ надо поговорить съ вами объ одномъ важномъ и серьезномъ дѣлѣ...

Сонное лицо Шапиро въ одну секунду ожило и засіяло. Онъ вынулъ руку изъ-за пазухи, положилъ ее въ карманъ и, глядя на квартиранта сверху внизъ, будто бы равнодушно, сказалъ:

— Поздновато уже, но разъ вы говорите, что дѣло важное и серьезное, пойдѣмте, послушаемъ...

Разумѣется, Давидъ очень хорошо зналъ, что это за „важное и серьезное дѣло“. Онъ уже давно ждалъ этого, но злополучная Пасха помѣшала.

Счастливымъ отецъ былъ доволенъ не только

тѣмъ, что Богъ благословилъ его такимъ хорошимъ женихомъ для дочери, но еще и тѣмъ, что Рабиновичъ обратился къ нему раньше, чѣмъ къ другимъ. „Хорошій человѣкъ сразу чувствуется“, думаетъ Давидъ, идя съ квартирантомъ къ нему въ комнату, склонивъ голову, какъ человѣкъ, обремененный массою мыслей, но довольный и счастливый...

А о Сарѣ и говорить нечего! Наконецъ - то она дождалась этого счастья! Не предвидѣла развѣ Сара уже давно, что такъ это и будетъ? Не предвидѣла развѣ она, что это женихъ, суженый? Замѣчательная партія, не сглазить бы?

Сара помогаетъ Семкѣ раздѣваться и не рѣшается взглянуть на дочь. А Бети? Не будемъ говорить о ней. Ничего не будемъ говорить. Слишкомъ священны эти минуты, когда возлюбленный собирается говорить съ отцомъ, и выходитъ у него не то, что онъ хочетъ сказать, и какъ бы ни были банальны и глупы эти слова, которыя каждый молодой человѣкъ произноситъ разъ въ жизни, для любящей они звучатъ, какъ лучшая музыка, и остаются у нея въ памяти навѣки.

Бети взяла книгу и сѣла поближе къ лампѣ, будто бы читать. Но замѣтивъ или, вѣрнѣе, почувствовавъ, что мать глядитъ на нее и благословляетъ, она не выдержала. Дѣти не любятъ,

когда надъ ними слишкомъ дрожать,—непріятно! Бети встала, буркнула матери: „покойной ночи!“ и ушла къ себѣ въ комнату.

Но малышъ Семка не хотѣлъ итти спать, пока мать не объяснитъ ему, во-первыхъ, зачѣмъ репетиторъ позвалъ отца къ себѣ въ комнату? А во-вторыхъ, почему Бети такъ покраснѣла? И еще: почему она точно разсердилась и ушла?

— Ну, спать, спать! Все будешь знать, скоро состаришься!—говоритъ ему Сара, притворяясь сердитой, и тащитъ съ него сапоги. Но Семку не проведешь! Онъ очень хорошо видитъ по глазамъ матери и понимаетъ по ея вздохамъ, что сегодня она что-то черезчуръ покладиста... „Что бы такое попросить у матери? Теперь вѣдь она все сдѣлаетъ, все дастъ, не откажетъ“...

Не успѣлъ еще Давидъ какъ слѣдуетъ усѣсться на единственный стулъ въ комнатѣ квартиранта; только что началъ квартирантъ длинное предисловіе о важности своего дѣла; еще не кончила Сара раздѣвать Семку,—какъ раздался сильный продолжительный звонокъ: такъ звонить позволяетъ себѣ только полиція, да и то не вездѣ... И не далѣе, чѣмъ черезъ минуту, квартира Шапиро была полна знакомыми и незнакомыми людьми: околоточными, жандармами, чиновниками и...

— Господи, Господи! Опять обыскъ? Что за наказаніе Божье!...

.....

Было далеко за полночь, когда, послѣ тщательнаго обыска и допроса, забрали хозяина, славутскаго мѣщанина Дувида Пинхусовича Шапи-ро, его дочь Басю Дувидовну, малолѣтняго сына Шлейму Дувидовича и квартиранта шкловскаго мѣщанина, ученика зубоврачебной школы, Герша Мовшевича Рабиновича. Въ домѣ осталась одна Сара, которая плакала, просила, умоляла не оставлять ее одну, забрать и ее, она не снесетъ этого, она съ ума сойдетъ, лишитъ себя жизни,—но все было напрасно...

Когда всѣ разъѣхались, и Сара осталась одна въ четырехъ стѣнахъ, она заломила руки, упала на кровать и лишилась чувствъ...

Хотя Сара дала себѣ слово никогда въ жизни не переступить больше порога святоши-золовки, бѣжавшей со своими дѣтьми отъ погрома, даже не предупредивъ родного брата, но, когда она очнулась отъ обморока и вспомнила, что произошло, то, какъ только разсвѣло, бросилась къ Тойбѣ Фамиліантѣ и ея мужу за п мощью. Было еще рано. Шлойма Фамиліантѣ со всей семьей еще спали, и нельзя было добраться до него такъ просто, какъ хотѣлось Сарѣ. Встала пока только прислуга, чистившая и убиравшая

комнаты. Сара насилу допросилась, чтобы ее пустили, и несчастная мать излила свое горе передъ удивленными и ничего не понимавшими людьми, плача горькими слезами и ломая руки. Услышавъ, что кто-то плачетъ, дочери Фамиліанта вскочили, набросили на себя, что попало, и вышли узнать, въ чемъ дѣло.

— Смотрите-ка, тетя Сара! Что же вы стоите въ кухнѣ? Зайдите въ комнаты. Что съ вами? Что случилось?

— Ой, горе мнѣ! — воскликнула Сара, заливаясь слезами.— Всѣхъ убили, всѣхъ до одного: и дядю, и Бети, и Семку, и квартиранта...

Услышавъ слово „убили“, дѣвицы бросились будить отца и мать:

— Вставайте скорѣй! Несчастье случилось,— убили дядю Давида, Бети, Семку и квартиранта!

— Гдѣ? Когда? Кто?... Господи! Спаси и помилуй!

Съ тѣхъ поръ, какъ Тойба замужемъ (а тому уже не мало лѣтъ), ее никто еще не видалъ безъ парика. Теперь она соскочила прямо съ постели, безъ парика, забывъ надѣтъ искусственные зубы, набросила шаль, выбѣжала, испуганная, къ золовкѣ и, рыдая, произнесла нараспѣвъ, точно читая молитву:

— Горе мнѣ! Моего брата, моего Давида убили! Такого брата, такого брата убили!..

— Кто же вамъ говоритъ: убили?—бросилась къ ней Сара.—Тойба, голубушка, Богъ съ вами!

Не его убили, меня убили! Его забрали, вашего брата, въ полицію забрали! Его и обоихъ дѣтей моихъ, и квартиранта,—несчастливая я, что я буду дѣлать?

Шлойма Фамиліантъ, человѣкъ неторопливый, не спѣша облачился въ халатъ, надѣлъ на ноги ночныя туфли и величественно вышелъ къ Сарѣ, прикрывая рукою близорукія глаза,

— Что-что-что? Что здѣсь дѣлается?—съ важною произнесъ онъ, выпятивъ брюшко и по обыкновенію ни на кого не глядя. А когда онъ узналъ, въ чемъ дѣло, то прежде всего напалъ на золовку и сдѣлалъ ей внушеніе, какъ подобаетъ богачу.

— Все ваши дѣла!—говорилъ сердито Шлойма Фамиліантъ, расхаживая, заложивъ руки назадъ и прислушиваясь къ собственному голосу, который казался ему очень пріятнымъ.—Ваши дѣла! Гимназіи! Мальчишки! Товарищи!.. Еврей всегда долженъ помнить, что онъ подъ гнетомъ, и не долженъ лѣзть къ русскимъ, быть съ ними за панибрата, не долженъ жалѣть бѣдныхъ мальчиковъ, учить съ ними ариѳметику да географію! (Намекъ на квартиранта).

Сара согласна съ шуриномъ. Но что же ей дѣлать? Что ей теперь дѣлать? Надо спасать мужа и дѣтей отъ бѣды, отъ напасти, отъ ниспосланнаго Богомъ испытанія... А спасти ихъ можетъ только онъ!

— Я?—спрашиваетъ удивленно Фамиліантъ,

пожимая плечами и тыча себя пальцемъ въ грудь.—Чѣмъ я могу помочь?

— Какъ же!—плачетъ Сара.—У васъ такое имя! Вы дѣлаете такія дѣла! Вы оказываете такъ много услугъ совсѣмъ чужимъ людямъ! Вы человекъ умный! Вы на хорошемъ счету у начальства! Вы лично знакомы съ губернаторомъ!..

Шлойма Фамилиантъ растерялся отъ такой массы похвалъ и даже кашлянулъ себѣ въ бороду. Ничто ему такъ не льстило, какъ то, что онъ „лично“ знакомъ съ губернаторомъ. Хотя, сказать правду, это было не совсѣмъ вѣрно: знакомъ-то онъ былъ, но не съ губернаторомъ, а съ вице-губернаторомъ и не „лично“, а черезъ секретаря, который нѣсколько разъ бралъ у него очень солидныя пожертвованія на благотворительные концерты, спектакли, танцевальныя вечера и т. д. Шлойма попросилъ золовку сѣсть и велѣлъ подать чай. Но Сара и слышать не хотѣла ни о чаѣ, ни о томъ, чтобы посидѣть. Ея душа была тамъ, съ ея близкими и дорогими. И, хотя она не знала еще хорошенько, въ чемъ ихъ обвиняютъ и что за наказаніе имъ угрожаетъ, она чувствовала, сердце ей подсказывало, что на нихъ надвинулось большое несчастіе, и она не отступала отъ шурина до тѣхъ поръ, пока тотъ не одѣлся и не поѣхалъ „спасать“ ея мужа и дѣтей.

Но этимъ она не ограничилась. Отъ шурина она пошла къ хозяевамъ мужа и застала въ ма-

газинѣ самого хозяина съ помощниками, занятыми кто съ покупателями, кто письмоводной частью, кто подсчетомъ денегъ, и ей пришлось нѣсколько постоять, пока ее замѣтили.

Она почувствовала себя глубоко оскорбленной, видя, какъ люди сухи и равнодушны и заняты каждый собой и своими личными интересами въ то время, какъ ея мужъ и дѣти находятся, Богъ знаетъ гдѣ!.. Наконецъ, приказчики обратили на нее вниманіе. „Что скажете?“ Ей надо хозяина. „Да, вѣдь, вотъ хозяинъ сидитъ“. Голова у нея кругомъ идетъ, что она ничего не видитъ...

На главномъ мѣстѣ за кассою сидѣлъ человекъ лѣтъ шестидесяти въ серебряныхъ круглыхъ очкахъ и съ большой точно приклеенной бородой. Это и былъ хозяинъ. Онъ смачивалъ концы пальцевъ и считалъ деньги. Еле-еле взглянулъ на нее сквозь очки: „Что скажете?“ Сара съ плачемъ начала рассказывать о постигшемъ ихъ несчастіи.

Не прерывая работы, хозяинъ сказалъ:

— А, опять облава? Гм... „право-жительства“? Комедія съ ними...

— Чистая комедія!—поддержалъ хозяина его помощникъ, франтъ въ бѣлыхъ ботинкахъ. Онъ стоялъ возлѣ, помогая считать деньги лишь глазами и облизываясь при этомъ, какъ человекъ, у котораго разгорается аппетитъ при видѣ того, какъ другой ѣсть...

— Чистая комедія!..

Это уже раздосадовало Сару, задѣло за живое: на нее обрушилось такое несчастье, на нее излился гнѣвъ Божій,—а для нихъ это—„комедія“!.. Но она боялась отвѣтить имъ, какъ слѣдовало бы. Все же хозяйева, хлѣбъ у нихъ ѣшь, хотя Давидъ за этотъ кусокъ хлѣба отдаетъ имъ все здоровье. Гдѣ найдешь еще такого сумашедшаго, который такъ служилъ бы имъ и тѣломъ и душой, точно только для нихъ и живетъ? Сара сдержалась, насколько возможно было, и мягко объяснила, что, можетъ быть, это и въ самомъ дѣлѣ „чистая комедія“... Но у нея душа изнываетъ, какъ она вспомнитъ, что забрали мужа и дѣтей (о квартирантѣ она въ эту минуту забыла). Если бы дѣло было только въ „правѣ-жительства“, она бы тоже смѣялась, тоже сказала бы, что комедія... Но на этотъ разъ „право-жительства“ не при чемъ... Теперь другое несчастье... мальчишка ихъ сосѣдей, котораго нашли убитымъ...

— Ну?!

И оба, какъ хозяинъ, считавшій деньги, такъ и франтъ въ бѣлыхъ ботинкахъ, помогавшій считать лишь глазами, бросили работу и стали спрашивать жену бухгалтера подробно, какъ и что. Когда Сара передала имъ все въ точности и повторила еще разъ все сначала, хозяинъ снялъ очки, деньги, которыя онъ считалъ, куда то незамѣтно исчезли, и онъ обратился сначала къ помощнику, а потомъ уже къ женѣ бухгалтера.

— Фи, какая исторія! Некрасивая исторія, слышите ли! Скверное дѣло! Очень скверное дѣло!

Франтъ въ бѣлыхъ ботинкахъ оперся на столъ, положилъ ногу на ногу и, играя тоненькой золотой цѣпочкой, висѣвшей на жилетѣ (тоже бѣломъ, какъ и ботинки), вторилъ хозяину,—да да, дѣйствительно некрасивая исторія, скверное дѣло!..

Но Сарѣ отъ этого ничуть не легче, ей это и самой извѣстно. Она проситъ ихъ постараться что-нибудь сдѣлать, спасти ихъ отъ несчастья!.. Нависла надъ ней бѣда... И у Сары хлынулъ новый потокъ слезъ...

— Не надъ вами только, надъ всѣми нами, надъ всѣми евреями нависла бѣда...—говоритъ ей хозяинъ, зоветъ своихъ сыновей и зятей и рассказываетъ, что арестовали ихъ бухгалтера Шапиро съ дѣтьми и подозрѣваютъ въ убійствѣ Щигрюка!..—Что вы на это скажете?

Сара была поражена, увидѣвъ, что хозяинъ съ сыновьями, приказчики и даже покупатели, со всѣмъ чужіе люди,—всѣ собрались въ кучу и всѣ толкуютъ объ одномъ, объ ея горѣ. Но хоть бы одинъ изъ нихъ тронулся съ мѣста, побѣждалъ бы спасти ея мужа и дѣтей. Нѣтъ! Наоборотъ, она видитъ, что они на это какъ-будто и рукой махнули... Кое-кто изъ нихъ даже смѣется! „Ха-ха-ха, идиоты!“—„Говорю вамъ, идиоты!“—опять смѣется первый, а другой не хочетъ поддакивать: „Злодѣи, а не идиоты!..“ Одинъ го-

ворить: „идіоты“, другой: „злодѣи“,—ей-то что отъ этого?.. И Сара опять пристаеъ къ нимъ съ плачемъ: „Евреи, пожалѣйте же, пожалѣйте!“ Но ей не даюъ плакать. Ей говорятъ, что она женщина и ничего не понимаетъ, что все это пустяки, не стоящіе вотъ этого (и показываютъ кончикъ мизинца). Но—стыдъ, позоръ, что насъ, евреевъ, могутъ заподозрить въ такомъ преступленіи въ наше время, когда есть желѣзныя дороги, телефоны, фонографы и кинематографы!..

— Послушайте меня, мадамъ, идите домой и будьте покойны,—говорить ей самъ хозяинъ и смотритъ на нее сквозь свои круглыя очки, которыя онъ для этого еще разъ надѣлъ.—Слышите, мадамъ, совсѣмъ не волнуйтесь и не бойтесь, это пустяки, изъ этого ничего не выйдетъ. Смѣшно даже подумать! Всѣ знаютъ вашего мужа, знаютъ вашихъ дѣтей. Не только чело-вѣка—мухи они, кажется, не забидятъ! Это только игра, махинація черносотенцевъ... Не удался имъ въ эту Пасху погромъ, такъ они думаютъ, можетъ быть, теперь удастся... Вздоръ, ничего не будетъ! Ихъ допросятъ и отпустятъ. Я вамъ говорю, я! Ручаюсь вамъ, что ничего не будетъ... Только стыдъ, позоръ, вотъ это хуже всего!..

Хоть убейте ее, не понимаетъ Сара, почему позоръ хуже ея несчастья? Она прощаетъ имъ позоръ, беретъ его на себя,—лишь бы ей верули мужа и дѣтей!.. И она не перестаетъ пла-

кать, рыдать, ломать руки, бѣгать отъ одного къ другому, искать помощи, просить, умолять... Домой итти ей? Какъ можетъ она итти домой? Она скорѣе сквозь землю провалится! Куда угодно, только не домой!..

— Боже Всемогущій! Помоги же, Ты, несчастной матери! Не дай совершиться несправедливости!..

ГЛАВА XXVI.

У слѣдователя.

Слезы бѣдной женщины не пропали даромъ. По одиночкѣ стали возвращаться арестованные домой. Сначала вернулся Семка, на извозчикѣ съ городовымъ. Увидѣвъ Семку одного, Сара чуть не умерла.

— Семочка! Семуничка! Бѣдный мой! Гдѣ же папаша? Гдѣ Бети? Гдѣ квартирантъ?

За каждымъ словомъ слѣдовалъ поцѣлуй, въ щеку, въ губы, въ глаза. Ребенокъ рвался изъ рукъ матери:

— Довольно, мамаша, отпусти меня,—ой, задушишь!

Семка рассказалъ матери, какъ его везли, какъ привезли и что спрашивали и что онъ отвѣчалъ. Все рассказалъ ей Семка, размахивая руками, какъ взрослый.

Когда ихъ увозили,—разсказываетъ Семка,—ихъ разсадили на трехъ извозчикахъ. Отца отдѣльно, квартиранта отдѣльно и его съ Бети от-

дѣльно, на одномъ извозчикѣ. Тотъ, въ синихъ очкахъ, и Бети сидѣли рядомъ, а онъ съ двумя околоточными напротивъ, и такъ они ѣхали, ѣхали, ѣхали... Потомъ остановились и взяли еще извозчика. Онъ съ однимъ околоточнымъ пересѣли на него, и сестра съ другимъ околоточнымъ и тѣмъ, въ синихъ очкахъ, поѣхали въ одну сторону, а онъ съ первымъ околоточнымъ въ другую, и опять ѣхали, ѣхали, ѣхали... Потомъ его подвезли къ большому каменному дому, освѣщенному множествомъ фонарей, ввели въ отдѣльную комнату и усадили на длинную скамью, гладкую, но твердую, сказали, чтобы онъ легъ на скамейку спать и оставили одного. Но какъ можно спать безъ подушки? Все же онъ легъ и лежалъ, лежалъ, лежалъ, пока, видно, не заснулъ. А когда проснулся, было уже утро, и возлѣ него стоялъ околоточный, уже не тотъ, а другой, взялъ его и ввелъ въ большую комнату, гдѣ висѣлъ портретъ государя. Тамъ сидѣлъ человѣкъ съ длинными усами въ эполетахъ, можетъ быть, офицеръ, а можетъ быть, и генераль, а съ нимъ другой, ужъ совсѣмъ безъ усовъ и безъ эполетъ, но съ большимъ чубомъ на головѣ, который виситъ у него и болтается, когда онъ пишетъ. Тотъ, съ эполетами, допрашивалъ его, а другой, съ чубомъ, записывалъ каждое слово, и каждый разъ, какъ онъ пишетъ, чубъ дрожить у него. А разспрашивалъ его тотъ, генераль, обо всемъ,—какъ его зовутъ, сколько

ему лѣтъ, гдѣ учится, какъ зовутъ отца, какъ зовутъ мать, сестру, квартиранта,—все, все... А потомъ началъ спрашивать, знаетъ ли онъ Кириллиху, мужа ея, и Володьку зналъ ли онъ, и какъ онъ игралъ съ Володькой, и когда онъ съ нимъ игралъ въ послѣдній разъ, и приходилъ ли Володька къ нимъ домой, и давали ли ему отецъ или мать ѣсть чего-нибудь или игрушекъ или еще чего?

— Ну, а ты что сказалъ?—спрашиваетъ Сара и ломаетъ руки,—что за умница ребенокъ, говорить, какъ взрослый, весь въ отца!...

— Что же мнѣ сказать?—отвѣчаетъ Семка, размахивая руками.—Я сказалъ ему всю правду: какъ меня зовутъ, сколько мнѣ лѣтъ, и гдѣ учусь, и что Кириллиху и ея мужа я знаю хорошо, и Володьку я хорошо зналъ, были съ нимъ товарищами, но дома у нихъ я никогда не бывалъ, и что играли мы съ нимъ въ лошадки и въ мячъ, а въ послѣдній разъ мы играли съ нимъ около праздника Эсѳири, и что у насъ въ домѣ Володька тоже никогда не бывалъ, и отецъ его никогда не видалъ, но квартирантъ зналъ его больше всѣхъ, потому что онъ съ нимъ занимался... Ну, тогда они стали спрашивать меня про квартиранта, какъ и что и когда?

— Ну-ну?

— Ну, ничего. Я опять рассказалъ имъ всю правду,—что квартирантъ тоже его прежде не зналъ и никогда бы съ нимъ не занимался, если

бы я не рассказалъ своей сестрѣ, что у Кириллихи есть мальчикъ, котораго зовутъ Володькой, и у него есть отчимъ, который, когда напьется, бьетъ его, и что Володька учится въ школѣ, но не съ кѣмъ ему готовить уроки,—все, все рассказалъ, какъ было, и еще, какъ я и сестра сказали квартиранту о Володькѣ, который хочетъ учиться и некому ему помочь, и отчимъ его бьетъ, и какъ квартирантъ началъ къ нему ходить и заниматься съ нимъ...

— Это все?

— Чего же ты еще хотѣла? Потомъ начали меня спрашивать о квартирантѣ еще разъ, что онъ говорилъ и что рассказывалъ про Володьку?

— Ну-ну?

— Такъ я имъ опять все рассказалъ, всю правду,—что квартирантъ очень хвалилъ Володьку, очень, молъ, славный мальчикъ, у него, молъ, еврейская голова...

Сара, какъ ни была опечалена, не могла удержаться отъ улыбки:

— Такъ-таки этими словами ты и сказала: „еврейская голова“?

— А то что? Выдумывать я буду, что ли?—говорить Семка съ гордостью, какъ его отецъ.—Потомъ меня начали спрашивать, о чемъ квартирантъ шептался съ отцомъ передъ Пасхою, и что онъ дѣлалъ въ подрядѣ, гдѣ мацу пекутъ? И что ѣли за трапезою?

— Что ѣли?—спрашиваетъ, удивленно Сара.

— Обо всемъ меня спрашивали и я рассказалъ все, что знаю, всю правду: чтобы квартирантъ шептался съ отцомъ, этого, говорю, не знаю, а то, что квартирантъ былъ въ подрядѣ помогать печь мацу, это я знаю, а за пасхальною трапезою, говорю, ѣли много вкусныхъ вещей, мацу, и картофель, и хрѣнъ, и яйца, и аладьи, и клецки, и блинчики...

Нѣтъ, Сара больше не можетъ, она обнимаетъ Семку и цѣлуетъ и ласкаетъ его: „Бѣдный мой мальчикъ!“

Семка, видимо, и самъ доволенъ собою, тѣмъ, какъ онъ хорошо говорилъ. Онъ то и дѣло припоминаетъ что-нибудь новое, перескакиваетъ съ одного на другое и рассказываетъ матери, чтобы та знала:

— Да, мамаша, забылъ тебѣ еще сказать, что меня спрашивали о крови.

— О крови?—испуганно говоритъ Сара.

— Да, о крови. Что мы дѣлали на Пасху или передъ Пасхою съ кровью?

— Съ какой кровью?—въ ужасѣ спрашиваетъ Сара.

— А я развѣ знаю? Я тебя спрашиваю, что за кровь?—говоритъ Семка, разводя руками, какъ взрослый.

— Ну, что же ты имъ сказалъ?

— Что же мнѣ имъ говорить? Я сказалъ, что не знаю ни о какой крови.

— Ну, а они что сказали?

— Что имъ говорить? Не бойся, говорятъ, рассказывай, рассказывай, мы никому объ этомъ не скажемъ...

— Ну, что же ты имъ сказалъ?

— Что же мнѣ имъ говорить? Я не знаю, говорю, ничего не знаю.

— Ну, а они, что?

Семка начинаетъ уже сердиться, какъ отецъ, да къ тому же онъ голоденъ. Со вчерашняго вечера ничего не ѣлъ. И онъ начинаетъ кричать, какъ отецъ, когда разсердится:

— Они говорили! Ты говорил! И такъ безъ конца! Я ѣсть хочу!

— Горе мнѣ!—спохватывается Сара и бѣжитъ къ шкафу дать чего-нибудь поѣсть ребенку. Въ эту минуту входитъ Давидъ, и Сара ужъ совсѣмъ не знаетъ, что дѣлать: дать ли раньше Семкѣ поѣсть, или радоваться и благодарить Бога, что и мужа освободили? Или, горевать что нѣтъ еще дочери? Она несмѣло спрашиваетъ мужа:

— А гдѣ же Бети? Гдѣ квартирантъ?

— Какъ? Развѣ ихъ еще нѣтъ?—удивляется Давидъ, оглядываясь по сторонамъ.—А я думалъ, они давно здѣсь...

Жаль! Давидъ прибѣжалъ такой веселый, такой счастливый, какъ-будто бы принесъ съ собой Богъ знаетъ какую радостную вѣсть... Но то, что дѣтей еще не было,—отравило ему радость,

Сара смотритъ на него и благодаритъ Бога, что хоть мужъ пришелъ и такой еще веселый... Разказать ему, что за ночь и что за утро она пережила? Или спросить его раньше, что было съ нимъ?..

Но Давидъ не даетъ ей долго думать. Онъ умываетъ лицо и руки, какъ-будто бы вернулся съ пожара или съ похоронъ:

— Ну, и ночь! Ну, и утро! Вотъ испытаніе! Володька Щигрюкъ! И не снилось даже!

И Давидъ начинаетъ рассказывать, что онъ пережилъ въ эту ночь... Жаль только, что нѣтъ еще Бети и квартиранта. Будь они дома, онъ могъ бы все это разказать съ удовольствіемъ. А теперь рассказываетъ кое-какъ. Говоритъ и каждую минуту обрываетъ, встаетъ, смотритъ въ окно и снова рассказываетъ...

Въ первую минуту, какъ его забрали,—рассказываетъ Давидъ, и ему можно повѣрить (передъ кѣмъ ему тутъ хвастать? Предъ женою?),—это такъ же его тронуло, какъ прошлогодній снѣгъ,—ну, ни капельки! Потому что онъ зналъ, что все дѣло „выѣденнаго яйца не стоитъ“.

Кромѣ того, у него, понимаете ли, свой взглядъ на это,—теперь не то, что было когда-то; тогда еврей былъ ничѣмъ, а теперь есть законъ, судъ, прокуроръ, справедливость, газеты... Говорите, что хотите,—это все же не то, что когда-то. въ

старину... А съ другой стороны, будь онъ даже „трусъ по природѣ“, ему тоже нечего бояться, онъ знаетъ, что чистъ, какъ кристаллъ... Пусть у него дѣлаютъ семнадцать обысковъ, пусть его арестовываютъ восемнадцать разъ, пусть газеты неистовствуютъ, пусть кричатъ „ритуаль“, „ритуаль“,—кого онъ боится? Невиновенъ—и все тутъ! Что, развѣ не такъ?

То же самое онъ и имъ сказалъ. Такъ-таки тѣми же словами и сказалъ имъ онъ, Давидъ Шапиро, когда его взяли на „допросъ“. У него не только не было вида человѣка, которому есть чего бояться,—наоборотъ, онъ держался такъ твердо, такъ гордо, какъ-будто онъ *самъ* обвинялъ, а *не его* обвиняли...

— Чего вы хотите?—спросилъ онъ послѣ того, какъ ему сказали, въ чемъ его подозрѣваютъ.— Вамъ нуженъ непременно „ритуаль“? Нѣтъ, это вамъ не удастся! Во-первыхъ, у евреевъ нѣтъ „ритуала“. Во-вторыхъ, напрасно трудитесь: это не старья времена... Теперь не заставите меня сказать то, что *вы* хотите, не заставите меня подписаться подъ тѣмъ, что *вы* напишете!.. Все это возможно было сто лѣтъ тому назадъ, а не теперь... Теперь есть законъ, есть судъ, есть прокуроръ...

— Оставь законъ и прокурора, — прервали его.— Скажи намъ лучше, какъ, когда и гдѣ былъ убитъ мальчикъ твоихъ сосѣдей, Володя Щигрюкъ?

— Что за сосѣди? Что за мальчикъ?—закричалъ на нихъ Шапиро.—Я не знаю никакихъ Володей! Я не знаю никакого Щигрюка! Оставьте меня въ покоѣ! Вы хотите засадить меня въ тюрьму? Засадите! Хотите создать дѣло? Создайте! Я не боюсь, потому что я чистъ! Чистъ, какъ золото! Еще разъ вамъ говорю и повторяю это десять тысячъ разъ, что Володю Щигрюка я никогда и въ глаза не видалъ! Я знаю только, что живетъ возлѣ меня сосѣдъ, котораго зовутъ Кирилломъ, и что у его жены былъ мальчикъ отъ перваго мужа, Володька...

— Ага! Такъ ты уже знаешь, что былъ на свѣтѣ Володька?—прерываютъ его.

— Конечно, знаю. Почему мнѣ не знать?—отвѣчаетъ имъ Шапиро, смѣясь.—Большая честь! Я, знаю, что у Кириллихи былъ сынъ Володька, котораго отчимъ билъ немилосердно, когда напивался. И что Володьку этого нашли убитымъ недалеко отъ меня,—это я тоже знаю. А больше ничего не знаю. Ни-че-го!

При этомъ Давидъ Шапиро провелъ рукою, какъ ножомъ обрѣзалъ, и былъ увѣренъ, что только потому, что онъ, Шапиро, былъ съ ними такъ строгъ, его и оставили въ покоѣ...

Конечно, у него взяли подписку о невыѣздѣ изъ города.

— Я дамъ вамъ хоть тысячу расписокъ!—сказалъ Шапиро, радуясь своей свободѣ и гор-

дясъ тѣмъ, что только такой человѣкъ, какъ онъ, Давидъ Шапиро, съ его краснорѣчіемъ, могъ такъ быстро вырваться изъ ихъ рукъ...

— Другой на моемъ мѣстѣ посидѣлъ бы порядкомъ, пока услышалъ бы желанное: „вы свободны!“

И это отъ того, что у него нѣтъ привычки бояться и дрожать предъ полиціей.

— Разъ я знаю, что чистъ, то чего же мнѣ бояться? Что, развѣ не такъ?

— Такъ, такъ,—отвѣчаетъ ему Сара и не перестаетъ вмѣстѣ съ нимъ поглядывать въ окно.— Конечно ты правъ, что и говорить. Но что за исторія, Бети все еще нѣтъ? И квартиранта нѣтъ. Чего ихъ держатъ такъ долго?

— Кто же тебѣ сказалъ, что ихъ держатъ?— говоритъ Давидъ съ видомъ героя.— Я тебѣ все объясню, и ты увидишь, что я, слава Богу, на вѣрномъ пути. Что касается квартиранта, то вообще нечего волноваться. Рабиновичъ—человѣкъ спокойный. Повѣрь мнѣ, онъ могъ оттуда пойти прямо въ зубоврачебную, или повстрѣчаться съ товарищами и заболтаться съ ними...

— Да,—но Бети? Горе мнѣ! Не случилось ли чего...

— Уже? Хочешь накаркать?—упрекаетъ ее Давидъ, а самъ насилу сидитъ на мѣстѣ.

— Какъ ты думаешь?—говоритъ онъ Сарѣ немного погодя, совсѣмъ уже другимъ тономъ.—

Не сбѣгать ли мнѣ къ сестрѣ? Можетъ быть, она тамъ?

— Съ ума она сошла?—отвѣчаетъ Сара, не потому, что хочетъ сказать мужу, не дай Богъ, что-нибудь плохое, а просто потому, что здравый смыслъ подсказываетъ ей, что, если бы дочь послѣ такой ночи пришла не домой, а къ тетѣ Тойбѣ, то ее слѣдовало счесть за сумасбродку, или... Но Давиду не сидится. Что за привычка у жены всегда перечить! Вотъ возьметъ онъ, ей на зло, да пойдетъ къ сестрѣ, и она увидитъ, что вернется не одинъ, а съ дочерью!

— Что ты на это скажешь?

— Дай Богъ! Твоими бы устами, да медъ пить!..

Весь день бѣдные отецъ и мать бѣгали отъ одного къ другому, обращались за протекціей, искали знакомствъ, обивали пороги въ такихъ мѣстахъ,—„гдѣ ихъ пра-прабабушка никогда не бывала“, говорили съ людьми, — „которыхъ до этого даже во снѣ не видали“. Изъ силъ выбились. Сара охрипла даже. Вотъ уже темнѣетъ, а что они узнали? *Что квартиранта подъ усиленнымъ конвоемъ перевели въ тюрьму...* А о дочери—никто ничего не знаетъ. Никто не можетъ имъ сказать, гдѣ она и что съ нею? . . .

ГЛАВА XXVII.

У волка въ лапахъ.

— Вотъ мы и пріѣхали...—сказалъ человѣкъ въ синихъ очкахъ, произнося слово „пріѣхали“ протяжно, нараспѣвъ.

Послѣ длинной запутанной ѣзды по улочкамъ и переулкамъ онъ ввелъ Бети въ плохо освѣщенную комнату, заперъ дверь изнутри и ключъ положилъ къ себѣ въ карманъ.

Странно-таинственной и подозрительной показалась ей эта комната. Она поняла, что они пріѣхали не туда, куда онъ ей сказалъ,—и обмерла...

Что-то неладное почудилось ей еще въ томъ, что ее посадили въ одну карету съ этимъ человѣкомъ. Еще болѣе страннымъ и подозрительнымъ показалось ей, что посреди дороги Семку взяли въ другую карету.

— Куда?—спросила она, протягивая руки въ темноту.

Но человѣкъ въ синихъ очкахъ успокоилъ ее, сказавъ, что сейчасъ они опять будутъ всѣ вмѣстѣ... Потомъ, когда оба надзирателя, сидѣвшіе съ ними въ каретѣ, исчезли одинъ за другимъ, она хотѣла поднять крикъ, но онъ опять успокоилъ ее и попросилъ выйти изъ кареты: они уже пріѣхали...

И вотъ теперъ она съ нимъ одна, съ глазу

на глазъ, въ этой комнатѣ... О, она пропала... пропала!

Огромныя тѣни карабкались и поднимались по стѣнамъ, дрожали и плясали на потолокъ... Куда ее привели? Зачѣмъ она позволила везти себя? Почему не кричала?... Теперь поздно... Она погибла... погибла!...

Вдругъ, какъ по волшебству, вся комната освѣтилась и получила совсѣмъ другой видъ. Тѣни, которыя ползли по стѣнамъ и плясали на потолокъ, исчезли. Вездѣ стало свѣтло, какъ днемъ.

„Дѣвушка, ты пропала, пропала!“—казалось, кричалъ ей каждый уголокъ этой большой свѣтлой комнаты.

Однимъ взглядомъ окинула она всю комнату, мебель, двери, окна, телефонъ на стѣнѣ... „Кричать?“—было первой ея мыслью.

„Не поможетъ“... — подумала она вслѣдъ затѣмъ: „не поможетъ“... Сопротивляться! Она не знаетъ еще какъ, — но она будетъ сопротивляться!...

Взоръ ея падаетъ на столъ. На немъ нѣтъ ничего подходящаго. Развѣ письменный приборъ съ двумя тяжелыми хрустальными чернильцами? „Каждой изъ нихъ можно разбить голову“...

— Садитесь,—придвигаетъ онъ стулъ къ столу, а самъ садится по другую сторону. Снимаетъ синія очки,—и она узнаетъ взглядъ его красноватыхъ полусонныхъ глазъ въ ту ночь, во время „облавы“... Холодъ пробѣгаетъ у нея по тѣлу..

Но она крѣпится, хочетъ показать, что не боится его, ни капельки не боится... Она спрашиваетъ, смотря ему прямо въ глаза,—гдѣ она? Гдѣ ея отецъ? Куда увезли ея брата? И гдѣ ихъ квартирантъ? Почему они и всѣ не вмѣстѣ?

Онъ, не глядя на нее, отвѣчаетъ, что она можетъ быть совершенно спокойна,—ничего съ ними не случится... Ихъ только порознь допросятъ и потомъ того, кто окажется виновнымъ, отправятъ, куда слѣдуетъ, а кто невиновенъ, того отпустятъ на свободу. Но эту ночь они всѣ просидятъ въ одиночку, чтобы не могли сговориться...

Чтобы не могли сговориться! Неужели это не сонъ? Неужели это серьезнѣе?... Кого обвиняютъ въ такомъ ужасномъ преступленіи? Неужели ея отца, который Володьку никогда даже и въ глаза не видалъ? Или ихъ всѣхъ обвиняютъ въ убійствѣ Володьки? Это и есть „ритуаль“, о которомъ пишутъ газеты? И они — „ритуальные убійцы“? Можно было бы посмѣяться, если бы не этотъ субъектъ...

А человекъ съ толстыми губами вынимаетъ серебряный портсигаръ, закуриваетъ папиросу и смотритъ на нее. Видя, что она дрожитъ, онъ начинаетъ успокаивать ее. Хочетъ быть съ ней изысканно вѣжливымъ, но это не идетъ къ его густо обросшему волосами лицу. Хочетъ улыбнуться, но толстыя чувственныя губы не складываются въ улыбку. Хочетъ говорить мягко, но

въ грубомъ, словно изъ бочки, голосѣ нѣтъ ни одного мягкаго тона... Пока онъ съ ней, ей нечего бояться... Если бы не онъ, она не здѣсь бы сидѣла теперь... Этимъ она ему обязана...

— Мнѣ все равно, гдѣ ни сидѣть,—отвѣчаетъ Бети будто бы спокойно, но дрожащій голосъ выдаетъ ее съ головою. Не отрываясь, она слѣдитъ за каждымъ его движеніемъ. Онъ встаетъ, выпрямляется и снова садится. Затягивается папиросой и говоритъ, не глядя на нее... О, нѣтъ! Какъ возможно, чтобы такая, какъ она, сидѣла вмѣстѣ со всѣми арестантами? Какъ можетъ онъ допустить, чтобы такая... такая... Ему не хватаетъ словъ... Онъ взглядываетъ на нее и стряхиваетъ мизинцемъ пепель съ папиросы. Странная улыбка блуждаетъ на его толстыхъ губахъ... Кашлянувъ, онъ придвигается ближе и продолжаетъ... Это еще пустяки... Для нее онъ готовъ сдѣлать гораздо, гораздо больше... чего для другихъ не сдѣлалъ бы ни за какія деньги!... Онъ не хвастаетъ предъ нею, а говоритъ сущую правду... Она должна знать, что всѣ нити этого запутаннаго дѣла у него въ рукахъ. И онъ можетъ ради нея въ любое время связать и развязать ихъ, спутать и распутать такъ, чтобы все дѣло приняло другой оборотъ...

И онъ показываетъ руками, какъ можетъ, если захочетъ, связать или развязать, спутать или распутать нити, — и придвигается къ ней еще ближе...

Бети крѣпится изъ послѣднихъ силъ. Она чувствуетъ, что вотъ-вотъ сердце выскочитъ у нея.. Ей хочется назвать его настоящимъ именемъ, какого онъ заслуживаетъ. Но она удерживаетъ злобу и насколько можно спокойно, хотя ядовито говорить, что не знаетъ, чѣмъ, въ сущности, она заслужила, чтобы онъ такъ старался для нея...

Чѣмъ заслужила? Да вѣдь онъ просто очарованъ ею! Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ онъ увидѣлъ ее въ ту ночь, во время облавы,—она, конечно, помнитъ это,—ему жизнь стала не въ жизнь! Онъ видитъ ее во снѣ и наяву... Онъ знаетъ, что она боится его... Его всѣ боятся. Ненавидятъ. Онъ очень хорошо знаетъ, что всѣ ненавидятъ его, потому что онъ „шпикъ“, „сыщикъ“... Какъ будто у „шпика“ нѣтъ души! Какъ-будто „сыщикъ“ не можетъ любить!...

Онъ тушитъ объ столъ выкуренную папироску и дѣлаетъ движеніе въ сторону дѣвушки, не спускающей съ него глазъ... Взглядываетъ на нее съ боку, и глаза ихъ встрѣчаются... Вся злоба, вся ненависть, все отвращеніе вылились у нея въ этомъ взглядѣ... Съ хитростью кошки, измѣряющей прыжокъ, она выжидала и соображала, что будетъ, если онъ бросится на нее... Что она сдѣлаетъ? Но, можетъ быть, до этого не дойдетъ? Можетъ быть, ей удастся отвлечь его посторонними разговорами, а ночь тѣмъ временемъ пройдетъ?

И она забрасываетъ его вопросами... Онъ долженъ сказать ей, во-первыхъ, что это за „дѣло“, всѣ нити котораго, какъ онъ говоритъ, у него въ рукахъ?... А во-вторыхъ, если онъ ужъ въ самомъ дѣлѣ такъ расположенъ къ ней, то не объяснить ли онъ, какъ можно сдѣлать, чтобы все дѣло приняло другой оборотъ?...

О, пусть она лучше не спрашиваетъ,—„дѣло“ очень скверное! Сибирью пахнетъ, а можетъ быть и похуже... Для нея, для ея отца и для всѣхъ нихъ... Но пусть она положится на него... Онъ уже постарается повернуть, какъ надо... Пусть она только прикажетъ...

Онъ встаетъ съ мѣста. Бети тоже встаетъ... Какъ она можетъ приказывать? Что она ему за повелительница?

Онъ, заложивъ руки назадъ, подходитъ къ ней совсѣмъ близко и со своей странной улыбкой на губахъ смотритъ ей прямо въ глаза... Вдругъ. -

Что случилось? Земля разверзлась у нихъ подъ ногами и хочетъ поглотить ихъ? Потолокъ треснулъ и готовъ упасть на нихъ вмѣстѣ со стѣнами?...

Нѣтъ,—просто позвонили въ телефонъ...

Звонили долго, сильно, и звонъ, прорѣзывавшій тишину ночи, какъ бы взывалъ о помощи человѣческимъ голосомъ.. Бети была болѣе чѣмъ увѣрена, что ясно слышала слова: „скорѣй-скорѣй! Скорѣй- скорѣй!“ А можетъ быть, это

только трепетали ея "слишкомъ напряженные нервы? Во всякомъ случаѣ она почувствовала, что какая-то перемѣна наступила, что желѣзныя лапы, готовыя сдавить ее, сами собою разжались...

Одинъ прыжокъ, и онъ у стѣны, подносить телефонную трубку къ уху:

— Кто у телефона?... А?... Да!... Это я... я... Я ѣду! Сю минуту! Сю секунду!...

Моментально человѣкъ этотъ отрезвился, сталъ другимъ, даже лицо у него измѣнилось. Онъ заторопился: „въ участокъ, въ участокъ!“

Неужели она спасена? Кто это былъ у телефона? Что произошло? Этого Бети не знала и знать не хотѣла. Важно было одно: она спасена!

Бети ожила, увидѣвъ, что возлѣ нея нѣтъ человѣка въ синихъ очкахъ. Теперь будь, что будетъ! Теперь ее могутъ вести, куда угодно, лишь бы того человѣка не было съ нею...

Правда, помѣщеніе, куда привели ее, было несравненно хуже прежняго. Пришлось спуститься внизъ по лѣстницѣ въ какое-то подземелье, гдѣ пахло плѣсенью и чѣмъ-то кислымъ. Сѣрый мглистый полумракъ стоялъ тамъ. Маленькая лампочка, висѣвшая надъ дверью снаружи, еле освѣщала подвалъ черезъ маленькое окошечко. Кромѣ длинныхъ узкихъ скамей у самыхъ стѣнъ, здѣсь ничего не было. О снѣ не могло быть и рѣчи. Да Бети не могла бы спать, если бы и

было на чемъ. Она была счастлива, что ее оставили здѣсь одну. Сидѣла, насторожившись, и прислушивалась къ каждому шороху, ожидая разсвѣта. Пробѣжить ли мышенокъ, подуесть ли вѣтерокъ на дворѣ, ей уже кажется, что за ней идутъ, и она вскакиваетъ. Утихнеть все, и она снова садится на прежнее мѣсто и опять прислушивается къ тишинѣ ночи.

Вдругъ раздался шумъ, крикъ, топотъ... Хриплый женскій голосъ громко выкрикивалъ такія отборныя ругательства, какихъ Бети никогда не слыхала. Крикъ, топотъ и визгъ приближались, точно катясь сверху внизъ. Вотъ они совсѣмъ ужъ близко,—дверь камеры открылась, и нѣсколько паръ дюжихъ рукъ втокнуло женщину, не перестававшую визжать и ругаться по-мужски, площадной бранью...

Дверь закрылась, и камеру заперли. Женщина лежала на полу, опираясь на голый локоть, и озиралась по сторонамъ. Замѣтивъ чье-то присутствіе, она поднялась, медленно, шатаясь, подошла къ Бети и пристально посмотрѣла ей въ лицо. Бети съ своей стороны тоже стала разсматривать ее, насколько это было возможно при слабомъ освѣщеніи. Щеки женщины были густо нарумянены, жидкіе, но сильно напояженные и завитые волосы выбились изъ-подъ измятой, изорванной шляпки, закрывавшей низкій лобъ, и оттуда смотрѣли на Бети маленькіе синеватые глазки съ рѣдкими болѣзненными

рѣсницами. Высокій корсетъ торчалъ спереди, обнажая вялую грудь, подложенную ватой. Все это и простуженный голосъ съ хриплымъ смѣхомъ свидѣтельствовали, что женщина не совсѣмъ здорова... Но Бети поразило не столько это, какъ запахъ, исходивій отъ женщины, какая-то смѣсь гелиотропа и іодоформа. Трудно было уловить, какой изъ двухъ запаховъ былъ сильнѣе. Верхъ брали то духи, то іодоформъ.. Осмотрѣвъ Бети съ ногъ до головы, женщина обратилась къ ней совсѣмъ дружелюбно:

— Что, голубушка? Тоже съ улицы?

И, не дожидаясь отвѣта, она залилась хриплымъ смѣхомъ, который заканчивался у нея пискомъ,—сплюнула, выругалась по-мужски и, спросила Бети, нѣтъ ли у нея папироски. Нѣтъ? Она не курить?... Хорошее дѣло. Что это за уличная дѣвица, которая не курить?... Женщина хрипло смѣется и садится на скамью возлѣ Бети, жалуясь ей какъ сестрѣ, что она можетъ обойтись безъ хлѣба, безъ сна и даже безъ водки, но безъ папироски—ни за что! Пусть не думаютъ, что у нея нѣтъ папиросъ! Въ ридикюль—сколько угодно! Такъ ридикюль-то у нея отобрали, чертъ бы ихъ взялъ! Это пожеланіе опять закончилось ругательствомъ, и она залилась хриплымъ смѣхомъ. Потомъ вдругъ стала серьезна и уставилась своимъ нарумяненнымъ лицомъ на Бети:

— Давно уже ты, голубушка, на улицѣ?

И, не дожидаясь по обыкновенію отвѣта, стала говорить о себѣ... Она ходитъ уже давно, съ шестнадцати лѣтъ... Ей даже не было шестнадцати, когда... Если угодно, можно рассказать, какъ это случилось. И опять, не дожидаясь отвѣта, она начала рассказывать.

Это была обыкновенная исторія, одна изъ тѣхъ, что повторяются въ жизни на тысячи и тысячи ладовъ и наполняютъ міръ тысячами и тысячами больныхъ существъ, разбитыхъ, истоптанныхъ, потерянныхъ душъ...

Это была исторія, или, лучше сказать, цѣлый рядъ исторій, длинная цѣпь горя, несчастій, интригъ, доносовъ и злобы... И рассказывала она въ такомъ вульгарномъ тонѣ, съ такимъ обиліемъ пикантныхъ словечекъ и циничныхъ ругательствъ, что другая на мѣстѣ Бети навѣрное сгорѣла бы отъ стыда и заткнула бы уши, чтобы не слышать. Но Бети была не изъ тѣхъ дѣвушекъ, которыя думаютъ или хотятъ, чтобы о нихъ думали, что онѣ ничего не знаютъ, и краснѣютъ, когда слышатъ слова, употребляемая только среди мужчинъ. Бети сама выросла не среди ангеловъ. Однако, за всю свою жизнь она не видала и сотой доли той злобы, низости несправедливости, о которыхъ наслушалась за одну ночь отъ этой несчастной. Она не жаловалась, а просто рассказывала со всѣми подробностями обо всемъ, что она перенесла и переноситъ отъ этихъ „дьяволовъ и чертей“ (такъ

зовется у нея каждое существо, носящее бороду), которые гонять ее, не даютъ ей проходу... Чего они хотятъ отъ нея, она и сама не знаетъ... Слыханное ли дѣло: тысячи воровъ и разбойниковъ гуляютъ на свободѣ... Она сама знаетъ про одну шайку жуликовъ, которые недавно задушили мальчика, боясь, какъ бы онъ не выдалъ ихъ воровскихъ тайнъ... И хоть бы кто обратилъ вниманіе, хоть бы кто пискнулъ!... А если бѣдная дѣвушка вышла на улицу что-нибудь заработать,—ей тоже вѣдь жрать надо,—ага, держи, лови ее!...

Ругая на чемъ свѣтъ стоитъ этихъ „чертей и дьяволовъ“, несчастная, не переставая, рассказывала о своей судьбѣ и о людской несправедливости. Больше всѣхъ доставалось одному человѣку по имени Макаръ Жеребчикъ. Это имя она повторила по крайней мѣрѣ разъ двѣнадцать, если не больше. Макаръ Жеребчикъ— это герой ея романа. Это ея возлюбленный, ради котораго она пожертвовала собой, продалась на улицу, чтобы у него было на что гулять съ распутными дѣвками,—пропади онѣ пропадомъ! Все же это она простила бы ему, чертъ съ нимъ! Но какое ему дѣло до чужихъ женъ? И какихъ еще женъ! Мужья которыхъ занимаются воровствомъ, разбоемъ, экспроприациями! Задушилъ ради нихъ мальчишку, искололъ его, въ рѣшето превратилъ и думаетъ, что это ему сойдеть!... Пусть только посмѣетъ таскаться съ

чужими женами, она ему покажетъ! У нея, слава Бѣгу, есть надъ нимъ и надъ всѣми ними хорошій кнутъ: ранецъ съ книгами задушеннаго мальчика...

Бети больше думала о самой несчастной, чѣмъ о томъ, что она рассказывала,—объ ея жизни, которая для нея самой не имѣетъ цѣны, объ ея завѣтныхъ желаніяхъ, которыя удовлетворяются папироской, о кровавыхъ дѣлахъ, о которыхъ она рассказываетъ съ такимъ спокойствіемъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше стала прислушиваться Бети къ исторіи съ задушеннымъ мальчикомъ, въ которой было много общаго съ исторіей убитаго сына Кириллихи... Здѣсь мальчикъ отъ перваго мужа и тамъ тоже... Здѣсь отчимъ пьяница и продавецъ краденныхъ вещей и тамъ тоже... Ей очень хотѣлось спросить женщину, какъ звали задушеннаго мальчика. Но за всю ночь Бети не сказала съ ней двухъ словъ и теперь не знала, какъ заговорить. Тѣмъ болѣе, что та ни на минуту не закрывала рта. Исторіи непрерывно слѣдовали другъ за другомъ, одна другой ужаснѣе и отвратительнѣе. Бети совсѣмъ не замѣтила, какъ прошла ночь. Вдругъ послышался звонъ ключей и скрипъ двери, которая сразу распахнулась, и блѣдная полоса дневнаго свѣта какъ бы силою ворвалась въ темноту. Тутъ только женщина увидѣла, съ кѣмъ провела ночь, кому открыла всю свою душу,—и поразились: такая молодень-

кая, такая красивая, свѣжая! Такихъ „на улицѣ“ она никогда не встрѣчала... И еще больше поразила она, когда услышала, какъ эта дѣвушка говоритъ съ полиціей.

Бети, узнавъ отъ вошедшаго надзирателя, что ей надо итти съ нимъ, встала и рѣшительно заявила, что съ нимъ однимъ она не пойдетъ!

Тотъ ровно ничего не понялъ. Тогда Бети объяснила, что, если онъ хочетъ, чтобы она вышла отсюда, пусть позоветъ еще одного, въ противномъ случаѣ она не двинется съ мѣста,— развѣ ее силой возьмутъ...

— Bravo! Вотъ это дѣвица! Молодецъ!— сказала женщина и залилась хриплымъ смѣхомъ.— Такъ имъ и надо, этимъ жуликамъ! Bravo!...

И когда Бети съ двумя надзирателями ѣхала по улицѣ на извозчикѣ, ей все еще чудился смѣшанный запахъ геліотропа и іодоформа, который потомъ преслѣдовалъ ее цѣлый день...

ГЛАВА XXVIII.

Биржа волнуется...

Съ быстротою молніи телеграфъ разнесъ во всѣ концы свѣта извѣстіе, что „наконецъ удалось найти убійцу Владимира Щигрюка: онъ еврей, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, ученикъ зубоучебной школы“.

„Преступникъ,—гласило дальше сообщеніе,— пока еще не признался и сообщниковъ не на-

звалъ, но всѣ улики противъ него. Нѣтъ сомнѣнія, что у него было, по крайней мѣрѣ, трое сообщковъ и что преступленіе совершено съ религіозной цѣлью“...

Это краткое телеграфное сообщеніе газеты извѣстнаго сорта подхватили, размазали, разложили по тарелочкамъ и подъ разными соусами поднесли читателю.

Какъ ни привыкли евреи, разбросанные по всему свѣту, къ подобной клеветѣ, какъ ни старались они посмѣяться надъ этимъ, пошутить надъ всей этой исторіей, которую-де газеты выдумали ради Пасхи, но въ глубинѣ души было досадно: мало горя, такъ вотъ еще!..

А евреи того города, гдѣ былъ найденъ преступникъ, ходили ошеломленные, угнетенные позоромъ, съ паникой въ душѣ... И больше всего извѣстіе отразилось на мѣстной биржѣ. Биржа волновалась, кипѣла, какъ котель...

Посторонній человѣкъ, мало знакомый съ биржею и ея дѣльцами, проходя мимо и видя всю эту ораву взволнованныхъ маклеровъ, горячащихся спекулянтовъ и торговцевъ, сидящихъ съ озабоченными лицами за бѣлыми столиками, пожалуй, вообразить себя, что всѣ эти люди ни о чемъ другомъ не думаютъ и не говорятъ, какъ только о деньгахъ, векселяхъ, акціяхъ, курсахъ бумагъ, цѣнахъ на сахаръ, песокъ и рафинадъ, „осахъ“ и „бэсахъ“, „стилажахъ“ и тому подоб-

ныхъ вещахъ,—а тамъ хоть весь міръ пропадай, это ихъ не касается!

Ошибка. Большая ошибка! Болѣе двухъ третей времени уходитъ здѣсь на новости. Случится что-нибудь на свѣтѣ,—будь то гибель цѣлой эскадры при Цусимѣ или богатая свадьба, будь то большой погромъ въ Сѣдлецѣ или маленькое банкротство въ городѣ, будь то страшное землетресеніе въ Мессинѣ или плоская шутка, сказанная мѣстнымъ королемъ биржи про свою любовницу,—всѣ эти новости прежде всего стекаются на биржу. Здѣсь каждый фактъ разъясняется, взвѣшивается и оцѣнивается по достоинству. А такъ какъ свѣтъ великъ и новости приходятъ безпрестанно, то нѣтъ дня, чтобы биржа не волновалась, не кипѣла котломъ...

На этотъ разъ героемъ дня былъ дантистъ Рабиновичъ. На биржѣ только и слышно было: Рабиновичъ! Рабиновичъ!... Какой Рабиновичъ? Изъ какихъ Рабиновичей?... Одинъ говоритъ, что изъ одесскихъ, другой—изъ кременчугскихъ, третій увѣрялъ, что не одесскій и не кременчугскій, а изъ Бобруйска! Наконецъ, кто-то крикнулъ, что маклеръ Кацъ знаетъ лично этого дантиста Рабиновича. Итакъ, подать сюда Каца!

Кацъ—маклеръ не изъ важныхъ. Одинъ изъ тѣхъ, что трутся возлѣ крупныхъ маклеровъ, посредничаютъ между ними и, какъ птицы небесныя, ловятъ крошки, падающія съ пышнаго

стола биржи... Ихъ вы встрѣтите большею частью гуляющими вокругъ биржи и рѣдко, рѣдко въ кафэ за бѣлыми столиками. Туда они и заходятъ по нуждѣ, когда стоящій возлѣ биржи полицейскій чинъ замѣтитъ ихъ и предупредитъ, что, если они не перестанутъ вертѣться здѣсь, на тротуарѣ, то онъ отведетъ ихъ,—куда, они уже сами знаютъ... Кацъ—маленькій человекъ съ коротенькими ножками. и потому зовутъ его не Кацъ, а Кецеле*).

— Скажите, Кецеле, правда, что вы лично знакомы съ этимъ дантистомъ Рабиновичемъ?

— О, еще какъ знакомъ!—отвѣчаетъ Кецеле, довольный, что крупные маклеры говорятъ съ нимъ, какъ съ равнымъ, за панибрата. Его даже просятъ присѣсть.

— Что вы будете пить, чай или кофе?

— Можно чай, а можно кофе,—отвѣчаетъ Кецеле и съ важнымъ видомъ садится, поглаживая бородку и покашливая.

Кацъ на седьмомъ небѣ. Онъ чувствуетъ, что въ эту минуту герой дня здѣсь и онъ, Кацъ.

— Скажите, панъ Кацъ, (на минуту онъ уже не Кецеле, а Кацъ), давно вы знакомы съ этимъ дантистомъ Рабиновичемъ? Кто онъ? Что онъ? Откуда? Пейте,—отчего вы не пьете?

— Имѣйте терпѣніе! Не все сразу!—говоритъ

*) „Кецеле“ — уменьшительное отъ „Кацъ“, кошечка.

Кацъ и бросаетъ въ чашку всѣ четыре куска сахару, какъ челоѡкъ, привыкшій пить только сладкое кофе. — Знаю-то я его давно, можно сказать еще съ начала зимы, но близко мы съ нимъ познакомились только къ празднику Хануко.

Внезапно Кацъ начинаетъ смѣяться, точно вспомнивъ что-то очень забавное.

— Хе-хе-хе! Какъ вы думаете, сколько разъ мы съ нимъ играли въ „стуколку“, въ „банчекъ“ и въ „тэртль-мэртль“? Нѣтъ, сколько разъ приблизительно, какъ вы полагаете?

Кецеле окидываетъ взглядомъ всю компанію маклеровъ и спекулянтовъ, — какое это впечатлѣніе на нихъ производитъ? — и отхлебывая сладкій кофе, продолжаетъ:

— Съ нимъ играть въ карты, понимаете ли, не шутка! Въ „стуколку“, напримѣръ, онъ каждый разъ бьетъ васъ „въ темную“. А въ „банчекъ“, — какая куча денегъ не лежи, онъ не смотритъ: „вабанкъ“, кричитъ! А въ „тэртль-мэртль“ лучше и не играй съ нимъ: меньше чѣмъ въ рубль карта и не ставитъ. А то — два рубля! Три рубля! И даже пять рублей карта! Что, говорить, деньги — тьфу!

Кецеле очень доволенъ эффектомъ, который производитъ его разсказъ, и хочетъ продолжать, но его прерываютъ:

— Ну, хорошо. А гдѣ же онъ беретъ столько денегъ?

Кецеле такъ и заливається смѣхомъ:

— Хе-хе-хе! Ей Богу же, недурно сказано: гдѣ онъ беретъ денегъ? Этотъ богачъ, миллионеръ? То-есть, самъ-то онъ не богатъ, но у тетки-миллионерши добрыхъ два съ половиною миллиона въ Сибири...

— Въ Сибири?

— Ну, это только такъ говорится: въ Сибири. Понимать надо: во внутреннихъ губерніяхъ, откуда онъ родомъ. Потому и говоритъ онъ только по-русски, по-еврейски—ни слова! Даже не понимаетъ ничего по-еврейски, ну, такъ-таки ничего, ни звука! Но одно другого не касается. Молодой человѣкъ,—дай Богъ всякому. Кончилъ съ золотой медалью, учится на дантиста и влюбленъ въ хозяйскую дочку... Живетъ онъ у Шапиро,—знаете, служащій, бухгалтеръ, такъ себѣ средній еврейчикъ, не слишкомъ уменъ, но и не дуракъ, хе-хе-хе! Зато дочка у него,—если бы вы видѣли дѣвицу! Ну-ну!

И Кецеле цѣлуетъ кончики своихъ пальцевъ, выпиваетъ послѣдній глотокъ кофе и облизываетъ языкомъ мокрые усы.

Биржевики любятъ выслушать дѣло внимательно, вникнуть въ него поглубже и рассмотреть со всѣхъ сторонъ. Исторія, рассказанная Кецеле, показалась имъ совершенно дикой и никакъ не укладывалась въ ихъ головахъ. Что-то странно: еврей изъ Сибири, имѣющій тетку съ двумя съ половиною миллионами,—если даже половину

изъ нихъ въ окно выкинуть, а треть въ воду бросить, тоже останется довольно!—такъ вотъ такой еврей прїѣзжаетъ сюда, учится на дантиста, играетъ съ Кецеле въ „стуколку“ и въ „тэртль-мэртль“! А въ довершеніе всего влюбляется въ бѣдную дѣвушку! Какъ вамъ угодно,—это что-то слишкомъ, слишкомъ, слишкомъ...

Что, слишкомъ,—они не говорятъ. Но по ихъ рѣчамъ Кецеле заключаетъ, что компанія не совсѣмъ довольна. Лицо его принимаетъ видъ, какъ послѣ дѣловаго предложенія, которое не прошло, и глаза глядятъ странно по-собачьи. Онъ хочетъ сгладить впечатлѣніе и обращается къ биржевикамъ какъ бы съ мольбою!

— Не понимаю, что въ сущности васъ удивляетъ. Меня не въ чемъ заподозрить: „за что купилъ, за то и продаю“,—какъ вы сами говорите. Рассказываю вамъ только то, что знаю, что слыхалъ. А у его изголовья, какъ говоритъ, не стоялъ и денегъ его не считалъ. Такъ въ чемъ же меня можно заподозрить?

Напрасно Кецеле оправдывается. Напрасны его увѣренія: никто уже его не слушаетъ. Всѣ говорятъ, спорятъ, бранятся... Оказывается, многие знаютъ дантиста Рабиновича. Конечно, не знакомы съ нимъ, но видали его сколько разъ съ этой дѣвушкой, дочерью Шапиро, въ театрѣ, циркѣ, кинематографѣ и просто на улицѣ. И отца дѣвушки, Шапиро, всѣ знаютъ. Какъ же! Шлойма Фамиліантъ его близкій родственникъ, шу-

ринь. То-есть, жена этого Шапиро приходится сестрой Шлоймъ Фамилианту.

— Вы все перевертываете вверхъ ногами! Наоборотъ, жена Шлоймы Фамилианта приходится сестрою Шапиро.

— Пусть такъ. Но какое это отношеніе имѣть къ дантисту Рабиновичу?

— Вы же слышите: Рабиновичъ — квартирантъ Шапиро, а Шапиро живетъ недалеко отъ матери Щигрюка, Кириллихи. И у этого Шапиро есть мальчикъ, гимназистъ третьяго класса, который дружилъ и игралъ въ лошадки съ сынишкою Кириллихи, Володею Щигрюкомъ. Теперь понимаете связь?

— Связь! Въ огородъ бузина, а въ Кіевѣ дядька!

— Да дайте же кончить, тогда и увидите, какъ все идетъ одно къ одному. Такъ этотъ гимназистикъ, который дружилъ съ Володькою, приходитъ однажды домой и проситъ своего учителя, — дантиста Рабиновича, значить, — заниматься съ его товарищемъ Володькой. Онъ-де бѣдный мальчикъ, учителя у него нѣтъ, и отчимъ, Кириллъ Хмара, бьетъ его, когда напивается пьянымъ. Словомъ, — чтобы Рабиновичъ занимался съ Володькой бесплатно. Понимаете суть?

Суть биржа понимаетъ. Но довольна ли она, — этого не видно. Наоборотъ, ей лишь разожгли аппетитъ и только. Странно, — если дантистъ Рабиновичъ такой хорошій и добрый человѣкъ,

что учить бѣднаго мальчика изъ жалости, то какъ можно вывести отсюда, что онъ его убилъ? Зачѣмъ же посадили его въ тюрьму? Стыдъ и позоръ!...

— Кого вы упрекаете, меня?—отозвался маклеръ съ лукавымъ взглядомъ и очень густыми бровями.

— Отстаньте! Я даже и не думаю о васъ!—отвѣчаетъ другой, молодой человѣкъ съ сипловатымъ голосомъ и краснымъ лицомъ.

— Если вы и не думаете обо мнѣ,—говоритъ первый,—такъ зачѣмъ же вы трогаете мои пуговицы?

— Еврейская кровь льется!—вмѣшивается третій, уже не маклеръ, а спекулянтъ въ желтыхъ перчаткахъ, съ головою немного набокъ.—Еврейская кровь льется, а вы тутъ ссоритесь...

Оба маклера раздраженно поворачиваются другъ къ другу спинами.

— Но какъ же съ нашимъ Рабиновичемъ?

И разговоръ продолжается съ еще большимъ жаромъ и пыломъ. Биржа волнуется...

ГЛАВА XXIX.

„Преступникъ“ на допросѣ.

Въ то время какъ всѣ волновались и шумѣли по поводу ареста „преступника“, одинъ только человѣкъ не выказывалъ ни малѣйшаго признака волненія или безпокойства. То былъ самъ „преступникъ“.

Надо удивляться, какъ свободно и спокойно держался дантистъ Рабиновичъ на допросѣ. Что знаетъ онъ объ убитомъ мальчикѣ Владимирѣ Щигрюкѣ? О, много, очень много знаетъ онъ объ этомъ печальномъ фактѣ...

Онъ самъ предполагалъ выступить со своими показаніями, но до сихъ поръ воздерживался отъ непрошеннаго вмѣшательства въ слѣдствіе по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, онъ не хотѣлъ быть доносчикомъ, играть роль шпіона... Во-вторыхъ, онъ надѣялся, что слѣдствіе само упадетъ на вѣрный путь. Но теперь, когда онъ видитъ, что родителей убитаго освободили, а въ дѣло втянули постороннихъ людей, еврея Шапиро съ дѣтьми, неповинныхъ ни душою ни тѣломъ, онъ уже жалѣетъ, что молчалъ до сихъ поръ. Это, можно сказать, грѣхъ на его совѣсти...

Рабиновичъ говорилъ смѣло и увѣренно, въ нѣсколько повышенномъ тонѣ, и его густой баритонъ слишкомъ громко раздавался въ большой высокой, но почти пустой комнатѣ, гдѣ были лишь длинный столъ, покрытый сукномъ, нѣсколько высокихъ стульевъ съ рѣзными спинками и длинныя полированныя скамьи кругомъ у самыхъ стѣнъ. Все же такое вступленіе и особенно послѣднія слова „преступника“ о *грѣхѣ на его совѣсти* произвели хорошее впечатлѣніе на слѣдователей. Ихъ было трое. Одинъ, допрашивавшій его утромъ, — плотный брюнетъ съ густыми, подстриженными ершикомъ волосами,

въ черномъ пенснэ. Энергіей дышетъ каждое его движеніе, его громкій голосъ и острый взглядъ его строгихъ глазъ. Говоритъ онъ любитъ протяжно и почти на каждомъ второмъ-третьемъ словѣ ставитъ удареніе, закрывая при этомъ глаза. Это предсѣдатель, судебный слѣдователь.

Другой — блондинъ, совсѣмъ еще молодой человекъ, но уже съ лысой, безъ малѣйшаго признака растительности головой и съ высокимъ блестящимъ лбомъ, который сильно выдается впередъ, почему получается впечатлѣніе, будто у него не одна, а двѣ головы. Въ золотыхъ очкахъ у него сидятъ такія толстыя сильныя стекла, что глазъ сквозь нихъ почти не видать. Это кандидатъ на слѣдователя.

А третій — высокій элегантный офицеръ съ аксельбантами и при шпорахъ, съ румянымъ и живымъ лицомъ человека, умѣющаго пожить. Все время онъ держится, какъ посторонній, не принимающій участія въ слѣдствіи, а лишь пришедшій изъ большого интереса къ процессу и обвиняемому. Всѣ трое, казалось, были довольны поведеніемъ „интеллигентнаго преступника“.

Снова спросивъ и записавъ его имя, возрастъ, происхожденіе, профессію и выполнивъ прочія формальности, предсѣдатель въ очень дружескомъ тонѣ предложилъ ему рассказать все спокойно, не торопясь и точно, — всю исторію сначала до конца, со всѣми подробностями, какъ

гдѣ и когда это случилось, кто принималъ участіе въ убійствѣ, для какой цѣли и т. д.

Послѣ такого предисловія всѣ трое придвинулись къ столу и приготовились выслушать интересное объясненіе, которое „преступникъ“ обѣщаль дать имъ еще утромъ, предупредивъ, что они будутъ поражены.

И обвиняемый былъ доволенъ не меньше, видя, съ какимъ вниманіемъ приготовились выслушать его. Ему было пріятно, во-первыхъ, содѣйствовать освобожденію Шапиро, которыхъ, вѣроятно отпустятъ, какъ только онъ дастъ свои показанія, и, можетъ быть, еще извинятся передъ ними, что заподозрили въ такомъ преступленіи; во-вторыхъ, помочь слѣдствію найти вѣрный путь и открыть дѣйствительныхъ убійцъ. Поэтому онъ приступилъ къ своему объясненію весело и живо. Но совсѣмъ не зналъ съ чего начать. Съ момента, когда Володька пропалъ? Съ того, что онъ, Рабиновичъ, передумалъ и перечувствовалъ, когда въ первый разъ читалъ газетныя статьи объ убійствѣ Щигрюка евреями для ихъ пасхальной мацы?.. И при этомъ сказать нѣсколько словъ вообще о безумномъ кровавомъ навѣтѣ, съ которымъ пора бы уже покончить?.. Нѣтъ, это онъ скажетъ потомъ, а теперь лучше изложить имъ всю исторію съ самаго начала,—какъ онъ познакомился съ мальчикомъ и какъ его родители, темные невѣжественные люди, смотрѣли на него косо, были

недовольны, что онъ, незнакомый студентъ, самъ предлагаетъ учить ребенка бесплатно... Онъ никогда не забудетъ той комической сценки, когда онъ впервые разъ пришелъ къ Володькѣ на домъ. Кирилль Хмара былъ съ похмелья сердитъ и золь на весь міръ.

— Что вамъ угодно?—напаль на него Хмара.

— У васъ, я слыхалъ, есть мальчикъ, Володя, который хочеть учиться, но нѣтъ у него учителя...

Кирилль еще больше разсердился:

— А вамъ-то что?

Рабиновичъ собирался рассказывать еще и еще,—какъ пришла потомъ Кириллиха и, услышавъ разговоръ, стала посреди комнаты, испуганная, не понимая, чего въ сущности хотять отъ ея Володьки, но слѣдователь вдругъ прервалъ его:

— Не будете ли вы любезны раньше объяснить, какимъ образомъ случилось, что вы пришли именно къ Володѣ Щигрюку? Почему *жеребій* палъ на него, а не на другого? Кто *выбралъ* его? Кто указалъ вамъ на него?

Рабиновичъ остановился съ недоумѣвающей улыбкой на губахъ. Видно было, что онъ не понимаетъ о чемъ его спрашиваютъ: что за „жеребій“?

Предсѣдатель, видя, что обвиняемый растерялся, снова предложилъ ему рассказать, какимъ образомъ *случилось*, что онъ пошелъ именно къ Володѣ Щигрюку?

Какъ это случилось? Да очень просто!.. И обвиняемый рассказываетъ все въ точности. Въ одинъ прекрасный день его ученикъ, сынъ Шапиро, гимназистъ третьяго класса, тотъ самый, котораго вчера забрали вмѣстѣ съ отцомъ, присталъ къ нему съ такой просьбой. У него, гимназиста Шапиро, есть товарищъ Володя, бѣдный мальчикъ ихъ сосѣда, который хотѣлъ бы учиться. да не съ кѣмъ, — такъ не можетъ ли онъ, Рабиновичъ, заниматься съ нимъ хотя бы разъ или два въ недѣлю, бесплатно, конечно, такъ какъ отчимъ не захочетъ платить за него.

— И вы въ *ту же* минуту уважили его просьбу, *сейчасъ же* поднялись и пошли къ этому самому Володькѣ?

Обвиняемый, должно быть не сразу уловилъ иронию этихъ словъ и отвѣтилъ серьезно, что нѣтъ, не въ ту секунду онъ пошелъ. Но когда ученикъ попросилъ еще разъ, другой и третій, а сестра и мать поддержали его: „сдѣлайте, дескать, удовольствіе ребенку“, то онъ въ концѣ концовъ согласился, но съ условіемъ, чтобы Володька приходилъ на урокъ къ нему, Рабиновичу, а не наоборотъ.

— Какова была ваша *цѣль* при этомъ?

Обвиняемый опять недоумѣваетъ, и слѣдователь снова ставитъ ему тотъ же вопросъ:

— Какую *цѣль* вы преслѣдовали, добиваясь, *во что бы то ни стало*, чтобы Володька ходилъ на урокъ къ вамъ, а не вы къ нему?

Никакой цѣли онъ этимъ не преслѣдовалъ,— отвѣчаетъ обвиняемый просто и наивно. Ему было пріятнѣе заниматься съ Володькою въ домѣ у Шапиро и больше ничего.

— Пріятнѣе, говорите вы? Гм... А можетъ быть, удобнѣе и *полезнѣе*?—переспросилъ его слѣдователь, ставя удареніе на словѣ „полезнѣе“ и при этомъ многозначительно переглядываясь со своими коллегами.

— Возможно, что полезнѣе,—согласился обвиняемый и началъ рассказывать дальше. Къ нему ходить Володька, однако, не могъ, такъ какъ Шапиро, который и понятія не имѣлъ, кто такой Володька, не долженъ былъ знать обо всей этой исторіи... Такъ что онъ, Рабиновичъ, вынужденъ былъ согласиться ходить къ Володькѣ на домъ готовить съ нимъ уроки. Итакъ, когда онъ пришелъ туда въ первый разъ...

Но тутъ обвиняемаго снова прерываютъ:

— Скажите, пожалуйста, когда вашъ ученикъ говорилъ съ вами о Володькѣ, вы, конечно, знали, что этотъ Володька *христіанскій* мальчикъ?

— При чемъ тутъ это различіе?—удивленно отвѣчаетъ обвиняемый:—русскій или не русскій? Бѣдный мальчикъ хочетъ учиться, почему ему не помочь?

— Мы не вдаемся съ вами въ философію... Мы просимъ васъ прямо отвѣчать на вопросы. *Знали* вы въ тотъ моментъ, что Володька Ци-грюкъ *русскій* или нѣтъ?

Въ этихъ словахъ чувствовалась уже досада. Обвиняемый, немного подумавъ, отвѣчаетъ, что зналъ.

Слѣдователь дѣлаетъ знакъ помощнику въ очкахъ и тотъ записываетъ, а обвиняемый слѣдить, какъ пишутъ. Онъ, видимо, не понимаетъ, почему такъ необходимо записать это?

— Итакъ, рассказывайте, мы васъ слушаемъ,— говоритъ слѣдователь опять въ мягкомъ дружескомъ тонѣ и съ такимъ видомъ, что теперь уже и его выслушаютъ, не прерывая.

И снова всѣ трое придвинулись и приготовились слушать внимательно настоящее „объясненіе“, которое „преступникъ“ обѣщалъ дать. Тотъ не заставилъ себя ждать и свободно, спокойно, съ рѣдкимъ тактомъ началъ рассказывать все, что зналъ объ этой „страшной загадкѣ“.

— Если гора не идетъ къ Магомету, то Магометъ идетъ къ горѣ,— началъ рассказывать Рабиновичъ, описывая свои посѣщенія Володьки. Въ первое время онъ не замѣтилъ ничего особеннаго, кромѣ того, что мать Володьки и особенно отчимъ, Кириллъ Хмара, сначала обходились съ своимъ бесплатнымъ репетиторомъ не очень-то любезно. Они смотрѣли на него, какъ ему казалось, недовѣрчиво, подозрительно...

— Какое *подозрѣніе* у нихъ могло быть на васъ?— не могъ удержаться слѣдователь.

Этого обвиняемый не знаетъ. Можетъ быть, они подозрѣвали, что онъ агентъ тайной полиціи? У него есть данныя: при первыхъ урокахъ отчимъ не отходилъ отъ пасынка, прислушиваясь, не говоритъ ли съ нимъ репетиторъ о постороннихъ вещахъ...

— Правда, что вы какъ-то сказали отчиму Щигрюка, Кириллу Хмарѣ, что, если бы онъ отдалъ пасынка въ ваши *еврейскія* руки, вы бы извлекли изъ него больше пользы, чѣмъ онъ, Хмара?

Этого обвиняемый не помнитъ. Но онъ не разъ хвалилъ своего ученика отчиму. У Володьки были хорошія способности, и онъ, Рабиновичъ, скоро полюбилъ мальчика. Однако, ему казалось, что Володька запуганъ и немного задумчивъ,— какъ тѣ дѣти, которыя живутъ въ своемъ собственномъ таинственномъ міркѣ, у которыхъ есть что-то на душѣ... Но онъ не хотѣлъ врываться въ его таинственный мірокъ. Для него Володька былъ только бѣднымъ мальчикомъ, нуждавшимся въ его урокъ, а остальное его не касалось... Знать-то онъ зналъ,—слышалъ отъ дѣтей Шапиро,—что Володькѣ живется у отчима очень плохо, что Хмара часто бьетъ его. Но и это его не касалось...

Однако, разъ случилось такъ, что онъ былъ невольнымъ свидѣтелемъ очень печальной сцены. Однажды, его ученикъ Шапиро влетѣлъ въ квартиру съ крикомъ: „Володьку бьютъ!“ Какъ они сидѣли,—онъ, жена Шапиро и ихъ дочь,—такъ

всѣ трое бросились къ сосѣдкѣ Кирилликѣ и вырвали несчастнаго Володыку изъ рукъ отчима еле живымъ. Съ тѣхъ поръ Володыка началъ относиться къ нему довѣрчивѣе...

— А *подарки* вы ему часто дѣлали?—опять прерываетъ его слѣдователь.

Подарки? Нѣтъ. Но книжки онъ приносилъ нѣсколько разъ. Старыя книжки его еврейскаго ученика, которыя тому уже были не нужны, а Володыкѣ необходимы...

— А *денегъ* вы ему ни разу не давали?—снова спрашиваетъ его слѣдователь, смотря прямо въ глаза.

— Нѣтъ. Кажется, ни разу...

— Припомните. Можетъ быть, былъ такой случай? Не давали ли вы ему *серебряной монеты*, чтобы онъ купилъ себѣ мячъ?

Обвиняемый вспоминаетъ:

— Ахъ, да. Правда, былъ такой случай...

— Зачѣмъ же вы отрицаете *факты*?

Обвиняемый смотритъ съ удивленіемъ: „факты“?... Онъ считаетъ это такой мелочью, о которой и говорить то не стоитъ, тѣмъ болѣе, что это къ дѣлу не относится...

— Относится или не относится—это уже предоставьте *намъ* судить,—сказалъ слѣдователь рѣзко.—Будьте любезны рассказывать *все* и не пропускать *фактовъ*, будь это даже мелочи...

Обвиняемый совсѣмъ смѣшался, забыть, на чемъ остановился, и покраснѣлъ до ушей. Каза-

лось, что онъ хотѣлъ что-то скрыть, но его обличили во лжи, и онъ не знаетъ, что дѣлать. Къ тому же три пары глазъ такъ впились въ него, что онъ даже вспотѣлъ... Слѣдователь пришелъ ему на помощь:

— Итакъ, вы остановились на томъ, какъ вы *подкупили* вашего ученика... Какъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше довѣрія онъ чувствовалъ къ вамъ... Что же изъ этого *вышло*?

— Изъ этого ничего не вышло,—отвѣчаетъ обвиняемый и возвращается къ своему разсказу...— Однажды,—это было, если память ему не измѣняетъ, въ срединѣ зимы,—онъ засталъ Володьку заплаканнымъ. „Что случилось. Володя? Тебя били?“— „Нѣтъ, еще хуже...“— „Что же можетъ быть хуже?“— „Меня хотятъ зарѣзать...“— „Кто тебя хочетъ зарѣзать?“— „Они...“— „Глупости! Съ чего ты взялъ это?“ Володька разсказалъ ему длинную исторію, которая вкратцѣ такова.

Отчимъ Володьки, Кирилль Хмара, занимается воровствомъ. Вѣрнѣе, укывательствомъ. Воровать ходятъ другіе. Ихъ цѣлая шайка. Наступаетъ ночь, они выходятъ на работу и все, что добудутъ, приносятъ къ нимъ, а его отчимъ уже находитъ мѣсто для этого... Куда отчимъ прячетъ украденное, Володька не знаетъ. Никто этого не знаетъ... Ужъ сколько разъ была полиція, дѣлала обыски, но ничего не находила, ничего... Тѣмъ временемъ вышелъ такой случай. Какой-то

баринъ въ синихъ очкахъ стоитъ на улицѣ недалеко отъ ихъ дома, держитъ въ рукахъ мѣшочекъ и щелкаетъ орѣшки, орѣшекъ за орѣшкомъ. Володька останавливается и смотритъ. Баринъ замѣтилъ, что Володька на него смотритъ, и говоритъ ему: „Хочешь?“—и подаетъ полную горсть орѣховъ... Такъ было однажды. Другой разъ онъ увидѣлъ опять того же барина въ синихъ очкахъ, опять на томъ же мѣстѣ и опять съ мѣшочкомъ: на этотъ разъ конфекты сосетъ. Видитъ онъ, что Володька на него смотритъ, спрашиваетъ: „Хочешь?“—и подаетъ ему конфекту... Въ третій разъ встрѣчаетъ онъ Володьку, подзываетъ его, подаетъ ему монету и говоритъ: „На, самъ себѣ купи, что хочешь. Ты, вѣдь хорошій мальчикъ... Вотъ что скажи мнѣ. Ты пасынокъ Кирилла Хмары. Я тебя знаю. Твой отчимъ торгуетъ крадеными вещами и такъ ихъ хорошо прячетъ, что самъ чортъ не найдетъ... Если бы ты былъ хорошимъ мальчикомъ, то подслушалъ бы, что говоритъ твой отчимъ съ компаніей и подсмотрѣлъ бы, куда они относятъ краденыя вещи... Тебѣ, глупенькій, нечего бояться. Мать твоя не страдаетъ, а отчима твоего если и засадятъ, такъ для тебя же лучше будетъ: меньше бить будутъ...“

Придя домой, Володька сталъ думать, что ему дѣлать. Разсказать матери или нѣтъ? И разсказалъ, — разумѣется, по секрету. А та сдуру пошла и передала мужу. Кириллъ разсвирѣпѣлъ

и хотѣлъ бить Володьку, но мать заступилась за него. Такъ прошелъ день, ночь и еще день. На вторую ночь Володька лежитъ въ своемъ углу на полу, притворяется, будто спитъ, и слышитъ, какъ отчимъ разговариваетъ съ шайкою воровъ, передаетъ имъ исторію съ бариномъ и совѣтуется съ ними: „что дѣлать съ мальчишкой?...“ „Мальчишка“, — это онъ, Володька... Иначе отчимъ и не зоветъ его... Володька храпитъ еще сильнѣе и слышитъ, какъ одинъ изъ шайки говоритъ, что „мальчишку надо уकोшить“... Кто сказалъ эти слова, Володька не могъ съ точностью объяснить. Но слово „укошить“ онъ слышалъ навѣрное... Что еще говорили они, Володька не слышалъ,— пришла мать, и всѣ замолчали... Съ тѣхъ поръ,— говорилъ Володька,—онъ не можетъ найти себѣ покоя. Какъ только ночью закроетъ глаза, ему все представляется, что подходятъ къ нему съ ножомъ и—чикъ! по шеѣ, или берутъ острый топоръ и отрубаютъ ему голову...

Разумѣется, онъ, Рабиновичъ, пошутилъ надъ нимъ и, насколько могъ, успокоилъ, да и самъ Володька, какъ видно, скоро позабылъ объ этомъ и снова взялся за ученіе. Но онъ этой исторіи не позабылъ. Когда Володька пропалъ, и Кириллиха пришла къ Шапиро спрашивать, не видели ли ея ребенка, онъ сразу указалъ ей, куда надо итти и къ кому обратиться. Онъ, Рабиновичъ, не думаетъ, чтобы это было дѣло только

отчима, какъ полагають другіе, изъ-за какого-то наслѣдства, которое было у Володьки. Конечно, Кирилль Хмара принималъ участіе въ этой кровавой исторіи. Но тутъ замѣшана вся шайка воровъ и бандитовъ, съ которыми Хмара находился въ постоянной связи. Между ними, по его мнѣнію, и надо искать дѣйствительныхъ преступниковъ. Они-то и были заинтересованы въ смерти невиннаго Володи Цигрюка, который казался имъ опаснымъ... Онъ увѣренъ, что, если будутъ приняты надлежащія мѣры, то всѣхъ ихъ поймають...

— Это *все?* — вырвалось у предсѣдателя, и онъ переглянулся съ своими коллегами. Ловко приспособилъ преступникъ къ дѣлу эту не такъ интересную, какъ длинную исторію, которую они терпѣливо дослушали до конца...

А „преступникъ“ былъ доволенъ тѣмъ, какъ гладко у него все вышло. Ему показалось только немного страннымъ вопросъ слѣдователя: „это все?..“ Чего же еще имъ хотѣлось?..

Дѣйствительный смыслъ этихъ словъ онъ позналъ лишь позднѣе, когда его вывели и черезъ нѣсколько минутъ снова ввели и тогда только начали допрашивать какъ слѣдуетъ.

При дальнѣйшемъ допросѣ, когда ввели обвиняемаго, онъ замѣтилъ небольшое измѣненіе. На столѣ были приготовлены различныя вещи, разложенныя отдѣльно. Здѣсь были:

1) Пачка книгъ, которую забрали у него накануне Пасхи.

2) Всѣ его бумаги, письма и замѣтки, перевязанныя зеленымъ шнурочкомъ.

3) Небольшая тетрадка съ надписью: „Мой дневникъ“.

4) Старый молитвенникъ въ засаленномъ черномъ переплетѣ съ желтымъ полусгнившимъ корешкомъ.

Этотъ старый молитвенникъ обвиняемый видѣлъ въ первый разъ въ жизни. Съ особеннымъ интересомъ смотрѣлъ онъ на всѣ эти вещи и на лица слѣдователей, которыя стали строже и внушительнѣе, чѣмъ раньше.

Что-то будетъ?

Потихоньку, осторожно была развязана прежде всего пачка бумагъ, вынута и прочитано письмо его сестры „Вѣры П.“, которая пишетъ, что „не перестаетъ молить Бога за него и высказываетъ пожеланіе, чтобы онъ обрадовалъ ихъ къ свѣтлому празднику пріятной новостью, которой они всѣ такъ ждутъ...“

Ему ставятъ вопросъ: во-первыхъ, *кто* эта Вѣра П., которая все *молится*? Во-вторыхъ, что это за *новость*, которой всѣ ждутъ къ *свѣтлому празднику*?

Подчеркнутыя слова произносятся протяжно, съ удареніемъ, и глаза всѣхъ устремлены на преступника,—что онъ скажетъ?

Спокойно, съ улыбкой на губахъ объясняетъ

имъ онъ, что добрая вѣсть, которой всѣ ждутъ, не болѣе, какъ телеграмма о томъ, что онъ, Рабиновичъ, ѣдетъ на Пасху домой.

— Ничего другого?

Ничего другого, какъ письмо, что онъ ѣдетъ на Пасху домой.

— Раньше вы сказали: *телеграмма*, а теперь говорите: *письмо*.

Письмо или телеграмма—это все равно.

— Не всегда это все равно. Тамъ, гдѣ ждутъ доброй вѣсти и молятъ Бога, чтобы все *сошло благополучно*, умѣстна скорѣе телеграмма, чѣмъ письмо. Но отложимъ это въ сторону и вернемся къ содержанію письма. Вы говорите, что вѣсть, которой всѣ ждутъ къ *свѣтлому празднику*, не болѣе какъ вашъ пріѣздъ домой. Допустимъ, что такъ. Спрашивается, кто же эти *все*, ждущіе вашего пріѣзда?

Обвиняемый пробуетъ объяснить, что „всѣ“ это вся семья.

— Тогда и было бы написано: *вся семья*. Смысль этого слова въ данномъ мѣстѣ можетъ быть только иной,—такой, который вамъ, можетъ быть, *невыгденъ*.

Обвиняемому, видимо, непріятно, что копаются въ письмѣ его сестры, и онъ пробуетъ увернуться другимъ путемъ. Онъ говоритъ, что имъ нечего искать въ этомъ невинномъ письмѣ двусмысленностей, такъ какъ ни лицо, его писав-

шее, ни онъ не ведутъ иикакой политической агитаціи и не занимаюгся контрабандой.

— Это очень похвально, — отвѣчаетъ слѣдователь, — что вы не ведете *политической* агитаціи и не занимаетесь *контрабандой*. Но было бы еще лучше, если бы вы были откровеннѣе и сказали, кто *та* или *тотъ*, который писалъ вамъ это письмо за подписью „Вѣра П.“

Рабиновичу стало не-по-себѣ. Не потому, что три пары глазъ въ эту минуту пронизывали его насквозь. Его мучило другое. Сказать имъ правду и открыть секретъ, что Вѣра П. есть Вѣра Попова и что она его сестра и дочь Т—го предводителя дворянства, набожная христіанка, которая молитъ Бога за своего брата и ждетъ его домой, — значило бы вдругъ сбросить маску до условленнаго срока, положить конецъ шуткѣ, которая зашла слишкомъ далеко... Къ этому онъ совсѣмъ еще не подготовленъ ни по отношенію къ себѣ лично, ни по отношенію съ своему товарищу, настоящему Рабиновичу, котораго онъ можетъ втянуть въ неприятную исторію. Да и самому ему не сдобровать за проживаниеъ подъ чужимъ именемъ и по чужому паспорту. А главное — какъ это отразится на его романѣ съ Бети, если онъ прерветъ его сейчасъ, въ самомъ началѣ, въ самомъ разгарѣ ихъ дружбы, которая стала переходить въ такую пламенную любовь... Нѣтъ! Пусть будетъ,

что будетъ,—онъ ничего не скажетъ. Не можетъ сказать.

— Вы *не можете* сказать или *не хотите* сказать?

Обвиняемый думаетъ, что это одно и то же. Онъ полагаетъ, что у каждаго человѣка могутъ быть свои секреты, только лично его касающіеся...

— Совершенно вѣрно,—прерываетъ его слѣдователь.—У всякаго могутъ быть свои личные секреты. Но тамъ, гдѣ слѣдствіе пробиваетъ себѣ путь, хочетъ установить въ точности обстоятельства дѣла,—тамъ *нѣтъ мѣста* личнымъ интересамъ и секретамъ. Будьте любезны, скажите намъ, *кто* подписывается женскимъ именемъ „Вѣра П.“? *Гдѣ* онъ живетъ? И *чѣмъ* занимается?

Обвиняемый съ трудомъ удерживается отъ смѣха. Какъ вамъ нравится: Вѣръ П. должна быть непременно „онъ“, а не „она“!... Непонятно, какое отношеніе имѣетъ его сестра и ея письмо къ слѣдствію? И почему у него не можетъ быть секретовъ? Нѣтъ, онъ остается при своемъ: онъ не можетъ сказать...

— Запишите, — обращается слѣдователь къ помощнику, и тотъ записываетъ. Обвиняемый смотритъ, какъ пишутъ, съ такимъ видомъ, точно это дѣлается изъ особаго уваженія къ нему, и хотъ убейте, не понимаетъ, что здѣсь творится...

Долго объ этомъ думать ему, однако, не приходится. Слѣдователь кладетъ письмо обратно въ пачку, связываетъ ее тѣмъ же зеленымъ шнуркомъ, беретъ связку книгъ, прочитываетъ одно за другимъ ихъ заглавія и обращается къ обвиняемому, прося его объяснить, для какой цѣли собиралъ онъ у себя эту литературу о такъ называемомъ „ритуалѣ“?

Обвиняемый, довольный, что его оставили въ покоѣ съ письмомъ сестры, началъ серьезно и ясно рассказывать всю пр вду. Такъ какъ въ послѣднее время, вскорѣ послѣ убійства Володи Щигрюка, извѣстныя газеты начали увѣрять, будто бы евреи употребляютъ христіанскую кровь для приготовления пасхальной „маццы“, то ему захотѣлось познакомиться съ исторіей литературы предмета, такъ называемаго „ритуала“, и онъ взялъ у знакомаго всѣ эти книги для прочтенія съ тѣмъ, чтобы потомъ вернуть ихъ.

— А до тѣхъ поръ вы *совсѣмъ* не знали, что такое „такъ называемый ритуалъ“?

Обвиняемый не замѣчаетъ, какъ иронически поставленъ вопросъ, и наивно отвѣчаетъ, что почти не зналъ...

— *Почти*? Какъ надо понимать это „почти“? „Почти“ это значить, что онъ зналъ, что евреи употребляютъ христіанскую кровь, то-есть, онъ хочетъ сказать, что слыхалъ...

— Только что вы ясно сказали, что *знали*,

что евреи употребляют христіанскую кровь, а теперь вы говорите, что *слыхали*... Гдѣ же вы объ этомъ слыхали?

Гдѣ онъ объ этомъ слыхалъ? Читалъ въ газетахъ...

— Раньше вы объ этомъ *знали*, затѣмъ *слыхали*. А теперь вы уже только *читали*... Можетъ быть, вы будете любезны назвать по имени знакомаго, который одолжилъ вамъ эту литературу?

Тутъ обвиняемому опять стало не-по-себѣ. Назвать раввина, который съ такой готовностью одолжилъ ему всѣ эти книги—значило бы заплатить за добро зломъ. Да и кто знаетъ, что тамъ есть еще въ этихъ книгахъ... За одинъ день передъ Пасхою онъ успѣлъ просмотрѣть только нѣкоторыя изъ нихъ и то лишь по нѣсколько страницъ... Однако, Рабиновичъ не растерялся и ляпнулъ первую пришедшую ему въ голову небылицу... Книги далъ ему одинъ знакомый, фамилію котораго онъ забылъ, и знакомый этотъ уѣхалъ, куда—неизвѣстно, и вернется ли—тоже неизвѣстно...

Надо же разъ навсегда избавиться отъ этой обузы... Онъ чувствуетъ, что чѣмъ дальше, тѣмъ больше онъ путается, и чѣмъ больше онъ говорить, тѣмъ сильнѣе заплетается у него языкъ... А всѣ его показанія записываются. Для чего они записываютъ? Зачѣмъ такъ спрашиваютъ объ этихъ книгахъ? И какое отношеніе

вообще они имѣютъ къ дѣлу? Почему не переходятъ къ главному вопросу, къ смерти Володи Щигрюка и къ показаніямъ, которыя онъ сегодня далъ?

Обвиняемый вытираетъ потъ со лба и смотритъ на слѣдователей, которые перешептываются между собой. Книги складываются опять въ пачку и убираются. На ихъ мѣсто появляется тетрадь съ надписью: „Мой дневникъ“, и Рабиновичъ думаетъ: „Неужели и въ его дневникѣ будутъ такъ же копаться, какъ только что копались въ письмѣ его сестры? Но что тамъ можно найти, кромѣ записокъ объ его возлюбленной? Что сказать, если начнутъ копаться у него въ душѣ: кто такая Бети? И что за отношенія у него съ ней?“

Но „преступникъ“ ошибался. Въ его дневникѣ оказались вещи поважнѣе записокъ объ его возлюбленной...

— Скажите, Рабиновичъ, это *вашъ* дневникъ?

Хотя Рабиновичъ еще раньше узналъ свою тетрадь, но нарочно заглянулъ въ нее и только потомъ отвѣтилъ, что да, это его дневникъ.

Тогда слѣдователь, поправивъ свое черное пенснэ, любезно попросилъ объяснить обвиняемаго смыслъ того, что онъ пишетъ въ дневникѣ (читаетъ протяжно, подчёркивая каждое слово):

„Ура! Сегодня былъ въ подрядѣ и видѣлъ, какъ некутъ мацу! Собственными глазами видѣлъ и очень, очень доволенъ этимъ...“

— Не можете ли вы сказать намъ, *что* вы дѣлали въ подрядѣ? И почему вы были такъ *счастливы* тѣмъ, что *лично* присутствовали при изготовленіи „маццы“?

На это обвиняемый не сразу отвѣтилъ. Онъ нашель нужнымъ сначала распространиться о той агитаціи, которая ведется въ послѣднее время въ газетахъ, обвиняющихъ евреевъ въ употребленіи христіанской крови для пасхальной мацы... Но его прервали въ самомъ началѣ, попросивъ не вдаваться въ длинные разговоры о газетахъ и литературѣ, а отвѣчать на вопросы коротко и ясно: что онъ дѣлалъ въ подрядѣ и почему былъ такъ доволенъ, что лично присутствовалъ при изготовленіи „маццы“?

Коротко и ясно отвѣчаетъ обвиняемый, что онъ присутствовалъ при этой церемоніи въ первый разъ и [только затѣмъ, чтобы посмотреть, какъ печется этотъ хлѣбъ, имѣющій такое историческое прошлое, вокругъ котораго создалась такая страшная легенда... А доволенъ онъ былъ тѣмъ, что, наконецъ, имѣлъ случай лично наблюдать, какъ печется мацца, оцѣнить разъ навсегда значеніе „ритуала“...

Рабиновичъ доволенъ собой: такъ хорошо и гладко вышло у него. Но въ то же время онъ былъ удивленъ, услышавъ, какъ слѣдователь спросилъ помощника:

— Записали?

— Записаль,—отвѣтилъ тотъ, и допросъ продолжался.

— Въ своемъ дневникѣ вы пишете далѣе (читаетъ, растягивая слова): „*Завтра иду къ раввину... Буду говорить съ нимъ о догматахъ и ритуаль...*“

Послѣднее слово онъ особенно растянулъ, сложилъ руки на груди, откинулся на спинку стула, полузакрывъ глаза и ждалъ отвѣта. Оба его товарища также ждали... Обвиняемый началъ объяснять, что, не будучи достаточно компетентенъ въ религіозныхъ догматахъ, онъ хотѣлъ по'есѣдовать съ авторитетнымъ лицомъ...

— *Вы* не достаточно компетентны въ *религіозныхъ* догматахъ?! — прервалъ его слѣдователь, съ удивленіемъ переглядываясь съ своими коллегами.—Вы проводите время съ такъ называемыми „*хассидистами*“ и еще недостаточно компетентны! Въ своемъ дневникѣ вы пишете (читаетъ): „*Вчера былъ у хассидистовъ*“.. Кто же такіе эти „хассидисты“, какъ вы ихъ называете? Къ какой *сектѣ* они принадлежатъ?

Рабиновичъ спокойно объясняетъ, что, насколько ему извѣстно, „хассидисты“—не секта, и вообще у евреевъ нѣтъ никакихъ сектъ...

— Откуда же берутся у нихъ своеобразные *танцы*? Вы пишете въ своемъ дневникѣ далѣе (читаетъ): „*Я танцевалъ вмѣстѣ съ ними хассидистскій танецъ*“... Что это за „хассидистскій танецъ“?

Это самый обыкновенный танецъ,—поясняетъ обвиняемый... Выпьютъ по рюмкѣ, развеселятся, и кто умѣетъ поеть, кто не умѣетъ, хлопаютъ въ ладоши, а остальные пляшутъ...

— *Гдѣ* это было? Въ какомъ мѣстѣ вы познакомились съ этой *сектой*, и не можете ли вы назвать ихъ по именамъ?

Тутъ Рабиновичъ, который было нѣсколько успокоился и началъ говорить свободнѣе, опять въ замѣшательствѣ замолчалъ... Назвать по имени шурина Шапиро, гдѣ онъ такъ весело провелъ время съ „хассидистами“ въ праздникъ пуримъ,—значило бы впутать сюда постороннихъ людей, которые ничего не знаютъ. И онъ пробуетъ объяснить, что, такъ какъ это было давно, кажется, въ серединѣ зимы, то онъ забылъ...

Слѣдователь, саркастически улыбаясь, смотритъ сначала на него, а потомъ на своихъ коллегъ.

— Жаль, что у васъ такая *короткая* память, вы могли бы, вѣроятно, рассказать много интересныхъ вещей... Вотъ, напр., въ самомъ концѣ дневника вы пишете (читаетъ): „*Сегодняшній день почти весь ушелъ у меня на ритуальъ... Сегодня я нач...*“ вспомните, какое слово хотѣли вы написать дальше, послѣ „я“?

Обвиняемый наклоняется къ тетради и всматривается, а съ нимъ вмѣстѣ и слѣдователи. Нѣтъ, онъ не можетъ сейчасъ вспомнить, какое слово онъ хотѣлъ тогда написать...

— Та-акъ,—протянулъ слѣдователь со вздохомъ.—Не можете вспомнить? Тогда, быть можетъ, эта *картинка* напомнитъ вамъ?

Онъ подноситъ обвиняемому старый молитвенникъ въ засаленномъ переплетѣ съ полусгнившимъ корешкомъ и, открывъ его на томъ мѣстѣ, гдѣ загнута страница, указываетъ пальцемъ на картинку. На ней былъ изображенъ пожилой человѣкъ въ длинномъ кафтанѣ съ большой бородой и пейсами, готовящійся перерѣзать горло кавказскимъ кинжаломъ голенькому мальчику, который лежитъ связанный, совсѣмъ спокойно, какъ бы говоря: „Убивайте меня, рѣжьте меня, дѣлайте со мной, что хотите“...

Это была старая, знакомая намъ „агада“ Давида Шапиро, перешедшая къ нему по наслѣдству отъ дѣйствительныхъ, славутскихъ Шапиро, а картинка—знаменитое изображеніе того, какъ патріархъ Авраамъ приносить въ жертву Богу своего единственнаго сына Исаака, изображеніе, приводившее въ такой восторгъ гимназиста Семку... Но Рабиновичъ видѣлъ книжку въ первый разъ въ жизни. Онъ наклоняется надъ старой „агадой“ и смотритъ, смотритъ, ровно ничего не понимая... Слѣдователь съ товарищами тоже наклоняются надъ книжкой и смотрятъ то на картинку, то на преступника, то другъ на друга, желая знать, какое впечатлѣніе произведетъ на него рисунокъ и что онъ скажетъ.

Оказывается, рисунокъ не произвелъ на „пре-

ступника“ никакого впечатлѣнія, если не считать того, что онъ былъ очень удивленъ. Что это за карриатура? Если это христіанинъ, то зачѣмъ онъ носитъ такой длинный кафтанъ и пейсы? И какъ попалъ сюда этотъ молитвенникъ? Какое отношеніе имѣетъ онъ къ нему? Къ дѣлу? И къ убитому Володькѣ?

Послѣ двухъ-трехъ долгихъ минутъ молчанія и переглядыванія ему предлагаютъ объяснить значеніе этой картинки. Что означаетъ этотъ символъ?

Обвиняемый, признаться сказать, и самъ не знаетъ, что это значитъ. Онъ никогда этого не видалъ.

— Никогда?

Никогда.

— Потрудитесь прочесть пару строкъ вотъ тутъ въ *текстѣ*, тогда, можетъ быть, вамъ ясно станетъ?

Онъ съ удовольствіемъ бы сдѣлалъ это, но...— Рабиновичъ, самъ не зная почему, краснѣетъ... Онъ не можетъ прочесть, что здѣсь написано..

— Почему?

Потому что это... по-еврейски. А по-еврейски онъ не читаетъ.

Всѣ трое поражены.

— Вы не умѣете читать по-еврейски?

Нѣтъ. Ни читать, ни писать, ни говорить...

Если бы обвиняемый вдругъ оказался феноменомъ съ семью пальцами на каждой рукѣ и но-

гѣ, онъ не поразилъ бы ихъ такъ, какъ этими словами... Еврей, изучающій „ритуаль“, „догматы“, „кабалистику“, лично присутствующій при церемоніи печенія „маццы“, танцующій съ „хасидистами“ и „сапцевухами“, смѣетъ еще утверждать, что не понимаетъ по-еврейски, не умѣетъ ни читать, ни писать, ни говорить!... Хороша птица!... Будетъ съ нимъ возня...

Слѣдователь встаетъ, поправляетъ пенснэ и проситъ помощника записать слѣдующее:

„Обвиняемый утверждаетъ, что онъ не знаетъ еврейскаго языка, что онъ не умѣетъ ни читать, ни писать, ни говорить по-еврейски“.

За все время Рабиновичъ въ первый разъ замѣтилъ, что его называютъ „обвиняемымъ“. Въ чемъ же его обвиняютъ? Неужели его, вмѣстѣ съ Шапиро, подозрѣваютъ въ ритуальномъ убійствѣ?!...

Онъ чувствовалъ, что очутился въ странномъ положеніи и самъ же виноватъ въ этомъ. Онъ видѣлъ, что становится главнымъ дѣйствующимъ лицомъ своеобразной траги-комедіи, которую самъ же создалъ. Однако, это не волновало его. Въ самомъ дѣлѣ, достаточно ему сказать одно лишь слово, назвать только свое настоящее имя—и вся эта траги-комедія рухнетъ, исчезнетъ, какъ дымъ. Но теперь онъ еще не можетъ сдѣлать этого. Это никогда не поздно... Надо раньше посмотреть, что будетъ дальше... Неужели же возможно, чтобы обвиненіе въ такомъ страшномъ

преступленіи строилось на основѣ такихъ смѣхотворныхъ данныхъ? Неужели вся исторія, которую онъ разсказалъ здѣсь такъ подробно, желая помочь слѣдствію и спасти невинныхъ Шапиро, пойдетъ на смарку? Неужели эта ясная исторія еще не открыла имъ глаза? Или они полагаютъ, что онъ выдумалъ ее, чтобы запутать ихъ?

Онъ окидываетъ взглядомъ всѣхъ трехъ слѣдователей... Неужели возможно, чтобы люди съ здравымъ разсудкомъ могли зайти такъ далеко?... Неужели эти, кажется, интеллигентные, благородные и честные люди, заинтересованные, повидимому, только въ одномъ,—въ томъ, чтобы добиться правды,—неужели они не захотятъ въ концѣ концовъ раскрыть глаза, очнуться отъ кошмара, навѣяннаго на нихъ всемірной легендой о „ритуалѣ“, и увидѣть правду, которая такъ ясна, и убѣдиться, какъ убѣдился онъ, что это не больше, какъ гипнозъ, переходящій по наслѣдству изъ рода въ родъ, ложь, страшная міровая ложь...

Углубившись въ свои мысли, Рабиновичъ совсѣмъ не замѣчалъ, что дѣлается вокругъ. Онъ даже не слышалъ рѣчи, которую слѣдователь счелъ нужнымъ сказать „преступнику“, въ мягкомъ дружескомъ тонѣ, совѣтуя ему перестать играть комедію... Сознавшись въ преступленіи и назвавъ секту, онъ только оказалъ бы услугу своимъ единовѣрцамъ. Міръ разъ навсегда

узналъ бы, кто дѣйствительные преступники, и пересталъ бы обвинять весь еврейскій народъ въ томъ, что всѣмъ евреямъ необходима христіанская кровь на Пасху.

— Вотъ мы же не скрываемъ своихъ собственныхъ сектъ и сектантовъ!—закончилъ торжественно слѣдователь.

Но его трогательная рѣчь пропала даромъ. „Преступникъ“ упорно настаивалъ, что все, рассказанное имъ здѣсь о страшной загадкѣ,—единственная правда и что никакой другой правды и быть не можетъ...

Онъ нисколько не испугался и даже не измѣнился въ лицѣ, когда ему сообщили, что его отправятъ въ тюрьму для его же пользы. Пусть онъ одумается тамъ, быть можетъ, поумнѣетъ въ одиночествѣ и въ концѣ концовъ, въ своихъ же собственныхъ интересахъ и въ интересахъ справедливости, расскажетъ не фантастическую правду, а дѣйствительную настоящую правду объ этой „страшной загадкѣ“...

ГЛАВА XXX.

Нервная лихорадка.

Что было съ Бети на другой день послѣ пережитой ночи, она и сама хорошенько не знаетъ...

Ураганомъ все пронеслось надъ нею и прошло какъ сонъ, тяжелый и длительный...

Помнится ей, что перевозили ее съ мѣста на

мѣсто. Что-то говорили ей. О чемъ-то спрашивали. Что-то отвѣчала она. Много разныхъ лицъ, много разныхъ разговоровъ... Чѣмъ человѣчнѣе были лица, чѣмъ мягче разговоры, тѣмъ мучительнѣе вспоминала она истекшую ночь, и вся боль и накопившаяся злоба каждую минуту готовы были прорваться въ словахъ или слезахъ... Но говорить она не могла, и слезъ не было... Нервный комокъ подкатился къ горлу, сердце сжалось, и вмѣсто того, чтобы расплакаться и этимъ облегчить себя, она упала на стулъ и расхохоталась...

Громко хохотала, долго хохотала... Пока смѣхъ не перешелъ, наконецъ, въ плачъ, въ отчаянныя рыданія...

Но и отъ этого ей не стало легче. Наоборотъ, чѣмъ больше она плакала, тѣмъ сильнѣе слезы душили ее. Чѣмъ больше пыталась сдержаться, осилить себя, тѣмъ сильнѣе хотѣлось кричать, рвать на себѣ волосы и бить руками по головѣ...

— Она съ ума сошла, ее надо связать!—сказалъ одинъ изъ приведшихъ ее околоточныхъ... Онъ еще утромъ замѣтилъ, что съ ней неладно... Напала на него за то, что онъ пришелъ за нею, одинъ, и требовала, чтобы позвалъ еще одного,—иначе она не пойдетъ, хоть убейте!..

— Ясно, какъ день, что барышня съ ума сошла и ее надо связать,—закончилъ околоточный, съ готовностью ожидая приказанія.

— Сами вы съ ума сошли,—послышался мягкій пріятный голось.

Кто это сказалъ?

Помнится,—пожилой человѣкъ съ очень симпатичнымъ лицомъ, съ добрыми сѣрыми глазами. Одѣтъ былъ въ мундирѣ изъ желтой лѣтней матеріи. Руки—бѣлыя, нѣжныя...

Этотъ человѣкъ произвелъ на нее самое сильное впечатлѣніе своей мягкой рѣчью, человѣческимъ обращеніемъ и ласковымъ взглядомъ добрыхъ сѣрыхъ глазъ. Не зная почему, она почувствовала въ немъ человѣка. Онъ пойметъ ее, ему она можетъ рассказать, что пережила за эту ночь...

И она пытается что-то сказать, но не можетъ... Увы,—не можетъ...

Онъ встаетъ, беретъ ее за руку, нащупываетъ пульсъ... Гладитъ ее по лбу, волосамъ... Проситъ ее успокоиться... Кто этотъ человѣкъ? Почему въ его словахъ слышится столько симпатіи, состраданія? Такъ говорить можетъ только отецъ съ ребенкомъ, братъ съ сестрою...

— Развѣ вы не видите, что съ нею? Доктора позвать, доктора!..

А дальше? Что было дальше?

Дайте ей вспомнить... Она все вспомнить...

Ночь... длинная, тяжелая, темная-темная ночь... Странные цвѣта, странныя фигуры... Какъ чудно вертятся они вокругъ предмета, завернутаго

въ простыню... Это мальчикъ Кириллихи, Володька, мертвый, исколотый, точно такой, какимъ она видѣла его около ихъ дома...

Крики, дикіе крики... Станный запахъ, смѣшанный запахъ гелиотропа и іодоформа... Два добрыхъ сѣрыхъ глаза смотритъ на нее... Но они закрыты темно-синими очками... Темнота очковъ разсѣивается, они дѣлаются свѣтлѣе и на ихъ мѣстѣ показываются желтыя пятна, которыя вертятся, кружатся, мелькаютъ передъ глазами... А смѣшанный запахъ гелиотропа и іодоформа проникаетъ въ самое сердце...

Продолжительный рѣзкій звонокъ, какъ бы отъ телефона, прорѣзываетъ тишину ночи и оглушаетъ ее... „Скорѣй-скорѣй! Скорѣй-скорѣй!“ — кричитъ телефонъ, и за звонкомъ слышится свистъ, длинный, протяжный, заканчивающійся вздохомъ... человѣческимъ стономъ...

„Барышня съ ума сошла“, — говоритъ кто-то, — „съ ума сошла, надо связать ее!“

А добрые сѣрые глаза не перестаютъ смотрѣть такъ ласково, и нѣжная бѣлая рука все гладитъ ее по лбу и волосамъ...

Чьи могутъ быть эти глаза? Такіе простые и добрые? Неужели его? Чья можетъ быть эта рука? Такая нѣжная и бѣлая? Неужели его? Неужели это ея возлюбленный, ея избранникъ?

— Гриша! Милый мой, откуда у тебя такіе сѣрые глаза? И съ какихъ поръ ты сталъ носить синія очки?.. Ты — загадка... загадка...

И опять слышится долгій, долгій звонокъ, какъ бы отъ телефона, прорѣзывающій тишину ночи и оглушающій своимъ крикомъ: „Скорѣй-скорѣй!“ Опять Володька въ бѣлой простынѣ, исколотый... Опять: „Барышня съ ума сошла“... Опять свистъ, заканчивающійся глубокимъ вздохомъ, человѣческимъ стономъ... Кто такъ вздыхаетъ? Кто это стонетъ? Кто ломаетъ руки? Неужели мать? Отчего же отъ нея такъ пахнетъ?

— Мамочка! Мамуня! Отъ тебя пахнетъ...

— Чѣмъ, доченька?

— Гелиотропомъ и іодоформомъ...

— Откуда дѣточка? Это тебѣ кажется.

— Отчего у меня такъ сухо во рту? Мама! Мамочка!.. Отчего меня такъ томить жажда? Почему мнѣ не даютъ воды? Хоть немного воды! Хоть каплю...

Сознаніе двоится... Часть ея „я“ отдѣляется, уплываетъ отъ нея... Сама она уходитъ куда-то, погружается въ бездну, все глубже и глубже. ..

.....

Что было съ Бети? Не выдержали нервы слишкомъ сильнаго напряженія? Доктора говорили: нервная лихорадка, которая можетъ закончиться самое большее сильной слабостью... Опасности нѣтъ,—лишь бы кризисъ наступилъ и температура упала бы... Но не дай Богъ, если ударить въ голову, въ мозгъ,—тогда, видите ли, плохо...

Ничего,—успокаивали доктора,—она переживетъ все благополучно и скоро выздоровѣетъ.

На то они и доктора, чтобы слѣдить за температурой. Это главное. Да что, въ самомъ дѣлѣ, могутъ подѣлать доктора? Ничего! Все зависитъ только отъ самой природы или Бога,—назовите, это, какъ хотите...

Ну, а разъ все зависитъ отъ Бога,—думаетъ мать,—то на Него можно положиться. Вѣдь Онъ не допуститъ несправедливости! А, кромѣ того, она, мать, все достояніе которой—дочь и сынъ, двѣ свѣтлыхъ звѣздочки,—развѣ она будетъ молчать?!

Говорятъ, человѣкъ слабѣе соломинки и крѣпче желѣза. И это, въ самомъ дѣлѣ, вѣрно. Сара испытала это на себѣ. Какъ могла она перенести столько и не умереть, даже съ ума не сойти,—прямо чудо! „По одному этому уже можно видѣть, что есть на свѣтѣ Богъ“,—говорила она потомъ. Всѣ мученія, все горе, всѣ страхи и униженія, которые вынесла Сара до сихъ поръ, нельзя и сравнить съ одной той ночью, которую она пережила, когда забрали Давида и ея дѣтей, двѣ свѣтлыхъ звѣздочки... А то утро и весь день, когда дочь ея пропала! Пропала, какъ въ воду канула! Что значить—пропала? Какъ это возможно? А вотъ подите же! Всѣ здѣсь. Давида и Семку выпустили. Квартиранта отправили въ тюрьму. А Бети? Нѣтъ Бети! Всѣ друзья и пріятели, всѣ знакомые, вся улица перебивала у нихъ... „Нѣтъ еще вашей дочери?“

Вѣдь видятъ же, что нѣтъ, такъ зачѣмъ еще растравлять рану?...

— Что же вы молчите? Почему ничего не предпринимаете? Бѣгите въ полицію!...

Ха-ха, хорошо сказано, право же! Да она весь день бѣгаетъ изъ одного участка въ другой, бьется, какъ рыба объ ледъ, и никто ей слова сказать не хочетъ! Одни просто молчатъ, другіе гонятъ, третьи смѣются надъ ней, вышучиваютъ,—мало еще ей горя!... Не помогло и то, что мужъ ея до нѣкоторой степени свой человѣкъ у начальства, знакомъ со всѣми надзирателями... Не помогло и всемогущество ея шурина Фамиліанта, который лично знакомъ съ губернаторомъ... Не помогла и протекція хозяйна Давида съ его сыновьями, которые весь день были на ногахъ...

— Разъ дѣло касается человѣка, то нечего говорить,—рѣшилъ самъ хозяинъ. — Пусть будетъ стоить Богъ вѣсть сколько, а надо найти пропавшую дѣвушку!

Но напрасны были всѣ хлопоты.

— Лучше не вмѣшивайтесь въ такія дѣла,—сказали имъ.

Точно здѣсь былъ какой-то секретъ, тщательно скрываемый!...

Имъ удалось узнать всего-на-всего, что дѣдушку привезли въ одинъ изъ участковъ поздно ночью, почти на разсвѣтѣ. Спрашивается: гдѣ же она была всю ночь? И куда дѣвалась потомъ?...

— Лучше не вмѣшивайтесь въ такія дѣла...

Но сила протекціи вещь не шуточная, и когда еврей говоритъ, что потратитъ „Богъ вѣсть сколько“, онъ, будьте увѣрены, добьется своего... Узнали уже поздно ночью, что дочь Шапиро еще съ полудня отправлена въ больницу... Какъ такъ? Какимъ образомъ здоровая, сильная дѣвушка попала въ больницу? Вотъ какъ это было.

Когда ее привезли на допросъ, она была здорова, отвѣчала на вопросы, все, какъ слѣдуетъ. Но вдругъ она такъ расхохоталась и расплакалась, что пришлось позвать доктора. А докторъ сказалъ, что она больна и ее надо отправить въ больницу.

— И это все?

— Все.

Была уже поздняя ночь, когда одинъ изъ сыновей хозяина самъ привезъ Шапиро эту радостную вѣсть. Давида не было дома, онъ бѣгалъ съ шуриномъ по разнымъ канцеляріямъ. Сара, услышавъ, что дочь ея въ больницѣ, взяла извозчика и, какъ была, велѣла везти себя вмѣстѣ съ хозяйскимъ сыномъ прямо въ больницу.

-- Въ какую больницу прикажете?—спросилъ извозчикъ, обернувшись къ сѣдокамъ.

Чтобы она такъ горе знала! Сара смотритъ на своего спутника, тотъ на нее. Оба не знаютъ, въ какую больницу... Что это за человѣкъ! Какъ же онъ не спросилъ, въ какой она больницѣ?!... Вылетѣло изъ головы...

И пошла ѣзда изъ одной больницы въ другую.

Ради Бога,—молила Сара,— пусть сжалятся надъ ней! Пусть скажутъ, гдѣ ея дочь? Бети зовутъ ее, Берта Давидовна Шапиро...

Сжалились, наконецъ, надъ несчастной матерью и путемъ долгихъ переговоровъ по телефону установили, что дочь ея, не Берта Давидовна, а Бася Дувидовна Шапиро находится въ еврейской больницѣ.

Слава Богу! Пусть Бася Дувидовна,—главное, ея дитя, ея дочь нашлась! И счастливая мать помчалась въ еврейскую больницу.

Но тамъ ее ждало новое горе: къ дочери ее не пустили,—поздно уже нельзя.

Что значить—нельзя? Мать она или нѣтъ?

— Тысячу разъ мать: когда нельзя, такъ нельзя. Придете завтра.

Боже мой, что это за жизнь? Что за люди? Гдѣ жалость? Гдѣ Богъ?

Къ счастью, она увидѣла своего знакомаго доктора, домашняго врача, что беретъ, сколько дадутъ. Отцу родному съ того свѣта она не такъ бы обрадовалась! И пристала къ нему... Хорошо еще, что онъ самъ здѣсь! Самъ Богъ его послалъ! Ея дитя, ея Бети здѣсь, больная, а ее не пускаютъ къ дочери! Слыханное ли дѣло? Мать! Хуже Содома...

— Ш-ш...—хочетъ успокоить ее докторъ.— Не кричите такъ! Не волнуйтесь!

Что значить — не кричите, не волнуйтесь, когда ея ребенокъ, ея Бети...

— Вашъ ребенокъ, ваша Бети. Извѣстно, извѣстно... Вотъ я какъ разъ отъ нея и иду. Она больна, но не опасно. Нечего кричать и волноваться. Ваша дочь не на улицѣ, а въ больницѣ. А больница—не богадѣльня, куда можно являться, когда угодно... Придете завтра утромъ, и васъ пустятъ. Теперь это невозможно. Вы понимаете, что вамъ говорятъ, или нѣтъ?

Она понимаетъ. Почему не понимать? Но надо же войти и въ ея положеніе, вѣдь, она мать! Что за дикость! Что за жизнь! Что за люди! Мать—и чтобы не пустили взглянуть на своего ребенка хоть издали! Онъ, домашній докторъ, свой человекъ, который знаетъ ея дочь, знаетъ ихъ всѣхъ,—чтобы такъ говорилъ! Это свѣтопреставленіе!

Напрасно домашній докторъ снялъ очки и снова надѣлъ ихъ. Напрасно ворчалъ, взялъ шляпу и снова бросилъ на столъ. Напрасно бранился „бабой“, „прицѣпкой“... Онъ вынужденъ былъ въ концѣ концовъ взять эту „бабу“ за руку и тихонечко, на цыпочкахъ, подвести къ палатѣ, гдѣ лежала ея дочь. Указалъ издали кровать и силою отвелъ обратно.

— Ну, довольно? Конецъ! Теперь можете ѣхать домой!

Съ ума она сошла! Чтобы поѣхать домой въ то время, какъ дочь ея лежитъ здѣсь, въ боль-

ницѣ?! Что она—мать или чужая? Знала бы она, по крайней мѣрѣ, что съ нею, какая болѣзнь?

— Такъ говорятъ же вамъ, что не опасно, что все можетъ закончиться самое большее сильной слабостью...

Слабостью? Горе ей! Бѣдная...

— Ш-ш... Вы уже опять взѣрепенились? Что за наказаніе на меня съ этой бабой! Вы хотите, чтобы васъ прогнали?

Прогнали? За что? За то, что она мать и хочетъ знать, что съ ея дочерью? И кто это говорить? Онъ? Домашній докторъ! Свой человекъ! Пусть онъ дастъ ей честное слово, что ея дитя, не дай Богъ, не при смерти... Ему она повѣритъ...

Докторъ опять снимаетъ очки и снова одѣваетъ ихъ, бросаетъ шляпу на столъ и даетъ честное слово, что дочь ея не при смерти, что съ своей стороны онъ сдѣлаетъ все зависящее,— онъ бываетъ здѣсь два раза въ день. Чего еще она хочетъ?

Ничего. Чего еще ей хотѣтъ? Она добивается немногаго: чтобы ей разрѣшили здѣсь ночевать гдѣ-нибудь на полу, лишь бы быть вблизи дочери...

Ничего не помогло: докторъ принужденъ былъ просить больничную администрацію, чтобы та разрѣшила этой неугомонной женщинѣ ночевать гдѣ-нибудь здѣсь въ уголкѣ, за его отвѣтственностью. Затѣмъ онъ схватилъ шляпу и—бѣжать... Но не тутъ-то было. Сара опять поймала его

за руку... Какъ такъ? Вѣдь онъ не то, что всѣ прочіе. Онъ домашній врачъ и свой человѣкъ. Да пусть пропадутъ всѣ доктора на свѣтѣ, лишь бы онъ остался...

— Вотъ несчастье! Чего еще вы хотите?

Она хочетъ, чтобы докторъ потрудился... вѣдь онъ все равно ѣдетъ въ городъ,—такъ пусть заодно заглянетъ къ нимъ домой и передастъ мужу, что дочь ихъ находится въ больницѣ и что она, слава Богу, внѣ опасности, и что она, мать, здѣсь возлѣ нея, и чтобы онъ, Давидъ, смотрѣлъ за Семкою и чтобы далъ знать шури-ну Фамилианту и всѣмъ, чтобы онъ всенепремѣннѣйше...

— Охъ, откуда берутся на свѣтѣ такія матери?—схватился докторъ за голову и бросился бѣжать, какъ отъ огня, а Сара за нимъ. Она забыла попросить еще объ одномъ пустякѣ: чтобы онъ, докторъ, сказалъ ей мужу, чтобы онъ,—Давидъ, то-есть,—непремѣнно...

Но докторъ уже не слушалъ. Нахлобучилъ шляпу, влѣзъ одной ногой въ дожидавшійся экипажъ и—

— Пошелъ!...

Очень хорошо придумано, чтобы въ больницахъ были „сестры“, ухаживали за больными и дѣлали все, что надо. Но какъ можно сравнить „сестру“ съ матерью? Кто можетъ просидѣть у постели больного всю ночь, не сомкнувши глазъ, такъ, какъ просидитъ мать? Кто знаетъ, что

нужно больному, что онъ любить и чего не любить, такъ, какъ знаетъ мать? „Сестры“... Двадцать разъ „сестры“,—но развѣ могутъ онѣ, какъ мать, по одному взгляду догадаться, чего хочетъ больной?

Въ больницѣ всѣ понимали это, и врачи должны были согласиться, чтобы возлѣ больной Шапиро мать находилась не только весь день, но и всю ночь. Сара быстро вошла въ роль. Научилась ходить на цыпочкахъ и записывать температуру не хуже „сестеръ“. А о томъ, чтобы лѣкарства давались въ-время и говорить нечего. Тутъ Сара сравнится со всѣми „сестрами“ въ мірѣ. Не безпокойтесь, даже десятой доли секунды не пропуститъ! Что она — не мать? Никогда не давала лѣкарствъ своимъ дѣтямъ, что ли? Одного доктора боялись: какъ бы больная, вдругъ придя въ себя и увидя мать, не стала говорить съ ней о домашнихъ дѣлахъ и не взволновалась... Но „домашній врачъ“ взялся уладить это. Онъ заблаговременно подготовилъ мать къ тому, что надо быть очень осторожной и, когда больная начнетъ оправляться, надо постепенно, а не сразу дать ей понять, гдѣ она находится, и не пускаться съ ней въ разговоры о домашнихъ дѣлахъ, объ арестѣ и всей этой исторіи...

— Вы понимаете, что вамъ говорятъ?

Она понимаетъ,—что тутъ непонятнаго? Развѣ она не мать?

— Мать—не мать!—сердится докторъ. — Но вы—женщина, а женщины, извѣстно, чуть что—и наговорятъ съ три короба...

Этого Сара ему не спустила. Довольно тонко она намекнула, что есть-де врачи, которымъ ничего не стоитъ наговорить съ тридцать три короба... Понялъ ли докторъ? Вѣроятно... Но обидѣться—не обидѣлся... Чего тамъ! Развѣ онъ не зналъ Бети, когда она была еще совсѣмъ крошкой? А Семку сколько разъ онъ спасалъ отъ смерти? А Давида развѣ не лѣчилъ онъ нѣсколько лѣтъ подрядъ?...

Странный человѣкъ этотъ докторъ. Беретъ такъ мало,—сколько дадутъ... Разъ возьметъ, а три раза ѣдетъ безъ денегъ. Казалось бы, какъ тутъ состояніе нажить, а говорятъ про него на еврейской улицѣ, какъ про „богача“. Полагаютъ, что есть у него деньжонки въ банкѣ. Сколько—неизвѣстно, но есть. Нужды нѣтъ, что одѣтъ онъ въ старую крылатку временъ Хмѣльницкаго и похожъ въ ней, когда бѣгаетъ изъ дома въ домъ, на вѣтряную мельницу съ двумя крыльями. Нужды нѣтъ, что носить такую странную шляпу стараго шляхтича и ходить въ стоптанныхъ калошахъ. Просто—скупой человѣкъ, гроши считаетъ... А то что же ему дѣлать на биржѣ и въ конторахъ, гдѣ страхуютъ выигрышные билеты?... Докторъ-бѣднякъ не завелъ бы собственнаго выѣзда. Правда, выѣздъ такой, что врагу можно пожелать. Фаэтончикъ обтрепан-

ный, смотреть на бокъ. Лошадь старая, измученная, худая и на одну ногу прихрамываетъ. Но все же лучше, чѣмъ ничего. Доктора и такъ чуть на части не разрываютъ, что же съ нимъ было бы, если бы всюду онъ бѣгалъ пѣшкомъ! На еврейской улицѣ между бѣдняками докторъ очень популяренъ. Всѣ его любятъ. Жаль только, что онъ человѣкъ сердитый, „вспыльчивый“, какъ говорятъ про него, и не вѣритъ въ медицину. Видали вы, чтобы докторъ самъ смѣялся надъ врачами и говорилъ, что все дѣло яйца выѣденнаго не стоитъ? Станный человѣкъ! Лѣкарствъ у него надо выпрашивать:

— Докторъ, хоть чего-нибудь, да пропишите!

— Чего вамъ прописать? Горя? Нищеты? Или головной боли?

— Спасибо. Въ горѣ мы не нуждаемся. И нищета есть у насъ, а головная боль пусть достанутся врагамъ нашимъ... Вы же знаете толкъ въ рецептахъ...

И бѣдный докторъ долженъ написать рецептъ,—что ему остается? Пишетъ и бранится,—рецептъ-де и щепотки нюхательнаго табаку не стоитъ... Главное—свѣжій воздухъ, хорошая пища, молоко...

— А денегъ, господинъ докторъ, гдѣ на это взять?

Но этого докторъ уже не слышитъ. Нахлобучиваетъ шляпу, лѣзетъ въ фаэтончикъ съ старой измученной клячей и—

— Пошелъ!...

Если бы не этотъ докторъ. Сару давно бы попросили изъ больницы,—она всѣмъ тамъ очень надоѣла. Ни одного консиліума не пропускала она и все молила спасти ея дочь,—давать ей какъ можно больше лѣкарствъ, какъ можно больше пилюль... Она знаетъ, что дочь, Богъ дастъ, будетъ здорова,—великій Богъ не захочетъ взять у нея ребенка, ея душу... но человѣкъ долженъ дѣлать все, что въ силахъ...

Сара входила во всѣ подробности. Хотѣла знать, что больной прописываюъ и зачѣмъ... Почему, когда у ея золовки была больна дочь, тоже нервной слабостью, такъ ей давали не микстуру, а порошки, и не каждые три часа, а каждый часъ, и не по чайной ложечкѣ, а по столовой ложкѣ...

Ея покровитель, „домашній докторъ“, хватается за голову и даетъ честное слово, что, если она будетъ вмѣшиваться, куда не слѣдъ, его нога не ступитъ къ кровати ея дочери...

Но Сара и ухомъ не ведеть, Она очень хорошо знаетъ, что ради ея дочери онъ не только два раза въ день заѣдетъ въ больницу, но, если урветъ минутку, то три и даже четыре раза... Товарищи доктора—и тѣ порѣшили между собою, что ихъ коллега, должно быть, собирается вступить съ Шапиро въ болѣе близкія отношенія, чѣмъ домашній врачъ... Жениться ему давно бы пора...

Сару они иначе и не называли, какъ „теща“. Да она и въ самомъ дѣлѣ обходилась съ докторомъ, какъ съ своимъ человѣкомъ: каждый день давала ему домой всякія порученія и вообще не церемонилась...

Раза два привозилъ докторъ съ собой ея мужа,—ему вѣдь все равно надо ѣхать, лишнихъ денегъ это не стоитъ... А разъ докторъ привезъ Семку,—ребенокъ, жаль ему что ли подвезти-то?

У доктора по истинѣ какъ гора съ плечъ свалилась, когда Бети пришла въ себя и стала поправляться: наконецъ-то, онъ избавится отъ этой женщины, отъ этой обузы!

Но не такъ скоро дѣло дѣлается, какъ сказка сказывается. Выздоровленіе Бети шло слишкомъ медленно, не видно было, чтобы скоро могла она выписаться изъ больницы. Но, слава Богу, кризисъ миновалъ. За все время Сара ни разу не плакала. Не давали. Но теперь, какъ только услышала желанное слово „кризисъ“, какъ только узнала, что опасность прошла,—слезы разомъ хлынули у нея. Забилась въ уголъ, чтобы дочь не видала, и выплакала всѣ, сколько накопилось...

— Ну,—спросилъ сурово докторъ,—теперь вы вѣрите, что ваша дочь будетъ здорова?

— Съ Божьей помощью,—отвѣчаетъ Сара. Она, признаться, всегда думала, что раньше Богъ, а потомъ уже докторъ. Она знала, что великій Богъ не оставитъ ея...

— Теперь вы могли бы, кажется, поѣхать домой...

Уже? Опять старая пѣсенка? Опять домой? Кому, спрашивается, она, мать, мѣшаетъ? И чье мѣсто она здѣсь занимаетъ? По чьей землѣ ходитъ? Чей хлѣбъ ѣсть?...

— Тише, тише! Довольно! Задѣли ее, теперь не отвяжешься!—кричитъ докторъ и бѣжитъ отъ нея, отмахиваясь, какъ отъ пчелы.

Но когда оба подходятъ къ кровати больной, то совсѣмъ нельзя замѣтить, что они только что ссорились. Лица ихъ сияютъ и улыбаются Бети, какъ маленькому капризному ребенку, едва проснувшемуся, съ полузакрытыми глазками: неизвѣстно еще, съ какой ноги онъ сегодня встанетъ...

Съ трудомъ подвигалось выздоровленіе Бети. Первымъ лицомъ, которое она увидѣла и узнала, было лицо матери. Страхъ, счастье, любовь, жалость, мольба одновременно отражались на немъ въ ту минуту и дѣлали мать настолько смѣшной, что больная не могла не удержаться отъ того, чтобы не улыбнуться ей глазами и не сказать:

— Мамаша...

И больше ничего.

Казалось бы, что особеннаго въ этомъ словѣ... Вѣдь сколько разъ больная произносила его за время своего пребыванія въ больницѣ... Но не

въ самомъ словѣ суть, а въ тонѣ, въ голосѣ, а главное—во взглядѣ. Совсѣмъ другой взглядъ!... И счастливая мать не вѣритъ ушамъ и глазамъ своимъ. Сердце ея готово выскочить отъ радости, на глазахъ выступаютъ слезы... Съ легкостью перышка она поднимается, подходитъ къ кровати и, наклонившись надъ дочерью, чуть дыша спрашиваетъ:

— Тебѣ надо чего-нибудь, Бети?

Развѣ есть хоть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы она, Сара, не достала бы для нея? „Тарелочку съ неба“? Но это только такъ говорится. На небѣ нѣтъ тарелочекъ, и небо слишкомъ высоко. Но если бы понадобилось, на примѣръ, пройти сто миль пѣшкомъ? Или раскопать руками гору? Или еще больше—унижаться, ради своего ребенка просить милостыню, плакать, умолять? Какъ вы полагаете,—стала бы она долго раздумывать? Если такъ, то вы не знаете Сары Шапиро! Когда докторъ лишь заикнулся о винѣ, хорошемъ винѣ, „кайзеръ-вейнъ“, Сара сейчасъ же вызвала въ больницу мужа и, когда Давидъ явился, вышла съ нимъ на минутку на дворъ, гдѣ супруги долго и горячо разговаривали. Что за разговоръ былъ у нихъ, осталось тайной. Но въ тотъ же день у Сары была бутылка вина лучшаго сорта, „кайзеръ-вейнъ“. И привезла ее сама Тойба Фамиліантъ въ собственномъ экипажѣ. Вручила вино—и сейчасъ же съ претензіями къ Сарѣ... Что у нея за привычка посылать дру-

гихъ, когда ей что нибудь-надо? Почему она ей прямо не говорить: „Тойбочка, нужна бутылка вина“. Или: „Тойбочка, нужна банка варенья“. Развѣ она когда-нибудь отказывала ей?

— А тѣмъ болѣе теперь, когда дѣло касается больного человѣка!—закончила набожная женщина по древне-еврейски, сложивъ губы въ сладенькую улыбочку и сдѣлавъ такое благочестивое лицо, что могла, казалось, попасть прямо отсюда въ рай...

Вторымъ человѣкомъ, котораго Бети увидѣла и узнала, былъ докторъ, ихъ „домашній врачъ“. Гдѣ же папаша? И почему эта комната ей незнакома? Гдѣ она? Почему здѣсь такъ свѣтло?

— Ш-ш...—говоритъ ей докторъ, поднося палецъ ко рту.—Намъ нельзя еще разговаривать и нельзя ни о чемъ думать. Надо только спокойно лежать и больше ничего.

Ему легко говорить,—спокойно лежать, не разговаривать, не думать, а ей такъ хочется узнать, гдѣ она и что съ ней... Что она не дома,—это видно. Что она больна,—это чувствуется. Но какъ она очутилась здѣсь? Какъ и когда это случилось?... Она закрываетъ глаза и старается припомнить все, что съ ней было... Понемногу въ памяти ея встаетъ моментъ за моментомъ все пережитое. И понемногу она узнаетъ, гдѣ находится...

Чѣмъ дальше, тѣмъ больше новыхъ лицъ видѣла Бети. Приходилъ отецъ, на минутку толь-

ко,—вѣдь онъ занятъ, „проданный человѣкъ“... Приѣзжалъ съ докторомъ ея братишка Семка. „Хорошо,—говорить,—ѣхать съ докторомъ въ фазтончикъ!“ И скоро уѣхалъ,—доктору некогда ждать. Даже тетя Тойба съ дочерьми приѣзжали навѣстить ее. Но онъ и двухъ минутъ не просидѣли. Имъ слова сказать съ ней не дали, кромѣ: „Какъ поживаешь?“ да „Какъ твое здоровье?“ Всѣ знакомые перебивали, но одного она не видала, а этотъ одинъ ей, можетъ быть, не менѣе дорогъ, если не дороже всѣхъ... Не понимаетъ она, почему всѣ были, а его все нѣтъ... Что съ нимъ? Кого бы спросить? Какъ спросить? И она ждетъ, не помянетъ ли кто-нибудь его имени... И смотритъ всѣмъ въ глаза,—не замѣтитъ ли чего-нибудь... Но никто не вспоминаетъ о немъ, и по глазамъ ничего нельзя замѣтить... Какъ возможно, чтобы его не было здѣсь возлѣ нея? Чтобы онъ меньше всѣхъ интересовался ея болѣзнью?.. Не уѣхалъ ли онъ домой? Или и онъ боленъ? Нѣтъ,—ей сказали бы... Она же видитъ, что его отсутствіе замалчиваютъ, его имени не произносятъ, точно всѣ сговорились... Точно боятся сказать правду... И, конечно, ей представляется самое худшее... Ей чудится нѣчто такое, чего она и произнести не въ силахъ, о чемъ подумать даже боится...

Вотъ идетъ докторъ. Можетъ быть, у него удастся узнать что-нибудь?

— Ну, какъ мы спали?—спрашиваетъ докторъ, пощупавъ у больной пульсъ для вида.

И затѣвается обычный разговоръ о температурѣ, аппетитѣ, лѣкарствахъ,—какія еще принимать, какія оставить. Но больная по глазамъ доктора видитъ, что ни температура ни лѣкарства теперь уже не важны...

— Скоро намъ можно будетъ выписаться изъ больницы,—продолжаетъ докторъ,—и переѣхать домой, т. е., не прямо домой, а сначала на дачу. Тамъ мы быстро поправимся и станемъ, какъ всѣ...

Бети нѣ особенно пріятно, что съ нею говорятъ, какъ съ маленькимъ ребенкомъ, котораго надо обманывать и заговаривать. Она видитъ, чувствуетъ, что надъ нею виситъ тайна, что произошло нѣчто такое, чего она не должна знать, что скрываютъ отъ нея...

Мать видитъ, что дочь недовольна, нервничаетъ... И она изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы какъ-нибудь уладить дѣло.

— Знаешь, Бети, кто спрашивалъ о тебѣ?—обращается она къ дочери послѣ ухода доктора—и уже жалѣетъ: Бети сразу измѣнилась въ лицѣ, вся кровь прилила ей въ голову... Кто можетъ справляться о ней, если не онъ? Но она не хочетъ показать матери, что взволнована, и спрашиваетъ ее будто бы спокойно:

— Кто?

Но Сара видитъ, что это за спокойствіе, и

проклинаетъ себя,—зачѣмъ она сказала, зачѣмъ не посовѣтовалась раньше съ докторомъ... И за-дастъ же онъ ей, если узнаетъ!.. Но начала,—такъ пропало! Надо кончить...

— Да еще не разъ приходилъ онъ справляться о твоёмъ здоровьѣ, „шлимъ-мазелъ“ этотъ...

— Какой „шлимъ-мазелъ“?—спрашиваетъ Бети упавшимъ голосомъ и смотритъ на мать—хочетъ по лицу ея отгадать, о комъ идетъ рѣчь.

— Да тотъ, изъ Литвы, съ веснушчатымъ лицомъ,—отвѣчаетъ Сара съ притворной улыбкой.—Ты вѣрно помнишь его,—шуринъ переплетчика... Мы познакомились съ этой семейкой въ ту памятную ночь передъ Пасхой, на улицѣ возлѣ вокзала...

Довольно, довольно... Она и безъ того уже знаетъ, кто это. Юноша изъ Пинска, товарищъ ихъ квартиранта... Напрасно она обрадовалась! Другое имя ожидала она услышать... Но хоть бы слово промолвила...

Бѣда, да и только,—думаетъ Сара. Развѣ она не видитъ, что дочь даже и не слушаетъ, о чемъ ей говорятъ?.. Развѣ она не знаетъ, о комъ ея Бети сейчасъ думаетъ, кого ищетъ глазами? Материнскій глазъ видитъ. Материнское сердце чувствуетъ. А что дѣлать, если она вдругъ спросить: „А гдѣ квартирантъ?“ Что ей сказать? И до какихъ поръ молчать о немъ? Не сегодня—такъ завтра должна же она будетъ узнать всю правду!.. И чѣмъ узнавать ее отъ чужихъ, пусть

лучше скажетъ она сама, мать... Но съ какой стороны подойти, съ чего начать? Много разъ она думала объ этомъ, совѣтовалась съ Давидомъ, съ докторомъ, съ золовкой. Всѣ въ одинъ голосъ твердятъ, что говорить ей объ этомъ нельзя. Развѣ если она сама спросить... И даже тогда нельзя говорить все сразу. Сначала надо сказать, что онъ поѣхалъ на время домой и скоро вернется... Но Сара лучше ихъ всѣхъ понимаетъ, что дочери не къ чему врать, Бети не изъ тѣхъ, кого можно провести... И Сара рѣшается. Предварительно она пускается въ дипломатію.

— Да не прогнѣвается на меня Господь Богъ за мои слова, но мнѣ кажется, что чѣмъ богаче человѣкъ, тѣмъ онъ подлѣе... Къ чему миллионы, когда нѣтъ ни капли жалости? Я говорю о теткѣ, о миллионершѣ я говорю...

Бети чувствуетъ, что еще минута—и сердце разорвется у нея. Но она ждетъ, что будетъ дальше. А Сара вытираетъ ротъ и продолжаетъ:

— И чего держаться за миллионы? Развѣ жизнь не дороже миллионовъ? Или ихъ можно взять съ собою на тотъ свѣтъ? Или что?..

— Боже, его уже нѣтъ?!—пробѣгаетъ мысль у Бети, и она чуть не падаетъ въ обморокъ. Но крѣпится изъ послѣднихъ силъ,—выслушать, все выслушать до конца!..

— Да будь у меня миллионы и случись съ моимъ наслѣдникомъ такое... такое несчастіе, я бы на второй же день прилетѣла и денегъ бы не

стала жалѣть... Десять тысячъ—какъ десять тысячъ! Пятьдесятъ тысячъ—такъ пятьдесятъ тысячъ! И въ ту же минуту взяла бы его подъ залогъ... Какое значеніе могутъ имѣть въ такомъ дѣлѣ пятьдесятъ тысячъ? А если бы даже сто тысячъ, такъ надо останавливаться? Человѣкъ прежде всего,—какъ говорить тетя Тойба. Берутъ человѣка съ чистой душой и дѣлаютъ изъ него разбойника, душегуба!..

Бети чувствуетъ, какъ точно тысяча пудовъ свалилась съ нея... „Слава Богу, онъ живъ!..“ И она снова краснѣетъ. Въ одно мгновеніе мозгъ ея охватываетъ случившееся, и ей хочется вытянуть у матери какъ можно больше словъ, разузнать отъ нея понемногу все... И вмѣсто того, чтобы взволноваться такой новостью, какъ опасалась Сара, Бети только разсмѣялась,—въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ пришла въ себя,—и лицо ея засіяло, глаза заблестѣли по-прежнему.

Счастливой матери кажется, что не дочь смѣется,—смѣются ангелы небесные. Самъ Богъ смѣется... Не сглазить бы,—тьфу-тьфу-тьфу!..

— Бети! Ты смѣешься? А то что въ самомъ дѣлѣ? Некому смѣяться: Рабиновичъ—разбойникъ! Рабиновичъ—душегубъ! Ха-ха-ха!..

Но Бети не отвѣчаетъ. Бети думаетъ о другомъ... Онъ живъ! Онъ живъ!—звенить у нея въ душѣ. И тысячи цвѣтовъ распускаются передъ глазами, и тысячи птицъ звонко, радостно поютъ:

— Онъ живъ! Онъ живъ! Онъ живъ!..

ГЛАВА XXXI.

Отець ѣдетъ спасать сына.

Тщательно и остроумно разработали свой планъ Гриша Поповъ и Гершко Рабиновичъ. Все въ немъ предусмотрѣли. Такъ какъ у каждого былъ свой домъ и свои родные, съ которыми надо переписываться, то приходилось устроить такъ, чтобы они ничего не знали. Поповы должны быть увѣрены, что ихъ Гриша учится въ столицѣ, а Рабиновичи должны думать, что ихъ Гершко живетъ въ большомъ городѣ „черты“. Но какъ это возможно, если на самомъ дѣлѣ въ столицѣ будетъ жить не Гриша Поповъ, а Гершко Рабиновичъ, а въ городѣ „черты“—не еврей Рабиновичъ, а русскій Поповъ?

Еврей ужъ найдетъ выходъ... Вотъ что придумалъ Рабиновичъ.

Свои письма домой Поповъ-Рабиновичъ будетъ пересылать настоящему Рабиновичу въ столицу, а тотъ будетъ направлять ихъ оттуда Поповымъ. Настоящій же Рабиновичъ будетъ пересылать свои письма родителямъ къ лже-Рабиновичу въ „черту“, а тотъ будетъ переправлять ихъ оттуда Рабиновичамъ. Обратное тотъ же фокусъ. Поповы, которые будутъ думать, что ихъ Гриша находится въ столицѣ, будутъ писать ему туда, а письма ихъ будутъ переправляться въ „черту“; посланія же Рабинови-

чей будутъ переводиться изъ „черты“ черезъ лже-Рабиновича къ ихъ Гершку Мойшевичу, учащемуся въ столицѣ въ качествѣ благополучнаго дворянина Григорія Ивановича Попова.

Комбинація, кажется, достаточно простая, чтобы ее стоило разъяснить. Но мало ли что случается! Письма, которыя студенты будутъ пересылать другъ другу, могутъ попасть въ нежелательныя руки, и тогда все пропало...

— Что же дѣлать?—спрашиваетъ лже-Рабиновичъ настоящаго Рабиновича.

— Что дѣлать?—отвѣчаетъ тотъ и берется за бородку, которая когда-то еще вырастетъ.— Я тебѣ скажу, что дѣлать. Когда ты пріѣдешь на мѣсто и устроишься, то напишешь своимъ, чтобы они не посылали тебѣ писемъ на твое имя, потому что Поповыхъ въ твоёмъ университетѣ цѣлыхъ трое и какъ на зло всѣ Гриши. Понялъ? А я напишу своимъ, что, такъ какъ въ моемъ университетѣ Рабиновичей, какъ собакъ, то пусть мнѣ пишутъ всегда только „до востребованія“. Понялъ?

— Bravo, Гершко!—воскликнулъ Поповъ, восхищенный догадливостью товарища.—Ты премудръ какъ Соломонъ!

— Соломонъ, не Соломонъ,—говоритъ настоящій Рабиновичъ,—а въ самомъ дѣлѣ придумано недурно. Самъ чертъ не разберетъ, кто и кому пишетъ! Нѣтъ адреса, нѣтъ Попова, нѣтъ

Рабиновича! Есть только инициалы „до востребованія“... Поди, ищи насъ! Понялъ?

— Чертъ возьми, Гершко! Давай расцѣлуемся!
И товарищи крѣпко обнялись...

Ничего не скажешь, — придумано это было въ самомъ дѣлѣ очень хорошо. И все шло, какъ по маслу. Поповы писали письма Гришѣ прямо въ столицу „до востребованія“, а Рабиновичи писали Гершкѣ въ большой городъ „черты“ также „до востребованія“, и ничего не подозрѣвающая почта дѣлала свое дѣло: переправляла письма вѣжды отъ одного къ другому, туда и обратно „до востребованія“... Такъ продолжалось бы навѣрно весь годъ, и ни одна душа ничего не узнала бы. Но вдругъ испортилось какое-то колесико, что-то порвалось, и вся машина стала.

Что же случилось?

Настоящій Рабиновичъ, живущій въ столицѣ подъ именемъ Попова, вдругъ пересталъ получать письма отъ товарища, дѣйствительнаго Попова. Не помогли ни упреки, ни заказныя письма, ни телеграммы. Лже-Рабиновичъ не отзывался, хоть плачь, и дѣйствительный Рабиновичъ чуть съ ума не сошелъ. И какъ на зло Поповы въ послѣднее время были щедры па письма своему Гришенькѣ. Гершко пересылалъ ихъ всѣ товарищу въ „черту“, и тамъ они прѣблагополучно лежали на почтѣ вмѣстѣ съ тѣми письмами, которыя Рабиновичи съ своей стороны посылали Гершкѣ „до востребованія“, жалуюсь,

ШОЛОМЪ АЛЕЙХЕМЪ.

что понять не могутъ, почему онъ не отвѣчаетъ на всѣ ихъ письма...

— Если ты, не дай Богъ, боленъ,—писали они,—то можешь вѣдь попросить кого-нибудь написать или телеграфировать, и къ тебѣ пріѣдутъ, хотя не такъ-то легко оторваться отъ дѣла, а главное поѣхать туда, въ твой городъ, еврею не разрѣшаютъ ночь переночевать...

Что же это въ самомъ дѣлѣ? Ужъ не вышло ли съ тобой „случая“? Но что-то не вѣрится... Ты не изъ такихъ... Хотя намъ кажется немного страннымъ, что ты просишь писать тебѣ все „до востребованія“ да „до востребованія“!... Итакъ, Гершко, мы будемъ ждать еще недѣлю, не больше. А если пройдетъ недѣля, и отъ тебя, не дай Богъ, все не будетъ писемъ, то или самъ отецъ или я должны будемъ поѣхать, отыскать тея и узнать, что съ тобою...

Писалъ старшій братъ Абрамъ-Лейба, торгующій вмѣстѣ съ отцомъ возлѣ вокзала. Онъ началъ уже готовиться въ путь, но ѣхать и тратиться на дорогу ему не пришлось. Какъ разъ въ тотъ день, когда было отправлено письмо, вдругъ арестовали самого Абрама-Лейбу и его отца Мойшу Рабиновича. Весь городъ пришелъ въ смятеніе...

— Что за странность? Ребъ Мойша не такой человѣкъ, чтобы крадеными лошадьми торговать, а сынъ его Абрамъ-Лейба не изъ тѣхъ, что

мѣшаются въ извѣстныя дѣла, какъ прочіе молодые люди... Такъ что же бы это значило?

Еще раньше, чѣмъ освободили ребѣ Мойшу Рабиновича и его старшаго сына, на другой день послѣ ареста весь городокъ уже зналъ, въ чемъ дѣло... Узнали изъ газетъ, которыя впервые выставили полностью имя и фамилію „ритуального убійцы“. До этого писали просто: „еврейдантистъ“. Теперь ясно было написано: „шкловскій мѣщанинъ Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, ученикъ зубоврачебной школы“,—всѣ признаки налицо...

Что творилось въ городкѣ—и описать трудно. Сразу столько новостей въ такомъ маленькомъ городкѣ! Лежалъ себѣ городъ, мирно дремалъ и—вдругъ свой Дрейфусъ, ха-ха-ха! Все это пустяки, смѣшно! Но пока... стыдно передъ русскими! Стыдно передъ Европой! Стыдно передъ самими собой...

— Въ наше время, когда даже въ такомъ захолустѣ есть желѣзная дорога, прогимназія, кинематографъ...

— Нашли диковинку—кинематографъ! Слава Богу, до аэроплановъ, до дирижаблей дошли, а онъ—кинематографъ!

— Словомъ, Богъ съ нимъ съ кинематографомъ, аэропланомъ и дирижаблемъ,—жаль бѣдныхъ Рабиновичей... Такая клевета!

— Суждено человѣку несчастье, такъ уже не миновать... Ха-ха-ха, некому смѣяться, ей-Богу!

— Ну, знаете, теперь не до смѣху. Тамъ сидитъ одинъ, да здѣсь двое. Хороша шутка!

— Пустяки! Есть о чемъ говорить! Освободятъ всѣхъ троихъ, не успѣете оглянуться.

И въ самомъ дѣлѣ Рабиновичей освободили. Не всѣхъ троихъ,—вѣдь третій сидитъ тамъ, далеко,—кто за него можетъ поручиться? Но двоихъ, отца и старшаго сына, освободили уже на третій день. Ихъ только опросили, обыскали, обшарили у нихъ всѣ уголки, все вытрясли, перевернули и забрали цѣлую кипу писемъ, тѣхъ, что написалъ имъ за все время Гершко. Какъ только ихъ выпустили, ребѣ Мойша Рабиновичъ началъ совѣтоваться со своей родней, съ друзьями и вообще умными людьми: что дѣлать? И рѣшено было, что долженъ онъ ѣхать „спасать сына“. Какъ спасать,—объ этомъ никто знать ничего не хотѣлъ. Развѣ можно разсуждать, когда человѣкъ тонетъ?

И бѣдный отецъ не сталъ долго раздумывать. Переговорилъ только еще разъ съ нѣсколькими умными людьми, то-есть, почти со всѣмъ городкомъ, уложилъ свой чемоданъ и отправился въ большой городъ на Божью волю, не думая даже о томъ, что тамъ еврею не разрѣшаютъ даже ночь переночевать...

— Во всякомъ случаѣ,—говорили умные люди,—что Богъ дастъ, то и будетъ. Возможно развѣ, чтобы еврей и въ самомъ дѣлѣ не могъ тамъ одного дня провести? Взять, на примѣръ,

Петербургъ, гдѣ еврей, кажется, совсѣмъ нетерпимъ. И что же,—всѣ благословляютъ Петербургъ, нѣтъ такого города на свѣтѣ для еврея, какъ Петербургъ... Или взять Москву. Вѣдь еврей тамъ глаза колетъ! Шутка ли: Москва! И все же можно пожелать себѣ столько тысячъ, сколько приѣзжаетъ и уѣзжаетъ оттуда евреевъ споконъ вѣка... Еврей обязанъ дѣлать все, что можетъ, и Богъ не оставитъ его...

Ребъ Мойша Рабиновичъ полетѣлъ, можно сказать, сломя голову. Даже паспортъ забылъ захватить... Дѣло не шуточное: еврей ѣдетъ спасать своего сына!... Самъ онъ человѣкъ стараго закала. Но старшій сынъ Абрамъ-Лейба, котораго онъ взялъ съ собой, какъ говорится, лицомъ въ грязь не ударитъ... Хотя Абрамъ-Лейба гимназіи не кончилъ, какъ младшій братъ, и медали не получилъ, но тамъ, гдѣ дѣло коснется русскаго языка, онъ, будьте увѣрены, не уступитъ великому знатоку грамматики, самому Гершкѣ. Даже, если хотите, пять очковъ ему впередъ дастъ... Не смотрите, что Абрамъ-Лейба неказистъ и видъ у него захудалаго еврейчика. Еще будучи холостымъ, онъ зналъ наизусть всего Кирпичникова и Галахова. Но ему не везло. Отецъ ни за что не хотѣлъ отдать его въ гимназію, хотя Абрамъ старше Гершки не больше чѣмъ на годъ. Отецъ оправдывается: чтобы враги евреевъ такъ жить хотѣли, какъ онъ хотѣлъ отдать Гершку въ гимназію! Но что ему было

дѣлать, когда этотъ сорванецъ Гершко, совсѣмъ еще мальчишкой, ушелъ, если хотите знать, изъ дому и уѣхалъ въ другой городъ, чтобъ ему!... Долгое время не знали даже, гдѣ его косточки обрѣтаются. Впослѣдствіи самъ написалъ, что готовится поступить въ гимназію и уже поступилъ бы, такъ какъ экзамены выдержалъ, да къ несчастью вакансіи нѣтъ. Но не беспокойтесь за него,—писалъ этотъ безбожникъ,—онъ будетъ экстерничать вплоть до тѣхъ поръ, пока, Богъ дастъ, не попадетъ... Во всякомъ случаѣ, говоритъ, домой не пріѣду... Ну, судите сами, что могъ сдѣлать онъ, отецъ, любящій сына? И еще такого сына, какъ этотъ Гершка, у котораго все горитъ въ рукахъ, за что онъ ни возьметса?!

Ребъ Мойша Рабиновичъ — простой честный еврей. Онъ „правитель“ (разумѣется, „отправитель“ или экспедиторъ) на желѣзной дорогѣ. Изъ разсказовъ отца можно заключить, что сынъ его Гершко порядкомъ мучился, голодалъ и экстерничалъ, пока въ концѣ-концовъ не поступилъ-таки въ одинъ изъ среднихъ классовъ гимназіи въ какомъ-то заброшенномъ городкѣ центральной Россіи (въ Т-ской губерніи), гдѣ евреевъ немного. Тамъ у него оказался родственникъ со стороны матери, ремесленникъ, который и приписалъ его къ себѣ. Приняли его, сталъ онъ учиться, работалъ немного, уроки давалъ, да отецъ кое-что посылалъ,—что ему оставалось

дѣлать? И представьте себѣ, кончилъ гимназію съ шикомъ, какъ и подобаетъ такому сорванцу!

Впослѣдствіи отецъ нисколько не скрывалъ, что у него, ребѣ Мойши Рабиновича, набожнаго еврея, сынъ, можно сказать, гой. Что подѣлаешь? Теперь жизнь такова... Еще слава Богу, что не бросилъ совсѣмъ еврейства, какъ прочіе въ наше время... Наоборотъ, его Гершко, какъ пріѣдетъ на праздники домой, сейчасъ же идетъ съ отцомъ въ синагогу молиться, и когда вызовутъ прочесть молитву, то такъ вамъ прочтетъ, что пальчики оближете...

Вообще, добрый сынокъ,—утѣшался отецъ и частенько посылалъ Гершкѣ сколько было можно, по секрету отъ старшаго сына. Но тотъ зналъ объ этомъ и нерѣдко ворчалъ, себѣ подъ носъ по обыкновенію: какъ же можно перечесть отцу? Почитаніе родителей — прежде всего... Только иногда онъ позволялъ себѣ буркнуть мимоходомъ, что онъ, Абрамъ-Лейба, не видитъ теперь въ ученіи никакого толку для еврея. Кончилъ гимназію, не кончилъ гимназію,—все грошъ цѣна. Еврей съ гимназіей у нихъ даже въ тысячу разъ ненавистнѣе, чѣмъ еврей безъ гимназіи. Ну, допустимъ, кончилъ гимназію,—тогда что? И даже, пусть, университетъ кончилъ,—а дальше что? Э, пустяки! Тотъ же Гершко, но въ тысячу разъ хуже. Потому что Гершко безъ диплома для нихъ Гершко, и только. А Гершко съ дипломомъ не захочетъ назы-

ваться Гершкой, а Гришей или Григоріемъ. Но чтобы Гершко превратился въ Гришу или въ Григорія,—этого они не хотятъ, говорите, что угодно!

Разумѣется, въ этихъ рѣчахъ было мало правды, но зато много зависти. Младшій братъ учится, а онъ, Абрамъ-Лейба, который всего на одинъ годъ старше и нѣизусть знаетъ всего Кирпичникова и Галахова, долженъ служить отправителемъ на вокзалѣ, снимать шапку не только передъ начальникомъ станціи, но даже передъ сторожемъ, мужикомъ въ высокихъ сапогахъ, позволяющимъ себѣ говорить Абрамъ-Лейбѣ „ты“. Одно это „ты“ было бы, пожалуй, съ поль-горя. Но этотъ невѣжа вздумалъ называть его „Халамейзеромъ“. „Халамейзеръ“ у него значитъ Хаимъ-Лейзеръ, хотя зовутъ Рабиновича не Хаимъ и не Лейзеръ, а Абрамъ-Лейба! Но иди, говори съ нимъ! Разъ еврей и два имени,—такъ „Халамейзеръ“.

Когда получилось извѣстіе, что Гершко въ университетъ не попалъ, а записался въ дантисты, Абрамъ-Лейба въ душѣ былъ радъ. Онъ напередъ зналъ, что такъ и будетъ. А то что? Какое значеніе имѣетъ медаль, — пусть серебряная, пусть золотая, пусть хогь брилліантовая!

А старикъ Рабиновичъ всѣмъ хвасталъ, что сынъ его Гершко,—вѣдь вы знаете этого сорванца,—теперь уже студентъ. То-есть, не студентъ, а дантистъ, но не все ли равно? Почитали бы вы его письма!..

Немного позднѣ отецъ говорилъ:

— Представьте себѣ, сорванецъ-то мой, началъ уже зарабатывать! Настолько, что не нуждается въ помощи отца. Наоборотъ: хочу, говорить, расплатиться съ отцомъ, уплатить старые долги,—вотъ безбожникъ! Да, нѣтъ, еще лучше: онъ въ самомъ дѣлѣ началъ посылать деньги каждый мѣсяцъ, двадцать пять рубликовъ, пятьдесятъ, а то и цѣлую сотню... Ну, что ты теперь скажешь про своего брата, Абрамъ? Иди-ка сюда, что же ты молчишь?

Что ему сказать? Прежде всего, онъ никогда ничего плохого про своего брата не говорилъ. А затѣмъ, если хотите, Абрамъ-Лейба и теперь скажетъ, что рано еще радоваться... До конца еще далеко... Если человѣкъ иной мѣсяцъ заработаетъ немного больше, это еще ничего не значитъ... Но развѣ онъ станетъ переубѣждать отца? Родительская гордость—шутка ли?

Въ первое время, когда Гершко вдругъ пересталъ не только сыгать сотнями, но даже и письма писать, Абрамъ-Лейба былъ доволенъ.

— Повидимому, Гершко возгордился, даже и писать не хочетъ!—сказалъ онъ мимоходомъ такъ, чтобы отецъ слышалъ. Но скоро пожалѣлъ. Старикъ и безъ того бродилъ, какъ тѣнь, не могъ себѣ мѣста найти. Позднѣ самъ Абрамъ-Лейба сталъ беспокоиться и думать, Богъ

вѣсть что... Мало ли что можетъ случиться... теперешніе безбожники... Можетъ быть, онъ крестился? Не дай Богъ, отецъ этого не перенесеть.

Абрамъ-Лейба сильно волновался. Особенно теперь, когда случилось такое несчастье. Развѣ будетъ онъ ждать, пока отецъ скажетъ: поѣзжай? Абрамъ-Лейба самъ далъ отцу понять, что ѣдетъ съ нимъ. И весь городъ иначе и не думалъ: если уже ѣхать, такъ обоимъ, отцу и сыну. Это само собой разумѣлось. И когда они уѣзжали, весь городъ пришелъ проститься, пожелать удачи. Абрама-Лейбу разъ сто просили писать обо всемъ какъ можно подробнѣе и чаще. А если, Богъ дастъ, будетъ хорошее извѣстіе, чтобы не пожалѣли денегъ и телеграфировали...

— Помни же, Абрамъ-Лейба, не забудь: пиши какъ можно больше открытокъ, а въ случаѣ удачи—телеграмму!...

— Хорошо, хорошо... За этимъ дѣло не станетъ...

И Абрамъ-Лейба украдкой вытеръ слезу.

Локомотивъ свистнулъ, поѣздъ тронулся. Изъ окна вагона смотрѣли два мрачныхъ человѣка. Одинъ постарше, густо обросшій волосами, съ платкомъ на шеѣ. Другой—молодой, въ бѣлой манишкѣ и съ намекомъ на бородку. То были ребѣ Мойша и его старшій сынъ Абрамъ-Лейба,—бѣдные, за что ихъ Богъ наказалъ?... Еще

секунда—и они исчезнуть. А евреи съ озабоченными лицами все еще стоять на платформѣ, машутъ отъѣзжающимъ руками и кричать...
Слышны отрывистыя слова:

— Счастливаго пути!.. Открытки!.. Успѣха!..
Непремѣнно телеграмму!..

Конецъ первой части.

Вышла изъ печати:

„Кровавая шутка“. Романъ. Ч. II.

Цѣна 1 р. **25** к.

КРОВАВАЯ

ШУТКА.

Всѣ права сохранены.

ШОЛОМЪ-АЛЕЙХЕМЪ.

РОМАНЫ.

Томъ IV.



Всѣ права сохранены.



Универсальное Книгоиздательство Л. А. Столяръ.
МОСКВА—МСМХIV.

ШОЛОМЪ-АЛЕЙХЕМЪ.

КРОВАВАЯ ШУТКА.

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть II.

Авторизованный переводъ съ еврейскаго.
С. РАВИЧЪ.

Всѣ права сохранены.



Универсальное Книгоиздательство Л. А. Столяръ
МОСКВА.—МСМХІV.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

- Г. I. „Блуждающія звѣзды“. Романъ, I и II часть.
Цѣна 1 р. 10 к.
- Г. II. „Блуждающія звѣзды“. Романъ, III часть.
Цѣна 1 р. 30 к.
- Г. III. „Кровавая шутка. Романъ. I часть.
Цѣна 1 р. 50 к.

Всѣ права сохранены.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА I.

Репетиторъ Бардо-Брадовскихъ.

Гершу Рабиновичу подъ именемъ Григорія Попова жилось въ большомъ русскомъ городѣ, въ центрѣ страны, гораздо лучше, чѣмъ его товарищу Попову, проживавшему въ „чертѣ“ подъ фамиліей Рабиновича. Ему, лже-Попову, повезло, можно сказать, съ первой же минуты.

Что его сейчасъ же, безъ всякихъ затрудненій, приняли въ университетъ,—объ этомъ и говорить не приходится. Достаточно было взглянуть въ его бумаги, чтобы убѣдиться въ его происхожденіи. А происхожденіе—не шутка. Имя его отца, Ивана Ивановича Попова, болѣе чѣмъ извѣстно въ томъ городѣ.

Нѣсколько тревожныхъ минутъ ему все-таки пришлось пережить во время приѣма бумагъ. Документы были не совсѣмъ въ порядкѣ. Фотографическая карточка, пришитая къ аттестату, „что-то не совсѣмъ похожа“,—какъ выразился секретарь университета. Но имя По-

пова возимѣло такую силу. Какъ можно хоть на минуту заподозрить такого молодого чело-вѣка!.. Онъ поспѣшно сложилъ аттестатъ и накрылъ его другими бумагами, какъ - будто самъ хотѣлъ уничтожить всякую мысль о по-дозрѣніи...

Это былъ первый счастливый шагъ, при которомъ лже-Поповъ чуть не поскользнулся.

Второй шагъ былъ еще опаснѣе. Привыкнувъ работать и желая помогать отцу, Гершко рѣшилъ искать уроковъ, которые въ этомъ богатомъ городѣ должны бы очень хорошо оплачиваться. Вмѣсто того, чтобы печатать объявленія въ газетахъ, онъ отправился къ ректору университета съ просьбой рекомендо-вать его кому-нибудь въ качествѣ хоро-шаго репетитора.

Ректоръ, пожилой чело-вѣкъ съ давно вы-шедшими изъ моды бакенбардами, принялъ его очень ласково и сердечно. Выслушавъ просьбу студента, старикъ посмотрѣлъ на не-го съ такимъ удивленіемъ, точно хотѣлъ удо-стовѣриться, дѣйствительно ли студентъ то лицо, за которое онъ его принимаетъ. Даже нижняя губа у него какъ-то странно свѣси-лась... Лже-Поповъ, однако, сразу сообразилъ, что ректоръ смотритъ на него, какъ на су-масшедшаго, а просьба его должна казаться ему дикой: какъ можетъ сынъ Попова про-сить уроковъ?!

Онъ быстро нашелся и началъ объяснять ректору, что далъ слово въ теченіе года обходиться безъ помощи отца... Но, боясь, какъ бы ректоръ не вздумалъ сдѣлать запросъ его отцу, т. е. отцу его товарища, онъ поспѣшилъ сообщить ректору подъ строжайшимъ секретомъ, что никто не долженъ знать, откуда онъ будетъ доставать средства въ теченіе года, даже отецъ... Это у него, видите ли, своего рода спортъ, пари, въ которое онъ посвящаетъ только его, ректора, и никого больше...

Ректору вся эта исторія въ самомъ дѣлѣ показалась дикой. Но симпатичная физіономія студента, его манера держаться, довѣрчивое отношеніе къ нему, ректору, а главнымъ образомъ его происхожденіе заставили ректора забыть о здоровомъ смыслѣ, и онъ весело разсмѣялся... Затѣя, видимо, ему понравилась. Но все-таки онъ нашель нужнымъ замѣтить студенту въ шутливомъ тонѣ, что съ его стороны, конечно, очень похвально желаніе съэкономить отцу расходы на его обученіе и показать, что онъ можетъ жить самостоятельно. Къ тому же онъ далъ слово, а слова нужно держаться... Но нельзя забывать и того, что уроками живутъ сотни бѣдныхъ студентовъ, у которыхъ нѣтъ такихъ родителей, какъ Иванъ Ивановичъ Поповъ, и у которыхъ поэтому нѣтъ надежды ни на какую другую

поддержку, кромѣ своихъ собственныхъ силъ. Дать урокъ ему, сыну Попова, значило бы просто-на-просто отнять у бѣднаго студента насущный заработокъ... А этого такой молодой человѣкъ, какъ онъ, по справедливости не долженъ желать. Но вотъ что. Такъ какъ онъ уже далъ слово, а даннаго слова надо держаться, то онъ, ректоръ, обѣщаетъ имѣть его въ виду, если кто-нибудь будетъ спрашивать такого рода репетитора...

Что понималъ ректоръ подъ словами „такого рода репетитора“,—студенту осталось неяснымъ. Но онъ чувствовалъ по теплоту пожатію руки, по дружескому похлопыванью по плечу и по тому, какъ ректоръ провожалъ его до двери, что, если въ самомъ дѣлѣ подвернется какой-нибудь хорошій урокъ, то онъ, Поповъ, первый кандидатъ.

И дѣйствительно, не прошло недѣли, какъ ректоръ позвалъ его къ себѣ, попросилъ сѣсть и прочелъ цѣлую лекцію, опять о томъ, что несправедливо отнимать уроки у бѣдныхъ студентовъ, у которыхъ нѣтъ другой поддержки, кромѣ собственныхъ силъ, и отдавать такому молодому человѣку, какъ сынъ Ивана Ивановича Попова. А то, что онъ, Поповъ, далъ слово отцу весь годъ жить самостоятельно, ему, ректору, было бы не такъ уже важно, если бы не случай, совсѣмъ особенный случай. Именно, есть здѣсь въ горо-

дѣ очень богатый помѣщикъ, лицо извѣстное, Феоктисть Федосеевичъ Бардо-Брадовскій. Онъ-то и ищетъ репетитора-студента, но непременно дворянина изъ хорошей семьи и только такого, за котораго онъ, ректоръ, могъ бы поручиться въ томъ, что дѣти не попадутъ въ нежелательныя руки. А разъ такъ, то ректоръ уже не можетъ считаться съ тѣмъ, что масса бѣдныхъ студентовъ ждетъ такого случая. Разъ дѣло идетъ о поручительствѣ, разъ Феоктисть Федосеевичъ хочетъ во что бы то ни стало, чтобы дѣти его были гарантированы отъ всякихъ вліяній, то нѣтъ мѣста жалости, справедливости и тому подобнымъ чувствамъ...

Ректоръ подошелъ къ столу и написалъ нѣсколько словъ.

— Вотъ вамъ моя карточка, молодой человѣкъ. Въ добрый часъ! дай Богъ, чтобы вы были довольны другъ другомъ и чтобы я не раскаялся въ томъ, что рекомендовалъ васъ. А что касается вашего секрета,—прибавилъ ректоръ, вставая,—можете положиться на меня. Разъ я далъ слово, то это останется между нами.

Ректоръ проводилъ Попова къ выходу и счелъ нужнымъ еще разъ напомнить ему, что хотя и несправедливо отнимать кусокъ хлѣба у бѣдныхъ студентовъ, лишенныхъ всякой поддержки, но...

Дрожащею рукою, съ сильно бьющимся сердцемъ позвонилъ студентъ Поповъ у роскошнаго подъѣзда большого дома-особняка на одной изъ богатыхъ улицъ. Что это за домъ? Что за люди? Какъ будетъ онъ держаться съ ними? Какъ будетъ чувствовать себя? А главное—не играетъ ли онъ съ огнемъ? Не выдадутъ ли его глаза, носъ, акцентъ? Можетъ быть, не стоитъ? Слишкомъ все роскошно здѣсь, слишкомъ великолѣпно... Онъ совсѣмъ не ожидалъ... И такъ высоко не мѣтилъ... „Подумай, Гершко, можетъ быть, еще не поздно убраться по-добру по-здорову отсюда?“

Но уже показался высокаго роста, величественный джентльменъ въ ливреѣ съ гладко выбритымъ лицомъ. Однимъ взглядомъ онъ измѣрилъ студента сверху донизу, взялъ у него карточку ректора и попросилъ подождать въ вестибюль, а самъ, несмотря на свой высокій ростъ и величественный видъ, пустился бѣгомъ по широкой лѣстницѣ наверхъ. Студентъ могъ пока осмотрѣться, оглядѣть роскошный вестибюль, блестящія колонны изъ чистаго мрамора, расписной стеклянный потолокъ, богатую мебель, бронзовыя и мраморныя статуи, дорогія картины на стѣнахъ, книги, журналы и гравюры въ дорогихъ переплетахъ на столѣ.. Но поразили его не богатство, не роскошь и блескъ обстановки, а просторъ, прочность, удобство, тишина и покой, особенно

же духъ увѣренности, витавшій въ воздухѣ и какъ бы говорившій, что хозяева должны чувствовать себя здѣсь не только хорошо и пріятно, но увѣренно, прочно и уютно: *у себя дома...* Такого рода чувство оцѣнить можетъ только еврей. Какъ бы ни былъ богатъ еврей, какъ бы прочно онъ ни обосновался, какъ бы великолѣпно себя ни обставилъ,—все-таки будетъ чувствоваться, что онъ гость, что онъ, такъ сказать, въ отелѣ, что если не онъ самъ, то его дѣти, въ лучшемъ случаѣ, внуки очутятся Богъ знаетъ гдѣ...

— Феоктистъ Федосеевичъ просятъ васъ къ себѣ,—прервалъ его размышленія бритый джентльменъ и повелъ его по широкой мраморной лѣстницѣ черезъ цѣлую амфиладу блестящихъ комнатъ, одна другой больше и богаче, въ просторный, прекрасно обставленный кабинетъ, съ мягкими диванами и дорогими коврами, заглушающими шумъ шаговъ.

Первое, что бросилось въ глаза, была большая собака, съ гладкой шерстью, стального цвѣта, которая лежала посреди кабинета, вытянувшись и спрятавъ красивую морду въ переднія лапы. Одинъ глазъ у нея дремалъ, а другой, краснѣй и свирѣпѣй, меланхолически-зло сверкалъ на вошедшаго незнакомца: совсѣмъ не такъ ужъ дружелюбно, какъ слѣдовало бы по отношенію къ гостю съ такой солидной рекомендаціей... Недобрыя намѣре-

нія пса выразились въ глухомъ ворчаніи, похожемъ на что-то въ родѣ „гrrr“... Можетъ быть, это было не болѣе какъ собачье привѣтствіе: „здравствуй, молъ, милый человѣкъ, откуда Богъ несетъ?“

Но вошедшій понялъ это иначе и испугался. Говоря откровенно, Гриша Поповъ, т. е. Гершко Рабиновичъ, наслѣдовалъ отъ своихъ прародителей какую-то непріязнь, лучше сказать, *боязнь* собакъ... Каковы причины этого, мы не знаемъ. Возможно, что прадѣды его служили на барскомъ дворѣ, и когда кто-нибудь изъ нихъ попадался барину на глаза, тотъ натравлялъ собакъ на еврея, не для того, конечно, чтобы собаки истерзали его, но такъ себѣ, шутки ради, чтобы ясновельможные гости смотрѣли съ крыльца и смѣялись... Разумѣется, это лишь догадка. Какъ бы то ни было, Гершко Рабиновичъ не любилъ собакъ. Онъ, какъ и всѣ его единовѣрцы, исходилъ изъ того положенія, что собака есть собака, и полагаться на ея собачью совѣсть не стоитъ... Поэтому при входѣ въ кабинетъ онъ на мигу остановился и однимъ глазомъ смотрѣлъ на хозяина, который сидѣлъ въ глубинѣ комнаты съ газетой, а другимъ слѣдилъ за собакой, которая все еще не рѣшила, какой приемъ оказать гостю... Но тутъ вмѣшался хозяинъ и крикнулъ собакѣ по-нѣмецки:

— Glück, ruhig!

Почему съ собакой слѣдовало говорить по-нѣмецки, такъ и осталось вопросомъ. Но какъ только песъ услышалъ отъ хозяина эти слова, онъ сразу перемѣнился. Правда, открытый красный глазъ все еще зло сверкалъ на вошедшаго, но рычаніе прекратилось... Песъ пропустилъ гостя мимо себя, а самъ остался лежать на мѣстѣ тихо и смирно, какъ бы говоря: „ну, на этотъ разъ ты спасенъ. А что дальше будетъ—увидимъ...“

Хозяинъ между тѣмъ отложилъ газету въ сторону, немного приподнялся съ большого широкаго кресла, протянулъ вошедшему крупную бѣлую руку и усадилъ на стулъ рядомъ съ собой. Самъ тоже сѣлъ и привѣтливо завязалъ разговоръ со студентомъ.

Это былъ человѣкъ огромнаго роста, слишкомъ уже большой, слишкомъ тяжелый и неподвижный. Лицо у него было некрасиво: щеки—какъ бы опухшія, борода разметавшаяся вправо и влѣво, а зубы—точно вырванные и снова вставленные, но не на свои мѣста... И все-таки въ немъ было нѣчто такое, что съ первыхъ же словъ подкупало васъ, и вы готовы были любить его, сами не зная, за что... Чувствовалось, что передъ вами человѣкъ, который, при всемъ своемъ богатствѣ и величїи, простъ и малъ, какъ дитя, правдивъ и откровененъ: что на умѣ, то и на языкѣ... Студента Попова онъ прямо очаро-

валь своей добротой. Повидимому, и студентъ произвелъ на хозяина наилучшее впечатлѣніе, такъ какъ тотъ не сталъ вести съ нимъ лишнихъ разговоровъ ни о томъ, сколько часовъ въ день долженъ онъ заниматься съ дѣтьми, ни о томъ, сколько будетъ онъ получать за это. Хозяинъ просто сказалъ, что, разъ такой человѣкъ, какъ Михаилъ Михайловичъ (ректоръ), ручается за него, Попова, то всякіе разговоры излишни, тѣмъ болѣе, что пора чай пить...

Съ этими словами огромный хозяинъ поднялся, взялъ репетитора подъ руку и пошелъ съ нимъ въ столовую. Песъ моментально вскочилъ и бросился къ нимъ, показавшись Попову настоящимъ звѣремъ. Звѣрь не замедлилъ обнюхать новаго репетитора со всѣхъ сторонъ, ткнулся ему холодной влажной мордой въ обѣ руки, хотѣлъ даже лизнуть въ лицо, но хозяинъ остановилъ его опять понѣмецки:

— Glück, ruhig.

За столомъ была уже вся семья, и у новаго репетитора, котораго хозяинъ представилъ своимъ, даже голова закружилась. Такъ много разныхъ лицъ увидѣлъ онъ сразу и такъ много именъ услышалъ. Но изъ всѣхъ лицъ поразило его одно. То была хозяйка дома, очаровательно красивая женщина съ такими глазами, что разъ увидишь ихъ, они всю

жизнь потомъ будутъ грезиться... Надежда Θεодоровна,—хорошо запомнилъ онъ ея имя, а имена другихъ у него въ одно ухо влетали, въ другое вылетали. Запомнилъ онъ еще только Петю и Сережу,—это его новые ученики. Одинъ въ первомъ, другой въ третьемъ классѣ. Затѣмъ шли: monsieur Дюбуа, учитель французъ, франтъ съ блѣднымъ лицомъ и съ черными, такъ лихо закрученными усами, что съ тѣхъ поръ какъ міръ стоитъ, никто и нигдѣ такъ искусно этого не дѣлалъ... Негг Фришъ, нѣмецъ съ сѣрыми глазами и съ такимъ яркимъ естественнымъ румянцемъ, что его хватило бы на трехъ дамъ... Miss Токтонъ, англичанка съ угловатыми плечами и манерами. А далѣе шелъ цѣлый рядъ русскихъ именъ, которыя Поповъ и не надѣялся запоминать. Его только интересовалъ вопросъ: неужели наступитъ время, когда онъ всѣ эти имена будетъ знать наизусть, такъ, чтобы не ошибаться?...

Въ тотъ же день, вечеромъ, Поповъ-Рабиновичъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и писалъ письма. Одно—отцу, для котораго онъ сочинилъ двѣ выдумки. Богъ послалъ ему урокъ, два урока въ двухъ богатыхъ еврейскихъ домахъ, и онъ надѣется въ первый же мѣсяцъ кое-что съэкономить и послать отцу въ счетъ своего долга. А что касается поступленія въ университетъ, то объ этомъ напишетъ послѣ

субботы, такъ какъ еще неизвѣстно, что будетъ съ процентами...

Второе письмо пошло вмѣстѣ съ первымъ къ настоящему Попову въ „черту“. Ему онъ открылъ всю правду: какъ попалъ въ высокія сферы, какъ злонамѣренно использовалъ имя товарища и этимъ угнетень, чувствуетъ себя такъ, точно обокралъ кого-то... Но уже дѣло сдѣлано. Вышло это само собой, онъ не виноватъ... „Пиши, братъ Гриша,—закончилъ онъ,—что у тебя новаго? Попалъ ты въ университетъ или еще нѣтъ? Мнѣ нужно знать это для отца, чтобы не выдумывать каждый разъ новую неправду. Я и такъ по горло во лжи... Но я не жалуясь. Дай Богъ, дорогой Гриша, чтобы тебѣ было не хуже, чѣмъ мнѣ въ началѣ нашей затѣи, и чтобы ты не раскаялся въ той роли, которую взялся играть въ этой комедіи... Относительно себя я, кажется, съ увѣренностью могу сказать, что не пожалѣю о метаморфозѣ. Гриша“.

Первое время новый репетиторъ чувствовалъ себя среди незнакомыхъ людей, какъ въ лѣсу, или какъ человѣкъ, въ первый разъ пріѣхавшій въ незнакомый шумный городъ. Передъ нимъ такая, кажется, масса народа, а онъ все-таки одинокъ, одинъ со своими чувствами и мыслями. Бывали минуты, когда онъ

раскаивался во всей этой затѣѣ, былъ недоволенъ комедіей, которую онъ разыгрываетъ, и скучалъ „по дому“, скучалъ по своимъ... Но бывали и минуты, когда онъ ходилъ, какъ опьяненный... Ему казалось, что онъ-то и есть герой тѣхъ волшебныхъ сказокъ которыхъ онъ слышалъ, будучи мальчикомъ, въ традиціонномъ хедерѣ... Зачарованнаго, привели его во дворецъ, гдѣ къ его услугамъ всѣ богатства міра... Люди, которыхъ онъ встрѣчаетъ здѣсь, не простые люди, а рыцари, графы и князья... Самъ же онъ—принцъ, для котораго все это создано... Одного здѣсь не хватало: принцессы, которую онъ долженъ освободить изъ заколдованнаго замка...

И онъ самъ смѣется надъ собой и своими мальчишескими мыслями, которыя противъ воли лѣзутъ въ голову и сплетаются въ золотыя грезы...

Но такъ было только первое время, пока онъ не осмотрѣлся, не ознакомился со всѣмъ окружающимъ и не перенесся изъ міра грезъ въ міръ реальный... Скоро онъ почувствовалъ себя здѣсь, въ этомъ домѣ, по-домашнему, зналъ уже всѣхъ по именамъ и всѣ его знали. Со второго же дня онъ былъ уже не репетиторъ, а „Григорій Ивановичъ“, членъ этой большой и странной семьи. А странными казались ему эти люди потому, что они были въ одно и то же время чужіе и родные другъ

другу, далекіе и близкіе, хорошо знакомые и совсѣмъ другъ другу неизвѣстные... Присмотрѣвшись къ нимъ и къ ихъ взаимнымъ отношеніямъ съ своей, еврейской, точки зрѣнія, лже-Поповъ долженъ былъ признать, что это не только люди другой расы и націи, но сами-то люди другіе, съ другой психологіей, ему совершенно чуждой. На каждомъ шагу онъ сравнивалъ ихъ со своими и спрашивалъ себя, какъ было бы, если бы на ихъ мѣстѣ были евреи? Вѣдь каждый зналъ бы о другомъ всю подноготную, кто онъ, откуда, есть ли у него родители, сестры и братья и какъ ему живетъ. И онъ, конечно, зналъ бы всю біографію каждаго въ отдѣльности. Онъ съ удивленіемъ думалъ объ этихъ людяхъ, которые нѣсколько разъ въ день собираются за общимъ столомъ, разговариваютъ такъ дружно, бесѣдуютъ такъ тепло и смѣются такъ завидно... Но встанутъ изъ-за стола—и разойдутся каждый къ своему дѣлу, и всѣ снова далеки и чужды другъ другу... И всѣ они такіе добрые, спокойные, увѣренные,—ахъ, какъ счастливы должны быть эти люди! Они сами не понимаютъ своего счастья, какъ не понимаетъ его ребенокъ, какъ не чувствуетъ его здоровый человѣкъ отъ того, что здоровъ... И невольно вспоминаются ему свои, загнанные и несчастные, забитые и преслѣдуемые, боящіеся мухи, неувѣренные въ сегодняшнемъ днѣ, избран-

ные Богомъ, но отвергнутые людьми, высоко стоящіе въ собственныхъ глазахъ и ни гроша не стоящіе въ глазахъ міра... Прочь, прочь, мрачныя мысли! Разъ уже такъ вышло, что онъ очутился среди счастливыхъ, свободныхъ, увѣренныхъ и безпечныхъ, то пусть онъ и будетъ однимъ изъ нихъ, если не навсегда, то хоть на короткое время. Разъ уже такъ вышло, что онъ попалъ въ высшія сферы, попалъ въ рай,—правда, въ рай чужой, правда, не надолго,—дайте и ему почувствовать, какъ живется не-еврею... Какъ это бываетъ, когда не боишься каждую минуту, каждую секунду, что вотъ-вотъ дадутъ тебѣ почувствовать, кто ты, что вотъ-вотъ напомнятъ тебѣ объ этомъ, что вотъ-вотъ назовутъ тебя твоимъ „настоящимъ“ именемъ...

Новый репетиторъ быстро подружился не только съ людьми, но и съ собакой. При каждой встрѣчѣ Глюкъ кидался ему на шею, радостно визжалъ, облизывался и всячески проявлялъ свои собачьи чувства... Полюбила Григорія Ивановича и прислуга. Онъ не такъ взыскателенъ, не такъ часто требуетъ услугъ, нѣтъ ничего въ немъ барскаго, да его почти и не слышно въ домѣ,—странный баринъ!..

Но больше всѣхъ полюбили репетитора и привязались къ нему его ученики, Петя и Сережа. Они каждый разъ съ удовольствіемъ разставались съ французомъ *monsieur* Дюбуа,

съ нѣмцемъ Неггъ Фришемъ и съ англичанкой miss Токтонъ ради Григорія Ивановича съ его русскимъ урокомъ, за которымъ часто присутствовала Надежда Феодоровна, а иногда и самъ Феоктистъ Федосеевичъ, довольный, что дѣти любятъ русскаго учителя и что русскій учитель не обманулъ его надеждъ, оправдалъ рекомендацію ректора.

— Григорій Ивановичъ, идемъ играть въ лаунъ-теннисъ?—обратились однажды къ нему ученики послѣ урока.

— Идемъ,—отвѣчаетъ Григорій Ивановичъ и отправляется вмѣстѣ съ учениками на дворъ.

Но Григорій Ивановичъ на минуту забылъ, что Гершко Рабиновичъ ровно ничего не смыслить въ лаунъ-теннисѣ. Не знаетъ даже, какъ взять въ руки „шлегерь“, что значитъ „серверъ“ или „штрейкеръ“, „нейсъ“ или „заць“... Для него это китайская грамота. Во-время онъ спохватился и сказалъ:

— Знаете что, дѣти? Играйте сегодня одни. У меня что-то голова болитъ...

— Григорій Ивановичъ, вы хорошо ѣздите верхомъ?—спрашиваютъ его другой разъ ученики.

— А что?

— Такъ себѣ. Мы вспомнили о нашихъ лошадакахъ. Вѣдь лѣтомъ вы, конечно, поѣдете вмѣстѣ съ нами въ деревню, и мы будемъ кататься верхомъ.

Григорій Ивановичъ вспоминаеть, что Гершко Рабиновичъ не только не умѣеть ѣздить верхомъ, но, кажется,—стыдно сказать!—даже близко подойти къ лошади боится...

— Саша великолѣпно ѣздить!—сообщаютъ дальше ученики, мечтая о томъ счастливомъ времени, когда можно будетъ забросить скучные учебники и заняться верховой ѣздой.

Бѣдный Григорій Ивановичъ долженъ поддерживать свой престижъ... Да, онъ очень хорошо ѣздитъ верхомъ...

— Если такъ,—подхватываетъ Петя,—вы цѣлыми днями будете ѣздить съ Сашей. Саша очень любитъ кататься верхомъ!

Григорій Ивановичъ уже знаетъ, кто такая эта Саша. Ихъ старшая сестра, которая учится въ Петербургѣ въ очень почтенномъ заведеніи и должна скоро пріѣхать домой на Рождество. Ее ждуть здѣсь и собираются устроить встрѣчу, какъ принцессѣ. Не проходитъ ни одного обѣда и ужина, чтобы нѣсколько разъ не раздалось имя Саши. Это Саша любитъ, этого Саша не любитъ... „Что это за Саша? Какова она?“—думаетъ репетиторъ. Разъ онъ видѣлъ ея портретъ,—вылитая мать, особенно глаза похожи. Портретъ, долженъ онъ признаться, поразилъ его, поразилъ вдвойнѣ. Во-первыхъ, ему показалось, что онъ знаетъ ее, видѣлъ гдѣ-то... Во-вторыхъ, ему припомни-

лась царевна изъ его фантастическихъ дѣтскихъ сказокъ и золотыхъ грезъ...

— Это моя дочь,—сказала ему Надежда Θεодоровна съ материнской гордостью.— Она прїѣзжаетъ на Рождество.

— На Рождество,—повторяетъ онъ за ней, какъ эхо, сравнивая глаза матери съ глазами дочери: какъ двѣ капли воды...—Но гдѣ же онъ видѣлъ ее? Неужели во снѣ? И онъ невольно начинаетъ ждать праздника вмѣстѣ со всѣми...

— Когда же у насъ Рождество?—спрашиваетъ онъ себя и замѣчаетъ, что слова „у насъ“ лишнія... Что въ самомъ дѣлѣ общаго у Гершки Рабиновича съ Рождествомъ Христовымъ?...

И онъ садится писать письмо товарищу, дѣйствительному Попову, отъ котораго у него нѣтъ секретовъ, и открываетъ ему всю душу, какъ родному брату.

„Брани меня, дорогой Гриша, ругай меня! Смѣшай меня съ грязью! Я заслужилъ... Я низкій, испорченный человѣкъ! Представь себѣ, у меня бываютъ моменты, когда благодаря, должно быть, большой роскоши, я забываю, кто я, и—еще больше—я доволенъ, что забываю объ этомъ, я хочу забыть!...“

И дальше, уже въ шутливомъ тонѣ:

„И не глупъ ты, Гриша, что носишься тамъ со всякими мелочами, терпишь неприятности

изъ-за еврейства, хочешь разрѣшить національныя проблемы и т. п., въ то время какъ сюда прїѣзжаетъ царица, владычица грѣзъ моихъ... Но не безпокойся за меня. Я — не ты. Я не стану играть съ огнемъ... Прости, не могу сегодня много писать: сиѣшу на почту, а оттуда домой.. Ёдемъ на тройкахъ встрѣчать ее... Не житье, а масленица!..."

ГЛАВА II.

На тройкахъ.

Яснымъ морознымъ утромъ три лихихъ тройки мчали господъ Бардо-Брадовскихъ съ чадами и домочадцами на вокзалъ. На одной изъ троекъ въ широкихъ саняхъ-розвальняхъ сидѣлъ и репетиторъ, студентъ Поповъ.

Бѣшено мчалась тройка, — духъ захватывало... Снѣгъ искрился и сверкалъ, бубенчики заливались серебрянымъ звономъ, а кучеръ, привставъ съ козелъ и отпустивъ вожжи, лишь покрикивалъ на лошадей: „эй, вы, разлюбезныя!“...

Но Поповъ не испытывалъ того настоящаго удовольствія отъ быстрой ѣзды, какое испытываетъ русскій челоѣкъ. Мысли его были далеко. За полчаса до отъѣзда онъ получилъ на почтѣ письмо отъ товарища Гриши вмѣстѣ съ письмомъ изъ дому отъ старшаго брата Абрама-Лейбы, у котораго скверная привычка

писать всегда о печальныхъ вещахъ и нагонять тоску...

„...Надо тебѣ знать, — писалъ онъ между прочимъ, — что отъ присланныхъ тобою денегъ нѣтъ и помину. Пришлось еще добавить къ нимъ пятьдесятъ рублей и отослать шурина Велвлу. Оказалось, видишь ли, что не подходитъ онъ подъ законъ, и его выселяютъ съ тремя маленькими дѣтьми, — хоть по міру иди... И сестрѣ Файнѣ-Ліѣ тоже приходится посылать понемногу. Она хвораетъ, и ей необходима, пишетъ она, „реперація“, какъ необходимо свѣтъ и воздухъ. Будь у нея деньги, она поѣхала бы къ тебѣ, чтобы ты побывалъ съ нею у профессоровъ, — есть у васъ тамъ, говоритъ она, знаменитые профессора... Но мы удерживаемъ ее: сиди дома да не рыпайся!... Поѣздка, мимо расходовъ, пахнетъ еще этапомъ на обратномъ пути... Надо тебѣ знать, что заработки здѣсь очень упали. А начальника станціи намъ Богъ послалъ такого, что хуже Амана! Евреевъ терпѣть не можетъ. Но гдѣ ихъ любятъ? Хорошенькія новости приходится слышать о евреяхъ каждый день, ну да тебѣ писать о нихъ не къ чему, — и самъ знаешь... Затѣмъ, отецъ еще разъ напоминаетъ тебѣ, что 7-го Швата у насъ годовщина смерти матери, блаженной памяти, — не забудь помолиться. Можно быть не только полу-студентомъ, но настоящимъ студентомъ и даже док-

торомъ,—и все же одно другого не касается: годовщина смерти остается годовщиной смерти“...

Страшное дѣло, каждый разъ, какъ получаетъ онъ письмо отъ старшаго брата, скверно дѣлается у него на душѣ. Абрамъ Лейба обладаетъ удивительнымъ свойствомъ,—свойствомъ вороны: хорошаго отъ него никогда не услышишь... Письма отца гораздо мягче, ихъ читать пріятнѣе. Пишетъ онъ ему обыкновенно по-древне-еврейски.

„Моему дорогому сыну Гершу, да здравствуетъ онъ!

Увѣдомляю тебя, согласно принятому обычаю, что мы, слава Богу, здоровы. Отправки въ этомъ году не лучше прошлогодняго. Да благословить Господь добрый путь: у насъ болота непролазныя. Потому и провозъ дорогой. Но не огорчайся этимъ. Богъ дастъ, погода перемѣнится, и все устроится къ лучшему для насъ и для всѣхъ израильтянъ. А затѣмъ, желаю тебѣ здоровья и счастья и всякаго благополучія.

Твой отецъ, желающій тебѣ здоровья и счастья, Мойша. Герша сынъ, Рабиновичъ“.

Правда, древне-еврейскій языкъ здѣсь не особенно блестящъ, и новости, о которыхъ пишетъ отецъ, немногимъ лучше и веселѣе тѣхъ, что сообщаетъ братъ. Но тонъ другой... Зачѣмъ понадобилось Лейбѣ еще разъ напоминать ему, что 7-го Швата у нихъ годовщина смерти.

Но больше всего разстроила Гершку болѣзнь сестры и ея намѣреніе поѣхать къ нему. Хорошее дѣло,—соберется, приѣдетъ, и найдеть вмѣсто него Гришу Попова!... Его даже въ жаръ бросаетъ отъ этой мысли... Надо написать имъ хорошенько, разъ десять повторить, чтобы никто и не думалъ двинуться въ этотъ, городъ, гдѣ еврею нельзя даже ночь переночевать... Неужели,—думаетъ онъ, сидя въ саняхъ,—его не оставятъ въ покоѣ? Неужели не можетъ онъ хоть одинъ годъ прожить, какъ человѣкъ, не боясь завтрашняго дня, безъ заботъ о „правѣ-жительства“, безъ оскорбленій на каждомъ шагу?...

Оскорбленія эти помнятся ему еще сыздавна, съ того времени, какъ поступилъ онъ въ гимназію. Имя „Гершко“, вызвало такой смѣхъ, точно въ немъ было Богъ знаетъ что.. Самъ учитель любилъ играть этимъ именемъ. Всѣ ученики вызывались только по фамиліи. А его вызывали такъ: „Рабиновичъ *Гершко*“. Просто Рабиновичъ недостаточно!... Только лѣнивый не щелкалъ Гершку по носу, не тоскалъ за уши, не давалъ пинковъ и не подставлялъ пожку. Разъ Поповъ засталъ на гимназическомъ дворѣ такую сценку: жиденокъ Гершко лежитъ на землѣ, а десятка два товарищей навалились на него и кричатъ: „Сала свиного давайте! Натремъ ему губы“. Поповъ, котораго всѣ въ гимназіи знали и уважали,

однимъ окрикомъ разогналъ всю ораву и еще выругалъ: какъ не стыдно силой навязывать человѣку то, что ему запрещаетъ законъ!

Съ этого и началась дружба между Гершкой и Гришей. Въ другой разъ Поповъ избавилъ своего друга отъ болѣе серьезной неприятности. Гершко былъ первымъ ученикомъ въ классѣ, и товарищи знали, что въ трудную минуту слѣдуетъ обращаться къ нему: Гершко все знаетъ... „Эй, Гершко, послушай, почему у меня задача не выходитъ, чортъ ее побери?“ Или „На, Гершко, напиши мнѣ, но сдѣлай такъ, чтобы не видно было, что это ты...“

Передъ экзаменами его чуть на части не разрывали. А на самихъ экзаменахъ буквально мучали. Однажды экзаменаціонная коммиссія задала классу работу, съ которой никто, кромѣ Гершки, не могъ справиться. Разумѣется, глаза всѣхъ были устремлены въ одну точку, и точкой этой былъ Гершко. Сначала на него только пристально смотрѣли и подмигивали. Затѣмъ начали дѣлать знаки пальцами. Потомъ что-то шептать и странно двигать губами. Наконецъ стали передавать другъ черезъ друга записочки... И Гершко каждого удовлетворялъ наилучшимъ образомъ. Прежде всего онъ позаботился, конечно, о своемъ пріятелѣ Поповѣ, а потомъ ужъ о другихъ товарищахъ поочередно. И экзаменъ прошелъ бы благополучно, какъ всѣ экзамены, если бы

не случай, въ которомъ въ сущности никто не былъ виновать.

На Гершкино несчастье былъ у него одинъ товарищъ, Котельниковъ, юноша въ лѣтахъ, изъ тѣхъ, что засиживаются въ каждомъ классѣ по два года и собственными силами перейти никакъ не могутъ. Приходится ихъ перетаскивать. Котельниковъ—парень роcлый, и учитель посадилъ его на самую послѣднюю парту, чтобы не заслонялъ остальныхъ учениковъ. Поэтому его записку Гершко получилъ позднѣе другихъ. Бѣдному Котельникову не помогало ни подмигиванье, ни шопотъ, ни кашель, ни шарканье ногами. Онъ потерялъ терпѣнье и написалъ новую записку и, чтобы не передавать ее отъ ученика къ ученику, бросилъ прямо Гершкѣ. Записка попала директору въ бороду... Тотъ не полѣнился поднять ее, развернулъ и къ своему удивленію прочелъ:

„Проклятый жиденокъ! Всѣмъ, всему классу ты рѣшилъ задачу, только мнѣ не рѣшилъ! Погоди, ужъ достанется тебѣ! Котельниковъ.“

Скандалъ вышелъ колоссальный. Весь классъ могъ быть наказанъ, учитель могъ получить выговоръ, а объ ученикѣ-евреѣ и говорить нечего: вѣдь онъ главный виновникъ! Рабиновичъ, конечно, вылетѣлъ бы изъ гимназіи, если бы не его товарищъ, сынъ Ивана Ивановича Попова. По чудесному мановенію скан-

далъ былъ улаженъ, и вся исторія предана забвенію...

Но это была далеко не послѣдняя непріятность, перенесенная Рабиновичемъ въ гимназіи. Довольно страху натерпѣлся онъ, пока удалось получить аттестатъ. Довольно настрадался, пока вопросъ о медали, столько разъ стоявшій ребромъ, разрѣшился, наконецъ, благополучно. „И что изъ этого вышло?—думаетъ онъ.—Лже-Рабиновичу съ его медалью доступъ въ университетъ закрытъ, и пришлось ему записаться въ дантисты,—иначе, пожалуйте, Гершъ Мовшевичъ, по этапу въ шкловскія палестины*...“

Гершко вспоминаетъ своего друга и письма объ его мытарствахъ: „Ну, что, Гришутка, будешь теперь знать, что значитъ быть евреемъ? Другу и недругу закажешь,—если только не раскаешься до окончанія года...“

Вотъ о чемъ думалъ Григорій Ивановичъ Поповъ, то бишь Гершко Рабиновичъ. Очнулся онъ отъ своихъ мыслей только у вокзала, когда тройки съ шикомъ подкатили къ подъѣзду, и вся семья Феоктиста Федосеевича, съ учителями и учительницами и съ Глюкомъ впереди высыпала изъ саней.

Радостную вѣсть о приѣздѣ Саши первымъ сообщилъ Глюкъ, который своимъ собачьимъ нюхомъ еще издали почуялъ Сашу, едва она

показалась изъ вагона перваго класса. Радости Глюка не было предѣла. Онъ кидался отъ Саши къ ея родителямъ и отъ нихъ къ Сашѣ съ такимъ визгомъ и лаемъ, что Феоктисту Федосеевичу пришлось нѣсколько разъ замѣтить ему, какъ всегда по нѣмецки:

— Glück, ruhig!

Но теперъ это мало дѣйствовало. Не можетъ Глюкъ оставаться спокойнымъ, когда такъ внезапно, такъ неожиданно появился лучший другъ его—Саша! Имъ хорошо,—они знали, что Саша приѣзжаетъ, они получили телеграмму еще вчера. Имъ хорошо,—у нихъ были высчитаны часы и минуты, когда она придетъ. А Глюкъ? Откуда было знать Глюку что нѣсколько секундъ назадъ вдругъ почуветь онъ знакомый запахъ, и изъ вагона выйдетъ другъ его—Саша? Та самая Саша, которую онъ такъ любилъ съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя собакой, и которая всегда такъ любила его, Глюка? Кто, какъ не Саша, кормила его шоколадомъ? Кто, какъ не Саша, гладила, баловала и украдкою цѣловала его, когда Глюкъ былъ еще маленькимъ? Кто научилъ его цѣлому репертуару всякихъ фокусовъ, которыми не всякая собака можетъ похвастаться, если не та же Саша? Нѣсколько дней подрядъ послѣ ея отъѣзда Глюкъ ходилъ, какъ помѣшанный. Онъ своимъ собачьимъ умомъ никакъ не могъ постичь, куда

вдругъ исчезла та, которая баловала его и возилась съ нимъ? Глюкъ искалъ Сашу повсюду. Онъ сдѣлался меланхоличнымъ и пересталъ ѣсть. Лежа на полу, уткнувъ морду въ переднія лапы, онъ не разъ видѣлъ Сашу во снѣ и его собачья душа тосковала. Но ни онъ не могъ сказать никому объ этомъ, ни его никто не могъ утѣшить... Что же удивительнаго, если Глюкъ теперь такъ обрадовался, что чужь съ ума не сходитъ? Что же удивительнаго, если онъ лапы кусаетъ себѣ отъ радости, рвется, кидается и самъ не знаетъ, что дѣлать?

Радость Глюка удвоилась, когда онъ замѣтилъ, что и Саша не забыла его, Глюка. И онъ то растянется предъ нею во всю длину, то примется лизать ботинки, то начнетъ кувиркаться съ визгомъ и лаемъ: „Что же вы молчите. люди? Такой гость! Такой дорогой гость—Саша!“

Но изъ людей никто на собаку не смотритъ. Всѣ заняты гостьей. Всѣ находятъ, что Саша очень измѣнилась за это короткое время,—выросла, похорошѣла... Щеки у Саши, и безъ того цвѣтуція, какъ майскія розы, краснѣютъ еще больше. „Неужели похорошѣла?“ Саша сама знаетъ, что она красива. Все же ей приятно услышать это лишній разъ. На то вѣдь она дѣвушка... Съ каждымъ изъ компаніи она встрѣчается какъ со старымъ знакомымъ,

для каждаго у нея есть свое слово, шутка, улыбка. Но когда ей представили новаго репетитора, она едва удостоила его взглядомъ своихъ прекрасныхъ глазъ, да ' и то серьезнымъ взглядомъ... Быстро осмотрѣла его сверху донизу и шопотомъ спросила у матери: „Грузинъ?“—„Нѣтъ, дорогая, не грузинъ, а русскій, Поповъ“,—отвѣтила мать тоже шопотомъ. Саша снова начала говорить громко, смѣяться, шутить...

Усѣлись,—Саша въ однѣ сани съ отцомъ и матерью,—и поѣхали...

„Такъ вотъ она, Саша...“—думаетъ репетиторъ Поповъ, не успѣвши даже разсмотрѣть ее, какъ слѣдуетъ,—до того онъ былъ пораженъ... Не столько ея красотой, о которой портретъ давалъ лишь слабое представленіе, сколько своей увѣренностью, что гдѣ-то видѣлъ ее,—не можетъ только вспомнить, когда и гдѣ...

Всю обратную дорогу онъ не переставалъ думать о Сашѣ. Что было бы, если бы онъ былъ настоящимъ Поповымъ? И невольно онъ вспомнилъ о письмѣ старшаго брата, который напоминалъ о годовщинѣ смерти матери... И о шуринѣ, котораго высылаютъ, и о сестрѣ, которая собирается поѣхать къ профессору на «реперацию» и о другихъ пріятныхъ новостяхъ изъ дому... И ему стало досадно, что онъ даже на минуту не можетъ оторваться отъ этихъ

печальныхъ прозаическихъ мыслей... Не можетъ забыть...

Но еще досаднѣе ему было то, что онъ самъ хотѣлъ бы обо всемъ забыть... Откуда такое желаніе? Какъ смѣетъ онъ забыть, что онъ здѣсь только гость? Какъ смѣетъ онъ забыть, что все затѣянное имъ съ Гришей—только шутка, которая должна скоро кончиться? Шутка, въ которой если и есть смыслъ для настающаго Попова, то для него, Рабиновича—никакого? Наоборотъ, эта свободная, широкая, увѣренная въ себѣ жизнь среди этихъ счастливыхъ, безпечныхъ людей можетъ привести только къ тому, что возвратъ къ прежней, еврейской жизни будетъ въ тысячу разъ горше и тяжелѣе... Для чего ему нужна была эта шутка, эта комедія? И чѣмъ это можетъ кончиться?.. Но скоро опять всплываетъ образъ Саши и онъ чувствуетъ особую теплоту, какъ челоуѣкъ, которому вдругъ приходитъ на память что-то дорогое, близкое, о чемъ онъ позабылъ...

Пріѣхавъ съ вокзала домой, вся семья собралась за столомъ, гдѣ Саша была центромъ вниманія. Всѣ смотрѣли на Сашу, всѣ слушали Сашу, всѣ обращались къ Сашѣ. И Саша дѣлала сразу нѣсколько дѣлъ: разговаривала, слушала, закусывала, смѣялась, спрашивала всѣхъ и отвѣчала всѣмъ, никого не пропуская, не забывая даже погладить Глюка и сказать

ему мимоходомъ, какъ маленькому ребенку, вытянувъ губы: „дуса“!

Глюка это приводило въ такой восторгъ, что онъ буквально не находилъ себѣ мѣста. Полагая, должно быть, что Саша пріѣхала исключительно ради него, песъ зашелъ такъ далеко, что пришлось его взять за ухо и съ честью выпроводить изъ комнаты. Но прошло времени не больше, чѣмъ потребовалось чтобы написать эти строки, какъ Глюкъ снова лежалъ у маленькихъ Сашинныхъ ножекъ уже тихо и солидно, смотрѣлъ въ сторону немного обиженно: „кажется, пора бы знать, что онъ не изъ тѣхъ собакъ, которыхъ надо за уши таскать“...

Но, кромѣ Саши, и всѣ весело разговаривали. У каждого было, что сказать, даже у Пети и Сережи. Молчалъ лишь одинъ человекъ,—репетиторъ Григорій Ивановичъ... Какъ всегда, онъ больше присматривался и прислушивался къ тому, что дѣлаютъ и говорятъ другіе, и какъ всегда, удивлялся и завидовалъ не столько ихъ богатству и роскоши, сколько неподдѣльной веселости, спокойствію, увѣренности, безопасности и уюту... „Развѣ можетъ такъ чувствовать себя еврей? Хотя бы самый богатый, самый счастливый?.. Такъ должны были чувствовать себя его предки, развѣ въ своей собственной странѣ, на своей собственной землѣ, давнымъ-давно во времена царя Со-

ломона... Но гдѣ видѣлъ онъ эту Сашу? Какъ она похожа на свою мать! Какъ двѣ капли воды... Въ особенности глаза... И какъ подходитъ ей имя Саша...“

Имя „Саша“ занимаетъ у него въ мысляхъ самое главное мѣсто. Въ этомъ имени, кажется ему, слышенъ какой-то особенный звукъ... Музыкальное имя „Саша“...

Съ прїѣздомъ Саши въ домѣ Бардо-Брадовскихъ стало куда веселѣе, чѣмъ раньше. И самое веселье получило другой колоритъ.

Пошелъ цѣлый рядъ праздниковъ,—Рождество, Новый Годъ, Крещеніе,—каждый праздникъ со своей особой программой, выработанной самой Сашей и утвержденной всей коллегіей учителей, учительницъ и гувернантокъ съ репетиторомъ Поповымъ въ томъ числѣ.

Какъ могъ онъ отставать отъ всѣхъ, когда сама Саша пригласила его и при этомъ такъ посмотрѣла своими дивно-прекрасными глазами и такъ по-дѣтски разсмѣялась, что за еще одинъ такой взглядъ онъ отдалъ бы все на свѣтѣ...

Дѣтски-шаловливое веселье съ перваго же дня втянуло всѣхъ и все. Даже такая *grande dame* какъ Надежда Феодоровна и такой тяжелый неподвижный человѣкъ, какъ Феоктистъ Федосеевичъ, должны были вмѣстѣ со

всѣми играть въ фанты, въ „цензоры“, въ „города“ и даже въ „кошки-мышки“. Въ этомъ домѣ взрослые рѣзвились и были счастливы, какъ дѣти...

Для Рабиновича, такъ искусно игравшаго роль Попова, все было поразительно ново. Онъ никакъ не могъ представить себѣ, чтобы его отецъ напримѣръ, ребѣ Мойша Рабиновичъ, пошелъ плясать средь бѣла дня съ дѣтьми, играть въ прятки и т. п. Онъ вообще не представлялъ себѣ, чтобы еврей когда-либо могъ быть такъ веселъ, чтобы еврей позволилъ себѣ ни съ того ни съ сего смѣяться и дурачиться.. Взять хотя бы праздникъ Пуримъ или праздникъ Торы, когда даже по закону полагается веселиться, когда евреи даже пьяны бываютъ. Но и въ эти праздники не помнитъ онъ, чтобы отецъ былъ особенно веселъ. Наоборотъ, заберется бывало въ уголокъ, опечаленный, и плачетъ... О чемъ? О разрушеніи храма.. Или о томъ, что тридцать лѣтъ тому назадъ умеръ у него отецъ...

Попавъ въ этотъ домъ, въ этотъ круговоротъ непрекращающагося нѣсколько недѣль подрядъ веселья, Поповъ чувствовалъ, что у него духъ захватываетъ... Онъ началъ забывать, что это только до поры до времени, что это только моментъ... Онъ началъ забывать, что онъ еврей. На его счастье онъ попалъ въ такой домъ и къ такимъ людямъ, гдѣ даже

слово „еврей“ ни разу не вспоминалось, точно здѣсь совершенно не знали, что есть на свѣтѣ такія существа, которыя называются *евреями*...

Но все-таки пришлось ему услышать здѣсь это слово. Въ самомъ разгарѣ зимнихъ праздниковъ, въ Татьянинъ день, Саша предложила поѣхать на тройкахъ въ Стрѣльну, въ Мавританію или къ Яру. Но случилось такъ, что праздникъ пришелся какъ разъ на 7-ое Швата, когда у Гершки Рабиновича годовщина смерти матери. Этого дня онъ ни разу не пропускалъ. Не изъ набожности, а потому, что нѣкогда далъ слово отцу и очень любилъ мать. Только по матери онъ скучалъ и ради нея ежегодно ѣздилъ на каникулы домой. Между сыномъ и матерью была нѣжная любовь и трогательная преданность. Пріѣзжая домой, онъ не уходилъ отъ матери, какъ бы желая вознаградить ее за то горе, что причинилъ ей своимъ отъѣздомъ изъ дому. Она совсѣмъ не понимала, какъ ея дитя, ея Гершко, могъ такъ поступить,—улетѣть, какъ птичка, не сказавъ матери ни слова. Ни разу она не упрекнула его. Но онъ самъ видѣлъ и чувствовалъ, что безконечно виноватъ предъ нею и хотѣлъ загладить свою вину. Это ему удалось: мать простила ему въ первый же пріѣздъ его домой. Она не говорила ему объ этомъ,—между ними вообще не было много

словъ: къ чему слова? Развѣ не видно по ея улыбающемуся лицу, по ея влажнымъ глазамъ? Тѣмъ больше значенія имѣла для него ея послѣдняя просьба, которую она передала ему черезъ отца,—она знала, что умираетъ,—чтобы ея Гершко далъ честное слово соблюдать поминки по ней...

Еще за нѣсколько дней до годовщины онъ забѣжалъ тайкомъ въ синагогу, хорошенько закрывшись воротникомъ изъ опасенія встрѣтиться со знакомымъ студентомъ-евреемъ, и условился со сторожемъ синагоги, чтобы тотъ къ такому-то дню приготовилъ свѣчу и десять челоуѣкъ, необходимыхъ для молитвы,—все, какъ слѣдуетъ. А у самого зубъ на зубъ не попадалъ. Ему казалось, что сторожъ, своей маленькой фигуркой съ красными опухшими щеками и длинной бѣлой бородой напоминавшій гнома, подозрительно смотритъ на него, какъ на выкреста...

— Кто вы, гдѣ живете и за упокой чьей души вы будете молиться? — спросилъ его сторожъ, склонивъ голову набокъ и глядя на него снизу вверхъ.

— Какое вамъ дѣло?—сказалъ Поповъ-Рабиновичъ задорно и оглянулся по сторонамъ, нѣтъ ли кого..

— Не хотите говорить, такъ не надо!—замахалъ на него сторожъ руками и бросился запирать синагогу съ такой поспѣшностью, точно въ сосѣднемъ домѣ случился пожаръ.

Но какъ нарочно, съ годовщиной смерти со-
впалъ Татьянинъ день, и Сашѣ вздумалось при-
гласить Григорія Ивановича кататься. Напрасно
бѣдный Григорій Ивановичъ хотѣлъ увернуть-
ся и увѣрять, что не можетъ. Напрасно ука-
зывалъ на уважительную причину,—Татьянинъ
день, моль, университетскій праздникъ и онъ
не можетъ отстать отъ товарищей... Саша ни
о чемъ и слышать не хотѣла. Своей малень-
кой ручкой она закрыла ему ротъ,—„чтобъ
не смѣлъ говорить“,—и при этомъ такъ смот-
рѣла на него и такъ смѣялась, что онъ за-
былъ про поминки, про мать и про все на
свѣтѣ...

Но не въ этомъ дѣло... Когда Саша, нако-
нецъ уговорила его, кто-то сострилъ, сказавъ
въ шутку, безъ всякаго намѣренія оскорбить
кого-нибудь:

— За компанію и жидъ повѣсился!

Всѣ разсмѣялись, а у Попова кровь засты-
ла... Слово „жидъ“ можетъ быть сказано луч-
шимъ русскимъ человѣкомъ и въ самомъ
добродушномъ тонѣ. Но все-таки есть въ
этомъ словѣ нѣчто глубоко оскорбительное,
всю боль котораго можетъ почувствовать толь-
ко еврей... Этимъ словомъ невольно подчер-
кивается, что вы принадлежите къ низшей
расѣ... Кромѣ того, Попову показалось, что
сказавшій это намекалъ на кого-то... То былъ
единственный его недругъ въ этомъ домѣ,

обнаружившейся скоро, на второй день послѣ приѣзда Саши, молодой офицеръ, князь съ двойной фамиліей Ширяй - Непятовъ. Звали его здѣсь просто Пьеромъ. Трудно сказать, почему этотъ Пьеръ производилъ на Попова самое скверное впечатлѣніе. Ему не нравились ни манера этого „офицеришки“ держаться, вытянувшись въ струнку, ни его аккуратный бѣлый приборъ по срединѣ головы, ни его красныя гладкія щеки, ни его маленькіе заостренные усики, ни его постоянно улыбающіеся глазки. Не нравилась ему и его манера говорить. Ему всегда казалось, что все, что говоритъ Пьеръ, искусственно, банально, плоско, и какую бы разумную фразу онъ ни произнесъ, отъ нея должно тошнить. Можетъ быть, это зависѣло отъ того, что къ Пьеру всѣ въ домѣ, кромѣ Саши, относились какъ къ очень важному, уважаемому и почетному гостю. Слуги стояли предъ нимъ на-вытяжку и на его едва замѣтный знакъ пускались бѣжать сломя голову.

Но всего досаднѣе и обиднѣе было репетитору, что Надежда Ѳеодоровна оказывала этому Пьеру такъ много вниманія и была съ нимъ любезна, какъ ни съ кѣмъ другимъ. „Неужели это женихъ?... Если не сейчасъ, то когда-нибудь будетъ женихомъ... Это ясно, какъ день“ ...

И студентъ Поповъ всей душой возненави-

дѣлъ „офицеришку“, не могъ видѣть его чистенькаго личика, не могъ слышать его громкаго голоса и звучнаго смѣха... И „офицеришка“ съ своей стороны, должно быть, инстинктивно не взлюбилъ „чернаго студента“, или какъ онъ его называлъ, „восточнаго чловѣка“.

Этимъ именемъ Пьеръ окрестилъ его за то, что Григорій Ивановичъ, чловѣкъ безусловно очень симпатичный; но онъ похожъ скорѣе на грузина, армянина или грека, чѣмъ на русскаго. Откуда въ самомъ дѣлѣ у него *такіе* глаза и *такой* носъ?

— Что, не такъ развѣ, Григорій Ивановичъ?—говорить ему Саша и смотритъ на него такъ ласково и смѣется такъ сердечно, что будь онъ похожъ не только на грузина, или грека, а хоть на сѣмого черта, ему и это было неважно,—лишь бы она *такъ* смотрѣла на него, лишь бы она *такъ* смѣялась..

Обидно было ему, что назвалъ его „восточнымъ чловѣкомъ“ Пьеръ и что, какъ ему показалось, Пьеръ произнесъ слово „чловѣкъ“ съ еврейскимъ акцентомъ... У Гершки екнуло сердце... Неужели у него такой еврейскій видъ? Неужели его русская рѣчь отдаетъ еврейскимъ акцентомъ? Неужели у этого „офицеришки“ есть на него хоть маленькое подозрѣніе?..

Потому-то онъ такъ и взволновался, услышавъ слово „жидъ“—въ первый разъ въ этомъ

домѣ. Опасенія его были, однако, напрасны. Пьеръ и не думалъ его задѣвать. Его, какъ и всѣхъ въ домѣ, меньше всего интересовали евреи. Но это-то и досадовало лже-Попова. Не очень-то приятно, когда видишь, что тебя не замѣчаютъ, что о тебѣ совершенно и не думаютъ, точно ты и на свѣтѣ не существуешь... Ему, наоборотъ, очень хотѣлось бы узнать, какъ здѣсь думаютъ объ евреяхъ, въ особенности же,—каково *ея* мнѣніе на этотъ счетъ? Но самъ задѣвать этотъ вопросъ онъ не рѣшался,—слишкомъ тонкая вещь... Случай представился позднѣе, и тогда онъ имѣлъ возможность убѣдиться, какъ здѣсь смотрятъ на евреевъ, что думаютъ о нихъ и какъ относятся къ народу, котораго Богъ избралъ и благословилъ именемъ Израиля... Пока же онъ могъ безпрепятственно „пить изъ той прекрасной чаши, что зовется жизнью“,—какъ онъ писалъ Гришѣ...

ГЛАВА III

Въ мірѣ грезъ.

Съ отъѣздомъ Саши пришелъ конецъ празднествамъ, и наступили попережнему будни.

Впрочемъ, жизнь мало измѣнилась. Тотъ же домъ—полная чаша, тотъ же столъ, и за нимъ множество людей,—все, какъ прежде. Но не было уже прежняго оживленія. Чувствовалось,

что чего-то недостаетъ, кого-то нѣтъ... И это была Саша.

Но ни слезъ ни вздоховъ при ея отъѣздѣ не было. Если кто тосковалъ по Сашѣ, такъ это Глюкъ, бродившій по дому, какъ растерянный.

Жалко было смотрѣть на эту собаку! Съ горя забирался онъ въ комнату къ репетитору, ложился на полъ и съ грустью смотрѣлъ ему въ глаза... „Нѣтъ *ея*, опять нѣтъ!“—безъ словъ жаловалась собака, и Гершко, уже совсѣмъ не боявшійся Глюка, нагибался къ нему и гладилъ рукою, какъ бы желая утѣшить его: „Сочувствую тебѣ, Глюкъ, знаю, по *комъ* ты тоскуешь... Ничего, братъ, еще кое-кто въ этомъ домѣ тоже тоскуетъ по *ней*...“

И Гершко еще разъ переживаетъ въ воображеніи тѣ счастливые моменты, что пролетѣли для него, какъ сонъ, какъ красивая сказка... Одна изъ тѣхъ фантастическихъ сказокъ, которыя слышалъ онъ въ дѣтствѣ; когда учился въ хедерѣ... Откуда взялись эти сказки, чьей фантазіей онѣ созданы? Быть можетъ, тамъ родились, въ темномъ хедерѣ?

Послѣ захода солнца, когда учитель уйдетъ въ синагогу на молитву, и въ хедерѣ станетъ совсѣмъ темно, хоть глазъ себѣ выколи, мальчики собьются въ кучу, какъ перепуганныя овцы, и одинъ изъ нихъ, постарше, мальчикъ съ задумчивыми глазами, тихо, плавно начнетъ:

— Какую сказку рассказать вамъ, дѣти, сегодня? Хотите про красавицу-царевну изъ волшебной страны Офирь?*) Страна эта, какъ вы знаете изъ библіи, находится по ту сторону рѣки Самбатіонъ за темными горами. Тамъ сохранились потомки десяти колѣнъ израилевыхъ, которыхъ благословилъ Господь и избавилъ отъ горя, несчастій, заботъ и нужды. Счастливые и здоровые, живутъ они припѣваючи. Золото валяется у нихъ, какъ соръ, улицы вымощены драгоцѣнными камнями, а на жемчугъ никто и смотрѣть не хочетъ... И вотъ случилась тамъ такая исторія.

Былъ у нихъ царь изъ колѣна Левитова, умеръ и оставилъ послѣ себя двухъ сыновей и дочь красавицу. Сыновья никакъ не могли подѣлить наслѣдство,—оба сына хотѣли вступить на престолъ и царствовать. Долго братья воевали между собою, проливая кровь безъ конца. Но надоумились ихъ подданные, поймали братьевъ и связали ихъ по рукамъ, по ногамъ. Кто-то громко сказалъ: „Тѣсенъ сталъ міръ Божій братьямъ, не могутъ они найти себѣ мѣста въ немъ. Что же намъ сдѣлать съ ними?“ — „Отправить ихъ на небо, можетъ

*) Офирь—легендарная страна, славившаяся золотомъ и другими драгоцѣнностями. Много разъ возбуждала она любопытство изслѣдователей, но всѣ попытки опредѣлить ея географическое положеніе до сихъ поръ остались щетными.

быть, тамъ имъ будетъ свободнѣе“,—отвѣтилъ кто-то.—„Взять дерево въ 50 локтей вышиною да и повѣсить обоихъ“. Такъ и сдѣлали. И стало спокойно. Съ тѣхъ поръ нѣтъ у нихъ царя.

Но какъ быть съ сестрою братьевъ, красавицей-царевной? Кто то сказалъ: „Вы не знаете, какъ быть? Взять и завести ее на далекій пустынный островъ посреди моря, пусть она тамъ живетъ себѣ сто двадцать лѣтъ, и пусть не говорятъ, что мы пролили невинную кровь“. Такъ и сдѣлали. Взяли царевну и завезли на далекій пустынный островъ посреди моря, построили ей тамъ хрустальный дворецъ подъ золотой крышей, оставили ей много всякаго добра. Сиди, ѣшь, пей на здоровье...

И сидѣла красавица-царевна, одна-одиношенька на далекомъ пустынномъ островѣ посреди моря и ждала избавителя: не забредеть ли кто-нибудь, не возьметъ ли ее обратно въ волшебную страну Офиръ, чтобы повѣнчаться съ нею и вступить на престолъ отца...

А тѣмъ временемъ случилось вотъ что. Одинъ танай *); благочестивой жизни чело-вѣкъ, узналъ черезъ откровеніе отъ духа святого о томъ, какъ несправедливо поступили потомки десяти колѣнъ израилевыхъ съ дѣтьми своего царя. Велѣлъ онъ позвать самага

*) Ученый талмудистъ.

способнаго и прилежнаго юношу изъ тѣхъ, что изучаютъ при синагогѣ священные книги, и спрашиваетъ его: „Какъ тебя зовутъ?“ Такъ-то, моль, и такъ-то. И говоритъ ему танай: „Послушай, дитя мое. Если бы тебѣ сказали: иди по ту сторону Самбатіона, за темныя горы, въ волшебную страну Офиръ, тамъ остались безъ царя потомки десяти колѣнъ израилевыхъ, приди и царствуй надъ ними, — что отвѣтилъ бы ты на это?“ Юноша задумался и молчить, — знакъ, что согласенъ. И говоритъ ему танай: „А если бы пришлось тебѣ сначала поѣхать на далекій пустынный островъ посреди моря, гдѣ стоитъ хрустальный дворецъ подъ золотой крышей, а во дворцѣ живетъ красавица-царевна и ждетъ своего избавителя?“ Юноша опять молчить, — знакъ, что и на это согласенъ. И снова говоритъ танай: „А если бы пришлось тебѣ привезти ее въ волшебную страну Офиръ и вступить съ ней въ бракъ?“ Юноша краснѣетъ, — знакъ, что ни отъ чего не отказывается... Тогда сказалъ ему танай: „Если такъ, дитя мое, вотъ тебѣ мой посохъ, платокъ и табакерка, иди и да благословить тебя Господь!“

Куда итти, — онъ не сказалъ. А спросить — нельзя. Когда такой святой человекъ говоритъ: иди, — надо итти... А тѣмъ болѣе, когда онъ даетъ свой посохъ, платокъ и табакерку..

Туть-то только и начинается сказка про то.

какъ пустился юноша въ путь-дорогу, про всё мытарства и несчастія, которыя онъ претерпѣлъ, и про чудеса, которыя онъ творилъ при помощи посоха, платка и табакерки. А до царевны все еще далеко. Видно, мальчикъ съ задумчивыми глазами, рассказывающій эту сказку, еще не скоро до нея доберется, и это жаль, — скоро придетъ учитель, а Гершкѣ очень хочется знать, что стало съ юношей... Найдеть ли онъ красавицу-царевну или нѣтъ? Ему кажется, что найдетъ, и его фантазія дорисовываетъ все остальное... Представляется ему заброшенный островъ посреди моря съ хрустальнымъ дворцомъ подъ золотой крышей, и красавица-царевна представляется такъ ясно и живо, какъ-будто онъ знаетъ ее, какъ самого себя. Онъ знаетъ даже, какіе глаза у нея, волосы, какъ она одѣта, слышитъ ея голосъ, смѣхъ... И ему кажется, что юноша этотъ, отправившійся на поиски за красавицей-царевной, — онъ самъ, что они полюбили другъ друга и ѣдутъ обратно въ волшебную страну Офиръ, чтобы тамъ повѣнчаться..

Но вотъ что поражаетъ его въ этой сказкѣ: красавица-царевна, которую онъ нѣкогда рисовалъ себѣ въ воображеніи, явилась къ нему теперь живой, реальной — въ образѣ Саши...

Тотъ фактъ, что онъ зналъ эту дѣвушку раньше, чѣмъ увидѣлъ ее, сводитъ его съ ума, дѣлаетъ изъ него фаталиста и заставляетъ вѣ-

рить въ самое несбыточное... И, уносясь въ своей фантазиі все выше и выше, онъ невольно спрашиваетъ себя: „Да неужели это возможно на самомъ дѣлѣ? Неужели свершится то, что когда-то видѣлъ онъ во снѣ? Но нѣтъ, не хочетъ онъ теперь думать объ этомъ... Не хочетъ знать, *что можетъ быть*, что будетъ... Онъ доволенъ тѣмъ, *что было*“.

А было вотъ что.

Однажды у Бардо-Брадовскихъ былъ вечеръ. Вышло такъ, что ему пришлось сидѣть далеко, въ самомъ углу залы, вдвоемъ съ Сашей. Всѣ остальные были въ сосѣдней комнатѣ. Играли въ фанты... Въ первый разъ сидѣлъ онъ такъ близко къ ней. Онъ слышалъ ея дыханіе, чувствовалъ ея близость. Но старался сидѣть спокойно. Вѣдь это только игра, фанты!

— Григорій Ивановичъ, что съ вами? Я не люблю нахмуренныхъ. Я люблю, когда бываютъ веселы!

Сказала это Саша просто, безъ всякой ироніи и безъ малѣйшаго кокетства,—просто потому, что она въ самомъ дѣлѣ любитъ, когда бываютъ веселы.

— У васъ что-то есть на душѣ,—продолжаетъ Саша и дарить его взглядомъ прекрасныхъ глазъ, за который онъ готовъ хоть сейчасъ умереть... Но онъ сохраняетъ спокойствіе... Съ чего она взяла, что у него есть

что-то на душѣ?.. „Съ чего? Неужели онъ еще не знаетъ, какая она мастерица читать въ чужихъ сердцахъ, какъ въ книгѣ?..“ И Саша смѣется, перегибаясь черезъ стулъ, веселымъ звучнымъ смѣхомъ, отъ котораго становится на душѣ и хорошо и тоскливо, отъ котораго хочется и смѣяться и плакать... Ибо смѣхъ этотъ, если угодно,—простой, добродушный смѣхъ отъ всей души, а при желаніи можно услышать въ немъ и нѣчто другое... Какъ знать,—можетъ быть, здѣсь кроется насмѣшка, шутка?.. Но пускай, пускай смѣется!..

Другой разъ дѣло было холодной снѣжной ночью. Городъ весь окутался въ бѣлое. Бардо-Брадовскіе всей семьей возвращались изъ театра, гдѣ занимали три ложи. Въ одной были отецъ, мать съ дочерью и Пьеръ, въ двухъ другихъ—учительскій персоналъ и Григорій Ивановичъ въ томъ числѣ. Но душою онъ былъ въ первой ложѣ и мучился тѣмъ, что тамъ сидѣлъ ненавистный „офицеришка“. Насилу дождался онъ конца и былъ счастливъ, когда Пьеръ, попрощавшись, ушелъ съ компаніей офицеровъ въ клубъ, а семья Бардо-Брадовскихъ, отпустивъ лошадей, отправилась пѣшкомъ по скрипучему снѣгу. Впереди шли, укутанные въ соболя, Феоктистъ Федосеевичъ и Надежда Θεодоровна, за ними слѣдовали учителя и учительницы, гувернантки и гувернеры, а позади всѣхъ—Саша съ русскимъ репетито-

ромъ. Саша весело болтала и смѣялась, а репетиторъ больше слушалъ и молчалъ.

— Какъ вамъ нравится князь?—спросила вдругъ Саша, переходя по своей привычкѣ съ самаго смѣшливаго тона на самый серьезный.

— Какой князь?

Саша съ удивленіемъ подняла на него глаза и даже остановилась на минутку... Но тутъ вмѣшался кто-то изъ шедшихъ впереди и разговоръ прервался.

Пьеръ, значить, князь?.. Теперь ему многое и многое понятно... Ничтожество съ громкимъ титуломъ... Ахъ, какъ онъ ему ненавистенъ этотъ князь! Князь...

.....

Въ ту же ночь Григорій Ивановичъ писалъ письмо своему другу, изливая предъ нимъ душу, какъ всегда, когда ему бывало тяжело. Онъ признался, что теперь понимаетъ, какъ былъ неправъ, упрекая его, Гришу, въ игрѣ съ огнемъ, въ любви къ неподходящей для него дѣвушкѣ. Теперь онъ видитъ, какъ выходитъ глупо, когда голова начинаетъ диктовать сердцу и разумъ хочетъ побѣдить душу... „Помнишь, Гриша,—заканчивалось письмо,—я рассказывалъ тебѣ когда-то про красавицу-царевну, которая годами владѣла мною, хотя я никогда не видалъ ея? Ну, такъ теперь я познакомился съ нею... И знаешь, что я скажу тебѣ? Жизнь не такъ уже плоха, какъ я до

сихъ поръ думалъ! Стоить пожить на свѣтѣ, право же, стоить, стоить!..“

Зима въ томъ году установилась холодная и длинная. Время все же не стояло, дни проходили за днями, и календарь, теряя листокъ за листкомъ, приближался къ Пасхѣ. Съ каждымъ оторваннымъ листкомъ у него какъ-будто легче на душѣ становилось—однимъ днемъ оставалось меньше до... до чего?.. Вотъ открываетъ онъ ящикъ письменнаго стола, достаетъ оттуда книгу и собирается лечь спать. Но раньше, чѣмъ положить книгу подъ подушку, онъ прижимаетъ ее къ сердцу и цѣлуетъ, цѣлуетъ...

Что съ нимъ творится? Съ ума сошелъ? И что у него за книга?

Это — „Анна Каренина“. Но не въ томъ дѣло, что это „Анна Каренина“, книгу эту привезла съ собою Саша. Въ дорогѣ она читала этотъ романъ, Сашины руки держали эту книгу, Сашино сердце чувствовало горе и радости героини романа,—а теперь эта книга у него! Она сама ее дала ему. Онъ попросилъ, и она дала. Неужели вы не поймете этого счастья? Вы скажете, что это глупо?.. Онъ и самъ знаетъ, что глупо. Но кто изъ васъ,—вспомните-ка!—кто изъ васъ не былъ глупъ, когда былъ молодъ?..

ГЛАВА IV.

Отрезвленіе.

Кто знаетъ, какихъ еще глупостей натворилъ бы лже-Поповъ, предоставленный самому себѣ, если бы не старшій братъ его, Абрамъ-Лейба, и не товарищъ его, настоящій Поповъ. Оба они какъ бы сговорились dokonать Гершку. Одинъ—своими мрачными письмами о несчастіяхъ и бѣдствіяхъ евреевъ и тонкими намеками на теперешнихъ молодыхъ людей, которые „ради мундира съ пуговицами готовы отказаться отъ отца-матери, отъ Бога и отъ зего“. Другой—своимъ постояннымъ фило софствованіемъ о „вѣчныхъ проблемахъ вѣчнаго народа“.

Абрамъ-Лейба разсказалъ цѣлую исторію про какого-то гимназиста-еврея, сына бѣдной вдовы изъ сосѣдняго мѣстечка, который, чтобы попасть въ университетъ, принялъ православіе, конечно, потихоньку отъ матери,—ей не перенести бы такого срама...

„Ну, ладно,—писалъ Абрамъ-Лейба,—крестился и Богъ съ нимъ! Пусть заболѣетъ тотъ, кто станетъ плакать о немъ и кто вздумаетъ молиться за него послѣ его смерти!... Такъ нѣтъ,—этотъ милый человѣкъ выписалъ къ себѣ сестренку,—хорошенькая дѣвушка, помоложе его, тоже окончила гимназію,—учиться

важному дѣлу, акушерству! Ну, конечно, „право-жительства“ у нея не было, и ее хотѣли выселить. Тогда умникъ даетъ ей совѣтъ, какъ братъ и другъ,—сдѣлать то же, что онъ... Та не хочетъ. Жаль, говорить, мать... Старая, больная женщина, не дай Богъ, не перенесетъ этого... Милый братецъ надумался и говорить, что, если она этого не сдѣлаетъ, онъ сейчасъ же напишетъ матери и признается ей во всемъ... Ну, и уговорилъ! Дѣвушка, — что она знаетъ!... Но вотъ въ чемъ дѣло: сдѣлать-то она это сдѣлала, но сейчасъ же раскаялась, и между братомъ и сестрой вышла крупная ссора. Она, вѣрно, сказала что-нибудь, онъ ей отвѣтилъ, — словомъ, она отравилась... Приѣхала мать, на мѣстѣ узнала, конечно, всю правду, вернулась домой и скоро умерла...

„Ну, Гершко, что ты скажешь на это? Разспроси-ка тамъ объ этомъ миломъ человѣкѣ, Лapidусъ его зовутъ, изъ себя онъ рыжій и приходится намъ дальнимъ родственникомъ: его мать и мать шурина Велвла были двоюродными сестрами,—родство-то не велико...“

Гершко, разумѣется, ничего, на это не отвѣтилъ. Но братъ не давалъ ему покоя. Въ каждомъ письмѣ онъ повторялъ еще и еще разъ эту исторію, спрашивая, разыскалъ ли онъ Лapidуса и что съ нимъ. Абрамъ-Лейба такъ надоѣлъ Гершкѣ, что онъ, наконецъ, попросилъ брата перестать морочить ему голову

какимъ-то Лапидусомъ, о которомъ онъ даже не слыхалъ никогда... Не онъ первый и не онъ послѣдній. Не велика бѣда, если однимъ евреемъ меньше будетъ...

Но на самомъ дѣлѣ исторія эта глубоко задѣла его. Какой чертъ дернулъ этого Лапидуса выписать къ себѣ сестру? И почему захотѣлось ему сдѣлать изъ нея непременно акушерку? Велико счастье кончить акушерскіе курсы! Акушерокъ и дантистокъ у насъ, какъ песку морского, какъ звѣздъ на небѣ!...

И онъ старался направить свои мысли въ другую сторону, чтобы не думать о главномъ, — о поступкѣ Лапидуса, который сверлилъ его мозгъ и вередилъ совѣсть...

А тутъ еще Гриша со своими письмами! Должно быть, Поповъ не на шутку взялся за изученіе еврейскаго вопроса! Каждый разъ требуетъ новыхъ разъясненій...

Сначала онъ никакъ не могъ понять, что за странный народъ евреи: нѣтъ у нихъ ни капли самолюбія, всякій можетъ оскорблять ихъ, топтать ихъ ногами, плевать въ лицо... И чего упрямятся, зачѣмъ хотятъ остаться непременно евреями, когда однимъ шагомъ можно избавиться отъ всѣхъ преслѣдованій?...

„Развѣ не въ тысячу разъ лучше, — писалъ онъ, — вамъ самимъ перемѣнить свою физиономію и подарить нашей странѣ нѣсколько милліоновъ способныхъ, полезныхъ, равноправ-

ныхъ гражданъ, чѣмъ погибать такимъ несчастнымъ образомъ, медленно, постепенно, въ теченіе сотенъ лѣтъ? Кому вы хотите показать свою силу? Кого хотите проучить?⁴

На это Рабиновичъ отвѣчалъ, какъ отвѣчаетъ всякій еврей, когда ему начнутъ пѣть извѣстную пѣсенку о „самоосвобожденіи“: не очень-то заботься о насъ, евреи пережили худшія времена и т. д.

Потомъ, уже Рабиновичъ взялъ новый тонъ. Ему нравится,—писалъ онъ,—идея доктора Герцеля. Въ Сіонѣ, по его мнѣнію, единственный исходъ для евреевъ. Обновить древній израильскій народъ, создавъ для него новое государство на старой территоріи, въ древней странѣ предковъ,—что можетъ быть прекраснѣе, выше и практичнѣе этого! Непонятно, почему эта высокая идея не проникла въ массы и не охватила всѣхъ евреевъ всего міра? Непонятно, почему вмѣсто борьбы за самостоятельную жизнь евреи тратятъ силы на такія глупости, какъ золотая медаль, дипломъ и т. п.

„Неужели ты, — спрашивалъ онъ своего друга,—не сіонистъ въ душѣ? Если такъ, то какой же ты еврей!... О, если бы я былъ на твоёмъ мѣстѣ, если бы я былъ дѣйствительнымъ Рабиновичемъ, я сталъ бы во главѣ такой организаціи и проводилъ бы эту святую идею прежде всего въ молодежи, среди уча-

щихся, а потомъ уже во всемъ народѣ. О, я показалъ бы міру, что такое евреи и на что они способны!“

На это онъ получилъ отъ Рабиновича такой отвѣтъ:

„Милый Гриша! Изъ послѣднихъ твоихъ писемъ видно, что ты находишься подъ влияніемъ сіонистовъ. Мнѣ придется охладить твой пылъ, мой дорогой другъ, и сказать тебѣ правду. Твои товарищи глупцы, если они думаютъ, что Сіонъ—единственный исходъ для несчастныхъ братьевъ. Конечно, это свидѣтельствуется объ ихъ горячей любви къ своему народу, но они не знаютъ, что еврейскій народъ не то, что всякій другой. Въ то время какъ социологія учитъ насъ, что всякая нація состоитъ изъ трехъ основныхъ элементовъ: территоріи, государства и языка,—нашъ народъ уже въ теченіе многихъ столѣтій обходится безъ территоріи и безъ государства... Мы никого не боимся. Что могутъ съ нами сдѣлать? Отобратить территорію, которой у насъ нѣтъ? Разрушить государство, котораго мы лишены? Мы, если хочешь знать, народъ экстерриториальный, живущій внѣ почвы, внѣ матеріи, народъ-идеалистъ, народъ-духъ, чистая идея,—а идея вѣчна, не боится уничтоженія... Понимаешь ты это, или нѣтъ?“

Однако, въ душѣ онъ чувствовалъ, что все это пустяки и что, будь онъ такой еврей,

какимъ представляегъ его себѣ Гриша, онъ не сталъ бы ждать, чтобы его товарищъ, христіанинъ, напомнилъ ему о Сіонѣ...

Это казалось ему смѣшнымъ, и въ то же время было стыдно, стыдно...

Зима уже давно прошла.

Наступилъ долгожданный праздникъ Пасхи, пріѣхала Саша.

Снова ожилъ домъ Бардо-Брадовскихъ, и Глюкъ снова очумѣлъ отъ неожиданной радости. Что только творилось въ домѣ. Стряпали, пекли, жарили, варили, чистили и съ базара несли все новые и новые кульки,— готовились къ свѣтлому празднику!

Лица у всѣхъ сіяли и больше всѣхъ, какъ всегда, сіяла сама Саша, громче всѣхъ раздавался Сашинъ голосъ, звончѣе всѣхъ былъ ея смѣхъ. А подарковъ Саша привезла безъ конца. Прежде всего, конечно, братишкамъ Петѣ и Сережѣ,—цѣлый арсеналь ружей, солдатиковъ, телефоновъ, граммофоновъ, фотографическихъ аппаратовъ, аэроплановъ... Затѣмъ, учительскому персоналу,—кому золотое яичко, кому мундштукъ, кому медальонъ-сердечко, а кому шелковый шарфъ послѣдней моды.. Русскому репетитору— „всего Толстого“ въ роскошномъ переплетѣ: вѣдь Григорій Ивановичъ поклонникъ Толстого... Далѣе, для прислуги,—цѣлый магазинъ галантерейныхъ и мануфактурныхъ товаровъ... Никого не забыла

Саша, и, ахъ, сколько радости, сколько смѣха было при раздачѣ подарковъ! Разумѣется, въ самый разгаръ дѣла вмѣшался Глюкъ, который хоть и ничего не получилъ отъ Саши, кромѣ щелчка по носу, но былъ счастливѣе всѣхъ и больше всѣхъ проявлялъ свою радость. Но за свое вмѣшательство онъ чуть не пострадалъ за уши и маршъ за дверь!..

Однимъ словомъ, домъ Бардо-Брадовскихъ принялъ тотъ же видъ, какъ и въ первый приѣздъ Саши зимой, снова начались тѣ же веселыя празднества съ поѣздками, музыкой, играми, танцами... Но куда дѣвался Григорій Ивановичъ? Отчего его не видно? Придетъ на минутку къ столу, мрачный, какъ ночь, отвѣчаетъ на вопросы черезъ пятое на десятое, будто бы улыбается, но видно, что онъ едва сидитъ, и какъ только поднялись изъ-за стола,—его уже нѣтъ... Что-то неладное творится съ нимъ...

Какъ ни уклонялся лже-Поповъ отъ евреевъ и отъ еврейства, какъ ни старался быть подальше отъ еврейской жизни, забыть хоть на время про еврейскій гнетъ, отъ котораго еврей нигдѣ не можетъ освободиться, развѣ что на томъ свѣтѣ,—все было напрасно...

Сказать правду, Григорій Ивановичъ никогда, ни на минуту не переставалъ быть Гершкой Рабиновичемъ. Какъ всякій еврей, беря въ

евъ и зовется „крававымъ навѣтомъ“!... Онъ лишь запомнилъ, что фактъ этотъ произошелъ какъ разъ въ томъ городѣ, гдѣ находится Гриша, и рѣшилъ, когда будетъ писать, спросить его объ этомъ. Но потомъ забылъ...

Каково же было его удивленіе, когда объ этой исторіи напомнилъ ему не кто иной, какъ самъ Феоктистъ Федосеевичъ!

Бардо-Брадовскій не любитъ говорить о политикѣ, особенно за столомъ, но однажды за чаемъ онъ позволилъ себѣ коснуться этой исторіи въ такомъ тонѣ, какимъ рассказываютъ о лошади, взявшей призъ, о новомъ атлетѣ, приѣхавшемъ изъ Лондона, о дирижаблѣ, пролетѣвшемъ надъ городомъ... При этомъ и самъ хозяинъ и всѣ сидѣвшіе за столомъ, повидимому, были увѣрены въ правдивости этой исторіи.

Нѣкоторое сомнѣніе выразилъ только учитель французскаго языка monsieur Дюбуа. Но его коллега, Негг Фришъ, совершенно серьезно, хотя и съ широкой улыбкой на красномъ лицѣ, замѣтилъ, что русскихъ евреевъ нельзя сравнить съ французскими или нѣмецкими...

— Русскій ефрей, особенно польскій, еще такъ дикъ, што нуштатцафъ пасхальный шертва — провозгласилъ онъ на своемъ ломаномъ русскомъ языкѣ, бросивъ взглядъ въ сторону „Грегуара Ифанофича“, который, какъ русскій студентъ, долженъ знать дѣло лучше всѣхъ...

Григорій Ивановичъ и безъ того сидѣлъ, какъ на угольяхъ, но тутъ онъ почувствовалъ, что теряетъ самообладаніе.. Всю свою злобу сорвалъ на этомъ нѣмцѣ! Но обращался онъ не прямо къ нему. Онъ поставилъ вопросъ шире: какъ могутъ въ наше время цивилизованные люди, европейцы, вѣрить въ такія дикія, глупыя, давно отжившія вещи, отдающія ветхой плѣсенью, темнымъ фанатизмомъ, грубымъ невѣжествомъ? Какъ могутъ эти люди произносить такія слова, которыя стыдно слышать въ порядочномъ домѣ, среди порядочныхъ людей, которыя грѣшно, преступно повторяютъ при дѣтяхъ?!..

Эта неожиданная горячая отвѣдь русскаго студента, который вдругъ взялъ сторону евреевъ, поразила всѣхъ присутствовавшихъ и больше всѣхъ самого Феоктиста Федосеевича, который смотрѣлъ на репетитора во всѣ глаза.

Такой, кажется, тихій, скромный человѣкъ,—думалъ онъ,—и вдругъ!—И изъ-за чего? Изъ-за евреевъ... Странное дѣло!..

Петя и Сережа также смотрѣли на него большими глазами: что это съ ихъ учителемъ? Они никогда еще не видали его такимъ..

Почти всѣ были согласны съ нѣмцемъ. На сторону Григорія Ивановича стали только monsieur Дюбуа, который вообще былъ въ восторгѣ отъ горячаго темперамента русскаго репетитора, и добрая Надежда Θεодоровна, кото-

рая хотѣла помирить спорившихъ, но такъ чтобы и нѣмецъ былъ не совсѣмъ уже неправъ...

— Я нахожу, что Григорій Ивановичъ правъ,—сказала она.—Преслѣдовать людей за то, что они исповѣдуютъ другую вѣру, въ самомъ дѣлѣ неблагородно... Но, Григорій Ивановичъ,—обратилась она къ репетитору,—знаете ли вы ихъ лично, вотъ этихъ... Видали ли вы хоть одного еврея? Ахъ, они должны быть ужасны!...

Если бы на Григорія Ивановича вылили три ведра холодной воды, это не такъ скоро охладило бы его, какъ эти нѣсколько мягкихъ наивныхъ словъ доброй Надежды Θεодоровны. Что могъ онъ отвѣтить ей?... Разумѣется, онъ не знаетъ евреевъ,—откуда ему знать? Но онъ хорошо знакомъ съ ихъ исторіей, съ ихъ литературой и нигдѣ не встрѣчалъ онъ даже намека на то, о чемъ болтаютъ газеты...

Онъ чувствуетъ, что внутри у него все кипитъ, что голосъ его дрожить, но онъ сдерживается, насколько можетъ, и говоритъ спокойно, съ улыбкой, какъ человѣкъ посторонній, замѣтившій несправедливость и вмѣшавшійся... Однако, онъ видитъ, что все его краснорѣчіе пропадаетъ даромъ. И онъ раскаивается,—зачѣмъ ему надо было связываться съ этимъ нѣмцемъ? Чертъ его принесъ!...

На помощь ему пришелъ не кто иной, какъ самъ нѣмецъ.

— Ви ошень карашо сказалъ, Надежда Теодоровна, и ви ошень карашо гофорилъ, Грегуаръ Ифанофичъ, — заявилъ онъ и попросилъ позволенія рассказать анекдотъ. Никакого отношенія это къ спору не имѣло, и самъ анекдотъ былъ однимъ изъ тѣхъ, что вызываютъ скорѣе зѣвоту, чѣмъ смѣхъ, но какъ бы то ни было, онъ оказался очень хорошимъ средствомъ замять неожиданную дискуссію...

Къ этому неприятному разговору больше не возвращались вплоть до приѣзда Саши на Пасху. И вотъ однажды за столомъ снова зашла рѣчь о томъ же, и Негг Фришъ указалъ, что „Грегуаръ Ифанофичъ“ полагаетъ, будто вся исторія съ ритуальнымъ убійствомъ не болѣе, какъ легенда, выдуманная газетами, хо-хо-хо!

— Кто это говорить?—спросилъ Пьеръ, явившійся въ домъ на второй день послѣ приѣзда Саши и сидѣвшій, теперь рядомъ съ ней.

— Я! — громко, чтобы его слышно было, отозвался Григорій Ивановичъ, сидѣвшій далеко отъ Пьера. Будь, что будетъ, — онъ разъ навсегда выскажетъ все, что накопилось у него въ душѣ съ тѣхъ поръ, какъ онъ живетъ здѣсь и терпитъ муки ада... Пора, наконецъ, заговорить, пора открыть имъ глаза, показать этимъ сытымъ, счастливымъ, увѣрен-

нымъ въ себѣ людямъ, что преступно просто отмахиваться отъ цѣлаго народа, который изнаываетъ, исходитъ кровью, борется со смертью, жаждающая жить, какъ и другіе... Кромѣ того, ему очень хотѣлось проучить немного этого ненавистнаго «офицеришку». Ему хотѣлось показать всѣмъ, какой онъ невѣжда, этотъ отшлифованный, блестящій князь съ аристократическими манерами. Давно уже искалъ онъ случая сцѣпиться съ нимъ. Но Пьеру, видимо, не было охоты связаться съ этимъ „чернымъ“ студентомъ, у котораго темпераментъ грузина и лицо жида, хотъ онъ и сынъ Попова... Пьеръ не удостоилъ его даже взглядомъ и наклонился къ Сашѣ. Но та збратилась прямо къ студенту.

— О чемъ вы тамъ говорите, Григорій Ивановичъ?

Репетиторъ ожилъ, сердце его трепетно забилося... Такъ, такъ, этого-то онъ и хотѣлъ! Услышать ея мнѣніе—одно это уже чего стоитъ!.. Ему казалось, что въ ней, именно въ ней найдетъ онъ помощь, сочувствіе. Ему казалось, что человѣкъ съ такой чуткой душой, какъ Саша, долженъ сочувствовать скорѣе ему, чѣмъ этому пустому князю, у котораго нѣтъ ничего за душою, который только и умѣетъ франтить, вытягиваться въ струнку и звенѣть шпорами,—ахъ, какъ онъ ненавидитъ его!

Григорій Ивановичъ повернулся къ Сашѣ и, спокойно твердо произнося каждое слово, сказалъ:

— Мы говоримъ объ евреяхъ, Александра Феоктистовна, объ евреяхъ и...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Не говорите мнѣ объ этихъ... объ этихъ.. Я ихъ боюсь!...

И Саша закинула голову назадъ, отмахиваясь обѣими руками, какъ отъ чего-то сквернаго... Но это вышло у нея такъ по-дѣтски-наивно и такъ кокетливо мило, что всѣ разсмѣялись.. И раньше всѣхъ—monsieur Дюбуа, который въ сущности меньше всѣхъ понялъ. А громче всѣхъ смѣялся нѣмецъ Неггъ Фришъ. Онъ хохоталъ, запрокинувъ назадъ голову, толстыя жилы на жирной шеѣ у него налились, блестящее и безъ того красное лицо еще болѣе покраснѣло, такъ что можно было опасаться, какъ бы при его комплекціи съ нимъ не случился ударъ...

Когда Григорій Ивановичъ вмѣстѣ со всѣми всталъ изъ-за стола, голова у него горѣла и въ глазахъ темнѣло. А въ ушахъ все звенѣли слова Саши: „Не говорите мнѣ объ этихъ... я ихъ боюсь!“

Она ихъ боится!... А мать ея, добрая Надежда Θεодоровна сказала: „Они, вѣрно, ужасны!“ Ахъ, какая пропасть, какая глубокая пропасть

должна быть между людьми-братьями, если такіе добрые, чуткіе люди могутъ такъ говорить!... Вѣдь онѣ слова худого не могутъ слышать, лица мрачнаго не въ состояніи видѣть!... И онѣ переводитъ взглядъ съ одной на другую и вспоминаетъ, какъ онѣ отдали Пьеру всѣ бывшія при нихъ деньги, для передачи старому князю, который собиралъ на голодающихъ.

Что сказали бы онѣ,—думаетъ репетиторъ,—если бы узнали, сколько въ нашей странѣ голодныхъ, забитыхъ и униженныхъ, которые голодаютъ всю жизнь, которые постоянно нуждаются въ кускѣ хлѣба? И не только въ кускѣ хлѣба,—нуждаются въ правахъ, нуждаются въ добромъ словѣ, въ воздухѣ и свѣтѣ, въ знаніи и даже въ азбукѣ, въ простой русской азбукѣ!

Припоминаетъ онѣ еще и такой фактъ. Случилось это уже давно, въ началѣ зимы. Всѣ были на каткѣ. Григорій Ивановичъ стоялъ поодаль и смотрѣлъ, какъ катается Саша съ Негг Фришемъ *monsieur* Дюбуа и съ ненавистнымъ Пьеромъ. Глюкъ тоже былъ на льду,—какъ можно обойтись безъ Глюка! Вдругъ раздался шумъ, крикъ.. Визгъ собакъ, голоса людей смѣшались вмѣстѣ, кто-то упалъ въ обморокъ.. Прошло добрыхъ двѣ минуты, пока можно было разобрать, что случилось. А случилась маленькая трагедія.

Героемъ ея былъ Глюкъ. Были и другіе герои, такія же, какъ онъ, собаки, но поменьше и среди нихъ крошечная генеральская собачка, одна изъ тѣхъ, при которыхъ держатъ особаго человѣка и купаютъ чуть ли не въ шампанскомъ. Шерсточка у нея бѣленькая, шелковистая, глазки черненькіе, злые, лапки дрожая, мордочка обезьянья и зубки наружу, — за такую игрушку все отдай — мало! Вышло между собаками своего рода недоразумѣніе, драка, и онѣ такъ сцѣпились другъ съ другомъ грызться, что только клочья полетѣли. . Больше всѣхъ отличился Глюкъ, — генеральскую собачку еле отходили... Глюкъ самъ, по видимому, не ожидалъ отъ себя такой прыти. Онъ стоялъ, облизывался и недоумѣнно по-сматривалъ кругомъ, какъ бы говоря: „очень возможно, что я сглупилъ, но что подѣлаешь? Прошлаго не воротишь...“ Какъ бы то ни было, обладательница собачки, дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника, упала въ обморокъ, а Саша, державшая взѣрошенную собаченку, чуть не плакала... И потомъ, когда она рассказывала матери объ этой трагедіи, у обѣихъ на глазахъ были слезы...

Почему вдругъ вспомнилась ему эта собачья исторія?... Онъ ищетъ глазами Сашу и видитъ, что она стоитъ у фортепьяно съ французомъ, который проситъ ее сыграть что-нибудь. Саша отказывается... Что произошло бы, — думаетъ

Поповъ-Рабиновичъ, —какой эффектъ получил-ся бы, если бы онъ отозвалъ ее въ сторону на два слова. . Онъ-де очень извиняется, что не говорилъ этого раньше, —не могъ... Теперь онъ скажетъ ей всю правду, откроетъ ей секретъ, —только ей, никому больше. . *Онъ—одинъ изъ тѣхъ, кого она боится...*

Но вотъ Саша идетъ къ нему навстрѣчу съ веселымъ открытымъ лицомъ и ласковой улыбкой:

— Григорій Ивановичъ, я хочу играть съ вами въ „трикъ-тракъ“...

Гдѣ былъ его разумъ? Гдѣ были его глаза?

Онъ понялъ, что все, бывшее до сихъ поръ, было сномъ, сказкой о красавицѣ-царевнѣ изъ страны Офирь...

Онъ понялъ, что смотрѣлъ черезъ желѣзную рѣшетку въ чужой садъ, гдѣ сквозь густыя деревья и прелестные цвѣты чуть виднѣлся роскошный дворецъ, а каковъ этотъ дворецъ и что за люди его счастливые обитатели, — все это дорисовывала ему его собственная фантазія. Та фантазія, что помогла ему дорисовать прекрасную царевну изъ страны Офирь...

Ни за что не могъ простить онъ себѣ, что съ перваго же дня велъ себя здѣсь, какъ мальчишка. Въмѣсто того, чтобы, какъ вѣрный сынъ своего народа, использовать свое положеніе и

заступиться за своихъ братьевъ, внести свѣтъ и разогнать тѣни, онъ стоялъ, какъ посторонній зритель, сидѣлъ, какъ гость, никого не зажигая огнемъ своего измученнаго сердца, никого не касаясь жаломъ своей истерзанной души. А разъ попробовалъ выступить и сейчасъ же пожалѣлъ, побоялся, что могутъ заподозрить въ немъ то, что есть, могутъ принять его за того, кто онъ есть на самомъ дѣлѣ...

Онъ не могъ простить себѣ, что въ то самое время, какъ онъ обманывалъ чужихъ людей, которые вѣрили въ него, онъ обманывалъ также и своихъ родныхъ, выдумывалъ для нихъ каждый разъ новую неправду, одну хуже другой.. Обманывалъ наивнаго старика отца, прося у него извиненія за то, что не пріѣхалъ на праздникъ домой,—у нихъ-де въ зубоврачебной школѣ въ пасхальное время много работы.—и умоляя отца не беспокоиться за него: онъ уже приглашенъ на обѣ пасхальныя трапезы въ очень почтенныя еврейскія семейства, ничего не-пасхальнаго не попадетъ къ нему въ ротъ... О, если бы простой честный ребѣ Мойша Рабиновичъ зналъ, что ѣлъ этой Пасхой его сынъ, гдѣ былъ въ ночь со „страстной субботы“ на „Свѣтлое Воскресенье“, когда звонили въ колокола, и какъ утромъ цѣловался онъ со всѣми, начиная съ огромнаго Феоктиста Федосеевича и кончая

бритымъ джентльменомъ у дверей, — и все ради чего? Ради мальчишеской выходки, ради мечты о красавицѣ-царевнѣ изъ страны Офирь!...

ГЛАВА V.

Ударъ за ударомъ.

Рабиновичъ былъ достаточно наказанъ за свое невольное отступничество. Каждый день приносилъ ему сюрпризъ за сюрпризомъ, ударъ за ударомъ, одинъ сильнѣе другого..

Почти въ каждомъ номерѣ газеты были извѣстія о знаменитомъ процессѣ въ большомъ городѣ „черты“.—Какъ ни печальны были эти извѣстія для Григорія Ивановича, онъ молча глоталъ ихъ. Но его добрый другъ Неггъ Фришъ, любившій сенсаци, убійства и другія преступленія, каждый разъ заговаривалъ объ этомъ процессѣ за столомъ, обращаясь къ хозяину дома на своемъ ломанномъ русскомъ языкѣ:

— Што ви читайль, Теокисть Тедосеитшъ, по пофоду страшный ритуаль-убійство?

Феокисть Федосеевичъ, больше любившій говорить о веселыхъ вещахъ, или отмалчивался или заводилъ разговоръ о чемъ нибудь иномъ. Тогда другой добрый другъ репетитора, Пьеръ, поддерживалъ нѣмца: онъ увѣренъ, что не сегодня-завтра поймають всю жидовскую организацію, которая разсѣяна по всей странѣ и занимается такими дѣлами..

Ахъ, какъ хорошо было бы.— думаетъ Григорій Ивановичъ,—бросить вотъ этой пузатой бутылкой прямо въ лицо проклятому „офицеришкѣ!...“

— Григорій Ивановичъ!—слышится съ другого конца голосъ, звучащій для него, какъ музыка.—Григорій Ивановичъ, что вы носъ на квинту повѣсили? У васъ видъ человѣка, который никакъ не можетъ вспомнить, что онъ видѣлъ во снѣ ..

Всѣ смѣются и Григорій Ивановичъ въ томъ числѣ, но что онъ чувствуетъ при этомъ, извѣстно только ему, да развѣ Господу Богу ..

Въ довершеніе всего пришло извѣстіе, что въ томъ городѣ, гдѣ совершено „ритуальное убійство“, ожидаются „веселые праздники“ и что евреи бѣгутъ... Давно уже онъ не слыхалъ и нигдѣ не встрѣчалъ этого милаго слова „погромъ...“

Однажды спустился онъ въ вестибюль, гдѣ лежатъ всевозможныя газеты на разныхъ языкахъ. Каждый приходитъ и беретъ себѣ, что нравится. Здѣсь онъ встрѣтилъ monsieur Дюбуа, Негг Фриша и miss Токтонъ,—каждаго за своей газетой, а также Сашу, собравшуюся гулять и пока перелистывавшую журналы... Былъ одинъ изъ тѣхъ прекрасныхъ дней, что выдаются весной, на Пасху...

Онъ хочетъ положить газету и не можетъ... Читаетъ:... „Здѣсь усиленно говорятъ о по-

громъ. Евреи бѣгутъ тысячами. Паника страшная... И вспоминается ему картина, которой онъ никогда не забывалъ и не забудетъ..

...Маленькій гордокъ... Начало зимы... Ему было тогда еще тринадцать лѣтъ... Тайкомъ училъ онъ наизусть географію.. Старшій братъ, бойкій и шустрый мальчикъ, каждый день при бѣгалъ и приносилъ новости... Говорятъ, евреи бѣгутъ... Говорятъ, погромъ будетъ.. Пожалуй, уже начался... „Что же дѣлать?“—„Надо бѣжать“...—„Куда?“—„Куда глаза глядятъ“... И начинается споръ. Абрамъ-Лейба предлагаетъ обѣихъ сестеръ отправить къ начальнику станціи, онъ съ отцомъ будетъ у священника, а мать съ Гершкой у пристава, т. е., у жены пристава, очень хорошая женщина, она общала... Но мать не хочетъ: съ ума она сошла? Довѣрять дочерей начальнику станціи? Тогда Абрамъ-Лейба, человекъ покладистый, предлагаетъ матери съ Гершкой пойти къ начальнику станціи, сестеръ отправить къ священнику, а онъ съ отцомъ будетъ у пристава, т. е., у жены пристава, очень хорошая женщина, она общала... Но мать опять возражаетъ: ну, да, такъ-таки и пошла она съ дочерью къ священнику!... Тогда Абрамъ Лейба, человекъ покладистый, перевертываетъ весь планъ: онъ съ отцомъ пойдетъ къ начальнику станціи, мать съ Гершкой къ священнику, а обѣ

сестры къ приставу, т. е., къ женѣ пристава, очень хорошая женщина, она общалась...

Въ концѣ концовъ оказалось, что никто, ни начальникъ станціи, ни священникъ, ни приставъ, т. е., жена пристава, ихъ не пустили,— и безъ того уже было полнымъ-полно... И всѣ они, отецъ, мать и четверо дѣтей насилу упростились къ сосѣду-русскому въ сарай, гдѣ ихъ и заперли снаружи. Сидя тамъ, они слышали все, что дѣлалось въ городѣ...

И онъ вспоминаетъ, что Абрамъ-Лейба метался, какъ звѣрь въ клѣткѣ, и все твердилъ, конечно, шопотомъ: Зачѣмъ его арестовали? Лучше бы онъ остался и хватилъ бы кого-нибудь полнымъ по головѣ. „Миѣ глазъ—тебѣ два!“—говорилъ Абрамъ-Лейба, а мать унимала его, умоляла сжалиться, если не надъ собою, то хоть надъ остальными дѣтьми... Отецъ потихоньку молился, всю ночь молился...

Мать уложила его у себя на колѣняхъ и онъ заснулъ подъ тихую молитву отца.

А когда проснулся, былъ ужъ день, и онъ тогда лишь увидѣлъ обстановку, въ которой они провели ночь, и онъ ужаснулся.

И здѣсь отецъ молился?—подумалъ онъ тогда.—Всю ночь молился?!

— Идемте гулять?—вдругъ раздался знакомый голосъ... Онъ вскочилъ,—предъ нимъ стояла, натягивая перчатки, Саша...

Пардонъ, онъ такъ углубился въ политику, что совсѣмъ забылъ, что она здѣсь...

Настоящимъ ударомъ было для Григорія Ивановича, когда онъ узналъ, *кого* подозреваютъ въ такъ называемомъ „ритуальномъ убійствѣ“.

Въ одинъ прекрасный почти лѣтній день, утромъ. Негг Фришъ встрѣтилъ его съ широкой улыбкой на красныхъ щекахъ и радостно сообщилъ, что „ритуальнаго убійцу“ поймали! Это—интеллигентъ, дантистъ и зовутъ его Рабиновичъ (съ удареніемъ на „би“).

Григорій Ивановичъ долженъ былъ отыскать стулъ и сѣсть... Взялъ газету у нѣмца и самъ дважды просмотрѣлъ отъ начала до конца. Но не растерялся. Слова лишняго не сказалъ. ничѣмъ не выдалъ себя. Наоборотъ, почувствовалъ странную легкость въ головѣ, необыкновенную ясность въ мысляхъ.. Ему сразу все стало понятно... Вотъ почему онъ такъ давно не получалъ отъ своего друга ни строчки... И въ головѣ его начали зарождаться разные планы... Выпутать своего невиннаго друга—это его долгъ! Болѣе того, онъ одинъ только и можетъ его спасти...

Разумѣется, нужно какъ можно скорѣе поѣхать туда, гдѣ находится несчастный товарищъ, и на мѣстѣ рѣшить, что можно сдѣ-

латъ. А чтобы поѣхать туда, надо взять въ университетѣ документы—это прежде всего. И онъ, не долго думая, не дождавшись даже утренняго чаю, побѣжалъ въ университетъ, не чувствуя земли подъ собою.

Придя въ канцелярію за документами, онъ узналъ, что его спрашиваетъ ректоръ. Онъ нуженъ ректору? Зачѣмъ? Неужели по поводу той же исторіи?

По дорогѣ онъ уловилъ нѣсколько словъ изъ разговора двухъ знакомыхъ студентовъ-евреевъ, которыхъ онъ всегда избѣгалъ, боясь, какъ бы они не догадались, кто онъ... Студенты читали газету, но увидавъ Попова, спрятали ее, и одинъ изъ нихъ сказалъ по-еврейски: „Подожди, неприятно передъ русскимъ..“ Онъ прекрасно понималъ, о чемъ они разговаривали... И никогда еще ему такъ не хотѣлось нарочно остановиться и побесѣдовать съ этими товарищами по-еврейски о той исторіи, за которую дѣйствительно „неприятно передъ русскими“. Неприятно и больно!.. У нихъ, быть можетъ, онъ узналъ бы больше, чѣмъ онъ знаетъ? Да и поговорить съ евреями уже большое облегченіе...

Но онъ сдѣлалъ усиліе надъ собою и прошелъ мимо, внѣшне спокойный, не глядя въ ихъ сторону...

Затѣмъ онъ натолкнулся на группу студентовъ, бывшихъ евреевъ. . Они тоже о чемъ-то

оживленно разговаривали, но увидѣвъ Попова, всѣ сразу замолчали.. Онъ былъ почти увѣренъ, что и здѣсь говорили о *томъ же*,— и чуть не сгорѣлъ со стыда.. Даже *эти* эти отщепенцы, живущіе въ своемъ особомъ мірѣ, даже эти измѣнники, которыхъ онъ такъ же не любитъ, какъ русскій не любитъ евреевъ, даже эти, въ его глазахъ, провокаторы. все-таки интересуются *той* исторіей, которая грязнить и позорить всѣхъ евреевъ въ глазахъ другихъ народовъ... И только онъ одинъ, Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, носящій личину Попова, стоитъ въ сторонѣ, какъ будто это его не касается, носится со своими грезами, строитъ воздушные замки, мечтаетъ о красавицѣ-царевнѣ изъ страны Офирь. А его другъ Поповъ, христіанинъ, тотъ... Ха-ха!

Ректоръ университета встрѣтилъ его съ той же широкой дружеской улыбкой, какъ всегда, и попросилъ присѣсть... Онъ очень радъ, что видитъ его здоровымъ, бодрымъ и надѣется, что все у него обстоитъ благополучно...—Слава Богу, ректоръ говоритъ не о *той* исторіи... Но вотъ ректоръ встаетъ, подходитъ къ столу и читаетъ телеграмму, въ которой Иванъ Ивановичъ Поповъ спрашиваетъ о своемъ сынѣ Григоріи,—какъ его здоровье, гдѣ онъ живетъ и почему не пишетъ?

— Видите ли, мой дорогой другъ, — говоритъ ректоръ, поглаживая баки, — что вашъ отецъ не знаетъ, гдѣ вы живете, это понятно: пари, не такъ ли?... Но вотъ, что вы не пишете ему, — это уже не хорошо, молодой человѣкъ. Это уже... э-э э...

Студентъ почувствовалъ, какъ у него вдругъ пересохло во рту и едва вымолвилъ:

— Вы уже отвѣтили ему?

— Ну, разумѣется! Вчера еще отвѣтилъ, телеграммой!

У студента задрожали колѣни.

— Телеграммой? Что именно?

Ректоръ разсмѣялся.

— Что? Ха-ха-ха... Что вы живы и здоровы. И сообщилъ вашъ адресъ... Но только адресъ, — больше ничего.. Будьте увѣрены.

Точно десятипудовая тяжесть свалилась съ плечъ у студента.. И онъ отправился домой. Но тамъ его ждалъ новый сюрпризъ.

— Вамъ телеграмма, — встрѣтилъ его высокій величественный джентльменъ, похожій скорѣе на губернатора, чѣмъ на швейцара, и подалъ на серебряномъ подносѣ конвертъ. Въ первыи разъ за все время репетиторъ получалъ здѣсь корреспонденцію на свое имя.

Телеграмма была отъ сестры Попова и содержала всего три слова: „Ѣду курьерскимъ, Вѣра“.

Черезъ полчаса уже весь домъ зналъ, что

Григорій Ивановичъ получилъ телеграмму и что онъ ѣдетъ домой. Что было въ телеграммѣ, никто не пытался узнать. Но по той поспѣшности, съ которой онъ собирался въ дорогу и по его блѣдному лицу, видно было, что случилось, должно быть, несчастье... Всѣ сочувствовали ему, даже тѣ, кто не очень любилъ его. Даже Пьеръ подошелъ къ нему, угостилъ сигарой и дружелюбно спросилъ:

— Покидаете насъ?

Больше всѣхъ его отъѣздомъ интересовалась Надежда Θεодоровна. Видно было, что она искренно жалѣетъ его, и ей грустно, что репетиторъ уѣзжаетъ, хотя бы и не надолго.

— Саша,—обратилась она къ вошедшей дочери,—Григорій Ивановичъ покидаетъ насъ..

— Это еще что такое? Не можетъ быть!... —

И она даритъ его такимъ взглядомъ прекрасныхъ смѣющихся глазъ, что онъ готовъ забыть и друга, котораго ѣдетъ спасать, и телеграмму его сестры, и самого себя, и тутъ же на глазахъ у матери броситься передъ нею на колѣни и рассказать всю, всю правду,—будь, что будетъ! Обѣ онѣ такія добрыя и хорошія, что простятъ его, простятъ, что онъ утаилъ отъ нихъ свою принадлежность къ народу, котораго онѣ боятся.. Онѣ поймутъ, что не его вина, если съ рожденія осужденъ онъ на изгнаніе изъ человѣческаго общества, осужденъ страдать за грѣхи своихъ предковъ,

дерзнувшихъ возжечь свѣтильникъ вѣры въ единого Бога и дать человѣчеству первую книгу для распознанія добра и зла...

— Не можетъ быть! — говоритъ еще разъ Саша, а мать объясняетъ ей, что репетиторъ уѣзжаетъ всего на нѣсколько дней,—онъ получилъ телеграмму...

— Это совсѣмъ другое!—говоритъ, весело смѣясь, Саша, и ему кажется, что весь міръ смѣется, и онъ уже не слышитъ, что ему говорятъ, не видитъ, что дѣлается кругомъ... Вертятся вокругъ него люди, мелькаютъ знакомыя лица... Онъ жметъ всѣмъ руки. . Петя и Сережа бросаются ему на шею... Глюкъ хочетъ облобызать его...

— Glück, ruhig!—говоритъ Феоктистъ Федосеевичъ и оттаскиваетъ пса за ошейникъ... Добрая Надежда Теодоровна, прощаясь съ репетиторомъ, креститъ его, какъ любящая мать...

Слишкомъ много народу собралось проводить Григорія Ивановича. Слишкомъ много шуму. Ни на минуту не можетъ онъ остаться съ Сашей наединѣ, чтобы сказать ей хоть одно слово... Уже на дворѣ, когда другіе возились съ собакой, ему удалось шепнуть ей:

— Прощайте,—возможно, что мы больше никогда не увидимся...

И ему показалось, что по ясному лицу Саши скользнула тѣнь, и ея смѣющіеся глаза какъ бы вздрогнули подъ густыми бровями... А

Пьеръ, подошедшій къ ней въ эту минуту и что-то спросившій, не получилъ отвѣта... Это хорошо! Такъ и надо!... Потомъ, когда Саша будетъ бродить, какъ тѣнь, не находя себѣ мѣста, и никто не будетъ знать, по комъ она тоскуетъ, этотъ „офицеришка“ почувствуетъ, пойметъ...

„Опять мечты? Опять красавица-царевна изъ сказочной страны Офиръ?..“— прерываетъ онъ свои мысли, быстро мчась на вокзалъ на горячихъ лошадяхъ Феоктиста Федосеевича.

Черезъ полчаса онъ уже ѣхалъ поѣздомъ, но не въ Т., какъ думали у Бардо-Брадовскихъ, а въ большой городъ „черты“ спасать своего друга, Гришу Попова.

ГЛАВА VI.

Гости.

Чѣмъ ближе подъѣзжалъ ребъ Мойша Рабиновичъ со своимъ старшимъ сыномъ къ большому городу, тѣмъ чаще слышались разговоры среди евреевъ о „несчастіи“, о бѣдномъ узникѣ дантистѣ, который сидитъ за чужіе грѣхи...

Отецъ и сынъ, все время державшіеся въ сторонѣ, забившись въ уголь, насторожились,—не услышатъ ли чего-нибудь интереснаго... Но изъ разговоровъ ничего нельзя было понять. Только и слышно было: „бѣд-

ный дантистъ“, „жалкій узник“, „несчастная жертва“... Имъ казалось, что о немъ говорятъ въ пренебрежительномъ тонѣ, что надъ нимъ смѣются, и было досадно, непонятно, надъ чѣмъ тутъ можно смѣяться...

Больше всѣхъ злилъ ихъ маленькій рыжій еврей съ толстыми губами, все время смѣявшійся,—даже слезы стояли у него въ глазахъ отъ смѣха.

— Нѣтъ, послушайте, — хоть поймали бы они нашего брата, подлиннаго еврея. А то на-те-ка, какой то дантистикъ, настоящій гой, не знающій ни слова по-еврейски, не умѣющій, что называется, алефа *) отличить отъ крестика!... Охъ, нѣтъ моихъ силъ больше... ха-ха-ха!

Отецъ съ сыномъ переглядываются: это объ ихъ-то Гершкѣ такъ говорятъ? Это ихъ-то Гершко ни слова не знаетъ по-еврейски, не умѣетъ алефа*) отличить отъ крестика?... Хорошо еще, что отецъ сидитъ тутъ же, а то могъ бы выйти скандалъ. Абрамъ Лейба—человѣкъ съ темпераментомъ. Онъ такъ и рвался каждую минуту къ этому рыжему еврею, но отецъ удерживалъ его за рукавъ: „сиди!“ И онъ, бѣдный, долженъ былъ сидѣть и выслушивать всякую болтовню, сплетни, вранье... Что подѣлаешь, — отца надо уважать!...

*) Первая буква еврейскаго алфавита.

Но вотъ уже, слава Богу, пріѣхали! Пассажиры кинулись къ своимъ вещамъ, евреи какъ-то странно подтянулись, начали вздыхать и волноваться, какъ наканунѣ экзамена, призыва или суда... Одни хватались за карманы, нащупывая паспорта, другіе поправляли манишки и шляпы, тщательно закладывая пейсы за уши, стараясь сдѣлать все возможное, чтобы не такъ бросался въ глаза „еврей“...

Только Рабиновичи не обнаруживали никакого волненія. Они ѣхали въ первый разъ. Слышать—слыхали, что изъ этого города евреевъ выселяютъ, устраиваютъ на нихъ облавы и отправляютъ на родину въ 24 часа. Но слышать и испытать на себѣ—двѣ вещи разныя... Рабиновичи въ числѣ первыхъ смѣло двинулись изъ вагона и сразу попали въ огромный потокъ большого города, чуть не оглохнувъ отъ шума, крика, толкотни и бѣготни... Имъ казалось, что они попали въ адъ...

— Куда же мы пойдѣмъ?—спросилъ отецъ, чувствуя, какъ его толкаютъ со всѣхъ сторонъ.

— Куда пойдѣмъ?—отвѣтилъ сынъ тѣми же словами и чуть не померъ со страху, ткнувшись лицомъ въ лошадиную морду...—Знаешь что, отецъ? чортъ съ ними,—давай возьмемъ извозчика и поѣдемъ.

— Куда?

— Давай прежде сядемъ, а тамъ уже видно будетъ...

— Можетъ быть, ты и правъ,— соглашается отецъ.

Но взять извозчика оказалось не такъ то просто. Людской потокъ давно уже оттѣснилъ ихъ далеко въ сторону, и они едва захватили послѣдняго извозчика. И вотъ, въ концѣ длиннаго ряда фаэтоновъ, омнибусовъ, каретъ и пролетокъ, на старыхъ погнутыхъ дрожкахъ съ высохшей старой клячей, потащились они съ вокзала, согнувшись и покачиваясь изъ стороны въ сторону. Не будь это въ большомъ блестящемъ городѣ, гдѣ еврей долженъ быть всегда при „правѣ-жительства“, они мѣгли бы смѣло подумать, что ѣдутъ въ еврейской повозкѣ. А взглянувъ извозчику въ лицо, они сразу увидѣли бы, что онъ еврей, а не русскій. Ребъ Мойшѣ Рабиновичу не пришлось бы коверкать чужого языка, а Абраму-Лейбѣ показывать свое глубокое знаніе русской грамматики. Послѣ получасовой тряски извозчикъ спросилъ пассажировъ по-русски, куда же они прикажутъ везти себя? Абрамъ Лейба отвѣтилъ, тоже по-русски, чтобы ѣхалъ прямо въ зубоврачебную школу. Извозчикъ, полуобернувшись, замѣтилъ, что „есть *два* зубоврачебныя школы“. Абрамъ-Лейба не выдержалъ и сейчасъ же поправилъ: *двѣ* зубоврачебныя школы, а не *два*, такъ какъ школа—женскаго рода. Тогда извозчикъ, въ первый разъ за все время ѣзды, обернулся къ сѣдокамъ лицомъ.

и они увидѣли,—о, Боже!—еврея, съ еврейскими глазами, съ еврейскимъ посомъ и курчавой бородкой! Только одѣтъ онъ былъ въ извозничье платье, въ русскій армякъ съ широкимъ кушакомъ и черную лакированную шляпу. Если бы не это, ему, право, скорѣе подошло бы быть шамесомъ (сторожемъ) у нихъ въ синагогѣ, чѣмъ извозчикомъ въ этомъ шумномъ русскомъ городѣ.

— Я почти увѣренъ,—сказалъ отецъ сыну, что нашъ извозчикъ еврей, а не русскій.

— Вотъ я съ нимъ заговорю, и мы увидимъ еврей онъ или нѣтъ,—отвѣтилъ сынъ. Но какъ заговорить? Спросить прямо: „Вы не изъ нашихъ?“—было бы грубо. А сказать: „Позвольте узнать вашу національность?“—будетъ слишкомъ вѣжливо для извозчика. Къ счастью, извозчикъ самъ пришелъ къ нему на помощь. Обернувшись къ сѣдокамъ, онъ сказалъ уже прямо по-еврейски:

— Еврей! Назовите мнѣ школу или улицу, чтобы я зналъ, куда повернуть, понимаете?

— Чтобъ вы здоровы были!—воскликнулъ ребъ Мойша Рабиновичъ, обрадовавшись, что извозчикъ еврей.—Вы, значить, изъ нашихъ? Что же вы молчали до сихъ поръ? Шоломъ алейхемъ! (Здравствуйте).

И онъ радостно пожалъ корявую засаленную руку извозчика, пахнувшую лошадыю и дегтемъ.

— Алейхемъ шоломъ! — Здравствуйте! — Здравствуйте! — отвѣчаетъ извозчикъ, усаживаясь въ полуоборотъ къ сѣдокамъ и сдвигая назадъ шляпу, изъ-подъ которой на лобъ упали черные кудрявые волосы... Завязывается бесѣда, — кто такіе, куда и откуда?

Поздороваться съ евреемъ, — пожалуй, отчего нѣтъ? Но пускаться съ извозчикомъ въ разговоры — это дудки!

— Вѣроятно, дѣльце? — говоритъ извозчикъ не для того, чтобы разузнать, а просто, такъ себѣ, чтобы завязать разговоръ.

— Можетъ, и дѣльце, — подтверждаютъ они.

— А можетъ къ доктору? — пробуетъ снова извозчикъ.

— Можетъ, и къ доктору, — отвѣчаютъ оба, полагая, что уже отдѣлались,

Но тотъ хочетъ знать, къ какому доктору и что за болѣзнь?

Сѣдоки видятъ, что отдѣлаться не такъ-то легко, и рѣшаютъ лучше рассказать всю правду. Къ чему мудрствовать? Вѣдь онъ еврей, такой же, какъ они, чего имъ бояться его? А кромѣ того, они, можетъ быть, узнаютъ у него что-нибудь? Вѣдь имъ даже неизвѣстно, въ какой школѣ ихъ Гершко учился и на какой улицѣ жилъ...

И вотъ подите же! Оказывается, этотъ извозчикъ (еврей не то, что русскій!) знаетъ не только всю „исторію“, но и самого Гершку и

хозяина съ хозяйкой, гдѣ онъ жилъ! Отлично знаетъ, вѣдь сколько разъ онъ возилъ ихъ,— у него въ бородѣ столько волосъ не найдется! Вотъ хотя бы предъ Пасхою, въ „подрядъ“ и обратно, кто ихъ возилъ, если не онъ на этой вотъ лошаdkѣ?

— Чтобъ вы здоровы были! — говоритъ старшій сѣдокъ.— Если такъ, то зачѣмъ намъ таскаться въ зубоврачебную! Вѣдь вы можете везти насъ прямо туда, гдѣ онъ жилъ.

Почему нѣтъ?.. Можно прямо туда. Это не далеко. Да-а... Я отлично знаю ихъ. Всѣхъ знаю. Шапиро его фамилія. Очень порядочный еврей, а въ особенности жена его, прекрасная женщина... И дочь у нихъ есть, прелесть что за дѣвушка,—такъ она теперь на дачѣ, дочьто... Да-а... Но объясните мнѣ, прошу васъ, евреи, вамъ лучше знать,—я простой извозчикъ, и въ моей головѣ что-то не укладывается вся эта исторія... Молодой человѣкъ, дантистъ, паничъ цѣлый, ни слова по-еврейски не знаетъ...

И оба сѣдока опять переглядываются, а старшій спрашиваетъ:

— Кто, говорите вы, ни слова по-еврейски не знаетъ?

— Да этотъ родственникъ вашъ, какъ онъ вамъ приходится? Племянникъ? Двоюродный братъ? Троюродный?.. Когда вы думаете, Богъ дастъ, ѣхать обратно? Не знаете еще? Ну, раз-

умѣется, откуда вамъ знать? Да-а... Когда поѣдете, потрудитесь сказать ей, мадамъ Шаниро,—она меня знаетъ. Сколько разъ возилъ ее въ больницу къ дочери. Здѣсь, на еврейской улицѣ, я большей частью и стою. Еврейскій извозчикъ долженъ стоять на еврейской улицѣ, какъ вы думаете? Да-а... А разговаривать-то со мною начали вы по русски! Кто я, думали вы? Русскій? Ха-ха-ха! Виновата, конечно, одежда... Приходится-таки нашему брату припрятать еврея, чтобы, не дай Богъ, не узнали его,—что подѣлаешь... Мы у нихъ, а не они у насъ, да... какъ сказано въ Писаніи... А вотъ и пріѣхали!

Въ добавленіе къ цѣлой горѣ несчастій, свалившихся бѣдной Сарѣ на голову, послалъ ей Господь гостей,—отца и брата квартиранта, ребѣ Мойшу Рабиновича съ старшимъ сыномъ.

Отецъ, высокій, худой, съ озабоченными глазами, глубоко сидящими подъ бѣлымъ морщинистымъ лбомъ,—человѣкъ слабый, болѣзненный... Часто вздыхаетъ, и каждый его вздохъ хватаетъ за душу... Говоритъ тихо, слабымъ голосомъ: „чтобъ вы здоровы были!“.. А сынъ Абрамъ-Лейба—красивый здоровый дѣтина съ меланхолическимъ видомъ, но довольно дерзкій. Отецъ боится его больше, чѣмъ онъ отца, или лучше сказать, оба они относятся другъ къ другу съ полнымъ уваженіемъ.

Прибыли гости къ Шапиро какъ разъ въ полдень, въ тотъ моментъ, когда Давидъ прибѣгаетъ домой чтобы наскоро позавтракать и бѣжитъ обратно въ магазинъ, — „проданный человѣкъ“...

Давидъ привыкъ послѣднее время къ тому, чтобы разные незнакомые люди, корреспонденты газетъ и просто посторонніе приходили къ нему и надоѣдали разговорами о квартирантѣ, несчастномъ дантистѣ, который влетѣлъ въ скверную исторію. Сначала Давидъ былъ доволенъ, что всѣ такъ интересуются его квартирантомъ и его, Давида, мнѣніемъ о „дѣлѣ“. Но потомъ это ему наскучило, и онъ чуть не гналъ посѣтителей изъ дому. Если бы не Сара, быть бы скандаламъ...

Такъ и теперь, когда пришли двое незнакомыхъ, Давидъ чуть не указалъ имъ на дверь.

— Шоломъ алейхемъ—здравствуйте!

— Здравствуйте, что хорошаго скажете?

— Здѣсь у васъ жилъ на квартирѣ...—начали пришедшіе, но хозяинъ сейчасъ же прервалъ ихъ:

— Дантистъ Рабиновичъ? Жиль, жиль. Но вамъ-то что? Вамъ зачѣмъ это знать? И кому отъ этого легче будетъ? Лѣзутъ тоже!... Сидѣли бы евреи смирно и ждали бы терпѣливо. Такъ нѣтъ же!

Послѣ такого приѣма оба гостя замолчали, не зная, что дѣлать. Сыну, повидимому, очень

хотѣлось отвѣтить, какъ слѣдуетъ, но отецъ потянулъ его за рукавъ, и онъ молча отодвинулся въ сторону.

Ребъ Мойша Рабиновичъ тихо и съ горькой улыбкой сказалъ хозяину:

— Чтобъ вы здоровы были! Почему бы вамъ лучше не спросить сначала, кто мы такіе и что здѣсь дѣлаемъ? Тогда бы вамъ быть можетъ, не пришлось читать намъ проповѣдь и портить себѣ кровь понапрасну.

— Совершенно вѣрно, — вмѣшалась Сара, которая все время стояла съ тарелкой рубленой селедки, заправленной свѣжимъ лукомъ, укусомъ и перцемъ. Вкусный острый запахъ разносился по всему дому, пріятно щекоча ноздри гостямъ и такъ сильно раздражая ихъ аппетитъ, что Абрамъ-Лейба проглотилъ слюньки... Въ самомъ дѣлѣ, отецъ правъ! Узнай раньше, кто и что, а потомъ уже показывай свой нравъ!

Въ другое время Сарѣ досталось бы отъ мужа за непрошенное вмѣшательство. Но теперь Давидъ самъ чувствовалъ себя немного виноватымъ и спросилъ покорныхъ гостей тономъ пониже:

— Кто же вы такіе? И откуда пріѣхали? И зачѣмъ позвольте узнать?...

Старикъ опустилъ немного голову и тихо, какъ бы стыдясь, проговорилъ:

— Дантисть Рабиновичъ—мой сынъ, а это его старшій братъ...

Теперь замолчали Шапиро. Съ тѣхъ поръ какъ квартирантъ поселился у нихъ, ни разу не слыхали они, чтобы у него былъ гдѣ-нибудь отецъ или братъ. Они знали только про тетку-милліонершу и про сестру Вѣру, — и вдругъ появляется отецъ съ братомъ! Отъ большій неожиданности Сара не знала, что ей дѣлать съ селедкой, — поставить ли ее на столъ или отнести обратно въ кухню. А Давидъ забылъ, что ему некогда, что онъ „проданный человѣкъ“ и, заморгавъ, сказалъ отцу квартиранта:

— Позвольте, что же я хотѣлъ спросить васъ? Да, такъ Рабиновичъ этотъ, значитъ, вашъ дантистъ, т. е., вашъ сынъ? А мы со-всѣмъ и не знали, не подозрѣвали даже, что у вашего дантиста, сына значитъ, есть отецъ...

— Чтобъ вы здоровы были! — прерываетъ его старикъ со своей горькой улыбкой: — у каждого сына есть отецъ...

— Ну, конечно, конечно! — Давидъ чувствуетъ, что краснѣетъ: — А то какъ же? Я не то хотѣлъ сказать. Я думалъ, понимаете ли...

— Ша, къ чему тутъ длинные разговоры! — опять вмѣшалась Сара, которая насилу догадалась поставить тарелку на столъ. — Скажите лучше, — обратилась она къ старику, — какъ васъ зовутъ?

— Меня какъ зовутъ?— говоритъ тотъ и смотритъ на сына.—Мое имя Мойша... Мойша Рабиновичъ.

— Ребъ Мойша Рабиновичъ,—поправляетъ сынъ съ достоинствомъ.

— Ну, да,—говоритъ Сара мужу.—Теперь понятно: вѣдь его такъ и звали Григорій Мойсеевичъ...

Старикъ опять опускаетъ глаза и произноситъ:

— Какъ вы сказали? Григорій Мойсеевичъ? Дома его зовутъ Гершко, а здѣсь онъ, безбожникъ, Григорій... Я дома Мойша, въ паспортѣ значусь „Мовша“, а здѣсь уже Мойсеевичъ... Вотъ они, теперешнія дѣти, не въ обиду имъ будь сказано!

Сара придвинула два стула.

— Садитесь, садитесь! Отчего же вы не присядете?—заторопился и Давидъ, точно онъ уже трижды просилъ гостей присѣсть, а тѣ не хотѣли.

Гости усѣлись и прежде всего стали спрашивать хозяевъ о Гершкѣ, какъ *это* случилось?... Откуда свалилась на нихъ такая кара Божія?... А заодно уже рассказали и о томъ, что они сами пережили, долго не получая отъ Гершки писемъ, какъ перевернули весь домъ вверхъ дномъ, какъ забрали ихъ и посадили въ кутузку, гдѣ продержали цѣлыхъ два дня... Только потомъ, когда ихъ выпустили, узнали

они изъ газетъ, что арестованный дантистъ не кто иной, какъ ихъ Гершко! Вотъ теперь и приѣхали они сюда спасать своего Гершку. Городъ большой, евреи богатые, можно сказать милліонеры, не стануть же они молчать, не допустять же, чтобы еврей сидѣлъ ни за что ни про что, изъ-за такой глупости, клеветы?

— Въ наше время прогресса и цивилизаціи!—поддерживаетъ Абрамъ-Лейба.

— Я вамъ говорю, слышите ли, что все это пустяки!—перебиваетъ его Давидъ: —Вотъ и меня тоже засадили и прицѣпили къ дѣлу, да ничего не вышло. Пустяки, смѣхота одна!...

Давидъ Шапиро не упускаетъ случая рассказать про себя, какъ онъ держался съ самаго начала, съ момента ареста и до сего дня. Не забылъ онъ упомянуть подробно обо всѣхъ обыскахъ и арестахъ, о томъ, сколько разъ его, Давида, таскали къ слѣдователю, что его спрашивали и что онъ отвѣчалъ, и какъ онъ имъ всѣмъ тамъ задалъ,—чего ему бояться? Невиновенъ—и все тутъ! По его мнѣнію вся эта исторія не стоитъ и вотъ чего (показываетъ кончикъ пальца). Подержать еще немного да и отпустить на всѣ четыре стороны...

— Дай Богъ, —вставляетъ Сара.—А пока что онъ, бѣдный, сидитъ да сидитъ, живой души къ нему не пускаютъ.. Нельзя ни обѣда передать, ни письма написать, ни папирось

послать... И за что суждено человѣку на этомъ свѣтѣ жариться въ аду?!

Сара вытираетъ слезы, отецъ отвернулся въ одну сторону и сынъ въ другую... Затѣмъ они оба снова спрашиваютъ, какъ *это* случилось? Откуда взялось? Давидъ и Сара Шапиро наперебой еще и еще разъ рассказываютъ всю исторію сначала... Какъ пасынокъ сосѣда дружилъ съ Семкой, ихъ сынишкой,—чудный ребенокъ, сейчасъ долженъ изъ гимназіи прійти обѣдать... Какъ Рабиновичъ, репетировавшій Семку, сталъ заниматься и съ пасынкомъ сосѣда не изъ за денегъ,—зачѣмъ ему деньги?—а по просьбѣ Семки и Бети, ихъ дочери,—ахъ, что за дѣвушка, жаль, что они не увидятъ, она живетъ теперь на дачѣ...

— Чтобъ вы здоровы были!—прерываетъ рассказъ старикъ:—вы говорите, что сыну моему деньги не нужны и что училъ онъ только изъ добрыхъ побужденій. А гдѣ же тѣ два богатыхъ дома, въ которыхъ у него были хорошіе уроки?

— Какіе дома? Что за уроки?—удивляется Давидъ и снова возвращается къ рассказу.

А гости съ недоумѣніемъ переглядываются... Что тутъ творится? По дорогѣ сюда они слышали дикіе разговоры о Гершкѣ, который будто бы не умѣетъ отличить алефа отъ крестика... Теперь здѣсь говорятъ, будто у него

не было никакихъ уроковъ,—сойти съ ума можно!... Но Давида, разъ онъ вошелъ въ свою роль, не такъ-то легко остановить.

— Не довольно ли?—вдругъ самъ себя прервалъ Давидъ.—Миѣ надо итти, я, понимаете ли, проданный человѣкъ, служащій... Почему ты, Сара, не попросишь гостей къ столу, они навѣрно, голодны... На пустой желудокъ, говорятъ, не наплящешься. Что, не такъ развѣ?

— Конечно, такъ. Только вотъ что. У васъ вѣдь не гостиница, чтобъ вы здоровы были!—говоритъ отецъ и смотритъ на сына,—принять приглашеніе или нѣтъ?

— Вѣдь мы пріѣхали сюда по дѣлу,—добавляетъ сынъ, не трогаясь съ мѣста, — знакъ, что онъ согласенъ остаться.

— Не безпокойтесь!—говоритъ Сара, ставя тарелки на столъ.—Вы насъ совсѣмъ не стѣсните. Селедка приготовлена, обѣдъ варится. Гдѣ ѣдятъ двое, могутъ поѣсть и четверо... Иди, Давидъ, руки мыть и гостей зови.

— Будьте любезны,—обращается къ нимъ Давидъ, указывая на кружку, и, какъ хозяинъ, по обычаю моетъ руки первый.—Будьте же любезны, безъ всякихъ тамъ...

— Чтобъ вы здоровы были!—медлитъ отецъ, встаетъ и все еще смотритъ на сына.—Вѣдь мы даже какъ слѣдуетъ и не знакомы другъ съ другомъ. Мы даже не знаемъ, кто вы и какъ ваше имя?

— Пустяки,—говорить хозяинъ и наскоро бормочетъ предобѣденную молитву, дѣлая знакъ женѣ, чтобы та, не дай Богъ, не пользовалась моментомъ, когда ему нельзя разговаривать, и не сказала бы чего-нибудь такого, что онъ самъ хотѣлъ сказать... „Амейце“, первый кусокъ хлѣба, съ молитвою проглотей, и Давидъ весело продолжаетъ.—Пустяки! Теперь мы уже знаемъ очень хорошо, кто вы. Сынъ вашъ былъ у насъ не только квартирантомъ, но и другомъ, больше, чѣмъ другомъ—своимъ человѣкомъ, который для всѣхъ насъ дорогъ, что тутъ говорить... А мы кто, - вы тоже скоро узнаете. Скажу вамъ только одно слово: Славута! Слыхали вы когда-нибудь о Славутѣ?—и Давидъ съ гордостью смотритъ на гостей.

— Чтобъ вы здоровы были!—говоритъ отецъ, разжевывая „амейце“ съ солью:—Какой же еврей не знаетъ Славуту?

А сынъ, еще не кончившій умыванья только сочувственно мычить:

— Угу!... о-о... у-у...—Извѣстно, молъ,—Славута!...

Хотя гостямъ было совсѣмъ не до того, чтобы слушать рассказы хозяина объ его знатномъ происхожденіи, — душой они были съ своимъ несчастнымъ Гершкой,—но разъ сидишь за чужимъ столомъ—вѣжливость прежде всего.

— Такъ вы славутскій?—спрашиваетъ Рабиновичъ-отецъ и вмѣстѣ съ сыномъ такъ смотритъ на Шапиро, точно это имѣетъ самое близкое отношеніе къ тому дѣлу, по которому они пріѣхали.

Давидъ смѣется, какъ человѣкъ, собирающійся поразить міръ своимъ сообщеніемъ, и только не знающій, съ чего начать.

Слыхали вы когда нибудь о Шапиро? Думаю, что слыхали...—Давидъ наскоро проглатываетъ кусокъ, стряхиваетъ крошки съ бороды и выпаливаетъ сразу (къ чему мучить людей!):—Словомъ, я изъ настоящихъ, изъ славутскихъ Шапиро!...—И Давидъ смотритъ, какое впечатлѣніе произвело на гостей имя Шапиро.

Оно могло бы произвести большее впечатлѣніе, чѣмъ произвело, можетъ быть, даже именно такое, на которое рассчитывалъ Давидъ, если бы не вмѣшалась Сара,—баба всегда останется бабой! Сара, подавая обѣдъ, задалась одной цѣлью,—узнать, почему это съ тѣхъ поръ какъ случилось несчастье, отъ тетки нѣтъ ни слуху ни духу? Племянникъ сидитъ и еще, не дай Богъ, сколько будетъ сидѣть, а ей хоть бы что!...

— Я совсѣмъ не понимаю, что это за тетка? Простите, что я такъ откровенно говорю,—она вѣрно не изъ мяса и крови, а изъ камня и желѣза!...

Все время, пока Сара говорить, отецъ съ сыномъ переглядываются. А когда она кончила, ребѣ Мойша Рабиновичъ, переставъ жевать, спросилъ:

— Чтобъ вы здоровы были! О какой это теткѣ вы говорите?

— Какъ такъ о какой о теткѣ?—удивляется Сара.—Разумѣется, о богатой теткѣ, милліонершѣ, вдовѣ...

— Какая богатая тетка? Да еще милліонерша? Какая вдова? — недоумѣваетъ отецъ и смотреть на сына. А сынъ, съ своей стороны, смотреть на отца:

— Что за чепуха? Что за сонъ?

Вотъ это-то и произвело такой эффектъ, что Давидъ забылъ о своемъ знатномъ происхожденіи и только съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на жену.

— Что такое?!—говорить Сара еще разъ, уже тономъ выше.—Что это значитъ? У вашего сына нѣтъ тетки милліонерши, бездѣтной, у которой онъ черезъ сто двадцать лѣтъ будетъ единственнымъ наслѣдникомъ?

Отецъ и сынъ даже вилки положили.

— Ничего подобнаго!—воскликаетъ отецъ, а сынъ прибавляетъ:

— Ничего похожаго на правду!

— И не было никогда?—спрашиваетъ Сара, стѣсняясь смотрѣть мужу въ глаза.

— Чтобъ вы здоровы были! Что значитъ, не

было никогда? У него и теперь есть тетка, двѣ тетки, три тетки, много тетокъ, но всѣ онѣ бѣдныя, даже можно сказать, что нищія, и ни одной миллионерши...

— Кто это выдумалъ вамъ такую басню? — добавляетъ сынъ.

— Да самъ онѣ, вашъ братъ, — отвѣчаетъ Сара, очень взволнованная этой исторіей.

— Вотъ такъ-таки этими словами: „тетка-миллионерша“ онѣ вамъ и говорилъ? — спрашиваетъ у нея еще разъ Абрамъ-Лейба. Тутъ уже Сара начинаетъ сердиться:

— Что вы меня допрашиваете, точно судебный слѣдователь: какъ, да какими словами онѣ мнѣ говорилъ! Вы сами хорошо знаете, что не такими словами, какъ ваши, такъ какъ вашъ братъ не говоритъ по-еврейски...

— На какомъ же языкѣ говоритъ мой братъ? — спрашиваетъ Абрамъ-Лейба и смотритъ на отца.

— Что же тутъ стѣсняться? — вмѣшивается хозяинъ. — Теперь вѣдь много у насъ такой молодежи. Не одинъ сынъ вашъ не понимаетъ ни слова по-еврейски...

— Мой Гершко ни слова не понимаетъ по-еврейски? — удивляется отецъ, не спуская глазъ съ сына.

— Кто это сказалъ вамъ такую отъявленную ложь? — поддерживаетъ Абрамъ-Лейба.

— Ложь? Да самъ онѣ, вашъ братъ, ска-

заль! Теперь вы знаете?—отвѣчаетъ Сара со злостью, готовая разорвать на части этого молодого человѣка, котораго она не влюбила съ первой минуты.—Или вы думаете, что васъ обманываютъ? Такъ знайте, что мы не лгуны!

На это ей Абрамъ-Лейба ничего не отвѣтилъ. Отвѣтилъ самъ старикъ Рабиновичъ.

— Чтобъ вы здоровы были!—сказалъ онъ, взявшись за боковой карманъ, и вытащилъ оттуда толстый бумажникъ.—Человѣкъ, ни слова не понимающій по-еврейски, не можетъ писать такихъ писемъ... Жаль, что не могу показать вамъ, какъ онъ пишетъ по-древне-еврейски. Былъ у насъ обыскъ, такъ опустошили мой бумажникъ, забрали лучшія его письма, древне-еврейскія письма...

Сара и Давидъ глазамъ своимъ не вѣрятъ: Что это? Сонъ? Чародѣйство?... Но долгъ гостепріимства прежде всего.

— Отчего же вы не кушаете?—обращается къ нимъ хозяинъ съ кислой миной, а хозяйка прибавляетъ:

— Кушайте, кушайте. Одно другого не касается...

Но старикъ Рабиновичъ, задѣтый за живое тѣмъ, что его Гершку подозреваютъ въ незнаніи еврейскаго, не унимался... Хорошая исторія! Послушали бы они, какъ его Гершко молится по усопшей матери въ годовщину смерти ея или какъ его Гершко произноситъ мо-

литву въ синагогѣ, когда прїѣзжаетъ на праздники домой, или какъ его Гершко читаетъ агаду за пасхальной трапезой...

— Агаду за пасхальной трапезой?!—спрашиваетъ Давидъ, чуть не поперхнувшись и однимъ смѣющимся глазомъ глядя на жену. А Сара даже не притронулась къ обѣду. У нея не выходила изъ головы тетка-милліонерша. Такъ, значить, квартирантъ, котораго она такъ высоко ставила—простой лгунъ?.. Боже мой! Зачѣмъ ему было сочинить такую странную ложь? Ладно вотъ мы сейчасъ все узнаемъ,—говорить она себѣ и обращается къ отцу (съ сыномъ она не хочетъ говорить):

— Не было развѣ у васъ шурина, котораго звали Абрамомъ и отца его тоже Абрамомъ? Абрама Абрамыча?

— Чтобъ вы здоровы были!—отвѣчаетъ старикъ:—какъ это возможно, чтобы у евреевъ отецъ и сынъ носили одно и то же имя?

— Это у русскихъ бываетъ,—поддакиваетъ сынъ,—отецъ Иванъ и сынъ тоже Иванъ.

— Это и безъ васъ знаютъ,—обрываетъ Сара, даже не глядя на него: она разговариваетъ съ отцомъ.

— Скажите же мнѣ, прошу васъ, еще одно: сколько у васъ дѣтей?

— Тебѣ то что?—взволнованно набрасывается на нее Давидъ:—ты судебный слѣдователь, что ли?

— Не волнуйся, стало быть, мнѣ нужно, если спрашиваю,—отмахивается отъ него Сара, держа свое на умѣ, и продолжаетъ:—Я хотѣла бы только знать, есть ли у васъ дочь Вѣра?

— Дочь Вѣра? Гм... У меня двѣ дочери, чтобъ вы здоровы были, но обѣ онѣ носятъ еврейскія, а не христіанскія имена.. Одна Шифра, она—слава Богу, небогата, и другая, Сара-Лія, тоже порядкомъ бѣдствуетъ и къ тому же, не про васъ будь сказано, больна, нужна ей „реперація“, какъ человѣку нуженъ свѣтъ и воздухъ...

Сара совсѣмъ теряется... Выходитъ, что онъ не только лгунъ, но и негодяй, такъ какъ, если сестры Вѣры у него нѣтъ, то кто же такая „Вѣра П.“? Или у него была когда-то сестра и умерла?.. Еще тлѣетъ у Сары искра надежды, и она снова спрашиваетъ старика:

— Значитъ, у васъ никогда и не было дочери, которую звали Вѣра или Двойра?

— Сара! Будетъ когда-нибудь этому конецъ или нѣтъ?—набрасывается на нее съ крикомъ Давидъ.—Видали вы, чтобы женщина столько позволяла себѣ! Велика разница,—Вѣра или Двойра, Сося или Двося! Дай лучше воды и мы помолимся. Ты знаешь, я проданный человѣкъ, мнѣ надо итти...

Глубоко вздохнувъ, встаетъ Сара изъ-за стола, подаетъ воды и думаетъ: Хорошо еще, что Бети нѣтъ здѣсь..

Давидъ смачиваетъ кончики пальцевъ и придвигаетъ воду гостямъ:

— „Итакъ, помолимся!“

Оба гостя, покачиваясь, подхватываютъ слова молитвы:

„Да будетъ благословенно имя Господне отнынѣ и во вѣки вѣковъ!“

Каждый молится на свой манеръ. Хозяинъ такъ спѣшитъ, что за нимъ не угнаться. Рабиновичъ-отецъ, наоборотъ, произноситъ отчетливо, медленно каждое слово, какъ отсчитываютъ горошины или нанизываютъ жемчугъ. А сынъ его что-то шепчетъ себѣ подъ носъ, то ли молится, то ли напѣваетъ... Всѣ трое смотрятъ другъ на друга, ковыряя въ зубахъ, и каждый думаетъ свою думу...

ГЛАВА VII.

Н а н о ч л е г ѣ .

Если вы думаете, что ребъ Мойша Рабиновичъ пріѣхалъ спасать сына съ пустыми руками, то глубоко ошибаетесь. Правда, большихъ капиталовъ онъ съ собою не привезъ. Былъ счастливъ, что досталъ на дорогу. Но немного помогли хорошіе друзья, да немного самъ онъ досталъ: заложилъ часы старшаго сына, хорошіе золотые часы съ двумя крышками 56-ой пробы. Положимъ, Абрамъ-Лейба не осбенно былъ доволенъ этимъ, и не охот-

но разстался съ подаркомъ, который онъ получилъ еще будучи женихомъ отъ своей невѣсты. Но видя, какое участіе въ нихъ принимаетъ весь городъ, онъ самъ снялъ съ себя часы и цѣпочку (последняя была уже не изъ чистаго золота, а только позолоченная).

Но зато они привезли съ собою рекомендацію, которую могъ достать только такой почтенный человѣкъ и хорошій еврей, какъ ребъ Мойша Рабиновичъ,—никто въ городѣ не скажетъ про него ничего плохого. Это было письмо отъ ихъ мѣстнаго раввина къ раввину большого города, написанное въ очень красивой образной формѣ великолѣпнымъ почеркомъ и къ тому же по древне-еврейски. Трудно даже повѣрить, чтобы раввинъ такого маленькаго города могъ такъ красиво писать!

Прежде всего онъ шлетъ сотни и тысячи добрыхъ пожеланій своему высокому коллегѣ и тѣмъ евреямъ, что живутъ въ большомъ городѣ, и тѣмъ, что разсѣяны по всему свѣту.

Затѣмъ онъ извиняется, что такой маленькій человѣкъ, какъ онъ, можно сказать, червь ничтожный, осмѣливается обратиться къ такому колоссу, твердынѣ, столпу, на которомъ зиждется все зданіе Израильское... Но дѣло касается всего еврейства, что и даетъ ему силу и смѣлость и т. д. И только послѣ такого вступленія онъ переходитъ къ существу

дѣла и рисуеть яркими красками муки и несчастія, претерпѣваемыя евреями съ тѣхъ поръ, какъ они стали народомъ и до сего дня... Нѣтъ, то было не письмо, а цѣлое море пламенныхъ образовъ, настоящей шедевръ на трехъ листахъ бумаги. Камни—и тѣ онъ могъ бы тронуть... А лучше всего былъ конецъ посланія:

„Стучитесь въ двери къ нашимъ великимъ и сильнымъ! Пробуждайте въ нихъ состраданіе! Израиль не безъ богатыхъ людей съ добрыми сердцами! Заключенныхъ освобождайте и съ узниковъ снимите оковы! Сбросьте позоръ съ нашего народа, и да сомкнутся уста враговъ нашихъ! Аминь!“

Да, это было письмо!... Но прежде чѣмъ взяться за дѣло, приходилось подумать о квартирѣ, и Рабиновичи вмѣстѣ съ Давидомъ Шапиро пустились искать ночлегъ. Однако, это было не такъ-то легко, какъ казалось. Во всѣхъ домахъ, которые указывалъ имъ Шапиро, документы съ нихъ спрашивали еще раньше, чѣмъ они успѣвали переступить порогъ. А документа то какъ разъ и не было ни у отца ни у сына. Не только такого, что придуманъ спеціально для евреевъ и называется „правомъ жительства“, но и простого паспорта, „чернымъ по бѣлому“, что долженъ имѣть при себѣ каждый человѣкъ, когда выѣзжаетъ изъ дома. Плохо,—что дѣлать? Оставалось или ночевать на улицѣ или

повернуть оглобли и махнуть обратно домой...

Но среди евреевъ не пропадешь. Нашелся добрый человѣкъ, бѣднякъ (бѣдняки всегда отзывчивѣе), предложившій имъ свою квартиру, свою постель, столъ и все прочее и не взявшій за это ни гроша денегъ... У него-де не заѣзжій домъ, профессія его совсѣмъ иная.. Ребъ Давидъ Шапиро знаетъ его,—онъ вертится около биржи, иногда такъ, иногда этакъ,—перебивается...

Это былъ не кто иной, какъ маклеръ Кацъ или Кецеле, поймавшій Рабиновичей на улицѣ, когда они стояли и бесѣдовали. Давидъ былъ тутъ же и распекалъ своихъ гостей: не понимаетъ онъ, никакъ понять не можетъ, хоть голову ему снимите, какъ это взрослые люди, съ бородами, выѣзжаютъ безъ всякихъ документовъ—и куда? Въ такой городъ, гдѣ евреямъ жить не дозволено!

Рабиновичи и сами чувствовали, что это съ ихъ стороны глупо, но все же пробовали оправдываться... Они были такъ убиты, что надо удивляться, какъ они самихъ себя не забыли, не только что бумаги... Шутка ли, что было при отъѣздѣ! Весь городъ поднялся! Не дай Богъ, что творилось!

— Творилось! Тысячу разъ творилось, а все же еврей долженъ помнить, что есть законъ и есть „права“...

Въ этотъ моментъ точно изъ земли выросъ Кецеле:

— Что такое? О чемъ это вы? А это кто? Не здѣшніе? Откуда? Здравствуйте! Шоломъ алейхемъ! Алейхемъ шоломъ!

Въ другое время Кецеле досталось бы отъ Шапиро. Идешь мимо, такъ проходи себѣ съ Богомъ и не суйся, куда не слѣдь. Но на этотъ разъ, въ сердцахъ на гостей, онъ даже радъ былъ, что Кецеле подвернулся. Пусть узнаетъ, что за дикіе люди есть на свѣтѣ... Ни о законѣ ни о „правахъ“ ничего знать не хотятъ! Воображаютъ, что весь міръ это они, что для нихъ все приготовлено, и гостиницы съ „правомъ-жительства“, и то, и се...

Давидъ такъ сильно жестикулировалъ, что задѣлъ Кецеле по носу, разумѣется, нечаянно,—кто же виновать, что у него такія короткія ноги, что носъ приходится не выше руки? Кецеле чуть-чуть отодвинулся въ сторону и сказалъ:

— Уже? Кончили? Если да, то и я могу сказать слово? Или нѣтъ?

— Кто же говоритъ, что нѣтъ? Хоть двадцать тысячъ словъ! Но главное покороче, мнѣ некогда, я проданный человѣкъ. .

Давидъ совсѣмъ не ожидалъ, что такъ легко избавится отъ непріятныхъ гостей. Подите, отгадайте, что Кецеле, бѣднякъ, почти нищій,

бѣгающій занять грешницу, вдругъ сдѣлается гостепріимнымъ!

— Очень хорошо!— говоритъ Шапиро.— А что слышно на счетъ того, что кусается?

— Что кусается?— наивно спрашиваетъ Кецеле.— На счетъ клоповъ, вы думаете, что ли?

— Какіе тамъ клопы!— машетъ Давидъ обѣими руками.— Скажетъ тоже слово! О полиціи я говорю, а не о клопахъ! Не дай Богъ, облава? Вѣдь у нихъ нѣтъ никакихъ бумагъ! Никакихъ документовъ! Поняли?

Кецеле разсмѣялся... Хе-хе-хе, есть о чемъ говорить! Полиція! Облава! Пф!.. Уже восемь лѣтъ, не сглазить бы, живетъ онъ здѣсь съ женою, дѣтьми и тещею безъ всякихъ „правозительствъ“—и ничего! Если все время бояться такихъ вещей, то что же это была за жизнь?

— Ладно, ладно!— говоритъ Шапиро. А гостямъ онъ напоминаетъ:

— Не забудьте же, заходите. Намъ есть еще о чемъ поговорить.. У васъ что то, простите меня, не все въ порядкѣ, что-то слишкомъ запутано...

Шапиро показываетъ руками, какъ у нихъ запутано.

— Чтобъ вы здоровы были!— отвѣчаетъ ему ребъ Мойша Рабиновичъ съ искреннимъ удивленіемъ.— У насъ, кажется, все такъ просто, что проще и быть не можетъ...

И онъ показываетъ руками. какъ все у нихъ просто.

— Это у васъ, можетъ быть, все запутано, — прибавляетъ дерзко Абрамъ-Лейба.

Дерзкій человѣкъ!—говоритъ про себя Шапиро, когда гости съ Кецеле были уже далеко... Совсѣмъ не похожъ на брата... А отецъ? Никогда въ жизни я бы не сказалъ, что у нашего квартиранта такой отецъ! И вообще откуда онъ взялся у него? Нѣтъ ли во всемъ этомъ чего-нибудь похожего на шантажъ?...

Мысль о шантажѣ приходила Давиду еще дома, но жена мѣшала ему хорошенько разобратъся... Охъ, эта баба!... Теперь ему вдругъ захотѣлось вернуться, нагнать Кецеле съ гостями и поговорить съ ними начистоту: „Скажите-ка, любезные, вы не просто ли жулики, развѣзжающіе по бѣлу свѣту и обманнымъ путемъ добывающіе деньги якобы для спасенія несчастнаго узника? Видали мы такихъ!“ Но скоро онъ раздумалъ... Чего ему, собственно, торопиться? Надъ нимъ не каплетъ. Не убѣгутъ они до завтра...

И Давидъ быстро шагаетъ, двигая плечами и руками и крутя палкой въ воздухѣ, какъ мельницей.

Прихвастнулъ-таки немного Кецеле передъ своими гостями,—квартира-де у него хорошая, и все налажено отлично... Но зачѣмъ ему въ

сущности хвастать? Развѣ хочетъ онъ отъ нихъ денегъ или чего? Видить,—маются бѣдные евреи, негдѣ имъ ночь переночевать, почему же не позвать ихъ къ себѣ? Развѣ самъ онъ не еврей? Тѣмъ болѣе, что ихъ постигло такое несчастье, если хотите, общее еврейское несчастье...

Правда, онъ не богатъ, даже не зажиточенъ,—къ чему врать? Богачи, конечно, живутъ куда лучше! Куропатокъ у него не ѣдятъ и шампанскаго, хе-хе-хе, за столомъ не пьютъ. Но хлѣбъ, слава Богу, есть, а если прибавить кусочекъ мяса, такъ и совсѣмъ хорошо,—чего еще надо?

Кецеле останавливается, переводитъ дыханіе и шагаетъ, а гости за нимъ.

Главное, дома у него, слава Богу, спокойно дѣти прекрасныя, жена не глупая, можно сказать, умная женщина,—есть съ кѣмъ поговорить, вся въ мать... И теща, хорошая старушка, тоже живетъ у него. Когда-то она была красавицей, богатой, собственный домъ имѣла, серебра, жемчугъ даже, лошади свои были, цѣлая тройка, съ каретою, кучеръ спереди, кучеръ сзади,—шикъ!...

Кецеле самъ чувствуетъ, что перехватилъ. Зачѣмъ ему эту надо было, одному Богу извѣстно. Но можно быть увѣреннымъ, что дурной мысли при этомъ у него не было, а похвастать передъ чужимъ человѣкомъ всякій

не прочь. А можетъ быть немного виновата была профессія: маклеръ, у биржи трется... Возможно также, что была у него задняя мысль,—какъ знать?... Пріѣхали люди по та дѣлу, о которомъ весь міръ говоритъ, и хотя на богачей они не похожи, но вѣдь у сына-дантиста есть богатая тетка, милліонерша, говорятъ: вѣроятно, и она скоро пріѣдетъ. Можетъ быть,—чѣмъ чертъ не шутить!—изъ этого выйдетъ дѣльце... Какимъ образомъ,— не спрашивайте. Бывали такіе случаи: пріѣдетъ человѣкъ Богъ вѣсть откуда, явится на биржу, поговоритъ съ тѣмъ, съ другимъ, о томъ, о семъ, перейдетъ на дома и купитъ себѣ домъ,— а маклерамъ заработокъ! Не хорошо только, что онъ слишкомъ расхвалилъ свою квартиру и хозяйство,—вѣдь сейчасъ увидятъ, Зачѣмъ ему надо было выдумывать небылицы? Языкъ, что лошадь, — отпустишь узду, и занесетъ, чертъ знаетъ куда!...

Кецеле вытираетъ полый вспотѣвшій лобъ и внимательно смотритъ на гостей. Но по ихъ глазамъ не видно, чтобы они думали про него что-нибудь плохое. Наоборотъ, все, что онъ говоритъ, для нихъ, повидимому, свято... Провинціальныя еврейчики,—думаетъ онъ: откуда взялся у нихъ этотъ дантистъ? Вѣроятно, не у нихъ выросъ, а у тетки-милліонерши?... Надо будетъ спросить...

Кецеле виѣ себя отъ радости, что угадалъ:

Рабиновичъ дѣйствительно выросъ внѣ дома, у чужихъ. И Кецеле уже снова доволенъ собою, становится еще болѣе разговорчивымъ и пытается узнать, какъ обстоитъ дѣло съ невѣстою. Но оказывается, что тѣ и понятія объ этомъ не имѣютъ.

— Какая невѣста? — спрашиваютъ оба въ одинъ голосъ.

Кецеле догадывается, что Шапиро скрыли отъ нихъ эту исторію. Если такъ, то вѣдь это нехорошо! Раньше они всѣмъ хвастали, что дочь и дантистъ—женихъ и невѣста, а теперь, когда его засадили, они молчатъ. Фи, некрасиво! Право же, некрасиво! Даже со всѣмъ нехорошо, если хотите! Надо вывести ихъ на чистую воду. Пусть не двуличничаютъ! И Кецеле рассказываетъ гостямъ цѣлую исторію о томъ, какъ эти Шапиро (очень хорошіе люди, онъ ничего плохого о нихъ не говоритъ,—врагъ онъ имъ что-ли? Но разъ къ слову пришлось...) словомъ, онъ рассказалъ, какъ эти Шапиро все время ловили своего квартиранта, какъ ловятъ хорошую рыбу,— хотѣли женить его на дочери... Ничего не скажешь, — очень красивая дѣвушка и образованная, даже слишкомъ ужъ образованная...

Кецеле украдкой взглядываетъ на слушателей и продолжаетъ: „Говорятъ даже, что на квартиру-то они сами, т.-е., отецъ и мать съ дочерью, заманили его разными хитростями...

Но, видно, не наладилось дѣло-то... Парень понималъ,—не глупъ, видно,—что дѣвушка-то она красивая, хе-хе-хе, но красота это еще не все... да, если правду сказать,—чего ему торопиться? Такой, какъ онъ, никогда не опоздаетъ. Но, можетъ быть, онъ, хе-хе-хе,—дурного я ничего не думаю.. можетъ быть, онъ поцѣловалъ ее впотымахъ разъ, другой,—дѣвица-то больно хороша, хе-хе-хе...“

— Осторожнѣе,—говорить Кецеле гостямъ, спускаясь съ ними въ низкій погребъ по поломаннымъ деревяннымъ ступенькамъ:—здѣсь совсѣмъ темно, да еще скользко, чертъ бы ихъ побралъ! Никогда они здѣсь лампы не зажгутъ! Боятся будто бы пожара, а на самомъ дѣлѣ просто керосину жалко на три гроша, чтобъ имъ!... Когда нѣсколько квартирантовъ сидятъ въ одной дырѣ, что ужъ можетъ быть хорошаго? Одинъ валить на другого, тотъ на третьяго и всѣ страдаютъ... Ша! Что за крикъ? Тише! Тише! Бросьте ваши бабьи дѣла! Видите, люди идутъ!...

Послѣднее относилось уже не къ гостямъ, а къ тремъ женщинамъ, изъ которыхъ одна, несчастная на видъ, была жена Кецеле, другая, похожая на старую вѣдьму, въ черномъ платкѣ, изъ-подъ котораго торчали растрепанные сѣдые волосы, приходилась Кецеле тещей, а третья, съ птичьей физиономіей и испорченными зубами, злая и вспыльчивая, была сосѣдка.

Судя по горячему спору и громкимъ крикамъ, дѣло шло у нихъ къ дракѣ, хотя весь споръ начался всего изъ-за кусочка жареной печенки, который, вѣроятно, стащила кошка. Но сосѣдка съ птичьимъ лицомъ увѣряла, что печенку стащила не кошка, а *эти котята*,— и указывала на трехъ маленькихъ полунагихъ ребятъ Кецеле, которые, какъ мышата, выглядывали изъ-за печки, и, заложивъ ручки назадъ, весело смотрѣли на происходившее. Больше всего имъ нравилось, что вѣдьма-бабушка, которая ругаетъ, бьетъ и сѣчетъ ихъ по десяти разъ на день, неожиданно заступилась за нихъ... „Такихъ золотыхъ дѣтей, какъ ея внуки, поискать — не найдешь... Не дѣти, а прямо ангелы! Да какъ можно подумать про нихъ такое, не только что сказать?!..“

Когда показался Кецеле съ гостями, старуха накрылась чернымъ платкомъ, жена Кецеле вытерла пересохшія губы, а сосѣдка съ птичьимъ лицомъ въ ту же секунду исчезла...

— Идите сюда, чертенята,—скомандоваль Кецеле дѣтямъ,—поздоровайтесь съ гостями, вамъ по копейкѣ дадутъ.

Но чертенята готовы были отказаться отъ копеекъ, лишь бы не подходить къ гостямъ. Они стѣснялись, вѣроятно, потому что не были одѣты, и, переглянувшись, всѣ трое расхохотались...

— Никакого уваженія къ чужимъ людямъ,

чтобъ васъ!.. Погодите, погодите, уже я задамъ вамъ!—пообѣщаль отецъ и, отозвавъ въ сторону жену съ тещей, о чемъ-то пошептался съ ними. Потомъ онъ спросилъ гостей:

— Что вы думаете дѣлать прежде всего? Конечно, отдохнуть? Устали вѣдь съ дороги?... Можетъ быть, приляжете здѣсь на диванѣ? Или, постойте,—на кровати? Эсѡирь, я предложу имъ пока твою кровать. На ночь мы уже придумаемъ что-нибудь другое этакое...

Какъ можно, имѣя жену, тещу, троихъ дѣтей и всего-на-всего одну кровать съ диванчикомъ, приглашать къ себѣ двухъ человѣкъ ночевать,—объ этомъ гости и не подумали. Во-первыхъ, они были довольны, что нашли въ этомъ „опасномъ“ городѣ хоть уголокъ, гдѣ можно голову приклонить. А во-вторыхъ, они были вообще не изъ требовательныхъ. Да и пріѣхали-то они сюда вовсе не ради удовольствія,

Къ Кецеле гости пришли сердитые. Сердились на Шапиро, наговорившаго объ ихъ Гершкѣ такихъ дикостей, что съ ума можно сойти... И тетка у него какая-то милліонерша, и сестра Вѣра, и по еврейски-де онъ не знаетъ ни слова,—ха-ха-ха, не будь имъ такъ грустно, было бы надъ чѣмъ посмѣяться! А больше всего запали имъ въ голову слова этого маленькаго человѣчка о Гершкиной невѣстѣ.. Что это за невѣста?... Заманить Гершку... Цѣ-

ловаться впопыхахъ... фи. гадость!... Теперь все понятно... Хорошъ гусь этотъ Шапиро, хоть и хвастаетъ своимъ знатнымъ происхожденіемъ изъ Славуть! Да и жена съ дочерью тоже хороши, — недурна семейка!...

Кецеле казался имъ куда симпатичнѣе. Не богатый, кажется, человѣкъ, можно сказать, бѣднякъ, ихъ не знаетъ, не вѣдаетъ, а уступилъ имъ почти всю квартиру, потратилъ на нихъ почти цѣлый день, хотя самъ человѣкъ занятой, — тысяча дѣлишекъ, говоритъ, ждетъ его на биржѣ... Думаете, важныя дѣла? — спрашиваетъ. Пустяки, телеграммы изъ Петербурга, курсы, — не важно, не уйдетъ. Лучше онъ съ ними проведетъ часокъ-другой, поговорить о дѣлѣ, по которому они пріѣхали, да о городѣ — городъ кто лучше его знаетъ?

— Вы не можете себѣ представить, какъ хорошо я знаю городъ! Я отлично знакомъ съ каждымъ, особенно съ городскими богачами. Съ ними вамъ надо познакомиться, охъ, надо...

Кецеле не отходитъ отъ гостей весь день и сидитъ съ ними до глубокой ночи, рисуя имъ величіе города съ его богачами, не жалѣя миллионовъ въ описаніи ихъ богатствъ и рассказывая, сколько одолженій и добрыхъ дѣлъ они дѣлали, дѣлаютъ и собираются дѣлать для евреевъ.

— Но вотъ подите, къ нимъ же предъяв-

ляють всякія претензіи и говорятъ, что наши богачи недостаточно пекутся о бѣдныхъ...

Гости сидятъ и слушаютъ Кецеле, развѣсивъ уши, и не спуская съ него глазъ. Сердца ихъ наполняются радостью и они потихоньку вздыхаютъ... Если такъ, то вѣдь въ самомъ дѣлѣ есть надежда... Человѣкъ этотъ говоритъ такъ серьезно и такъ убѣдительно, все у него выходитъ такъ закругленно и гладко, что кажется невѣроятнымъ, чтобы онъ преувеличивалъ. Не нужно большаго пессимиста, чѣмъ Абрамъ-Лейба, который даже про Толстого какъ-то разъ выразился въ письмѣ къ брату, что великій Левъ Толстой тоже не больше, какъ грѣшный человѣкъ... Но и этотъ Абрамъ-Лейба, лежа ночью на развѣхавшейся софѣ и воюя съ тѣмъ врагомъ, что не зубастъ, а кусается, думалъ:

— Что же? Если одну половину того, что тутъ говорилъ Кецеле, бросить въ море, добрую часть второй половины пустить на вѣтеръ, то все же останется достаточно... Но, Боже мой, лишь бы выбраться изъ этого ужаснаго логовища и взяться уже за дѣло!...

Кто бы могъ подумать, что какъ разъ въ ту ночь, когда у Кецеле ночевали Рабиновичи, администраціи придетъ въ голову произвести „ревизию“ и заглянуть въ тотъ погребъ, называемой квартирой, гдѣ жилъ Кецеле!

Гости крѣпко спали и видѣли во снѣ, что владыки гарода, богачи-евреи, приняли горячее участіе въ судьбѣ Гершки... Вотъ-вотъ Гершку освободятъ, поѣдетъ онъ домой и—вдругъ ихъ будятъ и просятъ показать бумаги...

Правда, для Кецеле облава была такой же диковинкой, какъ для солдата рюмка водки. Сколько разъ уже у него на паспортѣ стояла красная надпись: „на выѣздъ въ 24 часа“. Сколько разъ онъ выѣзжалъ и на другой же день возвращался. Угрозы отправкой по этапу на него нисколько не дѣйствовали. Эка важность! Приписанъ онъ въ Васильевкѣ, а туда и обратно можно три раза въ день спутешествовать!

Кецеле такъ надоѣлъ администраціи, что однажды его спросили, что надо сдѣлать, чтобы избавиться отъ него. Кецеле очень серьезно отвѣтилъ, что есть лишь одно средство: оставить его въ покоѣ...

Въ другой разъ поймали его на улицѣ. „Ты уже опять здѣсь? Что только сдѣлать, чтобы ты глазъ не мозолил?“—„А вы не смотрите“, спокойно посовѣтовалъ Кецеле.

А еще рассказываютъ про него на биржѣ, гдѣ любятъ такіе анекдоты, что Кецеле принесъ однажды полицеймейстеру бумагу, изъ которой видно было, что онъ ремесленникъ и слѣдовательно имѣетъ „правожительство“ въ

городъ... „Какое же ремесло ты знаешь?“— „Я знаю, какъ чернила дѣлаютъ“,— отвѣчаетъ Кецеле.— „Какъ чернила дѣлаютъ, и я знаю“,— говоритъ ему полицеймейстеръ.— „Ну, такъ вы тоже имѣете „право-жительства“, Ваше Превосходительство“.

Безъ сомнѣнія, это чистѣйшій анекдотъ. Точно администраціи нѣтъ больше дѣла, какъ шутки шутить съ каждымъ евреемъ! А если хотите, это даже оскорбительно для лицъ, на обязанности коихъ лежитъ наблюденіе за тѣмъ, чтобы евреи не преступали законовъ и не воображали, будто всѣ города одинаковы и каждый можетъ свободно разгуливать по Божьей землѣ и селиться тамъ, гдѣ ему вздумается! Еврей не птица, которая можетъ сказать: „небо мое“. Еврей не собака, которую никто не остановитъ и не спроситъ: „скажи-ка, милый песь, кто ты такой?“

Словомъ, въ ту ночь была облава на евреевъ. Кецеле съ семьєю и гостями забрали и привели, куда слѣдуетъ. Взялись сперва за гостей:

— Вы кто такіе?

— Мы—евреи.

— Откуда?

Оттуда-то и оттуда.

— Есть у васъ документы?

— Нѣтъ, забыли взять съ собою...

И хоть бы приписаны они были тамъ, от-

куда пріѣхали.—такъ нѣтъ же! Оказывается, числятся они шкловскими мѣщанами! Придется имъ, поэтому, прогуляться этаномъ не домой, а въ Шкловъ,—хорошее дѣло!

И въ этомъ еще не было бы большой бѣды, но у молодого Рабиновича нашли пачку бумагъ съ извѣстнымъ посланіемъ къ раввину.

— Что это, братецъ, у тебя за пакетъ?

— Это письмо.

— Письмо? Гм... Кому это такое большое письмо? Вѣроятно, доносъ, жалоба? фальшивые документы?..

Спрашивавшій былъ, должно быть, большой шутникъ. Онъ осматривалъ пакетъ со всѣхъ сторонъ, взвѣшивалъ его на рукѣ, точно по вѣсу желая опредѣлить что это такое. Возможно, что соври Абрамъ-Лейба, скажи, что это коммерческія бумаги, тѣмъ дѣло и кончилось бы... Не возиться же еще съ еврейскими рукописями, достаточно самихъ евреевъ! Но Абрамъ-Лейба не такой челввѣкъ. Онъ колебался: сказать или не сказать? Сказать—будутъ приставать, что въ письмѣ. Не говорить—подумаютъ въ самомъ дѣлѣ Богъ знаетъ что: фальшивыя ассигнаціи, контрабанда... И онъ рѣшилъ сказать всю правду... Нѣтъ ничего лучше голой правды! Правдой весь міръ пройти можно вдоль и поперекъ! И въ самомъ дѣлѣ, чего такому челвѣку, какъ Абрамъ-Лейба, бояться правды? Кто они и зачѣмъ сю-

да пріѣхали? Засадили ихъ Гершку въ тюрьму, благодаря какой-то клеветѣ, и держатъ вмѣстѣ съ жуликами и хулиганами такого невиннаго милаго мальчика, который собаки смертельно боится, который мухи не забидитъ, который ни за что спать не будетъ въ одномъ домѣ съ покойникомъ, хоть озолотите его!..

Не дурную рѣчь произнесъ Абрамъ-Лейба, показалъ себя! Не даромъ же онъ выучилъ наизусть всего Кирпичникова и Галахова, прочелъ Пушкина, Тургенева и всего Толстого отъ доски до доски!

Абрамъ Лейба такъ волновался, что въ концѣ своей рѣчи выпалилъ такую тираду:

— Что намъ дѣлать? Ждать, пока кто-нибудь сжалится и замолвитъ за насъ словечко? Благословенны руки, сами себѣ помогающія! Много помогли намъ ваши великіе люди? Развѣ заступился за насъ Левъ Толстой? Развѣ попробовалъ хоть бы однимъ словомъ выступить въ защиту евреевъ?!

— Хорошо, очень хорошо. Но что это за письмо? Отъ кого оно и къ кому адресовано?

Абрамъ-Лейба вытираетъ потъ съ лица.

— Это письмо отъ кого? Отъ нашего раввина къ вашему раввину, т. е. раввинъ нашего города пишетъ раввину вашего города.

— Ага! Что же вашъ раввинъ пишетъ нашему раввину?

— Что онъ пишетъ? Недурно пишетъ! Есть

что почитать! Вотъ я вамъ переведу письмо, если хотите.

И Абрамъ-Лейба переводитъ письмо. Не слово въ слово, конечно. Какъ переведешь такой образный языкъ! Но суть, смыслъ письма онъ можетъ передать. Чего ему бояться? Ни политики, ни секретовъ тутъ нѣтъ.

— Дѣло здѣсь совершенно открытое. Какъ въ Талмудѣ у насъ сказано, что изъ-за пустяка погибъ цѣлый городъ Битуръ, такъ изъ-за вздорной клеветы забросали цѣлый народъ грязью, схватили певичаго челоуѣка, возвели на него обвиненіе въ такомъ дикомъ преступленіи, что даже сказать стыдно въ наше время, въ началѣ XX вѣка, въ эпоху прогресса и цивилизации, теперь, когда поговариваютъ о всеобщемъ мирѣ по слову пророка: „и сдѣлаютъ изъ мечей своихъ лопаты и копыя пе-рекуютъ въ ножи“...

Кто знаетъ, чего еще наговорилъ бы Абрамъ-Лейба. Но вдругъ его прервали и нѣсколько насмѣшливо попросили въ сосѣднюю комнату, а оттуда вмѣстѣ съ отцомъ отправили на родину, „въ самый Шкловъ“.

Абрамъ-Лейба все же не палъ духомъ. Онъ былъ очень доволенъ, что хоть немного отвелъ душу и высказалъ то, что думаетъ каждый еврей. Онъ даже и не догадывался о

томъ, какую кашу заварилъ и какая катавасія поднялась послѣ того, какъ перевели письмо раввина на настоящій русскій языкъ, слово въ слово, и дошли до мѣста: „Стучитесь въ двери къ нашимъ великимъ и сильнымъ!.. Заключенныхъ освобождайте и съ узниковъ снимите оковы!“ Развѣ нужны еще комментаріи? Достаточно, кажется, ясно, о какихъ заключенныхъ, о какихъ узникахъ здѣсь идетъ рѣчь!..

Кромѣ того, что словоохотливый Абрамъ-Лейба втянулъ себя и отца въ скверную исторію, онъ вовлекъ въ нее и автора письма. Получился приказъ привлечь къ дѣлу раввина ихъ городка,—пусть-ка объяснитъ, кого подразумѣвалъ онъ подъ „великими и сильными“, къ которымъ совѣтовалъ „стучаться?“ И что хотѣлъ онъ сказать словами: „Израиль не безъ богатыхъ людей съ добрыми сердцами?“ Если это намекъ на организацію, то гдѣ ея корни? Кто даетъ нужныя средства? И какъ зовутъ лицъ, стоящихъ во главѣ?..

Сначала смертельно перепуганный раввинъ маленькаго городка не могъ даже слова вымолвить. Онъ былъ мастеръ писать красивыя письма, но ораторскими способностями не обладалъ, къ тому же говорить надо было на чужомъ языкѣ. Но придя немного въ себя, онъ поступилъ такъ же, какъ и Абрамъ-Лей-

ба... Нѣтъ ничего лучше голой правды! Правдой весь міръ пройти можно вдоль и поперекъ! И хотя раввинъ былъ не такъ словоохотливъ, какъ Абрамъ-Лейба (онъ никогда не изучалъ Кирпичникова съ Галаховымъ и не читалъ Толстого), зато у него были другія преимущества,—красивое открытое лицо и такіе наивные ясные глаза, что невозможно было заподозрить его въ лицемѣріи. Какъ предъ Богомъ открылъ онъ слѣдствію всю правду:

— Такъ какъ насъ постигло такое несчастіе, затрогивающее все еврейство; такъ какъ ребъ Мойша Рабиновичъ человѣкъ тихій, честный, и дѣти у него люди честные, мухи не забидятъ; такъ какъ въ большомъ городѣ, гдѣ сынъ Мойши Рабиновича находится въ заточеніи, есть знатные люди, богачи, которые въ хорошихъ отношеніяхъ съ начальствомъ; такъ какъ въ большомъ городѣ живетъ духовный раввинъ, „человѣкъ съ головою“, извѣстный на весь міръ; такъ какъ всѣ знаютъ, что кровавый навѣтъ столько разъ отрицался царями, королями и римскими папами; такъ какъ...

— Пойдите, пойдите! господинъ раввинъ! Это у васъ что-то безконечное. . Пока Рабиновичи придутъ сюда этапомъ и вамъ устроить съ ними очную ставку, потрудитесь посидѣть въ тюрьмѣ.

Легко себѣ представить, что дѣлалось въ маленькомъ городкѣ, когда, вмѣсто ожидаемыхъ открытокъ и депешъ, разнесся слухъ, что Рабиновичей ведутъ этапомъ, а раввина ихъ посадили въ тюрьму.—за что, неизвѣстно. ,

ГЛАВА VIII.

Въ тюрьмѣ.

Если лже-Поповъ и увлекался фантастическими мечтами о красавицѣ царевнѣ изъ страны Офирь, то продолжалось это недолго. Дитя своего народа, прошедшаго черезъ всякія испытанія, онъ скоро отрезвился, взялся за умъ. Увидѣвъ оборотную сторону медали, онъ сразу понялъ, въ какомъ положеніи очутился бы, если бы сбросилъ съ себя личину Гриши Попова.

Совсѣмъ не то было съ настоящимъ Поповымъ. Мало того, что ему любопытно было посмотреть, чѣмъ все это кончится, мало того, что онъ ни за что не хотѣлъ отступить отъ разъ даннаго слова и открыть свое настоящее имя до конца срока,—онъ еще забралъ себѣ въ голову фатальную мысль, что затѣянная ими шутка не случайность... Какъ знать, можетъ быть, онъ посланъ судьбою нарочно, чтобы міръ, обвинивъ его, христіанина, въ миѳическомъ преступленіи, приписываемомъ еврейскому народу, прозрѣлъ нако-

нецъ и разъ навсегда покончилъ съ тѣмъ историческимъ кошмаромъ, что зовется „ри-туальнымъ убійствомъ“...

По лицу его не было замѣтно, чтобы онъ былъ мученикомъ или очень страдалъ. Видъ у него былъ свѣжій и здоровый, аппетитъ и сонъ хорошій. Только копна густыхъ волосъ стала больше и отросла бородка, что очень шло къ его поблѣднѣвшему отъ недостатка воздуха и солнца лицу и дѣлало его еще больше похожимъ на еврея.

Удивительно, съ какимъ спокойствіемъ и терпѣніемъ переносилъ онъ все, какъ гордо и твердо держался на допросахъ. Разъ сказалъ—нѣтъ, то уже никакое переспрашиваніе и стараніе поймать его не помогали. Вытянуть у него лишнее слово было такъ же трудно, какъ „добиться“ чего-нибудь отъ стѣны. Ничто не пугало его. Онъ твердо вѣрилъ, что тотъ, кто ищетъ правду, найдетъ ее. Кромѣ того, онъ былъ увѣренъ, что его друзья, Шапиро, не дремлютъ, а тоже стараются раскрыть правду.

Вспомнить онъ про Шапиро—и точно кто за душу схватить: что съ Бети? Гдѣ она? Думаешь ли о немъ?... Вспоминаетъ онъ и о своемъ домѣ: что съ отцомъ? что съ Вѣрой? Но Гершко, вѣроятно, устроилъ все наилучшимъ образомъ,—онъ уже придумаетъ!

Поповъ совсѣмъ не подозрѣвалъ, что на-

висшія надъ его головою тучи сгущаются все больше, и положеніе его ухудшается со дня на день. Новыя серьезныя улики прибавились одна за другой.

Во-первыхъ, его письма, взятыя у отца на дому, доказывали, по отзывамъ экспертовъ и вопреки упорному отрицанію обвиняемаго, что онъ не только отлично понимаетъ и пишетъ по-еврейски, но еще владѣть древне еврейскимъ языкомъ, какъ нельзя лучше.

Во-вторыхъ, письмо, найденное у его старшаго брата и адресованное на имя раввина, подтверждало предположеніе, что преступленіе носило организованный характеръ, что въ немъ принималъ участіе не только онъ одинъ. Иначе, почему же евреи такъ стараются освободить его? Мало развѣ сидитъ по тюрьмамъ преступниковъ-евреевъ, однако, за нихъ евреи не заступаются?

Третьей уликой служило показаніе дворника того дома, гдѣ онъ жилъ. Дворникъ на допросѣ показалъ, что онъ, въ сущности, ничего не можетъ сказать противъ него. Тихій человекъ, аккуратный, держался бариномъ, любилъ услуги, но всегда хорошо платилъ за малѣйшую услугу, а къ новому году далъ ему больше всѣхъ, — нѣтъ, дурного про него ничего нельзя сказать. Одно дворнику казалось страннымъ и даже огорчало его: къ квартиранту часто ходилъ какой-то очень подозри-

тельный субъектъ, „юркій еврейчикъ“ съ черными волосами и черными разбойничьими глазами. Этотъ еврейчикъ, какъ бы крадучись, пробирался къ квартиранту Шапиро, сидивалъ у него, какъ замѣтно было по огню, цѣлыми часами и даже не разъ ночевалъ.. Разумѣется, онъ дворникъ протестовалъ противъ этого, указывая, что не можетъ допустить такого противозаконія, что на немъ дворникѣ, лежитъ обязанность прописывать каждаго останавливающагося въ домѣ, такъ какъ кто же, какъ не онъ, долженъ давать отчетъ полиціи о каждомъ жильцѣ?!

Съ тѣхъ поръ подозрительный субъектъ исчезъ и больше онъ его не видалъ.

На вопросъ объ этомъ подозрительномъ чловѣкѣ съ черными разбойничьими глазами обвиняемый сначала попробовалъ сказать, что ничего не знаетъ, что къ нему никогда не ходили подозрительныя личности съ разбойничьими глазами и что онъ вообще съ ворами и разбойниками никогда никакихъ дѣлъ не имѣлъ.. Но послѣ, когда былъ допрошенъ Шапиро, рассказавшій, какъ всегда, всю правду о товарищѣ квартиранта, какомъ-то сіонистѣ, имени котораго онъ не помнитъ, Рабиновичъ долженъ былъ признаться, что былъ у него такой товарищъ, по фамиліи Тумаркинъ, ярый сторонникъ сіонизма, но куда этотъ Тумаркинъ дѣлся, онъ не знаетъ. Что

это — одинъ изъ тринадцати медалистовъ, не принятыхъ въ университетъ, Рабиновичъ не хотѣлъ говорить, — къ чему вмѣшивать постороннихъ?

Онъ признался также, что велъ съ Тумаркинымъ длинные разговоры о націонализмѣ, сiонизмѣ и тому подобныхъ вещахъ и что онъ, Рабиновичъ, многое позаимствовалъ у него, отчасти самъ сталъ сiонистомъ... И такъ какъ у Тумаркина не было „права-жительства“ и платить полиціи онъ не могъ, то онъ часто оставлялъ Тумаркина у себя ночевать только изъ жалости... А показанія дворника, будто Тумаркинъ „прокрадывался“ и будто онъ, дворникъ, „протестовалъ“ — чистѣйшая ложь. Тумаркинъ ходилъ открыто, а дворникъ получалъ отъ него, Рабиновича, за каждую ночь взятку.

Что давалъ взятку дворнику не онъ, а его хозяинъ Шапиро, этого Рабиновичъ опять-таки не хотѣлъ говорить, — зачѣмъ? Развѣ не все равно? Конечно, дворникъ на очной ставкѣ съ преступникомъ отрицалъ все и божился всѣми святыми, что онъ чистъ предъ Богомъ и людьми, — провалиться ему на мѣстѣ, если онъ вретъ... Дворника, разумѣется, не погладили по головкѣ за это, прогнали съ мѣста, но онъ остался живымъ свидѣтелемъ противъ преступника, который самъ не зналъ, что тонетъ, — чѣмъ дальше, тѣмъ глубже...

Обвиняемаго строго изолировали отъ внѣшняго міра, а послѣ исторіи съ письмомъ раввина, которое какъ дважды два показывало, что преступника готовятся освободить, за нимъ начали слѣдить еще строже. Если раньше еще можно было надѣяться добиться свиданія съ нимъ, то теперь это стало совершенно невозможно. И весь режимъ сталъ гораздо строже. Заключенному сократили и безъ того короткія прогулки до послѣдняго минимума...

Но Рабиновичъ на все это мало обращалъ вниманія. Онъ далъ себѣ слово твердо сносить все, что бы ни пришлось. И навѣрное выдержалъ бы это испытаніе до конца, если бы не случай, поколебавшій его мужество и приведшій къ тому, что его стали считать настоящимъ, утонченнымъ преступникомъ, для котораго хороши всѣ пути и средства, который не остановится ни передъ чѣмъ, чтобы ускользнуть изъ рукъ правосудія.

Въ одинъ прекрасный день, когда заключенныхъ вывели на прогулку по двору, Рабиновичъ замѣтилъ, что одинъ арестантъ въ сѣромъ халатѣ какъ-то странно смотритъ на него и подмигиваетъ... Повидимому, онъ хотѣлъ сказать что-то, но боялся солдата. Наконецъ, арестантъ не выдержалъ и спросилъ на смѣшанномъ еврейско-русскомъ языкѣ:

— Это вы тотъ Рабиновичъ, котораго об-

виняють въ ритуальномъ убійствѣ? Если такъ, то могу передать вамъ поклонъ отъ мамзель Шапиро. Мы были съ ней вмѣстѣ въ еврейской больницѣ до моего суда.

Арестантъ хотѣлъ еще что-то сказать, но солдатъ пригрозилъ ему прикладомъ ружья и увелъ съ прогулки.

Изъ всего этого Рабиновичъ понялъ только слова, сказанныя по-русски: „обвиняють“... „ритуальное убійство“... „мамзель Шапиро“... „еврейская больница“... И этого было достаточно для него, чтобы три ночи подрядъ не сомкнуть глазъ.

О какой еще „мамзель“ Шапиро могъ рассказывать ему этотъ еврей, если не о дочери Давида Шапиро? Ясно, что Бети, какъ и его обвиняють въ томъ же „ритуальномъ убійствѣ“, что съ горя она заболѣла и находится теперь въ больницѣ...

Теперь ему понятно, почему никто изъ Шапиро не показывается къ нему за все время, что онъ сидитъ. Къ каждому арестанту кто-нибудь приходитъ разъ въ недѣлю, хоть на нѣсколько минутъ, но къ нему—никто.. Чѣмъ онъ хуже другихъ? Не иначе, что она серьезно заболѣла... И кто знаетъ,—можетъ быть хуже, чѣмъ заболѣла.

Онъ соскакиваетъ съ койки, большими шагами ходитъ по камерѣ, и тысячи мыслей, одна мрачнѣе и ужаснѣе другой, овладѣва-

ють имъ... Онъ чувствуетъ, что голова у него разлетается на части, и хочется ему однимъ ударомъ разрушить всю постройку, сразу положить всему конецъ...

Разъ нѣтъ той, ради кого онъ такъ много пережилъ, такъ легко все переносилъ, ради кого онъ готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтъ,—къ чему вся эта игра? Или въ самомъ дѣлѣ обязанъ онъ быть жертвою ради правды, которая такъ ясна, но которой не хотятъ видѣть? Да пропади все пропадомъ! Завтра же утромъ онъ заявитъ о своемъ намѣреніи открыть нѣчто новое, что должно произвести цѣлый переворотъ въ дѣлѣ...

Но когда наступило утро, онъ не исполнилъ своего рѣшенія и сталъ бранить себя... Нельзя быть трусомъ... А ночью, когда на все ложатся тѣни и жуткая тишина царить въ тюрьмѣ, и лишь изрѣдка доносится звонъ желѣзныхъ цѣпей или стукъ деревянныхъ подошвъ по каменному полу,—тысячи мыслей снова слетаются къ его изголовью и не даютъ ему покоя...

Онъ ворочается съ бока на бокъ или лежитъ съ открытыми глазами и видитъ себя, счастливаго Гришу Попова, въ богатомъ домѣ своего отца, гдѣ все такъ хорошо, свѣтло и свободно, тепло и уютно...

И онъ представляетъ себѣ, что было бы, если бы онъ — былъ онъ... Что теперь съ нимъ

было бы? Онъ скоро перешелъ бы на второй курсъ и поѣхалъ бы домой къ отцу въ имѣніе Благосвѣтлово, гдѣ они живутъ каждое лѣто...

Благосвѣтлово — красивѣйшій дачный уголокъ, который они, отецъ, сестра и онъ самъ, любятъ больше другихъ имѣній. Туда лѣтомъ съѣзжаются вся семья, всѣ дяди и тетки съ дѣтьми. И не только свои — пріѣзжаютъ и чужіе, сосѣди-помѣщики, и начинается веселое житье, обѣды, пикники, охота, рыбная ловля, развлечения безъ конца...

Для нихъ, для молодежи, жизнь течетъ словно въ раю: три мѣсяца свободы, купанья въ пруду по нѣсколько разъ въ день, катанья на лодкахъ съ двоюродными сестрами, молоденькими кузинами, играющими въ взрослыхъ... Тамъ юноши превращаются въ молодыхъ людей, тамъ рождаются первыя чувства „святой любви“ и разыгрываются первыя, якобы серьезные, романы, начинающіеся съ невинныхъ дѣтскихъ капризовъ и кончающіеся ничѣмъ... Ахъ, какъ хотѣлъ бы онъ быть теперь тамъ!

Онъ соскакиваетъ съ твердой койки, шагаетъ по камерѣ взадъ и впередъ, и снова ложится, и снова съ полузакрытыми глазами уносится туда, въ свой милый дорогой домъ, гдѣ ждетъ его любимая сестра...

Ему безконечно пріятно именно теперь думать о сестрѣ, вспоминать, какъ они вмѣстѣ

играли или мчались верхомъ съ одного фольварка на другой.

...Вездѣ зелено, ровно и свѣтло. Безъ конца тянутся поля пшеницы. Какъ волны морскія, колышутся колосья еще не совсѣмъ зрѣлыхъ хлѣбовъ. Словно восточные люди за молитвою, качаются вершины деревьевъ. Точно капелла разнообразныхъ пѣвцовъ, поютъ птицы, кричатъ аисты, жужжатъ пчелы, и гдѣ-то вдали катится у горы рѣченка, шумитъ и бурлитъ, съ шумомъ падаетъ у мельницы, реветъ и плещетъ... „Дайте ходу! Дайте ходу!“—кажется требуетъ вода и тащитъ за собою все, что попадется по пути...

Стопъ!—здѣсь остановка. Они слѣзаютъ съ лошадей, и жена фермера идетъ имъ навстрѣчу, кланяется и подноситъ кувшинъ холоднаго молока. Откуда она знаетъ, что имъ такъ хочется пить? Стакана у нея нѣтъ, и надо пить прямо изъ кувшина.

— Пей, Вѣра, первая, ты старше.

— Нѣтъ, Гриша, пей ты первый, я подожду.

— Нѣтъ, Вѣра ты.

— Нѣтъ, Гриша, ты!

Сколько смѣха при этомъ!...

Онъ открываетъ глаза, соскакиваетъ съ койки и опять начинаетъ метаться по клѣткѣ... Гдѣ онъ? Что онъ тутъ дѣлаетъ? Какъ только онъ допустилъ это? Зачѣмъ такое ис-

пытаніе? За чьи грѣхи онъ страдаетъ?... Нѣтъ,— этому надо положить конецъ!

Но какъ? Неужели онъ самъ послѣ того, какъ столько выстрадалъ, возьметъ вдругъ и сорветъ маску: „смотрите, я—не я“?! Неужели онъ, Поповъ, первый нарушитъ свое слово? Неужели онъ, христіанинъ Поповъ, не сможетъ выдержать того, что выдерживаетъ слабый, забытый еврей уже сотни и сотни лѣтъ?!.. Стыдись, Гриша! Позорь!..

Онъ хватается за голову. Сжимаетъ виски. Чувствуетъ, что еще одна такая ночь—и его придется перевести отсюда въ другое мѣсто.

Въ сумасшедшій домъ.

.....
Подъ усиленнымъ конвоемъ, съ шашками наголо, вели обвиняемаго, Герша Мовшевича Рабиновича, для новаго допроса.

Онъ заявилъ, что хочетъ открыть слѣдствію нѣчто очень важное и совершенно новое по дѣлу...

ГЛАВА XI.

Экспертиза.

Прогулка по городу, чистый воздухъ, яркое солнце немного освѣжили нашего героя.

Полной грудью дышалъ онъ, съ удовольствіемъ ощущая, какъ изъ здоровыхъ легкихъ по всему молодому здоровому тѣлу разливается живительная волна. Вдругъ почувствовалъ

онъ, что живетъ, что жить хорошо, радостно,—какъ-будто это было для него ново, какъ будто никогда онъ этого не чувствовалъ... Неужели же черезъ часъ или еще меньше онъ будетъ свободенъ, какъ всѣ эти люди? Неужели сегодня же онъ сможетъ итти, куда захочетъ, и дѣлать все, что вздумается?

Прежде всего, конечно, онъ возьметъ извозчика и поѣдетъ прямо на *ту* улицу, остановится у *того* дома, позвонитъ въ *ту* дверь... Не успѣетъ онъ еще подняться на лѣстницу, какъ спроситъ: „Что съ Бертой Давидовной?“ Но кто знаетъ, кого онъ тамъ встрѣтитъ первымъ и что узнаетъ?... Онъ чувствуетъ, какъ холодъ пробѣгаетъ у него по тѣлу и на минуту исчезаетъ прежняя радость жизни...

Никогда еще обвиняемый не шелъ такой твердой увѣренной поступью, никогда еще такъ высоко не держалъ голову, какъ въ этотъ разъ. Онъ былъ увѣренъ, что это его послѣдній визитъ правосудію.

Слегка кланяясь, вошелъ онъ въ большой свѣтлый кабинетъ, гдѣ все до мелочей было до того знакомо ему и оставалось до того неизмѣннымъ, что даже опротивѣло. И слѣдователи были все тѣ же. Только лица ихъ показались ему на этотъ разъ какими-то торжественными,—точно они приготовились къ чему-то новому и важному. Даже одѣты они были какъ-будто иначе, чѣмъ всегда,—парад-

нѣ... Но они нарочно не торопятся и ничѣмъ не обнаруживаютъ своего любопытства, нарочно обходятся съ нимъ какъ можно холодно и равнодушно.

— Итакъ, что же вы намъ скажете новаго?

Какъ и съ чего начать? Прямо, безъ всякихъ предисловій, приступить къ дѣлу и сказать: „Знаете ли вы, милостивые государи, что передъ вами стоитъ не еврей, Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, а христіанинъ, Григорій Ивановичъ Поповъ?“ Конечно, это произведетъ очень большое впечатлѣніе, но не будетъ того эффекта, который нуженъ. Нѣтъ, сразу онъ имъ всего не скажетъ, а будетъ выкладывать черезъ часъ по столовой ложкѣ... Понемногу подниметъ онъ завѣсу, и они увидятъ, въ какомъ были заблужденіи!... Но почему онъ этого раньше не говорилъ? Не хотѣлъ,—что тутъ такого? Въ худшемъ случаѣ, что же можетъ быть? Ну, накажутъ его за то, что онъ жилъ по чужому паспорту и пользовался чужими документами,—не Богъ вѣсть какое преступленіе! А кромѣ того, вѣдь онъ, чертъ возьми, не кто-нибудь, а сынъ Попова! Напишетъ отцу, pošлетъ телеграмму—и всей канители конецъ!...

Эти мысли придають ему еще больше спокойствія и увѣренности въ себѣ и онъ начинаетъ бесѣду со слѣдователями издалека, не какъ обвиняемый и арестантъ, а какъ ихъ добрый знакомый...

— Новаго вы ждете отъ меня?—сказаль со спокойной улыбкой.—Да, то, что вы сейчасъ услышите отъ меня, будетъ для васъ поразительной новостью! Но раньше, чѣмъ приступить къ дѣлу, я позволю себѣ спросить васъ (онъ дѣлаеть шагъ назадъ, закладываетъ руки за спину и принимаетъ такую позу, точно готовится выкинуть необыкновенный фокусъ): что было бы, если бы вы узнали сейчасъ, что... что я—не я?

Слѣдователь и его помощники съ удивленіемъ уставились глазами на молодого человѣка, точно въ самомъ дѣлѣ хотѣли убѣдиться, онъ ли это или не онъ...

— Что вы хотите сказать этимъ?

— Вотъ что я хочу сказать этимъ,—продолжалъ обвиняемый все съ большей увѣренностью.—Что было бы, если бы узнали, если бы я васъ убѣдилъ, что стоящій предъ вами человѣкъ, котораго вы обвиняете въ убійствѣ христіанскаго мальчика для еврейскаго пасхальнаго обряда, что этотъ человѣкъ не еврей, а русскій и... дворянинъ?

Выпаливъ эти слова однимъ духомъ и однимъ и тѣмъ же голосомъ, который ему самому показался какимъ-то чужимъ, обвиняемый перевелъ дыханіе и обождаль. Онъ хотѣлъ видѣть, какое впечатлѣніе произвели его слова. Но это не легко было опредѣлить. Во всякомъ случаѣ,—не то, какого онъ ожидалъ...

Послѣ короткой паузы, слѣдователь переглянулся съ помощниками и заговорилъ... Трудно сказать, что было въ такомъ случаѣ, и вообще не къ чему разсуждать здѣсь о постороннихъ вещахъ. Не для того его привели сюда и не для того они здѣсь... Лучше бы онъ приступилъ прямо къ дѣлу, безъ фокусовъ и мудрствованій...

Обвиняемый немного сконфузился... Можетъ быть, они и правы,—подумалъ онъ. Къ чему предисловія? Лучше прямо къ дѣлу... Но на минуту его осѣнила другая мысль: „Не выдержаться ли? Есть еще время одуматься, можно еще вернуться, Гриша! Постыдись самого себя. Такъ много страдалъ, такъ много мучился—и теперь, въ самомъ концѣ не выдержалъ, оборвался!...“ Но какъ нарочно въ открытое окно врывались золотые лучи солнца, шаловливо ползавшіе по стѣнамъ и потолку, игравшіе на серьезныхъ лицахъ и позолоченныхъ мундирахъ слѣдователей, а съ улицы доносился стукъ колесъ и шумъ большого города... Все кричало о жизни и звало туда, туда—на свободу, милую свободу!... Нѣтъ, больше онъ не въ силахъ бороться съ собою! Онъ приблизился немного къ столу, опустилъ себѣ руки въ карманы и тихо, въ тонѣ увѣренной въ себѣ силы сказалъ:

— Вы хотите, чтобы безъ предисловія? Хорошо, я скажу вамъ прямо, что вы заблуждае-

тесъ. Вы думаете, что я еврей, Рабиновичъ, а на самомъ дѣлѣ я русскій, дворянинъ. Отецъ мой—бывшій предводитель дворянства, одинъ дядя—земскій начальникъ, а другой—губернаторъ...

— А сами вы—португальскій принцъ?...

Такого финала обвиняемый никакъ не ожидалъ. Чтобы такъ могли его осмѣять! За шута что ли они принимаютъ его?

Это было для него такъ неожиданно, что онъ, не находя словъ въ отвѣтъ, только удивленно смотрѣлъ на своихъ слушателей, точно спрашивая: я съ ума сошелъ, или вы считаете меня сумасшедшимъ? Тѣ перестали смѣяться. должно быть замѣтивъ, что обвиняемый измѣнился въ лицѣ.

— Мы васъ поняли, мы васъ очень хорошо поняли!... Но вы должны понимать, что это не пройдетъ... Вы избрали плохой путь, придумали скверный анекдотъ...

— *Еврейскій* анекдотъ, — добавилъ одинъ изъ помощниковъ, подчеркивая слово „еврейскій“.

— Нехорошо,—упрекнулъ другой въ добродушномъ тонѣ,—нехорошо и неумно... Мы думали, Рабиновичъ, что вы гораздо умнѣе...

Обвиняемый выслушалъ ихъ, cadaго въ отдѣльности, ошеломленный и точно побитый. Онъ вдумывался въ то, что ему говорили, вдумывался въ слова: „еврейскій анекдотъ“... Ему

хочется смѣяться, но онъ сдерживается и пытается убѣдить слѣлователей, что это не анекдотъ, хотя, быть можетъ, и кажется анекдотомъ... Все, что онъ говоритъ—сухая правда... Онъ предоставляетъ имъ возможность удостовѣриться телеграммой, простой телеграммой его отцу, который,—онъ ихъ еще разъ увѣряетъ,—христіанинъ, именитый, столбовой дворянинъ, бывший губернской предводитель дворянства, у котораго одинъ братъ...

— Губернаторъ, а другой—министръ? Довольно, это мы уже слышали,—прерываютъ его, звонятъ и приказываютъ отвести обвиняемаго въ сосѣдную комнату.

Когда обвиняемаго снова ввели въ тотъ же кабинетъ, онъ уже не засталъ тамъ никого изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ. Въ глубинѣ комнаты, озабоченно глядя въ окно, сидѣло новое лицо, которое онъ видѣлъ въ первый разъ.

Это былъ пожилой почтенный господинъ въ штатскомъ. Видъ у него былъ самый простой. Обращалъ на себя вниманіе только его необыкновенно большой лобъ и меланхолическій взглядъ огромныхъ озабоченныхъ глазъ.

Какъ только обвиняемаго ввели, этотъ чловѣкъ, поднявшись, пошелъ къ нему навстрѣчу и протянулъ руку. Конвойному онъ далъ знакъ выйти, а арестанта попросилъ сѣсть напротивъ

себя и, слегка вздыхая, плачущимъ голосомъ, какъ бы жалуясь на какую-то болѣзнь, спросилъ:

— Ваше имя Рабиновичъ? Оно, видимо, происходитъ отъ слова „раби“, а это свидѣтельствуется, что въ числѣ вашихъ предковъ были раввины... Цѣлая генерація раввиновъ, ученыхъ...

Все это произносится сладкимъ тихимъ голосомъ, медленно и спокойно, какъ бы про себя... При этомъ говорящій не спускаетъ глазъ съ молодого человѣка, проникая взоромъ въ самую глубь его души...

Что это за человѣкъ?—думаетъ Рабиновичъ, разглядывая собесѣдника и прислушиваясь къ его медовой рѣчи, свободно переходящей съ одного предмета на другой. А разговоръ между тѣмъ становится все интереснѣе. Какъ человѣкъ, идущій по льду рѣки, которая вотъ-вотъ вскрыется, нащупываетъ каждый свой шагъ, раньше чѣмъ ступить, такъ этотъ странный собесѣдникъ пробовалъ, что можетъ всего больше заинтересовать молодого человѣка. Онъ затрогивалъ всевозможные вопросы, пока не перешелъ, наконецъ, къ тому, что больше всего должно было затронуть обвиняемаго.

Это былъ все тотъ же проклятый „ритуальный вопросъ“, возвращаясь къ которому Рабиновичъ каждый разъ загорался огнемъ. Онъ негодовалъ, что есть еще люди, вѣрящіе во

что-либо подобное, и въ то же время ему было досадно, что и онъ не такъ ужъ давно самъ былъ недалеко отъ того, чтобы вѣрить въ это... „Этотъ человѣкъ, вѣроятно, посланъ вывѣдать у меня что-нибудь объ этой страшной и мерзкой легендѣ,“—думалъ онъ и далъ себѣ слово ничего не говорить объ этомъ. Ритуаль и опять ритуаль!—это, наконецъ, надоѣло!... Но собесѣдникъ говорилъ такъ серьезно и увѣренно, что онъ не выдержалъ и довольно рѣзко замѣтилъ, что не понимаетъ, какъ можетъ серьезный интеллигентный человѣкъ говорить о такой вещи въ серьезномъ тонѣ.

— Я не понимаю,—воскликнулъ онъ горячо,—какъ не стѣдно вытаскивать изъ старыхъ архивовъ обвиненіе, на которомъ уже накопилась пыль вѣковъ, и дѣлать изъ него цѣлую трагедію!

Рабиновичъ давно уже не имѣлъ такого удобнаго случая поговорить всласть и теперь разошелся. Пожилой собесѣдникъ внимательно слушалъ и молчалъ, глядя ему глубоко-глубоко въ глаза, какъ бы утвердительно кивая головою и отъ времени до времени вставляя слово. А когда Рабиновичъ нѣсколько успокоился, онъ не торопясь, обратился къ нему по-прежнему съ тихой искренней рѣчью въ медово-плаксивномъ тонѣ:

— Вы правы, совершенно правы, молодой человѣкъ... Въ самомъ дѣлѣ, надо быть круг-

лымъ дуракомъ и большимъ невѣждой, чтобы обвинять цѣлый народъ съ старинной культурой въ такомъ дикомъ варварскомъ обрядѣ, сохранившемся у васъ съ древнихъ временъ... Но, съ другой стороны, нельзя же отрицать, что нѣтъ у васъ такой секты, которая бы...

Слова „у васъ“ заставляютъ обвиняемаго опускать глаза, и онъ отвѣчаетъ уже немного сдержаннѣе и не такъ горячо, что, если у евреевъ есть такая секта, то почему же о ней нигдѣ не упоминается въ ихъ богатой литературѣ?

Пожилой собесѣдникъ спокойно выслушиваетъ молодого человѣка, который говоритъ такъ логично и красиво, не обнаруживая, по видимому, ни малѣйшихъ признаковъ ненормальности... Одно только немного странно: почему онъ, говоря объ евреяхъ, употребляетъ слово „они“? Почему онъ не говоритъ *наша* литература, а *ихъ* литература? Онъ отвѣчаетъ молодому человѣку, что литература о сектахъ и сектантахъ не такая уже пустяшная вещь, какъ думаютъ, и не всякій можетъ сказать, что знаетъ ее... Самъ онъ, на примѣръ уже много лѣтъ изучаетъ эту литературу, и все же далекъ отъ того, чтобы сказать, что исчерпалъ ее до дна... Кромѣ того, онъ производилъ различные опыты надъ разными сектантами, исписалъ объ этомъ не одну стопу бумаги, цѣлыя книги издалъ...

Что это за человекъ?—опять думаетъ Рабиновичъ.—Довольно симпатичный старичекъ и, повидимому, образованный, ученый... Хорошо бы прочесть его книги, услышать его мнѣніе объ этомъ проклятомъ вопросѣ... А заодно уже узнать кто онъ... Видимо, профессоръ... А можетъ быть, докторъ психіатріи?..

Мысль, что это профессоръ, психіатръ, утвердилась прочно у него и не оставляла ни на минуту... Неужели докторъ? Что же онъ здѣсь дѣлаетъ? Что означаетъ этотъ разговоръ? Не принимаютъ ли его за сумасшедшаго?

И онъ начинаетъ припоминать шагъ за шагомъ все, сдѣланное имъ за сегодняшній день съ самаго утра и до сихъ поръ: кажется, во всемъ поступалъ онъ, какъ нормальный человекъ?... И онъ восстанавливаетъ въ памяти всѣ слова, произнесенныя имъ: кажется, ничего подозрительнаго, кромѣ того, что онъ открылъ имъ, кто онъ?... И Рабиновичъ начинаетъ смотрѣть на своего собесѣдника уже не съ любопытствомъ, а со страхомъ: профессоръ... докторъ... психіатръ... Значитъ, его принимаютъ за больного? За психически разстроеннаго? Давно ли? Неужели этому способствовало его послѣднее рѣшеніе? Неужели его желаніе открыть, кто онъ, истолковали, какъ самовнушеніе, и приняли его за маниака?... Выходитъ, стало быть, что все было напрас-

но... Напрасно хотѣлъ онъ сорвать маску раньше времени...

— Простите, я хотѣлъ бы васъ спросить...— обращается онъ къ старику, смотрящему на него озабоченными глазами.

— Спрашивайте.

— Вы докторъ?

— Докторъ.

— Психіатріи?

— Психіатріи.

— И вы находите, что я не совсѣмъ нормалень?

— Нисколько...

Онъ не хочетъ сказать мнѣ правды,—думаетъ обвиняемый и смотритъ доктору прямо въ глаза, но тотъ спокойно выдерживаетъ взглядъ. Онъ намѣревается спросить его еще о чемъ-то, но тотъ встаетъ и прощается, опять протягивая руку.

— На этотъ разъ довольно... Мы еще увидимся, вѣроятно...

Солнце уже прощалось съ лѣтнимъ днемъ, заливая огнемъ золотые кресты церквей, когда преступника вели обратно въ тюрьму подъ тѣмъ же конвоемъ съ шашками наголо. Не видно было по его лицу, чтобы онъ упалъ духомъ. Съ гордо поднятой головой шелъ онъ твердой поступью. Только по наморщенному лбу можно было судить, что онъ углубленъ въ размышленія. О чемъ онъ теперь думаетъ? О

правдѣ, которая должна въ концѣ концовъ всплыть? О горькой чашѣ, которую ему нужно испить до дна? О фіаско, которое онъ потерпѣлъ сегодня? Жалѣеть ли, что не удалось добиться свободы? Или, наоборотъ, доволенъ, что такъ вышло, что долженъ будетъ дотянуть до конца свою ляжку?

Къ солидной кипѣ бумагъ, которая накопилась за все время объ убійствѣ Володи Щигрюка, прибавилась еще экспертиза знаменитаго профессора-психіатра. Въ этой экспертизѣ, цѣломъ трактатѣ, надъ которымъ профессоръ не полѣнился, въ интересахъ науки и справедливости, просидѣть всю ночь, высказана была очень глубокая и новая мысль о психологіи различныхъ сектантовъ: *„Въ то время какъ у всѣхъ другихъ сектантовъ, напримѣръ, у русскихъ, можно наблюдать признаки сумасшествія, фанатики сектанты евреи, употребляющіе христіанскую кровь, въ большинствѣ случаевъ нормально развитые люди съ здоровымъ разсудкомъ и сильной волей“*... Приведя затѣмъ цѣлый рядъ цитатъ изъ лучшихъ изслѣдованій, какъ Ломброзо, Крафтъ-Эбингъ, Вундтъ, Шарко и др., профессоръ-психіатръ подводитъ итогъ своей экспертизѣ. Послѣ долгой и всесторонней бесѣды съ обвиняемымъ, по его еврейской фізіономіи, по черепу его семитической головы, по его манерѣ держаться

и говорить и по всѣмъ другимъ признакамъ онъ, профессоръ, пришелъ къ глубочайшему убѣжденію, что преступникъ хорошо развитъ, здоровъ душевно и физически, и что его попытка убѣдить, будто бы онъ не еврей, а русскій, дворянинъ изъ хорошей семьи, не должна быть ни въ какомъ случаѣ разсматриваема, какъ болѣзнь, манія величія, а какъ простая симуляція преступника, который хочетъ, чтобы думали, будто онъ психически ненормаленъ.

Къ такимъ преступникамъ, — заканчивалъ профессоръ-психіатръ свою строгую экспертизу, — надо относиться съ большой осторожностью.

ГЛАВА X.

Н а д а ч ъ .

Когда Бети стала поправляться послѣ болѣзни, доктора не совѣтовали брать ее прямо изъ больницы домой, гдѣ все можетъ волновать ее, а поселить больную подальше отъ дома, на чистомъ воздухѣ, въ деревнѣ... Словомъ, Бети нужна была дача.

Услышавъ слово „дача“, Сара призадумалась... Легко сказать—дача! Во-первыхъ, откуда они возьмутъ денегъ? Но допустимъ, что деньги найдутся,—нѣтъ еще на свѣтѣ такого еврея, который не могъ бы достать денегъ

на лѣченіе... Есть другое препятствіе: „правожительства“! Не всякій еврей можетъ хворать внѣ „черты“: для этого нужно быть привилегированнымъ евреемъ,—окончившимъ университетъ или купцомъ первой гильдіи. Вотъ, на примѣръ, шуринъ Шлойма Фамиліантъ,—у него есть на это право, потому что есть деньги. Но онъ-то не хвораетъ! Хворать долженъ тотъ, у кого нѣтъ ничего. Такъ уже установлено Господомъ Богомъ. Онъ знаетъ, что дѣлаетъ, и никто Ему не указъ...

Эти мысли Сара не только держала про себя, но и открыто высказывала ихъ доктору,—свой человѣкъ, съ нимъ обо всемъ поговорить можно,—и мужу, съ нимъ и подавно говорить можно... Почему не сказать прямо, чтобы онъ сходилъ къ богатой сестрѣ и побесѣдовалъ съ нею: такъ, моль, и такъ, спасти надо ребенка, здоровье поправить... И гдѣ это сказано, что дочери его сестры должны какъ сыръ въ маслѣ кататься, а когда его собственная дочь больна, и доктора говорятъ, что ей необходима дача, какъ жизнь...

— Чего же ты хочешь? Чтобы я попрошайничалъ у своей сестры?—сердится Давидъ, но это не спасаетъ его. Сару не испугаешь. Разъ дѣло касается здоровья ея Бети, мужъ можетъ сердиться, сколько угодно... Перестанетъ, она напомнитъ еще и еще разъ, до тѣхъ поръ, пока онъ плюнетъ, пойдетъ къ сестрѣ

и настоятъ, чтобы та сама пришла и просила, умоляла Бети переѣхать къ ней на дачу.

Такъ оно и вышло. Однажды днемъ, когда Бети лежала въ кровати и дремала, а мать сидѣла вблизи съ работой въ рукахъ, открылась дверь и показалась Тойба Фамилиантъ, сверкая бриллиантовыми серьгами. Сара вскочила и, знакомъ давъ понять невѣсткѣ, что дочь спитъ, вышла къ ней въ корридоръ. Тамъ между ними завязался длинный разговоръ.

— Знаете, Сарочка родная, зачѣмъ я пріѣхала къ вамъ въ больницу?—Сара дѣлаетъ невинное лицо... Откуда ей знать. Что она гадальщица что-ли?

— Я пришла къ вамъ вотъ зачѣмъ. Давидъ передавалъ мнѣ, будто доктора сказали, что вашей дочери необходима дача. Я поговорила съ моимъ Шлоймой и онъ рѣшилъ, что и разговоровъ никакихъ быть не можетъ: какъ только, Богъ дастъ, ваша Бети станетъ на ноги и выпишется изъ больницы, онъ пошлетъ карету и ее перевезутъ къ намъ на дачу.

Душа Сары расплывается отъ радости, но она съ тѣмъ же наивнымъ видомъ восклицаетъ:

— Что вы говорите, Тойбочка, вѣдь Бети, — чтобъ она здорова была!—нужна отдѣльная комната, за ней смотрѣть надо... Право же, это будетъ для васъ затруднительно, хлопотливо...

— Вы, Сарочка, такая умница и чтобъ говорили такія слова, да не накажетъ меня Господь за нихъ! Затруднительно! Хлопотливо! Никакихъ затрудненій и никакихъ хлопотъ! Ни настолечко даже!... А то, что вы говорите объ отдѣльной комнатѣ, меня даже совсѣмъ удивляетъ. Вы вѣдь отлично знаете, что у насъ, слава Богу, достаточно комнатъ. Объ этомъ вы не должны беспокоиться. Дай Богъ, чтобы она могла въ добрый часъ выписаться и переѣхать...

Сара еще чванится:

— Вы забыли, Тойбочка, голубушка, что есть еще загвоздка: „право-жительства“.

— Это вы уже, простите, совсѣмъ по-дѣтски говорите. Вамъ хорошо извѣстно, что, когда мой Шлойма говоритъ, онъ знаетъ, что говорить, и разъ онъ велитъ ей пріѣзжать, такъ онъ уже, вѣроятно, и объ этомъ подумалъ. Шлойма мой вѣдь не мальчикъ, слава Богу!

Сара такъ тронута, что начинаетъ говорить съ золовкой болѣе откровенно:

— Вы, можетъ быть, и правы, Тойбочка, душенька... Но... вамъ это можно сказать, какъ родной сестрѣ... Если бы дѣло зависѣло только отъ меня одной, такъ не было бы никакихъ сомнѣній. Вѣдь это для меня, вы сами понимаете, такое одолженіе, котораго я никогда въ жизни не забуду... Но вѣдь вы знаете мою

Бети,—чтобъ она здорова была! Что тутъ скрывать,—капризная она дѣвушка, охъ, капризная! Вдругъ заупрямится, и подите, разсудайте съ ней! Тѣмъ болѣе теперь...

Богатой золовкѣ это совсѣмъ не нравится: бѣдной родственницѣ хотятъ сдѣлать одолженіе, а она еще фыркаетъ!... Тойба дѣлаетъ набожное лицо:

— Ай, Сара, голубушка,—да не накажетъ меня Господь за эти слова—я совсѣмъ не хочу растревлять ваши раны, у васъ, бѣдной, душа изболѣлась, что тутъ говорить... Но должна сказать вамъ чистую правду, какъ родной сестрѣ,—Господь, испытатель сердець, любить правду: не хорошо вы себя ведете, право же, не хорошо. Я, кажется, тоже мать, и у меня есть дѣти,—чтобъ они здоровы были!—и я дѣлаю все, чтобы они шли вѣрнымъ путемъ...

— Какъ можно сравнивать, Тойбочка! У меня одна дочь, одна звѣздочка, а у васъ, не сглазить бы...

Но набожная золовка не даетъ ей кончить, она хочетъ говорить сама:

— Э, Сара, голубушка, вы такая умница и чтобъ такъ говорили! Вы сами хорошо знаете, что, какъ пишется въ священныхъ книгахъ, дѣти и добродѣтели—даръ Божій: чѣмъ больше, тѣмъ лучше... Если изъ десяти пальцевъ,

не дай Богъ, заболить одинъ, то онъ болить, повѣрьте, такъ же, какъ если бы былъ одинъ...

И долго еще разговариваютъ матери шопотомъ по ту сторону дверей. А когда Сара возвращается, Бети требуетъ, чтобы она рассказала, о чемъ онѣ тамъ шептались съ тетей Тойбой. Сара пытается увернуться, солгать, но это не удается, и ей приходится сказать дочери правду, предпославъ ей длинное предисловіе... Если уже Богъ такъ опредѣлилъ, что у нея есть такая богатая тетка и такой добрый дядя, которые живутъ все лѣто на дачѣ, а дядя къ тому же находится въ такихъ хорошихъ отношеніяхъ съ полиціей...

Сара думаетъ, что уже уговорила дочь. Но оказывается, что Бети и слышать не хочетъ ни о какихъ богатыхъ теткахъ и добрыхъ дядяхъ.

— Тише, тише, не волнуйся!—говоритъ Сара, утирая губы, — Ты думаешь—что? Я и сама ей сказала, теткѣ твоей, что это не годится. Дѣточка моя, да развѣ тебя будутъ принуждать? Забудемъ объ этомъ, ей Богу, забудемъ!

Но какъ можетъ она, мать, забыть такое дѣло, разъ доктора говорятъ, что дочери дача необходима? Воздухъ, говорятъ они, чистый воздухъ ей нуженъ, въ сосновомъ лѣсу пожить надо. . Ну, какъ тутъ молчать? И Сара дипломатически взялась за своего домашняго

врача, убѣждая его, что ея дочери крайне необходимъ воздухъ.

— Воздухъ,—объясняла ему Сара, больше руками,—воздухъ это, говорятъ, нѣчто совершенно необходимое для провѣтриванія внутреннихъ органовъ, какъ, на примѣръ, провѣтриваютъ комнаты, квартиру черезъ окно, или какъ на примѣръ...

— Боже мой!—хватается докторъ за лысую голову. — Что это за женщина! Мнѣ вы еще рассказываете, что такое воздухъ и что нужно вашей дочери! Вѣдь я же вамъ тысячу разъ говорилъ, что вашей дочери нужна дача! ..

— Вы мнѣ говорили? Что же изъ того, что вы *мнѣ* это говорили? Я давно уже съ этимъ согласилась. Вотъ вы *ее* убѣдите, дочь мою, тогда и хвалитесь!

На это докторъ ничего не отвѣтилъ. Онъ только развелъ руками и далъ ей слово сдѣлать все, отъ него зависящее, — поговорить съ дочерью, объяснить ей...

— Чего еще хотите вы отъ меня?

— *Я* отъ васъ?!—удивляется Сара. — Чего мнѣ отъ васъ хотѣтъ? Контрактъ мы съ вами заключили, что ли? Не угодно ли: чего я хочу отъ него?

Докторъ смотритъ на нее однимъ глазомъ: эта женщина позволяетъ себѣ слишкомъ уже много. Въ другое время ей досталось бы,—

не рада была бы. Но теперь,—теперь ему не до того. Онъ самъ еще хорошенько не знаетъ, что съ нимъ, но ему кажется, что пора уже покончить съ холостой жизнью. Пора жениться. И на комъ? Да вотъ на дочери этой бабы!.. Бѣда. — съ тѣхъ поръ какъ эта дѣвушка заболѣла, онъ съ каждымъ днемъ все больше и больше чувствуетъ, что въ ней—его судьба... Сколько больныхъ у него перебывало, но никогда еще съ нимъ не было такого случая... Когда Бети находилась въ опасности, ему казалось, что, если эта дѣвушка умретъ, онъ самъ не знаетъ, что съ нимъ будетъ... А когда ей стало лучше, онъ почувствовалъ, что счастливъ, точно это была не пациентка, а его родная сестра, больше, чѣмъ сестра... Нѣтъ, не даромъ его коллеги подшучивали надъ нимъ, называя его женихомъ, а Сару—тещей...

Догадывалась ли объ этомъ сама Сара? Ему казалось, что да. Мать, повидимому, знаетъ, что онъ пламенно влюбленъ въ ея дочь и потому, вѣроятно, она и обращается съ нимъ по-родственному, даже слишкомъ по-родственному... И докторъ на все готовъ, лишь бы его пациентка окончательно выздоровѣла и онъ могъ бы... Ахъ, объ этомъ страшно и подумать! Вѣдь, пожалуй, дѣло-то придется имѣть съ ней, съ этой бабой... Отъ этой мысли доктора бросаетъ въ жаръ и хо-

лодь. И онъ даетъ слово Сарѣ поговорить съ дочерью о дачѣ, непременно поговорить, но не сейчасъ. Теперь уже поздно,—завтра...

— Завтра такъ завтра,—отвѣчаетъ Сара.— Развѣ я говорю, что обязательно сегодня? Надъ нами не каплетъ, лѣто еще не ушло...

Наступаетъ завтра и послѣ-завтра. Докторъ приходитъ ежедневно, даже по два раза въ день. Сидитъ по часу и больше, но чтобы онъ говорилъ съ Бети о дачѣ, что-то не слышно. Передъ уходомъ Сара дѣлаетъ ему тонкій намекъ:

— Вы, кажется, что-то общались?

Докторъ останавливается и третъ себѣ лысину,—что такое онъ общалъ?...

— Ударьте себя по лбу, можетъ, вспомните!...

Докторъ вспоминаетъ и клянется, что онъ совершенно забылъ... Это такъ же вѣрно, какъ то, что сегодня пятница... Сара отвѣчаетъ, что, если у него есть привычка въ пятницу забывать то, что было въ среду, такъ надо для памяти завязывать узелокъ на платочкѣ...

Но старанія Сары и вся ея дипломатія были напрасны. Бети выслушала разговоръ доктора о дачѣ, о чистомъ воздухѣ и сосновомъ лѣсѣ, лежа въ постели и глядя затуманившимися глазами въ потолокъ, точно тамъ было написано то, что ей надо было отвѣ-

тить ему на это... Къ чему дача, чистый воздухъ, сосновый лѣсъ? Зачѣмъ жить на свѣтѣ, если нѣтъ *его*?...

Сара видитъ по глазамъ дочери, что всякій разговоръ излишенъ, — Бети не поѣдетъ къ теткѣ на дачу, — и дѣлаетъ доктору знакъ, чтобы больше не говорилъ объ этомъ...

Только тогда Бети выразила согласіе ѣхать на дачу, когда мать, осторожно посвящая ее во всѣ мытарства, пережитыя ими во время ея болѣзни, между прочимъ, выболтала и то, что постигло ихъ квартиранта.

Узнавъ, что Рабиновичъ въ тюрьмѣ, Бети прежде всего набросилась на газеты и за какіе-нибудь полдня прочитала все, что было написано объ убійствѣ Володьки. Въ ея головѣ быстро созрѣлъ планъ, какъ открыть настоящихъ преступниковъ и освободить своего избранника изъ тюрьмы. Это стало теперь ея единственнымъ желаніемъ, цѣлью и смысломъ ея существованія. Планъ казался ей простымъ и легко исполнимымъ. Она вспомнила страшную ночь, проведенную ею вдвоемъ съ несчастной, отъ которой пахло геліотропомъ и іодоформомъ. Вспомнила, что та рассказывала ей про своего возлюбленнаго, который, судя по всему, и долженъ быть однимъ изъ тѣхъ, кто убилъ сынишку Кирил-

лихи.. Плохо только, что она забыла и никакъ не можетъ вспомнить ни фамиліи этой несчастной, ни имя ея возлюбленнаго. Тогда въ ту ночь ей и въ голову не приходило, чтобы когда-либо могло пригодиться что нибудь подобное... Многое изъ того, что ей тогда пришлось слышать, въ одно ухо влетало, въ другое вылетало...

Одно запомнилось ей, это—названіе деревни, родомъ изъ которой была несчастная и ея возлюбленный, а деревня эта находилась какъ разъ въ той мѣстности, гдѣ жилъ дядя Фамилиантъ.

Отъ того, что Бети согласилась поѣхать къ тетѣ Тойбѣ на дачу, мать была на седьмомъ небѣ: шутка ли,—такой воздухъ и такая роскошь будутъ у ея дочери и ни копейки это не будетъ стоить!..

Не мало, конечно, наплакалась Сара, когда ей пришлось разстаться съ дочерью. Хоть она тамъ и будетъ среди своихъ, а все же не дома, не подъ наблюдениемъ матери, которая насилу вымолила ее у Бога... Боже милосердный! Не можетъ развѣ такой богачъ, какъ шуринъ, взять ихъ всѣхъ къ себѣ на дачу?! Развѣ Давидъ не нуждается въ воздухѣ? А Семкѣ ужъ конечно лучше было бы играть въ открытомъ полѣ или въ зеленомъ лѣсу, чѣмъ жариться на солнцѣ и дышать пылью еврейской улицы!..

— О, Боже, Боже!—вздыхаетъ Сара, какъ всѣ набожныя еврейки бесѣдуя съ Богомъ, точно съ близкимъ человѣкомъ. — Я, конечно, Тебѣ не указываю, что Ты долженъ дѣлать и чего не долженъ. Если Ты даешь одному мало, а другому много, одному густо, а другому пусто, то Ты, конечно, знаешь, что дѣлаешь. Ты, Создатель Вселенной, какъ говоритъ Тойба, управляешь міромъ по своему усмотрѣнію. Но дай мнѣ, Боже, настолько больше добра, насколько больше я дѣлала бы его для своихъ бѣдныхъ родственниковъ, чѣмъ моя золовка, богачка, которая молится каждый день по толстому молитвеннику, а сама запираетъ хлѣбъ на ключъ и бьетъ прислугу, — не накажи меня, Боже милостивый, за эти слова...

Дочери Сара разъ двадцать повторяла, какъ ей вести себя у богатой тетки на дачѣ,— главное, чтобы слѣдила за собою, ничего бы не дѣлала, только бы ѣла да пила и была на воздухѣ, какъ можно больше на воздухѣ!...

—Воздухъ, воздухъ!—передразниваетъ ее маленькій Семка и получаетъ за это пощечину: не будь дерзкимъ!... Но Семка оставляетъ безъ вниманія пощечину,—онъ садится вмѣстѣ съ сестрою въ фаэтонъ доктора, который везетъ ихъ на дачу.

Дядя долженъ былъ прислать за Бети свой экипажъ. Но такъ какъ докторъ сказалъ, что

ѣхать съ ней нужно осторожно и самъ вызвался сопровождать ее, то рѣшено было, что они поѣдутъ втроемъ, — Бети, докторъ и Семка въ качествѣ провожатаго. Такъ мать и сказала:

— Поѣзжай, Семка, съ докторомъ, будешь провожатымъ!

Семка, конечно, былъ доволенъ такимъ порученіемъ, хотя совсѣмъ не понималъ, зачѣмъ еще нуженъ провожатый, когда сестра ѣдетъ съ докторомъ? И почему сестра вдругъ покраснѣла? И докторъ тоже опустилъ глаза при этихъ словахъ матери? И въ пути Семка тоже не могъ понять, почему они оба молчатъ, — и докторъ, и сестра...

Вернувшись съ Семкой, докторъ разсказалъ, какая у Фамиліантовъ хорошая дача, какой великолѣпный лѣсъ и здоровый воздухъ... А люди!

— Какъ насъ приняли, мадамъ Шапиро!

— Чертъ бы ихъ побралъ! — вставляетъ та. — Обѣднѣютъ они, что ли?

— Не говорите такъ, мадамъ Шапиро, — пробуетъ успокоить ее докторъ, — въ наше время...

— Что вы мнѣ говорите: наше время! Чтобы родная сестра оставляла брата, да еще такого, какъ мой Давидъ, служить у чужихъ, въ то время какъ у мужа такая масса дѣлъ! Намъ

съ вами вдвоемъ хватило бы того, что они тратятъ въ годъ...

Докторъ вскакиваетъ, какъ ошпаренный:

—По-озвольте, мадамъ! Съ какой стати берете вы меня себѣ въ компаніоны? Откуда вы знаете мое состояніе? Я, можетъ быть, и не такъ богатъ, какъ вашъ Шлойма Фамилиантъ, но не могу пожаловаться...

—Пусть Богъ дастъ вамъ втрое больше!— прерываетъ его Сара.—Кто вамъ позавидуетъ, пусть самъ все потеряетъ!

—Не о томъ рѣчь, — волнуется докторъ, который хочетъ направить разговоръ въ опредѣленную сторону.—Я о другомъ говорю...— Онъ мнетъ шляпу въ рукахъ, третъ лысину и не знаетъ, съ чего начать... Придвигается поближе къ Сарѣ и говоритъ:

—Гм... понимаете ли, мадамъ, я хотѣлъ бы поговорить объ одномъ дѣлѣ... Исторія эта такова. Я помню вашу дочь, когда она была еще вотъ такой (показываетъ рукой у самага пола) и смотрѣлъ на нее всегда, какъ на ребенка, какъ на дѣвочку... Теперь же, когда она заболѣла...

—Дай Богъ, чтобы этого не повторилось!— вставляетъ Сара.

—Дай Богъ, чтобы этого не повторилось!... Когда она заболѣла, я каждый день ѣздилъ къ ней, два-три раза въ день...

—Станный вы человѣкъ!— прерываетъ его

Сара.—Такъ я же просила васъ записывать визиты, а вы дулись да сердились, зачѣмъ я это говорю...

Наказаніе, а не женщина!—думаетъ докторъ, вскакивая съ мѣста, вытираетъ платкомъ лысину и снова садится.

—Да не то, мадамъ! Вы меня не поняли, т.-е., вы меня не такъ поняли! Никогда я съ вами о визитахъ не говорилъ, не говорю и не буду говорить...

—Ну, да, вѣдь я же знаю, вы берете, сколько дадутъ... Я уже поговорила съ мужемъ, чтобы...

—По-озвольте, мадамъ Шапиро! — беретъ докторъ тономъ выше.—Дайте мнѣ сказать! Не объ этомъ я говорю! Не хочу я съ васъ денегъ!—Отъ волненія докторъ снимаетъ очки, а Сара спокойно говоритъ ему:

— А если но о деньгахъ, то чего же вы дурите голову?

Докторъ вскакиваетъ со стула, наскоро одѣваетъ очки, шляпу и съ горькой усмѣшкой, со слезами въ голосъ восклицаетъ:

— Какая вы странная женщина! Слышите, — странная вы женщина! Человѣкъ приходитъ къ вамъ съ серьезнымъ дѣломъ, которое, быть можетъ, касается его жизни, а вы говорите съ нимъ, Богъ знаетъ о чемъ, какъ говорятъ съ... съ... извозчикомъ, или я самъ не знаю съ кѣмъ!..

Внѣ себя отъ волненія, весь красный, докторъ хлопаетъ въ сердцахъ дверью и уходитъ. Сара смотритъ въ окно и видитъ, какъ онъ, нахлобучивъ шляпу и согнувшись, лѣзетъ въ свой фаэтончикъ и дѣлаетъ знакъ кучеру, не желая даже оглянуться.

— Сумасшедшій человѣкъ! Добрый, но сумасшедшій человѣкъ, — думаетъ Сара, не понимая, отчего онъ такъ взбѣсился и что такое хотѣлъ онъ сказать... Она уже готова послать его ко всѣмъ нелегкимъ, но вспоминаетъ, что дурного онъ ей вѣдь ничего не сдѣлалъ... Напротивъ, дочь съ Божьей помощью на ноги поставилъ, денегъ не беретъ и еще такъ любезень, что самъ на своей лошади отвезъ ее на дачу и привезъ поклонъ отъ нея... А она такъ холодно приняла его, даже стаканъ чаю не предложила. Но кто же виноватъ въ этомъ, голова у нея такъ трещить, что она даже путемъ не выслушала, что онъ началъ говорить... Вѣдь онъ хотѣлъ что-то сказать, можетъ, нужное...

Не было печали, черти накачали! — успокаиваетъ себя Сара и перестаетъ думать о докторѣ. Мысли ея уносятся куда-то дальше, — есть о чемъ подумать матери...

Первое время, какъ водится, Бети была у богатой родни очень желанной гостьей. Не знали, куда посадить ее, чѣмъ угостить. Всѣ

отъ мала до велика возились съ ней. Тетя Тойба заботилась о ней, какъ нельзя лучше. Она все твердила, что Бети ничего не ѣсть, не пьеть: чѣмъ она жива только? А ея дочери барышни были совсѣмъ въ восторгѣ отъ кухни. Еще бы: свѣжій человѣкъ, съ которымъ поговорить о литературѣ можно, о послѣднемъ романѣ Арцыбашева... И даже самъ дядя ребѣ Шлойма Фамилиантъ выказалъ къ Бети особую любезность и сердечность. Задобривъ полицію, онъ увѣрилъ племянницу, что здѣсь ей будетъ покойнѣе, чѣмъ у себя дома,—на то онъ—Фамилиантъ, человѣкъ съ вѣсомъ и вліяніемъ у начальства! Болѣе того, онъ самъ, собственной персоной, указалъ ей ея комнату и, увидавъ своими близорукими глазами, что тамъ на полу валяется тряпка, близорукій, а все видитъ! поднялъ скандалъ, позвалъ прислугу и задалъ ей трепку. Потомъ онъ повелъ Бети въ садъ, показалъ ей дорогу въ лѣсъ, гдѣ можно привязать гамакъ и лежать себѣ спокойно въ тѣни. Тутъ онъ замѣтилъ на столикѣ стаканъ (близорукій, а все видитъ!) и снова устроилъ скандалъ, показавъ, какой онъ хозяинъ,—гостепріимный, но строгій!

Но гостепріимство богатыхъ родственниковъ стало постепенно испаряться и къ концу лѣта они стали холоднѣе осенняго солнца.

Раньше другихъ косо смотрѣть на Бети стала тетка Тойба. Набожная женщина не

могла простить племянницѣ, что та не молится при зажженныхъ свѣчахъ наканунѣ субботы. Можно быть образованной барышней и все-таки помолиться Богу,—твердила она.—Воздайте кесарево кесарю, а Божіе—Богу. Вотъ ея дочери тоже, кажется, образованныя барышни, тоже русскія книги читають и даже говорятъ по-французски, танцуютъ и играютъ, а все-таки, когда наступаетъ суббота... да что тутъ говорить? На то вѣдь онѣ еврейскія дѣти!...

Бети невиновата, конечно. Ее такъ воспитали. Винить надо ея мать. Какъ это могла жена Давида Шапиро такъ воспитать дочь, что та не знаетъ даже самаго необходимаго, что должна знать каждая еврейская дочь?!

— Не даромъ Мессія не приходитъ!—вздыхаетъ Тойба, дѣлая благочестивое лицо и поджимая губы.

Разумѣется, все это Тойба говорила только дѣтямъ и прислугѣ. Самой Бети она боялась. И не столько Бети какъ мужа. Шлойма Фамилиантъ горою стоялъ за племянницу, а это Тойбѣ было обидно. Она возмущалась, что мужъ беретъ сторону племянницы и за столомъ указываетъ, какъ и и что ей подать... За столомъ, кажется, она, Тойба, хозяйка. Мужское ли это дѣло? А еще благочестивый хасидъ! Если ты хасидъ, то и наблюдай за своими хасидами, пой и молись съ ними, да пляши въ веселые праздники, а

не смотри племянницѣ въ тарелку, да не думай о томъ, пила она сегодня молоко или нѣтъ!

Это, конечно, глупо. Тойба сама знаетъ, что глупо. Но какъ всѣ женщины, подозрѣвающія своихъ мужей въ томъ, что они смотрятъ, куда не слѣдъ, она невѣроятно страдала и не спала по ночамъ.

Но и Шлойма Фамиліантъ самъ мучился не меньше ея и тоже плохо спалъ.

Бети издавна была любимицею дяди. Звалъ онъ ее еврейскимъ именемъ Бася и даже Басенька. Въ дѣтствѣ онъ щипалъ ее за щеку, больно щипалъ, такъ что знаки оставались, и каждый разъ дѣлалъ подарки, чтобы она не плакала. Позднѣе, когда Бети подросла, онъ все еще любилъ ущипнуть ее въ щечки, въ то самое мѣсто, гдѣ бываетъ у нея ямочка, когда она смѣется (такой близорукій, а все видитъ!)... Но давно уже Бети не позволяетъ больше дѣлать этого. Дерзкая стала! Да и тетя Тойба вмѣшалась, взявъ сторону племянницы... Что это за привычка щипаться? Вѣдь больно... Она видѣтъ этого не можетъ...

Шлойма долженъ былъ покориться, но встрѣчаясь съ племянницей, онъ внимательно всматривался въ нее прищуренными глазами (человѣкъ близорукій!) и вздыхалъ... Гм! не сглазить бы!—думалъ онъ.—Такъ недавно, кажется, еще была совсѣмъ ребенкомъ. и вдругъ—женщина!...

А теперь, послѣ болѣзни, онъ насмотрѣться на нее не могъ,—такъ она выросла, развилась, стала женщиной въ полномъ смыслѣ слова и къ тому же красавицей!... Ох-ох-ох-охъ!—тяжело вздыхаетъ Шлойма и ворочается съ боку на бокъ, не можетъ заснуть... Мечты, мечты—чистый грѣхъ! И даже утромъ, за молитвою онъ не можетъ освободиться отъ этихъ мыслей. Одѣнетъ молитвенное облачение, кажется, все честь честью,—и вдругъ въ воображеніи предстанетъ красавица племянница, и снова одолѣваютъ тѣ же мечты... Тогда онъ становится лицомъ къ стѣнѣ, закрываетъ рукою глаза и начинаетъ, качаясь взадъ и впередъ, молиться такъ усердно, такъ усердно!..

„Силень тотъ, кто побѣждаетъ соблазнъ“...

А сны! Что подѣлаешь съ кошмарными снами, когда человѣкъ во снѣ совершенно не властенъ надъ собою, какъ мертвецъ! Съ тѣхъ поръ, какъ племянница живетъ у него въ домѣ, онъ почти каждую ночь видитъ такіе сны, что даже диву дается, откуда это? Счастье еще, что ребѣ Шлойма Фамилиантъ не невѣжда и знаетъ изъ бібліи, что сны—пустое дѣло...

Снится ему, представьте себѣ, что онъ,—да не случится этого ни съ кѣмъ изъ евреевъ!—овдовѣлъ... Умерла его Тойба, царствіе ей небесное!... Онъ въ траурѣ, сидитъ и плачетъ

горькими слезами... Но проходитъ время траура, а онъ и не думаетъ даже жениться вторично. Сваты пороги обиваютъ, покоя не даютъ... Вы обязаны, говорятъ они, жениться, вы не должны оставаться вдовцомъ... Жить одному—грѣхъ передъ Богомъ! Спросите даже раввина, и тотъ скажетъ, что вамъ надо какъ можно скорѣе повѣнчаться съ племянницей... Во-первыхъ, потому, что она ваша родственница и небогатая,—помимо всего, доброе дѣло сдѣлаете,—а, во-вторыхъ...

— Богъ съ тобою, Шлойма, что ты такъ стонешь?—будить его Тойба. И хотя еще очень рано, но оба они уже не могутъ заснуть. Тойба начинаетъ жаловаться на племянницу,—плохо она себя ведетъ. Ей жаль, что они взяли ее сюда.

— Въ чемъ же дѣло?—спрашиваетъ Шлойма, глядя на нее и вспоминая тотъ страшный сонъ, который только что приснился ему.

— Да не хорошо,—говоритъ Тойба, въ своемъ ночномъ чепчикѣ похожая на старую сестру милосердія, не спавшую три ночи подрядъ.—Нехорошо, когда дѣвушка нашего круга заводитъ шашни съ чужими мужчинами, гуляетъ съ ними по лѣсу, секретничаетъ... Дома у матери пускай ведетъ себя, какъ хочетъ, а не здѣсь... У насъ у самихъ взрослые дочери: какой примѣръ для нихъ,—да не накажетъ меня Господь за эти слова!

Подъ „чужими мужчинами“ Тойба разумѣла, во-первыхъ, доктора, который прїѣзжалъ разъ въ недѣлю навѣстить Бети. Если ты докторъ, выслушай больную, пропиши лѣкарство и поѣзжай себѣ съ Богомъ. А то что это за просиживаніе по три часа да разговоры Богъ вѣсть о чемъ!

Однако, это не такъ еще важно. Докторъ, какъ говорится, исцѣлитель больныхъ и свой человѣкъ, привозитъ каждое воскресенье поклонъ изъ дома. Но что дѣлаетъ здѣсь этотъ полустудентъ, у котораго нѣтъ даже пары цѣлыхъ сапогъ? Что за дружба можетъ быть у него съ дочерью Давида? Что за секреты такіе у нихъ, что надо въ лѣсъ уходить шушукаться?

Уже скоро недѣля, какъ Тойба не перестаетъ пилить мужа изъ-за этого полустудента, который пришелъ къ Бети съ визитомъ и пригласилъ ее въ лѣсъ. И барышни, дочери Тойбы, тоже не переставая говорятъ о немъ и дуются на кухню. Шепчутся о чемъ-то между собою, съ матерью, со старшими сестрами, а когда Бети входитъ, всѣ сразу смолкаютъ, многозначительно переглядываются и покапливаютъ, такъ что Бети должна бы быть душой набитой, чтобы не понять, о комъ шель разговоръ,.

Кто же былъ этотъ полустудентъ, возбуждавшій дачную жизнь Фамиліантовъ и по-

служившій причиною охлажденія ихъ къ бѣдной родственницѣ?

Не кто иной, какъ пинскій юноша, старый знакомый Рабиновича, одинъ изъ тринадцати медалистовъ, не удостоившійся чести попасть въ „храмъ науки“.

ГЛАВА XI.

Шерлокъ Холмсъ.

Стоялъ жаркій лѣтній день, одинъ изъ тѣхъ, когда все дремлетъ подъ раскаленнымъ небомъ, когда скупаешь по свѣжемъ вѣтеркѣ, по рѣчкѣ, по кусочкѣ льда, когда каждое живое существо, даже кошка, ищетъ тѣни, чтобы спрятаться отъ немилосерднаго солнца, которое пылаетъ и жжетъ, какъ огнемъ.

Сонно, тихо и словно задумавшись стоялъ густой старый боръ. Здѣсь только, подъ стройными высокими соснами, и можно было переносить отчаянную жару этого несноснаго лѣтняго дня. Тамъ, привязанные между деревьями, висѣли три гамака, въ которыхъ лежали красивые дѣвушки, каждая въ своей позѣ. Двое изъ нихъ были дочери Тойбы Фамилиантъ, еврейскія барышни съ русскими книгами, а третья—ихъ кузина, Бети.

Всѣ трое изнывали отъ жары. У барышень не было даже охоты бесѣдовать съ Бети о литературѣ, что, казалось, никогда бы не

могло надоѣсть имъ. Бети была довольна, что ее оставили въ покоѣ, и унеслась мыслями въ свой собственный мірокъ, гдѣ любила оставаться одна.

Вдругъ пришли сказать, что Бети спрашиваетъ какой-то молодой человѣкъ въ бѣломъ пиджакѣ.

— Молодой человѣкъ въ бѣломъ пиджакѣ? Кто бы это могъ быть?—сказала Бети, вставъ и повернувъ голову въ сторону кузины.

— Зачѣмъ тебѣ гадать? Молодой человѣкъ спрашиваетъ тебя, скажи, чтобы шелъ сюда,— отвѣтили кузины, вставая и поправляя волосы.

Какъ только гость, съ широкой улыбкой на открытомъ веснушчатомъ лицѣ, показался, Бети сразу узнала въ немъ товарища Рабиновича, съ которымъ онъ познакомилъ ее на улицѣ, въ ту памятную ночь... Она покраснѣла и такъ обрадовалась, точно увидѣла самого Рабиновича или, по крайней мѣрѣ, его родного брата.

Бети вспомнила, что, какъ говорила мать, онъ былъ раза два у нея въ больницѣ и спрашивалъ объ ея здоровьѣ. Но она забыла объ этомъ, мысли ея до сихъ поръ были заняты только однимъ, и этотъ одинъ вытѣснилъ изъ ея памяти всѣхъ другихъ... Поэтому она чувствуетъ себя предъ нимъ нѣсколько виноватой и хочетъ принять его особенно любезно... Можетъ быть, онъ пройдетъ съ ней на дачу?—

Къ чему? Онъ не любитъ церемоній, „пустократическихъ“ приемовъ... Онъ челоѣкъ простой. Можно просто присѣсть тутъ же на Божьей землѣ подъ Божьимъ небомъ...

И не долго думая, онъ бросаетъ шляпу на землю и усаживается подъ деревомъ около Бети, обхвативъ колѣни руками.

— Скажите же мнѣ, моя дорогая, какъ вы поживаете и что слышно о вашемъ суженомъ, моемъ полу - русскомъ товарищѣ, въ которомъ нѣтъ ничего еврейскаго, кромѣ имени Рабиновича?

Бети краснѣетъ еще больше и хочетъ замять разговоръ... За все время своего пребыванія на дачѣ ни разу не говорила она съ кухнями о Рабиновичѣ, даже имени его не произносила. Тѣ приписывали это тому, что докторъ тысячу разъ просилъ ихъ не говорить съ ней о немъ. И онѣ щадили ее. Бети не знала, какъ быть... Поспѣшила представить кухнямъ своего знакомаго, но забыла, какъ его зовутъ ..

Гость самъ пришелъ ей на помощь:

— Гурвичъ, Бенья Гурвичъ, — представился онъ самъ, не вставая съ земли и даже не поклонившись, что барышнямъ очень не понравилось. Но гость держалъ себя весело и непринужденно. Замѣтивъ, что дѣвушки недовольно переглядываются, онъ сказалъ имъ:

Какъ видно, мое имя вамъ ничего не говорить. Надо —значить, назвать вамъ городъ,

откуда я родомъ. Городъ этотъ—Пинскъ, слышали когда-нибудь о Пинскѣ? Ну, такъ, я изъ пинскихъ Гурвичей, изъ настоящихъ, пинскихъ Гурвичей...

При этомъ онъ взглянулъ на Бети и по ея лицу увидѣлъ, что она поняла его шутку,—намекъ на ея отца, изъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро... И оба разсмѣялись.

Хорошее впечатлѣніе произвелъ на Бети этотъ Гурвичъ изъ Пинска. Веселый парень, разговорчивый, шутить, самъ смѣется и всѣхъ заражаетъ своимъ смѣхомъ.

Скоро между молодежью завязался оживленный разговоръ. Барышни Фамилиантъ простили гостю его не совсѣмъ галантное поведение и старались перевести разговоръ на новую литературу, на Арцыбашева... Но Гурвичъ вдругъ безцеремонно прервалъ ихъ:

— Послушайте, милыя дѣвицы, почему собственно вы говорите со мной по-русски? Кажется, по моему имени и по моей физиономіи нельзя заключить, чтобы я былъ, не дай Богъ, русскій? Да и сами вы, простите меня, тоже, какъ видно, еврейскія дѣвушки? Если не по лицу, то по вашему выговору это легко понять. Такъ почему же вы не отвѣчаете мнѣ по-еврейски?

Дѣвицы возмутились. Въ первый разъ случается имъ разговаривать съ такимъ страннымъ собесѣдникомъ. Кажется, интеллигент-

ный молодой человекъ, а позволяетъ себѣ такія вещи.. Онѣ попытались оправдаться: развѣ жаргонъ—языкъ, развѣ есть въ немъ грамматика? Это—во-первыхъ. А во-вторыхъ...

Но Гурвичъ не даетъ имъ кончить:

— Жаргонъ не языкъ?—говорить онъ, громко смѣясь.—Въ немъ нѣтъ грамматики? Несчастныя! Во-первыхъ, послушайте, жаргонъ такой же языкъ, какъ и всякій другой,—жалъ, что у меня нѣтъ времени поговорить съ вами на эту тему и показать вамъ, какъ глубоко вы ошибаетесь. А, во-вторыхъ, послушайте, пе-еврейски вы не говорите не потому, что нѣтъ въ еврейскомъ грамматики,—вы, какъ видно, можете прекрасно обходиться и безъ нея.—а потому что вы рабыни, потому что вы слѣдуете модѣ и дѣлаете, что всѣ дѣлаютъ. Вы думаете, что если вы говорите по-русски, то не узнаютъ, кто вы такія, ха-ха-ха... Мы обижаемся на людей за то, что повсюду насъ презираютъ и вездѣ смѣются надъ нами. Но послушайте, какъ мы можемъ требовать отъ другихъ уваженія къ себѣ, когда мы сами топчемъ себя, сами плюемъ себѣ въ лицо?

Барышни были внѣ себя и даже растерялись.

Хорошъ кавалеръ —думали онѣ. Ходитъ ободранный, обтрепанный и разсуждаетъ, какъ невѣжественная баба, приносящая имъ куръ и гусей... Стыдно даже разговаривать съ такимъ человекомъ, право же, стыдно...

Это бы еще ничего, но Бенья Гурвичъ обернулся къ Бети и, какъ-будто бы здѣсь никого другого не было, сказала ей:

— Послушайте, дорогая, вѣдь я пришелъ къ вамъ поговорить объ очень важномъ дѣлѣ и наединѣ...

Обѣ барышни соскочили съ гамаковъ, какъ ужаленныя, и хотѣли уйти, не попрощавшись и оставивъ кухню съ ея интереснымъ кавалеромъ, который не умѣетъ держаться въ интеллигентномъ обществѣ. Но Бети предупредила ихъ. Она первая поднялась и попросила извиненія, сказавъ, что пойдетъ немного погулять со своимъ гостемъ по лѣсу...

Это было для барышень смертельнымъ ударомъ. Но онѣ затаили злобу на кухню, которая ужъ слишкомъ задираетъ носъ, и побѣжали къ матери спросить, знаетъ ли она, кто этотъ оборвышъ, называющій себя Бенею Гурвичъ и хвастающій своимъ происхожденіемъ изъ настоящихъ, пинскихъ Гурвичей?

А Бети со своимъ гостемъ отправилась въ лѣсъ по узенькой тропинкѣ между высокими благоухающими соснами. Когда они отошли настолько, что ихъ не было слышно, Гурвичъ сразу приступилъ къ дѣлу и въ веселомъ тонѣ рассказалъ Бети цѣлую исторію, похожую на сказку изъ тысячи и одной ночи, или на рассказъ о приключеніяхъ Шерлокъ Холмса.

— Послушайте, я человекъ упрямый, — началъ Бенья Гурвичъ, идя по лѣсу такими большими шагами, что долженъ былъ ежеминутно останавливаться, такъ какъ Бети не могла поспѣвать за нимъ. — Изъ упрямства я сижу здѣсь въ этомъ городѣ, безъ „право-жительства“. Они хотятъ, чтобы я сидѣлъ въ Пинскѣ, а я—я нарочно хочу быть здѣсь, — называй меня, какъ хочешь! И вообще, послушайте, мнѣ необходимо здѣсь жить, здѣсь я могу доставать всѣ книги, которыя нужны мнѣ для занятій. Пусть тысячу разъ требуютъ „право-жительства“, мнѣ какое дѣло! Я долженъ добиться своего, хоть бы на меня камни съ неба падали! И я чувствую, что раньше или позже я добьюсь! У меня въ головѣ, послушайте, пропасть такихъ идей и открытій, что если бы меня допустили въ „храмъ науки“ и дали бы все, что нужно,—лабораторію, матеріалы, инструменты,—я весь міръ перевернулъ бы! Можетъ быть, вы посмѣетесь надо мною, подумаете, что я фантазеръ или сумасшедшій, но я, послушайте, уже близокъ, кажется, къ такому открытію, которое избавитъ людей отъ необходимости драться, какъ собаки, изъ-за куска хлѣба. Это—новый химическій продуктъ, который будетъ дешевле хлѣба, мяса, овощей и вполнѣ замѣнитъ ихъ. Это, послушайте, будетъ такой препаратъ, что всякій сможетъ приготовить его собственными руками. Захо-

чется ѣсть, вынешь изъ кармана машинку, повернешь туда, сюда,—готовъ обѣд!

Какъ повернуть, онъ показалъ руками съ такимъ серьезнымъ видомъ, точно машинка была уже у него въ рукахъ.

— Какъ я до этого дошелъ и чего я натерпѣлся, пока досталъ самыя необходимыя средства для первыхъ опытовъ и какія опыты еще надо опредѣлить, чтобы достигнуть цѣли,—было бы долго рассказывать да и поймете ли вы? Я не говорю, что уже добился своего,—я не на столько глупъ,—но мнѣ кажется, что я на вѣрномъ пути. Многіе уже до меня ломали себѣ голову надъ подобными мировыми проблемами, и суждено ли мнѣ чего-нибудь добиться,—не знаю. Быть можетъ, да, быть можетъ, нѣтъ. Но если мнѣ удастся, какъ я надѣюсь, добиться своего, то вы можете себѣ представить, какое значеніе для меня получить „право-жительства“, чертъ ихъ возьми! Подумайте только, какой переворотъ произвело бы такое открытіе, какъ измѣнился бы земной шаръ, когда всѣ были бы сыты, не стало бы больше голодныхъ, недовольныхъ, исчезли бы классовая борьба, люмпенпролетаріатъ, всѣ бѣды и несчастія!

Онъ говорилъ въ такомъ повышенномъ бодромъ тонѣ, его глаза такъ сверкали побѣдой, а веснушчатое лицо такъ сіяло счастьемъ, что Бети изрѣдка съ любопытствомъ посматрива-

ла на этого страннаго субъекта. Вотъ онъ на минуту остановился и вытеръ потъ съ лица полою желтовато-бѣлаго поношеннаго пиджака... Счастливый изобрѣтатель новаго пищевого продукта, которымъ онъ собирается облагодѣтельствовать мѣръ, носилъ пока нищенскій костюмъ, сильно нуждавшійся въ чисткѣ и починкѣ ..

— Итакъ, я человѣкъ упрямый, живу здѣсь безъ всякаго „права-жительства“ и дѣлаю свое дѣло... Но, послушайте, желудокъ знать не хочетъ ни о какомъ упрямствѣ и „правѣ-жительства“, и пока новый препаратъ будетъ готовъ, требуетъ, чтобы его чѣмъ-нибудь наполнили. Что же дѣлаетъ Бенья Гурвичъ изъ Пинска? Онъ даетъ уроки и притомъ у русскихъ, да еще у такихъ русскихъ, которые довольно близко стоятъ къ полиціи... Является вопросъ: какимъ образомъ попалъ я къ полиціи? Очень просто! Именно, благодаря тому, что у меня нѣтъ „права-жительства“, я и обратился къ полиціи, которая и выручила меня... Однажды я сказалъ себѣ: „Чѣмъ ты рискуешь, Бенья? Все равно вѣдь пропадаешь. Попробуй лучше добромъ ихъ взять, чѣмъ ссориться!“ И я обратился къ одному изъ нихъ, съ глазу на глазъ: „Послушай-ка, человѣче, что я скажу тебѣ. Дѣло такое: денегъ тебѣ давать я не могу, а ты такой человѣкъ, что деньги получать долженъ..

Такъ не могу ли я платить тебѣ натурою?“ — Какимъ образомъ? — „У тебя, говорю, есть дѣти, и ты навѣрно хочешь, чтобы они знали кое-что. Такъ я берусь учить ихъ каждый день часъ, два часа, три часа и ручаюсь, что, будь они у тебя дубины стоерослыя, я изъ нихъ людей сдѣлаю“. Тотъ смотритъ на меня: идея, видимо, ему понравилась. „Зайдите, говоритъ, ко мнѣ на домъ въ такой-то часъ, побесѣдуемъ“.

Ну, я, конечно, не полѣнился и въ назначенный часъ пришелъ. Смотрю, — дѣти въ самомъ дѣлѣ дубины дубинами! Но, послушайте, повезло мнѣ съ тѣхъ поръ. Онъ рекомендовалъ меня другому, уже за деньги, другой третьему, и такимъ-то образомъ попалъ я къ одной важной шишкѣ, находящейся теперь въ немилости. За что попалъ онъ въ немилость? Интрига какая-то. Давно его выживали, наконецъ, выжили, — царствіе ему небесное! Но это еще присказка, сказка будетъ впереди.

Мало-по малу вошелъ я къ нему въ такое довѣріе, что онъ, послушайте, рассказалъ мнѣ кое-что близкое, касающееся васъ...

Бети встрепелась и, какъ ему показалось, немного поблѣднѣла:

— Меня?...

Гурвичъ успокоилъ ее:

— Если не прямо васъ, то вашего... Ну, скажемъ, вашего друга и моего товарища,

полу-гоя, страдающаго теперь за все еврейство...

Бети перевела дыханіе, а Гурвичъ продолжалъ:

— Словомъ, человѣкъ этотъ, стремившійся къ почестямъ и повышеніямъ, какъ только его устранили, рѣшилъ мстить: „око за око“, какъ говорится у насъ въ писаніи. Онъ далъ себѣ клятву отомстить врагамъ. У него, послушайте, была обязанность разыскивать воровъ и краденныя вещи. Въ эти дѣла, имѣющія, значить, большое касательство къ восьмой заповѣди, онъ уходилъ съ головой и былъ такой знатокъ въ нихъ, что ему довѣрили, послушайте, кучу дѣлъ о цѣлой бандѣ воровъ и мошенниковъ. Онъ взялся все краденное отыскать и шайку воровъ изловить по одному человѣку. Труда онъ не жалѣлъ, перебивалъ во всѣхъ кабачкахъ и притонахъ, подружился со всѣми ворами и хулиганами, изучилъ ихъ языкъ, вмѣстѣ съ ними пьянствовалъ и ходилъ воровать, ломать замки, а потомъ далъ арестовать себя вмѣстѣ съ ними, чтобы узнать у нихъ какъ можно больше секретовъ... Если бы ему удалось довести дѣло до конца, то онъ, конечно, получилъ бы повышение и сталъ бы со временемъ знаменитостью, своего рода Шерлокъ Холмсомъ или Натъ Пинкертономъ. Но, къ несчастью, все повернулось иначе. Онъ приближался уже къ ликвидаціи

дѣла, какъ дернула его нелегкая предложить себя для новаго разслѣдованія, во время котораго онъ познакомился съ однимъ молодымъ парнемъ, ловкимъ воромъ. И вотъ, послушайте. этотъ парень подъ пьяную руку признался ему въ цѣломъ рядѣ преступленій, разбоевъ и грабежей, въ томъ числѣ и въ убійствѣ Володи Щигрюка, которому суждено пріобрѣсти всемірную извѣстность, благодаря существованію на свѣтѣ насъ, евреевъ... До тѣхъ поръ человѣкъ, о которомъ, я вамъ рассказываю, былъ увѣренъ, какъ и многіе другіе христіане, что смерть Володьки — дѣло рукъ евреевъ. Да и теперь онъ убѣжденъ, что весь годъ мы ѣдимъ птицъ, какъ всѣ люди, а когда приходитъ Пасха, глотаемъ мальчиковъ и обязательно христіанскихъ... Ладно. Взявшись за новое дѣло, мой Шерлокъ Холмсъ или Натъ Пинкертонъ плюнулъ на всѣ кражи и злодѣйства и со всей энергіей отдался новому дѣлу, не упуская изъ виду парня, рассказавшаго ему эту исторію. Онъ свелъ съ нимъ дружбу, сталъ въ пріятельскія отношенія и началъ понемногу, по капелькѣ выуживать одну подробность за другой, пока не узналъ все, всѣхъ участниковъ, всѣхъ помощниковъ и помощницъ. И, послушайте, ихъ оказалась цѣлая банда, въ томъ числѣ три женщины...

Бети слушала, затаивъ дыханіе, съ возрастающимъ интересомъ, а Гурвичъ продолжалъ:

— Мой Шерлокъ Холмсъ потираль руки отъ удовольствія. Если вы помните, Володька говорилъ своей матери, что какой-то незнакомый господинъ даетъ ему конфекты и спрашиваетъ его,—такъ этотъ господинъ былъ все тотъ же Натъ Пинкертонъ. Выходило, значить, что онъ самъ былъ до нѣкоторой степени причиной убійства Володьки. Это еще больше побуждало его какъ можно скорѣе раскрыть все дѣло, и онъ, конечно, раскрылъ бы его блестящимъ образомъ, если бы вдругъ не свалилась на него бѣда. За что удалили его съ мѣста, въ самый разгаръ работы, онъ и самъ не знаетъ. Онъ уже попалъ на вѣрный слѣдъ, еще немного и все дѣло было бы, какъ на ладони. Только одинъ пунктъ оставался неяснымъ для него: не могъ онъ понять, откуда взялись сорокъ девять ранъ на тѣлѣ убитаго мальчика? Число сорокъ девять не нравилось ему. У евреевъ, говоритъ, это—кабалистическое число... Согласно кабалѣ, говоритъ, евреи должны извлекать кровь черезъ сорокъ девять ранъ... Я, конечно, расхотался и говорю ему: „Послушай-ка, кабалу оставь въ покоѣ. Ты такъ же далекъ отъ кабалы, какъ я отъ того, чтобы выпускать кровь черезъ сорокъ девять ранъ... Но одному я удивляюсь: ты—человѣкъ съ энергіей и умомъ, почти Шерлокъ Холмсъ или по крайней мѣрѣ Натъ Пинкертонъ и отлично пони-

маешь, что мальчишка палъ жертвой вовсе не евреевъ, а тѣхъ же воровъ и хулигановъ, убившихъ Володьку изъ собственныхъ интересовъ. Такъ какъ же тебѣ на умъ не приходитъ, что убійцы нарочно сдѣлали на тѣлѣ сорокъ девять уколовъ, чтобы свалить вину на евреевъ и отвести глаза тебѣ и такимъ же, какъ ты, Пинкертонамъ, которые такъ же знаютъ, что дѣлается у насъ, евреевъ, какъ я, что творится на Марсѣ“. Мой Шерлокъ Холмсъ задумался и говоритъ: „Все это, можетъ быть, и такъ, но ты меня не увѣришь, что вы можете обойтись на Пасхѣ безъ нашей крови“... Несчастливая твоя голова!—думаю я. „Но вотъ что,—продолжаетъ онъ: — скажу тебѣ всю правду, меня беспокоитъ другое: я боюсь полагаться на слова этого молодца. Мало ли чѣмъ хвастаютъ воры подъ пьяную руку! Въ такомъ дѣлѣ нужно имѣть серьезное доказательство, большую улику, то, что юристы называютъ „corpus delicti“... И чтобы получить такое показаніе, онъ рѣшилъ, какъ настоящій Шерлокъ Холмсъ, сказать парню, что не вѣритъ ему, что все это ложь, чистѣйшее хвастовство и больше ничего. Тотъ, конечно, божится, клянется, а онъ все не вѣритъ... Въ концѣ концовъ послушайте, онъ довелъ молодца до такого состоянія, что тотъ обѣщаль представить не сегодня-завтра самыя неоспоримыя доказательства, вещи уби-

таго Шигрюка. Вещи эти находятся, молъ, у его бывшей возлюбленной, съ которой онъ теперь въ ссорѣ... „Какъ же ее зовутъ?“ Этого онъ ни за что не скажетъ... „Ну, а что это, за вещи, ты можешь сказать?“ Это ранецъ съ книгами и тетрадами, который былъ у Володьки въ то утро, когда его убили...

И вотъ, послушайте, въ самый-то интересный моментъ пришелъ конецъ Шерлоку Холмсу, молодой воръ куда-то исчезъ, а „корпусъ деликти“, ранецъ съ книгами и тетрадами, находится гдѣ-то у дѣвушки, имени которой онъ до сихъ поръ не знаетъ, ищетъ ее всѣми средствами и надѣется, увѣренъ, что найдетъ, — изъ-подъ земли выкопаетъ, да найдетъ!... И я ему вѣрю. Знаете, почему? Потому что онъ дѣлаетъ это изъ злобы. Нѣтъ, послушайте, средства вѣриѣе злобы, нѣтъ ничего опаснѣе жажды мести...

Съ самага начала Бенья Гурвичъ понравился Бети своей манерой говорить. Весь онъ приходилъ въ движеніе, глаза сверкали, лицо горѣло, а его громкій смѣхъ то и дѣло эхомъ отдавался по лѣсу. Не удивительно, что Бети внимательно выслушала его до конца, не прерывая ни единымъ словомъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ большій интересъ приобрѣталъ для нея его рассказъ, а вмѣстѣ съ интересомъ росли

также ея довѣріе и симпатія къ молодому человѣку. Она вспомнила ихъ первую встрѣчу въ ту памятную ночь, когда всѣ они собирались бѣжать, куда глаза глядятъ, вспомнила и его разговоръ съ Рабиновичемъ. Еще тогда онъ показался ей очень симпатичнымъ. Она сравнивала тогда ихъ обоихъ, и ей казалось, что Гурвичъ стоитъ гораздо выше, и ей еще, помнится, досадно было, почему выше... Не лучше,—нѣтъ, этого она не скажетъ, а выше, развитѣе, искреннѣе, мягче...

Самъ Богъ направилъ его сюда,—думаетъ Бети, слушая его рассказъ и боясь пропустить слово. Все, каждая мелочь имѣетъ для нея значеніе, всю важность котораго никто не можетъ оцѣнить лучше ея, такъ какъ никто не знаетъ того, что знаетъ она... Въдь это она просидѣла ночь въ участкѣ вмѣстѣ съ той, которую теперь разыскиваетъ и не можетъ разыскать „Шерлокъ Холмсъ“... Женщина, отъ которой пахло іодоформомъ и геліотропомъ и которая рассказала тогда Бети столько страшныхъ исторій, эта женщина и хранить, значитъ, ключъ отъ всего дѣла, у нея и находится центръ всѣхъ уликъ, *corpus delicti* всего процесса—ранецъ съ книгами и тетрадами убитаго Володьки... Если удастся достать эти вещи и поймать шайку воровъ, тогда конецъ „ритуалу“, все обвиненіе падетъ само собою, и Рабиновича освободятъ!...

Нѣтъ, Бети дольше не въ состоянїи владѣть собою. Она протягиваетъ обѣ руки Гурвичу и даритъ его полнымъ признательности взглядомъ прекрасныхъ глазъ.

— Исторія, которую вы только что рассказали, полна необыкновеннаго интереса для меня, для всѣхъ насъ! Вы совсѣмъ не представляете себѣ, что изъ этого можетъ выйти, и у меня нѣтъ достаточно словъ, чтобы выразить вамъ свою благодарность за вашъ... за вашъ визитъ!

— Благодарность за мой визитъ? — окидываетъ ее сверху до-низу Гурвичъ иронически-добродушнымъ взглядомъ, какимъ смотритъ отецъ на дочь или старшій братъ на наивно-глупенькую сестру, и заливается громкимъ, здоровымъ смѣхомъ, который разносится далеко по лѣсу.—Ха-ха-ха! Послушайте, я охотно возвращаю вамъ половину благодарности! Если мой товарищъ вамъ и ближе, чѣмъ мнѣ, такъ вѣдь онъ прежде всего еврей и сидитъ подъ семью замками! Но не онъ одинъ сидитъ. вмѣстѣ съ нимъ сидятъ милліоны евреевъ! Всѣхъ насъ обвиняютъ въ преступленїи, отъ котораго стыдно даже защищаться... Такъ, послушайте, какъ же вы можете говорить о благодарности да еще въ такомъ почувствованномъ стилѣ, ха-ха-ха!

— Вы меня плохо поняли,—хочетъ поправиться Бети.—Для меня вашъ рассказъ имѣ-

еть особый интересъ. У меня есть средство отыскать невѣсту вора, которую ищутъ и не могутъ найти...

Тутъ Бети останавливается. У нея зарождаются тысячи плановъ, какъ взяться за дѣло... Прежде всего надо узнать имя этой женщины, что не трудно. Вѣроятно, оно записано въ полицейской книгѣ рядомъ съ именемъ ея, Бети. Надо, слѣдовательно, навести справку въ книгѣ, а это можетъ сдѣлать только тотъ... „шишка“... Но говорить объ этомъ съ Гурвичемъ ей неловко. Ея гордая натура мѣшаетъ ей сказать, что когда-то она сидѣла въ участкѣ. Вдругъ онъ начнетъ спрашивать ее о томъ, что ей хочется забыть... А молчать тоже трудно. Пора уже, пора взяться за работу!... Теперь пришло ея время, теперь она должна и можетъ дѣйствовать... Въ одну минуту у нея въ головѣ созрѣваетъ планъ. Она подходитъ къ Гурвичу ближе и еще разъ даритъ его взглядомъ прекрасныхъ глазъ, за который Рабиновичъ навѣрное отдалъ бы полъ жизни, если не всю жизнь:

— У меня къ вамъ просьба...

Гурвичъ опускаетъ обѣ руки въ карманы своего желтовато-бѣлаго пиджака и, окинувъ ее иронически-веселымъ взглядомъ, спрашиваетъ сразу на нѣсколькихъ языкахъ:

— Просьба? Какая же напимѣръ, zum Beispiel, par exemple?

Бети немного отступаетъ... Что это за человекъ? Только что онъ говорилъ съ такимъ жаромъ о гениальныхъ открытіяхъ, о серьезныхъ вещахъ—и вдругъ дурака валяетъ, паясничаетъ, да еще въ такой моментъ, когда съ нимъ говорятъ о такомъ дѣлѣ, съ которымъ связана честь всего еврейства... И она въ довольно рѣзкой формѣ дѣлаетъ ему замѣчаніе, что каламбуровъ не любитъ и шутки допускаетъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ умѣстны... Вообще она не понимаетъ, какъ можно смѣяться и быть веселымъ, когда товарищъ сидитъ, по его же выраженію, за семью замками...

— Вы не понимаете, какъ можно быть веселымъ? Послушайте, достаточно только васъ увидѣть и невольно дѣлается весело на душѣ... Но будетъ! Миръ!—добавляетъ онъ, видя, что она еще больше разсердилась, и протягиваетъ ей свою большую руку, испачканную краской или какими-то химическими препаратами.—Послушайте, помиримся! Нельзя намъ ссориться, намъ надо быть друзьями... Ну? Простили? Теперь скажите, въ чемъ ваша просьба, и я обѣщаю вамъ полъ царства!...

Бети видитъ, что нѣтъ никакой возможности долго сердиться на этого человека. Уже послѣ перваго его слова „миръ“ у нея улеглось сердце, и она сказала капризно, едва улыбаясь:

— Я должна бы проучить васъ хорошенько, чтобы вы запомнили. Но сегодня вы принесли мнѣ такую хорошую вѣсть, что на этотъ разъ я васъ прощаю. А просьба моя такая: я хочу, чтобы вы познакомили меня съ этимъ... съ этимъ...

— Съ моимъ Шерлокомъ Холмсомъ?—помогаетъ ей Гурвичъ.—Зачѣмъ?

Онъ смотритъ на нее своимъ добродушно-насмѣшливымъ взглядомъ и ждетъ.

Сказать ему—зачѣмъ? Разказать, что она просидѣла ночь въ участкѣ съ уличной женщиной,—нѣтъ, ни за что! Ни за что!

— Такъ я хочу... Я хочу повидать его... Надо, стало быть.

— Зачѣмъ?

Бети начинаетъ сердиться... Вотъ странный! ..

— Зачѣмъ?—передразниваетъ она его.— А вамъ какое дѣло? Разъ я говорю, что мнѣ надо съ нимъ повидаться, такъ я уже знаю—зачѣмъ. Или я должна давать вамъ отчетъ?

Но Гурвичъ не изъ пугливыхъ. Онъ останавливается и смотритъ ей прямо въ глаза:

— Отчетъ давать, говорите вы? На что, послушайте, мнѣ вашъ отчетъ? Я могу обойтись и безъ вашего отчета, повѣрьте мнѣ. Не хотите говорить, не надо. Обѣщаю вамъ сдѣлать все, что вы захотите.

Бети чувствуетъ, что была съ нимъ слишкомъ рѣзка. Онъ такой любезный, говорить

съ ней такъ ласково, мягко, а она... Ей хочется чѣмъ-нибудь загладить свою вину:

— Вы должны мнѣ повѣрить, что это не простое любопытство,—мягко говоритъ она, срывая нѣсколько зеленыхъ пахучихъ иглъ. — Хотя я и не Шерлокъ Холмсъ, тѣмъ не мене у меня есть возможность помочь вашему знакомому найти ту... Словомъ, я могу быть полезна... Итакъ, прошу васъ, познакомьте меня съ этимъ... какъ вы его называете?

Все время, пока Бети говоритъ, Гурвичъ, положивъ руки въ карманы, смотритъ на нее, любясь, и думаетъ: огонь-дѣвушка! Она заткнетъ за поясъ троихъ Рабиновичей! Право же, онъ не глупъ, этотъ Рабиновичъ!..

— Что вы на меня такъ смотрите? — спрашиваетъ вдругъ Бети, бросивъ зеленыя иглы.

— Что я смотрю? Думаю, какъ лучше это устроить. Чтобы вы отправились къ нему—слишкомъ много чести! Ему прійти къ вамъ—неудобно изъ-за вашихъ богатыхъ и набожныхъ родственниковъ... Какъ же быть, какъ попасть кошкѣ черезъ рѣчку?

— Ну да, какъ попасть кошкѣ черезъ рѣчку?—повторяетъ за нимъ Бети и все еще чувствуетъ себя виноватой передъ молодымъ человѣкомъ. Но тотъ уже давно забылъ обо всемъ и весело восклицаетъ, хлопая себя по лбу:

— Послушайте, знаете что? Въ воскре-

сенье, когда всѣ ѣдутъ на дачи отдохнуть и подышать чистымъ воздухомъ, я скажу своему Шерлоку: „Послушай-ка, друже, есть человѣкъ,—я не скажу, кто именно,—который хочетъ повидаться съ тобою и сообщить важныя свѣдѣнія по извѣстному дѣлу“... Я увѣренъ, что онъ полетитъ сломя голову. Я также приду съ нимъ на это мѣсто... Нѣтъ, я приѣду съ нимъ на вокзалъ, гдѣ вы будете ждать насъ ровно въ часъ дня, и оттуда мы всѣ трое пойдемъ, или по ту сторону въ поле, или сюда въ лѣсъ. Вы поговорите съ нимъ, о чемъ надо, а я мѣшать не буду... Нравится вамъ мой планъ?

Вотъ вопросъ! Да Бети на седьмомъ небѣ! Наконецъ-то, она возьмется за работу, поможетъ распутать узелъ и освободитъ невиннаго! И кому она этимъ обязана если не ему, этому Бенѣ Гурвичу изъ Пинска?—Станный человѣкъ, но золотая душа... И Бети прощается съ нимъ тепло, еще и еще разъ жметъ его большую корявую руку, и они расходятся, — онъ на вокзалъ, чтобы ѣхать въ городъ, она къ своимъ богатымъ родственникамъ на дачу, довольная и счастливая...

Весь міръ сразу измѣнился въ ея глазахъ. Гдѣ былъ все время этотъ прекрасный лѣсъ? Почему до сихъ поръ не чувствовала она этого волшебнаго аромата, наполняющаго воздухъ? Гдѣ были всѣ эти птицы и птички,

мухи и мушки? Почему до сихъ поръ не слышала она ихъ пѣнія и свиста, ихъ жужжанія и стрекотанія? А небо,—развѣ не сіяло оно и раньше, такое же синее и безконечно глубокое? Кто же это выдумалъ, что жизнь—печальная глупая шутка?...

Когда Бети пришла домой на дачу, раскраснѣвшаяся отъ жары и сіяющая отъ счастья, тетка Тойба встрѣтила ее холоднымъ взглядомъ и, поджавъ губы, сухо спросила:

— Гдѣ ты была такъ долго? Искали тебя всюду, гдѣ только мѣжно, весь лѣсъ обошли вдоль и поперекъ... Дядя перепугался и велѣлъ уже заложить фаэтонъ, чтобы ѣхать искать тебя въ городъ... Мало ли что могутъ натворить теперешнія молодыя дѣвушки, назначающія свиданія въ лѣсу такимъ молодымъ людямъ, какъ этотъ прощальга, да не накажетъ меня Господь за мои слова, не хочу я сказать ни про кого худого. Какъ сказано въ Писаніи: не говори дурно про твоего ближняго...

Пока набожная тетка читала Бети эту нотацію въ стилѣ нашихъ прабабушекъ, барышни сидѣли тутъ же, якобы углубившись въ книжки и ничего не слыша. Но по лицу ихъ видно было, что онѣ дулись на кузину. Да и всѣ на нее въ этотъ день были сердиты. Но какое

дѣло до нихъ Бети, когда въ ближайшее воскресенье увидится она съ человѣкомъ, въ рукахъ котораго находится все дѣло, отъ котораго зависитъ не только ея личное счастье, но и честь ея народа, цѣлаго народа!..

ГЛАВА XII.

Встрѣча.

Въ условленное воскресенье Бети еще съ утра одѣлась во все бѣлое: бѣлое батистовое платье съ бѣлыми кружевами, бѣлая шляпа, бѣлыя перчатки, бѣлый зонтикъ и даже туфельки бѣлыя... Костюмъ этотъ былъ не перваго сорта, можетъ быть, даже самый дешевой, какой только могла купить ей мать, но зато онъ такъ шелъ къ ея прелестной фигурѣ, къ ея красивому лицу, окаймленному пышными, наскоро собранными волосами, къ ея большимъ каримъ глазамъ подъ густыми шелковыми бровями,—что все на ней въ этотъ прекрасный лѣтній день блестѣло, сверкало и пѣло...

Бети никому не говорила, что собирается куда-нибудь итти, и старалась скрыть свое волненіе. Но послѣ обѣда, когда Фамилианты легли отдохнуть, а барышни, взявъ книжки и гамаки, отправились въ лѣсъ, Бети, подождавъ немного, выскользнула изъ комнаты въ садъ, а оттуда пробралась на вокзалъ.

Она попала какъ разъ къ приходу поѣзда, откуда высыпали пріѣхавшіе съ пакетами, узелками, корзинками и корзиночками... Поднялась обычная суматоха.

Бети издали узнала по желтовато-бѣлому пиджаку Гурвича, который широко улыбался, выходя изъ вагона вмѣстѣ съ какимъ-то высокимъ господиномъ въ такой широко-полой соломенной шляпѣ, что не было возможности разглядѣть его лицо.

Гурвичъ на минуту оставилъ своего спутника, а самъ быстро направился къ Бети и весело сказалъ ей:

— Поздравляю васъ, привелъ вамъ того самаго, кого вы такъ хотѣли видѣть,—бывшую „шишку“... Онъ все [еще ничего не узналъ, будь онъ проклять!... Послушайте, гдѣ же вы думаете принять его, или вѣрнѣе сказать, гдѣ вы назначите ему rendez-vous?

Оживленіе Гурвича передалось Бети и она, смѣясь, указала недалеко отъ вокзала аллею молодыхъ деревьевъ, поднимающуюся вверхъ по горѣ съ зелеными скамейками по сторонамъ. Въ концѣ аллеи находится фонтанъ съ амуромъ, у котораго по трубкѣ изо рта струится вода. Тамъ она будетъ сидѣть и ждать.

— Отлично!—согласился Гурвичъ,—настоящій Эдень! Послушайте, болѣе романтическаго мѣста для свиданія еврейской Суламифъ съ русскимъ Шерлокомъ Холмсомъ и не придумаютъ.

мать, ха-ха-ха! Будьте добры, подождите насъ тамъ, а я пойду за своимъ гоемъ.—Съ этими словами Гурвичъ весело побѣждалъ къ своему знакомому, а Бети пошла къ фонтану.

Еще минута, и на вокзалѣ не осталось ни души, кромѣ носильщиковъ и сторожей, перевозившихъ [багажъ. да еще вертѣлся начальникъ станціи съ чахоточнымъ лицомъ въ красномъ картузѣ, надвинутомъ до самыхъ оттопыренныхъ ушей. Хотя было жарко, но онъ держалъ обѣ руки въ карманахъ теплаго пальто и все посматривалъ вверхъ, видимо, радуясь чистому небу и теплomu солнышку.

Скоро показался Гурвичъ въ сопровожденіи высокаго широкоплечаго господина въ большой бѣлой шляпѣ, изъ-подъ которой рѣзко выдѣлялись темно-синіе очки съ круглыми выпуклыми стеклами, созданныя спеціально для того, чтобы скрывать глаза. Бети никогда не нравились такіе очки, особенно со времени встрѣчи съ однимъ господиномъ...

Вспомнила Бети эту встрѣчу—и пропало у нея хорошее настроеніе, навѣянное Гурвичемъ... Между тѣмъ господинъ въ синихъ очкахъ еще издали, прежде чѣмъ Гурвичъ представилъ его, снялъ шляпу,—и тутъ Бети пришлось ухватиться за скамейку, чтобы не упасть.

Она узнала его...

.....
Въ эту минуту она пережила еще разъ все,

что пережила въ ту ночь, которой не забудетъ никогда... Что дѣлать? Бѣжать?... Но не было силъ даже подняться и сказать что-нибудь.. Зачѣмъ она раньше не разспросила хорошенько, кто это?.. Вѣдь называлъ же его Гурвичъ „сыщикомъ въ отставкѣ“... Не трудно было догадаться. Но теперь уже поздно... Это—*онъ!* Теперь онъ—*ея* союзникъ, черезъ него надо будетъ дѣйствовать, спасти честь ея возлюбленнаго и честь ея народа,—какая жестокая иронія!..

Не менѣе Бети пораженъ былъ и подошедшій господинъ. Видно было, что и онъ тотчасъ же узналъ ее,—какъ поднялъ руку со шляпой, такъ и застылъ неподвижно... Только на лицѣ у него въ одну минуту смѣнилось нѣсколько выраженій... Физиономія его обладала страннымъ свойствомъ ежеминутно измѣняться. Повидавшись съ нимъ сегодня, вы не можете быть увѣрены, что завтра увидите его такимъ же.

На этотъ разъ онъ такъ растерялся, что самъ не зналъ, какой видъ принять. По пути сюда онъ нѣсколько разъ просилъ Гурвича сказать ему, кто этотъ человекъ, что хочетъ видѣть его. Да и ѣхалъ сюда онъ неохотно. Если бы не этотъ „ловкій еврейчикъ“, къ которому онъ питаетъ странную симпатію и довѣріе, онъ, быть можетъ, и совсѣмъ бы не поѣхалъ. „Еврейчикъ“ дразнилъ его, что онъ

трусъ, что онъ боится.. Онъ трусь? Онъ, возившійся со всѣми ворами, хулиганами и разбойниками, боится еврея?! Больше онъ не хотѣлъ спрашивать, поѣхаль—и вотъ кого увидѣлъ!..

Кого-кого, но эту дѣвушку встрѣтить здѣсь ему и во снѣ не снилось! Вѣдь это ли „Венера съ еврейской улицы“...

Сколько разъ онъ думалъ о ней! Сколько разъ ему хотѣлось узнать, что съ ней, гдѣ она... Слышалъ, что она была больна, лежала въ больницѣ, слышалъ даже, что она будто бы умерла... И вотъ она здѣсь!.. Она-то и хочеть съ нимъ видѣться, говорить о дѣлѣ, которому онъ готовъ отдать жизнь, чтобы отомстить своимъ кровнымъ врагамъ! Да, если бы предъ нимъ земля разверзлась, онъ, не колеблясь, бросился бы туда!

Трудно сказать, что почувствовалъ этотъ человѣкъ за нѣсколько минутъ: досаду? раскаяніе? угрызенія совѣсти? ненависть къ самому себѣ?..

— Простите,—сказала Бети спокойно, хотя голосъ ея немного дрожалъ и щеки пылали,—мы не станемъ представляться другъ другу, какъ принято, и не назовемъ именъ... У насъ есть дѣло поважнѣе этого. Мы встрѣчаемся съ вами въ *первый* (она ставитъ удареніе на словѣ „первый“) и, вѣроятно, послѣдній разъ. Не будемъ терять времени,—у насъ его очень

мало. Мнѣ еще надо поѣхать отсюда въ другое мѣсто, гдѣ я живу (она бросаетъ взглядъ Гурвичу). Приступимъ прямо къ дѣлу.

Она сѣла на скамейку и указала ему мѣсто возлѣ себя. Тотъ снялъ шляпу и долго не находилъ мѣста для нея. Видно было, что онъ очень взволнованъ и еще не пришелъ въ себя. Наконецъ, онъ присѣлъ, все еще не вымолвивъ ни слова. Но потому, какъ онъ смотрѣлъ сквозь очки на Гурвича, можно было видѣть, что онъ на него очень сердитъ. И, какъ бы улавливая его мысли или просто желая завязать разговоръ и заодно защитить Гурвича, Бети сказала съ улыбкою, которая стоила ей героическихъ усилій:

— Нашъ общій знакомый, Гурвичъ, васъ мистифицировалъ. Онъ сказалъ вамъ, что васъ ждетъ здѣсь *человѣкъ*, который хочетъ съ вами повидаться... А оказалось, что это—дѣвушка. Такова была *моя* идея. Это я просила его такъ сдѣлать.

Послѣднія слова были сказаны съ такой гордостью и Бети сдѣлала такой торжественный жестъ рукою, что можно было подумать, будто королева говоритъ съ своимъ подданнымъ, къ которому она снизошла по его просьбѣ...

Послушайте, дѣвушка-то начинаетъ мнѣ нравиться... Она въ моемъ вкусѣ,—думаетъ Гурвичъ. Но зачѣмъ ей плести небылицы? Вѣроятно, политика такая, мнѣ-то что! И такъ какъ

его не просили състь, онъ понялъ, что здѣсь обойдутся безъ него... Тутъ, можетъ быть, секреты отъ него? Впрочемъ, ему какое дѣло! Онъ занятъ своими собственными мыслями... Гурвичъ незамѣтно отходитъ въ сторону и исчезаетъ въ густой зелени.

Бети въ краткихъ словахъ и быстро-быстро, наспѣхъ стала передавать „сыщику въ отставку“ самое необходимое:

— Я все знаю. Гурвичъ разсказалъ мнѣ все, что слышалъ отъ васъ объ убійствѣ Володи Щигрюка. Вы должны простить, что онъ безъ вашего разрѣшенія открылъ мнѣ вашу тайну... Разсказалъ онъ это только мнѣ и больше никому. И очень хорошо сдѣлалъ. Я заинтересована въ этомъ не меньше, а, можетъ быть, больше васъ... Это одно. А затѣмъ я могу быть полезна вамъ въ этомъ дѣлѣ, очень полезна... Слушайте, тотъ воръ, который хваталъ вамъ, что у него есть улика, ранецъ съ книгами и тетрадами Володьки... я забыла, какъ его зовутъ...

— Макаръ Жеребчикъ,—вставилъ сыщикъ, но сейчасъ же спохватился и хотѣлъ прибавить что-то другое... Но Бети, обрадовавшись, что вспомнила это имя, продолжала:

— Такъ-такъ... Онъ говорилъ вамъ, этотъ Макаръ Жеребчикъ, что у него есть возлюбленная, у которой находится ранецъ Володи? Это—правда. Я могу подтвердить, что это

правда. Я знаю эту... дѣвушку, отъ нея самой слышала!

Эти слова Бети произнесла съ тѣмъ же гордымъ видомъ и съ такимъ жеторжественнымъ движеніемъ руки, какъ и прежде.

— Вы лично знакомы съ ней?—обрадовался сыщикъ.—Она сама вамъ говорила это?

— Она сама... Я только забыла, какъ ее зовуть... Но это не трудно узнать. А вамъ это легче, чѣмъ кому бы то ни было. Вы, вѣроятно, помните, а если не помните, можете узнать по книгамъ... Въ ту ночь, когда мы... когда вы...

Объ этомъ она говорила уже не съ такой гордостью, какъ раньше... Сыщикъ понялъ, о какой ночи говорить дѣвушка и почему она путается. Ему захотѣлось извиниться передъ нею, попросить, чтобы она забыла, что было тогда...

Въ эту минуту лицо его стало совсѣмъ другимъ. Это было лицо дѣйствительно кающагося человѣка, котораго поймали въ преступленіи, или лицо провинившагося школьника, которому учитель далъ понять, что все знаетъ... Онъ взялъ въ руки шляпу и сталъ вертѣть ее во всѣ стороны:

— Забудьте, прошу васъ, забудьте, что было... Я былъ...

Бети испугалась, что онъ хоть однимъ словомъ напомнить о томъ, что было, сдѣлала

страшное движеніе руками, какъ-будто желая что-то отстранить отъ себя... Строго, убѣдительно сказала она ему, чтобы онъ не смѣлъ слова вымолвить о томъ, что было! (Она оглянулась во всѣ стороны). Если онъ серьезно хочетъ имѣть ключъ къ тому, что ищетъ, онъ не долженъ даже вида показывать (она снова оглядывается), что они когда-нибудь и гдѣ-нибудь встрѣчались! Иначе (она дѣлаетъ движеніе) онъ ее не увидитъ...

Онъ уже слышалъ, онъ уже знакомъ съ этимъ тономъ, съ этимъ пылающимъ лицомъ и сверкающими глазами, въ которыхъ видна непреклонная воля... Онъ опускаетъ голову, втягиваетъ ее въ плечи, какъ черепаха, молчитъ и слушаетъ, притаившись, какъ кошка, не пропуская ни слова... А Бети рассказываетъ ему все, что, слышала о Макарѣ Жеребчикѣ...

— Теперь остается только узнать имя этой... женщины,— заканчиваетъ Бети. — Это очень легко. Въ ту ночь (она оглядывается) мы были только вдвоемъ въ камерѣ... А разъ станетъ извѣстно ея имя, такъ не трудно будетъ и найти ее, тѣмъ болѣе, что, если я не ошибаюсь, она должна быть здѣсь неподалеку, можетъ быть, даже въ этой самой деревнѣ...

„Сыщикъ въ отставкѣ“ все время сидѣлъ, какъ на иглокахъ, ему хотѣлось говорить, но воздерживался, боясь прервать ее. Когда же Бети кончила, онъ вскочилъ и, проведя ру-

кой по волосамъ, сейчасъ же снова сѣлъ... Лицо его стало совсѣмъ другимъ, почти неузнаваемымъ. На толстыхъ чувственныхъ губахъ легла улыбка, голову онъ поднялъ вверхъ и немного набокъ, руки заложилъ назадъ и, покачивая одной ногой, спросилъ Бети:

— Можно мнѣ сказать слово? Вы совсѣмъ не знаете, что вы сдѣлали своимъ сообщеніемъ. Вы дали мнѣ такой козырь въ руки (онъ дѣлаетъ жестъ рукой, и на солнцѣ сверкаетъ бриллиантъ его золотого кольца), что раньше чѣмъ успѣете вы оглянуться, вся семья будетъ у меня вотъ здѣсь (онъ сжимаетъ кулакъ). Мнѣ нечего смотрѣть въ книги, чтобы найти ту красотку (онъ поглаживаетъ обѣими руками свои колѣни). Если это та, что была въ ту ночь въ участкѣ, такъ это не кто иной, какъ Манька, Манька Черепкова... Эхъ, Манька, Манька!—произнесъ онъ, какъ про себя, потрянувъ головой, всталъ съ мѣста, потянулся во весь ростъ и взялся за шляпу.

— Теперь мнѣ все понятно, — продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ. — Все, все... Прежде всего возьмусь за нее (онъ закладываетъ пальцы по одному), потомъ за него, а если это не пройдетъ, то есть еще одна и еще одна... Эта свалить на ту, та на третью... Эхъ, голова, голова!—ударилъ онъ себя по лбу.—Гдѣ былъ твой умъ? Если бы я раньше зналъ, что это Манька! Слушайте, что я вамъ скажу,—обра-

щается онъ къ Бети, уже совсѣмъ съ другимъ выраженіемъ на лицѣ:—запомните мои слова: не болѣе, какъ черезъ недѣлю, самое большое черезъ двѣ вашъ Рабѣновичъ будетъ свободенъ!

Имя „Рабѣновичъ“ онъ произнесъ твердо, съ двумя „р“, такъ что вышло „Рабѣновичъ“. И что за чудная музыка послышалась Бети въ этомъ словѣ! Для нея уже не было сомнѣнія, что у этого человѣка въ рукахъ узель всего дѣла. Только онъ можетъ распутать его. Только благодаря ему, невинный получить свободу и весь міръ узнаетъ правду. Что можетъ быть прекраснѣе правды?..

И Бети кажется, что прекрасный міръ Божій сталъ еще прекраснѣе, что солнце блеститъ еще ярче и свѣтлѣе. И даже этотъ сыщикъ въ темно-синихъ очкахъ съ толстыми губами кажется ей не такимъ уже страшнымъ, какъ раньше, и она почти готова простить ту ночь,—забыть, забыть, забыть!..

— Господинъ Гурвичъ!—зоветъ она весело своимъ серебристымъ голосомъ. — Гдѣ вы? Идите сюда!

— Ну? иду-иду!—весело отвѣчаетъ Гурвичъ, въ два прыжка подбѣгая къ Бети и радуясь ея довольному, счастливому лицу.

— Могу вамъ сообщить хорошую вѣсть,—говоритъ Бети, и глаза ея смѣются и блестятъ, какъ два брилліанта на солнцѣ:—черезъ двѣ

недѣли онъ будетъ свободенъ! Слышите? Онъ будетъ свободенъ!...

Давно уже не смѣялась она такъ весело и радостно...

ГЛАВА XIII.

Среди своихъ.

Чѣмъ дальше отъ русскаго центра уносился поѣздъ и чѣмъ ближе подѣзжалъ онъ къ еврейской „чертѣ“, тѣмъ больше чувствовалъ себя дома Гершко Рабиновичъ и тѣмъ сильнѣе ощущалъ еврейскую печаль и еврейскій гнетъ. И тѣмъ больше это радовало его. Онъ былъ радъ, что въ время опомнился, что, временно оторвавшись отъ своего народа, онъ можетъ теперь исправить свою ошибку. И еще больше радовало его, что онъ ѣдетъ спасать не только товарища отъ чудовищнаго обвиненія, но и цѣлую группу людей отъ исторической ошибки, если не отъ историческаго преступленія, которое они готовились совершить..

Для него ясно было, что стоитъ ему пріѣхать и рассказать, кому слѣдуетъ, всю правду,—и раскроются двери тюрьмы предъ его товарищемъ и придетъ конецъ „кровоному навѣту“, конецъ той вакханаліи, которую подняла пресса извѣстнаго направленія...

Въ веселомъ настроеніи отправился онъ въ дорогу, но не долго продолжалось оно. Сначала все шло благополучно.

Пассажиры третьяго класса состояли изъ простаго народа, изъ рабочихъ, ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ въ ситцевыхъ рубашкахъ навыпускъ, съ подстриженными въ скобку волосами и съ серебряными цѣпочками на жилеткахъ. Съ политикой и вообще съ внѣшнимъ міромъ они, повидимому, имѣли мало общаго. На каждой болѣе или менѣе значительной станціи они слѣзали и шли въ буфетъ выпить пивца или рюмку водки... Вотъ счастливые люди!—думалъ онъ... Знать себѣ не знаютъ никакихъ процессовъ и „кровавыхъ навѣтовъ“, не нуждаются ни въ какихъ оправданіяхъ и протестахъ... Но на другой день утромъ, не отѣхавъ еще половины пути, въ вагонъ явился откуда-то новый человекъ съ полуинтеллигентнымъ рябымъ лицомъ и вытекшимъ глазомъ. Онъ усѣлся у окна вагона, нагнулся и сталъ читать вслухъ какой-то листокъ.

О чемъ онъ читалъ, Рабиновичъ не слышалъ, но когда тотъ кончилъ читать, въ вагонѣ завязался разговоръ, и по двумъ-тремъ словамъ онъ уловилъ, что рѣчь идетъ ни о чемъ иномъ, какъ о „дѣлѣ“ его друга... Онъ сталъ прислушиваться: „жидъ... жида... жидовъ“—на всѣ лады.

На ближайшей большой станціи онъ побѣжалъ въ кассу приплатить за билетъ второго класса.

Но и во второмъ классѣ ему не повезло. Въ вагонѣ оный застава уже вынуждѣн интеллигентное общество какъ разъ за гитарой и предстоящему ритуальному процессу. И, такъ какъ поѣздъ уже приближался къ „чертѣ“, то среди пассажировъ было не мало свирѣлыхъ, даже больше, чѣмъ руссохотъ. Говорили всѣ, и обѣ „стороны“ такъ горечались, что можно было опасаться, какъ бы дѣло не кончилось ружейной...

Дальше всѣмъ, волновался молодой еврей съ рыжими усами и бриллиантовой булавкой въ шинкарномъ зеленомъ галстукѣ. Оный былъ сильно возбужденъ и сто безъ того безкровныхъ губъ еще больше побѣлѣли, а руки дрожали...

— Знаете что?—кричалъ оный, вскочивъ съ мѣста, и схватившись за боковой карманъ.— Вотъ я беру тысячу рублей наличными и даю батюшкѣ (онъ указалъ на пожилого салютнаго священника), а вы дайте сотни, только сотни, для какой угодно вамъ цѣли, на больницу на Красный крестъ, это наше дѣло—и ж держу пари, что судъ признаетъ дантиста Рабиновича виновнымъ! Ага, вы молчите! Ага!

Всѣ пассажиры, за исключеніемъ священника, который былъ спокойнѣе другихъ, отъ этого предложенія еще больше заволновались атмосфера сгустилась...

— Вѣроятно, вы надѣетесь,— отвѣтилъ одинъ изъ противниковъ, добродушно улыбаясь, и показывая красивые бѣлые зубы,— подкупить присяжныхъ, подобно тому какъ ваши хотѣли подкупить профессоровъ, чтобы они признали преступника психически-больнымъ? Или какъ недавно отецъ дантиста хотѣлъ подкупить тюремную стражу, чтобы та помогла преступнику бѣжать...

Еврей съ рыжими усами подскочилъ, заложивъ руки назадъ, къ противнику съ перекошенными отъ злобы глазами:

— Да вы знаете, что дѣлаютъ за такія слова?! Вы знаете?...

Пріѣхали.

Первое, что бросилось Рабиновичу въ глаза на вокзалѣ, былъ кіоскъ съ газетами и книгами. Онъ попросилъ послѣдніе номера всѣхъ мѣстныхъ газетъ и,—точно сердце подсказывало ему,—въ самомъ дѣлѣ нашелъ въ нихъ все, что искалъ, даже больше...

На первой же страницѣ одной изъ газетъ крупными буквами значилось: „Къ дѣлу Рабиновича. Важныя разоблаченія“ А затѣмъ— слѣдовало письмо въ редакцію:

„Милостивый государь, господинъ редакторъ! Позвольте черезъ вашу уважаемую газету опубликовать заявленіе, которое я сегодня сдѣлалъ прокурору мѣстнаго окружнаго суда.

Будучи вѣрнымъ сыномъ народа, къ которому имѣю честь теперь принадлежать, побуждаемый горячей любовью къ дорогому отечеству, съ цѣлью содѣйствовать выясненію истины въ дѣлѣ объ убійствѣ несчастнаго Володи Щигрюка, я прошу вызвать меня въ качествѣ свидѣтеля по этому дѣлу, на которое я надѣюсь пролить свѣтъ своими показаніями.

Будучи по происхожденію своему евреемъ и проживши среди евреевъ болѣе двадцати лѣтъ, я знаю всѣ ихъ тайны, всѣ ихъ дикіе обычаи и могу съ увѣренностью, подъ присягой, сказать, что древній обычай употребленія христіанской крови для пасхальной мацы сохранился еще понынѣ у большинства евреевъ-фанатиковъ. Я сколько разъ слышалъ отъ моего покойнаго отца, который былъ сторожемъ синагоги, и отъ моего учителя - ребе, который тоже давно умеръ, что Богъ любитъ, когда проливаютъ кровь, и даже самый видъ крови ему пріятенъ. Кто сомнѣвается въ этомъ, пусть потрудится зайти къ какому-нибудь еврею, — если только его впустятъ! — когда тотъ совершаетъ обрядъ обрѣзанія надъ своимъ ребенкомъ на седьмой день отъ рожденія, и пусть посмотритъ, что тамъ дѣлается и говорится, какъ всѣ радуются и ликуютъ, когда покажется кровь, которая затѣмъ высасывается старѣйшими и

наиболѣе уважаемыми гостями. А если еврей осмѣлится не совершить обряда обрѣзанія надъ своимъ ребенокъ на седьмой день отъ рожденія, его камнями забросаютъ, или, въ лучшемъ случаѣ, опозорятъ на всю жизнь. Ни одна еврейская дѣвушка не пойдетъ за такого замужь, и ни въ какомъ еврейскомъ обществѣ его не примутъ. Я надѣюсь, что если меня вызовутъ въ качествѣ свидѣтеля, то на судѣ я расскажу многое объ евреяхъ-фанатикахъ, о такъ называемой сектѣ хассидовъ и о новой, не менѣе опасной сектѣ сіонистовъ.

Мнѣ хорошо извѣстно, чѣмъ я рискую, выступая противъ народа, который умѣетъ мстить своимъ врагамъ и ни передъ чѣмъ не останавливается въ своей мести. Но святая правда и интересы родины для меня дороже жизни, которую я ставлю на карту въ своемъ безкорыстномъ стремленіи открыть обществу глаза на то, что такое іудейство съ его варварскими обычаями.

Прошу всѣ русскія газеты перепечатать это письмо.

Студентъ Лapidусъ“.

.....

Студентъ Лapidусъ? Да вѣдь это его дальній родственникъ, о которомъ писалъ Абрамъ-Лейба! Возмущенію его не было границъ. На *седьмой* день у евреевъ совершаютъ обрядъ обрѣзанія надъ младенцами, ха-ха-ха!... И вотъ

такіе-то знатоки еврейскихъ обрядовъ и обычаевъ имѣютъ наглость напрашиваться въ авторитетные свидѣтели со стороны обвиненія!.. Но откуда взялся среди евреевъ такой выродокъ—вотъ что печально!..

И Гершко Рабиновичъ не можетъ простить себѣ, что до сихъ поръ оставался среди чужихъ и совсѣмъ забылъ про тотъ адъ, который зовется еврейской жизнью. . Внѣ себя отъ волненія, онъ собираетъ въ пачку газеты и спѣшитъ въ городъ.

Уже съ первыхъ же шаговъ увидѣлъ, какъ онъ ошибался, полагая, что одного его появления будетъ достаточно, чтобы уладить дѣло. Получить свиданіе съ Гришей оказалось совершенно невыполнимымъ.

Пробѣгавши все утро по канцеляріямъ, голодный и усталый, онъ зашелъ въ первое попавшееся кафэ закусить и насилу отыскалъ свободное мѣсто за столикомъ. Оглядѣвшись, онъ замѣтилъ, что находится среди своихъ. Это была кофейня, куда собираются исключительно биржевики, т. е. евреи. Огромный залъ шумѣлъ и волновался. Посѣтители бѣгали отъ столика къ столику и что-то возбужденно передавали другъ другу. Прислушавшись, Рабиновичъ уловилъ фамилію Лapidуса и сразу все понялъ...

Давно уже онъ не бывалъ среди евреевъ и не слышалъ еврейской рѣчи. Теперь ему было приятно, что онъ среди своихъ, былъ приятель этотъ шумъ и гамъ... Въ немъ проснулась старая еврейская привычка—быть среди своихъ, вмѣстѣ со всѣми, передавать другъ другу все, что знаешь, все, что думаешь, все, что чувствуешь... Вниманіе его обратилъ на себя маленькій еврейчикъ, который изъ кожи лѣзъ, добиваясь, чтобы его выслушали.

— Лапидусъ?—кричалъ онъ, поднимаясь на цыпочки и подпрыгивая.—Позвольте, я расскажу вамъ, кто такой этотъ Лапидусъ!

Маленькій человѣчекъ, порывавшійся рассказать во что бы то ни стало о Лапидусѣ былъ, конечно, вездѣсущій и всезнающій Кацъ, прозванный Кецеле.

— Откуда вы знаете Лапидуса?—сжалился кто-то надъ нимъ.

— Еще какъ знаю, хе-хе-хе!—съ готовностью отзывается Кецеле.—Можно знать и знать! Я и отца его тоже зналъ, да и дѣда зналъ,—честные были люди, особенно дѣдушка...

— Вы дѣдушку оставьте въ покоѣ, Кецеле! Расскажите намъ лучше о самомъ Лапидусѣ если знаете что-нибудь.

— Если я знаю, хе-хе-хе!—смѣется Кецеле, довольный, что наконецъ-то его слушаютъ.—Лапидусъ—настоящій ренегатъ, вотъ кто такой Лапидусъ! Онъ началъ было ухаживать

за дочью Шапиро, за той самой, что была невѣстой несчастнаго Рабиновича, когда онъ еще жилъ у нихъ на квартирѣ...

— Ничего подобнаго! Пустяки болтаетъ вамъ этотъ Кецеле!—прерываетъ его рыжій маклеръ съ бѣлыми блестящими зубами и въ золотыхъ пенснэ.—За дочью Шапиро Лapidусъ никогда не ухаживалъ. Вѣдь у Шапиро дочь хоть и красавица, да денегъ у него нѣтъ. а Лapidусъ искалъ богатую невѣсту,—объ этомъ *меня* спросите, я лучше знаю. Ухаживалъ онъ за дочью моего компаніона Ринцберга. У Ринцберга есть и то и другое,—и дочь красавица и денегъ тьма. Тамъ ему указали на дверь, онъ и вымещаетъ теперь злобу на всѣхъ евреяxъ... Понимаете?

— Возможно,—пробуетъ занять прежнюю позицію Кецеле.—Очень возможно, что онъ ухаживалъ и за дочью Ринцберга. Но относительно дочери Шапиро я навѣрное знаю,—вѣдь я бывалъ у нихъ, когда еще несчастный Рабиновичъ...

— Вы говорили, Кецеле, что и съ Рабиновичемъ вы друзья пріятели, а на дѣлѣ это оказалось выдумкой.

Кецеле окончательно сбитъ съ позиціи. Его никто уже не слушаетъ. Мѣсто его занялъ рыжій маклеръ въ золотыхъ пенснэ.

Рабиновичу жаль Кецеле. Кромѣ того, ему хочется познакомиться съ нимъ, чтобы узнать

что-нибудь о дантистѣ Рабиновичѣ... Онъ знакомъ подзываетъ къ себѣ Кецеле, угощаетъ его папироской и предлагаетъ стаканъ чаю. Кецеле беретъ папироску и не отказывается отъ чаю,—съ удовольствіемъ выпьетъ! Наконецъ-то, онъ нашелъ хоть одного благовоспитаннаго человѣка, настоящаго аристократа.

— Откуда вы? Не здѣшній?—спрашиваетъ Кецеле, присаживаясь къ незнакомцу.—Я почти увѣренъ, что мы съ вами знакомы. Гдѣ мы встрѣчались?

— Нѣтъ, вы меня не знаете, я изъ Литвы,—отвѣчаетъ незнакомецъ, съ удовольствіемъ убѣждаясь, что не забылъ еврейскаго языка.—Скажите мнѣ лучше вотъ что. Вы были знакомы съ дантистомъ Рабиновичемъ и съ той дѣвушкой, за которой онъ ухаживалъ,—такъ не можете ли вы рассказать мнѣ все, что знаете объ этомъ?

— Все, что я знаю объ этомъ, хе-хе-хе?—говоритъ Кецеле, смѣясь и придвигая къ себѣ чай.—О, милый другъ, если рассказать все, что я знаю, такъ надо цѣлый день и всю ночь рассказывать, да еще день и еще ночь, хе-хе-хе... Но если вы непременно настаиваете, чтобы я рассказалъ, я расскажу. Какъ говорится:—вамъ любо, мнѣ дорого. Итакъ, о комъ же хотите,—о самомъ дантистѣ, или объ его невѣстѣ, или объ его отцѣ и братѣ?

— Вы знаете его отца и брата?—съ удивленіемъ спрашиваетъ Рабиновичъ.

— Лучше [бы я ихъ не зналъ!—говорить Кецеле и беретъ за чай.—Изъ-за этихъ несчастныхъ, пріѣхавшихъ сюда безъ паспортовъ и безъ денегъ, и мнѣ влетѣло... Да это бы еще ничего,—на то мы евреи, чтобы страдать на этомъ свѣтѣ изъ-за „правъ“... Но какой чертъ надоумилъ ихъ привезти съ собой письмо отъ ихъ раввина, который проситъ нашихъ богачей собирать деньги на „выкупъ заключенныхъ“ и постараться освободить невинную жертву „кроваваго навѣта“...

Можно себѣ представить, какъ почувствовалъ себя Рабиновичъ, получивъ такія свѣдѣнія о своихъ родныхъ. Однако, онъ овладѣлъ собою и по возможности спокойно спросилъ:

— Ну, что же изъ этого вышло?

— Что же могло выйти? Ничего!—говорить Кецеле, съ удовольствіемъ потягивая чай.— Письмо это пріобщили къ дѣлу, а Рабиновичей отправили по этапу, куда-то въ Могилевъ или въ Шкловъ,—чертъ ихъ знаетъ, откуда они! Вѣроятно, и ихъ всѣхъ посадили въ кутузку, этихъ Рабиновичей съ ихнимъ раввиномъ, и вышло теперь уже два дѣла,—дѣло на дѣлѣ, или какъ говорится, бѣда на бѣдѣ ѣдетъ да бѣдой погоняетъ... Но смотрите-ка, что здѣсь за шумъ ни съ того ни съ чего? Что дутъ дѣлаетъ полиція?... Средь бѣла дня об-

лава?! Вотъ несчастье! Опять придется мнѣ прогуляться этапомъ въ Васильевку... На той недѣлѣ только вернулся, не успѣлъ отдохнуть какъ слѣдуетъ... Да обрушатся на нихъ всѣ казни египетскія!...

.....
Въ одну минуту кофейня была оцѣплена полиціей. Всѣ окна и двери были закрыты, и началась „ревизія“...

Среди отправленныхъ въ участокъ оказался также Кецеле съ своимъ новымъ другомъ, который отнесся къ нему такъ внимательно и любезно, какъ никто къ Кецеле не относился. Здѣсь ему представился удобный случай многое узнать отъ словохотливаго Кецеле о дантистѣ Рабиновичѣ, объ его отцѣ и братѣ, о бывшей его невѣстѣ, которая въ свое время тоже была арестована... Съ бѣдной дѣвушкой такъ плохо обращались въ тюрьмѣ, что она захворала и теперь живетъ на дачѣ у богатаго дяди, который ищетъ для нея жиниха, даетъ ей двадцать тысяць приданнаго и хочетъ поскорѣе выдать замужъ, чтобы загладить позоръ... Фантазія у Кецеле разошлась во-всю, и онъ рассказываетъ одну не обыкновенную исторію за другой.

Приставъ, бывший въ тотъ день въ скверномъ настроеніи, просматривая документы

пойманных на облавѣ людей и увидѣвъ паспортъ на имя дворянина Попова, разсердился и громко крикнулъ:

— Кто здѣсь Поповъ? Какъ онъ сюда попалъ:

— Это я Поповъ, — отвѣтилъ Рабиновичъ и, подойдя ближе къ приставу, сказалъ ему что хочетъ сдѣлать важное секретное сообщеніе. Приставу это не понравилось: что за секреты? Однако, онъ приказалъ удалить остальныхъ арестованныхъ, и въ одну минуту въ комнатѣ не осталось никого, кромѣ ихъ двоихъ. Приставъ еще разъ осмотрѣлъ стоявшаго предъ нимъ молодого человѣка. Странное лицо для дворянина Попова, странные глаза...

Рабиновичъ еще раньше рѣшилъ открыть всю правду и однимъ ударомъ положить конецъ томительной исторіи. Онъ не зналъ только, кому и въ какой формѣ сдѣлать свое заявленіе. Но теперь, когда само сабой вышло такъ, что его арестовали и препроводили въ полицію, рѣшеніе его окончательно созрѣло:

— Заявляю вамъ, что я не христіанинъ, не дворянинъ Григорій Ивановичъ Поповъ, а еврей, мѣщанинъ Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ. Тотъ самый Рабиновичъ, который сидитъ въ тюрьмѣ и обвиняется въ томъ, что зарѣзалъ христіанскаго мальчика для ритуальныхъ цѣлей...

Сказавъ это, онъ сразу почувствовалъ облег-

ченіе и въ воображеніи своемъ уже рисоваль, какъ освободятъ сейчасъ же Рабиновича, настоящаго Попова, а затѣмъ и отца и брата его, Гершки, раввина ихъ городка, какой шумъ поднимется вездѣ, какія статьи появятся въ газетахъ!... Въ худшемъ случаѣ его только арестуютъ за то, что у него нѣтъ „правительства“, а затѣмъ ихъ обоихъ, его и Попова, будутъ судить за незаконную мистификацію... Но какое это значеніе можетъ имѣть по сравненію съ тѣми несчастіями, которыя вызвала и можетъ еще вызвать эта злосчастная штука! Только одно удерживало его до сихъ поръ: онъ не хотѣлъ первый нарушить клятву, которая обязывала его раньше года не разоблачать тайны. Но вѣдь это глупо! Пари, которое влечетъ за собой такъ много несчастій и невинныхъ жертвъ, уже не пари. Съ огнемъ шутить нельзя...

Но каково было его удивленіе, когда онъ увидѣлъ, что признаніе его не произвело никакого впечатлѣнія, Приставъ только осмотрѣлъ его съ ногъ до головы и ничего не сказалъ. Онь рѣшилъ, что имѣетъ дѣло съ психопатомъ, маниакомъ. Разные бываютъ сумасшедшіе на свѣтѣ...

Видя, что приставъ молчитъ, Рабиновичъ подумаль, что тотъ очень пораженъ его признаніемъ. Выждавъ немного, онъ сказалъ:

— Ну, что же вы не арестуете меня? Или

вы хотите устроить мнѣ очную ставку съ тѣмъ Рабиновичемъ, который сидитъ въ тюрьмѣ?

Это уже взорвало пристава:

— Никакихъ очныхъ ставокъ! Ступайте, идите съ Богомъ на всѣ четыре стороны и перестаньте нести околесицу! Если вы еще разъ повторите мнѣ то же самое, то васъ арестуютъ, но не какъ преступника, а какъ сумасшедшаго и васъ отправятъ въ желтый домъ!

Съ этими словами приставъ швырнулъ въ лицо ему документы и позвонилъ. Рабиновичу ничего не оставалось, какъ со стыдомъ собрать свои бумажки и убираться.

Такого финала онъ никакъ не ожидалъ. Всѣ его планы рушились, и поѣздка его сюда оказалась бесполезной. Что же дальше? Подать заявленіе прокурору? Но разъ ему не вѣрятъ и принимаютъ его за сумасшедшаго, его въ самомъ дѣлѣ могутъ упрятать въ желтый домъ... Тогда все пропало... Нѣтъ, надо искать другихъ путей. Помочь тутъ можетъ только одинъ человѣкъ,— отецъ Гриши. Вызвать его сюда письмомъ? телеграммой? Нѣтъ, лучше самому поѣхать туда и рассказать все отъ начала до конца, всю исторію этой глупой злосчастной шутки.

Въ тотъ же день вечеромъ онъ выѣхалъ курьерскимъ поѣздомъ къ Ивану Ивановичу Попову.

ГЛАВА XIV.

Не рой ямы другому...

Беня Гуревичъ сталъ такимъ частымъ гостемъ на дачѣ у Фамиліантовъ, что прислуга, едва замѣтивъ бѣловато-желтый пиджакъ съ широкими рукавами, направлялась прямо къ барышнѣ Шапиро сказать, что идетъ *ея* „панничъ“. На кухнѣ смѣялись, а хозяйка злилась и была очень недовольна племянницей... Бѣдная дѣвушка, а держится принцессой, ни капли уваженія къ теткѣ, никакого почтенія передъ богатствомъ, жемчугами, золотомъ, серебромъ, брилліантами! Таскается съ оборвышемъ въ лѣсу съ такимъ видомъ, точно это Богъ знаетъ кто! А тутъ еще муженекъ, этотъ благочестивый хасидъ, вмѣсто того чтобы быть заодно съ ней, съ Тойбой, горою стоитъ за племянницу! Что бы она ни дѣлала, ему все хорошо... И даже этотъ оборванецъ изъ Пинска ему тоже нравится. Говорилъ съ нимъ раза два и въ восторгѣ отъ него. Онъ, говоритъ, свѣдуещъ во всемъ. Нѣтъ ни одной священной книги, которой бы онъ не зналъ. Это, говоритъ, ученый человѣкъ, онъ могъ бы раввиномъ быть.. Ха-ха-ха, хорошъ раввинъ, безъ шапки и бритый! Терпеть не можетъ Тойба Фамиліантъ этого юношу. Здороваясь, точно въ насмѣшку называетъ ее „тетушкой“: „здравствуй-

те, тетушка!“ Какая она ему тетка? Всѣ зовуть ее „мадамъ“, а этотъ смѣетъ называть тетей, и даже не теткой, а „тетушкой“! Вотъ нахаль! Ну и люди пошли нынче! Ну, и порядки! Да сохранить Господь свой любимый народъ нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Дочери Тойбы тоже не мало злились на кузину за то, что она въ такой дружбѣ съ Гурвичемъ и не даетъ имъ поближе познакомиться съ нимъ, каждый разъ уходитъ въ садъ, а то и въ лѣсъ,—секреты все!...

.....

Бети много думала о своемъ знакомствѣ съ этимъ человѣкомъ, который съ каждымъ днемъ становился ей все ближе... Она боится признаться, но ей кажется, что Гурвичъ пріятнѣе и симпатичнѣе всѣхъ молодыхъ людей, съ которыми она до сихъ поръ встрѣчалась... Больше всего нравится ей въ немъ его удивительная простота и откровенность.

Нѣтъ у него никакихъ заднихъ мыслей. Уже со второй встрѣчи онъ въ самыхъ простыхъ словахъ далъ ей понять, что оцѣнилъ ее еще въ ту ночь, когда „принцъ“ (такъ называлъ онъ квартиранта Рабиновича) познакомилъ его съ ней на улицѣ, и что онъ готовъ пойти за нее въ огонь и въ воду,—за нее и за того, кто ей милъ... Конечно, онъ разумѣетъ Рабиновича, про котораго за все время не позволялъ себъ сказать худого слова... Этого она

никогда не забудеть и безконечно благодарна ему.

Еще болѣе олагодарна она ему за то, что онъ никогда не задѣвалъ вопроса объ ея чувствахъ къ Рабиновичу, какъ-будто бы ничего и не было, или какъ-будто это вполне естественно, само собой разумѣется. Стоило посмотреть, какъ этотъ человѣкъ былъ счастливъ всякій разъ, когда привозилъ ей изъ города радостную вѣсть отъ „сыщика въ отставку“ (имя котораго тоже никогда не упоминалось, и за это она была ему особенно благодарна)! „Все идетъ хорошо, отлично, лучше не надо!“—таковы были извѣстія въ первое время. Уже издали она могла прочесть на его большомъ кругломъ лбу это слово: „Отлично!“ Но погружать ее на „дно“, откуда исходили радостныя вѣсти, онъ ни за что не хотѣлъ, несмотря на то, что Бети просила его говорить все, все...

— Э, послушайте, много будете знать, скоро состаритесь,—говорилъ Гурвичъ, пробуя отдѣлаться шуткой. Бети отвѣчала, что она не любить его шутокъ,—а это неправда. Она не только любить его шутки, но даже словечко „послушайте“, которое онъ употребляетъ каждую минуту, гдѣ надо и гдѣ не надо, тоже ей нравится.

Разумѣется, Бети настояла на своемъ. Она знала все или почти все. Она знала, что сыщику послѣ долгихъ усилій и фокусовъ, до-

стойныхъ настоящаго Шерлока Холмса или Натъ Пинкертона, удалось, наконецъ, разыскать Машу Черепкову и добиться [у нея важныхъ показаній, вещей и документовъ. Она знала, что благодаря Черепковой задержаны еще двѣ женщины, которыя участвовали въ убійствѣ Володьки, но обѣ онѣ отрицали свою вину и все сваливали на жениха Маньки, на Макара Жеребчика, который безслѣдно исчезъ. Это были первыя хорошія вѣсти. Затѣмъ Гурвичъ привезъ радостную вѣсть, что накрыли и Макара Жеребчика. Но всего важнѣе было то, что Макаръ Жеребчикъ указалъ на цѣлую банду воровъ, которые рассчитывали убійствомъ Володьки вызвать на Пасху еврейскій погромъ и съ этой цѣлью старались придать убійству „ритуальный“ характеръ, сдѣлавъ на тѣлѣ убитаго сорокъ девять уколовъ. Макаръ Жеребчикъ обѣщалъ назвать всѣхъ, кто работалъ въ этомъ дѣлѣ, а также главныхъ руководителей... Словомъ,—заварилась каша!..

Радости Бети не было конца! Теперь все, что нужно, налицо,—думала она,—даже больше, чѣмъ нужно. Создастся новое дѣло, а старое уничтожится само собою...

Вдругъ пріѣзжаетъ Гурвичъ съ недобрымъ извѣстіемъ,—Бети видѣла это уже по его лицу:

— Послушайте-ка, дѣло плохо. Женихъ-то исчезъ изъ-подъ вѣнца!

Бети была такъ опечалена, что все свое

сердце сорвала на Гурвичѣ: какъ можетъ человѣкъ шутить въ такой моментъ!

— Надо быть, послушайте, немножко философомъ,—отвѣтилъ онъ весело, какъ всегда:— тогда вы увидите, что все на свѣтѣ пустяки,— весь этотъ міръ съ этой землей, населенной подлецами...

Бети сердилась, назвала его паяцомъ и ушла не попрощавшись... Потомъ она всю ночь не спала, жалѣя, что такъ обидѣла преданнаго ей душою и тѣломъ человѣка, и была счастлива, когда на другой день онъ явился такимъ же, какъ всегда, точно между ними ничего не произошло.

— Плохо, дорогая,—сказалъ онъ:—такъ, послушайте, плохо, какъ и предкамъ нашимъ не было.

— Прошу васъ не говорить со мной этимъ языкомъ,— умоляетъ его Бети, какъ умоляютъ разбойника, занесшаго руку съ ножомъ.

— При чемъ тутъ, послушайте, языкъ, когда видишь, какъ правда бредетъ по міру, согнувшись въ три погибели, у самыхъ стѣнъ пробирается съ торбою за плечами, а кривда на конѣ гарцуетъ, гордо поднявъ голову, посвистываетъ и народъ давить на улицахъ: эй, сторонись, ребята, ложь идетъ!..

Все же онъ утѣшалъ ее, говоря, что Шерлокъ Холмсъ еще живъ и не успокоится, пока не добьется своего...

Но дальше дѣло приняло такой оборотъ, котораго никто не ожидалъ. Ударъ разразился, какъ громъ съ яснаго неба. Гурвичъ явился съ такимъ извѣстіемъ:

— Послушайте, поймали самого Шерлока Холмса и посадили въ кутузку, какъ простого смертнаго, неизвѣстно за какія прегрѣшенія... Должно быть, правы были наши мудрецы, говорившіе: *не топнѣ другого, ибо самъ потопленъ будешь, и отъ воды погибнутъ потопившіе тебя*. Понимаете?.. Теперь, послушайте, надо ковать желѣзо, пока горячо. Надо воспользоваться тѣми свѣдѣніями, которыя у насъ имѣются, и передать весь этотъ матеріаль хорошему адвокату. Хотите,—я возьмусь за это завтра же. У меня есть знакомый адвокатъ, нашъ пинчукъ. Это, послушайте, адвокатъ изъ адвокатовъ, человѣкъ, который можетъ изъ желѣза ковать золото. Голова у него министерская, а языкъ—чухи падаютъ, когда говоритъ, и къ тому же человѣкъ честный, не продастъ васъ за два серебрянника..

— Я ѣду къ нему,—сказала Бети тономъ, не допускающимъ возраженій,—я ѣду домой. Будьте у меня завтра утромъ въ городѣ между девятью и десятью.

— Слушаю-съ!—вытянулся предъ нею Гурвичъ, какъ солдатъ, и взялъ подъ козырекъ.

— Шутъ гороховый!—кинула Бети съ укоризной въ сторону молодого человѣка.

ГЛАВА XV.

Адвокатъ.

Когда на другой день утромъ Бети приѣхала съ дачи домой, здѣсь ее ждалъ новый сюрпризъ. Въ ожиданіи Гурвича, она взяла газету и стала искать новостей „о ритуаль-процессѣ“. И какъ же она была поражена, прочитавъ, что на-дняхъ обвиняемому, Гершу Мовшевичу Рабиновичу была вручена копія обвинительнаго акта, занимающаго двѣсти страницъ, и что судъ назначенъ на двадцать девятое число! Въ качествѣ свидѣтелей со стороны обвиненія вызывается между прочимъ еврей Давидъ Шапиро, у котораго преступникъ жилъ на квартирѣ, его дочь и несовершеннолѣтній сынъ.

Бети не могла себѣ простить, что лучшее время она провела на дачѣ. Ей казалось, что, будь она здѣсь, все было бы иначе. И кто виноватъ, если не мать, которая вмѣстѣ съ докторомъ насѣла на нее: дача да дача!

Размышленія ея прервали, легкіе на поминѣ, Сара и докторъ, которые зашли каждый за своимъ дѣломъ. Мать—попросить, чтобы она сѣла яичко или выпила стаканъ молока. А докторъ—только узнать, какъ ея здоровье. хотя видѣлъ онъ ее всего вчера вечеромъ по

возвращеніи съ дачи. Обоимъ досталось отъ Бети. Мать она разъ навсегда попросила оставить ее въ покоѣ со своими яичками и молокомъ, — она не утка, которую надо откармливать на убой. Выпила чашку кофе и довольно! Съ докторомъ Бети была немного мягче. Увидавъ у нея газету и подумавъ, что она уже навѣрное знаетъ сегодняшнюю новость, докторъ рѣшилъ, что теперь какъ разъ наиболѣе подходящій моментъ поговорить о Рабиновичѣ. Набравшись храбрости, онъ спокойно, съ видомъ посторонняго чловѣка, позволилъ себѣ замѣтить ей, что она поступаетъ нехорошо, жертвуя всѣмъ своимъ здоровьемъ ради одного чловѣка, который...

— Ради одного чловѣка? — прервала его Бети, бросивъ на него взглядъ полный гнѣва и презрѣнія и слясь въ то же время улыбнуться.— Ради одного чловѣка, говорите вы? Вы думаете, должно быть, что на скамью подсудимыхъ посадили его одного? Вы забыли, что вмѣстѣ съ нимъ судятъ меня, васъ и всѣхъ насъ? Вы забыли, что...

Бети не закончила, такъ какъ въ эту минуту отворилась дверь и вошелъ тотъ, кого она ждала,—Беня Гурвичъ, радостный, веселый, какъ всегда, и, поздоровавшись, спросилъ, знаетъ ли она сегодняшнюю новость. На доктора онъ даже не взглянулъ и, расхаживая по комнатѣ крупными шагами, на-

чалъ по обыкновенію сыпать словами... Больше всего, послушайте, ему нравится, что вызываютъ въ качествѣ свидѣтелей отца и дѣтей! И кто—сама прокуратура!

Видя, что онъ здѣсь лишній, докторъ схватилъ шляпу и вышелъ, сухо бросивъ: „до свиданья!“ Онъ далъ себѣ слово, что это его послѣдній визитъ сюда... До какихъ поръ будетъ онъ терпѣть такое обращеніе со стороны смазливой дѣвченки, возлѣ которой вернутся разные юнцы!

Выходка доктора не произвела на молодыхъ людей никакого впечатлѣнія. Имъ было не до того.

— Все погибло!—говорилъ Гурвичъ.—Напрасны были всѣ труды! Такъ, послушайте, скверно, что хуже и быть не можетъ! „Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ“... Такъ, кажется, говорится? Но все же, послушайте, носъ на квинту вѣшать не слѣдуетъ! Итакъ, ѣдемъ что ли?

— Ѣдемъ.

Вдругъ влетѣла перепуганная мать:

— Куда это?

— Послушайте, тетенька, она идетъ съ Гурвичемъ, вы понимаете? Съ Бенею Гурвичемъ изъ Пинска!

И онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь, посмотрѣвъ Сарѣ въ глаза съ такимъ веселымъ и счастливымъ видомъ, точно шель

отсюда съ Бети не къ адвокату, а прямо подъ вѣнецъ...

Молодые люди ушли.

Сара, закрывъ за ними дверь, задумалась... Вотъ такъ напасть! Докторъ убѣжалъ, какъ оглашенный, а этотъ пинскій „шлимъ-мазелъ“ бѣгаетъ съ ней „отъ Шмуни къ Бунѣ“, — дай Богъ, чтобъ это добромъ кончилось!...

И бѣдная мать глубоко вздохнула, хрустнувъ пальками...

Если министерская голова должна быть величиною съ кадушку и гладкой, какъ лакированная доска, то пинскій адвокатъ могъ бы быть министромъ изъ министровъ, не водись за нимъ одинъ недостатокъ: онъ былъ еврей...

Голова его казалась еще больше отъ того, что самъ онъ былъ сухой и тощій, а ноги у него — длинныя и тонкія. И тѣмъ не менѣе эта комическая фигура произвела на Бети удивительно хорошее впечатлѣніе. Можетъ быть, потому, что его очень расхвалилъ Гурвичъ, а можетъ быть, и потому, что адвокатъ былъ такъ твердо увѣренъ въ своихъ силахъ. Можетъ ли онъ, дѣйствительно, изъ желѣза золото ковать, какъ увѣряетъ Гурвичъ, за это Бети не поручится. Но что говорить онъ умѣетъ, въ этомъ она убѣдилась. Пока они у него сидѣли, говорилъ почти все

время онъ одинъ. Внимательно, съ закрытыми глазами выслушалъ адвокатъ рассказъ Гурвича о гибели Шерлока Холмса, а когда тотъ кончилъ, онъ, какъ бы проснувшись отъ сна, принялся курить папироску за папироской, или вѣрнѣе не курить, а жевать зубами и губами, покачивая одной ногой, переложенной на другую. Въ то же время плавно и ровно полилась его рѣчь, уже не смолкавшая ни на минуту. Онъ раскритиковалъ ихъ работу и самого Ната Пинкертона съ его сыскомъ. Онъ развилъ имъ цѣлую теорію, согласно которой есть два пути. Одинъ—доказать, что обвиняемый невиновенъ, другой—раскрыть дѣйствительныхъ виновниковъ. Второй путь его совершенно не интересуесть. Разыскивать преступниковъ—обязанность тѣхъ, кто занимается сыскомъ. Защитѣ надо доказать еще и еще разъ, что у евреевъ нѣтъ „ритуальныхъ убійствъ“. Если находятся люди, которые нуждаются еще въ доказательствахъ того, что дважды два—четыре, а не стеариновая свѣчка, то защита обязана привести такія доказательства, и это такъ же легко сдѣлать, какъ...

И онъ, вынувъ изо рта недокуренную или, лучше сказать, недожеванную папироску, закурилъ новую. Этимъ моментомъ воспользовался Гурвичъ, замѣтивъ, что теперь ничего больше не остается, какъ использовать этотъ

единственный путь, и вотъ они пришли къ нему просить, чтобы...

— Я былъ его защитникомъ?—подхватилъ адвокатъ, уже жуя новую папиросу.—Поздно, мой другъ, поздно вы пришли...

У Бети сердце упало отъ этихъ словъ... Оказывается, что онъ уже приглашенъ защищать „преступника“ еще Богъ вѣсть съ какого времени!

Бети ожила, а адвокатъ началъ рассказывать какъ это случилось:

— Состоялся, видите ли, цѣлый рядъ засѣданій нашей знати и, какъ водится, совѣтовъ и предположеній было высказано безъ конца. Многіе настаивали на томъ, чтобы выписать изъ столицы нашу знаменитость. Я же сказалъ, что можно выписать кого угодно, хоть самого Валаама съ того свѣта, но я увѣренъ, говорю, что здѣсь не нужны никакія знаменитости,—обвиняемаго оправдаютъ, а это ясно, какъ день!...

Бети таетъ отъ удовольствія. Каждое слово адвоката кажется ей самой мудростью, Божественнымъ откровеніемъ.

— Моя система,—продолжаетъ тотъ плавно, гладко, безъ остановки, какъ по книгѣ,—стоитъ въ томъ, чтобы убѣдить. Я постараюсь доказать, что этотъ дантистъ имѣетъ такое же отношеніе къ преступленію, какъ я къ разрушенію Рима или къ пораженію Наполеона

въ 1812 году. Такова моя система. А что касается „ритуала“, такъ я прочту такую лекцію, которая раскроетъ имъ глаза. Видите это?—онъ указалъ на цѣлую кипу книгъ и началъ сыпать именами и цитатами, читать цѣлыя страницы наизусть.

Бети хотѣлось, чтобы онъ говорилъ еще и еще. Но адвокатъ вдругъ всталъ, выплюнулъ окурокъ и, вытянувшись на длинныхъ ногахъ, извинился,—ему надо переодѣться и ѣхать въ тюрьму какъ разъ къ нему, къ обвиняемому дантисту.

— Если такъ,—говорить ему по-еврейски Гурвичъ,—въ добрый часъ, будьте его добрымъ геніемъ, кланяйтесь ему отъ меня и отъ этой дѣвицы, Шапиро ея фамилія...

— Шапиро?—повернулся адвокатъ къ Бети и, протянувъ ей длинную холодную руку, съ улыбкой посмотрѣлъ въ ея ясное лицо, какъ будто только что замѣтилъ ее.

— Шапиро... изъ настоящихъ, славутскихъ Шапиро,—хотѣлъ прибавить Гурвичъ, но, встрѣтивъ взглядъ Бети, замолчалъ...

— Словомъ, мадемуазель Шапиро, хотите вы, вѣроятно, сказать. —ваша невѣста? Можно поздравить васъ и похвалить... У васъ хорошій вкусъ...

Гурвичъ громко разсмѣялся и переглянулся съ Бети, а та вспыхнула, какъ зарево... Въ эту минуту она была такъ божественно хоро-

ша, такъ мила, что оба заглядѣлись на нее. Адвокатъ былъ холостъ и позавидоваль молодому человѣку: гдѣ онъ выкопаль такую красавицу?.. Но Гурвичъ успокоиль его, сказавъ, по-еврейски, конечно:

— Невѣста она, это такъ. Но, послушайте, къ сожалѣнію, не моя, а...

— Ахъ, бросьте это!—прервала его Бети по-русски и спросила адвоката, можно ли имѣть свиданіе съ...

— „Съ преступникомъ“? Конечно! Теперь, когда ему предъявленъ обвинительный актъ, уже можно. Онъ долженъ заявить, съ кѣмъ хочетъ видѣться, а вы, съ своей стороны, должны просить объ этомъ прокурора... Зайдите ко мнѣ сегодня часа въ три-четыре. Я все устрою. Завтра вы можете повидаться. До свиданья!

Черезъ часъ пинскій адвокатъ уже сидѣлъ наединѣ съ обвиняемымъ и не могъ вдоволь налюбоваться на этого бодраго и веселаго юношу, который только слишкомъ обросъ волосами, не могъ надивиться той стойкости и твердости, съ которой онъ держался, отсутствію въ немъ той забитости, опасливости, съ которой смотритъ еврей на каждаго обращающагося къ нему: „а не собираешься ли, молъ, ты мнѣ напакостить?“ Адвокатъ нико-

гда еще не видалъ еврея съ такую грудью и такую фигурой,—молодецъ, да и только!

Правда, обвиняемый никогда еще не чувствовалъ себя такимъ счастливымъ, какъ теперь. Помимо того, что онъ скоро выйдетъ на свободу,—въ чемъ онъ нисколько не сомнѣвался,—помимо того, что, благодаря ему, міръ убѣдится во всей нелѣпости страшной легенды о такъ называемомъ „ритуалѣ“ и съ цѣлаго народа будетъ снято, наконецъ, такое чудовищное обвиненіе,—помимо всего этого, онъ теперь только изъ обвинительнаго акта узналъ, что Бети жива и здорова, такъ какъ она вызывается въ качествѣ свидѣтельницы! А теперь этотъ адвокатъ,—какой чудный человекъ!—передалъ ему отъ нея поклонъ и обѣщаль выхлопотать для нихъ свиданіе!.. О, если бы онъ не стѣснялся, то бросился бы цѣловать его! А всего лишь полчаса тому назадъ, когда адвокатъ вошелъ, представился и объяснилъ цѣль своего визита, заключенный принялъ его совсѣмъ не такъ любезно. Онъ сухо поблагодарилъ его,—адвокатъ ему не нуженъ, у него у самого языкъ есть. Разумѣется, онъ сказалъ большую глупость... Обвиняемый, пусть онъ даже лучшій араторъ, пусть умѣеть говорить, какъ Цицеронъ, нуждается въ адвокатѣ, въ защитникѣ...

— Простите меня, тысячу разъ простите,

я погорячился, вы будете моимъ адвокатомъ, вы—и никто больше!

— Лучше ссора въ началѣ, чѣмъ въ концѣ, — говоритъ адвокатъ по-еврейски, а обвиняемый спрашиваетъ, что это значить?

— Ахъ, я совсѣмъ забылъ, что вы наполовину еврей, наполовину гой, — смѣется адвокатъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ разговоръ становится интимнѣе, а расставаясь, оба чувствуютъ себя такъ, точно знакомы цѣлую вѣчность...

ГЛАВА XVI.

Иванъ Ивановичъ Поповъ.

Веселое красивое Благосвѣтлово не носило этимъ лѣтомъ своего обычнаго вида. Съ тѣхъ поръ какъ Поповы переѣхали изъ города, здѣсь не видно было чужого человѣка. А если кто и прѣзжалъ, не принимали. По дѣламъ обращались къ управляющему. Иванъ Ивановичъ рѣдко куда выѣзжалъ и, возвратившись, запирался у себя въ кабинетъ. Каждый день утромъ выслушивалъ онъ докладъ управляющаго, который стоялъ предъ нимъ навтыжку, и каждый разъ, выйдя изъ кабинета, чувствовалъ большое облегченіе, — такъ трудно было выстоять эти нѣсколько минутъ предъ тяжелымъ Иваномъ Ивановичемъ... Еще тяжелѣе и мрачнѣе сдѣлался онъ съ тѣхъ поръ, какъ случилось несчастье, о которомъ всѣ знали, но никто не смѣлъ сказать слова...

О томъ, что это было за несчастье, въ имѣніи ходили разные слухи. Потихоньку передавали другъ другу каждый разъ новую версію о пропавшемъ молодомъ баринѣ. Одни говорили, что онъ сидитъ въ острогѣ и его будутъ судить. Другіе настаивали, что онъ уже осужденъ и сосланъ туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ. А еще утверждали, что дѣло куда хуже, и при этомъ крестились... Указывали на барышню или „монахиню“, какъ называла ее прислуга, всегда знающая все, что дѣлается въ домѣ... Барышня, говорили, часами простаиваетъ на колѣняхъ и молится за душу покойнаго брата... Кто-то слышалъ даже, какъ баринъ упрекалъ барышню въ томъ, что она виновата въ несчастіи брата, такъ какъ она знала, что онъ идетъ по ложному пути, и скрывала отъ отца... Одинъ лакей, щеголь во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, стоя въ кухнѣ передъ зеркаломъ, рассказалъ совсѣмъ дикую исторію, о томъ, что онъ зашелъ въ комнату какъ разъ въ тотъ моментъ, когда баринъ поднялъ руку на барышню.. Но эта выдумка встрѣтила такой единодушный протестъ, что лакей долженъ былъ взять свои слова обратно.

Во всѣхъ этихъ разговорахъ была, однако нѣкоторая доля правды. Иванъ Ивановичъ въ самомъ дѣлѣ постоянно упрекалъ дочь въ томъ, что между нею и братомъ есть секреты, и что она, вѣроятно, очень хорошо знаетъ,

почему Гриша просилъ, чтобы ему писали письма „до востребованія“, и почему онъ не прїѣхалъ на Пасху домой,—она знаетъ все, онъ въ этомъ увѣренъ. Сынъ его пошелъ *по теченію*,—это такъ же вѣрно, какъ то, что онъ Иванъ Ивановичъ Поповъ, и не сегодня-завтра станетъ извѣстно, что онъ арестованъ, если не хуже... И кто въ этомъ виноватъ, какъ не самъ онъ со своей системой свободнаго воспитанія?.. Зачѣмъ надо было ему держать дѣтей внѣ дома, сына—въ гимназіи въ одномъ мѣстѣ, дочь—въ институтѣ въ другомъ? Не правъ развѣ былъ братъ его Николай, который говорилъ, что дѣти должны расти на глазахъ у родителей, что дѣти, растущія безъ отца-матери, похожи на траву, растущую безъ солнца. Но Иванъ Ивановичъ полагалъ, что домъ безъ матери—не домъ. Вообще съ тѣхъ поръ какъ онъ овдовѣлъ, домъ сталъ ему въ тягость. Ничто не интересовало его. Онъ забросилъ службу, которая началась такъ блестяще, что въ тридцать шесть лѣтъ онъ уже былъ губернскимъ предводителемъ дворянства... А было время, когда онъ мечталъ о министерскомъ портфельѣ... Блестящій, веселый, остроумный, любившій бывать въ обществѣ и обращать на себя вниманіе, онъ понемногу сталъ опускаться, удаляться отъ людей, сдѣлался мрачнымъ и капризнымъ бариномъ, строгимъ отцомъ и еще болѣе строгимъ хозяиномъ, такъ

что родные братья не узнавали его и не понимали, что съ нимъ творится. Единственная привычка, которой онъ остался вѣренъ, единственное удовольствіе, которое онъ себѣ позволялъ, была охота. Охота была его жизнью. Но въ это лѣто и на охоту онъ выѣзжалъ очень рѣдко. Большею частью сидѣлъ дома, читалъ, курилъ.. Показывался только къ столу, мрачный, какъ ночь, холодно здоровался съ дочерью и рѣдко-рѣдко перебрасывался съ нею двумя-тремя словами, никогда не заговаривая о сынѣ, какъ будто его уже давнымъ давно не было на свѣтѣ...

Послѣдній разъ имя сына произнесено было, когда Вѣра вернулась изъ поѣздки и привезла странныя извѣстія о братѣ.. Во-первыхъ, въ университетѣ учился онъ прекрасно, велъ себя скромно и хорошо, лучше не надо. Во-вторыхъ, былъ на кондиціи въ очень солидной семьѣ Бардо-Брадовскихъ, которые не могутъ нахвалиться имъ. И въ-третьихъ, что передъ отъѣздомъ онъ получилъ телеграмму, былъ очень разстроены и говорилъ, что ѣдетъ домой

— Это все?

Иванъ Ивановичъ пронизалъ дочь глазами. Вѣра поняла, что отецъ не вѣритъ ей, думаетъ, что она скрываетъ отъ него что-то, боится сказать все... Она стала увѣрять его поклялась памятью матери, что... Но это не успокоило взволнованнаго, озлобленнаго Ивана

Ивановича. Наоборотъ, онъ разсердился еще больше... Зачѣмъ трогать память покойной матери, которая ему, можетъ быть, такъ же дорога, какъ и ей! Нѣтъ, онъ остается при своемъ,—это неправда, здѣсь есть что-то другое! Это просто не вмѣщается въ его головѣ... Какая тамъ кондиція? Какъ очутился его сынъ на кондиціи? Это вранье, интрига, авантюра, всѣ сговорились противъ него, всѣ—даже его собственные дѣти, его плоть и кровь... Иванъ Ивановичъ встаетъ, хлопаетъ дверью, уходитъ къ себѣ, запирается.—и ни слова о сынѣ. Нѣтъ сына. Умеръ.

Около этого времени управляющій однажды доложилъ ему, что какой-то молодой человѣкъ, студентъ, проситъ принять его по очень важному дѣлу. Иванъ Ивановичъ такъ посмотрѣлъ, что у управляющаго застыло все внутри. Онъ хорошо помнилъ приказаніе не принимать никого безъ всякаго исключенія. Но студентъ говоритъ, что дѣло касается больше Ивана Ивановича, чѣмъ его самого, и что ему необходимо видѣть его, какъ можно скорѣе.

— Какой у него видъ?

— Армянина, грузина или еврея.

— Его имя?

— Онъ не говоритъ...

— Что-о?! — заревѣлъ Иванъ Ивановичъ,

такъ что стекла задрожали въ окнахъ, а перепуганный на смерть управляющій бросился къ двери... Но Иванъ Ивановичъ вернулъ его:

— Пусть напишетъ, что ему надо!

Черезъ нѣсколько минутъ управляющій подалъ Ивану Ивановичу въ запечатанномъ конвертѣ маленькую записку съ тремя словами: „По дѣлу сына“. Иванъ Ивановичъ вздрогнулъ... Грузинъ или еврей... вѣроятно, товарищъ революціонеръ, а можетъ быть, анархистъ... Пришелъ интриговать, выжать денегъ.. Надо принять мѣры!... Грузинъ или еврей... везлѣ эти евреи!

Когда ввели студента,—это былъ Рабиновичъ,—первое, что онъ увидѣлъ, былъ браунингъ на столѣ. Въ хозяинѣ онъ безъ труда узналъ отца своего друга Гриши. Тѣ же честные, довѣрчивые глаза, сидящіе немного глубже. чѣмъ у сына, тѣ же густые, черные, но съ маленькой просѣдью волосы и та же широкая грудь съ нѣсколько приподнятыми плечами, тѣ же манеры вплоть до откидыванія волосъ назадъ рукою и привычки говорить громко и быстро,—вылитый Гриша.

— Садитесь. Что скажете?

Иванъ Ивановичъ указалъ гостю стулъ съ одной стороны стола, а самъ сѣлъ по другую, поближе къ заряженному браунингу, и ждалъ, что тотъ скажетъ, не спуская съ него глазъ. Онъ былъ увѣренъ, что гость заговорить о

томъ, что пришелъ спасти его сына отъ несчастья. И дѣйствительно, студентъ, осмотрѣвшись, прямо перешелъ къ дѣлу, при чемъ голосъ его немного дрожалъ:

— Я товарищъ вашего сына еще по гимназіи (онъ называлъ городъ). Гриша въ бѣдѣ... Впрочемъ серьезной опасности для него нѣтъ... Но...

— Онъ сидитъ? — спросилъ Иванъ Ивановичъ, проведя рукой по волосамъ. Это было главное, что онъ хотѣлъ знать. Студентъ удивленно и безпокойно посмотрѣлъ на него:

— Вы уже знаете, что онъ сидитъ?

Иванъ Ивановичъ пристально поглядѣлъ на студента и, ничего не отвѣтивъ на это, быстро спросилъ:

— Итакъ, вы пріѣхали спасать его?

Рабиновичъ еще болѣе поразился и повторилъ за нимъ:

— Пріѣхалъ спасать его... т.-е., вы должны спасти его. Большой опасности нѣтъ, но необходимо помочь.

— Ну, конечно деньгами... Сколько?

Иванъ Ивановичъ посмотрѣлъ на студента и незамѣтно скользнулъ взглядомъ по револьверу. Студентъ тоже взглянулъ на браунингъ, не понимая, зачѣмъ онъ тутъ...

— О, нѣтъ, не деньгами,—отвѣчалъ онъ,— деньгами здѣсь не помочь... Здѣсь очень запутанное дѣло, недоразумѣніе, въ которое

вашъ сынъ попалъ случайно, благодаря (студентъ улыбнулся) шуткѣ, превратившейся въ серьезное дѣло... Только вы сами можете выручить сына изъ бѣды и вмѣстѣ съ тѣмъ распутать невѣроятно запутанный узелъ...

Студентъ сдѣлалъ соотвѣтствующій жестъ и, придвинувшись къ столу, оглянулся во всѣ стороны. Затѣмъ тономъ ниже продолжалъ:

— Итакъ мы подходимъ къ главному. Это—необыкновенная исторія! Совершенно необыкновенная, невѣроятная исторія!

И студентъ, путаясь и сбиваясь, началъ рассказывать дѣйствительно необыкновенную и невѣроятную исторію.

Иванъ Ивановичъ отбросилъ волосы назадъ и откинулся на спинку стула, пристально разсматривая гостя, который больше не казался ему авантюристомъ, экспроприаторомъ, маниакомъ, человѣкомъ не въ своемъ умѣ... Гость, видимо, понялъ это... Онъ сказалъ:

— Я вижу, Иванъ Ивановичъ, что вы смотрите на меня, какъ на человѣка, говорящаго нѣчто несуразное... Мнѣ придется, поэтому, рассказать вамъ всю эту траги-комедію отъ начала до конца. Это длинная, сложная, запутанная и, повторяю, невѣроятная исторія... Но прежде вы должны дать мнѣ, простите, честное слово въ томъ, что все, рассказанное мною, до поры до времени не выйдетъ изъ этихъ четырехъ стѣнъ. Это, во-первыхъ.

— А во-вторыхъ? — насмѣшливо спросилъ Иванъ Ивановичъ, котораго злило, какъ смѣеть этотъ еврей требовать отъ него, Ивана Ивановича Попова, честнаго слова! . . . Къ тому же онъ хотѣлъ скорѣе узнать, въ чемъ тутъ дѣло.

— А во-вторыхъ, я хотѣлъ васъ просить отнестись ко мнѣ съ большимъ довѣріемъ, такъ какъ передъ вами не только близкій другъ и товарищъ вашего сына, но вообще человѣкъ, заинтересованный въ одномъ лишь, въ томъ, чтобы исправить ошибку, сдѣланную подъ вліяніемъ минулаго настроенія на веселой пирушкѣ. . . Вы сами когда-то были молоды и, вѣроятно, тоже совершали ошибки. конечно, не такія глупыя какъ мы, я и вашъ сынъ . . .

Никогда еще Рабиновичъ не видѣлъ съ такой ясностью, какъ глупо было затѣять эту опасную шутку. И хотя виновать въ этомъ больше былъ его товарищъ, но половину вины онъ все-таки бралъ на себя. . .

Иванъ Ивановичъ уже понялъ, что имѣеть дѣло не съ маниакомъ, но все еще не понималъ, чего гость отъ него хочетъ. Онъ такъ прямо и сказалъ студенту:

— Я васъ очень плохо понимаю, молодой человѣкъ. Я слышу: „ошибка“, „шутка“, „пирушка“, „траги-комедія“, но что все это означаетъ, я не знаю. Можетъ быть, я пойму

это позднѣе, когда вы выскажетесь болѣе ясно. А то, что вы требуете отъ меня слово— просто смѣшно. Какъ я могу дать слово чело-вѣку, котораго не знаю?

По мягкому тону этихъ словъ и по добрымъ честнымъ глазамъ, которые доврчиво смотрѣли на него, Рабиновичъ понялъ, что его предисловіе было совершенно излишне, и поспѣшилъ перейти къ длинному разсказу, со всѣми подробностями, о томъ, какъ изъ глупой мальчишеской шутки, которую они съ Гришей выкинули подъ веселую руку, вышла страшная кровавая шутка...

Сначала Рабиновичъ долженъ былъ немного уклониться въ сторону,—почему онъ это называетъ кровавой шуткой. Пришлось прочесть маленькую лекцію о томъ, что, къ сожалѣнію, въ наше время прогресса существуетъ еще такая позорная вещь, какъ „кровоавый навѣтъ“... И это оказалось не лишнимъ, такъ какъ Иванъ Ивановичъ потомъ признался, что онъ не имѣлъ объ этомъ никакого представленія. Правда, онъ читалъ въ газетахъ о томъ, что какой-то еврей дантистъ заманилъ къ себѣ христіанскаго мальчика и убилъ его для какихъ-то цѣлей, связанныхъ съ еврейскимъ праздникомъ, но не задумывался надъ этимъ,— мало ли людей убиваютъ въ наше время, Боже мой!...

Много чудовищныхъ вещей услышалъ въ

этотъ день Иванъ Ивановичъ отъ студента, который вмѣстѣ съ исторіей о мученіяхъ его сына разсказалъ также о собственныхъ страданіяхъ съ самаго дѣтства и вплоть до послѣдняго года, проведеннаго имъ въ качествѣ якобы счастливаго равноправнаго христіанина среди русскихъ... Разсказалъ и про свое послѣднее испытаніе, про свою поѣздку въ большой городъ „черты“ (вопроса о „чертѣ“ ему тоже пришлось коснуться), гдѣ онъ пытался спасти своего друга.—все, все выложилъ Рабиновичъ Ивану Ивановичу, какъ отцу родному.

На лицѣ Ивана Ивановича смѣнялись одно за другимъ всѣ ощущенія, которыя онъ пережилъ за эти нѣсколько часовъ, показавшихся ему минутами,—такъ ново и интересно было все, что разсказывалъ студентъ, такъ правдиво и задушевно звучали его слова, хоть онъ и еврей... Лакей въ черномъ фракѣ, подававшій чай, былъ не мало удивленъ, увидавъ, что баринъ сразу ожилъ съ тѣхъ поръ, какъ сидитъ у него этотъ студентъ,—совсѣмъ не узнать барина!...

Въ тотъ же день вечеромъ Иванъ Ивановичъ приказалъ заложить лошадей и отдалъ распоряженія управляющему на цѣлую недѣлю Затѣмъ онъ позвалъ дочь и сказалъ, что уѣзжаетъ на нѣсколько дней... Дѣло касается Гриши... Возможно, что онъ привезетъ его съ

собою... Съ дороги онъ напишетъ, протелеграфируетъ...

Въ первый разъ въ жизни Ивану Ивановичу пришлось сидѣть бокъ-о-бокъ съ евреемъ... Было достаточно времени въ дорогѣ, чтобы, сидя въ отдѣльномъ купѣ перваго класса, послушаться отъ своего сосѣда диковинныхъ вещей, о которыхъ онъ, признаться, не имѣлъ ни малѣйшаго представленія... Предъ Иваномъ Ивановичемъ раскрылся цѣлый міръ... Новый невѣдомый міръ... Одно только было ему непріятно: сосѣдъ его, правда, довольно симпатичный, хотя и недалекій молодой чело-вѣкъ, но все-таки—еврей...

ГЛАВА XVII.

Судъ идетъ.

Улица, на которой стоялъ большой сѣрый домъ,—дворецъ правосудія,—была запружена народомъ. Никогда еще биржа такъ не пустовала, какъ въ это утро. Никогда еще на базарахъ и въ лавкахъ, въ конторахъ и банкахъ не было такъ мало покупателей и кліентовъ, какъ въ это утро. Казалось, замерли всѣ интересы, кромѣ одного,—къ ритуальному процессу и его герою дантисту Рабиновичу. Находились даже охотники дежурить съ самага утра подъ дождемъ, чтобы посмотреть, какъ повезутъ его, преступника...

Въ толпѣ, состоявшей въ большей части изъ евреевъ, шель оживленный говоръ,—евреи не любятъ стоять безъ дѣла. Говорили, разумѣется о процессѣ и о дантистѣ Рабиновичѣ. Какихъ только не было здѣсь толковъ и разсказовъ, мнѣній и предположеній! Откуда они брались,—трудно сказать. Но находились люди, которые знали рѣшительно все. Евреи все знаютъ. Знали, на примѣръ, о новыхъ свидѣтеляхъ, въ числѣ которыхъ былъ извѣстный студентъ-академистъ Коршуновъ. Эти свидѣтели будутъ присягать въ томъ, что сами видѣли, какъ обвиняемый и еще одинъ черненькій молодой человѣкъ ѣхали на извозчикѣ, а у ногъ ихъ въ мѣшкѣ билось что-то живое... О чемъ разговаривали эти евреи, свидѣтели не знаютъ, но одно слово они уловили: „мацца“. Увидѣвъ ихъ, евреи велѣли извозчику ѣхать быстрее и скоро свернули на улицу, гдѣ находится синагога.

Все знаютъ евреи. Передается въ толпѣ, что выкрестъ Лапидусъ, выступившій съ своимъ гнуснымъ доносомъ на евреевъ, въ глубокомъ раскаяніи, намѣревается взять назадъ всѣ свои прежнія слова и готовъ даже наложить на себя руки... „Туда ему дорога!—подхватываютъ нѣкоторые.—Таковъ удѣлъ всѣхъ враговъ Израиля!..“

Все знаютъ евреи. Извѣстно напередъ, что скажутъ адвокаты, кто изъ нихъ выступить

раньше, кто позже. Рассказываются всякія подробности не только объ адвокатахъ, но и о прокурорѣ, специалистѣ въ вопросахъ „ритуала“, который сидитъ здѣсь уже цѣлый мѣсяцъ и изучаетъ дѣло на мѣстѣ, вызывалъ къ себѣ раввина, сфотографировалъ всю еврейскую улицу, былъ вездѣ, въ синагогѣ, и даже въ подрядѣ, гдѣ пекутъ мацу... Много чудесъ передавали въ толпѣ въ это утро и о самомъ обвиняемомъ, хотя никто его не видалъ. Рассказывали, наприимѣръ, что въ тюрьмѣ онъ посѣдѣлъ, какъ лунь, и даже помѣшался... Теперь ему легче. На дняхъ онъ написалъ письмо своей невѣстѣ по-древне-еврейски и передалъ черезъ свсего адвоката...

— Что за чепуха? Какая тамъ невѣста? Вѣроятно, вы думаете—дочь Шапиро? Ничего подобнаго! У нея давно уже есть другой женихъ. Объ этомъ вы меня спросите! Я знаю лучше всѣхъ. Я ихъ сосѣдъ и свой человѣкъ у нихъ...

Конечно, говорить это Кецеле. Вспотѣвшій, съ наморщеннымъ лбомъ и озабоченнымъ видомъ все утро бѣгалъ Кецеле на своихъ коротенькихъ ножкахъ отъ одного къ другому, разводилъ руками, двигалъ плечами, ни минуты не оставаясь на мѣстѣ, точно кто гвоздей насадилъ ему въ подошвы, или точно улица была вымощена не камнями, а горячими углями. Кецеле дѣлалъ свое дѣло усердно и со вкусомъ. Если бы Богъ знаетъ сколько пла-

тили человѣку, онъ не работалъ бы такъ старательно, какъ Кецеле. Вѣдь онъ знакомъ съ самимъ обвиняемымъ,—сколько разъ игралъ съ нимъ въ стуюлку и въ „тертль-мертль“! Кромѣ того, ему посчастливилось познакомиться и съ отцомъ обвиняемаго, который провелъ у него цѣлыя сутки. Кромѣ того...

Но Кецеле уже исчезаетъ. Шутка ли, у человѣка столько работы! Евреевъ-то сколько, евреевъ,—не сглазить бы!..

Нельзя однако сказать, чтобы вся толпа состояла изъ однихъ евреевъ. Было не мало русскихъ, которые тоже интересовались процессомъ, понаѣхало много спеціальныхъ корреспондентовъ не только отъ русскихъ газетъ, но и изъ всѣхъ главныхъ городовъ Европы. Всѣ жаждали попасть въ залу суда, но не у каждаго была возможность. Входъ допускался только по билетамъ, число которыхъ было ограничено. Свидѣтели, корреспонденты, юристы, чиновники буквально осаждали зданіе, тѣснясь къ дверямъ, которыя были еще закрыты. Подъѣзжали кареты, привозившія разодрѣтыхъ дамъ въ модныхъ шляпкахъ, извѣстныхъ уголовныхъ дамъ, безъ которыхъ не обходится ни одинъ крупный процессъ. Явилась и полиція, которая оказалась не лишней, такъ какъ уже произошло нѣсколько инцидентовъ между „различными классами населенія“...

Но вотъ толпа дрогнула, море головъ вско-

лыхнулось... Отворились двери, и счастливыхъ обладателей билетовъ начали впускать внутрь по одиночкѣ, не безъ толкотни и давки, а остальные должны были остаться по сю сторону. Пришлось утѣшиться тѣмъ, что хоть стоишь недалеко отъ дверей и что дождь, слава Богу, пересталъ.

— Все къ лучшему,—острили въ толпѣ,—денекъ, слава Богу, прохладный!

— Вотъ кому позавидовать можно: этимъ фракамъ съ бѣлыми галстуками. Ихъ впускаютъ внутрь, да еще и по ту сторону рѣшетки!

— Не плохо и чиновникамъ. Чуть кокарда—пожалуйте!

Подѣхала шикарная карета и изъ нея вышелъ солидный господинъ, а за нимъ студентъ, съ виду еврей. Оба направились прямо къ дверямъ, но ихъ не впустили, чѣмъ они были очень удивлены. Студентъ сталъ говорить что-то своему спутнику, горячо и взволнованно...

Конечно, въ толпѣ принялись комментировать эту сцену на всѣ лады и спрашивать другъ друга, кто могъ бы быть этотъ господинъ и откуда взялся съ нимъ студентъ-еврей. Какъ изъ земли вырастаетъ Кецеле:

— Назовите меня сумасшедшимъ, но я держу пари, на сколько хотите, что студентъ этотъ братъ обвиняемаго! Я знаю его старша-

го брата, Абрама-Лейбу, похожъ, какъ двѣ капли воды! Я провелъ съ нимъ цѣлыя сутки...

— Хорошо, но кто же этотъ русскій?

— Что же тутъ непонятнаго? Вѣроятно, помѣщикъ, у котораго отецъ Рабиновича держитъ аренду.

Кецеле говоритъ это съ такимъ апломбомъ, что никому даже въ голову не приходитъ спросить его, что за аренду держитъ отецъ Рабиновича. Да къ тому же интересно посмотрѣть, что будетъ дальше: впустятъ ихъ или нѣтъ? Одни говорятъ, что впустятъ, другіе, что не впустятъ. Между тѣмъ господинъ продолжаетъ бесѣдовать со студентомъ, а тотъ не перестаетъ горячиться...

— Вѣроятно, совѣтъ ему даетъ,—совѣтуетъ, что дѣлать... „еврейская голова!“

Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ открылась дверь, и господина впустили внутрь, а студентъ повертѣлся еще нѣкоторое время возлѣ дверей, сѣлъ въ карету и уѣхалъ.

— Ну, что я вамъ говорилъ?—торжествующе спрашиваетъ Кецеле.—Господинъ этотъ не простой смертный. Передалъ свою карточку—графъ такой-то, пожалуйста!.. А еврею онъ сказалъ: ты подожди здѣсь минутку, я попрошу, чтобы тебя впустили, а если нѣтъ,—поѣзжай въ отель и закажи себѣ самоваръ на мой счетъ!

— Все онъ знаетъ, этотъ Кецеле!—говоритъ кто-то по его уходѣ.

- Не такъ старъ, какъ свѣдушь!
- Читаетъ, какъ по книгѣ!
- Безпокойный человѣкъ...

Прошло порядочно времени, пока въ залѣ суда публика разсѣлась на тѣсно сдвинутыхъ скамьяхъ. Не только въ самомъ залѣ, но даже по ту сторону рѣшетки негдѣ было яблоку упасть. Тамъ были присяжные, адвокаты и ихъ помощники, всѣ въ черныхъ фракахъ и съ портфелями подъ мышкою. Среди юристовъ находился и пинскій адвокатъ съ „головой министра“ и тонкими ногами. Черный фракъ и бѣлый галстукъ придавали его огромной гладкой головѣ особый блескъ, а его большой лобъ свидѣтельствовалъ, что этотъ человѣкъ все обдумалъ и готовъ вступить въ битву, какъ бы силенъ и вооруженъ противникъ ни былъ. Если врагъ силенъ, онъ еще сильнѣе. Если врагъ вооруженъ, онъ закованъ съ головы до ногъ. На его сторонѣ увѣренность, что подзащитный невиненъ, на его сторонѣ правда и истина...

А кто этотъ человѣкъ съ львиной головой и горящими черными глазами, вокругъ котораго тѣсняются адвокаты и жмутъ ему руку? Это знаменитый адвокатъ, специально выписанный на этотъ процессъ изъ столицы. Оба адвоката скоро занимаютъ свои мѣста возлѣ скамьи подсудимыхъ, напротивъ прокурора.

Прокуроръ тоже присланъ сюда изъ столицы. И хотя онъ совсѣмъ еще молодъ, но благодаря своему аристократическому происхожденію и большой протекціи, онъ попалъ обвинителемъ на этотъ процессъ, который долженъ проложить путь его дальнѣйшей карьерѣ. Красавецъ съ свѣтскими манерами, блестящій ораторъ съ превосходнымъ голосомъ, онъ обладалъ всѣми качествами, нужными для покоренія сердець уголовныхъ дамъ.

Понемногу публика усѣлась и успокоилась. Но настоящая тишина водворилась только послѣ того, какъ судебный приставъ торжественно провозгласилъ:

— Судъ идетъ!

За большимъ столомъ усѣлись судьи. По срединѣ—предсѣдатель, пожилой человѣкъ, съ круглымъ лицомъ, сѣдовой бородкой и подушечками подъ глазами, очень похожій на англійскаго короля Эдуарда; а, по сторонамъ—судьи, одинъ высокій, тощій, болѣзненный, съ торчащей изъ воротника шеей; другой—низенькій, круглый, съ широкой, черной, коротко остриженной головой и низкимъ лбомъ, изъподъ котораго выглядывала пара маленькихъ мышинныхъ глазокъ. За судьями, у самой стѣны, подъ царскимъ портретомъ, помѣстились въ качествѣ зрителей, разныя высокопоставленныя особы въ мундирахъ и безъ оныхъ. Но всѣ они не такъ обращали на себя

вниманіе публики, какъ молодой прокуроръ съ его блестящей фигурой и адвокатъ съ львиной головой. Въ нихъ видѣли двухъ героевъ, гладіаторовъ, которые должны выступить на арену правосудія во всеоружіи своихъ ораторскихъ талантовъ, со всей мощью логики и убѣжденія. Обѣ стороны тщательно приготовились къ выступленію и запаслись всевозможными матеріалами, книгами и документами. Одна сторона принесла сочиненія Карла Эккера, Германа Бауера, Августа Ролинга и знаменитаго Лютостанскаго, которые, напри-мѣръ, доказываютъ, что евреи не могутъ обойтись безъ христіанской крови для своей мацы на Пасху... Другая сторона принесла книги профессора Делича, профессора Хвольсона, католическаго священника Франка, лютеранскаго пастора Штрака и многихъ другихъ еврейскихъ и русскихъ писателей, которые убѣдительными примѣрами изъ самого Завѣта и цитатами изъ талмуда и другихъ историческихъ источниковъ доказываютъ, что всѣ эти обвиненія ложны съ начала до конца, грубо-невѣжественны и большей частью являются доносами и пасквилями, сотканными изъ злобы, клеветы, интриги, шантажа... Что говорить,—для широкой публики это былъ праздникъ. Предстояло посмотреть интересное зрѣлище, послушать знаменитыхъ ораторовъ... Но каково приходилось нѣсколькимъ счастли-

цамъ-евреямъ, которые съ большимъ трудомъ, благодаря протекціи, пробрались въ залъ? Имъ, знавшимъ правду, должно быть, очень досадно было на Феמידу, богиню правосудія, стоявшую съ завязанными глазами: обѣ чашки вѣсовъ на одномъ уровнѣ, ни въ ту ни въ другую сторону не наклонились ни на волосъ... Неужели есть еще сомнѣніе? И слышали они, должно быть, голосъ, говорившій: „горе тому, кого обвиняютъ въ томъ, въ чемъ онъ неповиненъ“!...

Какъ ни была заинтересована публика знаменитыми гладіаторами правосудія, адвокатами и прокуроромъ, но когда предсѣдатель отдалъ приказаніе ввести обвиняемаго, всѣ застыли въ напряженномъ ожиданіи. Многіе ждали, что покажется какой-нибудь рыжій субъектъ съ лицомъ вампира и глазами разбойника. Другіе, наоборотъ, рассчитывали увидѣть черненькаго юркаго еврейчика съ курчавой головой и хитрыми воровскими глазками. Но ни тѣ ни другіе не угадали. Два солдата съ шашками наголо ввели высокаго красиваго юношу съ симпатичнымъ открытымъ лицомъ, окаймленнымъ черными, давно не стриженными волосами. Сотни глазъ съ удивленіемъ смотрѣли на обвиняемаго. Дамы навели лорнеты: „Ахъ, кто бы могъ подумать, что *такой* совершить подобное преступленіе?!“ А обвиняемый дер-

жался совсѣмъ не какъ преступникъ. На лицѣ у него не было замѣтно ни малѣйшаго волненіе. Только задумчивый взглядъ и прозрачная кожа лица свидѣтельствовали, что человѣкъ много пережилъ и во всякомъ случаѣ много передумалъ... Для него этотъ день былъ чуть ли не самымъ желаннымъ. На него онъ надѣялся, его ждалъ. Конецъ трагикомедіи!... Онъ былъ увѣренъ, что наступилъ моментъ, историческій моментъ, когда всѣ, наконецъ, убѣдятся, что не только онъ неповиненъ въ этомъ преступленіи, но что вообще никакихъ „ритуальныхъ“ убійствъ среди евреевъ никогда не было и нѣтъ. Много онъ надѣялся на здравый смыслъ и честность присяжныхъ, многого ожидалъ отъ своихъ адвокатовъ, этихъ гигантовъ, львовъ... Если уже они не убѣдятъ, то кто же?... Но больше всего онъ надѣялся на самого себя, на свои собственныя силы, на силу святой истины. Нѣтъ большей силы на свѣтѣ, чѣмъ правда!...

Онъ заранѣе обдумалъ отвѣты на всѣ вопросы, которые ему будутъ задавать, и приготовилъ рѣчь, съ которой онъ выступить передъ присяжными въ своемъ послѣднемъ словѣ. То будетъ не большая, но горячая рѣчь, идущая отъ самаго сердца, проникающая прямо въ душу... И онъ уже вдохновляется своей красивой рѣчью, чувствуя себя жертвой за еврейскій народъ, невольнымъ мученикомъ

готовымъ на все... На что именно,—онъ самъ не отдаетъ себѣ отчета, но чувствуетъ особую прелесть въ сознаниі, что онъ можетъ быть мученикомъ, исторической жертвой за чужой народъ... Зато, когда онъ выйдетъ невиннымъ, каковъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, какая это будетъ побѣда истины! Какой это будетъ праздникъ для преслѣдуемаго, угнетеннаго народа, который спасъ онъ, принадлежащій къ угнетателямъ... И фантазія уноситъ его на своихъ легкихъ крылышкахъ и рисуетъ ему свѣтлыя заманчивыя картины, одну другой красивѣе и грандіознѣе...

Но мысль о Бети, которую онъ видитъ сейчасъ, возвращаетъ его къ дѣйствительности... Раньше увидѣться съ ней онъ не могъ. Такъ какъ она вызывалась въ качествѣ свидѣтельницы, то ей въ свиданіи было отказано. Онъ ищетъ ее глазами въ залѣ и не находитъ. Никого изъ свидѣтелей еще нѣтъ. Предъ нимъ только море головъ, дамскихъ шляпокъ съ огромными перьями и направленныхъ на него лорнетовъ. За столомъ трое судей въ вышитыхъ золотомъ мундирахъ, а какъ разъ напротивъ него молодой красивый прокуроръ съ коротко-подстриженной бородкой,—кто онъ такой? Отчего ему такъ знакомо это лицо? Сердце его сильно бьется,—онъ всматривается пристальнѣе... Неужели? Нѣтъ, не можетъ быть!... Это ему показалось... Бываютъ же люди такъ

похожи!... Не можетъ быть!... Не можетъ быть!... Въ этотъ моментъ курьеръ подаль председателю визитную карточку. Тотъ осмотрѣлъ ее со всѣхъ сторонъ и что-то сказалъ курьеру, который исчезъ въ ту же дверь... Обвиняемый нагнулся къ своему адвокату и спросилъ шопотомъ:

— Кто это противъ насъ?

— Вѣдь это нашъ „ангелъ смерти“, — отвѣтилъ тотъ также на ухо: — товарищъ прокурора, который специально для насъ присланъ сюда... Говорятъ, человѣкъ не безъ таланта. Но ничего, мы зададимъ ему перцу!

— Ахъ, не то, не то, — волнуется обвиняемый: — я хочу знать его фамилію...

— Его фамилію? Сейчасъ ..

Адвокатъ шопотомъ спрашиваетъ своего коллегу съ львиной головой и тотчасъ же передаетъ обвиняемому:

— Поповъ... Дмитрій Николаевичъ Поповъ.

Ну, разумѣется! Вѣдь онъ сразу же узналъ въ немъ Попова!...

Это былъ старшій сынъ его дяди Николая Ивановича, съ которымъ они нѣкогда проводили въ Благосвѣтловѣ не мало веселыхъ дней, — вмѣстѣ ловили рыбу, катались на лодкѣ, ѣздили верхомъ... Правда, это было очень давно. Онъ, Гриша, былъ тогда еще въ младшихъ классахъ гимназіи, а тотъ — уже студентомъ перваго или втораго курса... Ахъ,

какъ онъ измѣнился! Какой важный чиновникъ изъ него вышелъ! Онъ всегда подавалъ большія надежды. „Мой Митя далеко пойдетъ!“ — говорилъ про него отецъ... А теперь онъ—его обвинитель! Нѣтъ, ни въ какомъ романѣ не встрѣтишь такихъ сюрпризовъ, какъ въ самой жизни. . „Но неужели я самъ такъ измѣнился, что меня трудно узнать? Сколько же времени прошло съ тѣхъ поръ? Пять, шесть лѣтъ?...“

Мысли его были прерваны предсѣдателемъ, который еще разъ пошептался съ своими коллегами, собралъ бумаги, лежавшія на столѣ, и, кашлянувши, приступилъ къ дѣлу...

Но не успѣлъ онъ произнести и первыхъ трехъ словъ, какъ изъ публики поднялся высокій солидный господинъ съ широкими, нѣсколько приподнятыми плечами и, держа передъ собой бѣлый, вчетверо сложенный листъ бумаги, твердыми шагами направился прямо къ предсѣдателю. Тотъ остановился на полусловѣ, что замѣтила недоумѣвавшая публика... Солидный господинъ подошелъ къ рѣшеткѣ и, остановившись, переглянулся сначала съ прокуроромъ, потомъ съ обвиняемымъ, что было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ; тутъ же неслышно подлетѣлъ приставъ, по нѣмому приказу предсѣдателя взялъ бумагу и подаль ее. Предсѣдатель просмотрѣлъ документъ, показалъ его обоимъ судьямъ и всѣ трое съ большимъ недоумѣніемъ взглянули на обви-

няемаго. Затѣмъ, наклонившись другъ къ другѣ, они тихо, но съ большимъ оживленіемъ стали о чемъ-то разговаривать. А господинъ, подавшій бумагу, провелъ рукой по своимъ чернымъ, слегка посеребреннымъ волосамъ и, положивъ другую руку на рѣшетку, ждалъ. Публика въ залѣ понятія не имѣла о томъ, что здѣсь происходитъ что-то необычайное. Только двое изъ присутствовавшихъ были такъ поражены случившимся, что совершенно растерялись. Эти двое были прокуроръ и обвиняемый. Первый, вскочивъ съ мѣста, пристально вглядывался въ подошедшаго господина, видимо, не понимая, какъ онъ попалъ сюда, что онъ здѣсь дѣлаетъ и что за бумагу онъ подалъ... А второй, обвиняемый, какъ бы остался прикованнымъ къ своему мѣсту и только обѣими руками ухватился за перила рѣшетки, чувствуя, что теряетъ сознание... Ему казалось, что это галлюцинація, что это тѣнь его отца, о которомъ онъ много думалъ въ эту ночь

Какъ сквозь сонъ, слушалъ онъ и смотрѣлъ на все происходившее. Онъ видѣлъ, какъ бумага обошла судей, какъ перешла она къ товарищу прокурора, который уставился въ него испуганными глазами. Онъ слышалъ, что предсѣдатель задавалъ ему какіе-то вопросы, на которые онъ что-то отвѣчалъ—не помнить

что... У него темнѣло въ глазахъ, шумѣло въ головѣ, а лицо горѣло огнемъ... Потомъ онъ услышалъ, какъ бы издалека, звучный голосъ товарища прокурора, вслушался въ этотъ голосъ, точно желая убѣдиться, Митя ли это, Дмитрій ли Николаевичъ Поповъ... Изъ его словъ онъ уловилъ лишь, что согласно параграфу 549-му дѣло необходимо направить къ дослѣдованію, а обвиняемого... Остального онъ ужъ не слышалъ... Потомъ, помнитъ онъ, судьи поднялись и въ залѣ начался страшный шумъ, а его отвели, но уже безъ солдатъ и не въ тюрьму... Кончено съ тюрьмой!...

.....

Нужно ли описать, что творилось въ залѣ, а потомъ на улицѣ, когда разнеслась ошеломляющая, сногшибательная вѣсть о томъ, что обвиняемый, который столько просидѣлъ въ тюрьмѣ, вовсе не еврей, не шкловскій мѣщанинъ Гершъ Мовшевичъ Рабиновичъ, а чистокровный дворянинъ, сынъ бывшаго Т—го губернскаго предводителя дворянства Григорій Ивановичъ Поповъ?

Для многихъ это было полное разочарованіе. (Напримѣръ, для уголовныхъ дамъ). А для нѣкоторыхъ (для представителей черной сотни) это было прямо ударомъ... Зато какъ ликовали евреи! Забыты были всѣ горести и перенесенныя страданія. Каждый спѣшилъ сообщить другому радостную вѣсть, останавливали другъ

друга на улицѣ и спрашивали все о томъ же... Многие цѣловались... Нѣтъ, шутка ли такое чудо: наконецъ-то, всѣ, весь міръ будетъ знать, что *евреи—не люди*ды!...

— И говорите послѣ этого, что чудесь въ наше время не бываетъ!

— Или, что нѣтъ на свѣтѣ Бога!

— Да. Великъ Богъ Израиля!

Больше всѣхъ бѣгалъ и волновался Кецеле:

— Ну, дѣти мои? Что я вамъ говориль? Теперь уже никто не скажетъ, что Каць сумасшедшій? Нѣтъ? Слава Богу?

Э п и л о г ъ .

Въ одинъ изъ вечеровъ праздника Маккавеевъ (Хануко) Шапиро принимали гостей. Давидъ, въ своемъ субботнемъ кафтанѣ, уже зажегъ праздничныя свѣчи, и скоро гости стали приходить одни за другими—на чашку чая.

Однако, всѣ знали, что они приглашены сюда на семейное торжество. Должна состояться помолвка Бети съ какимъ-то студентомъ, небогатымъ, но очень талантливымъ юношей. Гурвичъ его зовутъ. Бенья Гурвичъ изъ Пинска и, какъ увѣряетъ Шапиро, изъ очень знатнаго рода, изъ „настоящихъ Пинскихъ Гурвичей“.

Раньше всѣхъ явился переплетчикъ съ женой, у которой лицо похоже на мацу; оба.

одѣтые по-праздничному, они скромно усѣлись въ уголкѣ. Никто не обратилъ на нихъ вниманія. Давидъ не хотѣлъ занимать ихъ,— о чемъ ему говорить съ ремесленникомъ?— а Сара съ какой-то женщиной была занята на кухнѣ,— жарила гусей, пекла аладыи... Но когда пришли богатые родственники, Тойба съ замужними дочерьми (самъ Шлойма по обыкновенію уѣхалъ на Хануко къ своему ребѣ), а затѣмъ явился и хозяинъ Давида съ сыновьями,—Сарѣ пришлось наскоро надѣть свое шелковое платье, брилліанты и съ привѣтливой улыбкой выйти къ гостямъ.

— Тойбочка, голубушка, гдѣ же ваши дѣвицы?

— Богъ съ вами, Сарочка, развѣ вы не знаете, что барышнямъ не полагается посѣщать помолвки?!

И начался между ними длинный обмѣнъ любезностями. Тойба пожелала Сарѣ дожить до того счастливаго дня, когда поведетъ она, съ Божьей помощью, дочь къ вѣнцу,— „пора уже“... Сара, съ своей стороны, также пожелала Тойбѣ въ ближайшемъ будущемъ справиться помолвки своихъ младшихъ дочерей,— „давно уже пора!“...

— Аминь, дай Богъ!— подхватила Тойба съ набожнымъ лицомъ, сдѣлавъ видъ, что не замѣтила, какъ Сара заплатила ей уколомъ за уколъ,— и однимъ глазомъ взглянула на муж-

чинъ, нѣтъ ли между ними жениха и невѣсты. Но оказалось, что женихъ сидитъ съ домашнимъ докторомъ за шахматами. Оба безъ шапокъ и такъ углублены въ шахматную доску, что совсѣмъ не замѣчаютъ, что дѣлается вокругъ. А невѣста сидитъ отдѣльно съ какимъ-то молодымъ челювкомъ, тоже безъ шапки, съ огромной головой (это былъ пинскій адвокатъ).

Бети никогда еще, кажется, не была такъ красива и мила, хотя на ея сіяющемъ лицѣ замѣтенъ былъ какой-то новый штрихъ, какъ бы налетъ тайной печали... Но это придавало ей особую прелесть... Тетя Тойба смотрѣла на нее и вздыхала, — трудно сказать о чемъ... О томъ ли, что бѣдныя дѣвушки безъ гроша приданого выходятъ замужъ, а ея „барышнямъ“, богатымъ невѣстамъ, Господь не посылаетъ жениховъ? Или о томъ, что почти всѣ мужчины сидятъ здѣсь, какъ настоящіе безбожники, безъ шапокъ? Или, можетъ быть, глядя на Бети, она вспомнила своего Шлойму, который, будь онъ здѣсь, сталъ бы всматриваться близорукими глазами въ племянницу?... Трудно сказать о чемъ, но бѣдная Тойба порядкомъ вздыхала... Однако, хозяевамъ было не до нея. Каждую минуту приходили гости и надо было принимать ихъ. На главномъ мѣстѣ усѣлся богачъ-хозяинъ Давида съ большой, точно приклеенной бородой, въ круглыхъ се-

ребряныхъ очкахъ, а рядомъ съ нимъ—его сыновья и зятья, которые всѣ такъ много курили, что едва можно было видѣть другъ друга. Возлѣ нихъ стоялъ Давидъ и занималъ гостей разговоромъ. Онъ рассказывалъ, конечно, шопотомъ, о женихѣ, который хоть и не богатъ, зато изъ очень хорошей семьи: изъ Гурвичей, изъ настоящихъ, пинскихъ Гурвичей!... А его способности, его открытія,— первый изъ всѣхъ студентовъ! Нѣтъ! Послушали бы вы, какъ онъ говоритъ! А его знаніе древне-еврейскаго! А его знакомство съ библіей, съ Талмудомъ! Его умѣнье играть въ шахматы!...

Нѣсколько нарушилъ торжественное настроеніе Давида шурина жениха, переплетчикъ, который сидѣлъ, какъ въ банѣ, потѣлъ и робко посматривалъ по сторонамъ, особенно на богачей. Жена его не разъ порывалась къ Шапирихѣ, побесѣдовать съ ней, какъ со старой знакомой, вспомнить ту ночь, которую провели онѣ вмѣстѣ на улицѣ,—но переплетчикъ каждый разъ потягивалъ ее за рукавъ, чтобы сидѣла смирно, а самъ покашливалъ въ руку: среди богачей бѣдный человѣкъ долженъ держать себя скромно...

Сара хлопотала у стола, дѣлала послѣднія приготовленія... Наконецъ-то,— вотъ она желанная помолвка!...

Не такъ-то легко далась ей эта помолвка.

Не мало было пролито слезъ раньше, чѣмъ мать добилась толку у дочери разъ на всегда— „женихъ онъ тебѣ, или нѣтъ!“ Надоѣли ей толки и сплетни... А того мать не знала, что переживала въ это время дочь, что за письма она получала отъ бывшаго квартиранта, сыгравшаго столь печально кровавую шутку... Объ этихъ письмахъ никто не зналъ, даже самый близкій ея другъ, Гурвичъ. Впрочемъ, онъ зналъ, онъ прекрасно зналъ, что Бети получаетъ отъ кого-то письма. Онъ даже зналъ, отъ кого эти письма, и ему очень хотѣлось бы узнать, что пишетъ *тотъ*, но спросить ее—ни за что! На то онъ Бенья Гурвичъ изъ Пинска! Еще больше хотѣлось бы узнать ему, что она отвѣтила на письма... Но онъ скорѣе умретъ, чѣмъ хоть что-нибудь скажетъ... Бети видитъ это и досадуетъ. Ей хотѣлось бы поговорить съ нимъ, посоветоваться, что отвѣтить, показать ему, что пишетъ *тотъ*... Но разъ онъ не спрашиваетъ, разъ онъ дѣлаетъ видъ, что это его не интересуетъ, такъ не станетъ же она ему сказки рассказывать,—ни за что! На то она дочь Шапиро, настоящихъ, славутискихъ Шапиро!

Цѣлыми днями Бети ходила разстроенная, ночей не спала, плакала, наконецъ, въ одинъ день отправила отвѣтъ,—большое, тепло написанное письмо, въ которомъ она открыла всю душу, рассказала всю правду о своихъ чув-

ствахъ къ нему до „катастрофы“ и послѣ нея (подъ „катастрофой“ она разумѣла день суда, когда стало извѣстно, что онъ—христианинъ)... То, что онъ предлагаетъ, было бы безуміемъ для нихъ обоихъ, писала она ему. Границу, раздѣляющую ихъ, она никогда не перешагнетъ изъ уваженія къ себѣ и изъ любви къ своему народу, ради котораго она страдала и готова дальше страдать, если нужно будетъ— объ этомъ она уже сколько разъ говорила ему... Это дѣло чувства, разумъ здѣсь безсиленъ... Не долженъ и онъ этого дѣлать. Это значило бы итти противъ здраваго смысла, противъ природы и противъ совѣсти...

„Вы уже проявили столько геройства,— заканчивала Бети свое письмо,— останьтесь же героемъ до конца, забудьте, что между нами когда-нибудь были другія отношенія, кромѣ чисто-дружескихъ, которыя пусть и останутся на вѣки вѣчные...“

.....

Поповъ былъ опечаленъ, можно сказать, убить этимъ письмомъ. Онъ зналъ, что воля ея непреклонна. Онъ думалъ о самоубійствѣ. Но не сдѣлалъ этого. Благоразуміе взяло верхъ. Отбывъ наказаніе за проживаніе подъ чужими документами, онъ помирился съ отцомъ, поступилъ въ университетъ и учится очень хорошо. Понемногу онъ отрезвился, вошелъ въ колею и, что называется, поплылъ

по теченію... Но полученный имъ урокъ, несомнѣнно, не пропадетъ даромъ. Побольше такихъ христіанъ—и еврейство было бы избавлено отъ многихъ оскорбленій, клеветы и страданій...

Не вынесла потрясенія лишь сестра Попѣва, Вѣра. Вскорѣ послѣ возвращенія брата она поступила въ монастырь...

Рабиновичу также пришлось отбыть наказаніе за „кровавую шутку“. Но это было ничто въ сравненіи съ тѣми несчастіями, которыя обрушились на него впослѣдствіи, когда онъ задумалъ поступить въ университетъ. Онъ натолкнулся на такіе циркуляры и встрѣтилъ столько новыхъ „ограниченій“, что въ концѣ концовъ долженъ былъ отказаться и поѣхать за границу „почерпать знанія изъ чужихъ источниковъ“...

Въ тяжелыя минуты онъ мысленно переносится въ своихъ воспоминаніяхъ туда, въ волшебную страну „Офиръ“, къ прекрасной царевнѣ, которая навѣрное не знаетъ ни о „кровавой шуткѣ“, ни о томъ, что онъ былъ однимъ изъ двухъ героевъ, сыгравшихъ эту кровавую шутку.

К о н е ц ъ.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Л. А. СТОЛЯРЪ

— Москва, Садовники, д. № 9. Телефонъ № 207.86. —

Д-ръ М. Я. Пинесъ.

„Исторія Еврейской Литературы“

ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ:

Авторизованный *) переводъ съ французскаго, съ дополненіями и предисловіемъ д-ра С. С. ВЕРМЕЛЯ.

Цѣна 3 р. 50 к. (16 портретовъ въ текстѣ).

„Съ судьбами и—что еще важнѣе—съ современнымъ состояніемъ этой литературы знакомитъ книга Пинеса, и знакомство съ ней убѣждаетъ, что она представляетъ значительный интересъ не только для лицъ, такъ или иначе заинтересованныхъ специально еврейскими вопросами, но и для болѣе широкихъ круговъ читателей“.

(„Русское Богатство“ Февраль 1913).

„Если первая часть книги Д-ра Пинеса интересна главнымъ образомъ для евреевъ, читающихъ и говорящихъ по еврейски, то вторая ея часть, заключающая въ себѣ краткія біографіи и характеристики творчества авторовъ, знакомыхъ и русской публикѣ, представляетъ интересъ болѣе общій“.

„Переводъ написанъ хорошимъ русскимъ языкомъ и снабженъ обстоятельнымъ предисловіемъ“.

(„Вѣстникъ Европы“, Февраль 1913).

„Вотъ книга, которую можно безъ всякихъ оговорокъ признать интересной и содержательной“.

„Появленіе въ русскомъ переводѣ книги Пинеса можно только приветствовать“.

„Даже тѣ читатели, которымъ очень мало говорить мѣръ, изображаемый Абрамовичемъ, Шоломъ-Алейхемомъ или Перецомъ, которые относятся болѣе или менѣе индифферентно къ затрагиваемымъ подобными авторами вопросамъ и бытовымъ явленіямъ, могутъ не безъ пользы ознакомиться съ содержаніемъ этого труда, если его разсматривать, прежде всего съ историко-литературной точки зрѣнія“.

„Хотѣлось бы думать, что эта книга, заключающая въ себѣ, во всякомъ случаѣ, разнообразный и интересный матеріалъ, будетъ оценена по достоинству всеми безпристрастными и широко смотрящими на дѣло читателями“.

(Веселовскій. „Вѣстникъ воспитанія“. Апрель 1913).

*) На основаніи закона объ авторскомъ правѣ все права сохраняются.

ЕЛЕНА ФОНЪ-МЮЛАУ.

Избранныя сочиненія. Т. I.

Исповѣдь глупой женщины.

Романъ. Перев. съ нѣм. М. Кадишь.

«Благодарной грустью вѣетъ со страницъ писемъ героини романа, которыя раскрываютъ трогательную исповѣдь чистой, но заблудш-й души. Мастерски сплетены душевныя заблужденія съ душевной чистотой героини, и печать глубокой художественной правды лежитъ на этихъ сплетеніяхъ... Если вѣрно то, что настоящее художественное произведе- ніе способно лишь усиливать впечатлѣніе загадочности, то повѣсть г-жи Мюлау должна быть уже по этому одному отмѣчена, какъ настоящее ху- дожественное произведение».

(«Кіевская Мысль»).

«Любимая область Е. фонъ-Мюлау—изображеніе женской психологін, которую она дѣйствительно возсоздаетъ со всѣми оттѣнками, невольнo захватывая или растрогивая читателя правдивой картиной душевныхъ переживаній».

(Ю. В. «Русскія Вѣдомости»).

ЦѢНА. 1 руб.

ЕЛЕНА ФОНЪ-МЮЛАУ.

Избранныя сочиненія Т. II.

Послѣ третьяго ребенка.

Романъ. Перев. съ нѣм. М. Кадишь. Цѣна 1 руб.

«Никто не прочтетъ эту книгу безъ глубокаго чувства волненія. Это крикъ безконечнаго горя,—крикъ, который долженъ быть услышанъ».

(„Hamburger Nachrichten“).

Гансъ Гейнцъ Эверсъ.

Избранныя сочиненія Т. I.

АЛЬРАУНЕ.

(Исторія одного живого существа).

Романъ. Перев. съ нѣм. М. Кадишъ.

«Альрауне»—самое глубокое произведеніе Эверса. Странное смѣшеніе сверхчувственной мистики и яркаго реализма, утонченной граціи и первобытной мощи, увлекательной простоты и рафинированной интеллектуальности,—все, что накладываетъ на произведенія Эверса свой особый отпечатокъ, обнаруживается въ «Альрауне» съ виртуозной законченностью. Помимо своего художественнаго значенія, книга эта рѣдко увлекательна. Заинтересуетъ она cadaго,—для литературнаго же гурмана она будетъ цѣннѣйшимъ вкладомъ въ бібліотеку.

Цѣна 1 р. 50 к.

(„Leipziger Neueste Nachrichten“).

Шоломъ-Алейхемъ.

«РОМАНЫ»:

Т. I.

Блуждающія звѣзды.

Романъ Ч. I и II. Цѣна 1 руб. 30 к.

Т. II.

Блуждающія звѣзды.

Романъ Ч. III. Цѣна 1 р. 10 к.

Авторизованный переводъ съ еврейскаго А. Нежданова.

Шоломъ-Алейхемъ безспорно самый популярный еврейскій писатель. Это—любимецъ всѣхъ слоевъ публики, и вокругъ его произведеній,—что составляетъ большую рѣдкость въ современной литературѣ, вообще, а въ еврейской, въ особенности—смолкаютъ всѣ споры партій и кружковъ, уступая мѣсто всеобщему эстетическому во торгу. Онъ художникъ — и только художникъ, и его искусство имѣетъ одну лишь цѣль—увлечь читателя, доставить ему психическое наслажденіе въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

(Пинесъ. «Истор. Еврейск. Литературы»).

Универсальное Книгоиздательство Л. А. СТОЛЯРЬ.

Москва, Садовники, 9. Телефонъ 207-86.

Т. III. КРОВАВАЯ ШУТКА (ритуальное убійство).

Романъ. Ч. I. Цѣна 1 р. 50 к.

Т. IV. КРОВАВАЯ ШУТКА (ритуальное убійство).

Романъ. Ч. II. Цѣна. 1 р. 25 к.

Шоломъ-Яковъ Абрамовичъ.

(Менделе-Мойхеръ-Сфоримъ).

Избранныя сочиненія Т. I.

== „КЛЯЧА“ ==

Авторизованный переводъ съ еврейскаго I. Ю. Пинуса, подъ редакціей
С. С. Вермеля. Цѣна 1 руб.

«Кляча»—это типъ: мы его видимъ своими глазами, мы слѣдимъ за нимъ во всѣхъ его разговорахъ, это типъ, изображенный съ большой психической правдой.

Абрамовичъ является прекраснымъ наблюдателемъ и оригинальнымъ живописцемъ.

(Пинесъ, «Исторія Еврейск. Литературы»).

Александръ Амфитеатровъ.

„РАЗБИТАЯ АРМІЯ“.

Романъ. Цѣна 1 р. 75 к.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 1.

Артуръ Леви.

Наполеонъ въ интимной жизни.

Премиирована Французской Академіей.

Большой томъ, около 400 стр., съ предисловіемъ ФРАНСУА КОППЕ и съ портретами на отдѣльныхъ листахъ.

Содержаніе: Первые шаги.—Супругъ.—Отецъ.—Семья.—Въ обществѣ.—Великодушіе.—Привычки и личн. взгляды.—Начальникъ.

Изъ предисловія Франсуа Коппе:

«Читайте этого «Наполеона въ интимной жизни» и каково бы ни было ваше убѣжденіе о модели, вы отдадите справедливость художнику пера и будете восхищаться стройностью мыслей, спокойствіемъ, добросовѣстностью и особенно высокимъ чувствомъ безпристрастія, что характеризуетъ настоящаго историка».

«Въ книгѣ очень много историческаго матеріала, имѣющаго свою самостоятельную цѣнность. Книга издана красиво и внимательно, а также иллюстрирована хорошими изображеніями».

(„Одесскія Новости“).

Полный переводъ съ франц. С. Брусиловскаго, подъ ред. А. Гретманъ.

Цѣна 1 руб. 75 коп.

№ 2.

Д-ръ. МАКСЪ БИЛЬЯРЪ.

- 1) Мужья жены Наполеона.
- 2) Побочный сынъ Наполеона.

По неизданнымъ документамъ. Перев. съ франц. А. Певзнеръ.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.

Д-ръ Эмануэла Л. М. Мейеръ.

ОТЪ ДѢВОЧКИ КЪ ЖЕНЩИНѢ.

(Посвящается всѣмъ дѣвушкамъ, женамъ, матерямъ и народнымъ воспитательницамъ).

Перев. съ нѣм. д-ра І. Я. Ляховскаго и М. Я. Гольдервейзеръ съ предисловіемъ проф. Н. И. Побѣдинскаго.

Цѣна 1 руб. 10 коп.

Д-ръ М. ФРИДМАНЪ.

Психологія ревности.

Переводъ съ нѣм. д-ра Маріи Кобылинской. Цѣна 80 коп.

Проф. И. Х. ОЗЕРОВЪ.

ЧТО ДѢЛАТЬ?

Цѣна 2 руб.

С А. АН-СКІЙ.

НАРОДЪ И КНИГА.

(Опытъ характеристики народнаго читателя). Съ приложеніемъ очерка:
«Народъ и война».

Цѣна 1 руб. 60 коп.

КРЕЩЕНІЕ ЕВРЕЕВЪ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ:

Вернера Зомбарта, Германа Бара, Рихарда Демеля, Профессора А. Эйлен-бурга, К. Гауптмана, Генриха Манна, Пастора Ф. Наумана, Макса Нордау, Франка Ведекинда Израиля Загвилля и другихъ извѣстныхъ писателей, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей.

Переводъ съ нѣмецкаго М. Ж. и Б. Т.

Предисловіе д-ра С. С. Вермеля и послѣсловіе раввина Я. И. Мазэ.

«Мы очень рекомендуемъ читателямъ ознакомиться съ книжкой «Крещеніе евреевъ». Она великолѣпно изображаетъ одну немаловажную деталь буржуазнаго міросозерцанія, она кромѣ того вводитъ въ область еврейскаго вопроса, который пасторъ Науманъ недаромъ называетъ однимъ изъ интереснѣйшихъ въ міровой исторіи».

Цѣна 85 коп.

(„Современный Миръ“ 1912, IX.).

Лекція западно-европейскихъ клиницистовъ,

издаваемыя подъ редакціей прив.-доц. М. П. Кончаловскаго и д-ра С. С. Вермеля:

Выпускъ I.

Фернандъ Видаль, проф. Париж. У-та.

О направленіяхъ въ медицинѣ.

Цѣна 30 коп.

Выпускъ П.

Проф. д-ръ Schläger.

Новѣйшіе клиническіе взгляды на нефритъ.

Цѣна 40 коп.

Выпускъ Ш.

Проф. Кервэнъ.

Новѣйшіе принципы въ лѣченіи такъ называемаго хирургическаго туберкулеза.

Цѣна 25 коп.

Выпускъ IV.

Д-ръ I. Hürter.

Діететическое и физическое лѣченіе болѣзней почекъ.

Цѣна 50 коп.

БИБЛИОТЕКА ИСТИНА.

Ж. ЭРИКУРЪ.

Тридцать шесть заповѣдей гигиены.

Перев. съ франц. Р. Абельманъ.

«Гигіеническія правила — заповѣди, собранныя въ этой книжкѣ, обнимаютъ и вкратцѣ излагаютъ основные принципы гигиены, индивидуальной и общественной. Говорить о пользѣ такой книжки—едва ли нужно». (Голосъ Москвы).

Изящное изданіе въ папкѣ. Цѣна 35 коп.

Камилль Фламмаріонъ.

Философскія сказки.

Перев. съ французскаго Р. Абельманъ.

Изящное изданіе въ папкѣ. Цѣна 30 коп.

ЖАНЪ ФИНО.

Агонія и смерть человѣческихъ расъ.

Перев. съ франц. Л. Перхуровой.

Изящное изданіе въ папкѣ. Цѣна 50 коп.

ЭДМОНДЪ ПЕРРЬЕ.

ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТАХЪ.

Перев. съ франц. Л. Перхуровой.

Изящное изданіе въ папкѣ. Цѣна 45 коп.

М. Я. ПИНЕСЪ. Докторъ Парижскаго У-та.

Исторія еврейской литературы.

Авторизованный переводъ съ французскаго съ дополненіями и предисловіемъ д-ра С. С. Вермеля. Большой томъ съ 16 портретами въ текстѣ.

Цѣна 3 руб. 50 коп.

Съ судьбами и—что еще важнѣе—съ современнымъ состояніемъ этой литературы знакомить книга Пинеса,—и знакомство съ ней убѣждаетъ, что она представляетъ интересъ не только для лицъ, такъ или иначе заинтересованныхъ специально еврейскими вопросами, но и для болѣе широкихъ круговъ читателей.

(«Русское Богатство». Февраль 1913 г.).

СЕНСАЦІОННАЯ НОВИНКА.

КАСВЬЕ ПАОЛИ.

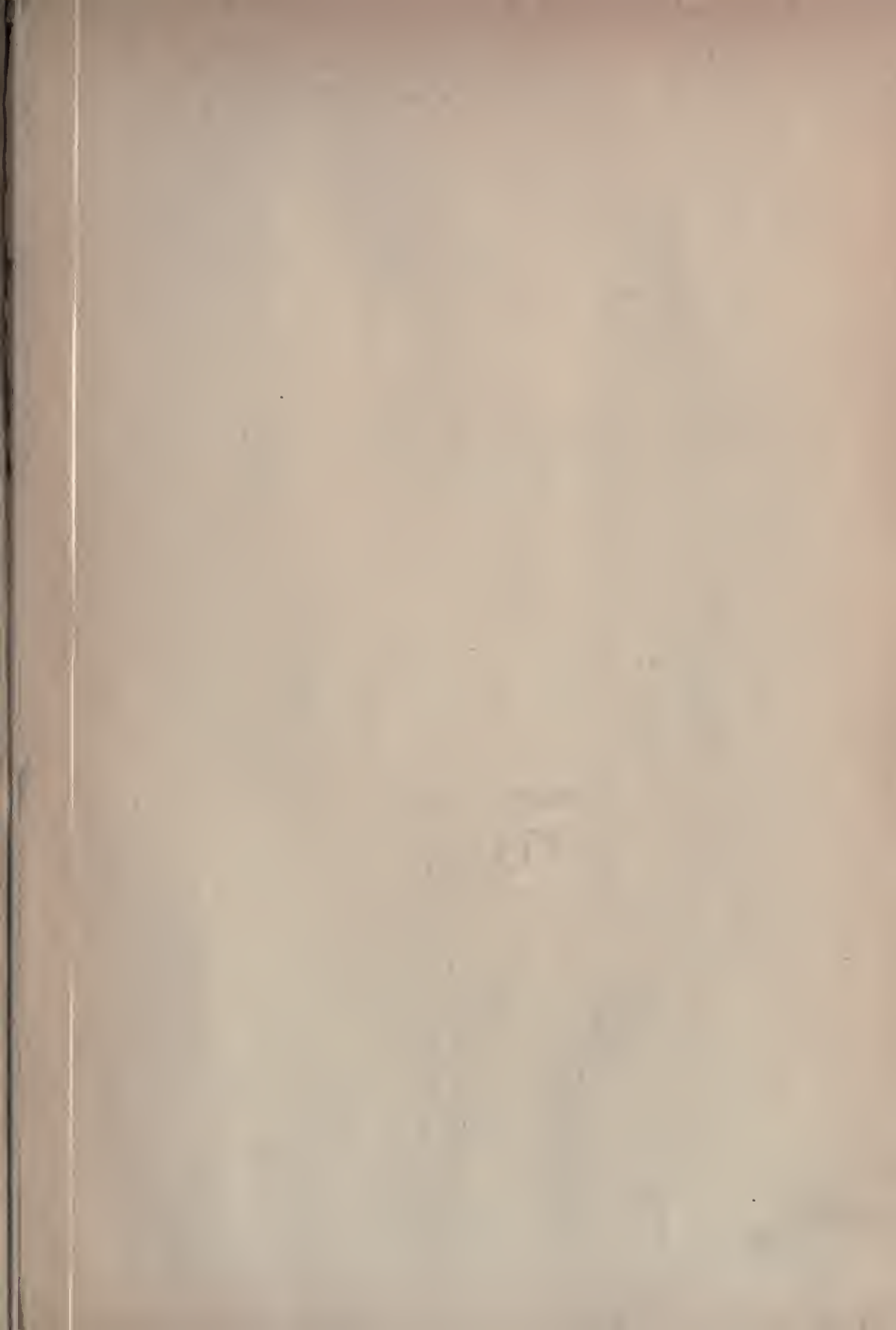
ПОВЕЛИТЕЛИ МІРА.

Ксавье Паоли—чиновникъ французской республики, въ теченіе многихъ лѣтъ былъ прикомандировываемъ къ коронованнымъ особамъ во время ихъ пребыванія во Франціи. Записки Паоли представляютъ собою живое, остроумное описаніе встрѣчъ и бесѣдъ съ цѣлымъ рядомъ «повелителей міра». Передъ взоромъ читателя проходятъ образныя мѣткія характеристики:

Имп. Елизаветы Австрійской. Короля Альфонса XII. Короля и Королевы Италіи. Шаха Персидскаго. Короля Эдуарда VII. Кор. Вильгельмины Голландск. Кор. Леопольда Бельгійскаго. Кор. Георга Греческаго. Англійской королевской семьи. Короля Камбоджи. Королевы Викторіи. Полный переводъ съ франц. Л. Перхуровой. Цѣна 1 руб. 25 коп.

«Воспоминанія «стража королей» представляются интересными. Книга читается легко». («Современное Слово»).

«.....Всѣ его рассказы не лишены интереса и занимательности. Во всякомъ же случаѣ они читаются легко...» («Одесскія Новости»).





№ 100.

С. Чуриковъ.

ЕВРЕИ.

Цѣна 12 коп.

Изданіе
товарищества

„ЗНАНИЕ“.
1906.

Контора т-ва:
Сиб., Невскійп, 92.

1. М. Горькій. Пѣсня о соколѣ. — Пѣсня о буревѣстникѣ. — Легенда о Марко	2 "
2. М. Горькій. Человѣкъ	2 "
3. М. Горькій. Макарь Чудра	3 "
4. М. Горькій. О Чижи, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины	2 "
5. М. Горькій. Емельянъ Пилый	3 "
6. М. Горькій. Дѣдъ Архипъ и Ленъка	5 "
7. М. Горькій. Челкаши	7 "
8. М. Горькій. Старуха Изергиль	5 "
9. М. Горькій. Однажды осенью	3 "
10. М. Горькій. Мой спутникъ	6 "
11. М. Горькій. Дѣло съ застѣжками	3 "
12. М. Горькій. На плотяхъ	3 "
13. М. Горькій. Болесь	2 "
14. М. Горькій. Тоска	10 "
15. М. Горькій. Коноваловъ	10 "
16. М. Горькій. Ханъ и его сынъ	2 "
17. М. Горькій. Супруги Орловы	12 "
18. М. Горькій. Бывшіе люди	12 "
19. М. Горькій. Озорникъ	5 "
20. М. Горькій. Варенька Олесова	—
21. М. Горькій. Товарищи	4 "
22. М. Горькій. Въ стени	3 "
23. М. Горькій. Мальва	10 "
24. М. Горькій. Ярмарка въ Голтвѣ	3 "
25. М. Горькій. Зазубрина	3 "
26. М. Горькій. Скуки ради	5 "
27. М. Горькій. Каишъ и Артемъ	6 "
28. М. Горькій. Дружки	4 "
29. М. Горькій. Проходимецъ	7 "
30. М. Горькій. Кирпика	3 "
31. М. Горькій. Васька Красный	5 "
32. М. Горькій. Двадцать шесть и одна	5 "

В. Чириковъ.

Е В Р Е И.

ПЬЕСА ▲ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ АКТАХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛІЦА.

Лейзеръ Френкель, старикъ лѣтъ 60-ти, съ большой серебряной бородой и густыми нависшими бровями; фигура, напоминающая библейскаго патриарха. По профессіи—часовщикъ.

Ворухъ (Ворисъ), его сынъ, 22 лѣтъ, студентъ, исключенный изъ университета за участіе въ безпорядкахъ.

Лія, его дочь, дѣвушка 18 лѣтъ, куряетка, исключенная за участіе въ студенческихъ безпорядкахъ.

Шлойме, юноша 19 лѣтъ, подмастерье въ часовомъ магазинѣ Френкеля.

Пахманъ, 26 лѣтъ, человекъ невысокаго роста, худой, брюнетъ съ лихорадочно-горящими глазами, экзальтированный. Многіе считаютъ его нервно-больнымъ.

Верезинъ, товарищъ Воруха, русскій, бывший студентъ. Худой, высокій блондинъ, говоритъ спокойно, иногда вяло, но всегда разсудительно; любитъ сопровождать свою рѣчь фразой: „это—вѣрно“.

Изерсонъ, рабочій механическаго завода, молчаливый, угрюмый человекъ; говоритъ басомъ; носитъ синюю блузу и смотритъ въ землю; возбуждаясь, начинаетъ кричать и махать худыми длинными руками.

Фурманъ, лѣтъ 40, докторъ медицины; плотный и унитанный человекъ; во всей фигурѣ, жестахъ и въ голосѣ—спокойная самоувѣренность и довольство сытаго человека; носитъ цилиндръ и куритъ только сигары.

Сруль, разносчикъ газетъ, рыжій, высокій и тонкій, на лицѣ блуждаетъ ироническая улыбка; сильно жестикулируетъ и часто пожимаетъ плечами.

Ааронъ, братъ Лейзера Френкеля, старикъ лѣтъ 55, торговецъ изъ сосѣдняго „мѣстечка“.

Ханъ, его жена, худая, суетливая старуха.

Тетка Сарра, сестра Лейзера Френкеля, полная женщина съ добродушнымъ лицомъ.

Господинъ, въ крылаткѣ.

Панъ
мужикъ } посѣтители часового магазина.

Маша, прислуга въ домѣ Лейзера Френкеля.

Прохожіе, полицейскій, толпа чернорабочихъ и крестьянъ.

Дѣйствіе происходитъ въ одномъ изъ городовъ, лежащихъ въ чертѣ еврейской осѣдности, въ Сѣверо-Западномъ Краѣ.

АКТЪ ПЕРВЫЙ

Квартира часовщика Лейзера Френкеля. Большая низкая комната въ полуподвальномъ этажѣ, раздѣленная аркою на двѣ половины: правая отъ зрителя половина обращена подъ часовой магазинъ, имѣеть два окна на улицу и между ними дверь со стеклами и автоматическимъ звонкомъ. Стѣны увѣшаны разнокалиберными часами, наполняющими воздухъ безпокойнымъ тиканьемъ маятниковъ; поди окнами — столики, за которыми работаютъ Лейзеръ Френкель и его подмастерье Шлойме; лѣвая часть комнаты служить заломъ и имѣеть двѣ двери: налѣво—въ комнату Боруха и въ задней стѣнѣ—въ другія жилины комнаты, откуда есть черныи ходъ, ведущий на дворъ. Время — около полудня. При поднятїи занавѣса Лейзеръ и Шлойме работаютъ и продолжаютъ бесѣду; изъ комнаты Боруха время отъ времени доносятся голоса спорящихъ людей.

ЛЕЙЗЕРЪ. Нѣтъ, Шлойме, я уже не дождусь, не увижу!.. Но, можетъ быть, мои внуки или правнуки будутъ снова жить въ Палестинѣ...

ШЛОЙМЕ. Дай Богъ, ребъ Лейзеръ!..

ЛЕЙЗЕРЪ. И у нихъ будетъ, наконецъ, своя родина, какъ у каждаго человѣка!..

ШЛОЙМЕ. Дай Богъ, ребъ Лейзеръ!..

ЛЕЙЗЕРЪ. Да-а... А я... я останусь здѣсь, въ чужой землѣ.

ШЛОЙМЕ. (Вздохнувъ) Что дѣлать?!

ЛЕЙЗЕРЪ. (Послѣ небольшой паузы) Можетъ быть, Шлойме, кто-нибудь привезетъ потомъ изъ Палестины немного Святой земли,—и тогда на мою могилу тоже бросятъ горсточку...

то мой улей ломали и вынимали все, что я собралъ... И вотъ здѣсь, на щекѣ, у меня есть печать: одинъ разбойникъ ударилъ меня косаремъ по лицу и я упалъ; онъ думалъ, что я уже мертвый, плюнулъ мнѣ въ ротъ и ушелъ. А я лежалъ себѣ и лежалъ, очень долго лежалъ... Я притворился, что совсѣмъ уже умеръ. Лицо у меня было въ крови, и когда кто-нибудь проходилъ мимо, то я не дышалъ...

шлойме. Ай-ай-ай!..

лейзеръ. Тогда Борухъ и Лія были въ хедерѣ *), а моя покойная жена уѣзжала въ Кіевъ къ своей матери... Кто знаетъ? Если бы они были дома,—можетъ быть, я былъ бы теперь тоже совсѣмъ одинъ, какъ и ты... Ты знаешь, что случилось съ Ювомъ?

шлойме. Какъ же этого не знать?!

лейзеръ. Пришелъ вѣстникъ и сказалъ: „сыновья твои и дочери твои ѣли и пили вино, и вотъ большой вѣтеръ пришелъ отъ пустыни, и домъ упалъ и задавилъ строковъ“...

шлойме. И вы, ребъ Лейзеръ, были раньше богаты, какъ Ювъ?

лейзеръ. Ну! Такимъ богатымъ я никогда не былъ, но у меня былъ въ Могилевѣ хорошій магазинъ и мнѣ не приходилось такъ много работать и бояться, что завтра никто не принесетъ въ починку часовъ... И все пропало!.. Пришелъ вѣтеръ отъ пустыни и все унесъ... И я вотъ уже десять лѣтъ смотрю съ утра до вечера въ часы и боюсь, что вдругъ кто-нибудь придумаетъ такіе часы, которые никогда не будутъ портиться!..

шлойме. (ухмыляясь) Но этого, ребъ Лейзеръ, никогда не можетъ случиться...

лейзеръ. Тогда намъ съ тобой, Шлойме, будетъ

*) Еврейское училище.

совсѣмъ плохо... Такъ же плохо, какъ было бы плохо нашему доктору Фурману, если бы люди вдругъ перестали совсѣмъ хворать...

ШЛОЙМЕ. (Съ улыбкой) Что вы говорите, ребѣ Лейзеръ!.. Развѣ можно, чтобы кто-нибудь не хворалъ никогда въ жизни?!

ЛЕЙЗЕРЪ. Да, Шлойме, я тоже такъ думаю... потому что человѣкъ, какъ и часы, всегда хочетъ или неможно побѣждать впередъ, или очень много отстаетъ... И человѣка тоже надо и чистить, и вывѣрять, и чинить...

ШЛОЙМЕ. Вашъ сынъ говоритъ, что человѣка надо сломать и сдѣлать совсѣмъ новаго... Вашъ сынъ—очень умный человѣкъ!

ЛЕЙЗЕРЪ. (Вздохнувъ) Когда человѣкъ бываетъ очень умнымъ, то это такъ же плохо, какъ если бы онъ былъ совсѣмъ дуракъ... Тогда человѣкъ хочетъ думать, что онъ уже умнѣе самого Бога... (Голосъ Боруха: „Это раньше думали, что человѣкъ рождается свободнымъ... Теперь думаютъ, что онъ рождается скованнымъ... Но ему падоули всякіе кацалы, и человѣкъ долженъ ихъ сбросить!..“). Слышишь, какъ кричитъ мой Борухъ?

ШЛОЙМЕ. Почему они все ссорятся?

ЛЕЙЗЕРЪ. Борухъ хочетъ, чтобы люди стали жить по его законамъ... Онъ не хочетъ знать, что Богъ давно придумалъ для людей законъ.

ШЛОЙМЕ. Борухъ не вѣрить, что евреи вернутся въ Палестину. Онъ говоритъ, что все это—сказки, которыя очень пріятно слушать тому, кто въ нихъ хочетъ и можетъ вѣрить.

ЛЕЙЗЕРЪ. Да, Шлойме, это — большое горе, — сдѣлать дѣтей своихъ такими умными, что они не вѣрятъ въ эти сказки. Это большое горе, потому что, если еврей не вѣрить въ эти сказки, то онъ очень скоро перестаетъ быть евреемъ...

ШЛОЙМЕ. (Послѣ нѣкоторой паузы) Я, ребь Лейзеръ, вѣрю... Я вѣрю, что все, что вчера говорилъ Нахманъ,— правда!.. И я тоже далъ шекель *): пусть и на мои деньги купить немного Святой земли!..

ЛЕЙЗЕРЪ. Надо, Шлойме, вѣрить. Больше у насъ, евреевъ, ничего не осталось.

ШЛОЙМЕ. И когда пришелъ вчера съ собранія и легъ спать, то я долго не могъ уснуть: я все думалъ о томъ, что говорилъ Нахманъ и докторъ Фурманъ... Докторъ Фурманъ тоже немножко не вѣрить... Онъ тоже говорить очень хорошо, но я чувствую, что правда—у Нахмана, а не у доктора!..

ЛЕЙЗЕРЪ. Докторъ Фурманъ не вѣрить ни въ Бога, ни въ чорта!..

ШЛОЙМЕ. Я очень долго не могъ уснуть, а когда заснулъ, то мнѣ приснился сонъ... Хе! очень пріятный сонъ! (Входитъ Березинъ)

БЕРЕЗИНЪ. (Молча поклонившись Лейзеру) Борисъ Лазаревичъ дома?

ЛЕЙЗЕРЪ. Кто такой Борисъ? Я не знаю. У меня есть сынъ, но его зовутъ не Борисъ, а Борухъ... Онъ—еврей!..

БЕРЕЗИНЪ. (Смущенно) Дома онъ?

ЛЕЙЗЕРЪ. А гдѣ же ему быть? Его тоже прогнали изъ университета и теперь ему тоже нечего дѣлать. Ступайте къ нему,—вамъ будетъ веселѣе... Они тамъ кричатъ и ссорятся. (Березинъ проходитъ чрезъ магазинъ и залъ въ комнату Боруха; когда дверь туда растворяется, — врывается шумъ спорящихъ; въ этомъ шумѣ выдѣляется голосъ Нахмана: „Слава Богу, живъ еще еврейскій народъ! Мы съ вами умремъ, а еврейскій народъ останется!“) И этотъ молодой человекъ тоже очень любитъ спорить... Но онъ, слава Богу, не кричитъ... Вотъ, Шлойме! Я думалъ, что Борухъ и Лія

*) Членскій взносъ у сіонистовъ.

кончать свое ученье, и тогда мнѣ, старику, будетъ легче... А они устроили тамъ какіе-то безпорядки, и теперь не на что надѣяться... (Шумъ въ комнатѣ Боруха замѣтно стихаетъ)

ШЛОЙМЕ. (Со страхомъ) А зачѣмъ приходилъ господинъ приставъ?

ЛЕЙЗЕРЪ. Онъ сказалъ, что мои дѣти никуда не могутъ уѣзжать изъ города и заставилъ подписать бумагу. Я думалъ, что они кончатъ свое ученье, и тогда могутъ ѣхать и жить, гдѣ лучше, а вмѣсто этого вышло еще хуже: они теперь не могутъ никуда уѣхать даже изъ нашего города...

ШЛОЙМЕ. Говорятъ, что и сынъ банкира Сакера тоже дѣлалъ безпорядки и папаша прогналъ его изъ дому... Такой богатый человѣкъ и все-таки дѣлалъ безпорядки... (Пауза)

ЛЕЙЗЕРЪ. Ну, что же ты не сказалъ мнѣ, Шлойме, что ты видѣлъ во снѣ?..

ШЛОЙМЕ. (Отрываясь отъ работы) Я? Я видѣлъ очень хорошій сонъ!

ЛЕЙЗЕРЪ. Ну!.. Что же ты видѣлъ?..

ШЛОЙМЕ. Будто бы я шелъ-шелъ, очень долго шелъ: И ноги мои болѣли и мнѣ очень хотѣлось кушать. И вдругъ я пришелъ въ городъ, очень большой и хорошій городъ! Уже была ночь, и на улицахъ никого не было. Я очень боялся, что въ этомъ городѣ тоже нельзя жить евреямъ, и когда увидалъ на углу господина полицейскаго, то очень испугался... Я думалъ себѣ: вотъ онъ сейчасъ подойдетъ ко мнѣ и скажетъ: „дайте вашъ паспортъ“.

ЛЕЙЗЕРЪ. Ну!

ШЛОЙМЕ. Я уже хотѣлъ убѣжать, ребъ Лейзеръ, но господинъ полицейскій закричалъ мнѣ: „не бойся! и я тоже—еврей“! (Радостно смѣется и потираетъ руки)

лейзеръ. Это, Шлойме, очень хорошій сонъ! Такихъ сновъ я никогда въ своей жизни не видалъ и, навѣрно, не увижу... И что же было дальше?

шлойме. Я сказалъ: „позвольте васъ спросить, какой это городъ, куда я пришелъ?“

лейзеръ. (Перебивая) То былъ Иерусалимъ?

шлойме. Э, нѣтъ! И я тоже думалъ,—Иерусалимъ! А то былъ Иерихонъ... И мое сердце такъ сильно забилось, что я проснулся и думалъ, что умру отъ радости... И я не могъ больше спать,—такъ мнѣ было хорошо и тревожно на душѣ!..

лейзеръ. И потому ты сегодня такъ лѣниво работаешь?..

шлойме. (Задумчиво) Я думаю, что когда-нибудь поѣду въ Палестину и увижу этотъ хорошій городъ...

лейзеръ. А куда ты, Шлойме, кончай часы аптекаря! (Подъ окнами магазина слышенъ голосъ мужика: „Тетка! Не знаешь ли ты, матка, гдѣ живетъ рудый жилъ Янкель? Шукаю шукаю...“)

шлойме. (Принимаясь за работу) Одинъ еврей говоритъ, что когда придетъ Мессія, то всѣ евреи, которые живутъ въ разныхъ земляхъ: и въ Польшѣ, и у насъ, и въ Америкѣ, и въ Африкѣ, и въ Англии, и вездѣ,—всѣ пройдутъ подъ землей въ Палестину *). Это тоже правда, ребъ Лейзеръ?

лейзеръ. Правда, правда... Все правда... Эхе-хе!..

шлойме. Но зачѣмъ же, ребъ Лейзеръ, ходить подъ землей? Можно поѣхать на пароходѣ и на желѣзной дорогѣ или идти своими ногами...

лейзеръ. Подъ землей, Шлойме, ходить еврей лучше: тамъ тебѣ не встрѣтится никакого начальства и можно будетъ спокойно дойти до Святой Земли. А если ты пойдешь или поѣдешь по землѣ или по водѣ,

*) Еврейское народное повѣрье.

то у тебя спросятъ паспортъ и, когда посмотрятъ въ твой паспортъ, то скажутъ: „иди назадъ, потому что по нашей землѣ нельзя ходить жидамъ!“ И тогда ты никакъ не понадешь въ Святую Землю... (Дверь изъ комнаты Боруха распахивается, вырывается нестройный шумъ спора,—выходитъ въ залъ Нахманъ, Борухъ, Березинъ, Лія и Изерсонъ; Лія садится близко къ авансценѣ, Изерсонъ — въ дальній уголъ, Борухъ держится около Березина)

НАХМАНЪ. (Сильно жестикулируя и горячась) И пусть! Пусть! Если ваши права требуютъ, чтобы я продалъ свою душу,—миѣ ихъ не надо! Не надо!

БЕРЕЗИНЪ. (Махнувъ рукой) Чужакъ вы, Нахманъ, право!..

НАХМАНЪ. (Обиженно) Я—чужакъ... А вы—кто такой?.. Пусть я чужакъ, но свою духовную свободу я не продаю, господа, ни за какія деньги!.. Не продажная!

ЛІА. Нахманъ! Вы не поняли...

БЕРЕЗИНЪ. (Съ пренебреженіемъ) Да отъ васъ никто и не требуетъ этого отреченія...

НАХМАНЪ. (Перебивая) Кто не требуетъ? Это вы—не требуете, а жизнь требуетъ. (Злобно) Что такое вы? Вы миѣ ничего не можете дать и ничего не можете у меня взять!.. Жизнь требуетъ! Борисъ Лазаревичъ указалъ на Германію, на Францію... Но вы, Господа, не знаете, что представляютъ изъ себя эти евреи въ Германіи и во Франціи. Тамъ, гдѣ намъ, евреямъ, даютъ нѣкоторыя права, тамъ у насъ отнимаютъ душу... Какіе тамъ евреи? Они стыдятся своего еврейства и пляшутъ подъ чужую дудку... Они скрываютъ свои чувства, подавляютъ ихъ... и обманываютъ и другихъ, и самихъ себя...

БЕРЕЗИНЪ. (Резонерски) И очепь скверно дѣлають... (Садится около Ліи)

НАХМАНЪ. Въ Германіи еврей—нѣмецъ, во Франціи—французъ, т. е. не нѣмецъ и не французъ, а еврей,

который притворяется то иѣмцемъ, то французомъ... Они скверно дѣлають... Но вы научите ихъ, какъ имъ оставаться евреями!..

ИЗЕРСОНЪ. (Изъ угла, очень громко) Развѣ еврей лучше иѣмца, или иѣмецъ хуже еврея?!.. Я знаю только двѣ націи: одна много работасть и мало ѣсть, а другая— очень мало работасть и очень много ѣсть.

БЕРЕЗИНЪ. Почему вамъ такъ хочется оставаться именно евреемъ? Придетъ время, когда...

ПАХМАНЪ. (Перебивая, со злостью) Почему я хочу быть евреемъ? Это очень страшный вопросъ. Я же васъ не спрашиваю, почему вы, г. Березинъ, — сынъ своей матери и своего отца?.. (Небольшая общая пауза)

ИЗЕРСОНЪ. (Изъ угла) У меня убили и отца, и мать, когда я былъ груднымъ младенцемъ... Я принадлежу къ голодной націи...

ПАХМАНЪ. Вы, господа, указываете на Францію. Но развѣ въ этой свободной странѣ не травятъ „жида“, какъ и всюду? Развѣ въ Дрейфусѣ не олицетворилась судьба всего еврейства?

ЛЯ. А Эмиль Золя? Золя?

ПАХМАНЪ. Это одна ласточка! Она не дѣлаеть весны евреямъ! Права! Въ Германіи евреи имѣють ваши права, но что изъ этого? Голосъ еврея никому не нуженъ. Этимъ голосомъ партіи пользуются только въ случаяхъ крайности, съ безгливостью пользуются этимъ голосомъ! Мы, какъ голодныя бродячія собаки, ходимъ двѣ тысячи лѣтъ по чужимъ землямъ, и у насъ нѣтъ ни дома, ни хозяина!

ИЗЕРСОНЪ. (Изъ угла) Хозяина?! Ха-ха-ха! Хотите: я вамъ подарю своего хозяина?! Ха-ха-ха!.. Онъ мнѣ давно уже надоѣлъ...

БЕРЕЗИНЪ. Зачѣмъ вамъ непременно хозяинъ? Въ

томъ-то и дѣло, Нахманъ, что вы не хотите насъ понять...

ЛІА. (Стараясь убѣдить) Неужели вы думали, что всегда будетъ такъ, какъ теперь? Неужели вы думаете, что человѣчество никогда не сдвинется съ этой мертвой точки?..

НАХМАНЪ. Человѣчество! человѣчество! Что такое человѣчество? Я его никогда не видалъ.

ЛІА. Я его тоже не видала... Это — не важно. Но я вѣрю, что все хорошее, доброе, чистое, — что есть въ каждомъ человѣкѣ, будетъ расти вмѣстѣ съ знаніями, которыя даетъ намъ наука... И наступитъ время, когда это доброе и разумное, что есть у всѣхъ людей мѣстѣ...

НАХМАНЪ. (Перебивая) А куда вы дѣваете все дурное, подлое, звѣрское, что есть у всѣхъ людей вмѣстѣ?..

ИЗЕРСОНЪ. Когда хозяинъ будетъ кушать другого хозяина, то онъ скушаетъ всю дрянь! Хозяинъ — жадный! Онъ все жретъ! Потомъ онъ обожрется, подавится и самъ сдохнетъ!

НАХМАНЪ. (Упрямо) Я совсѣмъ не знаю, какъ будетъ черезъ тысячу лѣтъ, но теперь всякій человѣкъ непременно еще или русскій, или полякъ, или негръ, или жидь!..

ИЗЕРСОНЪ. (Вставая и вмѣшиваясь въ группу спорящихъ) Кто понялъ, почему одинъ человѣкъ грызетъ за горло другого человѣка, — тотъ уже не русскій, не полякъ и не жидь!.. Онъ просто человѣкъ!.. Развѣ Марксъ или Бебель жиды? Развѣ они нѣмцы?

НАХМАНЪ. Я съ ними не былъ знакомъ... (Къ Березину) Не улыбайтесь, вашъ Бебель сказалъ, что социаль-демократы возмущаются и негодуютъ при всякомъ проявленіи антисемитизма, но еще добавимъ, что антисемитизмъ помогаетъ торжеству социаль-демократіи...

БЕРЕЗИЦЪ. Что же отсюда слѣдуетъ?

БОРУХЪ. Развѣ можно отрицать историческіе факты?

НАХМАНЪ. (Горячася все сильнѣе) Отрицать ихъ нельзя, но заявлять мы „негодуюемъ!“ и при этомъ утѣшаться, что „намъ же будетъ лучше!“—это значить не имѣть сердца!.. Когда люди возмущаются, они не могутъ такъ разсуждать!

ЛІЯ. (Удивленно) Но что же, Нахманъ, долженъ былъ сказать Бебель?

НАХМАНЪ. Во всякомъ случаѣ умолчать о той пользѣ, которая получается въ исторіи отъ жидовскаго пота, слезъ и жидовской крови! Наша кровь такая же красная!

БЕРЕЗИЦЪ. Позвольте, Нахманъ! Вы не имѣете ни права, ни логическаго основанія обвинять Бебеля... (Встаётъ, но когда выстѣпаетъ Изерсонъ, — снова садится около Ліи)

ИЗЕРСОНЪ. (Подскакивая къ Нахману) Зачѣмъ молчать? Бебель долженъ былъ это сказать! Онъ говорилъ это предъ лицомъ всего міра... Онъ говорилъ отъ имени всѣхъ насъ... Можетъ быть, дома Бебель плачетъ горькими слезами, когда бьютъ жидовъ, но тутъ ему надо быть спокойнымъ... Зачѣмъ плакать и бить себя въ грудь кулаками? Развѣ отъ этого будетъ легче людямъ?.. Бебель не актеръ! И вы не имѣете права говорить такъ про нашего Бебеля!

НАХМАНЪ. (Съ дрожью въ голосъ) Я не имѣю никакихъ правъ! Никакихъ! и мнѣ ихъ не надо! А моя логика здѣсь, въ сердцѣ. (Бьетъ себя кулакомъ въ грудь) Здѣсь! Здѣсь! И если вашъ Бебель можетъ такъ спокойно разсуждать, то это значить, что онъ не просто „человѣкъ“, а еще и „не-жидъ“! да! Если бы онъ былъ еврей... (Махнувъ рукой, отходить къ столу, трясущимися руками наливаетъ изъ графина стаканъ воды, садится и пьетъ, стуча зубами о стекло стакана. Лейзеръ Френкель, встревоженный крикомъ, встаетъ съ мѣста и подходитъ къ аркѣ, ведущей въ залъ)

ИЗЕРСОНЪ. „Спокойно“!.. „Спокойно“! Хорошъ это

спокой, когда человекъ не плачетъ, а кричитъ всему міру: „бейте, негодяи и дураки, но знайте, что палка о двухъ концахъ и что съ каждымъ ударомъ мы же становимся сильнѣе!“

ЛЕЙЗЕРЪ. Напрасно вы, ребѣ Нахманъ, волнуетесь и портите свою кровь... Они давно уже не вѣрятъ въ наши сказки!..

НАХМАНЪ. (Встааетъ, возбужденно ходитъ по комнатѣ и, нарушая долгую паузу общаго молчанія, говоритъ съ наэосомъ) Но придетъ, господа, конецъ и нашему пути. Когда-нибудь и мы придемъ домой! (Декламируетъ)

Да, я прозрѣлъ, и вижу снова
Вокругъ себя однихъ враговъ.
Пусть будетъ страшенъ и суровъ
Мой путь,—я не хочу иного,
Хотя-бъ и легкаго пути,—
Хочу я къ родинѣ идти!

(Во время декламаціи Шлойме бросаетъ работу, подслушиваетъ, радостно улыбается, вздыхаетъ и опять садится къ столику) Помните, что сказалъ пророкъ Захарія... „Настанетъ день, когда десять человекъ разныхъ племенъ ухватятся за одежду еврея и скажутъ ему: веди насъ въ Іерусалимъ!“

ИЗЕРСОНЪ. (Изъ угла, мрачно) Это уже сбылось... Пришелъ пророкъ! Всѣ гонимые люди разныхъ племенъ идутъ за нимъ... Слепые и глухіе пусть дожидаются, когда ихъ поведутъ въ Іерусалимъ.

ЛЕЙЗЕРЪ. (Сердито) Да! и будемъ ждать! будемъ вѣрить!

БОРУХЪ. Одинъ вѣрить въ одно, другой — въ другое... Но одной вѣры мало... Пожалуй, жди!..

ЛЕЙЗЕРЪ. Да! И будемъ ждать! А что будете ждать вы? а? вамъ нечего ждать! Нечего!

ЛЯ. Не кричи, отець!..

ЛЕЙЗЕРЪ. Я хочу знать, что будете ждать вы?

Вамъ, такимъ, какъ ты и Борухъ, еврейамъ нечего ждать!

нахманъ. Это, ребъ Лейзеръ, не такъ: они тоже ждуть... Они ждуть, когда на землѣ будетъ рай, какой былъ въ Месопотаміи... Но тогда было только двое—Адамъ и Ева, а теперь людей очень много: нѣмцы, французы, русскіе, англчане, поляки, армяне, жидаы!.. И не пересчитаешь!..

ворухъ. Я сказать только, что одной вѣры мало. Есть еще исторія, экономическія формы, есть богатые и есть бѣдные, есть сытые и есть голодные... И тутъ одной вѣрой ничего не подѣлаешь... Исторіи нѣтъ никакого дѣла до того, что думаетъ и во что вѣрить Нахманъ...

лейзеръ. (Качая головой), Какъ онъ говорить! (Шлойме говорить въ дверяхъ магазина съ мужикомъ)

нахманъ. А развѣ нашъ рай на землѣ построенъ не на той же вѣрѣ? Развѣ можно жить человѣку безъ вѣры? Всякій человѣкъ долженъ во что-нибудь вѣрить. Мы вѣримъ въ возрожденіе своего народа, а вы вѣрите въ возрожденіе всего человѣчества. Но почему же ваша вѣра вѣрнѣе моей!..

ворухъ. Потому, что она основана на историческомъ фундаментѣ, а не на большой фантазіи забитаго и затравленнаго человѣка...

нахманъ. И вы хотите у этого затравленнаго человѣка отнять послѣднюю надежду? Вѣдь это—его послѣдняя надежда, послѣдній кусокъ хлѣба! Вы не можете этого дѣлать! Не имѣете права! Если вы нашли новую дорогу,—идите по ней, но не ведите за собой другихъ, потому что вы не можете знать, куда приведетъ эта дорога.

пзертсонъ. Дальше Сіона!

ворухъ. Можете быть попутчикомъ... Довеземъ!..

ля. Борисъ! говори серьезно!..

НАХМАНЪ. Пока ваша дорога никуда не привела, и мы вездѣ и всюду попрежнему—„жида“!

ЛЯ. (Кротко) Это невѣрно, Нахманъ!

ЛЕЙЗЕРЪ. Вѣрно, ребъ Нахманъ!

НАХМАНЪ. Вѣрно! въ Галиціи въ шестидесятыхъ годахъ еврейская интеллигенція думала такъ же, какъ думаете теперь вы! Она браталась съ поляками, смѣшивала свою кровь съ ихъ кровью и не только въ бракѣ, а... а въ битвахъ... (Почти кричитъ) Тогда цвѣтъ нашей молодежи думалъ, что еврейскій вопросъ разрѣшится вмѣстѣ съ польскимъ... И что же вышло? Что вышло, ребъ Лейзеръ? А вышло вотъ что: когда поляки стали господами въ Австріи, они прежде всего стали травить „жида“, какъ собаку!

ЛЕЙЗЕРЪ. Такъ, такъ!..

НАХМАНЪ. (Со слезами въ голосѣ и въ глазахъ) А эта собака проливала за нихъ свою кровь! да! кровь! Мы обнищали, умирали съ голоду и... дома разврата переполнили нашими дѣвушками!.. какъ только поляки стали хозяйничать... (Круто обрывая). Ну! все равно!.. Вы не хотите меня понимать..

ВЕРЕЗИНЪ. (Послѣ нѣкотораго общаго молчанія) Вы, Нахманъ, безпокойтесь, что у васъ нѣтъ хозяина. А я вамъ повторяю, что онъ есть, и все дѣло въ томъ, что онъ есть.

НАХМАНЪ. Гдѣ онъ? есть только враги, но хозяина нѣтъ...

ВЕРЕЗИНЪ. Общій хозяинъ и у васъ, и у насъ...

НАХМАНЪ. Ну гдѣ же онъ? Я его не вижу и не знаю!..

ПЕРСОНЪ. (Выкрикиваетъ изъ угла) Буржуй!

ВЕРЕЗИНЪ. И пока онъ — хозяинъ, ваши мечты о Сіонѣ не сбыточны. Какое дѣло вашей буржуазіи до Сіона!

ИЗЕРСОНЪ. Ей и такъ тепло!

БЕРЕЗИНЪ. А когда людямъ бываетъ тепло, то они думаютъ, что всёмъ тепло. Когда человекъ стоитъ у печки, то онъ не хочетъ знать, что на улицѣ морозъ... Въ этомъ смыслѣ вашъ буржуй и нашъ буржуй вполне солидарны... Ну-ка, попробуйте пригласить въ Палестину вашего банкира Сакера, который одинаково ловко обсаживаетъ и русскихъ, и евреевъ.

НАХМАНЪ. (Наступая) А кто ему помогаетъ? Я спрашиваю, кто Сакеру помогаетъ? Если бѣдный еврей наживетъ лишній гривенникъ, то всё кричатъ: „мошенникъ“!.. а когда Сакеръ беретъ подряды на желѣзную дорогу и грабитъ казну на сотни тысячъ, то всё молчатъ и пожимаютъ ему руку! Кто Сакеру помогаетъ? Съ кѣмъ Сакеръ дѣлится? Съ евреями?..

БЕРЕЗИНЪ. Это совершенно другой вопросъ и такимъ вопросомъ вы только подкрѣпляете нашу позицію... Когда дѣло идетъ о наживаніи и выжиманіи соковъ, то и еврей, и русскій, и нѣмецъ забываютъ свою національность и устраниваются по-товарищески! Я говорю совершенно о другомъ.

БОРУХЪ. Березинъ предложилъ вамъ пригласить Сакера въ Палестину!

БЕРЕЗИНЪ. Да! попробуйте!

БОРУХЪ. И онъ пошлетъ васъ ко всёмъ чертямъ! Денегъ онъ вамъ дастъ, одобритъ, приметъ званіе почетнаго сіониста, но переѣхать въ Палестину...

НАХМАНЪ. Но я вовсе и не желаю приглашать его въ Палестину.

ИЗЕРСОНЪ. Мнѣ извѣстно, что Сакеръ — почетный сіонистъ! Онъ гордится этимъ званіемъ!

БОРУХЪ. И втихомолку посмѣивается надъ вами и вашими планами переселенія!

БЕРЕЗИНЪ. Переселиться онъ не переселится, но

отдѣленіе своей банкирской конторы въ Палестинѣ откроеть съ удовольствіемъ! (Всѣ, кромѣ Нахмана, смѣются. Нахманъ пожимаетъ плечами)

НАХМАНЪ. И слава Богу, что онъ не поѣдетъ. Намъ такихъ, какъ Сакеръ, не надо!

ИЗЕРСОНЪ. Свои разведутся!

НАХМАНЪ. Мы отдадимъ ихъ вамъ!..

ИЗЕРСОНЪ. Мы ихъ не боимся! Они насъ боятся!..

НАХМАНЪ. Намъ нужны борцы! И они у насъ есть! Они будятъ еврейскій народъ отъ тысячелѣтней спячки, воспаменяютъ въ немъ потухающую вѣру... И, слава Богу, въ народъ еще осталось много силы! Послѣ всѣхъ гоненій и страданій, которыя сыпались на голову евреевъ въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ, народъ откликнулся на зовъ этихъ борцовъ! Мы должны пойти на встрѣчу его сознанію... Мы должны вести его къ возрожденію! (Къ Воруху). Если народъ еще не окрѣпъ и не сильно вѣрится въ свое возрожденіе, мы должны воодушевлять его! Это должно быть первымъ дѣломъ нашей интеллигенціи! Вы должны поднять свой голосъ въ защиту несчастнаго народа!

ЛЕЙЗЕРЪ. (Качая головой) Такъ, такъ!..

НАХМАНЪ. Вы должны громко кричать на весь міръ, что живъ еще еврейскій народъ!

ЛЕЙЗЕРЪ. Такъ, такъ!

НАХМАНЪ. Да! Кричать! А вы—молчите!

ИЗЕРСОНЪ. (Выскакивая изъ угла впередъ, къ Нахману) А что вы, сіонисты, можете дать намъ, рабочимъ и ремесленникамъ? Вы требуете, чтобы мы работали и приносили жертвы для вашего идеала, чтобы мы стояли въ первомъ ряду вашего движенія...

НАХМАНЪ. Да! Если вы — еврей, вы это должны понять!

ИЗЕРСОНЪ. Я — еврей, но все-таки не понимаю...

Что ваши идеалы могутъ дать намъ, еврейскимъ рабочимъ и ремесленникамъ? Вы утѣшали насъ счастливою жизнью въ Палестинѣ... Но почему она для насъ будетъ счастливою?.. Вы не указываете, какъ намъ быть теперь... А мы не можемъ дальше такъ жить! не можемъ! Мы вымираемъ съ голоду, насъ заставляютъ кушать другъ друга... наши дѣти не имѣютъ молока!

НАХМАНЪ. Я уже говорилъ вамъ, что причина вашей нужды лежитъ въ неестественномъ положеніи еврейскаго народа.

БЕРЕЗНИЙ. Мы думаемъ, что положеніе это неестественно не у однихъ евреевъ...

НАХМАНЪ. Гдѣ же, наконецъ, это положеніе естественно?..

ИЗЕРСОНЪ. На луиѣ, господинъ Нахманъ! (Смѣхъ окружающихъ)

НАХМАНЪ. (Сердито) Тогда вамъ остается одно: переселиться на луну.

ИЗЕРСОНЪ. Зачѣмъ? Мы будемъ пробовать сдѣлать кое-что здѣсь, на землѣ.

НАХМАНЪ. Ну вотъ, я вамъ и предлагаю попробовать это сдѣлать въ Палестинѣ!..

ИЗЕРСОНЪ. Почему только въ Палестинѣ? Намъ все равно. Вамъ, сіонистамъ, хочется имѣть свое государство, но что намъ до вашего государства, если и тамъ мы будемъ глотать кости? Мы лучше пойдемъ къ тѣмъ, которые тоже глодаютъ кости,—кто бы они ни были,—и будемъ вмѣстѣ жить и работать... Теперь очень много людей глодаютъ кости! Кто ѣстъ сладкіе пироги, а кто глодаетъ кости... И пусть люди будутъ такъ раздѣляться!.. Вы не указываете никакихъ средствъ помочь намъ теперь и хотите утѣшать насъ своими мечтами...

НАХМАНЪ. Почему—„своими“? Сіонизмъ — идеаль всего еврейскаго народа, а вы вѣдь тоже, если я не ошибаюсь,—еврей...

БЕРЕЗИНЪ. Но вы, сіонисты, ничего не говорите о томъ, какъ будутъ жить въ Палестинѣ рабочіе...

ИЗЕРСОНЪ. (Махнувъ рукой, отходитъ въ уголь и садится) Намъ все равно, гдѣ ни жить каторжниками: здѣсь или въ Палестинѣ!..

БЕРЕЗИНЪ. Я совершенно согласенъ съ Изерсономъ!

ИЗЕРСОНЪ. Мы хотимъ здѣсь жить и здѣсь работать! У насъ есть свой идеаль!

ЛІЯ. (Подсаживаясь къ Нахману) Я, Нахманъ, не вѣрю, чтобы мы, евреи, могли сдѣлать что-нибудь большое для своего народа... Сами, одни! Когда всѣмъ людямъ будетъ лучше, тогда будетъ лучше и нашему народу..

НАХМАНЪ. Всѣмъ лучше! Всѣмъ! Только намъ все такъ же скверно, какъ и тысячу лѣтъ тому назадъ. Развѣ мы живемъ не въ гетто, какъ жили въ средніе вѣка? Развѣ насъ не бьютъ, какъ били въ средніе вѣка? Развѣ для насъ есть на землѣ справедливость, законъ, уваженіе къ нашей личности? Нѣтъ ихъ! Не было и нѣтъ! И не будетъ, пока мы останемся въ изгнаніи... Помогайте народу вернуться домой. Кричите, что пора ему домой и ведите его туда! А вы... вы молчите!

БОРУХЪ. У голодныхъ главная забота—поѣсть и не имъ толковать о возрожденіи! Ваше возрожденіе это только масло, съ которымъ хлѣбъ кажется еще вкуснѣе. Народъ голоденъ, его поманили въ Палестину хлѣбомъ, онъ и пошелъ... Въ этомъ все ваше „возрожденіе“! А теперь оттуда бѣгутъ... Оказалось, что „возрождаться“ возможно только при наличности нѣкотораго оборотнаго капиталца!..

НАХМАНЪ. (Вскакивая съ мѣста) Вы клеветеете на свой народъ! Вы его не знаете. Вы не имѣете права такъ говорить! Это... это нечестно!

БОРУХЪ. (Запальчиво) Что вы сказали? Нечестно? Я

требую, чтобы вы извинились. (Присутствующіе группируются около поссорившихся Нахмана и Боруха)

ЛЯ. Борисъ! Оставь!

ЛЕЙЗЕРЪ. Ты забылъ, что ребъ Нахманъ—нашъ гость? Березинъ. Такъ, господа, нельзя!..

НАХМАНЪ. (Упавшимъ голосомъ) Ну, простите меня! Я—виновать!

БОРУХЪ. Я не хочу съ вами говорить!

НАХМАНЪ. (Протягивая Боруху руку) Ну, я виновать, я забылся... Я извиняюсь передъ вами... Но вѣдь я почувствовалъ въ сердцѣ большую обиду, и эта обида еще горше потому, что она — отъ еврея... (Борухъ протягиваетъ Нахману руку)

ЛЯ. Ты, Борисъ, самъ нѣсколько разъ говорилъ Нахману рѣзкости... (Отходить и садится, за ней слѣдуетъ Березинъ, Нахманъ ходитъ по комнатѣ)

НАХМАНЪ. Э, что тутъ рѣзкости?! Развѣ можно быть спокойнымъ, когда говорить не языкъ, а душа человѣка? Нельзя!.. У всякаго человѣка есть такое мѣсто, до котораго ему больно дотрогиваться. Я тоже говорилъ рѣзко... Но вѣдь дѣло не въ словахъ... (Устало садится на стулъ и опускаетъ голову)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Насмѣшливо) Вы совсѣмъ хотѣли подраться изъ-за Сакера!..

НАХМАНЪ. (Тихо и задумчиво) Такихъ, какъ Сакеръ, намъ не надо... Если продать душу,—можно не ѣздить въ Палестину...

БОРУХЪ. Однако мы не продали души и все-таки не ѣдемъ? Или мы, по вашему, тоже продали свою душу?

НАХМАНЪ. (Устало) Что вы?! что вы?! Я никогда этого не думалъ...

ЛЕЙЗЕРЪ. (Къ Боруху) Ты всегда хочешь найти петлю, чтобы зацѣпиться своимъ крючкомъ! У тебя очень плохой характеръ. Тебѣ будетъ плохо жить на свѣтѣ...

ворухъ. Какой ужъ есть! Проживу какъ-нибудь...

нахманъ. Я сказалъ это совсѣмъ въ другомъ смыслѣ... Въ Галиціи еврей лишень всякихъ правъ, ему закрываютъ двери школь, его облагаютъ непосильными налогами, ему отказываютъ въ правосудіи... Но зато богатый еврей, Мориць Штернъ, давно продавшій душу дьяволу, трижды судившійся за скверныя преступленія, гуляетъ подъ ручку съ самимъ губернаторомъ! Если продать душу (Всхлищывая), можно никуда не ѣздить! (Утираетъ платкомъ слезы)

БЕРЕЗИНЪ. Однако у васъ нервы-то не въ порядкѣ...

НАХМАНЪ. Э! Развѣ у еврея есть нервы?! У него нѣтъ ни нервовъ, ни сердца, ни души...ничего у него нѣтъ!.. (Многочисленные часы въ магазинѣ начинаютъ бить „12“
Послѣ этого—небольшая общая пауза. Лія о чемъ-то шепчется съ Березинымъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Вздохнувъ) Десять лѣтъ я хочу, чтобы всѣ часы били у меня сразу, и никогда этого не случилось... Они, какъ люди, никогда не могутъ быть согласны... (Задумчиво идетъ въ магазинъ)

З а н а в ѣ с ѣ .

АКТЪ ВТОРОЙ.

Та же декорация. Вечеръ. Въ магазинѣ, за столикомъ, при свѣтѣ низкой лампы подъ зеленымъ колпакомъ, работаетъ одинъ Шлойме. Лія и Березинъ сидятъ въ залѣ, окутанной сумерками вечера. Черезъ стѣну глухо доносится минорные аккорды фисгармоніи, кто-то играетъ прелюдію Мендельсона. При поднятіи занавѣса изъ дальнихъ комнатъ выходитъ Маша съ зажженою лампою въ рукахъ.

МАША. (Ставя лампу на столъ передъ Ліей и Березинимъ) Барышня! Вы меня разсчитайте...

ЛІЯ. (Удивленно) Ты хочешь уйти отъ насъ?.. Почему? Развѣ ты чѣмъ-нибудь недовольна?

МАША. Зачѣмъ—недовольна? Доеольна, а только... Кто ихъ знаетъ! Болтаютъ разное... Боюсь я...

ЛІЯ. Не понимаю... (Шлойме, оторвавшись отъ работы, прислушивается къ аккордамъ музыки и вздыхаетъ)

МАША. Болтаютъ вонъ, что жидовъ бить будутъ... А мнѣ что же? Всякому, барышня, жизнь дорога... Начнутъ бить,—не станутъ разбирать... (Пауза) Бросить васъ, я не брошу, вамъ тоже безъ человѣка остаться нельзя, а только вы подыскивайте...

ЛІЯ. Хорошо. (Маша уходитъ. Большая пауза) Всякій разъ, когда я услышу, что гдѣ-нибудь бьютъ евреевъ, я чувствую, что я—жидовка... И въ моей душѣ начинается шевелиться непріязнь къ... вамъ, русскимъ, которые бьете насъ... И тогда я начинаю чувствовать связь со своимъ народомъ, которой въ обыкновенное время не чувствую... Вотъ и теперь: въ Бессарабіи, говорятъ, ждуть погрома...

БЕРЕЗИНЪ. (Грустно) Да. Я слышалъ...

ЛІЯ. И я начинаю чувствовать неприязнь... даже... къ тебѣ...

БЕРЕЗИНЪ. Развѣ я въ чемъ-нибудь виноватъ, Лія? Развѣ я не тотъ же „жидъ“? Меня тоже гнали всю жизнь, начиная съ гимназической скамейки. Я выросъ въ бѣдной семьѣ. Я видѣлъ, какъ сильные люди унижали отца, унижали мою мать. Я росъ съ ненавистью и рабскимъ трепетомъ передъ этими богатыми, нарядными, сильными... Я зарабатывалъ хлѣбъ всегда съ униженіемъ. За гроши, которые мнѣ платили за все эти уроки, переписки, чертежи—отъ меня требовали нагнутой шеи... Меня держали въ передней, какъ лакея, на каждомъ шагу давали понять, что я нищій, и что мой, горбомъ заработанный, грошъ есть благодареніе всеѣхъ этихъ сытыхъ и довольныхъ мерзавцевъ... Вотъ кого я ненавижу!.. Они исковеркали мою душу: они обстригли у нея крылья! Они вскармливали во мнѣ подлую трусость, гнали меня за каждую попытку, каждый порывъ къ свободѣ... У меня нѣтъ сильной воли, но ненависти къ нимъ у меня много! Я — тоже „жидъ“... Я ни въ чемъ не виноватъ предъ тобою...

ЛІЯ. Не виноватъ. Я это знаю и все-таки не могу заглушить въ своей душѣ этой неприятной нотки. Я тебя люблю, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то сержусь на тебя... И что-то отравляетъ мою искренность къ тебѣ... Ты не сердись, Владиміръ!.. Я не виновата... (Неловкая пауза; аккорды фисгармоніи глухо звучатъ за стѣной) Ты сердишься?

БЕРЕЗИНЪ. (Встряхнувъ головой) Нѣтъ. Такъ... скверно что-то. Мнѣ грустно, что люди успѣли заронить въ твою душу искорку этой бессмысленной вражды... Кто это тамъ играетъ, словно плачетъ о чемъ-то?

ЛІЯ. Больной мальчикъ, сынъ нашего сосѣда... еврей... Однажды его поймали мальчишки-христіане и продѣлали

надъ нимъ злую шутку: они крестили его въ грязномъ чану съ дождевой водой. Была осень... Стояли холода. Онъ захворалъ и лишился ногъ...

БЕРЕЗИНЪ. (Вздохнувъ) Да, нашимъ ребятамъ чуть ли не съ пеленокъ прививаютъ эту ужасную вражду... (Музыка замолкаетъ)

ЛІЯ. Когда я была подросткомъ и училась въ гимназїи, со мной былъ одинъ случай... Я его никогда не забуду, до самой смерти... И теперь я не могу выкинуть его изъ головы...

БЕРЕЗИНЪ. Что же съ тобой случилось?.. (Пауза) Лія!

ЛІЯ. Пропалъ христіанскій ребенокъ, мальчикъ лѣтъ 4-хъ, и по городу стали вотъ такъ же говорить, что его убили евреи.

БЕРЕЗИНЪ. Римляне въ этомъ же обвиняли первыхъ христіанъ...

ЛІЯ. Мои подруги заспорили о томъ, употребляемъ мы христіанскую кровь или нѣтъ. Одна подошла ко мнѣ и спросила: „правда ли?“ Личико у нея было задорное. Оно до сихъ поръ стоитъ въ моей памяти... Я сказала, что это ложь. Дѣвочка настаивала, другія слушали и всѣ пожимали меня любопытными взорами, словно смотрѣли на какого-то звѣря... Я предложила спросить священника. Когда былъ урокъ закона Божьяго, я пошла вмѣстѣ съ ними въ классъ и сѣла рядомъ съ той дѣвочкой... Когда въ классѣ сдѣлалось тихо, эта дѣвочка встала и громко спросила священника, правда ли?..

БЕРЕЗИНЪ. Что же онъ сказалъ?

ЛІЯ. Онъ? Онъ сказалъ, что это дѣло темное и что онъ не можетъ этого утверждать, но не можетъ отрицать... Такъ и сказалъ!.. Тогда моя сосѣдка обернулась въ мою сторону и довольно громко прошептала: „что? чья правда?“ Мнѣ сдѣлалось такъ больно и обидно, что я разрыдалась... Священникъ спросилъ, что слу-

чилось, и я слышала, какъ кто-то изъ дѣвочекъ тихо отвѣтилъ ему: „она — жидовка“. (Шопотомъ) Со мной сдѣлался истерическій припадокъ... (Смолкаетъ: чрезъ стѣну снова доносятся аккорды фисгармоніи)

ВЕРЕЗИНЪ. Дія! Ты, кажется, плачешь? (Беретъ ее руку) Не стоитъ, голубка, плакать...

ЛІЯ. Нѣтъ, не плачу, но мнѣ тяжело это рассказывать... Точно все это случилось только вчера... Это была большая трагедія моей маленькой души... И теперь я вспомнила эту трагедію и мнѣ кажется, что она не кончилась до сихъ поръ... и никогда не кончится... до самой смерти...

ВЕРЕЗИНЪ. (Цѣлуетъ у Ліи руки) Зачѣмъ такъ говорить?.. Не надо!.. Пора это забыть...

ЛІЯ. Пока мы жили въ Петербургѣ, я успѣла забыть, что — „жидовка“. А теперь я не могу выкинуть этого изъ головы. Право! Должно быть, въ глубинѣ души у человѣка всегда живетъ безсознательная привязанность къ своей національности, религіи...

ВЕРЕЗИНЪ. Религіи?

ЛІЯ. Да. Меня не трогаетъ наша религія и многое въ ней кажется... нелѣпымъ. Но временами, когда я слышу, какъ отецъ читаетъ свои субботнія молитвы, что-то вдругъ шевельнется въ душѣ, далеко-далеко гдѣ-то тамъ, что-то вспомнится свое, близкое, родное. чего-то станетъ жалко (Тихо), и сердце вдругъ запоетъ-запоетъ... захочется плакать. (Опускаетъ голову)

ВЕРЕЗИНЪ. Ты, кажется, въ самомъ дѣлѣ хочешь плакать? Перестань!

ЛІЯ. Нѣтъ. Такъ. Мнѣ грустно что-то. Мнѣ жаль Нахмана... Должно быть, онъ уже помятъ... (Аккорды фисгармоніи обрываются)

ВЕРЕЗИНЪ. Ты съ нимъ не объяснилась еще?.. Надо сказать ему... Нехорошо...

лія. Я все откладываю. Посмотрю на него и мнѣ сдѣлается такъ жалко этого человѣка, что я не могу... Онъ очень хорошій человѣкъ. Отецъ относится къ нему съ какимъ-то благоговѣніемъ... Когда-то и я благоговѣла передъ нимъ... Я ему очень многимъ обязана...

БЕРЕЗИНЪ. Человѣкъ онъ хорошій, но ему не хватаетъ знаній. Онъ то и дѣло „открываетъ Америки“. Ты объяснись съ нимъ поскорѣе... Мнѣ кажется, что онъ догадывается... Онъ какъ-то странно смотритъ на меня... Онъ меня ненавидитъ... И отцу ты тоже скажи...

лія. Вотъ это для меня—мука! Для отца это будетъ большой ударъ... Сказать ему всю правду, — это все равно, что взять ножъ и своими руками вонзить ему въ сердце... Но вѣдь это тоже мука: любить и прятаться и каждую минуту бояться!.. Я словно преступница: живу подъ вѣчнымъ страхомъ, что мое преступленіе раскроется...

БЕРЕЗИНЪ. Да, любить исподтишка — это и мнѣ не нравится.

лія. Я завидую своей сестрѣ: она безъ всякихъ колебаній крестилась, вышла замужъ за русскаго и живетъ теперь своей жизнью... Она совершенно порвала съ семьей и ей не жалко отца... Отецъ запрещаетъ произносить ея имя...

БЕРЕЗИНЪ. Она—молодецъ! Какое намъ дѣло до родителей? У насъ—своя жизнь, и мы одни имѣемъ право тратить ее, какъ намъ вздумается. Надо ломать все, что мѣшаетъ жить... Всѣ эти отрепья современнаго благополучія связываютъ насъ по рукамъ и ногамъ... Это—вѣрно!..

лія. Ты такъ говоришь, когда ты—около меня. Дома ты, навѣрное, считаешься съ родителями... Я знаю, что имъ не нравятся наши отношенія...

БЕРЕЗИНЪ. (Со вздохомъ) Какое мнѣ дѣло? „Уходя въ

новый міръ, нельзя брать съ собою ничего изъ стараго міра“... Это—вѣрно!

ЛІЯ. (Задумчиво) Дома ты, навѣрно, доказываешь, что я такая хорошая, что совсѣмъ не похожа на еврейку!.. Странно. Когда вы видите хорошаго еврея, котораго вы не можете упрекнуть ни въ чемъ дурномъ, вы говорите: „онъ не похожъ на еврея“. Почему? Вѣдь онъ все-таки—еврей?..

БЕРЕЗИНЪ. Лія! Кто это—„вы“? О комъ ты говоришь?

МАША. (Появляясь въ двери) Самоваръ, барышня, подай! (Хочетъ уйти)

ЛІЯ. Маша! Постой!

МАША. Что, барышня?

ЛІЯ. Ты меня ненавидишь?

МАША. Что вы это, барышня! Господь съ вами! За что мнѣ васъ ненавидѣть?..

ЛІЯ. За то, что я—жидовка!..

МАША. Вотъ ужъ и нѣтъ! Да вы у насъ такая прекрасная!.. Да въ васъ жидовскаго-то (Показываетъ на кончикъ своего мизинца) вотъ настолько нѣтъ. Да ей-Богу! Никто и не скажетъ, что вы жидовка!..

ЛІЯ. (Съ пролической улыбкой) Не похожа?

МАША. Да нисколько! Характеръ у васъ самый русскій!

ЛІЯ. (Съ хохотомъ) Вотъ спасибо! Иди! иди!

МАША. Да, ей-Богу! Развѣ кто-нибудь скажетъ, что...

ЛІЯ. Ладно! ладно! иди! Спасибо за комплиментъ! (Маша уходитъ) Вотъ видишь?

БЕРЕЗИНЪ. Нашла доказательство! (Лія продолжаетъ смѣяться) Это, Лія, мелочь, съ которой, право, стыдно считаться.

ЛІЯ. (Оборвавъ смѣхъ, серьезно) А ты никогда не говоришь такъ? Припомни!

БЕРЕЗИНЪ. Я?

ЛІА. Припомни!

БЕРЕЗИНЪ. Нѣтъ, не помню...

ЛІА. Зимой, на студенческомъ вечерѣ... Гинцбургъ попросилъ тебя познакомить его съ какой-то барышней... Блондинкой. Помнишь? Она спросила: „онъ жидъ?“ А ты ей сказалъ: „хотя онъ, дѣйствительно, еврей, но такой хорошій, такой хорошій, что совсѣмъ не похожъ на еврея!“

БЕРЕЗИНЪ. (Смущенно) Что-то подобное, кажется, было...

ЛІА. Не подобное, а именно такъ и было...

БЕРЕЗИНЪ. Ты, Ліа, во всемъ хочешь найти оскорбленіе и потому находишь... Неужели такому пустяку можно придавать значеніе?.. У тебя болѣзненно настроенное самолюбіе...

ЛІА. Вѣроятно. Не знаю... Твой отвѣтъ кольнулъ меня въ самое сердце... И я всю ночь напролетъ проплакала и мнѣ было такъ оскорбительно, такъ больно!.. Я старалась убѣдить себя, что не люблю тебя... (Въ магазинъ входитъ посланный отъ аптекаря за часами, Шлойме вытираетъ часы замшей, заворачиваетъ въ бумагу и отдаетъ; посланный уходитъ)

БЕРЕЗИНЪ. (Цѣлуетъ руку у Ліи) Но ты не убѣдила? да? не убѣдила? Ты меня любишь... Я знаю... (Шлойме заглядываетъ въ заль, укоризненно качаетъ головой и, вздохнувъ, идетъ опять къ столику, но время отъ времени отрывается отъ работы и прислушивается)

ЛІА. (Тихо) О, если бы я могла не любить тебя!.. (Опускаетъ голову; Березинъ, стоя рядомъ, гладитъ Лію по головѣ и заглядываетъ въ глаза Ліи) Люблю себѣ на муку! (Встрепенувшись) Постой! Отойди! Кажется, кто-то идетъ... Отецъ...

БЕРЕЗИНЪ. Никого нѣтъ... Чего ты такъ испугалась?.. все равно...

ЛІА. Охъ, какъ я испугалась!.. (Пауза) Я хочу тебѣ

сказать еще... Я не религіозна... У меня нѣтъ вѣры... Но креститься я не могу... Вѣдь ты и такъ будешь любить меня?

БЕРЕЗИНЪ. Что за вопросъ!

ЛІЯ. Ну, вотъ и хорошо! вотъ и хорошо! Пусть такъ...

БЕРЕЗИНЪ. Если я какъ-то заговорилъ объ этомъ, то, конечно, не потому, чтобы считалъ это важнымъ въ нашихъ отношеніяхъ...

ЛІЯ. Да, конечно! я знаю... Не сердись!..

БЕРЕЗИНЪ. Я говорилъ тебѣ только, что иначе на нашемъ пути будетъ стоять тысяча преградъ и терній и я боюсь, что ты, голубка, устанешь!

ЛІЯ. Не устану. А если устану,—умру и буду отдыхать... Я не могу креститься... Все мое существо противится этому, и мнѣ кажется, что если я сдѣлаю это, то... потеряю и себя, и тебя... (Въ магазинъ — автоматическій звонокъ, туда входитъ Нахманъ. Лія испуганно обрываетъ и вскакиваетъ)

ЛІЯ. Это онъ... отецъ!.. (Исчезаетъ въ дальнихъ комнатахъ. Березинъ, нервно ероша на головѣ волосы, ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ)

НАХМАНЪ. (Отвѣчая на поклонъ Шлойме) Здравствуй, Шлойме! Работашь?

ШЛОЙМЕ. Работаю. Какъ же, ребъ Нахманъ? Не буду работать,—не буду кушать...

НАХМАНЪ. Ребъ Лейзеръ дома?

ШЛОЙМЕ. Ихъ нѣтъ. Они ушли по дѣлу, — скоро вернутся... Правда ли, что въ Бессарабіи очень тревожно и что тамъ хотять сдѣлать погромъ?..

НАХМАНЪ. Въ газетахъ пока ничего нѣтъ. Но говорятъ, что это—правда. Мой знакомый получилъ письмо изъ Кишинева... Тамъ большая тревога: евреи, вотъ уже двѣ недѣли, живутъ въ страхѣ, богатые прячутъ деньги въ банкъ и уѣзжаютъ, а бѣднымъ нечего прятать и некуда уѣзжать...

шлойме. Ай-ай-ай!.. За что насъ бить? Развѣ бѣдныя евреи живутъ лучше бѣдныхъ поляковъ и русскихихъ?.. Кто имѣеть одну подушку и одну селедку въ день, тѣхъ будутъ бить... За что?

нахманъ. Да, Шлойме, Богъ хочеть почаще напоминать намъ, что мы евреи и живемъ въ голусъ *), что намъ пора подумать о Святой Землѣ! (Проходитъ въ залъ)

шлойме. Правда, правда, ребъ Нахманъ! (Садится снова за работу. Нахманъ молча здоровается съ Березинымъ оба ходять по комнатѣ, непріязненно избѣгая другъ друга)

нахманъ. Слышали хорошія новости?

березинъ. Ничего не слыхалъ. Какія новости?

нахманъ. Въ Бессарабіи опять скоро будутъ бить жидовъ.

березинъ. Не слыхалъ. Очень печально.

нахманъ. И очень больно!

березинъ. Вѣроятно. Меня не били...

нахманъ. Очень печально!..

березинъ. Развѣ вамъ было бы пріятно, если бы меня избили? Странно!

нахманъ. Тогда вы лучше поняли бы, какъ это скверно, когда людей бьютъ только за то, что они родились евреями... А другіе говорятъ, что это „очень печально“!.. Больно, господинъ Березинъ! Очень больно! А вамъ, вѣроятно, стыдно...

березинъ. За другихъ?

нахманъ. Конечно!.. (Пауза) Я хочу предложить вамъ одинъ вопросъ. Я боюсь только, что вы можете опять обидѣться...

березинъ. Сдѣлайте одолженіе, спрашивайте!

нахманъ. Вы никогда не видали, какъ бьютъ насъ, жидовъ?

*) Въ изгнаніи.

БЕРЕЗИНЪ. Не доводилось... И очень радъ...

НАХМАНЪ. Это очень красивая картина... Можетъ быть, и у насъ будетъ погромъ, — тогда и вы посмотрите...

БЕРЕЗИНЪ. Меня удивляетъ вашъ тонъ...

НАХМАНЪ. Я хотѣлъ бы узнать, что вы будете дѣлать, когда увидите, что бьютъ жидовъ?

БЕРЕЗИНЪ. Вамъ это интересно?

НАХМАНЪ. Очень. Если ваши единовѣрцы будутъ на вашихъ глазахъ бить жидовъ, выпускать изъ перинъ — пухъ, а изъ жидовскихъ животовъ кишки, бесчестить нашихъ женъ, матерей, сестеръ, — что вы будете дѣлать?

БЕРЕЗИНЪ. (Уклончиво) Не знаю...

НАХМАНЪ. Вы же должны что-нибудь дѣлать! Или вы будете стоять въ сторонкѣ и смотрѣть? Или это „не ваше дѣло“? Пускай человѣчество возрождается, а жидовъ бьютъ себѣ на здоровье, какъ собакъ?!

БЕРЕЗИНЪ. Вы, во что бы то ни стало, желаете, чтобы я былъ виноватъ въ томъ, что дѣлаютъ другіе?

НАХМАНЪ. Я васъ ни въ чемъ не обвиняю. Я только хотѣлъ бы знать, что должны дѣлать въ такихъ случаяхъ такіе люди, какъ вы. Не могутъ же они молча смотрѣть и думать, что еще однимъ шагомъ ближе къ торжеству социаль-демократіи?

БЕРЕЗИНЪ. Что вамъ, наконецъ, отъ меня надо?!

НАХМАНЪ. Пойдете вы въ толпу, когда она вздумаетъ насъ бить, и станете останавливать дураковъ и негодяевъ?

БЕРЕЗИНЪ. (Раздраженно) Я самъ знаю, что мнѣ дѣлать, и не имѣю надобности совѣтоваться съ вами. Это — неделикатно... лѣзть въ чужую душу... (Въ дверяхъ появляется Лія, встревоженная близкой ссорой)

ЛІА. Здравствуйте, Нахманъ! Владиміръ Николаевичъ! Вы опять, господа, сдѣлились?.. Вы спорите такъ не хорошо, что можно подумать — ссоритесь!..

нахманъ. Я, Лія Лазаревна, несчастный человекъ: когда я хочу поговорить по душѣ, другимъ кажется, что я лѣзу ногами въ душу. А я никогда себѣ этого не позволяю, потому что я знаю по опыту, какъ это скверно, когда въ твою душу лѣзутъ съ ногами. Вѣдь въ еврейскую душу только такъ и заглядываютъ, ногами въ грязныхъ калошахъ!..

Лія. Будетъ вамъ! Оба вы хорошіе люди... Зачѣмъ вѣчно вздорить между собою?.. Словно враги...

нахманъ. Я только спросилъ Владимира Николаевича, что онъ будетъ дѣлать, когда на его глазахъ начнутъ бить евреевъ. Неужели мой вопросъ неделикатенъ? Я вовсе не имѣлъ въ виду личность; я хотѣлъ узнать, какъ это у нихъ разрѣшается. Я никогда не видалъ, не слыхалъ и не читалъ, чтобы русская интеллигенція когда-нибудь пыталась останавливать избіеніе евреевъ. Всѣ прячутся, торопятся засвидѣтельствовать чрезъ полицію, что они христіане и что имущество у нихъ христіанское... Въ лучшемъ случаѣ ихъ геройство проявляется въ томъ, что иногда наиболѣе храбрые позволяютъ такъ называемымъ „приличнымъ“ евреямъ спрятаться подъ своей кровлей. Вы говорите, что такихъ людей, какъ вы, т. е. вашихъ единомышленниковъ — много. Но гдѣ же бываютъ эти люди, когда убиваютъ, безчестятъ и грабятъ евреевъ?

Березинъ. Въ этомъ отношеніи я такъ же безсиленъ, какъ и вы. Я такой же жидъ среди своихъ единовѣрцевъ, какъ вы—среди русскихъ! Вы это отлично понимаете... Интересно узнать, что будете дѣлать вы?

Лія. Положеніе, положимъ, не совсѣмъ одинаковое...

нахманъ. Меня будутъ бить, а вы будете смотрѣть. И я вамъ все-таки скажу, что я буду дѣлать... (Горячо). Я не буду отрекаться отъ своего народа, не надѣну на шею креста и не возьму въ руки иконы, чтобы спря-

таться за спину вашего Бога! Нѣтъ! Если понадобится умереть,—я умру евреемъ! Я буду ихъ проклинять и тоже бить, пока мои руки не упадутъ вмѣстѣ со мной! Я возьму въ руки револьверъ (Выхватываетъ изъ кармана револьверъ) и буду защищать свой народъ, свою религію, самого себя! У меня есть вѣрный защитникъ! Ему все равно: еврей я, или христіанинъ! И когда я увижу, что надо умирать, я самъ убью Нахмана! самъ!

верезинъ. Револьверомъ не разрѣшаются такіе вопросы... Какъ только толпа увидитъ въ вашихъ рукахъ револьверъ — она остервенѣетъ, и тогда начнется кровавая расправа... Плохую услугу вы можете оказать своему народу...

нахманъ. Что же вы хотите? Вы хотите, чтобы я издохъ, какъ теленокъ?

верезинъ. Я этого вовсе не хочу!

нахманъ. Даже бродячія собаки, когда ихъ ловятъ, отгрызаются, а вы не велите мнѣ защищаться?

ля. Кто это — „вы“? Зачѣмъ, Нахманъ, обращать свои обвиненія на Владиміра Николаевича?

нахманъ. Но Владиміръ Николаевичъ находитъ лишнимъ мою самозащиту. Всякій имѣетъ право защищаться. Если на человѣка нападаютъ разбойники съ намѣреніемъ убить или ограбить, — всякій по закону можетъ стрѣлять... Только мы, евреи, не смѣемъ этого дѣлать: тогда насъ будутъ судить, какъ бунтовщиковъ...

верезинъ. Я говорилъ не о правѣ, а о продуктивности поступка.

ля. Нахманъ! Много ли такихъ, какъ вы? Подите въ еврейскіе кварталы: тамъ вы увидите, способны ли эти люди защищаться...

нахманъ. Я знаю эти кварталы, очень хорошо знаю... Я жить тамъ, а не только бывать!..

ля. Еврейская бѣднота не будетъ защищаться. Она способна только стенать и вопить отъ ужаса.

БЕРЕЗИНЪ. Обь этомъ я и толкую. Когда мы разсуждаемъ принципиально, мы должны выкинуть съ вѣсовъ всѣ личныя ощущенія, вспышки, настроенія минуты. Мы должны смотрѣть съ точки зрѣнія наибольшей продуктивности силъ и поступковъ...

НАХМАНЪ. Вы очень хладнокровны. Это значить, что не васъ будутъ бить.

БЕРЕЗИНЪ. Такъ невозможно говорить... Одинъ—про Оому, другой—про Ерему... (Подходить къ Ліи, о чемъ-то съ ней тихо говорить, затѣмъ молча прощается съ обоими и уходитъ)

ЛІА. (Вслѣдъ Березину) Я буду ждать!

БЕРЕЗИНЪ. Хорошо! (Уходитъ чрезъ магазинъ)

МАША. (Въ дверяхъ) Вы, барышня, позабыли про самоваръ? (Уходитъ)

ЛІА. Хотите чаю? Пойдемте!

НАХМАНЪ. Благодарю. (Идетъ вслѣдъ за Ліей въ дальнія комнаты)

СРУЛЬ. (Заглядывая въ окно магазина) Можетъ быть, желаете узнать, что дѣлается на свѣтѣ?

ШЛОЙМЕ. Какъ же не желать? Заходите! (Сруль входитъ въ дверь). Есть что-нибудь интересное?

СРУЛЬ. Какъ же не быть? Свѣтъ очень большой и каждую минуту гдѣ-нибудь происходитъ что-нибудь интересное... особенное...

ШЛОЙМЕ. Про еврейскій погромъ нѣтъ?

СРУЛЬ. Слава Богу, нѣтъ. Или вы соскучились о томъ, что васъ давно не били?

ШЛОЙМЕ. Есть слухъ, что въ Бессарабіи хотятъ сдѣлать погромъ.

СРУЛЬ. Пускай „хотятъ“! Насъ много били. Насъ всегда хотятъ бить... И мы все-таки — живы! Чтѣ вы очень пугаетесь?

ШЛОЙМЕ. А развѣ вы не бонтесь?

СРУЛЬ. Я не боюсь.

шлойме. Что же, вы надѣнете на шею крестъ?

сруль. Зачѣмъ—крестъ?! Когда, лѣтъ десять тому назадъ, у насъ былъ погромъ, я надѣлъ фуражку съ кокардой, гулялъ по улицамъ и меня никто не тронулъ пальцемъ. Эта фуражка и теперь у меня есть. (Шлойме смѣется) А гдѣ у васъ хозяинъ? У меня есть до него дѣло.

шлойме. Хозяина нѣтъ. Онъ сердится на васъ...

сруль. Ой-ой, какъ я усталъ! Можно немножко отдохнуть? (Присаживается на табуретъ)

шлойме. Ну что же есть интереснаго въ газетахъ?

сруль. Очень много интереснаго. Номеръ стоитъ только пять копеекъ и за эти деньги вы можете узнать все, что случилось на свѣтѣ... Каждый человекъ долженъ знать, что дѣлается на свѣтѣ... Возьмите газету!..

шлойме. Я вамъ еще должепъ... И сегодня у меня нѣтъ денегъ...

сруль. Это ничего не значить. Пусть будетъ за вами. (Суетъ номеръ газеты) За вами будетъ всего пятнадцать копеекъ, за три номера. Вы сказали, что хозяинъ на меня сердится? За что онъ можетъ сердиться?

шлойме. За то, что вы переманиваете у насъ прислугу.

сруль. Избави Богъ! Зачѣмъ я буду переманивать? И кухарка тоже ищетъ, гдѣ лучше. Ваша кухарка ищетъ и кухарка у вашего сосѣда ищетъ. И я сосѣдней кухаркѣ хочу дать ваше мѣсто, а сосѣдское — вашей кухаркѣ. Я хочу тутъ немного заработать. А вамъ развѣ не все равно?..

шлойме. Я этого не знаю. Но ребъ Лейзеръ очень на васъ сердится и не хочетъ покупать у васъ газету.

сруль. Зачѣмъ онъ сердится на газету? Пусть онъ сердится на меня. Сруль тоже хочеть немного заработать. Срулю тоже надо кормить жену и дѣтей. У меня

пять дѣтей, и скоро Господь дастъ еще одного. Если каждому дать только по двѣ селедки въ день, немного хлѣба, немного молочка, — то вотъ уже всеѣмъ надо больше полтинника. Гдѣ же мнѣ взять? Я плачу за одну квартиру четыре рубля, а надо дровъ, надо сапоги, брюки, все надо! А вамъ все равно, какъ будетъ называться ваша кухарка: Маша или Даша...

шлойме. Вы уже бросили торговлю сельтерской водой? Теперь жарко,—можно бы заработать...

сруль. Что изъ того, что жарко? Все равно: если бы наша улица вела въ самый адъ, — больше двугривеннаго въ день не наторгуешь, а пользы будетъ все десять копеекъ... Чистая публика не пьетъ, потому что у насъ очень грязно, а грязная публика хочетъ пить даромъ, она не можетъ пить не настоящую воду... А нашъ будочникъ пьетъ очень много: онъ думаетъ, что моя вода течетъ прямо изъ земли и ничего мнѣ не стоитъ...

шлойме. Водой можетъ торговать жена... Она что-нибудь дѣлаетъ?

сруль. Она мнѣ сдѣлала пять дѣтей, и они все ее сосали и сдѣлали, какъ щепка... Теперь она всеѣмъ больна... Раньше она дѣлала гильзы и тоже зарабатывала въ день пятнадцать копеекъ... Теперь она собирается родить...

шлойме. А какъ идетъ ваша торговля газетами?

сруль. Тихо. Когда было дѣло Дрейфуса, я торговалъ такъ хорошо, что чуть было не разбогатѣлъ... И когда буры сражались съ англичанами, я тоже торговалъ недурно. Но теперь Дрейфусъ кончился, и никто не хочетъ сражаться... (Пауза) Осенью опять сдѣлаюсь факторомъ — буду перевозить жителей на новыя квартиры. Люди очень любятъ переѣзжать; люди думаютъ, что въ новой квартирѣ можно жить по новому... У меня уже есть три чиновника и одинъ полковникъ, которые каждый годъ переѣзжаютъ...

шлойме. И сколько можно заработать?

сруль. И хозяйинъ даетъ рубль-два и квартирантъ тоже... Полковникъ въ прошломъ году далъ четыре рубля!.. Я ему далъ очень хорошую квартиру... А что можно нажить съ газеты? Теперь продаю двадцать пять—тридцать номеровъ, а пользы имѣю одну или двѣ копейки... Ходишь весь день. Надо сапоги. А къ вечеру такъ проголодаешься, что можно съѣсть все, что заработалъ, и забыть, что дома есть и жена, и дѣти, и машина... (Встаётъ) Очень тяжело жить! Вы мнѣ будете должны пятнадцать копеекъ...

шлойме. Въ пятницу утромъ я вамъ заплачу.

сруль. Можно ждать. Будьте здоровы!

шлойме. Благодарю васъ.

сруль. (Въ дверяхъ) Желаю вамъ разбогатѣть, какъ Ротшильдъ. Тогда вы будете платить мнѣ вмѣсто пяти копеекъ за номеръ—шесть копеекъ... Богатые люди—очень добрые люди! (Уходитъ; Шлойме читаетъ газету. Изъ дальнихъ комнатъ выходитъ Лія, за ней—Нахманъ)

нахманъ. Вы тоже находите, что я—мечтатель?..

лія. Да, хорошій мечтатель!

нахманъ. Что жъ! Хорошо, когда человѣку есть о чемъ мечтать. Есть много людей, которымъ не о чемъ мечтать, и тѣ люди самые бѣдные... И вы, Лія, когда-то мечтали вмѣстѣ со мною. (Пауза. Слышно, какъ къ магазину подъѣхала извозчичья пролетка,—въ магазинъ входитъ пріѣхавшій съ поѣзда Ааронъ Френкель, съ узломъ, корзиночкой, зонтикомъ въ рукахъ)

ааронъ. Здравствуй, Шлойме? Братъ дома?

шлойме. (Кланяется, помогаетъ Аарону освободиться отъ вещей) Они ушли, сейчасъ вернутся... Проходите,—тамъ Лія Лазаревна.

лія. (Нахману) Все это было и прошло... Да, и я вѣрнѣе этой сказкѣ!..

ААРОНЪ. (Шлойме) Ты говоришь, — Лія? Развѣ она уже пріѣхала?

ШЛОЙМЕ. Пріѣхали... И Борисъ Лазаревичъ пріѣхали...

НАХМАНЪ. (Задумчиво) Сказка... да... Можетъ быть, все, что есть въ жизни хорошаго, все это — только сказка...

ААРОНЪ. (Снимая длиннополое пальто и вѣшая его на гвоздикъ) Развѣ они уже кончили свое ученье?..

ШЛОЙМЕ. Не знаю... Съ ними случилась какая-то неприятность, они уже больше не поѣдутъ учиться...

ААРОНЪ. Ай-ай-ай! Должно быть, братъ очень огорченъ. Что они дѣлають!.. (Идетъ въ залъ)

ЛІА. (Увидя Аарона) Дядя! (Идетъ навстрѣчу Аарону)

ААРОНЪ. Это—я! Здравствуй! (Цѣлуетъ Лію въ щеку, потомъ здороваается съ Нахманомъ, который рекомендуется Аарону) Вы съ Борухомъ, какъ перелетныя птицы: весной прилетаете, а осенью улетаете. Почему вы прилетѣли такъ рано?

ЛІА. Случилась, дядя, бѣда... Насъ съ Борисомъ исключили за безпорядки...

ААРОНЪ. Ай-ай-ай! И зачѣмъ вамъ было дѣлать безпорядки? И тебя, Лія, тоже исключили?

ЛІА. Да.

ААРОНЪ. И ты тоже дѣлала безпорядки? Ты же была такая смирная?..

ЛІА. (Съ улыбкой) Я, дядя, и теперь смирная...

ААРОНЪ. Надо было тебѣ выйти замужъ. Тогда у тебя были бы дѣти и были бы свои домашніе безпорядки... Ну, что ты смѣешься?.. Ты выросла такая большая и красивая, что, навѣрно, очень скоро выйдешь замужъ... (Подозрительно взглянувъ въ сторону Нахмана) У тебя, навѣрно, уже есть женихъ?

ЛІА. Что вы, дядя!.. Вы мнѣ лучше скажите, какъ

поживаетъ тетка Хане? дѣти?.. Я не видала тетку очени-давно!

ЛАРОНЬ. Что жъ? Дѣти себѣ растутъ, а Хане себѣ хвораетъ... И я тоже смотрю въ могилу: у меня болитъ спина, болятъ ноги, и, должно быть, надо скоро умирать...

ЛІЯ. Что вы, дядя! Зачѣмъ умирать?

ЛАРОНЬ. Я и самъ не знаю, зачѣмъ умираютъ люди. Лучше бы имъ совсѣмъ не родиться. Но если я или Хане вздумаемъ теперь умирать, то для насъ не будетъ могилы..

ЛІЯ. (Удивленно) Я васъ не понимаю, дядя!.. Вы шутите?

ЛАРОНЬ. Зачѣмъ же шутить? Жить очень плохо, а когда умрешь, то еще хуже. Ты должна знать, что намъ можно жить только въ чертѣ? Ты—тоже еврейка...

ЛІЯ. Я знаю... Въ чертѣ осѣдлости!

ЛАРОНЬ. Осѣдлость это — большая черта, а каждый городъ и мѣстечко въ этой чертѣ имѣютъ еще свою особую черту... (Рисуетъ въ пространствѣ пальцемъ большой кругъ и въ немъ нѣсколько маленькихъ)

НАХМАНЬ. Двѣ черты.

ЛАРОНЬ. Ну да! А евреи, хотя и очень бѣдны, но слава Богу, у нихъ очень много дѣтей. И потому намъ въ мѣстечкѣ стало очень тѣсно, а наше кладбище очутилось теперь въ городѣ. И на кладбищѣ теперь такъ же тѣсно, какъ въ городѣ. Ты очень долго не прѣзжала домой и ничего не знаешь, какъ мы тутъ живемъ!.. Ты насъ забыла!..

НАХМАНЬ. (Грустно) Это—вѣрно...

ЛАРОНЬ. Мы рѣшили купить мѣсто за городомъ, но начальство не разрѣшило купить, потому что это мѣсто—за чертой. Но развѣ мертвый еврей можетъ считаться жителемъ?

ЛІЯ. Кто же такъ растолковалъ законъ? *)

*) Взято изъ дѣйствительной жизни Сѣверо-Западнаго Края

ААРОНЪ. Кто? Извѣстно: начальство!

НАХМАНЪ. (Ядовито) Въ законѣ не сказано, какой еврей: живой или мертвый!

ААРОНЪ. Мы цѣлый годъ хлопотали. У насъ былъ свой повѣренный. Теперь министерство разрѣшило купить мѣсто и хоронить тамъ покойниковъ, но опять вышло препятствіе: при кладбищѣ долженъ быть сторожъ; а сторожъ—еврей и ему нельзя жить за чертой...

НАХМАНЪ. (Встаетъ, прощается; къ Аарону) Остается вамъ одинъ выходъ: пусть сторожемъ будетъ тоже покойникъ!

ААРОНЪ. (Вторя шуткѣ) Но у насъ уже есть сторожъ и онъ — живой, совсѣмъ живой еврей!.. Прощайте!.. Очень пріятно познакомиться!.. (Нахманъ уходитъ)

ЛІА. (Недоумѣвающе) Какъ же быть?

ААРОНЪ. Вотъ я и пріѣхалъ къ начальству, чтобы узнать, какъ намъ быть. На старомъ кладбищѣ не велитъ хоронить мертвыхъ санитарное начальство, а на новомъ — г. исправникъ не велитъ имѣть сторожа... А еврей не могутъ ждать и одинъ взялъ себѣ и умеръ!.. (Пауза) Ты, можетъ быть, хочешь напоить дялю часмъ и дать ему немного покушать?

ЛІА. (Встрепенувшись) Ахъ, простите, дядя! (Вскакиваетъ) Вотъ я какая!... Я совсѣмъ разсѣянная... Сейчасъ! (Проворно убѣгаетъ въ дальнія комнаты; вбѣгаетъ Маша, наскоро приготовляетъ столъ въ залѣ. Въ магазинъ входитъ Лейзеръ. Шлойме торопливо сообщаетъ ему о пріѣздѣ Аарона,— Лейзеръ идетъ въ залъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Входя) Братъ Ааронъ?! Когда ты пріѣхалъ? (Здороваются)

ААРОНЪ. Съ вечернимъ поѣздомъ...

ЛЕЙЗЕРЪ. Гдѣ же Лія? Лія! Лія! Гдѣ же ты спряталась?

ЛІА. (Появляется въ двери) Что? Я хлопочу... (Исчезаетъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Вотъ умница! Мы немножко покушаемъ и немножко выпьемъ чаю... Садись, братъ!

ААРОНЪ. Я все смотрю на Лію и думаю: какъ она похожа на мать, когда та была молодая! Совсѣмъ большая, невѣста... Надо выходить замужъ... Вѣрно, кто-нибудь уже послалъ шадхена? *)

ЛЕЙЗЕРЪ. Теперь, братъ, совсѣмъ по другому... Теперь не надо шадхена... Теперь даже отецъ не можетъ ничего знать... Теперь не хотятъ уже совѣтоваться съ нами, стариками... (Маша приноситъ самоваръ, подаетъ на блюдѣ рыбу) Ну, какъ идетъ, братъ, ваша торговля?

ААРОНЪ. Какая можетъ быть у насъ [торговля? Всѣ желаютъ имѣть товаръ въ кредитъ, а когда получаютъ жалованье, то прячутся. Я каждое двадцатое число мѣсяца бѣгаю и ловлю чиновниковъ, когда они выходятъ со службы. У нихъ только одинъ день бываютъ на рукахъ деньги... Но они уже знаютъ и прячутся! Совсѣмъ плохо... Слава Богу, я немного заработалъ на шпалахъ.

ЛЕЙЗЕРЪ. И у васъ инженеръ продастъ казенныя шпалы?

ААРОНЪ. А какъ же? Я купилъ пятьсотъ шпалъ и немного дровъ. Потомъ я ихъ уступилъ Сакеру. У Сакера есть приказчикъ: онъ вездѣ скупасть эти шпалы и потомъ они опять сдаютъ ихъ въ казну...

ЛЕЙЗЕРЪ. Сколько вамъ платить Сакеръ?

ААРОНЪ. Мы имѣемъ двадцать копеекъ на каждой шпалѣ.

ЛЕЙЗЕРЪ. Это очень мало.

ААРОНЪ. Но Сакеръ съ каждой поставкой даетъ начальству двадцать процентовъ... И всѣмъ чиновникамъ даетъ взаймы, когда угодно. А дать имъ взаймы — это все равно что потерять. (Въ магазинѣ звонокъ, входитъ господинъ въ крылаткѣ; Шлойме подбѣгаетъ къ аркѣ въ залъ)

ШЛОЙМЕ. (Тихо) Ребъ Лейзеръ! Есть покупатель!

*) Свать.

(Возвращается на мѣсто) Сейчасъ выйдетъ хозяинъ. Прошу пана садиться! (Подставляетъ стуль. Лейзеръ идетъ въ магазинъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Раскланиваясь) Что угодно пану?

ГОСПОДИНЪ. Часы мнѣ надо направить.

ЛЕЙЗЕРЪ. Позвольте взглянуть на ваши часы!

ГОСПОДИНЪ. (Вынимаетъ часы) Номеръ 78604. Золотые. На 15 камняхъ. (Слушаетъ часы) Старого Мозера! Боюсь я ихъ отдавать.

ЛЕЙЗЕРЪ. Можетъ быть, панъ думаетъ, что послѣ починки часы будутъ не на 15, а только на 14 камняхъ?

ГОСПОДИНЪ. Случается. (Отстегиваетъ цѣпочку и подаетъ часы Лейзеру) Старого Мозера! (Садится; Лейзеръ подсаживается къ столику, разсматриваетъ механизмъ часовъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Дѣйствительно, старого Мозера... И даже очень старого! Ихъ надо хорошенько вычистить. Насчетъ камней пусть панъ не беспокоится: поставить новый камень надо очень много труда и времени. Это совсѣмъ невыгодно. Если не всякій мастеръ честно работаетъ, то всякій понимаетъ свою выгоду... Надо поставить новый волосокъ. Волосокъ въ часахъ, это, панъ, то же, что сердце у человѣка... (Подаетъ обратно часы) Очень хорошіе часы!

ГОСПОДИНЪ. Хронометръ! А при мнѣ можете все это уладить?

ЛЕЙЗЕРЪ. Панъ боится... Что жъ, если панъ можетъ здѣсь ночевать, то можно сдѣлать и при панѣ... Только два раза ночевать!

ГОСПОДИНЪ. (Пряча часы въ карманъ) Такъ я завтра утромъ зайду. (Уходитъ)

ШЛОЙМЕ. (Подскочивъ къ двери) Почему же вы, господинъ, уходите? Что? (Пауза) Но что же изъ того, что мы — евреи? Развѣ евреи хуже понимаютъ свое дѣло? Господинъ! (Выскакиваетъ на улицу) Господинъ! (Возвращается въ магазинъ) Они ушли.

ААРОНЪ. (Подойдя къ аркѣ) Не продали?

ЛЕЙЗЕРЪ. (Махнувъ рукой) Если бы этотъ господинъ былъ часовщикъ, то онъ непременно былъ бы мошенникъ! (Всѣ трое смѣются; на улицѣ крикъ и шумъ: тамъ кого-то бьютъ; Лейзеръ и Шлойме, сорвавшись съ мѣстъ, тревожно смотрять въ окна) Что вы дѣлаете? Зачѣмъ бить лежакаго? (Шлойме выбѣгаетъ на улицу) Шлойме! Тебя побьютъ!

ААРОНЪ. (Тревожно) Что тамъ случилось? (Шумъ и крикъ усиливаются, Лейзеръ намѣревается выйти на улицу, но въ это время вбѣгаетъ перепуганный и побитый Шлойме, быстро захлопываетъ за собой дверь и запираетъ ее. Слышенъ грубый голосъ за дверью „мало васъ бьютъ, проклятыхъ!“; затѣмъ стекла окна разсыпаются вдребезги отъ брошеннаго съ улицы камня, Ааронъ прячется въ простѣвкѣ; изъ дальнихъ комнатъ выбѣгаетъ испуганная Лія и останавливается въ аркѣ)

ЛІА. (Съ ужасомъ) Что случилось? Что такое? Отецъ!

МАША. (Выбѣгая въ залъ) Господи! Никакъ жидовъ начали бить? (Плаксиво) Ахъ! на грѣхъ я связалась съ вами! (Мѣчется по комнатѣ и исчезаетъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Успокаивая Лію) Ничего! Не бойся!.. Подрались тамъ... Ничего! (Второй камень летитъ въ стекла двери и грубый голосъ кричитъ: „погодите, христопродавцы! Мы вамъ устроимъ праздникъ! Окаянные!“; Шлойме съ ужасомъ присѣдаетъ къ полу. Лія нѣсколько мгновеній стоитъ, безмолвная, застывшая, потомъ выхватываетъ изъ кармана платокъ, закрываетъ имъ лицо и, вскрикивая истерическимъ голосомъ „За что же? за что?“ — бѣжитъ въ дальнія комнаты, а за дверью магазина шумъ толпы, и въ этомъ шумѣ выдѣляется все тотъ же грубый голосъ: „Бить жидовъ, бить проклятыхъ!“)

З а н а в ѣ с ь.

АКТЪ ТРЕТІЙ.

Та же декорация. Шлойме работаетъ въ магазинѣ. Нахманъ и Лія сидятъ въ залѣ въ отдаленіи другъ отъ друга. Утро.

НАХМАНЪ. Вообще вы сильно перемѣнились за эти два года нашей разлуки... Пока вы жили въ столицѣ, вы успѣли забыть насъ, провинціаловъ. Какъ скоро забываетъ человѣкъ!..

ЛИЯ. Это—правда. За эти два года я забыла о томъ, что я—жидовка! Такъ много, Нахманъ, было вокругъ хорошихъ людей, которымъ было все равно, жидовка я или не жидовка... Жизнь текла очень полно и интересно, и я упивалась ею, какъ голодная... Когда я ѣхала сюда и увидала на пыльной дорогѣ перваго еврея въ традиціонномъ костюмѣ,—я вздрогнула...

НАХМАНЪ. Вспомнили?..

ЛИЯ. Онъ шелъ въ туфляхъ и бѣлыхъ чулкахъ, въ своемъ длиннополомъ сюртукѣ, сгорбленный, худой, съ большой серебряной бородой... Я взглянула на него и вдругъ почувствовала себя такъ, словно увидала старый полуразрушенный домъ, пустой и заброшенный, въ которомъ я жила когда-то давно-давно, когда была еще ребенкомъ... Вамъ жаль тѣхъ мѣсть, гдѣ вы жили въ дѣтствѣ?

НАХМАНЪ. Мнѣ?.. Я, Лія, не зналъ дѣтства. У меня его не было. Мое дѣтство это — сплошные побои, голодь, слезы... Я рано остался сиротой... Да и потомъ... Что было потомъ? До двадцати пяти лѣтъ я не зналъ,

что такое молодость. Я всю жизнь учился, жилъ не съ людьми, а съ книгами... въ книгахъ... для книгъ... Мои люди—были великіе покойники, среди могилъ которыхъ я жилъ... Я не умѣлъ смѣяться и не зналъ, что такое радость!.. Другіе люди наслаждались солнцемъ, пѣсней, симпатіей, а я вложилъ всю свою юность въ книгу... Поздно я вышелъ изъ сумерекъ могилъ на свѣтъ и понялъ, что надо встать съ развалинъ прошлаго и помочь живымъ людямъ жить, а не умирать... Я вамъ разсказывалъ, Лія, какъ все это случилось...

ЛІЯ. (Грустно) Да... (Пауза)

НАХМАНЪ. Лія! О чемъ вы задумались? (Пауза) Я нѣсколько разъ хотѣлъ поговорить съ вами наединѣ и все не рѣшался, откладывалъ... Больше я не въ силахъ... Вы меня слушаете?

ЛІЯ. (Тихо) Да, говорите!..

НАХМАНЪ. Я чувствую н... вижу, что въ нашихъ отношеніяхъ за эти два года произошла какая-то перемѣна... Исчезло что-то самое дорогое... для меня... Мнѣ невыносимо тяжело! Я не сплю ночей и все думаю, думаю... о васъ и о томъ, что случилось... Я хочу знать правду! (Пауза) Лія!

ЛІЯ. (Смущенно, дрожащимъ голосомъ) Что случилось?... да... да... Я вамъ напишу... Я не сумѣю сказать... Я боюсь, что скажу не то, что надо сказать или не доскажу. Надо сказать все. А когда хочешь, чтобы слова передавали все такъ, какъ чувствуешь, то они куда-то убѣгаютъ...

НАХМАЦЪ. (Глухо) Я уже понялъ... Ну, что жъ, можетъ быть лучше, если Нахманъ никогда не будетъ счастливымъ въ личной жизни... Счастливые очень скоро забываютъ несчастныхъ... Можетъ быть, все хорошее въ жизни... только сказка... (Пауза)

ЛІЯ. Вы, вѣроятно, думаете о томъ вечерѣ, когда

мы съ вами сидѣли на рѣкѣ?.. И вамъ странно? Вы думаете, что я была тогда не искренна съ вами? да?

нахманъ. Нѣтъ, не думаю... Было и прошло... Это была сказка, сказка моей жизни...

лія. Я тогда слишкомъ легко отнеслась къ вашему чувству и къ своему... Я была тогда совсѣмъ юная... я не понимала, что это было за чувство... Вы должны простить...

нахма'нъ. Ничего, Лія! Я получалъ много пинковъ отъ жизни и отъ людей... и одинъ лишній, — ничего... перенесу...

лія. Зачѣмъ вы такъ говорите? Вы хотите, чтобы мнѣ было больнѣе? Но мнѣ... мнѣ и такъ... очень тяжело!

нахма'нъ. Нѣтъ, Лія! Я хочу только сказать, что еврей все долженъ переносить твердо, безъ слезъ... Слезы надо беречь. Ихъ никогда не хватаетъ человѣку на всю жизнь, а если еще этотъ человѣкъ — еврей, то ему нужно еще больше беречь слезы... Одно солнышко спряталось у Нахмана, но у него есть еще другое солнце: я люблю свой народъ и хочу жить и работать для него... Я уѣду въ Палестину... И все пройдетъ... Все въ жизни проходить... И сама жизнь проходить...

лія. Видите ли, Нахманъ, какъ все это случилось... До встрѣчи съ вами я была совсѣмъ какъ слѣпая... Я вамъ очень благодарна: вы меня подняли... Я... Вотъ я и не нахожу словъ и не умѣю сказать, что хочется!..

нахманъ. Я понимаю...

лія. Когда взрослые хотятъ, чтобы ребенокъ видѣлъ дальше, его поднимаютъ... Ну вотъ и вы меня тоже подняли. Я смотрѣла на васъ, какъ на учителя, который открылъ мнѣ широкій горизонтъ жизни... И я благоговѣла передъ вами. Это чувство благодарности я и приняла... за другое...

на хманъ. А теперь мой горизонтъ кажется Лія очень маленькимъ. Да, я человѣкъ небольшой и поднять высоко я не могу: у меня слишкомъ мало силы... Я люблю свой народъ и желаю служить своему народу,—и только! Кто броситъ въ меня за это камнемъ? Всякій имѣетъ право любить свой народъ... Этого права нельзя отнять даже и у еврея! Я не доросъ до любви ко всему человечеству... Я очень мало жилъ, видѣлъ, знаю... Я только помню, какъ меня пинали со всѣхъ сторонъ... Трудно при такомъ дѣтствѣ и юности полюбить это... человечество... Но я люблю, крѣпко люблю свой народъ, потому что моя судьба въ судьбѣ моего народа и судьба моего народа во мнѣ... Вамъ этого мало... И я самъ вижу, что вы, Лія, уходите... къ нимъ... (Подходить къ Ліи и садится рядомъ)

ЛІА. Я иду, Нахманъ, на свѣтъ, который вижу. (Пауза)

НАХМАНЪ. Можетъ быть, когда-нибудь Лія увидитъ, что Нахманъ былъ не совсѣмъ не правъ... Можетъ быть, когда-нибудь Лія опять вернется къ своему народу?..

ЛІА. Я не перестала любить свой народъ... (Пауза)

НАХМАНЪ. (Очень тихо) Можетъ быть, Лія еще немножко любитъ Нахмана, и этого ему довольно... Пусть только у него останется одна капелька надежды...

ЛІА. (Послѣ нѣкотораго колебанія) Н... нѣтъ... Не ждите...

НАХМАНЪ. (Глухо) Можетъ быть, Лія любитъ... другого человѣка?

ЛІА. (Опуская голову) Да.

НАХМАНЪ. Ну, что жъ дѣлать? Моя сказка кончилась... Все надо узнать, все пережить... И у меня тоже была сказка любви и радости... И я васъ благодарю... (Цѣлуетъ руку Ліи) Это — въ послѣдній разъ... (Долгая, тяжелая пауза, Лія обѣими руками поднимаетъ низко спущенную голову. Нахманъ встаетъ) Ну, надо уходить...

ЛІА. (Не поднимая головы, протягиваетъ руку) Мы останемся, Нахманъ, друзьями? Да?

НАХМАНЪ. Да, друзьями... (Тихо уходитъ черезъ магазинъ. Лія вынимаетъ платокъ и отираетъ слезы. Навстрѣчу Нахману входитъ Борухъ съ книгою въ рукѣ)

БОРУХЪ. (Здороваясь съ Нахманомъ) Что вы такой печальный?

НАХМАНЪ. Нѣтъ радости, Борисъ Лазаревичъ, а есть только печаль... А вы всегда съ книгами?.. Это ужъ, вѣрно,—не Талмудъ?

БОРУХЪ. Марксъ. Своего рода тоже Талмудъ! Не читали?

НАХМАНЪ. Нѣтъ. И не хочу.

БОРУХЪ. Жаль. Это полезнѣе Талмуда. Марксъ былъ тоже еврей...

НАХМАНЪ. Но что же онъ сдѣлалъ для насъ съ вами?

БОРУХЪ. Много. И для насъ, и для васъ...

НАХМАНЪ. Не придете въ субботу къ намъ на собраніе послушать, что думаемъ и дѣлаемъ мы, отсталые евреи?

БОРУХЪ. Нѣтъ. Я бывалъ у сіонистовъ. Знаю..

НАХМАНЪ. Ну, что же дѣлать? Всякій долженъ идти той дорогой, которую онъ считаетъ самой вѣрной... Прощайте! До свиданія, Шлойме!

ШЛОЙМЕ. До свиданія, ребъ Нахманъ! Будьте здоровы!.. (Нахманъ уходитъ, Борухъ идетъ черезъ залъ въ свою комнату. Лія продолжаетъ оставаться на томъ же стулѣ, печальная, неподвижная. Лейзеръ входитъ чернымъ входомъ въ залъ, замѣчаетъ неподвижную Лію, раза два проходитъ взадъ и впередъ мимо Ліи)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Остававливаясь передъ Ліей) И о чемъ ты можешь плакать? Отчего ты не хочешь сказать отцу и молчишь, когда я хочу заглянуть въ твое сердце? Ты думаешь, что я меньше сталъ любить тебя оттого, что ты... не слушаешь меня, старика? (Пауза. Лейзеръ подходитъ ближе и кладетъ руку на плечо дочери) Я на тебя не-

множко сержусь, но я тебя люблю по старому! Что съ тобой дѣлается? О чемъ ты все думаешь и ничего не хочешь сказать мнѣ? Лія! у тебя есть что-то на сердцѣ...

Лія. (Въ сильномъ волненіи) Да, я давно хочу погово- рить съ тобой, отецъ, но...

лейзеръ. И я это вижу... Плохо, когда у дѣвушки нѣтъ матери... Ушла наша мать, и тебѣ не съ кѣмъ подѣлиться своими дѣвичьими секретами... Ахъ, Лія, Лія! Когда я смотрю на тебя, я вспоминаю нашу мать! Когда она была молодая, она была такая же красивая, какъ ты... и глаза у тебя отъ матери... Что ты хочешь, моя милая дочка, сказать мнѣ?

Лія. Не могу...

лейзеръ. Ну-ну! Можетъ быть, твое дѣвичье сердце стало очень громко стучаться? а? и кто тотъ человѣкъ, который это сдѣлалъ? Почему ты такъ поблѣднѣла? Развѣ это такъ нехорошо?

Лія. Я тебя не могу обманывать, а сказать правду... — ты будешь очень огорченъ...

лейзеръ. (Тревожно) Я тебя никогда не училъ обма- нывать своего отца. Можетъ быть, тамъ, гдѣ ты учи- лась, научили тебя еще и этому? а? Ты кого-нибудь полюбила? (Пауза) Лія?

Лія. (Чуть слышно) Да.

лейзеръ. А! Я такъ и зналъ! Ну, что же дѣлать, — это такъ и должно быть... Конечно, мнѣ обидно, что я не могу догадаться, кто тотъ человѣкъ, который хо- четъ отнять у меня мою дочку, но Господь съ тобой! Лишь бы онъ былъ хорошій, добрый еврей и не совѣмъ бѣдный... чтобы могъ кормить свою семью... (Пауза) Мо- жетъ быть, это — ребъ Нахманъ?

Лія. Нѣтъ

лейзеръ. Можетъ быть, это докторъ Фурманъ? Онъ

всегда очень ласково смотреть на мою Лию и всегда справляется объ ея здоровьѣ...

(Лія отрицательно качаетъ головой)

лейзеръ. Тогда я совсѣмъ не знаю... Я сталъ совсѣмъ старій, и глаза мои уже не видятъ, какъ видѣли раньше... Но, конечно, онъ хорошій, добрый еврей?

лія. Хорошій... добрый... (Пауза) Но онъ... не еврей...

лейзеръ. (Ошеломленный) Не еврей? Гой? (Пауза) Что же ты молчишь? Неужели и это еще правда? Я уже много видѣлъ горя... Неужели Господь не хочетъ больше жалѣть меня?.. Ну что же ты молчишь? Говори!

лія. Онъ христіанинъ...

лейзеръ. (Хватаясь руками за голову) Что ты сказала? Что ты сказала?

лія. Развѣ тебѣ было бы пріятнѣе, если бы это былъ докторъ Фурманъ? Ты самъ говорилъ, что у Фурмана нѣтъ ни Бога, ни чорта...

лейзеръ. И все-таки онъ — еврей! Онъ грѣшный еврей! Въ его жилахъ течетъ кровь нашего народа! Кто этотъ гой?.. котораго ты любишь?

лія. Онъ хорошій человѣкъ... Онъ любитъ всѣхъ людей...

лейзеръ. Всѣхъ людей? Если онъ полюбилъ тебя, еврейку, то ты думаешь, что онъ любитъ всѣхъ людей?

лія. Богъ у всѣхъ одинъ...

лейзеръ. А если у всѣхъ одинъ, то почему, когда гой полюбитъ еврейку, то она должна креститься? Почему гой никогда не сдѣлается евреемъ? Если Богъ одинъ, зачѣмъ они называютъ насъ жидами?

лія. Онъ не называетъ...

лейзеръ. Но онъ такъ думаетъ!

лія. Нѣтъ.

лейзеръ. Э, Лія! Что ты задумала сдѣлать? Если ты больше не боишься гнѣва Господа и не жалѣешь

отца, то пожалѣй себя! Потухнетъ огонь любви, потухнетъ. Онъ не будетъ горѣть вѣчно! И тогда онъ вспомнить, что ты—жидовка! вспомнить!

(Лія отрицательно качаетъ головой)

лейзеръ. И когда у васъ будутъ дѣти, они станутъ называть евреевъ жидами и ты останешься одна, ты будешь чужая въ семьѣ своей...

(Лія отрицательно качаетъ головой)

лейзеръ. Твои дѣти будутъ смѣяться надъ евреями, а ты будешь бояться сказать имъ: „не смѣйтесь, я тоже—еврейка“! Твои дѣти будутъ учить свой законъ и будутъ говорить: „проклятые жида убили нашего Бога!“ и ты будешь молчать! А твоему мужу будетъ стыдно, что у него жена—жидовка и онъ тоже будетъ молчать!

Лія. (Со слезами) Нѣтъ! Неправда!

лейзеръ. (Повышая голосъ) Правда! Онъ не остановитъ дѣтей и не скажетъ имъ: „не проклиняйте евреевъ, потому что мать ваша—еврейка!“

Лія. (Съ первымъ плачемъ) Замолчи же! Этого не будетъ! Никогда! Человѣкъ, котораго я люблю... Нѣтъ! нѣтъ!

лейзеръ. Будетъ! Эхъ, Лія, Лія! Развѣ они не знаютъ, что ихъ Богъ былъ на землѣ евреемъ и что Мать ихъ Бога была еврейка, и развѣ они боятся называть насъ жидами?

Лія. (Сквозь рыданія) Не говори! Замолчи! Ты не знаешь этого человѣка... Ты не смѣешь такъ говорить? Онъ страдаетъ за всѣхъ, кто униженъ, угнетаемъ... И за нашъ народъ онъ страдаетъ вмѣстѣ съ нами... Ты не смѣешь! не смѣешь!

лейзеръ. (Строго) Лія! Я не могу тебя благословить!.. Или и это теперь уже стало не нужно?.. (Упавшимъ голосомъ) Теперь ничего не нужно, ничего!.. (Тряся съдой головой, закрываетъ глаза и начинаетъ потихоньку плакать, опускается на стулъ, Лія подходитъ сзади)

ЛІЯ. (Обнимая отца за шею) Отецъ! Милый отецъ! Не плачь! Не надо! Я тебя люблю... очень люблю! Я еще ничего не знаю... Можетъ быть, все это пройдетъ и все... останется попрежнему... Я вѣдь сама не знаю, люблю ли я его больше, чѣмъ тебя! Не знаю... Не плачь!.. (Въ магазинъ входитъ Березинъ, быстро проходитъ и остававляется въ аркѣ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Лія! Лія! Я уже старъ, совсѣмъ старъ! Дай мнѣ умереть безъ этого позора... У меня пропала уже одна дочь... Нѣтъ ея!.. Я уже много, очень много горя видѣлъ въ своей жизни! Дочка! (Обнимаетъ Лію) Моя милая, послѣдняя дочка! Если ты еще немножко жалѣешь стараго отца, ты... потерни и дай мнѣ умереть... Когда я умру, -- тогда ты люби, кого хочешь... Ничего нельзя сдѣлать!.. Ничего!.. (Съ отчаяніемъ) Зачѣмъ я пустилъ тебя учиться? Зачѣмъ? Испортили тамъ мою милую дочку! (Поднимается и, качая головой, уходитъ въ дальнія комнаты)

БЕРЕЗИНЪ. Лія!

ЛІЯ. (Поднявъ голову, съ ужасомъ) Ты?.. уйди! Ради Бога, уйди! Я сейчасъ не могу тебя видѣть... Оставь меня. Оставьте меня одну, одну, одну! (Съ истерическими рыданіями убѣгаетъ въ дальшія комнаты. Березинъ, пораженный видѣніемъ, уходитъ чрезъ магазинъ. Борухъ выходитъ изъ своей комнаты и бѣжитъ въ дальшія, — откуда продолжаетъ доноситься истерическій вошь Ліи. Шлойме испуганно заглядываетъ въ залъ и на дышочкахъ идетъ обратно)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Выходитъ изъ дальнихъ комнатъ, растерянный, идетъ къ магазину) Шлойме! Шлойме! Что мы будемъ дѣлать? Что мнѣ съ ней дѣлать? Поѣзжай за Фурманомъ! Поскорѣ! Съ ней очень скверно...

ШЛОЙМЕ. Я могу добѣжать: тутъ очень близко...

ЛЕЙЗЕРЪ. Поѣзжай на лошади! (Выбрасываетъ изъ кармана на столъ двѣ серебряныя монеты) Ахъ, не хочеть Господь больше жалѣть меня! (Возвращается) Борухъ! Борухъ! Иди въ магазинъ! Тамъ никого нѣтъ. (Скрывается въ дальнихъ комнатахъ; Борухъ проходитъ въ магазинъ. Лія за-

тихаеть. Въ магазинъ входитъ посетитель, Борухъ извиняется, не можетъ принять часы, никого нѣтъ. Затѣмъ въ магазинъ вбѣгаетъ страшно встревоженный Изерсонъ)

ИЗЕРСОНЪ. Началось! Въ Кишиневѣ бьютъ... Сейчасъ получены телеграммы! Вечеромъ соберемся вмѣстѣ съ рабочими-христіанами. Можетъ быть, они помогутъ. Приходите вечеромъ въ садъ, за оврагъ... Я иду къ Березину... Онъ приведетъ русскихъ... Поѣдемте къ нему вмѣстѣ!

БОРУХЪ. У насъ больная... сестра... сейчасъ придетъ докторъ... Я приду... (Изерсонъ, молча пожавъ руку Боруха, торопливо исчезаетъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Проходя въ магазинъ) Ну, слава Богу! слава Богу... Можетъ быть, все пройдетъ...

БОРУХЪ. Что?

ЛЕЙЗЕРЪ. Она успокоилась... Она смѣется уже... Слава Богу!.. (Рѣзко переѣхивъ тонъ) Это ты—виновать! ты!

БОРУХЪ. Въ чемъ я виновать?

ЛЕЙЗЕРЪ. Ты пересталъ быть евреемъ и развратилъ свою сестру! Она вернулась не еврейкой... Я давно вижу, что это дѣло—твое! Ты дружишь съ гоями и не любишь своего народа! Смотри! (Грозитъ пальцемъ) Богъ все видитъ!..

БОРУХЪ. (Глухо) Хорошо... (Идетъ въ залъ и задумчиво ходитъ взадъ и впередъ. Въ магазинъ входитъ Фурманъ, въ цилиндрѣ, перчаткахъ, съ сигарой во рту и съ тростью въ рукѣ. За нимъ Шлойме)

ФУРМАНЪ. Мое почтеніе, Лейзеръ Моисеевичъ!

ЛЕЙЗЕРЪ. Здравствуйте, докторъ!

ФУРМАНЪ. Что у васъ тутъ? Опять барышня дурить?

ЛЕЙЗЕРЪ. Съ ней опять былъ припадокъ... Я очень испугался, но теперь, слава Богу, лучше... Она смѣется... То плачетъ, то смѣется... Теперь ничего... Она говорить, что у ней ничего не болитъ, но я вижу, что она таетъ, какъ свѣчка... Она тоскуетъ...

ФУРМАНЪ. (Присаживаясь) Это не хорошо. Надо быть веселымъ и здоровымъ, а то очень скучно жить на свѣтѣ... пора замужь,—все пройдетъ!... Сейчасъ посмотримъ...

ЛЕЙЗЕРЪ. Нельзя, докторъ, чтобы всѣмъ на свѣтѣ было весело. Чтобы кому-нибудь было весело, надо чтобы кому-нибудь было скучно... Ничего нельзя сдѣлать!

ФУРМАНЪ. Вотъ тебѣ и разъ! Нѣтъ, почтенный Лейзеръ Моисеевичъ, я васъ искренно уважаю, какъ патриарха доброй еврейской семьи, и отъ души желаю, чтобы вы и ваше милое семейство всегда было весело и здорово... Слышали: говорятъ, что въ Кишиневѣ начался погромъ!..

ЛЕЙЗЕРЪ. (Испуганно) Что вы, докторъ, говорите!

ФУРМАНЪ. Самъ я не читаль, но говорятъ, что сегодня есть телеграмма...

ЛЕЙЗЕРЪ. Можетъ быть, это—неправда?

ФУРМАНЪ. А можетъ быть! Кишиневъ далеко... Богъ дастъ, мы останемся цѣлы и невредимы. (Кладетъ сигару) Ну, что тамъ дѣлается съ барышней?.. Надо посмотрѣть...

ЛЕЙЗЕРЪ. Пойдемте, докторъ! Охо-хо-хо! У меня уже и такъ погромъ... У меня болитъ душа и у моей Лии тоже болитъ душа...

ФУРМАНЪ. (Идетъ къ больной, за нимъ слѣдуетъ Лейзеръ) А вотъ увидимъ. Надо посмотрѣть.

ЛЕЙЗЕРЪ. Э! Никто не придумаль еще такого зеркала, которое можно было бы вставить въ душу и посмотреть!..

ФУРМАНЪ. Ничего. Мы и безъ зеркала увидимъ ее, душу-то!

ЛЕЙЗЕРЪ. Дай Богъ, докторъ! Наука теперь все можетъ знать. (Фурманъ здороваается въ залъ съ Борухомъ) Вонъ мой Борухъ говоритъ, что, можетъ быть, у человѣка со всѣмъ и нѣтъ никакой души, а есть только однѣ кишки...

ФУРМАНЪ. И это можетъ быть! (Фурманъ и Лейзеръ скрываются въ дальнихъ комнатахъ; Борухъ тихо слѣдуетъ туда же)

СРУЛЬ. (Просовываетъ голову въ дверь магазина) Желаете знать свѣжія новости? (Протягиваетъ газету)

шЛОЙМЕ. Зайдите! Что-нибудь есть про погромъ?

СРУЛЬ. Есть. Очень малѣ... Бьютъ... Натѣ газету, я तोплюсь: такія новости нельзя держать въ сумкѣ...

шЛОЙМЕ. Погодите! Надо немножко поговорить!

СРУЛЬ. За вами—пять копеекъ. Если насъ съ вами убьютъ, то мы рассчитаемся на томъ свѣтѣ. Только вы миѣ заплатите тамъ шесть копеекъ, потому что я хочу быть богатымъ хоть на томъ свѣтѣ! (Исчезаетъ)

шЛОЙМЕ. (Читая газету) Ой-ой-ой! Что же это будетъ? Совѣмъ нельзя жить... (Суетится въ дверяхъ, говоритъ съ прохожими евреями то чрезъ окно, то у порога, читаетъ кому-то телеграмму о погромѣ)

ФУРМАНЪ. (Выходитъ отъ большой, за нимъ—Лейзеръ) Ничего особеннаго. Обыкновенная исторія. Ничего и вообще-то культурная женщина никуда не годится, а интеллигентныя женщины-еврейки совѣмъ плохая публика!.. Впрочемъ, среди евреевъ теперь масса неврастениковъ, даже и среди мужчинъ... На послѣднемъ собраніи сіонистовъ нашъ демагогъ Нахманъ впасть въ жесточайшую истерику: онъ плакалъ и смѣялся, какъ женщина, и ему откликнулись и женщины, и мужчины. Однимъ словомъ—вышелъ какой-то плачъ на рѣкахъ Вавилонскихъ! Вы слышали, что вышло на собраніи? (Борухъ выходитъ въ залъ и останавливается въ сторонѣ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Нѣтъ. Что же случилось?

ФУРМАНЪ. Скаandalъ! Нахманъ оскорбилъ башкира Сакера! Предсѣдателя!

ЛЕЙЗЕРЪ. Ай-ай-ай! Развѣ можно ссориться съ такимъ большимъ человѣкомъ?!

ФУРМАНЪ. Храбрый человѣкъ! Онъ обвинялъ Ротшильда въ томъ, что тотъ своимъ вмѣшательствомъ въ Палестинское дѣло испортилъ душу народнаго движенія, растлилъ его и превратилъ въ простую филантропію.

БОРУХЪ. (Обернувшись) Совершенно вѣрно...

ФУРМАНЪ. А затѣмъ обрушился на всѣхъ нашихъ крезовъ, въ томъ числѣ и на Сакера, конечно! Онъ имъ бросилъ въ лицо огромнѣйшій комъ грязи: онъ ихъ обвинилъ въ томъ, что еврея многіе считаютъ мошенникомъ изъ-за такихъ честныхъ людей, какъ Ротшильды, Сакеры и имъ подобные...

БОРУХЪ. Совершенно вѣрно!

ФУРМАНЪ. Вѣрно-то вѣрно, только то плохо, что толку никакого изъ этихъ обличеній не выйдетъ, а вредъ—весьма вѣроятно. Сакеръ оскорбленъ, публично оскорбленъ! Онъ ушелъ съ собранія. Это несомнѣнно отразится на дѣлахъ мѣстной еврейской благотворительности...

ЛЕЙЗЕРЪ. Нѣтъ между евреями согласія! Всѣ хотятъ жить не по закону, который далъ Господь, а по своему уму. Но что такое нашъ умъ? Дуракъ всегда думаетъ, что онъ самый умный человѣкъ на свѣтѣ! (Пауза) Такъ ничего опаснаго, докторъ, нѣтъ?

ФУРМАНЪ. Ничего. Успокойтесь. Маленькая слабость, угнетенное состояніе духа, именуемое пессимизмомъ молодости... Этотъ пессимизмъ не опасенъ: выгянетъ солнышко,—и въ юную голову полѣзутъ самыя радужныя мысли! Ця Лазаревна такъ молода еще... Бя жизнь—впередн... Пусть все-таки полежитъ денька два-три въ постели. Это не повредить... Я ей все-таки пропишу успокоительнаго... (Садится къ столу, пишетъ рецептъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Нынѣшняя молодежь, докторъ, не любитъ радости. Она любитъ больше плакать, чѣмъ смѣяться.

БОРУХЪ. Мало въ жизни смѣшнаго...

ЛЕЙЗЕРЪ. Если нѣтъ горя, она сама его себѣ сдѣлаетъ. (Киваетъ въ сторону Боруха) Вотъ! Учился, учился, — и все пропало даромъ. Я думалъ, что хоть когда ослѣпну отъ работы, то буду имѣть защитника... И все надѣялся,

что когда-нибудь буду счастливымъ и перестану наблюдать часы. А они тамъ устроили какіе-то безпорядки,— и теперь все пропало!.. Они не жалѣютъ ни себя, ни своихъ родителей...

ФУРМАНЪ. (Разваливаясь въ стулѣ и закуривая' сигару) Ничего не подѣлаешь. Юность вездѣ одинакова... Ея ошибки повторяются безконечное количество разъ... Рай па землѣ всегда былъ заманчивъ, а для насъ, евреевъ, въ особенности,—потому, во-первыхъ, что первые люди, хотя немножко, но пожили въ раю, а во-вторыхъ, очень ужъ долго мы пребываемъ въ аду историческомъ!.. Ничего, конечно, изъ этого не выйдетъ... Зря испорченная жизнь и карьера! И безъ того еврейская карьера весьма ограничена, а тутъ еще эти... безпорядки...

ЛЕЙЗЕРЪ. Вотъ я ему и говорю! То же самое я говорю ему! Но онъ думаетъ, что я совѣмъ старый дуракъ... Онъ думаетъ, что старый дуракъ хуже молодого дурака!.. И что же теперь вышло? Теперь говорятъ, что все это устроили жидаы, а не студенты... что жидаы хотятъ сдѣлать себѣ изъ этого какой-то гешефтъ!..

ВОРУХЪ. Кто можетъ такъ говорить? Дураки такъ могутъ говорить.

ЛЕЙЗЕРЪ. И пусть это говорятъ дураки...

ФУРМАНЪ. Знаете, молодой человекъ, что сказалъ Тэнь? Онъ сказалъ: „На свѣтѣ больше дураковъ, чѣмъ умныхъ, а вы добились всеобщаго голосованія!“

ВОРУХЪ. При чемъ тутъ всеобщее голосованіе?

ФУРМАНЪ. Это я—такъ, между прочимъ... А главное: я не могу, господа, понять, какъ вы думаете строить свою жизнь? Вы хотите строиться на чужой землѣ, но изъ этого ничего не можетъ выйти. Потомъ, если вамъ удастся что-нибудь выстроить, какой-нибудь сарай всеобщаго благополучія, — то вамъ, евреямъ, скажутъ: „убирайтесь вонъ съ чужой земли!“ И выйдетъ то, что

у васъ опять ничего не будетъ, даже и этого сарая... Вы, господа, сами себѣ создаете вторично тѣ же египетскія работы, отъ которыхъ когда-то убѣжали... благодаря любезности Моисея...

БОРУХЪ. (Задорно) На какой же землѣ предполагаете построиться вы, докторъ?

ФУРМАНЪ. Я? Я уже, въ молодой человѣкъ, прожилъ свою молодость...

БОРУХЪ. Построились?

ФУРМАНЪ. М... да, построился... Живу себѣ и живу недурно...

БОРУХЪ. Я это знаю... Вы тоже построились на чужой землѣ: начнутъ бить евреевъ, и ваша постройка разлетится вдребезги... Вы вѣдь въ сіонизмъ не вѣрите? Переселяться въ Палестину не будете?

ФУРМАНЪ. Въ сіонизмъ? Какъ сказать? И вѣрю, и не вѣрю.

БОРУХЪ. Не понимаю.

ФУРМАНЪ. Очень просто. Вѣрю, что сіонизмъ—здоровая струя въ нашей еврейской жизни; онъ, такъ сказать, выпрыснетъ нѣсколько капель обновленія въ наше національное самосознаніе... Но я не вѣрю въ осуществленіе конечнаго идеала сіонизма. Это — такая же утопія, какъ и социализмъ. Надо устраивать свою жизнь въ предѣлахъ возможнаго... и реальнаго. На зарѣ нашей исторіи мы жили естественной національной жизнью, боролись, торжествовали, падали, опять поднимались... Долго мы крѣпились. Но затѣмъ... Затѣмъ мы потеряли независимость, потеряли свое устроеніе, землю... Тогда явились пророки и стали утѣшать народъ, потому что простому человѣку необходимо найти точку опоры въ небесахъ, необходимо утѣшеніе... Теперь нѣтъ пророковъ, если не ошибаюсь, но утѣшеніе простому человѣку столь же необходимо, какъ много тысячъ лѣтъ тому назадъ.

Со времени Адама уже требовалось, молодой человекъ, утѣшеніе! И вотъ является сіонизмъ съ его воздушными замками...

БОРУХЪ. Почему — только „простому народу“? Что вы этимъ хотите сказать? Изъ идиотовъ, что ли, состоитъ этотъ простой народъ? (Шлойте нѣсколько разъ по-рывается войти въ залъ съ газетою и сообщить о прочитанной телеграммѣ, но не рѣшается)

ФУРМАНЪ. (Наставительно) Я этого, молодой человекъ, не говорилъ. Не увлекайтесь! Но я увѣренъ, что вы, какъ не относящійся къ простому народу, не имѣете той дѣтски наивной вѣры въ небесное провидѣніе, какую имѣетъ простой народъ, и не имѣете... религіи, той религіи, за которую держится до сихъ поръ нашъ простой народъ...

ЛЕЙЗЕРЪ. Религіи? Они совсѣмъ не ходятъ въ синагогу, ѣдятъ колбасу, не чтутъ субботы... Вѣрно, докторъ, вѣрно!

ФУРМАНЪ. А не слѣдуетъ забывать, что мы, евреи, даже на высотѣ своего политическаго могущества были только религіозно-національной агрегаціей. Безъ религіи у насъ нѣтъ національности...

БОРУХЪ. Я не понимаю, къ чему вы рассказываете все это?

ФУРМАНЪ. Я хочу вамъ объяснить, какъ я построился и на какой землѣ!.. Не торопитесь!

ЛЕЙЗЕРЪ. Дай же доктору сказать! Это невѣжливо!

ФУРМАНЪ. Образованный еврей вмѣстѣ съ религіей теряетъ національность. Это законъ исторической эволюціи еврейскаго народа! Наше еврейство сильно только религіей. А кто же изъ образованныхъ евреевъ можетъ назваться религіознымъ? Я такихъ не знаю, не встрѣчалъ. Ничего еврейскаго у него очень скоро не остается. Развѣ только акцентъ, надъ которымъ всѣ смѣются и который служитъ неисчерпаемымъ матеріаломъ для

русскаго остроумія. И что же остается дѣлать? Тре-
буютъ креститься — крестись! недолго! Смѣются при
тебѣ надъ жидами,—смѣйся и ты, потому что неразумно
плакать; бѣдному еврею приходится умирать съ голоду, —
старайся сдѣлаться богатымъ, ибо умирать еврей не же-
лаетъ такъ же, какъ и всякое разумное существо! Потомъ.
когда ты сдѣлаешься богатымъ, тебѣ, жиду, будутъ кла-
няться и ты, жидъ, будешь надъ ними смѣяться!.. Вотъ
и вся логика жизни! (Встаетъ) А теперь до свиданья!
Завтра я заѣду навѣстить барышню. (Прощается съ Лей-
зеромъ, тотъ суетъ ему въ руку гонораръ) Нѣтъ-съ, не
могу! Не могу, уважаемый Лейзеръ Моисеевичъ! (Заки-
дываетъ за спину обѣ руки и расшаркивается)

ЛЕЙЗЕРЪ. Почему? Вы трудились. Никто не долженъ
трудиться даромъ. (Протягиваетъ руку съ деньгами) Нельзя
даромъ...

ФУРМАНЪ. Я—не даромъ! Я получилъ величайшее
удовольствіе отъ сознанія, что могъ быть вамъ сколько-
нибудь полезенъ! (Пятится къ выходу, Лейзеръ слѣдуетъ за
нимъ) Если вамъ во что бы то ни стало хочется поте-
рять эти деньги,—отдайте ихъ въ пользу бѣдныхъ евре-
евъ... У насъ ихъ такъ много! (Борухъ уходитъ въ свою
комнату съ проницеской улыбкой на лицѣ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Хорошо: Благодарю васъ! Извините, что
мы такъ... безъ церемоніи... (Провожаетъ Фурмана; когда тотъ
выходитъ, Лейзеръ остается у порога и говоритъ съ Фурманомъ,
котораго зрителю не видно) Я? Плохо, докторъ! Пора уми-
рать... (Пауза) Мой желудокъ? Въ порядкѣ, въ порядкѣ!
У бѣднаго еврея желудокъ всегда бываетъ въ порядкѣ:
тамъ есть дворникъ, который всегда очень чисто выме-
таетъ! (Смѣется, кланяется и отходить отъ двери)

ШЛОЙМЕ. (Съ ужасомъ, таинственно) Вы знаете, ребѣ
Лейзеръ?

ЛЕЙЗЕРЪ. Ну?

ШЛОЙМЕ. Въ Кишиневѣ уже погромъ.

ЛЕЙЗЕРЪ. Что ты говоришь?

ШЛОЙМЕ. (Подавая газету) Вотъ тутъ... есть телеграмма...

ЛЕЙЗЕРЪ. Насъ вездѣ бьютъ, всегда бьютъ, все бьютъ! И сами себя мы бьемъ, не жалѣемъ! (Швыряетъ газету на полъ и идетъ къ Лія) Ой-ой-ой!.. (Борухъ выходитъ въ залъ) Ты знаешь: въ Кишиневѣ погромъ?

БОРУХЪ. Знаю.

ЛЕЙЗЕРЪ. Я боюсь, что объ этомъ узнаетъ Лія. Не надо ей говорить,—пусть она успокоится... (На цыпочкахъ идетъ къ Лія и такъ же возвращается оттуда; шопотомъ, радостно) Она заснула... Пусть спитъ!.. И пусть ей снится хорошій сонъ. Ой-ой-ой! (Борухъ идетъ съ фуражкой въ рукъ) Ты куда же идешь?

БОРУХЪ. Надо... Необходимо... Я сейчасъ же вернусь!.. (Идетъ черезъ магазинъ, Лейзеръ идетъ туда же. Борухъ исчезаетъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Надо, Шлойме, тише! Лія уснула... Вотъ и бѣда идетъ. Шлойме! Опять насъ бьютъ... Ой-ой-ой! Но все-таки не надо, чтобы она узнала объ этомъ... Пусть успокоится... (Садится работать. Въ магазинъ входитъ панъ).

ПАНЪ. Добрый день, г. Френкель!

ЛЕЙЗЕРЪ. (Хмуро кланаясь) Прошу пана садиться! (Вздыхаетъ)

ПАНЪ. Слышали? Въ Кишиневѣ бьютъ евреевъ?

ЛЕЙЗЕРЪ. Что же дѣлать?! У насъ такая судьба... Что угодно пану?

ПАНЪ. Денегъ, уважаемый, надо! До зарѣзу, голубчикъ, надо! Выручайте! Заинтересовано!

ЛЕЙЗЕРЪ. (Очень серьезно) Панъ думаетъ, что все евреи имѣютъ деньги и отдають ихъ въ ростъ?

ПАНЪ. Ну, сосѣдъ, гдѣ же и быть деньгамъ, какъ не у васъ? Мнѣ вѣдь немного: 200 рублей! Подъ вексель. Я дамъ хорошій процентъ...

ЛЕЙЗЕРЬ. А потомъ, когда придетъ время платить, панъ скажетъ: какой Лейзеръ Френкель пархатый жидъ?

ПАНЪ. Я, г. Френкель, прежде всего воспитанный человекъ, а затѣмъ, я бывший офицеръ русской арміи, а слѣдовательно имѣю честь и доброе имя...

ЛЕЙЗЕРЬ. Недавно одинъ мой пріятель, Сендерке, далъ одному господину офицеру подъ вексель сто рублей. Г. офицеръ говорилъ, что, если Сендерке не дать, то онъ застрѣлится, потому что проигралъ казенныя деньги...

ПАНЪ. Случается...

ЛЕЙЗЕРЬ. Г. офицеръ плакалъ и даже перекрестился. Сендерке далъ. А теперь г. офицеръ гонитъ Сендерке въ шею и говоритъ, что заявить суду, что Сендерке—ростовщикъ!

ПАНЪ. Это ужъ подло! Положительно подло!

ЛЕЙЗЕРЬ. И теперь г. офицеръ смѣется, а Сендерке плачетъ. Онъ хотѣлъ, какъ всякій хочетъ, нажать на свой капиталъ, а вмѣсто того потерялъ все... У него ничего больше нѣтъ. А бѣдному еврею деньги даются очень трудно!

ПАНЪ. Кому онъ даются легко? (Пауза) Ну-съ, такъ какъ же, уважаемый г. Френкель, относительно деньжонокъ-то? Если хотите,—я могу представить поручителя... двоихъ!

ЛЕЙЗЕРЬ. И я все-таки не могу вамъ дать...

ПАНЪ. Почему же не можете?

ЛЕЙЗЕРЬ. Потому, что у меня нѣтъ лишнихъ денегъ! (Въ магазинъ почти вбѣгаетъ Нахманъ, сильно взволнованный)

НАХМАНЪ. Виноватъ... Я помѣшалъ?

ЛЕЙЗЕРЬ. Ничего... (Къ пану) У меня нѣтъ лишнихъ денегъ.

ПАНЪ. (Встаётъ раздраженно) На кой же чортъ вы распространялись о томъ, что я скажу и что подумую, если

ВЫ дадите мнѣ денегъ подѣ вексель? (Нахманъ настораживается)

ЛЕЙЗЕРЪ. Зачѣмъ панъ сердится? Я хотѣлъ только сказать пану, какъ нехорошо быть на свѣтѣ евреемъ...

ПАНЪ. А пу васъ къ чорту съ вашей жидовскоѣ философіей! (Повертывается и идетъ къ выходу)

НАХМАНЪ. (Жидаясь велѣдъ за паномъ) Нахаль! негодяй (Лейзеръ хватаетъ Нахмана за платье и удерживаетъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Оставьте! Не трогайте!

НАХМАНЪ. (Со слезами оскорбленія въ голосъ) Негодяй! Какъ онъ смѣетъ?! (Тяжело дыша, опускается на табуретъ) Охъ! Когда-нибудь у меня разорвется сердце!..

ЛЕЙЗЕРЪ. (Къ Шлойме) Подай сюда стаканъ воды Шлойме! (Шлойме идетъ на цыпочкахъ въ залъ и приноситъ воду. Нахманъ пьетъ,тираетъ платкомъ лицо) Зачѣмъ вы такъ разгорячились? Ничего особеннаго не случилось. Развѣ я самъ не знаю, что я — жидъ и что моя философія—жидовская?.. (Въ дверяхъ появляется Лія; придерживая за косякъ, она прислушивается къ словамъ Нахмана)

НАХМАНЪ. (Задыхаясь) Я получилъ письмо изъ Кипинева. Тамъ настоящая бойня... Тамъ убиваютъ всѣхъ: и стариковъ, и дѣтей... пасилуютъ женщинъ!.. (Дрожащими руками вынимаетъ изъ кармана письмо и читаетъ) Вотъ... вотъ! „Шайки разбойниковъ ходятъ по улицамъ, врываются въ еврейскіе дома и совершаютъ ужасныя звѣрства, передъ которыми блѣднѣютъ звѣрства турокъ надъ христіанами! Одному столяру - еврею отпилили пиллоу руки, одной женщинѣ распороли животъ и набили его пухомъ изъ перины, другую, беременную—расяли на полу и надругались омерзительнымъ способомъ... Мальчику гимназисту—вырѣзали языкъ... А солдаты стояли въ сторонѣ и не хотѣли заступиться“... (Обрывая чтеніе) Боже мой! Боже мой! Это называется ассимиляціей! (Закрываетъ лицо руками; Лейзеръ молчитъ, Шлойме потихоньку плачетъ) Когда же это кончится?.. (Входитъ Борухъ. Нах-

манъ вскакиваетъ и, потрясая письмомъ, рѣзко, крикливо, съ истерическими нотками въ голосѣ говорить быстро, задыхаясь) Борисъ Лазаревичъ! Поздравляю! Насъ бьютъ! Страшно бьютъ! Толкуете о правахъ и объ общей солидарности бѣдняковъ. А пока пусть бьютъ нашихъ отцовъ, истяжаютъ дѣтей, насилуютъ дѣвушекъ!

лейзеръ. Ребъ Нахманъ! Ради Бога тише! Лія... она спитъ. Она... больна...

нахманъ. Всѣмъ надо это знать! всѣмъ! И здоровымъ, и больнымъ!.. Можетъ быть, это разбудитъ нашу интеллигенцію! Вѣдь даже животными, когда на ихъ глазахъ рѣжутъ имъ подобныхъ, овладѣваетъ кровавый психозъ... Пусть тѣмъ, кто спокоенъ, кто на что-то надеется здѣсь, въ голусѣ, овладѣетъ этотъ кровавый ужасъ! Пусть насъ бьютъ! Пусть бьютъ! (Хрипло) Дождитесь, когда придетъ вашъ Марксъ и поведетъ всѣхъ людей въ обѣтованную землю!

лейзеръ. Ради Бога тише!..

нахманъ. (Съ истерическимъ хохотомъ) Дождитесь Маркса! Только смотрите: не позабылъ бы онъ захватить евреевъ, когда поведетъ всѣхъ людей въ обѣтованную землю! Онъ позабудетъ! Позабудетъ! Жидовъ онъ позабудетъ!.. (Падаетъ въ истерическомъ припадкѣ и при паденіи роляетъ стулъ. Лія взвизгиваетъ и падаетъ въ обморокъ. На улицѣ—какой-то шумъ. Борухъ бѣжитъ къ Ліи)

полицейскій. (Заглянувъ въ магазинъ) Запирайте магазинъ! На базарѣ неспокойно! Проворнѣй! (Исчезаетъ; Шлойме, дрожа всѣмъ тѣломъ, всхлипываетъ и начинаетъ торопливо запирать двери и убирать съ оконъ серебряныя и золотыя вещи. Лейзеръ стоитъ молча, съ опущенной головою)

З а н а в е с ь .

АКТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Та же декорация. Магази́нь запертъ наглухо; чрезъ щели въ ставняхъ прорывается полосами красноватый отблескъ солнечнаго заката. Заль наполненъ безпорядочно разбросанными вещами прѣхавшихъ Аарона съ женой и дѣтьми, плачь которыхъ время отъ времени доносится изъ дальнихъ комнатъ вмѣстѣ съ причитаніями Хане. Тетка Сарра дремлетъ въ полутемномъ углу зала, тихо борочетъ что-то и качаетъ головой. Шлойме, при свѣтѣ огарка свѣчи, сидитъ на корточкахъ на полу магазина, тихонько плачетъ и укладываетъ въ ящики стѣнные часы, ордена, медали, при чемъ время отъ времени раздается грустный звонъ часовыхъ пружинъ. Изъ комнаты Боруха доносится крупный разговоръ отца съ сыномъ.

ЛІЯ. (Больная, съ трудомъ передвигая ноги, входитъ въ заль и направляется къ теткѣ Саррѣ) Тетя! Вы бы прилегли! Вы вторую ночь сидите здѣсь... Тетя!

САРРА. (Очнувшись) Охъ, какъ ты меня испугала!.. Я задремала, и мнѣ показалось что-то недоброе...

ЛІЯ. Лягте на мою постель!

САРРА. Ничего... Ты сама напрасно бродишь... Ты совсѣмъ хвораешь... Дѣти не даютъ тебѣ спать? Что они тамъ все бранятся? Въ такое страшное время!.. Это—большой грѣхъ!.. Ты, навѣрно, хочешь покушать... Ты ничего не ѣшь... (Съ трудомъ поднимается съ кресла и, переваливаясь, идетъ въ дальнія комнаты) Скоро у насъ ничего не будетъ... все съѣли... Негдѣ взять мяса, молока... (Исчезаетъ въ дальнихъ комнатахъ, откуда идетъ Ааронъ и за нимъ Хане)

ХАНЕ. (Слезливо съ упрекомъ) Я жъ тебѣ говорила! Надо было сидѣть на мѣстѣ... Принеси мнѣ корзинку!

ААРОНЪ. Кто же могъ знать? Вездѣ нехорошо... Некуда уйти! (Плачь дѣтей вдали)

ХАНЕ. Сейчасъ! сейчасъ! Вотъ наказаніе Господа Бога!.. Сейчасъ иду! (Идетъ къ дѣтямъ)

ААРОНЪ. (Тащитъ корзинку) Кто же могъ знать? Здѣсь есть солдаты, а у насъ нѣтъ солдатъ... Вездѣ нехорошо... Некуда уйти...

ЛІЯ. (Бродитъ по комнатамъ, подходитъ къ аркѣ въ магазинъ) О чемъ ты, Шлойме, плачешь?.. Иди домой! Все можно сдѣлать безъ тебя...

ШЛОЙМЕ. (Втягивая носомъ воздухъ) Куда же я пойду?.. Я живу на нижнемъ рынкѣ... Если я пойду туда,—меня убьютъ... У меня убили мамашу... Я никого не трогаю, я живу себѣ тихо,—за что меня можно убивать?!

ЛІЯ. (Устало) Перестань же! Слезами не поможешь... (Тихо бредеть въ дальнія комнаты, навстрѣчу ей вбѣгаетъ съ чернаго хода страшно встревоженный Изерсонъ)

ИЗЕРСОНЪ. Гдѣ Березинъ?

ЛІЯ. Не знаю...

ИЗЕРСОНЪ. Гдѣ же онъ? Если онъ вѣрить въ то, что говорить, онъ долженъ быть съ нами! Тамъ уже начинается!.. Онъ долженъ идти туда!..

ЛІЯ. (Устало, со слезами) Я не знаю... Ничего не знаю...

ИЗЕРСОНЪ. (Уходя) Если онъ придетъ, скажите ему, что я вѣрю! Я не могу не вѣрить. Я долженъ вѣрить! Мы его ждемъ... Если мы,—братья, пусть онъ идетъ... туда!.. (Убѣгаетъ. Дверь изъ комнаты Боруха растворяется, — выходитъ Лейзеръ, Борухъ останавливается на порогѣ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Оборачиваясь) Зачѣмъ онъ къ тебѣ ходитъ?

БОРУХЪ. Онъ—мой товарищъ.

ЛЕЙЗЕРЪ. Почему же ты не выбралъ себѣ друга изъ евреевъ? Почему у тебя нѣтъ друга изъ евреевъ?

БОРУХЪ. Такъ случилось. Друзей не выбираютъ. Это дѣлается само собой... Да и не все ли тебѣ равно, кто мой товарищъ?

лейзеръ. Я не хочу, чтобы онъ ходилъ сюда. Слышишь?

Борухъ. Почему?

лейзеръ. Если ты не понимаешь, то не стоитъ тебѣ и объяснять! Я не хочу! Понялъ? Я думаю, что если бы ты выбиралъ товарищей осторожно, то тебя и Лию не выгнали бы и вы кончили бы ученье... Ты слышалъ, что говорилъ докторъ Фурманъ? Что вышло изъ вашихъ беспорядковъ? Кому отъ нихъ стало лучше?

Борухъ. (Тихо, но упрямо) Мнѣ... (Вдали глухо шумить толпа. Шлойме съ ужасомъ настораживается)

лейзеръ. Тебѣ? Но зато мнѣ, отцу твоему, стало еще хуже!..

Лія. (Въ дверяхъ) Перестаньте! будетъ ужъ! Это невыносимо!

лейзеръ. Тебѣ надо лежать! Иди туда! (Лія исчезаетъ) Ты лжешь! Развѣ лучше жить весь вѣкъ, какъ живетъ собака въ конурѣ на цѣпи? Развѣ лучше жить тамъ, гдѣ всегда могутъ взять тебя за горло и задушить, какъ теперь! Ты видишь? (Указываетъ рукой по направлению магазина) Что теперь будетъ? Порядочные евреи будутъ тебя сторониться, ты не получишь здѣсь никакого дѣла, съ тобой не захотятъ даже и говорить...

Борухъ. И отлично. Можно обойтись безъ „порядочныхъ“...

лейзеръ. Люди все дурное на свѣтѣ отдаютъ евреямъ... Жидъ—мошенникъ, жидъ—ростовщикъ, жидъ—предатель, жидъ не имѣетъ никакой совѣсти... Ты, Борухъ, скрылъ отъ меня: тебя не кончили судить и, можетъ быть, посадятъ въ тюрьму... Какъ тебя будутъ называть послѣ того, какъ ты посидишь въ тюрьмѣ? Жидъ изъ арестантовъ? Такъ?

Борухъ. Мнѣ все равно... Есть люди, которые не будутъ такъ называть...

лейзеръ. Гдѣ же эти люди? Ты ихъ видѣлъ?
ворухъ. Видѣлъ.

лейзеръ. И сколько такихъ людей? Одинъ? два?
десять?

ворухъ. Много ихъ теперь. (Глухой гулъ далекой толпы)

лейзеръ. Хе! Больше тѣхъ, которые насъ бьютъ?
Слышишь тамъ?! (Указываетъ рукою въ пространство)

ворухъ. Не пересчитаешь...

лейзеръ. И надъ этими людьми не смѣются и не
называютъ ихъ тоже жидами?

ворухъ. Не называютъ.

лейзеръ. Теперь ты никогда уже не будешь учиться,
потому что ты—жидъ! Другіе придутъ назадъ, покло-
нятся и сядутъ снова за свои книги, а ты—никогда,
потому что ты—жидъ! А я все дѣлалъ, чтобы ты могъ
жить лучше, чѣмъ прожилъ я, твой отецъ... Ты со-
всѣмъ забылъ, что у тебя есть старый отецъ и есть
сестра, и есть тетка—и что всѣ мы—жиды!

ворухъ. Я этого не забывалъ. Но я знаю, что есть
милліоны людей, которые хотя и не называются жидами,
но живутъ тоже, какъ голодныя собаки!

лейзеръ. Борухъ! У всѣхъ есть родина, у насъ съ
тобой нѣтъ родины! (Въ магазинъ прибѣгаетъ полный ужаса
Ларонъ, о чемъ-то суетливо и тихо говоритъ со Шлойме и опять
убѣгаетъ въ дальнія комнаты)

ворухъ. У меня есть...

лейзеръ. Гдѣ же она? гдѣ?

ворухъ. Далеско!.. Дальше Палестины... Когда-ни-
будь люди придутъ туда,—и тогда не будетъ ни жиды,
ни армянина, ни негра... (Шлойме роиаетъ часы, грустный
звонъ ихъ пружинъ перемеживается со сдержанными слезами
Шлойме)

лейзеръ. Эхъ, Борухъ! Нахманъ говорить, что до
твоей родины надо такъ долго идти, что туда никогда
не придешь...

ворухъ. Для меня Нахманъ не указъ. Я имѣю свою голову...

лейзеръ. Ты сталъ очень мудрымъ! Но, сынъ мой, Экклезиастъ былъ еще мудрѣе тебя, а онъ сказалъ: „и меня постигнетъ та же участь, какъ глупаго,—и къ чему же я сдѣлался очень мудрымъ?“

ворухъ. Оставимъ этотъ разговоръ! Теперь не время, да и не поймемъ мы другъ друга... все равно!..

лейзеръ. А я думаю, что теперь самое время! Неужели ты ослѣпъ и ничего не видишь? Ты говоришь, что не понимаемъ другъ друга? Развѣ мы уже не проходимъ оба отъ Сима и развѣ мы не поклоняемся уже одному Богу? Эхъ, Борухъ! Ты сталъ очень мудрымъ... Не забудь, какъ мудрые люди хотѣли пойти противъ Бога и начали строить башню до небесъ! Что съ ними сдѣлалъ Господь!

ворухъ. Я все это знаю...

лейзеръ. Богъ посмотрѣлъ на нихъ съ небесъ и посмѣялся: они перестали понимать другъ друга и уже не могли строить свою башню... И вы, молодые евреи, умные и ученые, не можете больше понимать насъ, старыхъ и неученыхъ отцовъ и матерей вашихъ! Теперь вы не хотите ходить въ синагогу, ѣдите трѣфное, оскверняетесь съ легкимъ сердцемъ и не боитесь гнѣва Господа Бога своего! Вотъ ты сдѣлался очень мудрымъ, а я спрошу тебя: почему ты не хочешь служить своему народу, а хочешь служить другимъ? Всякій человѣкъ хочетъ ѣсть хлѣбъ, а еврей нуждается въ немъ сверхъ мѣры!..

ворухъ. Я тебѣ уже говорилъ: я хочу служить всѣмъ, кто голоденъ!

лейзеръ. Но у нихъ есть много слугъ и безъ тебя, а народъ твой имѣетъ только враговъ. (Глухой шумъ толпы)

ворухъ. Не только...

Лейзеръ. Ты родился въ чужой землѣ, въ голусѣ, и со дня твоего рожденія и, можетъ быть, до дня смерти твоей, былъ и будешь окруженъ ненавистью и презрѣніемъ! И если ты пойдешь къ нимъ (Жестъ въ пространство) и будешь служить имъ съ чистой душой, они тебѣ не повѣрятъ! Они скажутъ, что ты дѣлалъ этимъ себѣ гешефтъ, потому что ты—жидъ!

ЛІЯ. (Появившись въ дверяхъ, умоляюще) Ради Бога, перестаньте! (Со слезами) Борисъ! Я тебя умоляю... Отецъ!

Лейзеръ. Развѣ я васъ училъ для того, чтобы вы, мои дѣти, перестали различать враговъ отъ друзей? (Выходить Сарра)

ЛІЯ. Борисъ!..

САРРА. Они все ссорятся... Такіе страшные дни... Ой-ой-ой! (Зажигаетъ на столѣ лампу и садится въ свое кресло)

ВОРУХЪ. (Уходя въ свою комнату) Мои враги не тѣ, которыхъ ты считаешь врагами! (Исчезаетъ)

Лейзеръ. (Къ двери) Вотъ что?! (Съ дрожью въ голосѣ) И тамъ (Показываетъ рукой въ пространство) не враги твои? Друзья? Это отъ твоихъ друзей мы заперлись и дрожимъ?

ЛІЯ. Отецъ! Зачѣмъ такъ говоришь?..

Лейзеръ. (Кричитъ) Молчи! (Лія исчезаетъ) Что?! Убѣрайся вонъ! Я не хочу тебя видѣть! (Топаютъ ногами) Уйди отъ меня, проклятый гой!! Вонъ! Негодяй! Ты не слышишь!! (Изъ дверей со страхомъ выглядываетъ Ааронъ и Хане, дѣти плачутъ вдали)

ВОРУХЪ. (Выходя съ фуражкой въ рукахъ) Я уйду, отецъ! Не кричи! Ты не понимаешь, что говоришь и дѣлаешь... Прощай! будь здоровъ! (Уходитъ черезъ черный ходъ; слышенъ голосъ Ліи: „Борисъ! Борисъ!“)

Лейзеръ. (Опускается на стулъ около стола, клонитъ голову на руки и начинаетъ рыдать) Что я сдѣлалъ? Что я сдѣлалъ? Нѣтъ у меня больше дѣтей! Нѣтъ! Пришелъ вѣтеръ отъ пустыни и унесъ все... все... (Кругомъ тихо, только слышны всхлипыванія рыдающаго Лейзера. Затѣмъ вдругъ раздается громкій ударъ

въ ставень; Шлойме вскакиваетъ и съ ужасомъ бѣжитъ въ заль отсюда въ дальнія комнаты,—тамъ слышно, какъ суетятся Ааронъ, Хапе. Лейзеръ постепенно стихаетъ, но остается въ прежнемъ положеніи, у стола, съ положенной на руки головой. Суматоха переходитъ въ заль, въ магазинъ: Ааронъ, Хапе и Шлойме, раскрывъ подполье, начинаютъ стаскивать туда узлы, чемоданы, ящики. Вдали слышенъ глухой шумъ толпы, полицейскіе свистки)

ШЛОЙМЕ. (Дотрагиваясь до плеча Лейзера) Ребъ Лейзеръ! Ребъ Лейзеръ! Вы слышите? (Указываетъ рукой въ пространство)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Тихо, чуть слышно) Слышу, Шлойме (Махаетъ рукой и не измѣняетъ положенія) Пришелъ вѣтеръ отъ пустыни... (Тихо встаетъ и уходитъ въ комнату Воруха,—тамъ онъ молится Богу)

САРРА. Не могу встать... Помогите мнѣ встать! Никто не хочетъ помочь мнѣ встать, а мои ноги не ходятъ больше... (Вдали плачь дѣтей)

ХАПЕ. (Пробѣгая въ дальнія комнаты) Дѣтки мои, дѣтки! Милыя мои дѣтки! Куда мнѣ васъ спрятать?.. Некуда васъ спрятать... (Шумъ толпы ближе, грохотъ гдѣ-то выброшенной на мостовую рояли,—взрывъ гула, криковъ, хохота. Ааронъ и Шлойме на мгновеніе замираютъ отъ ужаса)

САРРА. Гдѣ Лейзеръ? Гдѣ же Лейзеръ?

ШЛОЙМЕ. (Плакливо) Ребъ Лейзеръ молятся Богу!..

САРРА. Богъ не слышитъ... Нѣтъ! Не слышитъ... Онъ не хочетъ больше насъ слышать... Не хочетъ... (Лія, едва передвигая ноги, выходитъ въ заль, придерживаясь за стѣны; въ глазахъ ея ужась)

ЛІЯ. Гдѣ отецъ? Они придутъ... Они скоро придутъ...

САРРА. Онъ молится Богу.. Богъ не слышитъ... Нѣтъ! Не слышитъ...

ЛІЯ. (Опускаясь на стулъ) Надо увести дѣтей... Боже мой! (Закрываетъ лицо руками)

ПАХМАНЪ. (Вбѣгаетъ съ чернаго хода) Что же вы сидите?! Развѣ вы не слышите?! (Входитъ въ заль Лейзеръ тихо, спо-

койно, взоръ его устремленъ внутрь себя) Лейзеръ Моисеевичъ! Надо уйти! Еще можно уйти! Съ сосѣдняго двора можно пройти на площадь... Что вы сидите? Лія!

ЛЕЙЗЕРЪ. Уйти? Зачѣмъ? Все равно... Ничего не надо... Все равно!..

ЛІА. У меня нѣтъ силы... Уведите дѣтей... уведите отца! (Гуль толпы все ближе, крики, плачь и хохотъ, трескъ и свистъ сливаются въ дикій аккордъ звуковъ)

ЛЕЙЗЕРЪ. Меня? Зачѣмъ — меня? Развѣ я могу оставить мою Лію? Я уже все потерялъ... Я хочу умереть вмѣстѣ съ тобой!

ХАНЕ. (Выбѣгаетъ, таща за руку мальчика) Спрячьте мнѣ сына! Хоть одного только сына! Умоляю васъ Господомъ Богомъ! (Опускается передъ Нахманомъ на колѣни, цѣлуетъ одежду) Спасите мнѣ сына!.. (Плачетъ, цѣпляется за ноги Нахмана)

НАХМАНЪ. Хорошо! хорошо! (Беретъ мальчика за руку, — тотъ плачетъ. Къ Ліи) Лія! Надо защищаться! (Протягиваетъ руку, въ которой блеститъ револьверъ) ВОЗЬМИТЕ! (Лія беретъ револьверъ и безсильно опускаетъ его съ рукою) Я сейчасъ вернусь! Прощайте! (Ребенокъ упирается и хнычетъ)

ХАНЕ. Иди! Иди! Опъ — добрый человекъ! Самуэль! Иди же, мой мальчикъ! Потомъ я приду и принесу тебѣ пряниковъ. (Провожаетъ ихъ)

ААРОНЪ. (Сердито) Иди, глупый! (Нахманъ уводитъ плачущаго ребенка)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Къ Аарону) Можно уйти, — сказалъ Нахманъ... Зачѣмъ вы не уходите? (Къ Шлойме) Я тебя не держу: ты очень хочешь жить, — спасайся!.. (Сильный ударъ въ дверь магазина и говоръ подъ окнами. Ааронъ и Шлойме убѣгаютъ въ дальнія комнаты и болѣе не появляются. Лія встаетъ со стула и, прислонившись къ стѣнѣ, съ ужасомъ смотритъ по направлению магазина. Испуганная Хане, съ ребенкомъ на одной рукѣ, волоча хныкающую дѣвочку другой рукой, выбѣгаетъ въ залъ) Ступай сюда! (Указываетъ на подполье) Скорѣе! (Новый ударъ, сильный шумъ на улицѣ)

ХАНЕ. Ой-ой-ой!.. Если вы будете плакать, — насъ найдутъ... Они будутъ плакать... Я не могу ихъ задушить... (Спускается въ подполье, Лейзеръ захлопываетъ дверь)

ЛЕЙЗЕРЪ. Они думаютъ, что найдутъ много денегъ... А у меня ничего нѣтъ... Только ты одна, моя послѣдняя дочка... Тебя я имъ не отдамъ, нѣтъ, не отдамъ!.. (Сарра начинаетъ хрипѣть, Лейзеръ подходитъ къ ней). Она не слышитъ... Она ничего не будетъ знать... Она умираетъ...

БЕРЕЗИНЪ. (Вбѣгаетъ со двора) Лія! Скорѣй! Я за тобой! (Лія неподвижно стоитъ у стѣны)

ЛЕЙЗЕРЪ. Зачѣмъ вы пришли?

БЕРЕЗИНЪ. (Хватая Лію за руку) Скорѣе! Еще можно уйти!.. (Къ Лейзеру) Идите... и вы! (Лія отрицательно качаетъ головой) Лейзеръ Моисеичъ! Ради Бога! Скорѣе! Лія! (Громкій ударъ въ ставень)

ЛЕЙЗЕРЪ. Я? Развѣ вамъ нуженъ и я? Вамъ нужна только она! Пусть она идетъ съ вами, если она хочетъ... Я останусь... одинъ...

ЛІА. (Березину) Уходи! Я остаюсь...

БЕРЕЗИНЪ. Но вѣдь это безуміе! Лія! Опомнись! Цѣлуетъ ей руку)

ЛІА. (Вырывая руку) Не хочу! Уходи! (Подъ окнами магазина гулъ толпы, крикъ, удары въ дверь)

БЕРЕЗИНЪ. Лія! Голубка! Что ты дѣлаешь?! (Начинаетъ силою тащить Лію за руки). Я не уйду! Я — съ вами! Не уйду!

ЛІА. (Громко; вырываясь) Пусти меня! Я не пойду! Я не хочу!.. (Сильный ударъ, трескъ, хохотъ. Дверь и окна магазина съ шумомъ рушатся...)

ОДИНЪ ИЗЪ ТОЛПЫ. (Кричитъ) Есть! (Толпа испускаетъ гулъ радости и торжества; одни разбиваютъ ящики, шкафы; часы звенятъ пружинами; человекъ десять вламываются въ залъ. Лія пятится по стѣнѣ къ дверямъ въ дальнія комнаты, Березинъ старается загородить ее своей фигурой. Но и въ дальнихъ комнатахъ слышенъ гулъ толпы, разбивающей вещи и утварь; Лія, какъ

кошка, проскальзываетъ къ двери въ комнату Боруха и останавливается лицомъ къ толпѣ)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Идетъ къ толпѣ) Развѣ у васъ нѣтъ больше Бога? (Показываетъ въ небеса)

БЕРЕЗИНЪ. (Стараясь заградить Лию) Что вы дѣлаете? Остановитесь!

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ ИЗЪ ТОЛПЫ. Жидовъ бьемъ!

ВТОРОЙ ГОЛОСЪ. Вашего брата щупаемъ! (Взрывъ хохота)

ТРЕТИЙ ГОЛОСЪ. Васька! Ну-ка дѣвчонку-то пощупай! Хороша дѣвчонка-то!

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ. Вишь, какъ онъ ее бережетъ! Для себя берегъ да не довелось! (Опять хохотъ)

БЕРЕЗИНЪ. Негодяи!

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ. Не лѣйся, пархатый, покуда живъ!

ВТОРОЙ ГОЛОСЪ. Пристукни его, Васька! Еще ластся!..

ОДИНЪ ИЗЪ ТОЛПЫ. (Къ Лейзеру) Ну-ка, старый жидъ, выворачивай карманы!

ЛЕЙЗЕРЪ. Убейте! Скорѣе! Вашему Богу будетъ очень пріятно...

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ. Молчи, жидовская образина! (Ударяетъ Лейзера въ спину, тотъ падаетъ на колѣни)

ВТОРОЙ ГОЛОСЪ. (Около Сарры) Ребята! А эта сдохла! Отъ страху сдохла, паршивая! .

ТРЕТИЙ ГОЛОСЪ. (Указывая на Лейзера) И этотъ сейчасъ сдохнетъ... Старый песъ! Не трогай его! И такъ скоро сдохнетъ! (Впередъ выходитъ ражій парень)

БЕРЕЗИНЪ. (Схватывая стулъ) Не тронь!

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ. Ну-ка, ребята, отдернемъ этого жида! Больно онъ бережетъ что-то... Вѣрно, сладкая! (Хохотъ)

ВТОРОЙ ГОЛОСЪ. Возьмемъ его, ребята! Н-ну! (Толпа разомъ двигается впередъ, одинъ схватываетъ Березина за руку, другой вырываетъ стулъ, начинается борьба)

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОСЪ ИЗЪ ТОЛПЫ. Дай ему хорошаго тумака! На шкворень!

ЛІЯ. (Кричитъ изстуженнымъ голосомъ) Огнь—христіанинъ!
(Борьба продолжается. Березинъ падаетъ, на него наваливается нѣсколько человекъ)

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОСЪ. Крестъ есть?

ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ. Вреть! На немъ нѣтъ креста!

БЕРЕЗИНЪ. (Христитъ) Помогите! Помогите!.. Звѣри!..

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОСЪ. Заткни ему глотку-то. Запихай туда чего-нибудь!

ТРЕТИЙ ГОЛОСЪ. Васька! Щупай дѣвчонку-то! Ну! Чего тутъ разговаривать...

ЛЕЙЗЕРЪ. (Рыдаетъ) Лія! Лія! Зачѣмъ я уже не умерь!..

ТРЕТИЙ ГОЛОСЪ. Поспѣешь—сдохнешь! (Ражій паренъ и еще двое направляются къ Ліи. Лія вытягиваетъ впередъ руку съ револьверомъ; толпа на мгновеніе приостанавливается, робѣетъ)

РАЖІЙ ПАРЕНЬ. Ахъ, сволочь! У ней въ рукѣ-то пистолеть!

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОСЪ. Дай шкворень! Дѣвчонки испугались! Иди смѣлѣй! (Толпа разомъ двигается на Лію; та скрывается въ комнатѣ Боруха)

ЛІЯ. (Кричитъ изъ другой комнаты) Прощай, отецъ!
(Раздается выстрѣлъ. Толпа отскакиваетъ назадъ. На мгновеніе тихо. Ражій паренъ, отдѣлившись, идетъ и заглядываетъ въ комнату Боруха)

РАЖІЙ ПАРЕНЬ. (Возвращаясь) Убилась, стерва! Сама убилась! Ей-Богу! Валяется на полу...

ТРЕТИЙ ГОЛОСЪ. Иди, Васька! Она еще горячая,—поспѣешь. (Хохотъ толпы)

ЛЕЙЗЕРЪ. (Приподнимаясь на колѣни) Дочка моя, дочка! послѣдняя моя дочка! (Крикъ въ магазинъ: „Ребята! Казаки скачутъ!“ Общій переполохъ; толпа бросается вонъ чрезъ заднія двери, попутно бьетъ посуду, швыряетъ вещи. Затѣмъ все стихаетъ. Проносится мимо топотъ многочисленныхъ лошадиныхъ ногъ о мостовую, свистки, крики. Въ разбитую дверь магазина вбѣгаетъ Борухъ безъ шапки, съ окровавленнымъ лицомъ)

БОРУХЪ. Отець! Лія! (Подбѣгаетъ къ Лейзеру, трогаетъ его за плечи) Отець! Гдѣ Лія? Скажи! Ради Бога скажи!..

ЛЕЙЗЕРЪ. (Качая головой) Нѣтъ... ничего нѣтъ! Пришелъ вѣтеръ отъ пустыни и унесъ... все унесъ... (Упавъ лицомъ къ колѣнямъ, рыдаетъ)

БОРУХЪ. Гдѣ Лія? Скажи мнѣ, гдѣ сестра? Ради Бога скажи!.. (Вбѣгаетъ Нахманъ въ растерзанной одеждѣ съ револьверомъ въ рукахъ. Онъ останавливается въ разбитыхъ дверяхъ магазина, чрезъ которыя видно зарево пожара, и съ дикимъ крикомъ „Будьте прокляты!“ начинаетъ стрѣлять въ толпу на улицѣ. Съ улицы отчаянный крикъ Изерсона: „Не стрѣляйте! Эти христіане—рабочіе! Они за насъ!“ Нахманъ бросаетъ револьверъ и, прижавъ головой къ косяку двери, начинаетъ безсильно и слабо плакать...)

З а н а в ѣ с ѣ.



PJ
5129
R2K6

Rabinowitz, Shalom
Krovavaia shutka

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

